
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН
-И-
ССЫЛЬНО
ПОСЕЛЕНЦЕВ

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ

В ВОСПОМИНАНИЯХ, ЗАПИСКАХ И ДНЕВНИКАХ ЕГО УЧАСТНИКОВ

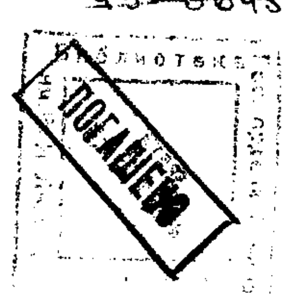
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
И. А. ТЕОДОРОВИЧА

МОСКВА 1933

М. Р. ПОПОВ

ЗАПИСКИ ЗЕМЛЕВОЛЬЦА

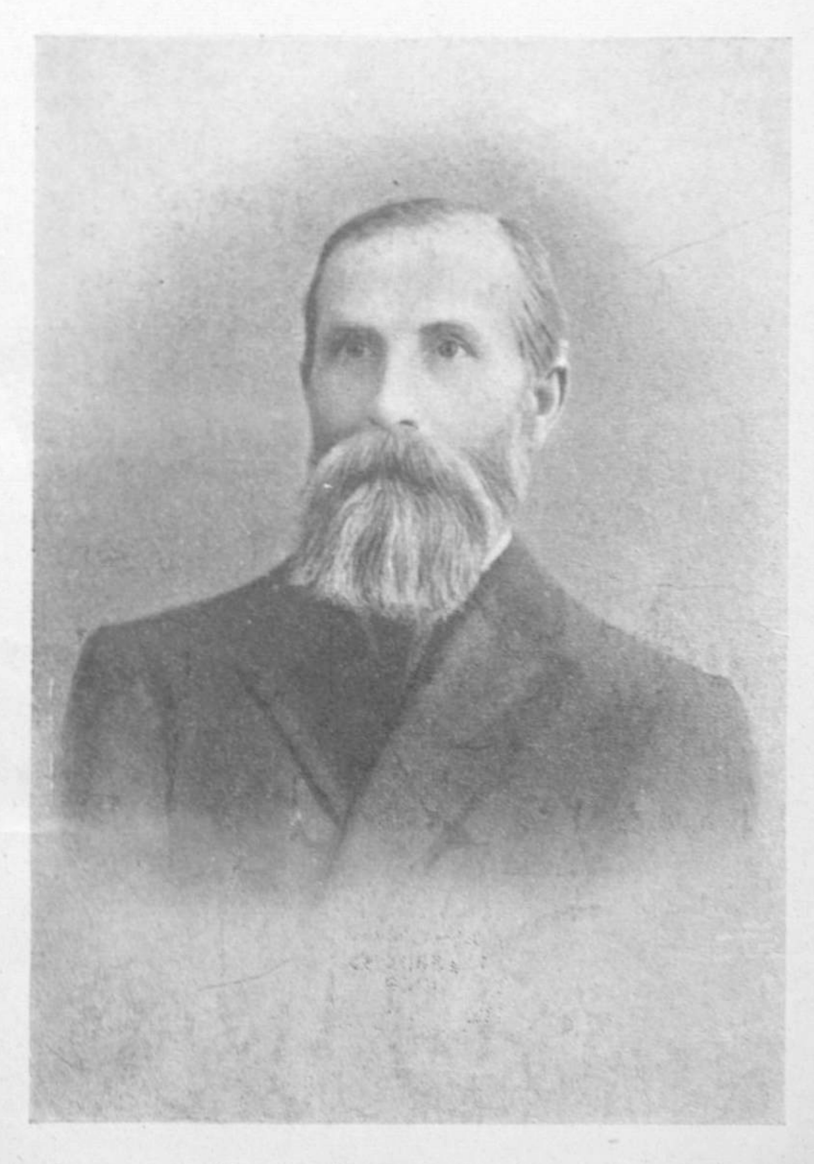
РЕДАКЦИЯ, ВСТУПИТЕЛЬНАЯ
СТАТЬЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
И. А. ТЕОДОРОВИЧА



ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

Обложка худ. А. Толоконникова

Ответственный редактор
И. А. Теодорович. Технич. редактор Ф. М. Точилин. Сдано в производство 22/VII 1932 г. Подписано к печати 6/II 1933 г. Ст. формат 82×110 см. 16 печ. л. 50 000 зн. в печ. л. З. И. № 28. З. Т. № 2501. Уполномоченный Главлита № 30893. Тир. 5200. Отпечатано в 1-й Образцовой тип. Огиза РСФСР треста „Полиграфкнига". Москва, Валовая, 28.



Михаил Родионович Попов

(с фотографии 1905 г.

ОТ БАКУНИЗМА К БАБУВИЗМУ

Народническая мысль 60—70-х годов прошлого века развивалась в самом точном, в самом полном смысле слова — диалектически.

Что такое диалектическое развитие? Это, — отвечает Ленин, — „развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой базе („отрицание отрицания“), развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой линии, развитие скачкообразное, катастрофическое, революционное; перерывы постепенности; превращение количества в качество; внутренние импульсы к развитию, даваемые противоречием, столкновением различных сил и тенденций, действующих на данное тело или в пределах данного явления или внутри данного общества; взаимозависимость и теснейшая, неразрывная связь всех сторон каждого явления“.

Именно таким путем, — через положение, его отрицание и отрицание отрицания, — диференцировалась, росла, крепла, мужала, уточнялась и оформлялась мысль революционного народничества, являясь отражением развития социально-экономических отношений. Именно таким путем она достигла своего апогея в народовольческой системе, чтоб затем, потерпев в решительном бою роковое крушение, сойти навсегда с исторической арены и уступить ее иным установкам.

Проследить этот процесс во всей его конкретности, проследить шаг за шагом, штрих за штрихом, изучить до мельчайших подробностей каждое изменение — историку революционного движения так же важно, нужно и интересно, как, например, эмбриологу важно, нужно и интересно описать ход дробления яйца от группы еще одинаковых клеток до их диференцирования и сложения в ткани и органы.

За последние годы опубликовано значительное количество документов и мемуаров, позволяющее приступить к делу точного описания и изображения всех последовательных этапов и поворотных пунктов движения 60—70-х годов. Собранные ныне нами воедино записки М. Р. Попова занимают очень видное место в огромной цепи воспоминаний. Они дают превосходный материал для изучения важнейших деталей в общем ходе событий известной эпохи.

В своей работе „1-е марта 1881 г.“ мы старались показать, что народовольчество было кульминационным пунктом развития народнической мысли, что — в частности — оно представляло собой „систему, которая синтезировала на самой высокой ступени, какой достигал революционный утопизм, веру в массы, взятую у бакунизма, и ставку на боевой отряд интеллигенции, почерпнутую у ткачевизма“ (стр. 65). Эту систему, которую разделяло коренное течение народовольчества, мы называем русским вариантом бабувизма. На ряду с этим правое крыло народовольчества превратилось в адепта политрадикалистической идеологии.

Самыми важными, самыми поучительными процессами в движении политико-социальной мысли 70-х годов и являются процессы перерастания бакунизма в бабувизм и процесс превращения правого утопизма в политический радикализм. И именно для изучения этих процессов воспоминания М. Р. Попова предоставляют много ценнейших данных. Коренное течение народовольчества—русских бабувистов— мы изучаем, главным образом, и даже, пожалуй, исключительно, по журналу „Народная Воля“, а теперь перед нами — живой человек, самый настоящий свидетель, рассказывающий, как „передумал“ и „перестрадал“ он вместе с длинным рядом других лиц все моменты подготовления знаменитого синтеза.

Надо условиться с читателем насчет законов классификации, на основании которой мы употребляем термины: бакунизм, ткачевизм, бабувизм.

Для того, чтобы классификация была рациональна, удачна, плодотворна, необходимо верно выбрать решающие признаки. В ботанике, например, такими призна-

ками берут строение цветка. Представим себе, что кто-нибудь выбирает решающим признаком древесину. Тогда у него береза попадет в одну рубрику с яблоней. Если остановиться на признаке кустарника с плодами, тогда малина и крыжовник окажутся в одном подразделении. А между тем — при рациональной классификации — оказывается, что невзрачная, крохотная травка-манжетка — неизмеримо ближе и роднее дереву яблоне, чем дерево береза, а крыжовник и малина принадлежат к совсем различным семействам. Если я изучаю конкретно яблоню, я придаю большое значение ее листве, корням, плодам, стволу и т. д. Но если я хочу познать, какими признаками она связана с семейством розоцветных, я изучаю строение ее цветка.

Так и в истории революционного движения. Целый ряд ложных обобщений, не имеющих никакого познавательного значения, проистекает из того, что не умеют рационально взять для классификации решающие признаки.

Бакунизм, — изучаемый конкретно, — как в вышеприведенном примере яблоня, — представляет собой много специфических черт: у него, например, своя гносеология, своя философия, своя историософия и т. д. и т. д. Но если изучать бакунизм, как социально-политическую систему, то решающими признаками мы должны взять следующие моменты: его антикапитализм, т. е. учение, что капитализм может и должен быть немедленно ликвидирован; пламенная вера в то, что ликвидируют его сами массы мелких производителей, разоряемых капитализмом, путем восстания; утверждение, что роль интеллигенции должна быть сведена только к организации самостоятельного бунта масс; что для победы над эксплоататорскими классами — овладения политической властью и диктатуры не нужно.

Ткачевизм тоже имеет свои „листья“, „корни“, „стволы“ и „ветви“, но его социально-политический „цветок“ сводится к учению о том, что роль интеллигенции должна состоять в образовании из себя особого отряда, который захватит политическую власть и немедленно использует ее для совершения антикапиталистического переворота; что „пропаганда среди народа только

тогда и будет целесообразна, только тогда и принесет ожидаемые от нее результаты, когда материальная власть будет находиться в руках революционной партии", и что, следовательно, использовать массы для политического переворота — нельзя.

Итак, бакунизм знает одну — антикапиталистическую — революцию, которую производят сами массы, причем они строят новое общество, не отнимая для себя предварительно у классовых врагов их политической власти и, следовательно, не извлекая из нее никаких выгод для своей борьбы. Наоборот, ткачевизм постулирует необходимость овладения политической властью, объявления диктатуры, которая становится рычагом экономического переворота, т. е. мыслит две революции, сливающиеся воедино.

Ткачевизм часто называют якобинством, и называют потому, что разумеют под этим словом захват власти меньшинством. Такая терминология глубоко неправильна. Решающий признак исторического якобинства вовсе не в диктатуре меньшинства (таковой считали диктатуру якобинцев их классовые враги), а в отнятии политической власти от враждебного класса и в использовании ее для подавления сопротивления свергнутых общественных групп и для осуществления экономического переворота в интересах победившего политически класса. Якобинство — это учение о политическом перевороте, как рычаге одновременного социального переворота. Историческое якобинство (мы разумеем собственно левых якобинцев) опиралось на санкюлотские массы, а не на заговорщицкое меньшинство. Уж если называть ткачевизм якобинством, то не за постулирование захвата власти меньшинством (в этом сказалась только его примитивность!), а за учение о политическом перевороте, как средстве немедленной социальной революции.

Историческое якобинство породило бабувизм, который по-иному, чем левые якобинцы, ответил на вопрос, чем заменить свергаемый капитализм. Бабувизм понимал экономический переворот в духе ассоциаторского варианта утопизма, т. е. учил, что свергнутый капитализм надо заменить производительными ассоциациями, не возвращаясь

к индивидуальному хозяйствованию мелких производителей.

Народовольчество — этот русский вариант бабувизма — учило, что интеллигенция должна составить особый отряд, который начнет инсуррекцию и тем разбудит склонные и готовые к восстанию массы мелких производителей, и они свергнут капитализм и заменят его ассоциаторским вариантом утопизма. „Всякая инсуррекция, — писала „Народная Воля“ (№ 4, стр. 3), — наибольшие результаты дает тогда, когда она является только прелюдией к народной [антикапиталистической. — *Ив. Т.*] революции или ее эпизодом; говоря другими словами, — если инсуррекция только дает толчок народной революции“.

Народовольчество иногда называют якобинством. И на этот раз правильно. Как исторические якобинцы, так и народовольцы признавали, — и это является их „цветком“, — что массы могут быть и будут разбужены для восстания, и что надо, захватив политическую власть, использовать ее для социального переворота. А так как народовольцы прочно утвердились на позиции ассоциаторского варианта утопизма, то правильнее всего считать их русской разновидностью бабувизма.

Самое интересное в истории 70-х годов, это — перерастание бакунистов в бабувистов. При ближайшем рассмотрении этого процесса легко увидеть, что центральным моментом в этом перерастании был вопрос о соотношении интеллигенции и народной массы, т. е. массы мелких производителей. Народническая мысль чрезвычайно тщательно обдумывала этот вопрос, проверяя ежеминутно то или иное его решение на практике, и накопила громаднейший опыт, как теоретический, так и практический.

Революционная мысль подчиняется тем же законам логики, что и мысль ученого. Представим себе такое положение: ученый дал обобщение, основываясь на известной ему группе фактов. Но вот вскрывается ряд новых данных. Его схема их не охватывает. Тогда он перестраивает, модифицирует свою схему с тем, чтоб непокорные факты были объяснены.

Так же работала и народническая мысль; она постоянно наталкивалась на упрямые факты, разбивавшие

ту или иную схему, постоянно перестраивала свои обобщения и выводы.

Итак, что же такое интеллигенция и каково ее соотношение с массами мелких производителей?

Читатель, знакомый с языком революционного утопизма 60—70-х годов, знает, до какой степени распространенным был в те годы термин: „молодежь“, „учащаяся молодежь“, „молодое поколение“. Эти слова употребляются, конечно, и в другие эпохи, но только в ту они были синонимом слова: „революционеры“. Еще в 1861 г. появилась знаменитая прокламация: „К молодому поколению“. Возьмите Писарева, Добролюбова, Шелгунова, Чернышевского, и вы на каждом шагу прочтете слово „молодежь“ в вышеуказанном смысле. Теперь мы в таком значении не употребляем этого термина.

В чем же дело?

Дело в том, что в любой стране бывают такие этапы развития капитализма, когда мелкому производителю грозит явная опасность погибнуть, ибо капитализм разоряет больше самостоятельных хозяйчиков, чем может поместить у себя на работе. Одной из форм страхования детей такого производителя является обучение их интеллигентному труду. В такие эпохи обучающаяся молодежь чувствует свою кровную связь со своими отцами, и тем острее, чем больше сама она страдает от известного перепроизводства интеллигенции. Такая молодежь, зная страдания и отчаяние своих отцов, с большей легкостью и скоростью, чем они, приходит, благодаря своим знаниям, к известным идеологическим построениям. Получается так, что толща класса еще безропотно сносит свое горе, а его отпрыск становится идеологическим авангардом и рвется в бой.

Так было у нас в России в 60—70-е годы. Но ошибся бы жестоко тот, кто счел бы это местным явлением: в аналогичные эпохи мы наблюдаем сходную картину и в других странах.

Так, во Франции, по свидетельству Поля Лафарга, „Бланки охотно искал себе сторонников в *среде учащихся*. Во времена Империи, когда он сидел в тюрьме Сент-Пелажи, перед ним прошло целое *поколение молодежи*... В *Латинском квартале* влияние

Бланки были действительно колоссально. Он сделал революционерами Тридонов, Жакляров, Прото, Реньяров и много других... Бланки принадлежит честь революционного воспитания значительной части молодежи нашего поколения" (I, 370).

Как видит читатель, термины употребляются очень нам знакомые, так сказать, „русские": „молодежь", „учащиеся", „молодое поколение".

Какой-нибудь Писарев объяснял такую роль молодежи физиологически: здоровые нервы, сильные мускулы, прекрасный желудок! Но мы теперь знаем, что физиологией здесь ничего не объяснишь, ибо в другие эпохи все такие же „сильные зубы" молодежи вцепляются совсем не туда, куда они вцеплялись в определенные исторические периоды. Не физиология, а социология объясняет нам, в чем дело.

Итак, массы мелких производителей жестоко страдают от развития капитализма, но плохо понимают причины своих мучений; наоборот, интеллигенция разобралась в вопросе и познала „суть вещей". Что же ей делать? Как помочь своим отцам и братьям?

Вот этот вопрос и стоял все время перед деятелями 60—70-х годов. На этот вопрос давали самые различные и противоречащие друг другу ответы. Но они легко и естественно группируются в три основных раздела.

Та часть интеллигенции, которая тяготела к каракозовско-нечаевским и ткачевистским установкам, говорила: мы знаем народ; мы знаем своих отцов и братьев; уж очень темны они, и надежда на них плоха; они идут только за силой; вот в русской истории как часто они уповают на царя; надо создать новую — революционную — силу, и тогда народ пойдет за ней, ибо его недовольство, его возмущение — огромны. Такая сила — это мы, интеллигенция!

К этой группировке примыкали те, кто хотел действовать немедленно, кто доподлинно рвался к бою, в чье сердце особенно сильно „стучал пепел Клааса"[1].

---

[1] Клаас — сожженный на костре католической инквизиции отец легендарного героя фламандской революции — Уленшпигеля.

Та часть „молодежи“, которой импонировал лавризм, возражала: народ темен, это верно, но без него мы — жалкая горсть, и будем раздавлены. Царизм, дворянство буржуазия — страшные силы, и только огромные массы, только народ могут померяться с ними шансами на победу. Без народа нечего и выступать! Но раз он темен, его надо просветить; надо его подготовить — длительно и терпеливо — к социальной революции.

Кто принадлежал к этому течению? Те, кто по сути дела медлил, боялся выступать, не хотел действовать, а потому и прятался за рассуждения, что народ-де не готов.

Известный Н. Михайловский шел еще более вправо. Если Лавров хотел подготовлять народ, то он поставил своей задачей „подготовлять подготовителей“. На приглашение Лаврова примкнуть к журналу „Вперед“ Михайловский отказался и заявил: „Борьба со старыми богами [т. е. с самодержавием и дворянством. — *Ив. Т.*] меня не занимает, потому что их песня спета, и падение их — дело времени. Новые боги [буржуазия. — *Ив. Т.*] гораздо опаснее и в этом смысле хуже. Смотря так на дело, я могу до известной степени быть в дружбе со старыми богами и, следовательно, писать в России“ (X, 65). Но для кого же писать? Михайловский отвечает: „Задача молодого поколения [мы уже знаем этот псевдоним! — *Ив. Т.*] может состоять только в том, чтоб готовиться к тому моменту, когда настанет время действовать. Само оно бессильно его вызвать и будет только задаром гибнуть в этих попытках“ (X, 68).

Здесь с полной обнаженностью Михайловский дал себя запугать призраком напрасной гибели.

По-иному ставили вопрос бакунисты. Они говорили: конечно, лавризм прав, утверждая, что без народа мы — ничто, жалкая горсть; когда лавристы и ткачевисты говорят о темноте и инертности народа, — они говорят пустяки; народ протестует постоянно; он прекрасно знает свои интересы и твердо наметил свои идеалы; надо только, исходя из его бунтов и протестов, организовать всероссийский бунт, восстание, низвергающее капитализм и дворянство.

Бакунин бежал из Сибири в Европу в момент, когда

там оживилось рабочее движение, приведшее в 1864 году к созданию Первого Интернационала. Этот последний учил, что освобождение рабочих есть дело самих рабочих и что восстание пролетариата надо готовить, исходя из его повседневных нужд и подымая его протесты на принципиальную высоту. Нельзя отрицать, что установки, которые Бакунин давал для России, являются своеобразно преломленными в голове идеолога мелких производителей пролетарско-марксистскими установками. Недаром некоторые авторы называют систему Бакунина „карикатурным марксизмом“ (Плеханов).

Таковы три различных ответа на вопрос о роли интеллигенции и ее отношении к народу, данных в конце 60-х и начале 70-х годов.

Эти школы действовали одновременно, но в каждый данный момент авансцену занимало одно определенное течение, останавливая на себе, — если употребить выражение Плеханова, сказанное им по другому поводу, — „зрачок мира“, т. е. особенное внимание и признание революционеров, и в этом смысле они диалектически сменяли друг друга, „повторяя пройденные уже ступени“.

В средние шестидесятых годов на передний план выдвигаются каракозовцы и ишутинцы. После того периода, когда правые утописты, вроде Герцена, утверждали, что царизм может создать условия, не допускающие в России развития капитализма, когда даже Чернышевский — хотя и на короткий момент — оказал доверие Александру II, — каракозовцы и ишутинцы представляют собой пример резкой реакции против правого утопизма. Каракозовец Худяков осуждал у Герцена, Огарева, Утина „их бездеятельность, барский образ жизни, расхождение у них слова с делом и пр.“[1]. Каракозовец Ермолов „толкует о святой ненависти, о приятности отдать жизнь за жизнь, насмехается над историческим прогрессом, не признает полезным *при теперешних обстоятельствах* заведение ассоциаций и школ, смеется над книжками и литературной пропагандой“ (там же, стр. 164). Короче говоря, Ермолов осуждает установки правого крыла утопизма, которое учило, что и без свержения господствующей госу-

[1] „Революционное движение 60-х годов“, стр. 167.

дарственности, наоборот, скорее при ее помощи, можно бороться против наступающего капитализма.

Что же, в таком случае, предлагают делать наши левые утописты?

Ишутин „очень жарко отстаивал Орсини и говорил также, что надо каким-нибудь грандиозно-страшным фактом заявить миру о существовании тайного общества в России, ободрить, расшевелить заснувший народ, вот, например, взорванием Петропавловской крепости“ (стр. 164). По показанию Ишутина, „Худяков развивал мысль о революции в России посредством цареубийства“ (стр. 157). В свою очередь об Ишутине Юрасов показывает, что он считал „средствами для возбуждения революции — гремучую ртуть, орсиниевские бомбы и цареубийство“ (стр. 150).

Мы думаем, что приведенные цитаты чрезвычайно ярко обрисовывают нам каракозовско-ишутинскую установку. Народ спит; поднять его на революцию может только акт вроде цареубийства. Кто же организует его? Кто создаст орсиниевские бомбы, приготовит гремучую ртуть и т. д.? — Интеллигенция! Перед нами в зародышевой форме установка ткачевизма. Каракозовщина — „манжетка“, ткачевизм — „спирея“, но строение цветка у них схожее!..

В своей работе о первом марте 1881 г. мы показали, что эта „теория детонации“ (взрыв царя взрывает сон народных масс) в более развитом виде имела сильное обращение в среде позднего землевольчества и народовольчества, после 15 лет героической борьбы утопистов. „Пройденная ступень“ повторилась, но „на более высокой базе“![1]

4 апреля 1866 г. Каракозов сделал попытку реализовать свою установку. Получилось полнейшее фиаско.

Мы уж не говорим о зверином реве господствующих классов, но даже правый кустаризм в лице Герцена осудил Каракозова. Герцен писал в „Колоколе“ от 1 мая 1866 г.: „Выстрел 4 апреля был нам не по душе. Мы ждали от него бедствий, нас возмущала ответственность,

---

[1] „Теперь уже, в 1878—1879 гг., этот „удар в центре“ [цареубийство.—*Ив. Т.*] полагался во главу угла и занимал первое место: не что другое, а именно он должен был развязать живые силы народа“ (В. Н. Фигнер, „Запечатленный труд“, I, 125, изд. „Задруги“).

которую на себя брал какой-то фанатик. Мы вообще терпеть не можем сюрпризов ни на именинах, ни на площадях, — первые никогда не удаются, вторые почти всегда вредны. Только у диких и дряхлых народов история пробивается убийствами"[1].

Но этот голос правого утопизма прозвучал напрасно: еще далеко было до того, чтоб был признан крах методов левого крыла. В знаменитой брошюре „Наши домашние дела" А. А. Серно-Соловьевич писал: „Нет, господин основатель русского социализма, молодое поколение [опять знакомый термин!] не простит вам отзыва о Каракозове, — этих строк вы не выскоблите ничем" („Револ. движение 60-х годов", стр. 146).

Действительно, акции левого утопизма еще держались на большой высоте. Приближалась эпоха нечаевщины.

Мы знаем, что в семидесятые годы ткачевизм и бакунизм разошлись по вопросу о диктатуре. Так как вопрос о диктатуре (разумеется, о диктатуре „народа", а не пролетариата) вопрос кардинальнейший, то мы относим в своей классификации ткачевизм к левому крылу, т. е. к наиболее революционной группировке, а бакунизм именуем левым центром, ибо течение, дошедшее до идеи захвата у врага власти и использования ее в своих целях, должно считаться более передовым, более зрелым. Но в конце шестидесятых годов левый центр и левое крыло еще не диференцировались, что между прочим выявилось в том, что персонально Нечаев был близок и к Бакунину, и к П. Н. Ткачеву. Совершенно в духе Ткачева нечаевцы писали в „Программе революционных действий", одном из основных своих документов: „Социальная революция, как конечная цель наша, и политическая, как единственное средство для достижения этой цели".

[1] Тринадцатью годами позднее Михайловский писал (под псевдонимом Гроньяра) совершенно в духе Герцена следующие строки: „Я не убийца и не подстрекатель на убийства, лично мне политическая борьба представляется в совсем иных формах" („Народная Воля", № 3).

На наш взгляд, одного этого совпадения в суждениях по центральному вопросу у Герцена и у Михайловского достаточно, чтоб признать никуда не годными попытки некоторых неумных историков сделать из Михайловского идейного вождя народовольчества.

По поводу последней цитаты нужно сделать несколько замечаний. Вспомним основные установки ортодоксальной социал-демократии; они сводятся к постулированию двух революций: политической и социалистической. Первая направляется против дворянства и его государства и имеет целью привести политическую надстройку в соответствие с развившимся в недрах дворянского общества капиталистическим базисом; вторая направляется уже против буржуазии во имя социализма. При этом эти две революции непременно разделены временем, более или менее продолжительным.

Только что цитированная нами мысль „Программы" с первого взгляда кажется совсем социал-демократической. Но кто стал бы это утверждать, впал бы в колоссальную ошибку. Перед нами типичная ткачевистская мысль, постулирующая две революции, но не разделенные во времени, а слитые воедино: революционный отряд захватывает политическую власть и немедленно превращает ее в рычаг для экономического переворота. „Насильственным [политическим. — *Ив. Т.*] переворотом, — писал Ткачев в „Набате", — не оканчивается дело революционеров, напротив, — им оно начинается. Захватив в свои руки власть, они должны суметь удержать ее и воспользоваться ею для осуществления своих [антикапиталистических. — *Ив. Т.*] идеалов". В другом месте Ткачев выражается еще точнее: „Ближайшая непосредственная цель революции должна заключаться не в чем ином, как только в том, чтобы овладеть правительственной властью и превратить данное консервативное государство в государство революционное".

Покойный М. Н. Покровский считал Ткачева первым русским марксистом. Что̀ характерно для марксизма? Ленин так отвечает на этот вопрос: „признание „творческой" исторической работы капитализма, обобществляющего труд и создающего „социальную силу", способную преобразовать общество, силу пролетариата, такое признание есть разрыв с народничеством и переход к марксизму" (VI, 55).

Признавал ли Ткачев творческую работу капитализма? Нет, не признавал. В капитализме, как и решительно все утописты, он видел только зло. То же самое нужно ска-

зать и о Нечаеве. Следовательно, смешно и говорить об их социал-демократизме.

Мы только что видели, что́ нечаевцы взяли у Ткачева. Посмотрим теперь, что позаимствовали они у Бакунина. Мы уже знаем, что, по представлению Ткачева, народные массы не могут быть привлечены к совершению политической революции: их роль начинается, — если начинается, — только во время экономического переворота. Бакунин знал только одну — антикапиталистическую и антидворянскую одновременно — революцию, которую, по его учению, свершают массы. Нечаев берет у Бакунина веру в массы и ориентируется на то, чтоб привлечь их еще к политической революции. Здесь мы видим определеннейшим образом — хотя и в зародышевой форме — мысль, которую потом, — „на более высокой базе" — мы встретим у народовольцев. Вот что пишет „Программа революционных действий": „В это время должен быть подготовлен и совершен протест студентов как университета, так и других высших учебных заведений за право официальных сходок; в то же время должно быть положено начало пропаганды в среде голытьбы людьми из той же голытьбы, следовательно, образование организации из самой голытьбы".

Бакунинско-нечаевская „голытьба" — это не рабочий класс, это — пауперизованный, разоренный мелкий производитель. Но именно он, по учению левого утопизма, является демиургом переворота. Это та самая масса, на которую ставил бакунизм. К этой-то массе Нечаев относился не по-ткачевски, а по-бакунински! „На различных студенческих квартирах, — пишет Б. П. Козьмин, — Нечаев и его единомышленники выступали с призывом к студентам бросить науку, оставить учебные заведения и итти в народ, чтоб подготавливать его к восстанию" („Рев. движ. 60-х годов", 175). „В народ" — это был лозунг, брошенный Бакуниным в № 1 „Народного Дела", вышедшем в 1868 г. Отсюда очевидно, что Нечаев усвоил себе бакунинский лозунг.

Если каракозовцы встретили осуждение со стороны Герцена, то нечаевцы, ставившие на немедленное восстание крестьян (его приурочивали к февралю 1870 г., когда истекал срок действия положения о временно-обя-

занных крестьянах), — вызвали еще более решительную оппозицию правого крыла утопизма. Так называемый кружок чайковцев резко и злобно выступил против нечаевцев. По свидетельству Шишко, кружок стал „формироваться как раз в момент появления Нечаева, и основателями его были те именно люди, которые весной 1869 г. противостали агитации Нечаева в пользу немедленного революционного восстания“ (там же, 179). Еще важнее показание П. А. Кропоткина: кружок (чайковцев) „возник из желания противодействовать нечаевским способам деятельности“ (там же, 185).

Общеизвестно, как обрушивались правые кустаристы на так называемые приемы нечаевщины (мистификация, командование, диктаторство, чрезмерный централизм, перехлестыванье в конспирации), но совершенно очевидно, что не эти приемы сами по себе возмущали правых, а нечаевская ставка на немедленную революцию, тогда как они держали курс на постепеновщину; словом, тут столкнулись правое и левое крылья утопизма.

Нужно помнить, что и правое крыло, и правый центр, и левый центр, и левое крыло утопизма сходились в том, что капитализм — только зло, и что его надо немедленно преодолеть, но расходились по вопросу, какими путями его ликвидировать. Известный нечаевец Успенский раньше стоял на позиции правого утопизма. Вот как он ее характеризует: „Я предпочитал путь мирного развития народа посредством распространения грамотности, через учреждение школ, ассоциаций [при царизме! — *Ив. Т.*] и других подобных учреждений, а Нечаев, напротив, считал революцию единственным исходом из настоящего положения“ (там же, 197)[1].

[1] Любопытно, что, уже находясь под замком, в письме к своей жене, А. И. Засулич, от 7 июня 1871 г., Успенский развивая мысль, которая была прямым рецедивом его прежних право-утопистских воззрений. Он писал: „Мне приходит в голову, какое цивилизирующее значение могла бы иметь судебная власть в России. Положим, она связана основными законами и не может обособиться от них. Но это, по-моему, и не нужно — основные законы так и останутся „основными“ — фундаментом, — ведь это стихийные силы, имеющие лишь одно культурное бытовое значение, а начало движущее, иллюстрирующее жизнь и должна быть судебная

Мы уже видели, как каракозовец Ермолов издевался еще около 1866 г. над этими „прогрессами“, „школами“, „ассоциациями“. Но правый утопизм крепко держал свои позиции. А как раз в 1869 г. их усилил Н. К. Михайловский своей формулой прогресса, согласно которой „прогресс есть постепенное приближение к целостности неделимых“ (I, 150). А в 1870 г., как раз тогда, когда нечаевцы ждали грозной революции, Михайловский восклицал: „Желаю ли я... внезапной смены общественного порядка, построенного на принципе разделения труда, порядком простого сотрудничества?[1] Ни желаю, ни не желаю, я просто отношусь к этой мысли, как к невозможности“ (X, 209).

Интересно, что эту право-утопистскую позицию Михайловского противники Нечаева немедленно использовали для сокрушения его ставки на революцию. В известном „конспекте“ М. А. Натансона рядом стоят такие пункты: а) доклады против восстания; б) доклад де-Тейльса о голоде и готовящемся восстании; в) Флеровский („Положение рабочего класса в России“), Михайловский („Что такое прогресс?“), Лавров („Исторические письма“) („Рев. движ. 60-х годов“, 184). Нам кажется, что связь этих трех параграфов в том, что нечаевской идее немедленного вос-

---

власть! Почему же бы ей не взять на себя инициативу русского прогресса, легально-спокойного и устойчиво-верного?“ („Рев. движ. 60-х годов“, 232). Эти колебания Успенского — с правого крыла на левое и обратно — не являются его индивидуальной чертой. Они чрезвычайно распространены были в народническом лагере. Эта распространенность имеет свои корни в том, что у народников правое и левое крылья крайне родственны, ибо оба сходятся на неприятии капиталистической экономики, расходясь по вопросу о методах ее преодоления.

Кроме того, правое крыло рядом переходов связано с питательной средой либерализма — с аграрной фракцией буржуазии (см. об этом в нашей работе „Роль Н. А. Морозова в революционном прошлом“). Вот почему Ленин мог говорить о „либерально-народническом направлении“. Для этого последнего и для очень близких к нему либералов типа А. Ф. Кони весьма характерно идеализирование судебных уставов 1864 г. в России.

[1] Если говорить простым языком, то Михайловский спрашивал: „желаю ли я революции?“

стания противопоставляются три авторитетнейших представителя правого кустаризма, особенно Михайловский с его „постепеновским" прогрессом.

Но если в этом случае мы только строим догадку, то в другом мы опираемся на прямое свидетельство документа, принадлежащего, по предположению Б. П. Козьмина, Герману Лопатину. Критикуя „Программу революционных действий", он пишет: „В борьбе с властью, которая есть сила [обычный аргумент правых! — *Ив. Т.*], всякая партия действия должна опираться также на силу, большую той, т. е. на войско или на народ. Из истории мне известно, что везде, где партия действия шла к перевороту путем заговора [обратите внимание: это пишет будущий „заговорщик" — народоволец! — *Ив. Т.*], она терпела целый ряд неудач до тех пор, пока революционные идеи не пробивались мало-по-малу [в этих словах — вся „изюминка"! — *Ив. Т.*] в массы. Другими словами, прогресс в человеческом обществе точно так же, как и в природе, всегда есть результат постепенного развития, а не ряда скачков" (там же, 201).

Здесь самым очевидным образом антидиалектическое понимание Михайловским прогресса использовано [1] против нечаевского „скачка", т. е. против революции!

Самое важное у Спенсера, — его понимание „эволюции в природе", — было использовано в борьбе против левых людьми, низвергавшими Спенсера по другим вопросам!..

Обстоятельства благоприятствовали позиции правого кустаризма. Нечаевщина была разгромлена, восстания не

[1] Уже один этот крайне показательный факт использования „формулы прогресса" Михайловского для самой глубокой теоретической аргументации против позиций левого утопизма подчеркивает, до какой степени далек от понимания вопроса Колосов, называющий пресловутую формулу манифестом революционного (т. е. левого) народничества, тогда как на деле она выражает психоидеологию архиправого поссибилистского утопизма. Кроме того, здесь уместно будет отметить, что, когда либералы пытались опровергать революционеров, они тоже указывали, что последние плохо учились естествознанию, иначе усвоили бы, что природа не знает скачков... Так ставил вопрос, напр., А. Ф. Кони (см. его воспоминания о деле Засулич).

вспыхнуло! Правый кустаризм идейно торжествовал, ибо его предупреждения и прогнозы, вроде только что цитированных, оправдались и на этот раз.

Б. П. Козьмин пишет: „В лице Натансона, Волховского, Г. Лопатина, Негрескула и их политических единомышленников против Нечаева выступил весь цвет народнической интеллигенции того времени“ (там же, 216). Эти слова могут повести к некоторым совершенно неверным представлениям. Нечаев и его друзья тоже были народниками, если понимать под народничеством одну из школ утопического социализма, и тоже были его „цветом“. Поэтому надо было бы сказать иначе: против левого крыла утопизма, представленного нечаевцами, выступило правое крыло утопизма, которое Нечаев очень метко и справедливо называл „доктринерствующими поборниками бумажной революции“.

После разгрома левых авансцену движения заняли противники Нечаева из лагеря правого кустаризма. Мы видели выше, как представлял себе правый Успенский методы борьбы с капитализмом: ассоциации, школы, грамотность, прогресс... при царизме! Но надо тут же отметить, что правый кустаризм в такой примитивной форме стал уделом только самых отсталых элементов. Наиболее же умные и живые из „настроенных право“ учли уроки недавних событий и создали новую форму правого утопизма. Тут же отметим, что этот маневр „наиболее левых из правых“ повторялся и в дальнейшие годы, во время всей народнической эпохи. Не в силах опровергнуть аргументы левых ни логикой, ни фактами, уступая им, идя на компромиссы, ибо зверевший царизм убивал все иллюзии, правый кустаризм модифицировался, но всегда оставался на правом фланге революционного движения и достиг своего апогея в политрадикалистическом течении „Народной Воли“, которое мы квалифицируем, как ее „правый уклон“. В частности Н. К. Михайловский проделал именно такую эволюцию правого кустаризма: он сперва думал, что и дворянская государственность может „обуздать“ капитализм, а затем, под влиянием событий, признал, что для борьбы с капитализмом методами правого утопизма нужно сначала убрать дворянскую власть. Но, заменив в своих построениях дворянскую власть властью

либерально-буржуазной, Михайловский продолжал учить, что такая власть, в качестве государственной, постепенно ликвидирует эксцессы капитализма.

Какова же была та новая форма, в какой выступил правый утопизм на могиле каракозовщины и нечаевщины?

Мы ответим на этот вопрос словами Желябова из его речи на суде в 1881 году. „Я, — говорил он, — хочу сказать, что в 1873—1875 гг. я еще не был революционером... Мы, переиспытав разные способы[1] действовать на пользу народа, в начале 70-х гг. избрали одно из средств, а именно: положение рабочего человека [Желябов здесь явно говорит о „хождении в народ". — *Ив. Т.*], с целью мирной пропаганды социалистических идей. Движение крайне безобидное по средствам своим... Движение совершенно бескровное, отвергавшее насилие, не революционное, а мирное" („Дело 1 марта", ред. Л. Дейча, стр. 337—338).

Остановимся на этом крайне важном свидетельском показании. Одним из идейных вождей хождения в народ был П. Л. Лавров. А он говорил о подготовке социальной революции. Но если движение держало курс на революцию, то как же Желябов мог говорить, что движение отвергало насилие? Надо спросить себя: как же хожденцы в народ понимали революцию?

Нередко утверждают, что хожденцы понимали революцию, как насильственный переворот, и в доказательство цитируют следующие слова П. Л. Лаврова: „Переворот, к которому стремятся социалисты нашего времени, не может быть совершен легальным путем, и поэтому требования рабочего социализма могут быть осуществлены лишь путем социальной революции".

Но эта цитата взята из статьи № 48 „Вперед", на-

[1] Прошу, читатели, задуматься над этими словами. Что это за разные способы, „переиспытанные" до начала 70-х годов? Это способы Шелгунова, Чернышевского, „Земли и Воли", Каракозова — Ишутина, Нечаева, Михайловского и т. д. и т. д. Утопист Желябов, сам побывавший на разных флангах движения и ценой страшного опыта утвердившийся на левом, с большой терпимостью трактует о „разных способах", подчеркивая этим, что он признает кровное родство между собой всех крыльев утопизма.

писанной в 1876 году, когда хожденцы в народ уже были разгромлены, когда ставка правого утопизма была бита и он сдавал свои позиции левым, опять модифицируясь и приспособляясь.

А между тем Лавров говорил о социальной революции и раньше. Так неужели же Желябов допустил странную ошибку?

Конечно, нет! Вспомним оппортунистов из социал-демократии. Они рассуждали так: постепенно наша пропаганда овладеет большинством народа. Это большинство выразится в большинстве с.-д. депутатов в парламенте, и этот последний совершит бескровную революцию! И тут же оппортунисты добавляли: в самом деле, что такое революция, если говорить научно? Это не порох, не кровь, а просто переход власти из рук одного класса в руки другого. Разве для такого перехода непременно нужно кровопролитие?

Довольно близок к подобным софизмам был и правый утопизм [1]. Он ждал, что дворянское правительство останется нейтральным [2], пока он будет, выражаясь словами М. Р. Попова, „запрудонивать и залассаливать“ крестьян. В общем и целом ему казалось, что стоит только убедить народные массы, что артель, производительная ассоциация, может быть, даже при поддержке государства, или разные товарищества прудоновского типа, который

---

[1] Н. А. Морозов свидетельствует: „Чайковский [глава чайковцев, бывших застрельщиками хождения в народ. — *Ив. Т.*] добровольно удалился, р а з о ч а р о в а в ш и с ь в в о з м о ж н о с т и о с у щ е с т в л е н и я н о в о г о с т р о я с и л о й, и решил уехать в Америку основывать там социалистическую колонию“ („Повести моей жизни“, I, 168. — Слова Цакни). Большинство хожденцев пошли в народ с установкой Чайковского; но Россия оказалась не Америкой...

[2] Насколько живуча была такая изумительная политическая наивность, говорит следующий факт. Вслед за убийством Мезенцова (4 августа 1878 г.), т. е. много лет спустя после разгрома хожденцев правительством, Кравчинский выпустил брошюру под заглавием: „Смерть за смерть“. В ней проводится мысль, что революция борется собственно не с правительством, а с буржуазией, что правительство должно в этой борьбе держать нейтралитет, а если оно этого не выполняет, если оно поддерживает и защищает буржуазию, то пусть не жалуется, если будет получать удары!

мы называем кооперативно-индивидуалистическим вариантом утопизма, да прибавка общинам земли спасут их от капитализма и помещиков, как народ начнет мирно строить свою новую экономику и поставит правительство и господствующие классы перед готовым положением вещей, легально и мирно создавшимся. Разве во Франции Прудоны, а в Германии Лассали пугают правительство и высшие классы своей пропагандой?[1]

Мы говорили ранее, что правый кустаризм только что описанной формы занял авансцену общественного движения. Это, конечно, не означает, что он был единственным действующим лицом. Нет, осколки старых бакунистско-нечаевских тенденций жили в форме так называемых бунтарей. Но в данное время не они останавливали на себе „зрачок мира“.

В. Н. Фигнер пишет: „До конца 1876 года русская революционная партия разделялась на две большие ветви: пропагандистов и бунтарей. Первые преобладали на севере, вторые — на юге. В то время, как одни придерживались в большей или меньшей степени взглядов журнала „Вперед“, другие исповедывали революционный катехизис Бакунина. И те и другие сходились в одном — в признании единственной деятельностью деятельность в народе“ (l. c., 84).

После всего сказанного нами читатель согласится, что слова В. Н. Фигнер нуждаются в уточнениях. Признать пропагандистов ветвью революционной партии можно только с теми оговорками, которые сделаны нами выше. Далее, конечно, пропагандисты и бунтари, так сказать, сосуществовали. Но если желать изобразить динамичность движения, то надо подчеркнуть, что бунтари, адепты левого крыла, продолжали ту традицию, которую теперь сменяли во времени приверженцы правого крыла утопизма — пропагандисты.

Вместе с тем В. Н. Фигнер очень верно и очень тонко указывает, что и пропагандисты-подготовители и бун-

---

[1] В духе кооперативно-индивидуалистического варианта выступала, например, С. И. Бардина на „процессе 50-ти“: „Собственности я никогда не отрицала... Каждый человек должен быть полным хозяином своего труда и его продукта“.

тари признавали только одну работу — это работу в народе. Действительно, и бунтари и подготовители представляли собой антитезу ткачевизму с его курсом на боевой отряд интеллигенции и игнорированием народа на первом, политическом этапе движения. Но не в этом тонкость замечания В. Н. Фигнер. Она в следующем. Могут сказать, что и подготовители и бунтари не игнорировали интеллигенции, ибо они работали не только в народе, но и среди интеллигенции, которая пропагандистам нужна была в качестве „педагогических кадров“, а бунтарям — в качестве „организаторов бунта“. Но это — поверхностное возражение, ибо и у тех и у других интеллигенция играла только служебную, подчиненную роль. Наоборот, у ткачевистов она была демиургом революционной истории.

Мы вскоре увидим, как раннее[1] землевольчество (1876—1877 гг.) ввело формулу: „Организация народа и дезорганизация правительства“. Первая часть этой формулы — „организация народа“ — продолжает линию бунтарей и пропагандистов, а вот вторая — „дезорганизация правительства“, — требовавшая создания особого отряда интеллигенции, была фактически первой, но тогда еще совершенно неосознанной уступкой ткачевизму. В годы же более ранние бунтари-бакунисты этой уступки еще не делали, а, следовательно, права В. Н. Фигнер, что они единственной деятельностью считали деятельность в народе, а не в других слоях страны.

Какова же была судьба тех, кто выступил в качестве „антитезы“ ткачевизма — нечаевщины? На этот вопрос совершенно точно отвечает В. Н. Фигнер: „Пропагандисты и бунтари в своей практической деятельности в народе потерпели фиаско, т. е. как в самом народе, так и в политических условиях встретили неожиданные и непреодолимые препятствия к осуществлению своей программы“ (l. c., 85).

Из двух причин катастрофы, указанных В. Н., мы начнем с политических условий, а потом остановимся на народе.

---

[1] Мы различаем раннее и позднее (1878—1879 гг.) землевольчество.

Что разумеет В. Н. Фигнер под словами „политические условия“? Она хочет сказать, что, вопреки ожиданиям некоторых наивных людей, царское правительство не заняло позиции нейтралитета, а, напротив, яростно обрушилось на деятелей движения. Почему это случилось?

Царское правительство было правительством дворянским. Дворянское же сословие, победив в 1825 г. движение декабристов, т. е. аграрной фракции буржуазии, не пошло тем путем, какой указывала эта последняя. Она хотела превратить поместье в обычное капиталистическое предприятие; она хотела спасти денежную, отработочную или продуктовую ренту путем модификации ее в ренту капиталистическую. Но дворянство в целом наметило свой особый путь: оно надеялось добиться спасения и даже увеличения старых форм ренты ценой усиления и без того мучительной эксплоатации крестьянства.

Дело в том, что развивающийся русский капитализм „с корнем рвал и дворянские роды“. Капиталистический город жестоко бил и помещичью деревню. И вот эта последняя пошла по линии наименьшего сопротивления. Она решила все свои потери возмещать за счет усиления эксплоатации мужика, ибо для следования по дороге аграрной фракции буржуазии у нее мало было основных капиталов.

Но мужик сам неимоверно страдал от развития капитализма [1] и думал поддержать и усилить свое гибнущее хозяйство той землей, которую надо бы отнять у помещика. Вековечная борьба барского двора с мужицким в

[1] Приведем потрясающие по своей силе слова Ленина: „На патриархального крестьянина... стал надвигаться новый, невидимый, непонятный враг, идущий откуда-то из города или откуда-то из-за границы, разрушающий все „устои“ деревенского быта, несущий с собою невиданное разорение, нищету, голодную смерть, одичание, проституцию, сифилис — все бедствия эпохи „первоначального накопления“, обостренные во сто крат перенесением на русскую почву самоновейших приемов грабежа, выработанных господином Купоном“ (т. XI, ч. 2, стр. 116).

Пусть призадумаются над этими словами тт. Поташ и Газганов, утверждавшие, что, по Ленину, крестьянство будто бы больше страдало от пережитков крепостничества, чем от капитализма.

атмосфере растущего капитализма дошла до белого каления: это было сутью эпохи!

Очевидно, что для того, чтоб помещик мог застраховать себя в борьбе с капитализмом на счет крестьянина, необходимо было, как непременнейшее условие успеха маневра, добиться того, чтоб крестьянин безропотно лежал под прессом, чтоб решительно никто не позвал его на протест!

В такой-то обстановке в деревню двинулись подготовители. Последняя нить спасения дворянства, повисшего на ней над пропастью, грозила оказаться перерезанной. Вот почему дворянское правительство с чисто звериной яростью, с неудержимым гневом бросилось к горлу утопистов: оно поднялось собственно не для защиты священной буржуазной собственности Шкуриных, Зацеп, Колупаевых и Разуваевых, а прежде всего для охраны оскудевавшего поместья!..

Итак, в хозяйственном базисе страны росли капиталистические производительные силы, а надстройка ее — в первую голову политические и правовые учреждения — оставалась крепостнической. Словом, в России наблюдалось в ту эпоху то же, что можно было констатировать и в Западной Европе в аналогичные периоды истории. Энгельс характеризует эти соотношения таким образом: „За колоссальным переворотом в экономических условиях жизни общества не последовало немедленно соответственное изменение его политической структуры; государственный строй оставался попрежнему феодальным, в то время, как общество становилось все более и более буржуазным“ („Антидюринг“, стр. 95).

И у нас в России базис становился все более и более капиталистическим, а надстройка продолжала оставаться крепостнической. Налицо было глубокое противоречие, которое требовало своего разрешения.

Если вдуматься во все главнейшие направления социально-политической мысли того времени, то без труда можно увидеть, что — объективно — они сводились к тому или иному решению вопроса об устранении противоречия между базисом и надстройкой.

Утопический социализм того времени представлял себе соотношение между базисом и надстройкой механистически,

отнюдь не диалектически. Ему казалось, — особенно бакунизму, — что малейшее изменение в базисе немедленно и непосредственно должно влечь за собой соответственное изменение в надстройке. Отсюда делался вывод, что рост буржуазных элементов в базисе уже повлек за собой такой же рост буржуазных элементов в надстройке, что, словом, она в России уже начала становиться буржуазной, а чем дальше, тем больше будет изменяться в этом направлении. Это вело к заключению, что необходимо сокрушить не надстройку, а самый базис, что с ним падет и надстройка, т. е. вопрос о надстройке явно производный, а, следовательно, неинтересный. И обратно, если не свергнуть базиса, то с развитием капитализма придет сама собой новая надстройка — политическая свобода, — но эта надстройка и эта свобода будут архибуржуазными, т. е. бесполезными для народа. Именно отсюда — в области мысли — проистекал пресловутый аполитицизм, питаемый в области социально-экономической — ненавистью мелкого производителя к капиталистическому способу производства, тем более повсюду торжествующему, чем больше политической свободы получает буржуазия.

Так решало вопрос о базисе и надстройке господствующее течение утопизма. Позже, в лице народовольчества, оно пересмотрело свое решение, но пока стояло на своем с упорством фанатического метафизика, формулируя свою генеральную установку словами: сокрушить прежде всего капиталистический базис!

Чем заменить сокрушенный строй? Это было так неясно самим деятелям, что наиболее распространенным среди них ответом был такой: только бы повалить капитализм, а народ уж сам устроится как нельзя лучше. Из этого ясно, что в лагере утопизма не могло быть и речи о плановом, из единого центра регулируемом коллективном хозяйстве, как понимает дело научный социализм, а решение вопроса рисовалось в смысле воскрешения так называемого „народного производства“, или, как совершенно неправильно выражается В. Н. Фигнер — „народного хозяйства“ (l. c. 139).

Другое течение, — либерально-буржуазное, — исходило из мысли, что базиса трогать нельзя; а нужно подо-

гнать к нему надстройку. Но если в 1825 г. аграрная фракция буржуазии в лице своего наиболее передового крыла мечтала о „господстве“ нового класса, т. е. об очень радикальном изменении надстройки, то либерализм эпохи 60—70-х годов, насмерть перепутанный крахом декабризма, готов был довольствоваться только „влиянием“, т. е. компромиссом с крепостниками, т. е. очень умеренным изменением надстройки. Его программа рассчитана была в ту эпоху конкретно не на политические изменения, а на изменения правовые. Вот почему либерализм того времени сделал свою цитадель из области права и суда.

К тому перепугу, которым болел русский либерализм еще со времени 14 декабря, прибавился еще страх перед массами, страх перед их революцией, питаемый ходом событий на Западе. И по этой также причине буржуазный либерализм в России того времени не мечтал о „господстве“, а добивался — максимум — только „влияния“. Ленин говорит очень метко: „Либералы были и остаются идеологами буржуазии, которая не может мириться с крепостничеством, но которая боится революции, боится движения масс, способного свергнуть монархию и уничтожить власть помещиков. Либералы ограничиваются поэтому „борьбой за реформы“, „борьбой за право“, т. е. дележом власти между крепостниками и буржуазией“ (т. XI, ч. 2, стр. 263).

Если утопические социалисты боялись политической свободы потому, что, — раз базис не свергнут, — она, по их учению, неизбежно отражает господство буржуазии, то российские либералы того времени боялись политической свободы, потому что она — по их взглядам — даст народным массам силу организации и культурного развития и тем затормозит рост капитализма. Вот почему они считали более целесообразным для себя не разрушать полицейски-помещичьего аппарата власти, а ограничиться приспособлением правовых норм к потребностям буржуазного хозяйства.

Утопические социалисты хотели сокрушить базис, т. е. не допустить в России дальнейшего развития капиталистического способа производства, при чем сплошь и рядом под капитализмом они разумели высшую его стадию, —

капитал индустриальный. Они не понимали того факта, что индустриальный капитал вырастает тем быстрее, чем более благоприятны политические условия — из других форм капитала: торгового, скупщического, ростовщического. Наоборот, буржуазные либералы хотели бы изменить надстройку как раз в интересах создания в России условий для так называемого упорядоченного капитализма, под которым разумелись европейские формы промышленного капитализма.

Но желая этого в теории, зная из Адама Смита и Джона Стюарта Милля о том, что азиатские формы капитала перерастают в формы передовые, европейские под влиянием политической свободы и определенных правовых гарантий, они на деле боялись итти до логического конца и искажали свою доктрину в интересах компромисса с царизмом. Они осуждали тех немногих из своих единомышленников, которые упорствовали в прямолинейности и не оказывались достаточно „реалистичными", достаточно поссибилистскими. В частности такой либерал, как Кони, резко упрекал своих единомышленников в том, что у них нет, — как всегда говорится в таких случаях, — политического или государственного смысла! Вот, например, что он писал: „В кружках, на которые распадается образованное общество, почти не существует никакой внутренней дисциплины. Нет ее, в особенности, в среде людей либерального образа мыслей. Трудно себе представить бо́льший разлад, нетерпимость, тупую либеральную ортодоксальность, чем какие существуют между ними. Говоря о том, что „мы друг друга едим и тем сыты", Посошков духовными очами провидел нашу либеральную партию, которая менее всего думает о необходимости сплоченности, в виду общих недугов — невежества, косности и произвола".

Как бы там ни было, разрушая базис ли, надстройку ли, — но надо было повалить дворянство, а между тем перед социально-политической мыслью того времени, не всегда ясно осознанный, стоял во весь свой рост крайне важный и красноречивый факт: обреченное историей на слом дворянство продолжает жить, обороняться, нападает, наносит раны. В чем дело? Почему этот факт имеет место?

Простое наблюдение говорило, что дворянство протягивало свои дни только потому, что могло использовать в интересах своей экономики политическую власть. И именно эта политическая власть наносила утопизму страшнейшие удары и разрушала его попытки сокрушить ненавистный капиталистический базис. Отсюда нельзя было не натолкнуться на такой вывод: если умирающий строй, умирающий класс задерживают свою смерть силой своей политической власти, то и нарождающийся новый строй, то и подымающийся на революцию класс могут тоже использовать политическую власть в своих интересах.

Ткачевизм первый сделал этот логический вывод из фактов тогдашней действительности, — и в этом его историческая заслуга, ибо утопистская мысль в своем росте и развитии приобретала на этот раз очень ценное теоретическое завоевание. Крах правого кустаризма, естественно, усилил позицию в этом вопросе ткачевизма, но мысль народничества в целом очень туго эту позицию усваивала.

А все же усваивала! Введение в программу „Земли и Воли" идеи „дезорганизаторства", — как мы уже говорили, — было первым, очень робким шагом по пути включения в общее народническое миросозерцание этого элемента ткачевизма. Тут же отметим, что В. Н. Фигнер, описывая различные этапы движения 70-х гг., для периода 1873—1876 гг. считает характерным признание только работы в народе, а для землевольческой полосы — признание необходимости работы и в других слоях общества. Это верно. Но В. Н. Фигнер не отмечает того факта, что признание последней работы вытекало из признания необходимости „дезорганизаторства", а это последнее признание было первой победой ткачевизма.

Перейдем теперь к вопросу о народе, в котором, по утверждению В. Н. Фигнер, пропагандисты и бунтари „встретили неожиданное препятствие" (l. c., 85).

Но предварительно вспомним итоги движения.

Левое крыло утопизма разбито. Сменившее его правое крыло тоже разгромлено. Необходимость свержения капитализма, обезземеливающего крестьян, губящего их хозяйства, — так ясна, так настоятельна, а все средства, испытанные до сих пор, — терпят крах за крахом! Отсюда страстные поиски новых путей, нового выхода. И вот мы

констатируем, что „пройденные уже ступени“ вновь повторяются, но на значительно расширенной, значительно обогащенной основе, а именно возникает раннее землевольчество (1876—1877 гг.).

Каковы его установки? Они вытекают из всего пережитого опыта. Без народа — нельзя, но организовать народ мешает правительство. Пропагандисты правы, утверждая, что народ не готов к социализму, понимаемому, как ассоциаторский вариант утопизма. А в то же время он, несомненно, рвется в бой. Во имя же чего он кипит и негодует? Как синтезировать в органическое целое все эти мысли, которые вытекают из жизненной практики, из тяжелой школы борьбы?

Когда развивается капитализм и обнаруживает свои убийственные для мелкого производителя стороны, среди идеологов этого последнего возникает мысль о необходимости скорейшей ликвидации капитализма. Но чем заменить его? На первой стадии борьбы рождается так называемый индивидуалистический вариант утопизма[1]. Он сводится к учению, что капитализм может быть заменен возвратом к самостоятельному индивидуальному хозяйствованию мелкого производителя. Создается знаменитая формула „свобода, равенство, братство“, но эта формула терпит жестокий крах, ибо она не только не предупреждает капиталистического неравенства, но, наоборот, расширяет его до огромных размеров, ибо на деле является формулой, расчищающей пути для передовых форм капитализма. Тогда на почве краха индивидуалистического варианта утопизма всплывает ассоциаторский вариант, провозглашающий мысль, что только производительная ассоциация может и должна сменить буржуазный способ хозяйства, а не индивидуальное мелкое производство.

Революционная интеллигенция теоретически знала, что на Западе индивидуалистический вариант антикапитализма — уже пройденный этап. Она понимала, что иного выхода в борьбе с капитализмом, кроме ассоциаторского варианта, — нет. Поэтому хожденцы пошли в народ с этим

---

[1] См. подробнее об этом в нашей работе „По поводу полемики В. Фигнер с Е. Колосовым“ („Каторга и Ссылка“, 1932 г., № 1).

вариантом. Но из опыта пропагандистов интеллигенция вывела заключение, что на русской почве еще рано, еще преждевременно выступать с ассоциаторским вариантом антикапитализма, что русский мужик инстинктивно хочет еще испробовать у себя формулу „свобода, равенство и братство“, надеясь, что при помощи ее одной он победит капиталистические тенденции, и вот эта французская формула была преподнесена в вольном русском переводе: „Земля“ и „Воля“!

Первая программа землевольцев (1876—1877) гласила:

„Требования свои мы суживаем[1] до реально осуществимых в ближайшем будущем, т. е. до народных требований и желаний, каковы они есть в данную минуту. По нашему мнению, они сводятся к трем главнейшим пунктам:

1. Переход всей земли в руки сельского рабочего сословия[2] (мы убеждены, что $^2/_3$ России будут ею владеть на общинном начале) и равномерное ее распределение[3].

2. Разделение Российской Империи на части, соответственно местным желаниям[4].

3. Перенесение всех общественных функций в руки общины, т. е. полное ее самоуправление.

---

[1] Интересно отметить, что в этой программе совсем не упоминается, что́ именно „суживается“, т. е. не говорится ни слова о программе, так сказать, максимум. Во второй программе (1878 г.) об этом, наоборот, говорится. Там мы читаем: „конечный политический и экономический наш идеал — анархия и коллективизм“ (бакунизм называл себя анархо-коллективизмом. — *Ив. Т.*). Но, — продолжает программа, — мы „суживаем наши требования“, и дальше идет, как в первой программе.

[2] Кстати. Пусть читатель обратит внимание на термин: „рабочее сословие“, под которым явно разумеется крестьянство. А между тем многие исследователи дают себя ввести в заблуждение такой терминологией, — напр., т. Книжник-Ветров явно не понимает, что и Лавров под рабочим сословием разумеет... мелких производителей!

[3] Слова „равномерное распределение“ переводят на русский язык французский loi agraire, — типичное требование индивидуалистического варианта утопизма.

[4] Здесь плохо выражено то, что впоследствии на языке пролетарской демократии звучало так: „право наций на самоопределение вплоть до отделения“.

Требования наши могут быть осуществлены только посредством насильственного переворота.

Орудием же подготовки и совершения его, по нашему мнению, служат: 1) агитация как путем слова, так и, главным образом, путем дела, направленная на организацию революционных сил и на развитие революционных чувств[1] (бунты, стачки — вообще путь действия есть в то же время и наилучший путь для организации революционных сил), и 2) дезорганизация государства, которая дает нам надежду на победу при той силе организации, которую создает агитация в ближайшем будущем".

Такова знаменитая программа, которая, по словам Веры Фигнер, „стала известна впоследствии под именем народнической" (l. с., 86).

В 1930 году Татаров, Горин, Фридлянд и Кин, — позднее, а именно в 1931 г., изобличенные в троцкистском искажении ленинизма, — утверждали, что наши утописты-народники были демократами и только; что так смотрел на этот вопрос М. Н. Покровский; что и Ленин думал так же. Насчет Покровского это было верно, но насчет Ленина они допускали вопиющую ошибку. Достаточно указать хотя бы на то, что Ленин неоднократно характеризовал изучаемую нами эпоху, как эпоху „слитности, смешанности воедино утопического социализма и демократизма", т. е. одновременного протеста и против помещичьего строя, и против капиталистического города. Отожествлять демократизм и утопический социализм Ленин не мог по одному тому, что прекрасно знал, что классический утопизм (Оуэн, Сен-Симон, Фурье) возник

---

[1] Подготовители-лавристы подчеркивали роль в движении ума, взвешивающего шансы борьбы; бунтари-бакунисты стояли за чувство, призирая „благоразумие" и т. п. качества, возвеличивавшиеся лавристами. Чтоб современному читателю было ясно, о чем тут шла речь, пусть он вспомнит „Песню о соколе": бакунисты, понявши ее по-своему, аплодировали бы словам: „Безумство храбрых — вот мудрость жизни", как в свое время они аплодировали Некрасову за фразу:

В пошлой лени усыпляющий
Пошлых жизни мудрецов,
Будь он проклят, растлевающий
Пошлый опыт, ум глупцов!

как редакция на тот факт, что демократизм не решил вопроса о „раздетых и голодных людях".

Могут возразить, что Англия и Франция породили утопистов уже после первого тура буржуазных революций, а Россия еще только стояла перед буржуазной революцией.

Но такое возражение очень слабое. В Германии утопизм процветал перед 1848 г., но никто его никогда не отожествлял с демократизмом. И даже во Франции, например, частью еще до Великой революции, частью в ходе ее, выступали такие утописты, как Жак Ру, Варлэ, Леклерк, Доливье, Шалье, Лянж, Роза Лякомб и др., которых никто не считает голыми демократами, а марксистская историография называет сторонниками „антикапитализма", „полукоммунистами" и т. п.

Итак, троцкистские контрабандисты совершенно неправы, сводя наш утопизм к переодетому демократизму.

Но вот процитированная нами народническая программа, казалось бы, целиком подтверждает их взгляды. В самом деле, в ней нет ни грана утопического социализма; осуществление лозунгов „Земля" и „Воля" — без диктатуры пролетариата на Западе — в то время привело бы только к пышному расцвету демократического „американско-фермерского", по Ленину, капитализма.

Любопытно, что даже А. И. Желябов считал эту народническую программу не социалистической. а демократической. Это станет для нас несомненным из таких обстоятельств.

Известно, что хожденцы в народ называли себя социалистами, а землевольцы, по выше разъясненным соображениям — именовались не социалистами, а народниками.

Когда вырабатывалась программа „Народной Воли", то было введено в нее такое сложное понятие: „Мы — социалисты и народники". Это понятие явно стремилось синтезировать „социализм" хожденцев, т. е. ассоциаторский вариант утопизма, с „народничеством" землевольцев первой манеры, т. е. индивидуалистическим вариантом утопизма. В. Н. Фигнер рассказывает: „в самом начале нас остановило определение: „мы — народники-социалисты". Можем и должны ли мы называть себя

„народниками“, как звали себя члены „Земли и Воли“, переставшей существовать? Не вызовет ли это смешения понятий? Не будет ли слишком отдавать стариной, затемняя смысл нового направления, которое мы хотим закрепить своим отдельным существованием? „В таком случае употребим название „социал-демократы“, — предложил Желябов. — При передаче на русский язык этот термин нельзя перевести иначе, как социалисты-народники“, — продолжал он“ (l. c., 142).

Предложение Желябова, естественно, было отвергнуто, но для нас очень интересна та параллель, которую проводил Желябов. Он явно сопоставлял в своей параллели научный социализм марксистов с утопическим социализмом хожденцев, а народничество — с демократизмом. Человек огромного политического ума, он увидел, что народничество первой манеры, т. е. раннее землевольчество — всего только демократизм.

Что же? Значит, правы наши исказители? Нет, даже эта, несомненно, демократическая, но все же антикапиталистическая программа говорит против их расширительных обобщений. Если б наши утописты были в самом деле демократами и только, то подобная программа, отражая верно их демократизм, не была бы отдельным эпизодом, вызванным особыми обстоятельствами, а стремилась бы, так сказать, увековечиться. А между тем она просуществовала только около 1½ лет и бурно эволюировала в сторону утопического социализма.

Мы выше видели, что вторая программа 1878 г. уже вводит идею maximum'а, целиком отсутствовавшую в первой. Кроме того, к словам первой программы: „требования наши могут быть осуществлены только посредством насильственного переворота“, позднее землевольчество во второй программе прибавляет крайне знаменательные, крайне типичные для утопического социализма слова: „и притом возможно скорейшего, так как развитие капитализма и все большее и большее проникновение в народную жизнь (благодаря протекторату[1] и стараниям русского правительства) разных язв буржуазной цивили-

[1] Здесь брошена мысль о насаждении капитализма в России сверху, которая впоследствии у народовольцев получила обширное развитие в качестве центральной для всей их системы.

зации угрожают разрушением общины и большим или меньшим искажением народного мировоззрения по выше указанным вопросам" („Архив „Земли и Воли" и пр.", 60).

Но и этого мало. В номере от 25 октября 1878 г. в программной статье газета „Земля и Воля" писала: „Мы выдвигаем на первый план вопрос аграрный. Вопрос же фабричный мы оставляем в тени, и не потому, чтобы не считали экспроприацию фабрик необходимой, а потому, что история, поставившая на первый план в Западной Европе вопрос фабричный, у нас его не выдвинула вовсе, заменив его вопросом аграрным. А между тем революционное движение, поднявшееся во имя земли, на другой же день роковым образом само придет к сознанию необходимости экспроприации фабрик и полного уничтожения всякого капиталистического производства, потому что, сохранив его, оно само вырыло бы себе могилу".

Даже самый упрямый человек согласится, что это не язык голого демократа, а язык социалиста, — в данном случае, конечно, утопического — ибо здесь налицо понимание, что только социализм гарантирует прочность демократии. Между прочим, эпигоны народничества, — с.-р., — находили возможным некапиталистическое развитие деревни в обстановке общего капитализма. Можно только удивляться, насколько мысль старых утопистов острее и зрелее мысли последышей...

Итак, даже землевольчество неуклонно и систематически шло в сторону утопического социализма. О народовольчестве и говорить нечего. Мы видели, что программа Исполнительного Комитета, усваивая себе „народничество", — возвращается к „социализму" хожденцев, пытаясь синтезировать эти два понятия.

Но надо признать, что в программе Исполнительного Комитета есть установки, на которых еще имеются родимые пятна землевольческого народничества.

Общеизвестно, что программа И. К. родилась в борьбе между самоутверждающимся бабувизмом и уже довольно прочно сложившимся политрадикализмом. А последний явно гораздо ближе к землевольческому демократическому народничеству, чем к бабувизму. И вот именно влиянию политрадикализма нужно приписать некоторые установки,

вернее, их неясности в программе. Когда народовольцы в ней говорят об единовременном политическом и экономическом перевороте, они представляют себе дело таким образом. Правительство насаждает капитализм, ибо оно не берет, как выражается В. Н. Фигнер, „сторону народного хозяйства“ (I, 142). Как только правительство будет снято, — прекратится рост капитализма, и воспрянут к жизни придавленные, приглушенные устои „народного производства“ [1], т. е., по-нашему, простое товарное производство мелких производителей. Выходит, что только в этом народовольцы видят свой социализм. Но такая установка очень похожа на индивидуалистический вариант утопизма, хотя слова: „мы — социалисты-народники“, говорят так внятно о варианте ассоциаторском.

Что это означает? То, что мысль народовольчества, вбирая в себя элементы ассоциаторского утопизма, шла к своему великому синтезу, колеблясь, с трудом, с ошибками. Отсюда вытекает крайне интересная частность: в программе И. К. ни разу не употребляется слово „ассоциация“, „артель“, тогда как в более поздней программе рабочих членов „Народной Воли“ эти слова уже фигурируют, и вообще в ней гораздо ярче выражен ассоциаторский характер.

В чем причина этой упорной и систематической эволюции землевольчества, а потом народовольчества от целиком торжествовавшего в 1876—1877 гг. индивидуалистического варианта к варианту ассоциаторскому? Мы ее видим в неуклонном возрастании связей с передовой частью народа, — с городскими рабочими. Пролетарий-отец опередил в своем политическом развитии мелкого производителя и уже понял утопичность, несбыточность мечтаний об индивидуалистическом варианте. Он-то и давил на землевольцев и народовольцев. Достаточно сравнить про-

[1] Вот что говорит § 3 пункта Б программы: „В самом народе мы видим еще живыми, хотя всячески подавляемые, его старые (NB!), традиционные (NB!) принципы: право народа на землю, общинное и местное самоуправление и т. д. Эти принципы получили бы совершенно новое направление в народном духе всей нашей истории“, если б сняли с народа гнет современного государства, насаждающего капитализм. Трудно яснее сказать, что „Народная Воля“ здесь смотрела не вперед, а назад!

грамму И. К. и программу рабочих членов, чтобы почувствовать влияние городского пролетариата на наших утопистов. Но здесь мы констатируем дыхание уже новой эпохи...

Вернемся же к первой программе землевольцев. Она должна была вооружить тех, кто хотел продолжать борьбу, но видел безрезультатность методов как левого кустаризма конца 60-х годов, так и правого утопизма начала 70-х. Что констатировала эта программа? Лавристы правы: народ сейчас нельзя поднять во имя „социализма"; в то же время правы бакунисты, что народ поднять можно, и поднять все же на свержение ненавистного капитализма, но поднять его можно только во имя индивидуалистического варианта антикапитализма; ткачевисты правы: надо создавать особый отряд интеллигенции для дезорганизации чужой власти. Но еще нет понимания, что власть надо сделать своей. Таковы установки программы.

Победило ли течение, ее выдвинувшее? Нет! И оно было разгромлено, раздавлено. Революционная интеллигенция отказалась от ассоциаторского варианта, чтобы, как говорила вторая программа „Земли и Воли", „не насиловать выработанного историей экономического и политического народного идеала"; в угоду народу она высказалась за индивидуалистический вариант [1], — а народ все же не восстал! И снова заработала народническая мысль.

Что же? Отказаться от веры в народ? Нет, положение; что без народа мы — ничто, оставлено в полной силе. Но не противоречит ли самой очевидности вера в народ? Нет, не противоречит. Народ восстанет, ибо страдания его чудовищны, но сорганизовать его бунт нельзя из-за того, что правительство бросило всю свою мощь на борьбу с революцией. И бакунистская мысль начинает работать в таком направлении: не потому не восстал народ, что он против — „социализма", а потому, что мешает власти [2]. От-

[1] Могут возразить: программа-де говорила об общинном землепользовании! Но в наше время даже школьники знают, что общинное землепользование постоянно и прекрасно уживается с индивидуальным товарным хозяйством общинников.

[2] В. Н. Фигнер пишет: „Революционная партия терпела второе [правильнее считать: третье. — *Ив. Т.*] поражение, но уже не в силу неопытности своих членов, не в силу теоретичности [?] программы, желания навязать народу чуждые [?] ему цели

сюда выводы: надо вернуться к социализму (мы уже видели практическое воплощение в жизни этого „возвращения") и надо усилить борьбу с правительством. Вот позднее землевольчество и начинает менять свои установки в этих именно двух направлениях: с одной стороны, оно опять подчеркивает ассоциаторские цели движения, а с другой — усиливает напор на дезорганизацию власти, но все еще не понимая необходимости самому взять власть и использовать ее для решения своих задач. Так возникает „теллизм" Морозова [1], т. е. учение, что террористическая партизанская борьба с чужой властью заставит ее сделать уступки либерального характера. Не больше. Эти два направления ясно говорят о будущих судьбах землевольчества. „Теллизм" Морозова стал отправным пунктом консолидации политрадикалистских элементов в позднем землевольчестве и народовольчестве.

Несмотря на свою страшную внешность, крайний терроризм—„теллизм"—Морозова сводился к борьбе за умеренную политическую свободу, которую даст историческое правительство, а „общество" использует для бесконечного прогресса в будущем.

и недоступные [?] идеалы, не в силу преувеличенных надежд на силы и подготовку массы; нет и нет, — мы должны были сойти со сцены с сознанием, что наша программа жизненна, что ее требования имеют реальную почву в народной жизни, и все дело в отсутствии политической свободы" (l. c., 116—117).

Эта выдержка производит двойственное впечатление. С одной стороны, в ней верно изображены те выводы, которые сделали деятели раннего землевольчества: крах наш — только из-за правительства. Но, с другой стороны, странно слышать от члена партии „Народная Воля", которая вернулась — в отличие от раннего землевольчества — к „социализму" хожденцев („мы — социалисты-народники"), утверждения, что этот социализм теоретичен, чужд народу и т. д. и т. п. Странно также говорить о том, будто передовая революционная мысль того времени хотела „политической свободы" — не больше. Как это ни парадоксально, но В. Н. Фигнер, — несомненно принадлежащая к коренному течению народовольчества, к бабувистам, — говорит здесь (к сожалению, и в других местах) языком политико-радикалистского крыла „Народной Воли", — в частности Н. А. Морозова. Выходит, что коренному течению народовольчества трудно до последней черты отмежеваться от своего „правого уклона", что это отмежевка была только в тенденции.

[1] См. о нем в нашей работе о Морозове.

Такую мысль разделяли самые различные элементы. Только архиправое народничество, — культурники, — продолжало утверждать, что и при царизме можно бороться с эксцессами капитализма и за сохранение крестьянского хозяйства. Большинство же бывших правых модифицировало свои взгляды в ином направлении: центральной мыслью стало постулирование политической свободы. А на вопрос, что будет на другой день после завоевания политической свободы, давали целую гамму различных ответов, от подлинно либеральных до право-утопистских новой формы. Вот для иллюстрации некоторые из таких установок[1]:

Фактические либералы —

политическая свобода плюс обычный буржуазный строй, но „с социальными реформами".

Демократы-радикалы —

политическая свобода плюс простое товарное производство с ограничениями крупных состояний.

Правые кустаристы[2] —

политическая свобода, при которой добродетельные правительства и парламенты — в духе Лассаля, Оуэна или даже Шульце-Делича — мирно уничтожают капитализм.

---

[1] В качестве очень типичного примера одной из политрадикалистских установок, обращавшихся на правом фланге народовольчества, приведем выдержку из передовицы в № 11—12 „Народной Воли". Написана эта статья в 1885 г. Л. Штейнбергом и, конечно, не может быть поставлена в вину бабувизму, уже истребленному настолько, что № 11—12 журнала не должен был бы считаться изданием народовольчества старой манеры. Вот эти политрадикалистские строчки:

„Если политический переворот гарантирует нам падение произвола и административной централизации, а на ряду с этим обширные аграрные реформы, мудрую финансовую и общественную политику, то не будет ли он самым лучшим фундаментом социалистического развития русского народа?"

Читатель сразу же скажет: эта пошлятина не от бабувизма! И действительно, она взята целиком из „системы" Н. К. Михайловского. Кто хоть на минуту усомнился бы в этом, пусть перечитает зараз, во-первых, программу рабочих членов партии „Народная Воля", а во-вторых, „формулу прогресса" Михайловского.

[2] Это крайне левое течение в политрадикализме можно трактовать и как течение, относящееся уже к предсоциалдемократизму (оппортунистического типа). Словом, это течение—промежуточное.

Рост таких политрадикалистских настроений пугает чистокровных бакунистов [1]. Назревают элементы раскола. Будущее движение омрачается.

Необходимость борьбы с правительством совершенно очевидна, неоспорима, но политрадикалистский тип борьбы пугает и отталкивает социалистов. Выход — в том, чтоб найти новый тип политической борьбы. И этот тип — овладение властью — был найден. Был выкован синтез бакунизма и ткачевизма — бабувизм.

Но читатель особенно прочно должен запомнить, что есть не два, а три типа политической борьбы. Первый тип — бабувистский: овладение политической властью, использование политической власти как рычага для немедленного развязывания социалистической (вернее сказать: антикапиталистической) революции. Второй тип — политрадикалистский: добиться политической свободы (а не власти), использование свободы (а не власти) для „социальных" реформ, идущих более или менее далеко, а не для революции. Третий тип — социалдемократический, а ранее его — предсоциалдемократический. Предсоциалдемократический тип распространился в процессе борьбы между собою идей бабувистского и политрадикалистского типа. Он зародился еще в землевольчестве, и деятели, склонявшиеся к нему, при расколе „Земли и Воли" оказались и в „Народной Воле", и в „Черном Переделе". Что же это за тип?

Бабувисты — за две слитые воедино революции (политическую и экономическую). Политрадикалы — за одну (политическую). А предсоциалдемократы вместе с бабувистами за социалистическую революцию, но вместе с политрадикалами против того, чтоб делать ее одновременно с политической, ибо народ не готов к социалистической революции. В отличие от бабувистов предсоциалдемократы откладывают последнюю, но в отличие от полит-

---

[1] В разраставшемся политрадикалистском „наросте" бакунисту были особенно ненавистны два момента: а) потеря веры в народ, ибо для своей реализации „теллизм" нуждался только в „особом отряде интеллигенции", и б) отказ от социалистической революции, совершенно явный — по нашей табличке — у либералов и демократов и плохо замаскированный у правых кустаристов (или левых политрадикалов) типа Михайловского.

радикалов — признают ее желательность, необходимость и неизбежность. Бабувисты за использование политической власти, политрадикалы за использование политической свободы, предсоциалдемократы и здесь посредине: при политической революции используем свободу, а при социалистической — власть!

Почему же мы их называем предсоциалдемократами, а не социалдемократами, для которых разделение во времени двух революций — один из решающих признаков („цветок“!)?

Потому, что, подобно всем утопистам, предсоциалдемократы не понимают творческой роли капитализма, а социализм свой мыслят или как голый антикапитализм, или — maximum — как ассоциаторский вариант утопизма.

Неумение различать эти три типа политической борьбы ведет к совершенно диким, невежественным обобщениям. Так, Колосов, исходя из того, что „Политические письма социалиста“ Гроньяра-Михайловского вышли в свет ранее „Социализма и политической борьбы“ Плеханова, приходит к выводу, что Михайловский первый дал решение вопроса о „борьбе за политику“ („Голос Минувшего“, 1913, VI, 101). Не говоря уже о совершенной бессмыслице словосочетания: „борьба за политику“, Колосов своими утверждениями показал, что он и понятия не имеет о том, что Михайловский представил нам политрадикалистский тип политической борьбы, а Плеханов — социалдемократический.

Из сказанного выше о предсоциалдемократах явствует, что социал-демократы признают „творческую работу капитализма“. Ленин выразил эту мысль необычайно энергичными словами: „Во всем своем историческом творчестве пролетариат берет свое оружие у капитализма, а не выдумывает, не создает из ничего“ (т. IV, ч. 2, стр. 234).

А мы уже знаем, что для утопистов всех крыльев, школ, течений, направлений, оттенков характерно именно „неприятие“ капитализма, безоговорочное отрицание его „творческой работы“.

Таким образом, предсоциалдемократизм, как и вообще левый утопизм, не постепенно перерастал в социалдемократизм, а „с перерывами постепенности“, с „изменением качества“, со „скачками“, при чем в основе изменения

идеологии лежал социально-экономический процесс „скачка“ от разоренного, полупролетаризированного мелкого производителя к пролетарию.

Известно, что предсоциалдемократизм в „Черном Переделе“ скорее перешел в развитой социалдемократизм, чем предсоциалдемократическое течение народовольчества. Крайне интересен вопрос: почему именно так сложились обстоятельства?

Мы отвечаем на этот вопрос следующим образом. „Народная Воля“ сделала последнюю попытку вызвать антикапиталистическую революцию путем „инсуррекции“. „Черный Передел“ отказался принять участие в этой диверсии, не веря в нее заранее, оставшись на старых путях. Но старые пути явно не приводили к победе. „Народная Воля“ еще сражалась, еще верила в успех своего нового маневра, когда для наиболее умных чернопередельцев выяснилось следующее: все до одной, все до единой попытки немедленно повалить капитализм — потерпели жестокий крах. Надо признать, что капитализм будет жить еще некоторое — более или менее — долгое (Плеханов в увлечении новаторством сделал ударение на „более“) время и примириться с ним. Надо как-то устраиваться в капиталистическом доме! Но если признать тот факт, что капитализм будет еще жить, а в то же время желать скинуть его, то скорее придешь к марксизму, чем тогда, когда все еще надеешься свергнуть капитализм, и не основываясь на помощи его „творческой работы“.

Между прочим в записках М. Р. Попова чрезвычайно ярко видна драматическая сторона искания синтеза „социализма и политической борьбы“ и сопровождавших эти поиски опасений, колебаний, озлобления и примирения. Теоретическую же сторону этого синтеза мы пытались показать в своей работе „1-е марта 1881 г.“, к которой и отсылаем читателя.

Мы попробовали нарисовать схему историко-революционного процесса 60—70-х гг., чтобы читатель мог, имея под рукой „рабочую гипотезу“, не просто „прочесть“ книгу М. Р. Попова, а изучить ее, попутно проверяя нашу схему. Помещаемые позади текста примечания преследуют ту же цель — помочь читателю в изучении крайне интересной и крайне важной эпохи.

М. Р. ПОПОВ

в воспоминаниях

М. Ф. Фроленко, М. А. Ладыженского
и Н. Н. Подревского

ОТ РЕДАКЦИИ

Воспоминания М. Р Попова, собранные в настоящей книге, первоначально печатались в различных исторических журналах как при жизни автора, так и после его смерти. В настоящем издании они воспроизводятся по машинописным текстам, предоставленным редакции сестрами М. Р. Попова и его племянником А. М. Ладыженским. К сожалению, большинство рукописей, оставшихся после М. Р. Попова, его родственники почему-то сочли необходимым переправить за границу, откуда получить их в настоящее время не представляется возможным. Вследствие этого редакция не могла произвести сверки с рукописями первоначального (журнального) текста воспоминаний М. Р. Попова, в котором был допущен ряд опечаток. Редакцией эти опечатки по возможности устранены. Инициалы, которыми автор, по соображениям конспирации, заменял имена и фамилии некоторых упоминаемых им лиц, почти все удалось расшифровать.

Краткие биографические сведения о лицах, упоминаемых автором, даны в именном указателе. Примечания, которыми редакция сочла необходимым снабдить воспоминания М. Р. Попова, помещены позади текста, при чем цифры, проставленные перед каждым из примечаний, указывают, к какой странице книги они относятся.

М. ФРОЛЕНКО

БИОГРАФИЯ МИХАИЛА РОДИОНОВИЧА ПОПОВА

МИХАИЛ РОДИОНОВИЧ ПОПОВ

Михаил Родионович Попов был членом „Земли и Воли“, а когда она разделилась на „Черный Передел“ и „Народную Волю“, то остался в „Черном Переделе“, придерживавшемся программы „Земли и Воли“.

Однако, несмотря на то, что теоретически Михаил Родионович был землеволец, практически он принадлежал скорей к народовольцам, чем чернопередельцам. Человек дела, жаждущий работы, при боевой натуре, он не мог усидеть в деревне, когда пребывание в ней свелось к простой лишь жизни, к обычному существованию. Благодаря стражникам, усиленному шпионству, вести пропаганду в деревне стало невозможно, и Мих. Родион. поселяется потом, в 79—80 гг., в Киеве и здесь начинает вести дело с рабочими, задумывает устройство типографии, хочет завести сношение с чигиринцами, задумывает разные террористические предприятия и т. д. Вообще вся киевская его деятельность ведется в духе „Народной Воли“, и в Шлиссельбургской крепости он мне говорил, что собирался уже перейти в „Народную Волю“, но арест помешал этому. А между тем еще в 1879 г., когда явился Соловьев в Питер и просил землевольцев помочь ему в деле убийства Александра II, Родионыч восстал всеми силами души, находя такое дело в высшей степени вредным для народников, живущих по деревням. Споры были настолько жарки, что в их пылу люди доходили до выражений, что если найдется Каракозов, то найдется и Комиссаров. Так было в споре, но большинства уже коснулось веяние времени: с юга надвигалось новое направление, и спор закончился тем, что решено было помогать Соловьеву, и Родионыч, больше всех возражавший, взял на себя слежение за выходами Александра II.

В этом сказалась потребность натуры действовать, работать, а не быть зрителем, как вышло и после Воронежского съезда, и эту основную черту Родионыча можно

легко проследить и прочтя статью Сватикова в „Галерее шлиссельбургских узников“, где о нем подробно сказано вплоть до заключения в тюрьму, и расспросив тех, кто с ним находился в заключении. До тюрьмы мы с Родионычем как-то мало были знакомы, хотя принадлежали оба к землевольцам, но встречались больше случайно и всякий раз на каком-нибудь деле. То он собирается в „народ“; то он покупает лошадь для развозной торговли по деревням Воронежской губ.; то он спешит в Питер на замену арестованного центра; то он собирает членов на Воронежский съезд, чтобы решать вопрос о терроре; то он с другими устраняет одного шпиона-провокатора, подбивавшего Т. Лебедеву устроить в Москве тайную типографию; то он в Киеве советуется насчет выбора заведующей в ту типографию, что сам задумал. Это все встречи до заключения.

Но вот сижу я в Алексеевском равелине (1882 г.) и уже успел цынгой заболеть: ноги отказываются ходить. Вдруг слышу лязг кандалов. На нас их не надевали. Кого-то, значит, привели со стороны и посадили рядом со мной. „Кто?“, „Как фамилия?“ Сей же час началось перестукивание, как только ушло начальство и наступила тишина.

„Попов!“ Слышу ответ и сначала никак не могу понять, какой Попов. Про Родионыча я знал, что он отправлен уже на Кару, и потому долго недоумевал, пока он не объяснил целой длинной истории своего привоза с Кары.

На Каре было несколько побегов. Помогала вся тюрьма. Бежали по жребию. Первыми были вынесены вне тюрьмы в столярные мастерские на кроватях, якобы для починки их, Мышкин и один рабочий. Вместо них на койки положили чучела. Побег скрывался недели две, и Мышкин добрался с товарищем до Владивостока и только тут был арестован. Через две недели были вынесены еще двое, потом еще и еще двое, но уже чаще, и тут побеги, наконец, обнаружились. Началась ловля, переловили всех, а по возвращении разные мероприятия, до избиений включительно, пали на всю тюрьму. Родионычу не выпал жребий бежать, но битья и карцеров он перенес очень много, при чем, в заключение всего, его с некоторыми

другими, как наиболее протестовавшего против насилий, привезли в Питер и одних поместили в Алексеевский равелин, других в Трубецкой. Таким-то путем и очутился Родионыч моим соседом. Из его рассказов про карийскую жизнь видно было, что и там он играл не последнюю роль и числился в разряде бунтарей, — людей, способных на все. Он был там и пекарем, он и подкопы рыл, он, составив небольшую артель, и золото добывал, он являлся и помощником старосты, когда требовалась сила и решительность. Золото промывать было надумано с двойной целью: подкормиться и деньгу скопить. Кто изъявлял желание добывать золото, тому платили хорошо за него и, кроме того, отпускалась хорошая пища с мясом (на Каре же кормили очень плохо и недостаточно). К несчастию, промывать золото сами никто из наших карийцев не умели, а уголовный, приглашенный ими в товарищи, промывал так, что они не только не зарабатывали себе на побег, как предполагалось, но еще обносились, побили сапоги, порвали одежду. Пришлось бросить. Старосте же помочь пришлось при таком случае. На Каре некоторые заключенные, исходя из того положения, что их насильно сюда привезло начальство, отказывались от повседневных работ. Не хотели убирать камеры, помогать повару по приготовлению: носить дрова, воду, чистить картофель и др. Отказывались и баню готовить. В первом случае трудно было воздействовать, и ограничивалось дело лишь тем, что предоставляли им есть нечищенный картофель, когда он бывал, а бывал он редко, но с баней вышло иное. Когда протестанты не захотели в их очередь истопить, приготовить баню, тогда староста пригласил другую очередь, и вместе с тем подобрал себе несколько человек на помощь, на случай, если явятся в баню и те, что отказались топить ее. Баню истопили, воды наносили другие...

„Готово! Пожалуйте". Пошли мыться. Смотрят, у дверей стоит староста и при нем Родионыч с товарищами. Пришли мыться и протестанты. „Вас не пущу!" — говорит староста. „Это почему? Баня казенная!.. Нас обязаны мыть!"

„Ладно! Не пущу", — говорит староста и дает знак Родионычу. Мигом он с товарищами подхватывают протестантов и оттаскивают в сторону. Так и не дали им

помыться, заставив таким путем в следующий раз уже не надеяться на то, что их обязан кто-то мыть. Родионыч играл тут главную роль, и в тюрьме на Каре вообще об нем составилось такое мнение, что ему часто приписывалось то, чего он и не совершал...

Попав к нам в равелин, он прежде всего задумал завести сношение с другим коридором, который отделялся от нашего большой камерой, где по субботам нас мыли... Родионыча посадили рядом с этой камерой.

Промежуточная камера была довольно велика, и, чтоб сидящий за ней мог услыхать стук, требовалось, по крайней мере для первого раза, стучать очень громко. Это не смутило Родионыча, и он, захватив с прогулки небольшой камешек, принялся дубасить так, что часовой сей же час поднял тревогу. Прибежал смотритель и сделал строгий выговор. Это не помогло, однако. Родионыч, переждав малое время, снова начал делать свои опыты, и опять безуспешно: сосед молчал, а смотритель, получив донесение о стуке, не упустил, конечно, случая покуражиться, делая всякие угрозы, если не прекратится стук.

Угроз Родионыч не побоялся бы, но, сделав еще несколько менее открытых попыток и не получив опять ответов, он решил оставить этот способ и принялся за новый. Нам вскоре привезли кучу песку, дали деревянную лопату и предложили желающим переливать из пустого в порожнее, т. е. перебрасывать эту кучу с одного места на другое. Родионыч и ухватился за это дело. Перебрасывая песок, он крепко прижимал к ручке лопаты записку, написанную заранее и ~~мажеть~~ намазанную жеваным хлебом. Записка, пока он работал, приставала вплотную и отчасти успевала замазаться. Поэтому жандармы, при беглом осмотре лопаты, не замечали ее, и она оставалась на лопате. Не сразу открыли ее и наши. Первый заметил Мышкин, сидевший на другом коридоре, и таким путем установилось, наконец, сношение с этим коридором.

Тут только мы наверно узнали, кто успел умереть, кто болен, кто здоров; объяснилось, почему и не было ответов, когда Родионыч стучал: сидящий по ту сторону ванной комнаты был сильно болен и затем умер,

но жандармы долго еще заходили в его камеру, якобы занося пищу. Осенью 1884 г. нас из равелина перевели в Шлиссельбургскую крепость, и тут для Родионыча наступило скоро очень тяжелое лихолетье. В равелине у нас со смотрителем как-то совсем было мало столкновений. У Родионыча, как сказано выше, началось было оно, но быстро прекратилось. У других и того не было, и этому помогла дверь скрипучая. Стучать и в равелине запрещалось, но входная дверь, когда входили дежурные жандармы или смотритель, всякий раз выдавала их приход, и стук прекращался на это время. Простой же часовой, ходивший в коридоре, как-то не догадывался или не понимал, если стучали тихо. Мы же с Родионычем делали так. Я ложился на кровать или садился за стол и начинал обгорелой спичкой записывать на столе его стук. Родионыч же, улучив время, когда часовой уходил в другой конец, быстро начинал стучать. Таким путем он мне простучал не только о событиях на Каре, но и все свои стихотворения, целые поэмы. К несчастию, не было бумаги, и хотя я их тогда заучивал наизусть, но потом забыл. Сейчас вспоминаю лишь и то не самые стихи, а лишь смысл одного места, где Соловьев в своей речи на суде говорит судьям, что „казнить меня вы, конечно, не преминете, но знайте, верю я, что на моей могиле все-таки дуб свободы разовьется!“ В Шлиссельбурге как-то о своих стихах Михаил Родионыч умалчивал, и про них никто не знал, да и сам он, верно, не был о них высокого мнения, так они и заглохли, а между тем в них много было интересного по содержанию, хотя форма и отделка хромали на обе ноги.

В Шлиссельбурге с первого же раза стук был обнаружен, и началось гонение. Некоторые, как Мышкин например, не хотели и скрывать стука. Смотря на свой перевод с Кары в Шлиссельбургскую крепость, как на похороны заживо, они говорили, что дорожить при таких условиях жизнью не стоит и потому не стоит скрываться со стуком. Как нарочно, Родионыч сидел над Мышкиным, и вот тут-то для Родионыча и начался самый тяжелый период. Его много раз таскали в карцер и сажали на хлеб и воду. Мало этого. Однажды, сидя в карцере, он вздумал подняться на окно и взглянуть чрез форточку

на божий свет. Подоконники в окнах во всех камерах очень покаты были, дабы нельзя было на них стать, но Родионыч, ухватившись за повисшую форточку (верхняя часть окна вся откидывалась вниз на петлях), поднялся и стал уже смотреть, как вдруг сорвался и повис на одном пальце. Его сняли, но палец, причинив сильные физические страдания, остался навсегда испорченным. Вскоре смотритель, видя, что карцер не прекращает стука, прибег к новой пытке: он приходил к стучащему и начинал его донимать угрозами, грубостью, намекая, что в его распоряжении есть статья о 50-ти розгах. Так было с Мышкиным и Родионычем. Им он надоедал до того, что они просили его наказывать лучше, да только оставить их в покое, но смотритель не переставал, и вот в последний раз, подойдя во время обеда к форточке Мышкина, он снова принялся за выговоры. Пища давалась через форточку в дверях. Мышкин, взбешенный выговором, когда ему стали подавать миску с тарелкой, не взяв ее, оттолкнул обратно, и она попала в смотрителя, присутствовавшего обыкновенно тут же при раздаче обеда. На другой же день Мышкина расстреляли, но в результате через день или два тот же смотритель пришел к Родионычу и сам же стал просить его постучать Арончику, который начал сходить с ума, и когда Родионыч стал выговаривать ему за Мышкина, смотритель заплакал и заговорил: „Ты думаешь, я изверг, делаю от себя! Вовсе нет! Приказывают! Служба! Ничего не поделаешь! Вот разрешили стучать, и я сам прихожу к тебе просить стучать!“ — закончил Ирод свои оправдания.

Этот Ирод, уморив в Алексеевском равелине плохой пищей и отнятием стакана молока у начавших было выздоравливать от цынги, когда потом начальство испугалось смертей и приказало кормить хорошо, говорил: „если прикажут, то и рябчиками стану кормить!“ Теперь тоже все ждал приказов к облегчениям, а пока строго выполнял инструкцию и довел 2-х до расстрела, один повесился, один сжег себя, несколько сошло с ума, очень много умерло от простуды по карцерам, от разных причин, легко устранимых при более человеческом отношении.

Наконец, привозят Гинсбург. Ее Ирод помещает от-

дельно и так запугивает обстановкой, что на другой или третий день по привозке она кончает с собой. Тогда только Ирода вызывают в Питер, делают нагоняй. С ним делается удар от огорчения, и его смещают. При новом смотрителе наш тюремный режим понемногу начинает слабеть. Родионыч пользуется этим, чтобы добиваться улучшений, и, мало-по-малу, с другими достигает, что жизнь в Шлиссельбурге становится довольно сносной. Новый смотритель хотя и посылал в департамент об нас, а особенно об Родионыче, ужасные характеристики, но побаивался его и почти всегда исполнял то, о чем хлопотал Родионыч.

В этом отношении на долю Родионыча выпало так много, что если все перечислять, то пришлось бы рассказать подробно всю нашу жизнь в крепости. Принимая деятельное участие во всех работах, Родионычу приходилось хлопотать и об улучшениях порядка в мастерских, и об увеличении земли, и о парниках, и о том, чтобы к ним позволяли выходить не двум только, а большему числу. Благодаря Родионычу завелось у нас и куроводство, хотя сам он их не водил, и т. д. В огороде Родионыч остановился на парниках, и выведение огурцов, помидоров сделалось его коньком. Он садил и дыни, и арбузы даже, но это было не главное.

В столярстве полировка и лакировка, а затем делание шкатулок обратилось у него как бы в специальность, и шкатулки его работы попали на волю. Не мало его других изделий попало и к жандармам. Они охотно делали нам заказы, сначала даром, а потом и за деньги. Платилось, конечно, недорого, но, стараясь делать возможно крепче и тратя на это много времени, дабы подгонять возможно плотней без заклепок, этим самым он уменьшал свой заработок еще более, так что в час усиленной работы выручал пять или немногим более копеек.

У нас можно было заниматься еще токарством, переплетным делом, а в последнее время и кузнечеством, но Михаил Родионович, выбрав столярство, остановился на нем и другими ремеслами уже не увлекался. Для нашей библиотеки каждый из нас обязан был переплести известное число книг, но и в таком случае Родионыч или брал на себя исполнить какую-нибудь другую работу, например де-

лание полок, этажерок для библиотеки, или присоединялся к кому другому и выполнял второстепенные работы. Зато по столярству он работал не только в мастерских, но часто еще брал к себе в камеру недоделанную вещь и тут кончал работу. В земляных работах по огороду лучшего товарища, когда требовалась работа вдвоем, например ношение земли на носилках, трудно было найти. Тут он работал до упаду, как говорится: от усталости иногда начинал даже спотыкаться, но все-таки не бросал, пока не кончал задуманного. Земельные владения наши были невелики, но удивительно, как много мы придумывали сами себе работ с землей и тратили на это очень и очень много времени и труда.

Благодаря этому, когда огородик, где я с Родионычем вели дело несколько лет подряд, стали разгораживать и сняли старый забор, чтоб поставить новый, то обнаружилось, что там, где почти не было земли (нам для гряд огородов купили и привезли землю со стороны), теперь за несколько лет мы создали слой почти в три четверти и более. В огород мы стаскивали глину, песок, стружки, все, что только попадалось где в другом месте, создавая себе массу работы, что давало возможность убить время настолько, что его нам нехватало, и мы не знали, что значит скучать, и если томились тюрьмой, то не от скуки, а оттого лишь, что были прикованы к одному месту, чувствуя над собой гнет, который во всякий момент мог обрушиться на нас и раздавить. Это-то постоянно и держало людей в каком-то ожидательно-напряженном состоянии, мешало душевному спокойствию и равновесию. Подобное настроение, особенно в первое время, вызывало часто нежелательное явление, нетерпимость к чужим словам, поступкам, желание особенно подчеркнуть замеченное бревно в чужом глазу, и у Родионыча на первых порах, благодаря этому, сложились настолько неприятные отношения с некоторыми, что он не раз жаловался мне, что его нарочно изводят соседи стуком между собой об нем же, критикой его поступков, слов. Пытаясь успокоить, я уверял его, что это, вероятно, с его стороны ошибка, но после оказалось, что один из его соседей был уже ненормален и действительно мог это проделывать. Наконец он окончательно сошел с ума и

был увезен. Его болезнь, однако, не сразу была замечена, и он иногда бывал причиной тех трений, что выходили между некоторыми, при чем он являлся большею частью лишь орудием в руках некоего Оржиха, привезенного позднее. Этот Оржих и христианство собирался принимать, и, попав к нам, стал христосика из себя корчить, а позднее подал прошение о помиловании и был помилован. Родионыч, очень чуткий ко всякой неправде и лицемерию, быстро раскусил эту личность и, по своей прямоте, стал выводить его на чистую воду. Скоро Оржих стал понятен и другим. Оржиху, конечно, это не понравилось, и тогда он, сбросив личину смирения и миролюбия, повел интригу — и так ловко, что тюрьма и не заметила, как разделилась на два лагеря. Впоследствии все это сгладилось, когда явилась возможность всем видеться, говорить, но на первых порах вызывало неприятные явления, и главным образом по отношению к Родионычу и еще двум-трем.

Оржих, притворяясь больным, якобы, сердцем, отличался в то же время замечательной трудоспособностью и энергией, и это дало ему возможность снискать расположение начальства. Поэтому, когда Оржих подал прошение о помиловании, скрыв это от большинства, то наше начальство поддержало его просьбу, хотя и не одобряло подобного поступка. Оржиха помиловали, но почему-то не сразу увезли в Сибирь; тогда он сказался больным и засел в камере. На вопрос, почему не хочет гулять (все видели, что он совершенно здоров), Оржих, наконец, признался, что боится Попова, — „побьет еще!“ — хотя у Родионыча и в мыслях не было бить его.

В 1905 г. этот Оржих во Владивостоке снова очутился в рядах революции, но, узнав во-время о надвигающейся карательной экспедиции, бросив всех и все, улизнул в Японию, а оттуда, кажись, в Чили или Перу, т. е. в Южную Америку, и стал разводить страусов, как передавал слух. Теперь он может заявиться легко к нам в Россию, поэтому на нем я и остановился немного больше, чем он стоит того. У Родионыча не было к нему даже враждебного отношения, и он относился к нему, как к хитрой, пронырливой лисице, и трунил над ним, когда он, прикинувшись умирающим, например, прыгал по двору,

по удалении жандармов, будучи вынесен на матрасе на свежий воздух. Все ушли со двора обедать в тюрьму, Оржих же, видя это, поднялся и ну прыгать, но был замечен, и обман обнаружился.

Такому-то человеку не трудно было мутить воду, и на первых порах это ему вполне удавалось, благодаря тому, что общение между нами вначале было довольно затруднительно. Позднеи, особенно, когда увезли Оржиха, отношения значительно изменились, но Родионыч уже не мог забыть прошлого и до конца держался в некотором отдалении от тех, что верили Оржиху. Этому способствовало еще и то, что, занятый парниками, столярной и вообще разными работами с лицами, более ему близкими, он и не чувствовал нужды сближаться с новыми лицами. В последнее время, когда в воздухе начала носиться надежда на возможность выхода из тюрьмы, Родионыч хотя на словах и не верил в него, но в мечтах и на прогулке со мной стал очень часто развивать мысль, как хорошо было бы собрать всех уличных хулиганов и детей-босяков в каком-либо большом городе и устроить для них земледельческо-ремесленный приют, где и заняться их воспитанием. И вот, по освобождении, в 1905—1906 гг. он вдруг получает от бывшего сотоварища по „Земле и Воле“, к этому времени разбогатевшего, предложение поехать за границу и зажить там на покое. Обещалась покупка хорошей дачи-виллы, тысяч в 40, специально для Родионыча. Тогда Родионыч вспоминает наши мечты о приюте и пишет мне, чтобы я ехал к нему, что деньги на приют теперь найдутся. Деньги на дачу он рассчитывал обратить на приют, но так как их было все-таки мало на ведение дела, то мы решили купить где-нибудь на юге или в Крыму землю с усадьбой, заняться хозяйством и на доход с него уже вести приют. В 1906 г. съехались мы с ним в Ессентуках и Кисловодске и принялись сей же час за поиски, прося знакомых искать еще и в Крыму. Вскоре стали намечаться и разные имения. Тогда Родионыч пишет бывшему товарищу, что вместо пребывания за границей он предпочитает устроиться лучше в России, и пусть он те же деньги, что обещал на поездку за границу, выдаст на покупку какого-нибудь имения в России, объяснив ему под-

робно, зачем и почему. Ответ не получился. Снова и снова пишет Родионыч, но времена меняются, меняются и благие пожелания у товарища. Он ответил, наконец, но ответил в том духе, что людям не от мира сего трудно будет повести хозяйство: мы, наверно, прогорим, а потому об нашем начинании надо еще подумать, потолковать и т. д. Так мы и остались при одних думах, разъехавшись после Кисловодска в разные стороны. Полагаю, однако, что останься Родионыч жив, теперь бы мы, наверно, попытались с ним еще раз осуществить свою мысль; по крайней мере, я еще не оставляю ее, хотя и расширяю несколько.

М. Фроленко

ПАМЯТИ ШЛИССЕЛЬБУРЖЦА МИХАИЛА РОДИОНОВИЧА ПОПОВА

I

Имя М. Р. Попова глубоко запало в мою память в год, когда я кончал гимназию в г. Дубнах, и не только потому, что оно принадлежало человеку, фигурировавшему на авансцене киевского „процесса 21-го", но и потому, что вместе с этим именем сочеталось и сплеталось имя знакомого мне по гимназии Игнатия Иванова. Прекрасного сложения, коренастый, с густой каштановой шапкой вьющихся волос на гордой голове, с открытым взглядом светлых глаз, в которых отражались энергия, ум, смелость и независимость, Игнатий Иванов импонировал и гимназическому начальству, и учителям, и товарищам. Как ни старались церберы нашей гимназии стоять на страже всей строгости и неумолимости классически-полицейского кодекса Д. Толстого, им приходилось постоянно пасовать перед И. Ивановым. Он окончил курс гимназии с золотой медалью. Учителя и товарищи были уверены, что И. Иванов сделается знаменитым ученым или получит известность на другом поприще. Когда же до нашей гимназии дошел слух, что Иванов арестован в Киеве на улице с бомбой в руках, я и близкие мне товарищи, которые уже в течение нескольких лет стали завязывать сношения с радикальными кружками провинции (Кременчуг, Полтава, Киев), были несколько удивлены и задеты индифферентным отношением и недоверием Иванова к своим младшим товарищам по гимназии. Мы были убеждены, что Иванов состоял в кругу революционеров, еще находясь в гимназии, но умел так ловко конспирировать, что никто из нас, даже самых близких к нему, не мог узнать об этом. И только потом из воспоминаний Николая Николаевича Подревского о М. Р. Попове я с удивлением узнал, что Игнатий Иванов до знакомства с Мих. Поповым был не только

политически индифферентный студент, но даже относился отрицательно к борцам-революционерам.

Большой мощью духа, могучей верой в идеал народного блага, горячим желанием приблизить истерзанный в рабстве и нищете народ к порогу счастья, заражающей ненавистью к врагам-притеснителям родины должен был обладать М. Р. уже тогда, если ему так легко и скоро удалось воздействовать на кремень-натуру Иванова и превратить его в активного борца против врагов народа, целиком покорить его сердце и душу беззаветной идее. И вся дальнейшая жизнь М. Р., полная мученичества и героизма, показала исключительность натуры этого человека. Ни судилище, ни близость эшафота, ни тернистый путь этапов, ни суровая каторга, ни Алексеевский равелин, ни ужасы Шлиссельбурга, ни предательство и ренегатство людей, которым он верил, которых он любил, — не были в состоянии повлиять на убеждения этого человека, убить в нем любовь к людям, поколебать веру в торжество идеи и унизить то, что он считал за святое-святых каждого, вступившего в ряды партизанского отряда, — а именно честь и достоинство борца-революционера.

Можно сломиться, но не должно гнуться. „Мы революционеры второго призыва" — говорит М. Р. о себе и товарищах в воспоминаниях о своем революционном прошлом.

И М. Р. действительно смотрел на себя не как на добровольца-борца, а как на воина, которого родина призвала на борьбу за землю и волю на смену павшим и выбывшим из строя.

Попавший же в плен воин своей стойкостью и бесстрашием в застенке каземата должен служить борцам на воле примером. Такие люди, уже и побежденные, уже и в заточении, не перестают быть страшны для своих врагов. Даже из могилы они шлют своим „победителям" зловещие призраки. До того непобедимы они в своей духовной силе и моральной мощи, до того они величественны в своей физической неволе.

Коснувшись этой черты натуры М. Р., я передам эпизод из его шлиссельбургского мартиролога, свидетельствующий, с каким достоинством М. Р. умел дер-

жаться с представителями „стана ликующих" при случайных и невольных встречах. Это было в Шлиссельбургском замке уже после долгих лет заточения.

Приехал ревизовать крепость известный фон Валь, бывший в то время тов. министра внутренних дел и шефом жандармов. Обходя казематы заключенных, фон Валь зашел в камеру М. Р., и между гостем и узником произошел следующий диалог.

— Нет никаких претензий? — спрашивает генерал.

М. Р. указал на суровый и жестокий режим, который применяется к заключенным, несмотря на то, что многие из них уже долгие годы находятся в заточении, и что обычно в каторжный режим с течением времени вносятся послабления даже для самых тяжких уголовных. Осведомившись о фамилии М. Р. и о приговоре над ним, фон Валь заявил:

— Облегчить участь может т о л ь к о р а с к а я н и е, т о л ь к о р а с к а я н и е.

Одно лишь слово покаянья —
И снова жизнь твоя в цветах.

М. Р. обратился к фон Валю:

— А как бы вы, генерал, поступили на моем месте?

Генерал был до того опешен и ошеломлен таким оборотом беседы, что сначала не нашелся, что ответить, и, оправившись, выпалил:

— Что вы?! Что вы?! Я никогда государственным переворотом не занимался.

На этом визит и закончился.

Но лучше я умру в цепях
В тюрьме, или в стране изгнанья
Найду могилу без креста,
Чем ложью оскверню уста,
Чтобы спастись от поруганья.

М. Р. „ложью не осквернил уста" и продолжал стойко выносить все жестокости и издевательства тюремщиков.

Об эпизоде с фон Валем мне пришлось услышать от М. Р. случайно, так сказать, „по поводу", в день похорон его матери, Веры Алексеевны (моей тещи). Это было в начале сентября 1908 года, незадолго до заболевания

М. Р. Я получил разрешение приехать на похороны Веры Алексеевны из ссылки (Астрахани). М. Р. бегал в охранку и к градоначальнику справляться, разрешат ли мне приехать в Ростов н/Д на похороны матери. Разрешение получилось, но с условием, чтобы я явился в управление градоначальника и заявил, сколько дней я думаю пробыть в Ростове.

Я приехал как раз в день похорон, и, несмотря на это, М. Р. все торопил меня в тот же день побывать у градоначальника. Руководил ли им „долг" поручителя, или у М. Р. была тайная надежда, что я, быть может, смогу уже остаться в Ростове и не покидать больше своих пенатов, — не знаю. Быть может, то и другое вместе.

Возвратясь после пережитых за день тяжелых впечатлений вместе с М. Р. в квартиру моей семьи, я передал ему о результате моего визита к градоначальнику.

Вместо 6 дней, которые я предполагал остаться, мне дали 9 дней и в управлении градоначальника мне намекнули, что я мог бы вернуться из ссылки совсем, если бы дал „некоторые гарантии", написал бы „некоторое прошение с обязательством".

Словом, „одно лишь слово покаянья" — и окончатся все мытарства и муки ссылки. Я знал, как М. Р. хотел, чтобы я был вместе с ним, вместе со всей нашей семьей. Но я сказал ему, что снова скоро он проводит меня в далекий путь обратно...

М. Р. был однако очень терпим к людям и, сам стойкий и непоколебимый, он не предъявлял к людям мерки высшего и застывшего ригоризма. Как совершенно верно характеризует его товарищ юности, Ник. Ник. Подревский, в М. Р. не было жестокости, сектантства, не было черт многих псевдоолимпийцев, весьма строгих к другим и весьма снисходительных к себе...

II

Поступив осенью 1880 г. в Новороссийский университет на естественное отделение физико-математического факультета, я сначала попал в кружок, который группировался около любимого и популярного А. С. Посникова

и который носил характер немецкого „семинара“. Здесь занимались изучением общественных наук, писались рефераты по политической экономии, финансам, статистике, и проч. Происходили дебаты, делались переводы с классических трудов, преимущественно известных немецких политикоэкономов и финансистов.

В кружке видное место уже тогда занимал безвременно и мученически погибший М. Я. Герценштейн. Но не долго мне пришлось увлекаться чистой наукой. Я примкнул к кружку Тригони-Дрея и после провала очутился осенью 1881 г. в Швейцарии.

Здесь мне снова пришлось услышать имя М. Р. Попова. Здесь между прочим я познакомился с будущей моей женой, с сестрой М. Р., Надеждой Родионовной, которая переживала острую еще скорбь по поводу потери любимого брата. Н. Р. еще никак не могла оправиться от потрясения, пережитого за время, в течение которого над головой осужденного к смерти дорогого человека витала петля палача. В Швейцарии я встретил бывших товарищей М. Р., и яркий облик последнего вырисовался передо мной из рассказов о нем стоявших близко к нему и любивших его людей. Когда же я стал членом семьи Поповых, где в течение долгих лет все неустанно жили мыслью и думали о заживо похороненном, и моя мысль и мои думы часто уносились за те мрачные каменные стены, откуда только долго спустя после заточения, и то изредка, в дорогих, но процеженных сквозь железные прутья решетки и обвитых кольцами цепей строках М. Р. доносится живой звук, отклик доброй и не унывающей души.

Часто на белом листе вместо строк тянулись черные линии, точно отпечаток железных полос, и вместо писем в руки родных, по меткому сравнению покойной матери М. Р., попадали „транспорантки“. Так тщательна и беспощадна была казематская цензура. Но мы, родные, знали, что дорогой наш узник жив, что он здоров: мы видели строки, написанные его твердой рукой. Надежда, томительная надежда увидеть М. Р. с новой силой воскресала в груди.

И надежда эта, наконец, осуществилась.

III

28 октября 1905 года М. Р. был привезен из Шлиссельбурга в Петропавловскую крепость и отсюда 15 ноября отпущен на родину. 18 ноября М. Р. прибыл из Петербурга в Нахичевань н/Д. Но прибыл далеко еще не свободным гражданином. Два переодетых жандарма сопровождали его до Новочеркасска и „сдали“ областному жандармскому генералу Тихановичу. Из Новочеркасска при жандарме и „бумаге“ М. Р. был препровожден в Ростово-Нахичеванское жандармское управление и здесь „принят“ и водворен под гласный надзор полиции в Нахичевани-на-Дону.

Зловещие аксессуары, которыми сопровождалась октябрьская амнистия для шлиссельбуржцев, и то обстоятельство, что оковы были сняты не со всех узников, наводили не одних только скептиков на тяжелые размышления... Жутко становилось за судьбу провозглашенных „незыблемых основ“ российской гражданской свободы, отданных для насаждения П. Н. Дурново. Но угар от мгновенного восторга, охватившего массы, поверившие, что оковы разбиты навсегда и что для российского забитого обывателя наступил наконец счастливый момент освобождения, был так силен, что затуманил сознание и застлал густой пеленой оптимизма все происходившее.

А факты были ужасны.

Очистившиеся после амнистии в Ростове тюрьма и участки стали быстро наполняться целыми десятками. Новоявленные граждане приводились в узилища с явными признаками прикосновенности личности, до того явными, что прежде чем препроводить дорогих гостей в общую или одиночную камеры, предупредительная тюремная администрация вызывала врача или фельдшера для наложения хирургической повязки.

На пороге были декабрьские дни.

В это тревожное время я в первый раз увидел М. Р. в квартире его матери в Нахичевани. Это было вечером. Предстоявшая встреча с М. Р. меня очень волновала. И вот в небольшой столовой, где собрались почти все родственники и близкие друзья, я сразу попал в объятия того, кого узнать требовалось лишь одно мгновение. Так характерна была вся эта фигура с мужественной осанкой,

благородными чертами лица и глубокими глядевшими глазами, к которым невольно сразу приковывалось все внимание. Острые, проникающие как бы в душу серой сталью, со строгим выражением, они отражали всю бездну вынесенных М. Р. страданий, мук, скорби, горя, лишений, колоссальную душевную борьбу и лучились таким умом и такой сердечной теплотой, что притягивали к себе неудержимо и властно.

И это выражение глаз — отпечаток всей пережитой жизни, отпечаток глубоко залегшей скорби — не могли стереть ни страшная болезнь, ни муки длительных предсмертных дней, ни даже последние минуты тяжелой агонии. Кто раз видел глаза М. Р., тот, кажется, никогда не в состоянии будет забыть их.

Я ожидал встретить изможденного старика, хилого и болезненного, и был поражен, увидев мужественного мужчину с значительно поседевшей окладистой бородой и такими же волосами, оттенявшими большой выпуклый лоб. Все движения, можно сказать, юношеские; такая же порывистость, оживленность и бодрость. М. Р. сразу стал входить в курс всего происходившего, живо отвечал на вопросы, живо осведомлялся о происходившем в Ростове движении.

Я привез ему вышедший в тот день номер „Донской Речи" с статьей, озаглавленной „К приезду М. Р. Попова в Ростов-на-Дону", и фельетоном М. Р., в котором последний передал один эпизод при прощании с Шлиссельбургской крепостью. Фельетон был написан М. Р. в Петропавловской крепости и привезен в Ростов еще до приезда туда М. Р. сестрой его, Софьей Родионовной, которая получила рукопись от брата при прощании в Петропавловской крепости, так как С. Р. спешила в свою школу и выехала домой несколькими днями раньше. Как известно, шлиссельбуржцы, попавшие в 1905 г. под амнистию, были освобождены не сразу, а попали предварительно в Петропавловку, откуда уже были окончательно выпущены на волю.

В фельетоне М. Р. рассказывалось о том, как уже совсем при отъезде из Шлиссельбурга к М. Р. на шею бросился старый жандарм и стал со слезами на глазах целовать своего „№ 5-го" (под этой „меткой" значился

М. Р. в Шлиссельбургской крепости) и напутствовать самым трогательным образом.

— А вот родного сына и не придется прижать к груди, — сказал старик, растроганный сердечным ответом М. Р. на его напутствие.

Оказалось, что сын этого жандарма погиб в освободительной борьбе...

Фельетон был написан М. Р. под впечатлением прелестной миниатюры В. Г. Короленко, помещенной в IX книжке „Русского Богатства“ 1905 г. под заглавием „Командировка“.

Книжка „Р. Б.“ попала к М. Р. в Петропавловскую крепость пред отправкой его на родину. У жандарма, конвоировавшего чахоточную „политику“ (в очерке В. Г. Короленко), и у жандарма — тюремщика М. Р. — не потухла искра человеколюбия, несмотря на долголетнее жестокое занятие, к которому они были приставлены.

Фельетон М. Р. был написан в мягком, трогательном тоне.

Так писал узник о своем тюремщике. Какой любовью к людям, каким всепрощением должен был обладать этот редкий человек?!

В этот же вечер М. Р. рассказал нам, почему застрял в Новочеркасске.

Областному жандармскому начальнику Тихановичу, очевидно, было весьма любопытно поближе познакомиться с такой крупной личностью, как М. Р., и он задержал его под предлогом выполнения некоторых формальностей.

Жандармский ветеран вел беседу с ветераном революции за чашкой чая и тут же, как бы невзначай, показывал редкого гостя своим чадам и домочадцам. И слушая рассказ М. Р. о его беседе с жандармским генералом, я невольно задавал себе вопрос: неужели передо мной человек, сейчас только вышедший из страшного застенка? Так прощать врагам может только человек, обладающий сверхлюбовью к людям.

К М. Р. были приставлены два переодетых стражника, которые попеременно должны были сопровождать его повсюду. Помню, как М. Р. все волновался, что эти люди должны из-за него мерзнуть на улице (дежурили церберы обыкновенно около ворот), и хлопотал, чтобы

их накормили, позволили обогреться, или дали им чарку водки. Но вскоре стражники понадобились для другого и их откомандировали от М. Р., чему в нашей семье весьма обрадовались, так как для М. Р. отпадала постоянная забота о людях, которые должны были надзирать за ним.

IV

М. Р. быстро освоился с новыми условиями жизни, стал деятельно разыскивать и навещать старых знакомых и друзей, появляться на митингах и вообще входить в гущу жизни, которая в это знаменательное время представляла собой действительно весьма своеобразный калейдоскоп.

М. Р. прислушивался, присматривался, жадно прочитывал газеты и разные „листки", но активно не выступал.

Я видел, как трудно было этой боевой натуре держать нейтралитет в происходившей кругом борьбе. Он еще не разобрался в реальном состоянии борющихся сил. Ведь тут шла борьба не только против гнета правительства и старого режима, тут боролись из-за гегемонии прогрессивные и революционные группы между собой.

М. Р. покачивал головой, ходил мрачный и укоризненно относился к тем, кто все больше и больше запутывал создавшуюся „неразбериху". И затем он считался на поруках матери и прекрасно понимал, какой неоценимый залог имелся у правительства, как гарантия его нейтралитета. Этим залогом были считанные дни заката жизни глубокой старухи матери, которая долгую четверть века неустанно и назойливо стучалась в мрачные стены тюрем, поглотивших ее сокровище-сына, и которая своими письмами приносила весточку с воли, поддерживала бодрость и питала жизнь.

Я видел несколько раз М. Р. на митингах, где ему устраивались шумные овации и избирали почетным председателем. Я поражался, с какой скромной простотой этот человек принимал приветствия публики. Вообще мне еще не приходилось встречать такого отсутствия тщеславия, отсутствия стремления афишировать себя или вообще

выделяться, как у М. Р. Скромность М. Р. была прямо-таки редкая. Отличался он и редкой добротой, нежностью и привязчивостью.

Памятными остались для меня его свидания со мной в тюрьме.

V

Не много дней пришлось мне провести вместе с М. Р. Да и те немногие дни почти всецело уходили у меня частью на обычную возню с больными, большей же частью — на политическую работу, и только поздно ночью или за обедом нам удавалось бегло обмениваться пережитым за день и вынесенными впечатлениями. О прошлом не было времени говорить, хотя я жаждал узнать хоть немногое из той замогильной его жизни, из которой он только что вернулся.

Нам приходилось говорить о настоящем, о тактических ошибках разных местных руководителей движения, о розни и неумении русских людей быстро и решительно столковываться даже по поводу самых простых вещей. М. Р. все больше и больше волновался за будущее: чем-то окончится вторая забастовка? Развязка не заставила себя долго ждать. Мы стояли у ее порога. Это были декабрьские дни, дни открытого расстрела свободы. 13-го декабря меня схватили на улице и, до полусмерти избитого казаками, доставили во 2-й участок, а оттуда в тот же день в тюремный лазарет.

Я был оторван от всех и вся и, конечно, и от М. Р. Но он скоро, кажется, уже через неделю, сумел добиться свидания со мной и устроить свидание близким родным. У него была особенная способность воздействовать на жандармов, высших и низших чинов, прямо-таки дар. И действовал М. Р. не просьбами, не настойчивым обиванием порогов жандармских „канцелярий“, а убеждением и логическими доводами. Он умел затронуть в этих черствых людях das ewig Menschlich [1], которое таится в глубине даже самой жестокой и заскорузлой души.

[1] Вечночеловеческое.

VI

Я никогда не забуду этих свиданий М. Р. со мной в ростовской тюрьме. Всегда нежный, ласковый, он умел ободрить хорошей вестью, поделиться важным событием, передать денежную помощь для заключенных. И во время свидания то обнимет, то руку пожмет. Появление М. Р. в тюрьме всегда производило сенсацию среди политических и особенно среди крестьян-трудовиков, для которых имя М. Р. было не чуждо, так как среди крестьян Ростовского округа имя М. Р. было довольно популярно. И на общих тюремных прогулках сидевшие со мной крестьяне — все интересовались дальнейшими намерениями и планами М. Р. Так и казалось, что вот они выскажут затаенную думу, просившуюся с языка... „Да, если бы М. Р. вот сейчас пошел добывать „миру" землю и волю, то „мир" пошел бы теперь за ним всей громадой".

Шли выборы в первую Думу, и тюрьма наполнялась сверх краев. У политических чуть ли ни ежедневно отбирались маленькие „хартии вольности", которые они получали при вступлении в тесную хотя, но гостеприимную обитель.

В этой хартии каждому вписывалось, за кем он „числится". Кто за охранкой, кто за градоначальником, кто за мин. внутр. дел, кто за судебным следователем. Стаж скоро менялся, прогрессировал, и соответственно с этим и запись в формальной хартии менялась. „Числиться за Дурново" значило 4 месяца высидки и ссылку на 3—4 года в какую-нибудь отдаленную губернию.

Я проделал все административные стажи и, как больной, был выслан в Астраханскую губ. Грустный проводил меня М. Р. в путь-дорогу и старался на прощанье уверить меня и себя, что когда соберется Дума, она добьется настоящей свободы, а с ней, конечно, и всеобщей амнистии.

Расставшись с М. Р. по выходе из тюрьмы в апреле 1907 года, я его снова увидел в начале сентября 1908 года, когда благодаря хлопотам М. Р. я получил разрешение приехать на несколько дней в Ростов на похороны его матери. Новая встреча — опять при необычайных условиях. Меня встретил тот же М. Р., какого я оставил полтора года назад. Та же осанка, то же открытое славное лицо, те же дивные глаза, та же энергия и бод-

рость, та же деятельная подвижность. За этот период, что мы не виделись, М. Р. успел написать свои воспоминания в „Былом", „Минувших Годах", „Сборнике о минувшем".

М. Р. сотрудничал в ростовской прогрессивной прессе, сеял у брата на хуторе хлеб, ухаживал за тяжело больной матерью, переписывался с товарищами по крепости и устраивал встречи с ними то у себя, то на Кавказе.

По рассказам брата М. Р., Алексея Родионовича, крестьяне и рабочие всегда с большим нетерпением ожидали приезда на хутор М. Р. Он сердцем шел всегда навстречу людям, и немудрено, что привлекал к себе их сердца.

Грустные дни наступили после похорон матери М. Р.— Веры Алексеевны. М. Р. ходил ежедневно с родными на ее могилу и принялся деятельно подготовлять необходимое для постановки памятника. Потеря матери была первым страшным ударом в личной жизни М. Р. после выхода из Шлиссельбурга.

Но это не была натура, способная замкнуться со своей душевной и сердечной раной. „Мертвые отдыхают,—писал он в одном письме к сестре в Астрахань.—Живым нужно делать живое дело". Для М. Р. же делать живое дело значило всецело делать его для других.

Личной жизни для этого человека не существовало.

Он принялся устраивать сестер, живо горевавших о постигшей их потере; он облегчал им тяжелые дни удвоенной любовью и вниманием. Но замкнутые рамки своей лишь семьи с ее интересами были тесны для любвеобильного сердца, и в то же время он строил планы новой жизни, новой работы.

Но судьба готовила иное. Как всегда счастливый и подвижный, М. Р. 14 сентября 1908 года проводил меня в обратный путь в Астрахань. Уже тогда он жаловался на какое-то недомогание. Я приписывал эти жалобы просто утомлению за последние дни болезни матери, за время похорон и проч. И сам М. Р. не придавал серьезного значения своему недомоганию. Он ездил в с. Самарское, где возился с памятником на могиле отца; ездил к брату насчет оранки и посева. Но в средних числах октября

М. Р. сразу слег, и тотчас видно было, что он заболел тяжелой болезнью. Когда через месяц М. Р. повезли в Петербург для точного диагноза и для предполагавшейся операции, ему уже трудно было выдержать сравнительно непродолжительную дорогу. Получив известие 9 декабря о безнадежности состояния М. Р., я 16 декабря приехал в Петербург.

VII

Прошло всего три месяца со дня нашего последнего свидания. Но как переменился за это время М. Р.! Он был пригвожден к постели, страшно исхудавший, с землисто-желтым цветом лица, с глазами, еще глубже ушедшими в орбиты. Но выражение этих глаз осталось то же, пожалуй еще более скорбное, более страдальческое, более неземное, так как к мукам прошлого прибавились муки настоящего, муки тяжелой болезни, муки предчувствия, что жизни настает конец. А М. Р. так хотелось еще жить! Ведь впереди еще столько дела: на очереди еще столько планов! В запасе такой непочатый запас сил, энергии и железной воли!

И в болезни сказалась вся благородная, возвышенная натура этого редкого человека. Он терпеливо переносил все муки и страдания и страшно волновался потом, если в припадке невыносимой боли порой выражал какую-нибудь резкость по отношению лиц, ухаживавших за ним или лечивших его. Он тут же спешил извиниться. От М. Р. скрыли истинный характер его болезни, и он хотя и предчувствовал, что дела его плохи, все же не терял надежды на выздоровление. Ему хотелось скорей обратно домой на юг, и еще за три дня до смерти он старался сидеть в кресле по часу и более, тренируя себя для дороги. Сколько силы воли нужно было для этого! Как врач, я прямо поражался, как этот изможденный и истощенный человек мог оставлять постель и проделывать над собой такие эксперименты. Но это был старый ригорист, для которого невозможное могло наступить только с моментом начала агонии. Великий дух тут всецело властвовал над бренным телом.

И, как всегда, беспредельный интерес ко всему, что

делалось на родине (почти до последних дней М. Р. заставлял, чтобы ему читали газеты), интерес к друзьям, с которыми вел беседу часто с страшным напряжением остатка сил.

Помню я, дня за три до рокового исхода сестра Михаила Родионовича — Софья Родионовна, М. Ф. Фроленко и я сидели около М. Р., который находился в полузабытьи и полубредил. Нужно заметить, что за месяц, проведенный мной у постели М. Р., мне часто приходилось слышать его бред. И большей частью содержание бреда отражало или идейный спор, либо эпизоды из казематной жизни, либо думы о положении несчастного русского народа. Как-то раз М. Р. особенно громко, точно доказывая кому-то, выкрикнул в бреду: „Еще много придется выстрадать русскому народу“. Вообще бредил М. Р. всегда твердым голосом, отчеканивая каждое слово и в складных выражениях. Мозг М. Р. работал непрестанно и непрерывно, и бессознательная мысль шла по бороздам, прорытым острыми зубьями мученически прожитой жизни. Жутко становилось при этих переживаниях минувшего.

Уже я сказал, что в М. Р. поражало отсутствие всякого тщеславия, всякого желания выставить себя на показ, быть предметом всеобщего внимания; поражало, как мало ценил себя этот человек и как удивлялся, когда становился объектом внимания даже со стороны близких родных. Этот человек не только не переоценивал себя, но прямо не дооценивал. Когда я приехал в Петербург, М. Р. при первой же встрече пожурил меня, что я бросил практику и пустился в такой далекий путь, чтобы повидаться с ним. То же самое он заметил учительнице-сестре, Марии Родионовне, когда та воспользовалась рождественскими каникулами и приехала в Петербург побыть около брата.

— Все свое жалованье потратила вот на поездку для свидания со мной, — пожурил М. Р. сестру, приезду которой очень обрадовался. Когда родные заявляли М. Р., что ради него никакие траты с их стороны не могут казаться великими и что он стоит не такого внимания, он детски наивно и искренно удивлялся: „За что?“.

М. Р. страстно стремился вырваться из Петербурга и последние дни пред смертью все повторял, что если он

безнадежен, то скорей бы увезли его, чтобы как-нибудь добраться до Ростова.

— Не хочу лежать в этом гноище — Петербурге, который, как вампир, высасывает из всей России все живые соки и где мне пришлось столько выстрадать, — сказал как-то незадолго до смерти М. Р., — похороните меня около матери и Ильи [1].

Но чтобы привезти М. Р. обратно в Ростов, нужно было вновь хлопотать по начальству. Для этого требовалось согласие ростовского градоначальника.

Поездка М. Р. в Петербург была улажена также не без препятствий. Только благодаря вмешательству М. С. Аджемова (ростовского депутата Гос. Думы) удалось через наказного атамана в Новочеркасске получить разрешение на приезд М. Р. в Петербург. Естественно, что родные имели основание опасаться, чтобы ростовская администрация не причинила М. Р. какой-нибудь неприятности при его возвращении в Ростов. И М. С. Аджемову пришлось снова устранять камни преткновения с пути М. Р.

М. С. приехал в лечебницу сообщить М. Р., что хлопоты увенчались успехом, что он, кстати, на приеме у тов. мин. внутр. дел Макарова встретился с ростовским градоначальником Зворыкиным, и, между прочим, передал, как у Макарова полковнику Зворыкину „был дан урок наглядного обучения": какая разница между народным представителем (властью законодательной) и представителем администрации, даже автономной (властью исполнительной). Депутат Аджемов был принят вне очереди товарищем министра внутр. дел, а администратору пришлось еще подождать в приемной. Оживленно передавая об этом факте, М. С. убежденно хотел подчеркнуть, как крепнет „престиж власти" наших „народных представителей" в глазах высшей администрации и как власти в центре стараются, чтобы это усвоили и „власти на местах".

Слушая рассказ М. С. Аджемова о приеме у г. Макарова и об „уроке наглядного обучения", данном последним ростовскому администратору (власть исполнительная

---

[1] Илья Родионович Попов, брат М. Р., революционер, отбывший поселение в Сибири за участие в демонстрации на Казанской площади.

да посторонится перед властью законодательной), Михаил Родионович сказал:

— Блаженное довольство малым народных избранников, которые в поисках за кладом народной свободы рады и горсти попавших в руки дождевых червей.

— Но отними и эту „горсть дождевых червей", как ты говоришь, и у этих избранников народа останется одно сознание своего бессилия, — сказал тот.

М. Р. не удалось однако воспользоваться милостивым согласием ростовского градоначальника на его возвращение в Ростов. Болезнь быстро развивалась, причиняя адские страдания. Рак печени распространился на плевру, и силы больного быстро падали. Везти М. Р. было немыслимо.

Трое мучительных суток агонии, и в ночь на 4 января 1909 г. М. Р. не стало.

VIII

Жутко становится при одном воспоминании об этих последних днях и ночах, проведенных у постели М. Р. Злая судьба точно в насмешку возродила пред нами М. Р., чтобы показать на короткое время этого могучего, чудного человека и безжалостно и предательски отнять в тот момент, когда он только начинал жить, когда он так страшно стремился работать для любимой родины. И родина, скованная цепями исключительных положений, не могла достойным образом отдать последний долг своему мученику.

По закоулкам и уличкам окутанной вечерней мглой серой и гиблой северной Пальмиры полиция конвоировала прах М. Р. до Николаевского вокзала, сорвав все ленты с возложенных на гроб венков.

Похороны М. Р. в Ростове-на-Дону происходили при еще более чрезвычайных мерах. И снова „власти законодательной" пришлось хлопотать пред „властью исполнительной". М. С. Аджемову пришлось отстаивать пред полковником Зворыкиным право на „свободные" похороны своего согражданина. Несмотря на все маневры полиции, пытавшейся устроить похороны ночью и сбить с толку публику о времени погребения, народу собралось масса. Среди многочисленных венков самым выразительным был

красный терновый венок „от друзей“. И в pendant к нему хороша была речь, сказанная в церкви бывшим товарищем М. Р. по семинарии, священником о. Калистратом Тарасьевым.

Он говорил, что еще с детских лет, когда М. Р. учился в семинарии, он учил бороться с неправдой и потом всю жизнь свою положил за други своя, стремясь к правде человечной и прекрасной. У могилы речи были запрещены. Венки были заключены под арест в кладовой смотрителя кладбища, а на кладбище оставлен для надзора жандарм.

Увы! Судьбою не было М. Р. дано, чтоб волен был хоть в гробе он.

Милый, добрый М. Р.! Как искренно был бы он огорчен, если бы, встав из гроба, увидел у своей могилы на страже бравого вахмистра.

М. Р., наверно, с укоризной сказал бы:

— И зачем тревожат этого бедного из-за меня и заставляют зябнуть на морозе?

Мой сын Александр, описывая мне похороны М. Р., сказал: „И после смерти не хотят „они“ покинуть дядю. Верны до последнего мгновенья. Кажется, достаточно мучили живого. Теперь боятся мертвого. После мытарств и треволнений, которые пришлось пережить, пока мы проводили дядю к месту вечного упокоения, сразу почувствовалась страшная пустота, которая образовалась со смертью этого человека. Многое я хотел ему сказать, о многом спросить“...

Да и для пишущего эти строки со смертью М. Р. наступила страшная пустота, и я думаю, что великую потерю должны были почувствовать все те, кто хоть недолго сталкивался с этой идеальной личностью.

Среди мрака, гнили и тины русской жизни яркая, цельная и идеальная натура М. Р. выступала очень рельефно. И весьма удачна была надпись на ленте одного из возложенных на гроб венков: „Чем ночь темней, тем ярче звезды“. В пантеоне борцов, павших за благо и счастье русского народа, за лучшее будущее родины, прекрасный облик М. Р. Попова будет выделяться в первых рядах.

Мих. Ладыженский

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О М. Р. ПОПОВЕ

Я познакомился с М. Р. в 1879 г. Это было тяжелое время для революционеров в Киеве. В феврале имели место многочисленные аресты, а в мае — казни. Погибли на виселице Осинский, Брандтнер и др. Оставшиеся на свободе притихли и притаились, так как не было организатора, который умел бы объединить сильных и ободрить малодушных. Ведь в то время борьбу с правительством выносили на своих плечах единицы в буквальном смысле этого слова. Общество хоть и сочувствовало борьбе, но было робко и пассивно.

Кажется, в сентябре месяце, если не ошибаюсь, приехал в Киев М. Р. именно с целью объединить разрозненные элементы. Он сразу привлек меня к себе. Среднего роста, стройный, с небольшой бородкой, с насмешливой улыбкой, веселый, жизнерадостный, крайне подвижный и энергичный, он быстро завоевал симпатии киевлян. Он явился в Киев инкогнито, под именем „Василия Николаевича", заимствовав псевдоним из Тургеневской „Нови". Это был в полном смысле человек дела. Он, кажется, ни одной минутки не мог оставаться без работы для осуществления революционных планов. Чтобы показать, как сильно было влияние М. Р. на людей, приведу в пример Игнатия Иванова, безвременно погибшего в Шлиссельбургской крепости. В 1879 г. это был молодой студент университета. До мая месяца, т. е. до казней, Иванов был противником освободительного движения и громогласно среди товарищей порицал революционеров. Случайно он присутствовал при казнях. С этого времени он стал задумываться. Мужество, с которым умерли осужденные, глубоко поразило его. Натура его была цельная, и, в этом отношении, он был много похож на М. Р. Он стал искать людей, которые бы разъяснили ему суть революционного дела. Но книги и слова его не удовлетворяли.

В это время раздумий и сомнений он познакомился с

Поповым. В нем он сразу признал того человека, которого искал. Из колеблющегося и сомневающегося он сделался сразу самым горячим и деятельным революционером. Он привязался к М. Р. всей своей страстной и дикой душой и исполнял все его поручения, не колеблясь и не задумываясь. На него возлагались самые опасные поручения, которые он исполнял с удивительным спокойствием и даже веселостью. Такое сильное влияние М. Р. производил и на других. Не удивительно, что в самое короткое время он составил довольно многочисленную группу единомышленников.

Мы с М. Р. быстро сошлись в программных вопросах. Это была в сущности старая программа „Земли и Воли", несколько видоизмененная. Организация народа и дезорганизация правительства должны итти совместно. Члены групп распределили между собою занятия по способностям каждого.

М. Р. обнаруживал замечательную тактичность в сношениях с людьми. Узости взглядов, нетерпимости, сектантства в нем не было и признаков. Он бывал на студенческих пирушках и вел себя на них как студент, так что публика и не подозревала, что на вечере находится нелегальный, разыскиваемый полицией и продолжающий заниматься революционной деятельностью.

Сверх того М. Р. замечательно ловко умел скрываться от шпионов. Как известно, киевская группа потерпела неудачу вследствие того, что имела в своей среде шпиона Забрамского, который служил и революционерам и Судейкину. Благодаря ему, жандармерия довольно скоро узнала о приезде Попова в Киев и имела возможность следить за его деятельностью, и однако она не смогла обнаружить его квартиру. Уже на суде М. Р. сообщил адрес квартиры, и тогда в ней был произведен обыск, но, конечно, ничего не было найдено, так как все уже было убрано. Однажды он предложил мне пойти с ним на его квартиру, которая была сравнительно близко от моей, но мы попали в нее не скоро: ездили на извозчиках по каким-то переулкам, шли пешком, опять ехали. Первое предприятие, которое задумала наша группа, состояло в том, чтобы вызвать народное восстание в Киеве. Эта мысль была весьма наивна, как думается теперь, но мы ведь

и не были уверены в успехе. Это была бы просто демонстрация, не хуже всякой иной, при том соотношении сил, какое существовало между правительством и революционерами. М. Р. взял на себя самую опасную роль, а именно произнесение речи народу на рынке, куда по праздникам съезжались крестьяне из соседних сел в большом количестве. К этому событию подготовлялись волнения в университете и забастовка железнодорожных и арсенальных рабочих. Все это приурочивалось приблизительно к середине ноября месяца 1879 г. Ожидалось только какое-нибудь событие, которое могло бы сильно взволновать народ и общество.

Кстати, о рабочих. Уже в то время в Киеве была небольшая группа рабочих, распропагандированных, сочувствовавших делу освободительного движения и влиятельных между товарищами. Эта группа положила начало „Южно-русскому рабочему союзу". Она имела небольшую кассу взаимопомощи и устроила, при помощи интеллигенции, лекции по политическим и экономическим вопросам, на которые собиралось иногда до 30 человек рабочих,— факт небывалый для того времени. Собирались поздними вечерами в глухой и отдаленной части города.

Нечего говорить, что М. Р. был в курсе всех дел. Судейкин, пользуясь донесениями Забрамского, организовал тщательный надзор за многими членами группы, хотя сведения его были не полны, так как Забрамский не занимал в организации видного места. Начались аресты, но не давали положительных улик. Я был арестован в январе 1880 года и отправлен в Мценскую тюрьму для препровождения в Восточную Сибирь административным порядком, как тогда предполагалось. Целых 2½ месяца я не имел сведений о киевских событиях. Наконец в апреле меня вновь отвезли в Киевскую тюрьму, и там я встретил М. Р., Игнатия Иванова, а также некоторых других членов группы. Собственно, я свиделся с ними только по окончании следствия, а раньше мы переговаривались посредством перестукиванья, а также передачи шифрованных записок через сторожей. М. Р. за время пребывания в тюрьме нисколько не изменился: так же был весел и жизнерадостен, хотя ему угрожал тяжелый приговор.

Суда я описывать не буду, так как многие подробности

ускользнули из памяти, а материалов под руками не имеется. М. Р. и Иванов были приговорены к смертной казни. Время до утверждения приговора тянулось очень мучительно, хотя М. Р. попрежнему был спокоен и даже весел, и мы вели с ним продолжительные разговоры.

М. Р. оставил неизгладимое впечатление в моей душе, да, вероятно, и в душах всех знавших его. Это был человек с чистой душой, глубоко преданный народу, благородный!

Н. Н. Подревский

М. Р. ПОПОВ

АВТОБИОГРАФИЯ

14 ноября 1851 г.

Я, М. Р. Попов [1] — сын священника Родиона Васильевича Попова. Родился в местечке Глафировка, Ростовского-на-Дону уезда, тогда Екатеринославской губернии, ныне Донской области, где мой отец в то время был дьяконом. Местечко Глафировка было крепостным владением помещика Нарецкого. В Глафировке я прожил до 10-летнего возраста, а 10-летним мальчиком был отправлен в Ростов в частную школу для подготовки в среднее учебное заведение. Таким образом в эти детские мои годы я был свидетелем крепостных отношений крестьян к помещикам, и это, несомненно, повлияло на мое духовное развитие. Наш помещик был единственным представителем Нарецких, не имел ни жены, ни детей, притом калека, с разбитыми параличом ногами и руками. Большую часть своей жизни, которая протекала на моих глазах, он провел у себя дома в постели или кресле, и только изредка лакеи вывозили его в тележке из дому в церковь или для прогулки летом по аллеям. Был он, очевидно, человек не жестокого нрава и даже, как говорят, добряк, но это не мешало ему быть проникнутым насквозь принципами крепостничества, и потому ему ничто не мешало любоваться из своего окна, когда по воскресеньям хлестали по живому телу плети и розги провинившихся чем-нибудь в продолжение недели его крепостных. И всех этих крепостнических насилий я вместе с моими товарищами детства, которых, к счастью моему, было у меня достаточно, был свидетелем.

Особенно врезалось в памяти моей одно из надру-

---

[1] М. Р. Попов, к сожалению, не успел закончить свою автобиографию, этот отрывок был напечатан в «Былом», № 1 за 1925 г.
Ред.

гательств над человеческой личностью крепостных нашего барина, которые разнообразились „панинятами“, по выражению малороссов, т. е. всякими крепостными холуями, начиная от любимца-лакея до управляющего. За что-то на почве религиозной, помнится, за то, что под праздник молодежь местечка, молодые парни и девушки, собрались на улицу попеть и поплясать, ревнители Христа, чтоб предупредить от пагубного пути уклонения со стези христианства, прибегли к такому средству исправления: заставили эту молодежь, вместе девушек и молодых парней, без всяких других орудий, приспособленных для этого рода труда, вычистить отхожие места при барской конторе голыми руками. В какой мере это надругательство над человеческой личностью отразилось на лицах этих жертв крепостного произвола, говорит то, что даже мы, дети, подстрекаемые нашим детским любопытством, пришедшие посмотреть на столь остроумное средство религиозного воспитания, придуманного управляющим, прочли на лицах унижаемых молчаливый укор нашему любопытству и, сконфуженные, оставили молча место этой своеобразной экзекуции. Иногда из пассивных свидетелей мы делались посредниками между этими двумя сторонами населения Глафировки. Мы знали мнение наших старших привилегированных о крепостных и мнения крепостных о привилегированных, сообщаемые нам в виде жалоб на свою горькую судьбу.

Нарецкий, отдавая дань своим крепостным принципам, не имел никого из близких, по отношению к которым он мог проявлять свою лучшую сторону души, и в этом случае оставалось только одно духовенство. Он любовно относился к нам, детям, и мы, таким образом, имели возможность обращаться к нему в качестве ходатаев за крестьян. Особенной заботой нашей пользовался Никита, молодой еще парень, лет 24—25, сидевший постоянно в барской тюрьме за побеги. В Глафировке он только и жил, когда сидел в тюрьме. Как только его выпускали из тюрьмы, так он вновь бежал в донские степи и пользовался свободой до поимки. Его ловили, привозили в Глафировку, предварительно наказывали розгами и сажали в тюрьму. Когда он сидел в тюрьме, мы были его единственными посетителями и посредниками между ним

и его невестой Зинаидой, из-за неразрешения жениться на которой он и бегал. Мы постоянно толклись у решетки Никиты, приносили ему пищу, вести от Зинаиды, а он это оплачивал тем, что рассказывал нам о неведомой нам казачьей вольной жизни, плел нам корзинки из тростника и лодочки из коры выдалбливал. Вел он с нами разговоры, как с взрослыми. Мы часто, из опасности потерять столь полезного нам друга, обращались к нему с просьбой прекратить побеги и жить, как все живут в Глафировке, но на это он откровенно говорил так: „Ну, подумайте сами, за что я буду даром работать на него? Что он брат мне или сват; да и что он хорошего сделал мне? Скажем, к примеру, за что он не дает нам с Зинкой разрешения жениться? А вот украду Зинку, и бежим к казакам". И нам удалось в конце концов выхлопотать ему разрешение повенчаться с Зинаидой.

Помню еще следующую сцену из крепостного мира Глафировки. Когда стали ходить слухи о выходе крестьян на волю, мы, дети, перед каким-то праздником толклись на аллеях, которые крестьянами к празднику посыпались песком. Молодой парень, Зипр по фамилии, взял из кучи горсть песку и, рассевая его по аллее, как сеют зерна, сказал, обращаясь ко мне: „Смотри, Миша, и учись, как сеют добрые люди хлеб, а то вот как выпустят нас на волю, тогда ведь самим придется".

Первоначальное воспитание я получил в г. Ростове в частной школе и в 62-м году, когда мой отец был уже священником в Самарске, после долгих колебаний между гимназией и семинарией, я был отправлен в духовное училище в г. Мариуполь, где пробыл 6 лет, а потом 4 года в семинарии. В семинарии я не хотел слушать богословских классов и по окончании общеобразовательного курса поступил в Петербург в Медико-хирургическую академию.

Годы училищной жизни прошли для меня почти бесследно, не дав в положительном смысле ничего, но в отрицательном смысле несомненно заронили кое-что. Училищная обстановка еще во многом была похожа на „Бурсу" Помяловского. Учителя, кроме недоверия, а некоторые и ненависти к ним, ничего другого не внушили нам. Насколько в запасе у нас было ненависти к нашим воспитателям, свидетельствует смерть смотрителя училища.

Когда он лежал на столе и мы, ученики, по дежурству читали у его трупа псалтырь, то были выходки, которых вообще дети из-за таинственного страха перед смертью никогда не позволяют себе. Напр., дергали его за нос и уши, обращались к трупу с теми грубыми окриками, какие этот труп, будучи человеком, в изобилии расточал по отношению к нам, малышам.

Один только из учителей духовного училища, Дыбский, часто мне вспоминается. Не скажу, чтоб он, как педагог, чем-либо выделялся из среды других моих воспитателей в этом училище, за исключением того, что он пил горькую и редко когда бывал в классе не с энергией, т. е. не пьян, о чем он сам, являясь на уроки, обыкновенно нас предупреждал, но у него было много житейского опыта и какой-то проникновенности в душу человеческую. Несмотря на то, как он сам же любил хвалиться нам, что хотя у него и маленькие ручки, но больно бьют, тем не менее к нему мы относились с некоторым уважением. Нам все же казалось, что у него есть что-то хорошее, нам неясное, чего у других наших учителей нет. Ко мне в последние годы пребывания в духовном училище он относился с каким-то особенным вниманием, с какой-то бережностью и даже любовью. Часто, обращаясь к остальным товарищам по классу, он, указывая на меня, говорил: „Михаил Родионыч (он часто и иронически, и серьезно любил называть по имени и отчеству своих учеников) хнытофагом не будет, не будь я Данилом Кондратичем Дыбским, если я ошибаюсь. Я редко ошибаюсь“.

В семинарии я был в Екатеринославе. Состав учителей в Екатеринославской семинарии в бытность мою был в общем очень хороший. За исключением ректора и учителя священного писания, да и последний был безвредный сухой формалист, остальные учителя многое сделали для нашего развития. Учитель истории И. Ив. Никольский представлял нам самим ведаться с Иловайским, он же все часы урока читал нам лекции по истории, с особенным вниманием останавливаясь на народных движениях как Европы, так и России. Его лекции о Смутном времени, Пугачевщине, Стеньке Разине и малороссийском казачестве держали нас в напряженном внимании. Он был как любимцем семинарии, так и женской гимназии.

Он был поклонник Костомарова и давал нам читать монографии Костомарова.

Учителю литературы и словесности Аркадию Ст. Цветкову мы тоже много обязаны нашими знаниями литературы. Часто он приглашал нас, 4-классников, к себе на квартиру, где вечера посвящались разговорам о Гоголе, Грибоедове. Учитель греческого языка Константин Григорич Дубровин часто на урок греческого языка являлся с „Отеч. Записками", и мы читали их вместо греческого языка. Кратко говоря, о семинарии у меня сохранились хорошие воспоминания. Многие из учителей еще оставались верными принципам освободительного движения 60-х годов. К нам 4-м: мне, Кудревичу, Цветкову и Присецкому, решившим покинуть семинарию для университета, большинство учителей относилось с благожелательностью и добрыми пожеланиями.

Поступил я в духовное училище в 62-м году, вышел из семинарии в 72-м. Таким образом из 10 лет моего пребывания в духовных школах только 4 года были производительны для моего развития, 6 лет пропали для меня бесплодно. В Медико-хирургической академии, куда я поступил по выходе из семинарии, я первые два года усердно занимался науками, особенно любимым занятием моим была гистология, я работал с микроскопом в кабинете проф. Заварыкина.

На первых порах я боролся даже с искушением принять участие в политическом движении, которое захватывало в то время все молодое поколение, и на первых порах упорно держался правила, что прежде нужно сделать себя человеком, а потом уже думать о других. Но упорства этого хватило у меня только до 4-го курса. Помню я хорошо, как по настоянию Натальи Николаевны Оловенниковой, сестры Марии Николаевны Оловенниковой-Ошаниной, я отправился с квартиры их, на набережной Невы, держать переходный экзамен на 4-й курс и, остановившись на Семеновском мосту, опершись на перила и смотря на воды Невы, решал гамлетовское быть или не быть, переходить ли на 4-й курс и оканчивать ли курс или нет. Год на 3-м курсе я уже достаточно деятельное принимал участие в революционном движении. Начиная с декабря, я бывал в академии только тогда, когда был куратором при больном, мне назначенном, остальное же

время я жил в Колпине, где вел занятия с рабочими. Нас часто социал-демократы упрекали в том, что мы, народники, мало посвящали внимания пролетариату. Это неправда. Напр., я, будучи членом „Земли и Воли“, вел занятия с рабочими в Колпине и именно знакомил их с социально-экономическими учениями Маркса. С первыми главами „Капитала“ Маркса я знакомил их по Мосту, для чего он переводился и я им прочитывал, рабочий же день и все остальные главы Маркса читались мной им с объяснением в подлиннике этого капитального труда Маркса. Мне, значит, приходилось гнаться за двумя зайцами и не поймать ни одного, ни другого. Вот о чем я и думал крепкую думу, стоя на Семеновском мосту. Здесь я и решил бесповоротно бросить академию и вступить на путь революционный. С этого дня я вступил в партию „Земля и Воли“, пережил вместе с другими ее членами все события этого революционного периода вплоть до Воронежского съезда.

Воронежский съезд, как о том в своем месте, в предположенной мной статье, вы узнаете, остался при программе „Земли и Воли“, хотя и сделал значительные уступки членам, настаивавшим на том, чтобы расширить деятельность политической борьбы, тем не менее на этом съезде уже обнаружилось ясно, что цемент, связывавший партию „Земли и Воли“, был не прочен. Большинство стоявших за сохранение программы „Земли и Воли“, к которым принадлежал и я, сделало уступки потом выделившимся в отдельную организацию под названием Народовольцев, только потому, что не мог не согласиться с людьми более энергичными, из которых одни, как Александр Михайлов, Желябов, Морозов, действовали с полным убеждением, что никакой другой деятельности в данный момент нет места, как борьбе за политическую свободу, другие настаивали на такой деятельности в силу чувства мести за те гонения, которым подвергались уже их товарищи по делу.

Принималось также во внимание нами, — назову нас правыми в „Земле и Воле“, — что мы бессильны были создать скоро что-либо, что имело бы агитационное значение среди наличного революционного настроения в данный момент, притом же многие, как напр. Баранников, Перовская и другие, прямо заявляли, что они временно только присоединяются к левым и не потому, что они

разделяют мнение таких представителей „Земли и Воли“, каковыми были Желябов, Зунделевич и Михайлов, а лишь потому, что раз начатое дело нужно кончить (таковым начатым делом было не сделанное Соловьевым).

Так стояло дело до конца июля или начала августа 79 года, когда, возвратившись из-за границы, Стефанович и Дейч стали подавать надежды на то, что в Чигирине, по имеющимся у них сведениям, можно вызвать крестьянянское движение. Эти надежды основаны были на том, что сидевшие в Киевской тюрьме крестьяне чигиринцы, арестованные по делу Стефановича и Дейча, действительно рекомендовали вновь взяться за чигиринских их земляков. Им в тюрьме казалось, что теперь можно в Чигирине без всяких подложных манифестов, а на чисто... реальной почве земельного вопроса вызвать в Чигирине крестьянское движение. Через посещавших их в тюрьме жен они по этому поводу сносились с своими, оставшимися на воле, земляками. Туда мне и предлагали в качестве краморя (офени) отправиться для исследования почвы. Было решено, что я отправлюсь с этой целью в Киев. По этому поводу и возник конфликт вновь с партией „Земли и Воли“, окончившийся тем, что я, Стефанович — с одной стороны, — Тихомиров, Михайлов и Зунделевич — с другой — составили комиссию, уполномоченную установить условия разделения. Произошел раздел, на котором постановлено было, что ни та, ни другая половина разделившейся партии „Земли и Воли“ не имеет права продолжать свою деятельность под названием „Земли и Воли“. Плодом этого раздела и были вновь возникшие организации: „Народной Воли“ и „Черного Передела“.

Предварительно посланный нами в Чигирин некто Петров нашел, что в Чигирине в массе крестьянство совсем не так настроено, как это кажется сидящим в тюрьме крестьянам, что предложение, сделанное им Петровым, что туда явлюсь я в качестве коробейника с определенной целью, было не одобрено в данный момент, так как полиция и жандармы бдительно следят за Чигиринским уездом. Встретившись в Киеве с Стефановичем, я предложил ему вновь работать над соединением расколовшейся „Земли и Воли“ и предложил ему ехать в Петербург с этой целью, на что он, как мне казалось, склонялся. Но затем,

когда я был в Одессе, я встретил там вновь Стефановича и Дейча и увидел, что Стефанович и особенно Дейч думают иначе, чем я. Не говоря вполне откровенно о своих дальнейших намерениях, они предложили мне ехать за границу. Я отказался и вошел в переговоры от группы киевлян с бывшими тогда в Одессе Колодкевичем и В. Н. Фигнер. Так мы пока сговорились на том, что мы, киевляне, и они, одесситы, будем вести дела на юге совместно. Постановили образовать Южно-русский рабочий союз и решили убрать с дороги двух генерал-губернаторов: в Одессе Тотлебена и в Киеве Черткова (предлагаю вам решить, насколько уместна будет в настоящий момент такая откровенность; если такая откровенность не безопасна, то просто скажите, что я вступил в сепаративный союз с народовольцами до поры до времени) [1]. И в то же время мы, киевляне, отправили в Петербург делегата для переговоров с народовольцами в Петербурге о соединении Присецкого (Ивана Николаевича), и ныне благополучно лохвицкого земца, а потом Маслова, о котором я не имею сведений. В феврале же месяце, 22 февраля 80 года, я был арестован на Крещатике. В июле месяце был приговорен военным судом к смертной казни через повешение вместе с Игнатием Ивановым. Но благодаря наступившей „диктатуре сердца" Лорис-Меликова, по велико-милосердию его императорского величества, помилован с заменой смертной казни бессрочной каторгой. Наш суд происходил в тот момент, когда наступили и либеральные веяния Лориса и вместе с тем общественный подъем духа.

Во время суда нашего я спросил жандармского капитана Скандракова, состоявшего при нас в качестве цербера, как он полагает: будет кто-либо приговорен к смертной казни? Он ответил, что, вероятно, приговорят 2-х — „вас и Игнатия Иванова". „Я думаю, — возразил я ему, — никого". Тогда он предложил мне пари. На что я ответил ему, что держал бы с ним даже пари, но кто же уплатит ему, если я проиграю — ведь меня же повесят.

---

[1] Строки, взятые в скобки, очевидно были М. Р. Поповым адресованы редакции его мемуаров, предназначавшихся к изданию еще во времена царизма. *Ред.*

Этот разговор скорее имел характер шутки, и каково же было мое удивление, когда вдруг Стрельников, военный прокурор, на нашем процессе в своей речи, обращаясь к судьям, сказал: „Повесьте их, гг. судьи, так как Попов говорит и даже готов держать пари, что теперь их не посмеют повесить“. На суде же с этим прокурором произошло еще вот что. На его вопрос: принадлежу *ли я* к партии террористов,—я ответил ему: „*Я* революционер“. Тогда он, обращаясь к судьям, сказал: „Каков был белый лист, таковым и останется после ответа Попова“. — „Напрасно так думаете вы, г. прокурор, очевидно потому, что плохо понимаете, какое понятие вкладывается людьми в слово революционер. *Я* же думаю, что раз я революционер, то, значит, не остановлюсь ни перед какими средствами, допускаемыми политической этикой, ведущими к цели, государственному перевороту. Если же не отвечаю на ваш вопрос — террорист *ли?*— то только потому, что не желаю доставить вам удовольствия взвести меня на эшафот без всякого с вашей стороны труда. Вы прокурор, — и ваше уже дело доказать, что я прибегал к террористическим актам для исполнения моих заветных стремлений“. На это он ответил мне, что вполне удовлетворен моим ответом; а затем, во время перерыва, проходя мимо меня, стал уверять меня в том, что я напрасно думаю, что для него составляет удовольствие взвести меня на эшафот. Но как вы уже знаете, он не побрезгал в своей речи поведать суду, что я готов был с Скандраковым держать пари, что нас не посмеют повесить.

Заслуживает еще внимания на нашем суде этот эпизод. Незадолго пред нашим судом, но в безраздельное царствование Черткова, который не задумался пред тем, чтобы послать на эшафот Розовского, юношу, ни в чем не повинного, за то, что у него ночевал Сергей Диковский, который нашим судом был приговорен к 20 годам каторги, был приговорен к смертной казни Богуславский, по ходатайству Судейкина избавленный от казни за обещание свидетельствовать на суде против нас. Стрельников, в расчете на него, думал нас разоблачить перед судом, как людей безнравственных, и с этой целью инспирировал этого Богуславского. Когда настал час предполагаемого Стрельниковым его торжества над нами, он предупредил суд:

„Сейчас войдет в залу суда Богуславский, который тоже был опутан ложью сидящими перед вами вот этими господами политическими деятелями, и вы будете иметь возможность оценить всю глубину безнравственности этих господ".

Вводят Богуславского. Богуславский вошел, смущенно глядя на нас. Стрельников обращается к нему: „Г. Богуславский, расскажите пожалуйста нам вот об этих господах, вы вращались в кругах их, повторите пожалуйста ту нравственную характеристику ваших старых знакомых". Богуславский молчит. „Не стесняйтесь, скажите нам, напр., что побуждает людей, вроде сидящих сейчас на скамье подсудимых, вступить на путь революции?" Молчит Богуславский опять. Председатель суда повторяет вопрос, предложенный Богуславскому прокурором. Богуславский на этот раз негромко говорит: „Любовь к народу". Слуцкий был туг на ухо и переспросил еще раз: „Что? что?" — „Любовь к народу", — громко отчеканил Богуславский. Тем и закончилось торжество Стрельникова, и Богуславский выведен при общем смущении присутствующего Судейкина и Стрельникова. Что затем было с несчастным Богуславским, — ходили слухи, что он умер в Старо-Киевском участке; какой смертью он умер, осталось тайной. Другого же сбитого с пути истины запутыванием жандармов, Севастьяна Ильяшенко, и содержимого до суда тоже в Старо-Киевском участке и на суде в первый день посаженного отдельно от нас, после 1-го заседания суда они тоже потеряли как свидетеля против нас.

Ильяшенко, выходя после заседания вместе с нами, на приглашения жандармов на прежнее место, отделенное от наших камер двором, сказал им: „Я не шпион и не желаю сидеть вместе с шпионами". После этого жандармам не удалось возвратить к себе Ильяшенко и тем, что при его допросах нас всех вывели из суда и допрашивали Ильяшенко одного. Прокурор, потерпевший неудачу, утешил себя и, очевидно, хотел утешить и судей тем, что в обвинительной речи настаивал на показаниях, данных Ильяшенко на предварительном следствии, и советовал не придавать значения показаниям Ильяшенко на суде, так как показания Ильяшенко просто объясняются: Попов обещал ему 50 руб., вот он и отказался от прежних показаний.

М. Р. ПОПОВ

ЗАПИСКИ ЗЕМЛЕВОЛЬЦА

ИЗ МОЕГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОШЛОГО[1]

I

На первых порах[2]

Я, и по отцу, и по матери, нахожусь в родстве с крестьянством. В силу этого я более, чем большинство современной мне революционной молодежи, был знаком с невзгодами жизни русского крестьянства. По матери мои родственники-крестьяне уже на моей памяти освободились от крепостного ига. Мне с раннего детства приходилось слышать и от моей матери и от родственников-крестьян о всех прелестях крепостного права в России. Кроме того, отец мой в годы моего раннего детства был дьяком в крепостной деревне Глафировке, и мне своими глазами приходилось видеть в детстве много возмутительных сцен и пред крыльцом барской конторы и пред окнами барского дома, где с правильностью, достойной

---

[1] «Былое», 1907 г., №№ 5 и 7. *Ред.*

[2] Я предпосылаю несколько слов к тому ряду статей, которые я задумал написать в журнале «Былое». Делаю это в тех видах, чтобы читатель наперед знал, что он найдет в них. Это будут мои воспоминания с начала моего знакомства с освободительным движением 70-х годов вплоть до выхода моего из Шлиссельбургской крепости. Лично о себе я буду говорить лишь попутно, в связи с тем, чего я был свидетелем и в чем непосредственно принимал участие. Главною же задачей моей будет познакомить читателей «Былого» с развивающимся революционным движением 70-х годов, с лицами, принимавшими в нем участие, с которыми я лично сталкивался в том или другом акте освободительного движения. Кратко говоря, — это будет не биография моя, а рассказ о тех событиях, которых я был очевидцем или знаю о них со слов людей, принимавших участие в них. Называю этот ряд статей так: «Из моего революционного прошлого». Отдельные главы будут носить свои названия сообразно содержанию их. Наперед говорю читателю, что хронология в этих статьях — самый слабый пункт. Предо мною развертывается целый ряд картин из прошлого, но часто я только могу сказать, что это было весной, зимой, летом, осенью. Но все же я если не совершенно точно буду обозначать дату того или другого события, то год все же точно будет указан.

лучшей участи, всем, провинившимся в продолжение недели, по воскресеньям делалось отеческое внушение при помощи розог и плетей. Нам, своим детям, наша мать с печалью на лице рассказывала, как дедушка, в возрасте 75-летнем, умер под плетьми, подвергнутый этому наказанию своим помещиком. Помню я свою деревню и в тот исторический момент, когда прошел слух о воле среди крестьян. Перед каким-то праздником усыпались песком аллеи у барского дома. Мы, дети, как обыкновенно это бывает, стояли и смотрели на работу крестьян. Один из крестьян, взяв с воза на лопату песку, обратился ко мне со словами: „смотри, хлопче, як добрі люде сіють хліб", и стал рассевать горстью песок, как сеют зерно по ниве. „Учись, — продолжал он, обращаясь ко мне, — а то, як отпустят нас на волю, самому придется хлеборобить!" Всего в 12 верстах от деревни, где мой отец дьяконствовал, в деревне Сазанлок, было усмирение крестьян во время освобождения на волю, и хоть сам я не видел и не слышал залпов в толпу, но слышал рассказы об этом в родном доме. Словом, я в моем детстве приобрел достаточно материала о жизни крестьян и имел настолько верное о ней представление, чтобы относиться с искренней симпатией к движению 70-х годов во имя народа. И тем не менее, а может быть, и именно поэтому, что грань между мной и бесправным мужиком легла дальше, — я на первых порах моего студенчества долго отбивался от освободительного движения, которое захватывало каждого юношу с чуткой душой к чужому горю. Помню, когда, прослушав первый курс Медико-хирургической академии, прожив каникулы в доме отца, который был уже в это время священником в деревне Самарск, я выезжал вновь из дома в Петербург и моя старшая сестра, которую я во время каникул познакомил с тем, что происходило в то время в студенческой среде и вообще в Петербурге среди молодежи, провожая меня, сказала: „Смотри, брат, будь осторожен, не попадайся!", — то я, успокаивая ее, говорил вполне искренно: „Не беспокойся! Раз уж я взял быка за рога, то выпустить их из рук — не выпущу!" И действительно, первые два года моего студенчества я интересовался освободительным движением между делом. Главной целью моей было окончить

курс тех наук, которым я посвятил себя и которые были моей мечтой на семинарской скамье. Зачем я находил нужным добиться докторского диплома, — ответа определенного на этот вопрос я не давал себе. Я никогда не ставил себе вопроса, — а что ж потом, когда я получу докторский диплом, что тогда буду делать? Я чувствовал себя неловко, когда этот вопрос возникал в моем уме, и вот почему. Проезжая из Петербурга на родину, я по дороге заехал в деревню Никитовку, Бахмутского уезда, родину моего отца, к моим родственникам-крестьянам. На вопросы их, что я делаю в Петербурге, чему учусь, я рассказал, что учусь на доктора. „Ну, значит, — сказал мне дядя отца, мой двоюродный дед, — довольно сурово, мне казалось, — окончишь науку, мы, крестьяне, будем тебе платить за то, что ты будешь нас потрошить“. С тех пор, когда я ставил себе этот вопрос, я вспоминал своего сурового деда, который обтесывание мельничных жерновов, чем он занимался, мне казалось, представлял себе более благородным делом. Так этот вопрос все время моего студенчества оставался нерешенным. И когда в мою душу врывались вопросы, которые волновали умы молодежи, и я задумывался над ними, решал, в какое отношение к происходящему вокруг меня я стану, я кончал тем, что успокаивался на таком ответе: прежде всего нужно завоевать свою независимость, а потом уже думать о других. Ответ такой, понятно само собой, не успокаивал меня и тем менее мешал мне посещать собрания молодежи, где обсуждались вопросы, которые ставила жизнь и литература, где читались рефераты по общественным вопросам, читалась литература, полученная контрабандным путем из-за границы. Первый кружок такого характера, в котором я считался в числе членов, собирался по Кронверкскому проспекту, в квартире Кибальчича. В кружке этом была выработана программа по общественным вопросам, по которой каждый член кружка брал по своему выбору ту или другую общественную тему и готовил реферат. По воскресеньям и четвергам эти рефераты читались, обсуждались: обсуждения эти почасту переходили в бурные прения, затягивавшиеся за полночь. Второй кружок в этом роде образовали екатеринославцы и астраханцы на Петербург-

ской стороне, по Большой Дворянской улице, дом № 13. Внутри двора мы наняли квартиру в 4 комнаты с кухней и основали здесь так называемую студенческую квартиру и столовую для приходящих студентов. Столовая наша была довольно обширная комната, и в ней по вечерам собирались сходки. Сначала сходки эти состояли из студентов, близко друг друга знающих; но когда молва разошлась среди радикальной молодежи о благодатном уголке для сходок, наша квартира превратилась в общее место для сходок. Собирались тут иногда и очень многолюдные сходки. Здесь часто читал и Каблиц свои рефераты, известный потом в литературном мире под псевдонимом Юзова. Здесь же раздавался клич в народ, разбирались программы Лаврова, или, вернее, программа журнала „Вперед", Бакунина, Ткачева и пр. Кроме того квартира эта была справочным пунктом для приезжавших из провинции, а в конце концов и местом для ночлега приезжавших в Питер из провинции радикалов. Тут были и из Киева, и из Харькова, и из Ростова. Часто приходилось ложиться при одном составе ночлежников и вставать при втрое увеличенном их составе. Всякий, не имеющий определенной квартиры, заворачивал на Большую Дворянскую, в д. № 13. Наша квартира даже стала известной Колышкину, известному в то время начальнику секретного отделения. Был выпущен из тюрьмы некто, известный в радикальном мире под именем „Дедушки", фамилия его, если мне память не изменяет, Харламов. За неимением места ночлега, он пришел переночевать к нам. На другой день по какому-то поводу ему пришлось иметь дело с этим самым Колышкиным и услышать от него: „Вот видите, только вас выпустили из тюрьмы, а вы уж сегодня ночевали в притоне на Большой Дворянской улице". Таким образом я незаметно для себя втягивался в круговорот парящего тогда над молодыми умами общественного движения. Помнится мне один эпизод, который глубоко задел мое честолюбие. В это время я уже в достаточной степени был захвачен общественным движением, но пока все-таки я еще усердно занимался и по академии. Мой товарищ по квартире Рудаков и я, сверх обязательных занятий по практической гистологии в микроскопическом зале, решили еще заниматься при кабинете профессора

Заварыкина с микроскопом. Работали мы с ним в комнате рядом с залом для практических занятий студентов. В одно время, когда шли в микроскопическом зале занятия по патологической анатомии 3-го курса, и один из моих знакомых студентов 3-го курса вошел в ту комнату, где я занимался, я как раз в это время имел на предметном стекле так называемый Дондерса разрез соединительной ткани. Препарат мне очень удался, и я предложил моему знакомому посмотреть в мой микроскоп. Он посмотрел и, уходя обратно в залу, у самых дверей, якобы обращаясь к своим товарищам, а в действительности имея в виду меня, сказал: „На 2-м только еще курсе, а из-за Дондерса ленты не видит ничего, что происходит вокруг". После этого я в этот день больше не мог заниматься, пришел домой взволнованный и сконфуженный. Мне казалось, что всякий студент, при встрече со мной, то же самое думает обо мне. Мне казалось, что в глазах посторонних я такой же чудак, каковым был в моих глазах Грубер, когда однажды, показывая мне, как нужно отпрепарировать vena saphena, обозвал дураком солдата за то, что тот, не зная направления этой вены, не умел выжать кровь из вены и тер тряпкой совсем не там, где проходила эта вена. Когда Грубер сказал: „Дурак, не знает, где vena saphena", и сам, взявши тряпку, стал вытирать, я удивленно переводил свои глаза с Грубера на солдата и обратно и думал про себя: неужели же Грубер находится в неведении, что русские крестьяне, поставлявшие исключительно солдат до 74-го года в России, анатомии не изучают. Прошу у читателя извинения за это отступление. Я имел в виду, упомянув здесь об этом эпизоде, показать читателю, в какой мере в глазах студенчества того времени царили общественные вопросы, если студент-медик 3-го курса ставит их на первом плане, а затем уже науки его специальности. Так я жил 2 года в борьбе с самим собой: я хотел окончить курс, а меня втягивало общественное течение. В таком душевном равновесии я перешел на третий курс. В одно время утром, когда я собирался в академию, приходит ко мне Петр Петрович Воскресенский и говорит мне, что один нелегальный нуждается в почлеге, и что, пока будет ему подыскана более безопасная квартира, нельзя ли будет ему сегодня переночевать у

меня в комнате. В это время я жил на Нижегородской улице, недалеко от академии, в компании астраханцев. Я указал мою комнату П. П—чу, прибавив, что иду на лекцию, и что в случае раньше, чем я возвращусь, он приведет его, то пусть занимает вот эту мою комнату. Я совершенно не ожидал, какой сюрприз ждал меня, и отправился, куда собрался раньше. Возвратившись вечером, я увидал на моей кровати спящим моего товарища по духовному училищу Емельянова, известного публике под фамилией Боголюбова, того самого Боголюбова, над которым варварски надругался в Доме предварительного заключения Трепов. Этого Алешу Емельянова, известного под именем овцы в духовном училище за его кротость, я не видел лет шесть. Мы вместе были в Новочеркасском духовном училище, он в Новочеркасске же и остался, а я перешел в духовную семинарию в Екатеринослав. Из его рассказа о времени, в которое мы друг друга не видали, я узнал, что он, по окончании духовной семинарии, поступил в Харьковский ветеринарный институт и вскоре же по поступлении бросил его и отправился в народ. Прошел в качестве рабочего из Ростова-на-Дону до Калача, прошел по Волге, был на Кавказе. Рассказал мне много сцен из своих столкновений с народом во время его путешествия. Предо мной стоял теперь уже совсем не тот Алеша, которого я знал в Новочеркасском духовном училище. Явился же сейчас он в Петербург из Воронежской губернии, Новохоперского уезда, деревни Пески, где он вместе с Мозговым вел не без успеха пропаганду. Но нагрянули жандармы, и он, Андреич, как он назывался в революционной среде, воспользовался услугами крестьян и бежал, а Мозговой, служивший в Песках в качестве волостного писаря, не желая переходить в нелегальное положение и надеясь на то, что найденные при аресте некоторые книжки — вполне легальные, — которые они читали крестьянам, не столь важное преступление, не захотел скрыться из Песков и за свое доверие теперь сидел в тюрьме. Многое в эту ночь мы с Андреичем переговорили, переговорили по душе, как старые товарищи, так нечаянно друг с другом вновь встретившиеся. Он говорил мне о своих намерениях и в это лето отправиться на Волгу, приглашал и меня туда же. Но я все

еще не решался окончательно разрешить гамлетовское быть или не быть. Мне все еще жаль было расстаться с моими мечтами окончить курс Медико-хирургической академии, но, с другой стороны, я ясно понимал, что я не могу оставаться простым свидетелем того общественного призыва в народ, который звучал среди лучшей молодежи того времени. Я все еще думал совместить общественную мою деятельность с желанием продолжать мои занятия по академии, все еще думал поймать двух зайцев. Лето 75 года с раздвоенной душой я провел в доме отца в деревне, где усиленно занимался химией и гистологией, и в то же время предо мной неотвязно стоял вопрос: как же быть мне дальше с вопросами, которые все настойчивей требовали от меня ответа на них? У меня прожили с неделю в это же лето Андреич и Валерьян Осинский. Валерьян Андреевич Осинский тоже рвался в народ, но удерживало его другое, чем меня. Он в это время был секретарем городской ростовской управы и не мог бросить этого места потому, что образовавшийся в Ростове кружок считал его более полезным для дела на месте секретаря, чем в народе. По окончании каникул я возвратился в Петербург довольно поздно. В Петербурге еще продолжала существовать квартира на Большой Дворянской улице. Характер ее продолжал оставаться тем же. Она в этом году сделалась узлом нескольких революционных групп молодежи. Сюда тянули: так называемый центр, представителями которого были Мария Николаевна Ошанина и Мария Васильевна Лаврова, стоявшие за программу деятельности Ткачева и известные среди революционеров под названием ткачевцев или набатчиков; так называемая группа Владыкина, или бунтари, затем молодая группа студентов университета, во главе которой были Георгий Преображенский и Леонид Буланов. Этот момент в моей жизни был моментом если не перелома, то надлома. Правда, я еще числился в числе студентов академии, но группа, в которой я состоял членом, имела уже многих из своих членов, работающих в народе, и состояла к ним в обязательно деловых отношениях. В народе были: Андреич, Титыч, Гартман, Быковцев, Медведев, и нашей обязанностью было доставлять им денежные средства, литературу и пр., и если кто-либо из них приезжал по какому-либо делу в Петербург, то поступал

в качестве жильца к нам. Мы же все, остававшиеся еще в Петербурге, подготовлялись к предстоящей нам революционной деятельности. С этой целью у нас была устроена на Петербургской стороне столярная мастерская, где мы учились работать и куда по воскресеньям приходил знакомый столяр-рабочий учить нас этому ремеслу. Наша же группа устроила в Колпине на артельных началах из колпинских рабочих слесарную мастерскую, с целью занятий с рабочими. Руководил этими занятиями в Колпине с рабочими я. Я знакомил рабочих с экономическим учением Маркса. Для этой цели я переселился в Колпино и поместился в семье старика кузнеца, сын которого Ефим был одним из рабочих основанной нами мастерской. С первыми главами „Капитала" Маркса я знакомил их по компиляции „Капитала" Мостом, небольшой, но хорошо написанной применительно к пониманию рабочего книжке. Переводил для меня эту книжку Мурашкинцев. Вторую же половину „Капитала" Маркса, которая не облечена в метафизическую оболочку, рабочие легко понимали и при чтении в подлиннике. Я прожил с этой целью в Колпине начиная с первых чисел ноября вплоть до апреля. Весной вся наша компания решила отправиться в народ. Нужно сказать читателю, что время конца 75 года и начала 76-го было временем разочарования в тех надеждах, с которыми революционная молодежь двинулась в народ. Выработанная теоретически, на основе социалистических принципов, программа, без всякого отношения к тому, что представляла жизнь, потерпела крушение. В лучшем случае, удавалось только завоевывать симпатии деревни; но надежды на то, что пропаганда вызовет деревенский народ на активную борьбу или, по крайней мере, вдохнет в крестьянство веру в то, что такая борьба даст плодотворные результаты,—такие надежды не оправдались. Крестьянин слушал революционера точно так же, как он слушает батюшку, проповедывающего ему о царстве небесном, и после прослушанной проповеди, как только переходил порог церкви, жил точно так же, как он жил и до проповеди. Многие побывавшие в народе вынесли на этот счет такое убеждение. Мне рассказывал, напр., Осип Васильевич Аптекман о своей пропаганде в деревне, где он был фельдшером, вот что по этому по-

веду. „Собрались, — говорил О. В., — как-то в воскресенье ко мне в избу раз крестьяне, я и начал держать к ним речь. Все слушали меня, как мне казалось, по крайней мере, с большим интересом. Я, подкупленный таким вниманием к тому, что я говорил, все с большим и большим воодушевлением и энергией говорил им о плачевном положении людей труда, говорил о том, что все, чем живет Россия, все богатства ее результат мозолистых рук русского рабочего, что все остальные сословия — дворянство, духовенство и вообще все правящие люди и купечество — живут на счет рабочих и крестьян. Затем нарисовал пред ними картину будущего строя на социалистических началах. Все это слушалось с большим вниманием. Кончил, все вздохнули умиленно. Я в восторге, что произвел должное впечатление. Но зато как же был и огорошен, когда после непродолжительного молчания один почтенный старик, очень на вид симпатичный, которого я к тому же недавно вызволил от лихорадки и который, мне казалось, слушал с особенным напряжением внимания, сказал мне: умный ты человек, О. В., скажи же пожалуйста, а что будет на том свете? Тут я понял, — сказал мне О. В., — с горечью понял, каковы результаты моей пламенной речи! Не выдержал я характера и с сердцем ответил ему: какой тебе еще тот свет понадобился, — довольно тебе и этого, чтоб не думать еще о другом таком же!“. Возвратившиеся из народа пионеры с такими впечатлениями стали уже говорить о пересмотре и изменении программы соответственно указаниям опыта. В это время появлялись и на нашей квартире побывавшие в народе и уже критически относившиеся к прежней программе. Здесь я в первый раз встретил Александра Дмитриевича Михайлова, С. А. Харизоменова, Ив. Ф. Фесенко, помимо людей нашего кружка, стоявших тоже за пересмотр программы; и вот они-то и были первыми ласточками новой весны, повеявшей среди революционеров. Они первые поставили на очередь в революционной среде Петербурга такие вопросы, ответы на которые дали в результате программу „Земли и Воли“, принятую в 76 году большинством тогдашней молодежи. Мы, второе наслоение революционной почвы, создавали свои взгляды на деятельность, руководясь теми коррективами, которые вы-

несли из опыта первые пионеры в народе. Мы видели разочаровавшимися наших предшественников в народе, но разочарование это было здоровым разочарованием. Они разочаровались в средствах борьбы, необходимость же борьбы с поработившим народ правительством стояла вне сомнения, и мы, собиравшиеся в народ по стопам наших предшественников, шли туда не с остывшими порывами, а наоборот, с революционной энергией, если позволительно так выразиться, повышенной сравнительно с прошлым. Помню, в это самое время в первый раз на нашей квартире появились Баранников и Рогозов еще в мундирах юнкеров Павловского училища. Не помню хорошо, по какому поводу у нас в квартире собралась многолюдная сходка, чуть ли не по поводу возникшей полемики между Лавровым и Ткачевым; появление брошюры Ткачева очень взбудоражило революционные круги, хотя адептов приобрело ему мало. Впускал по билетам на сходку я. Открываю двери, и предо мной два сильных и мускулистых молодых человека, которые сначала, при первой встрече в дверях, несколько меня смутили, ибо я подумал — жандармы, — но сейчас же, получив от них билет на вход, признал в них юнкеров Павловского училища и впустил. Это было в первый раз, что Баранников появился на радикальной сходке, месяц спустя он сложил на Неве у проруби все свои военные доспехи: умерши для русской солдатчины, воскрес для революционного дела под именем Семена. Этот момент в нашем революционном движении, пожалуй, нужно отметить как момент особенно повышенного революционного напряжения. Не взирая на то, что в это время готовился процесс 193-х и что двинувшийся в народ первый призыв революционеров почти весь был брошен в тюрьмы, мы, второй призыв, еще с большей энергией рвались в народ. Для характеристики этого момента я забегу немного вперед и расскажу, с какой энергией и с каким пренебрежением к риску своей судьбой относились явившиеся из Питера в Ростов те, которые шли на смену томившимся в тюрьмах. Мы в Ростове жили в квартире Льва Николаевича Гартмана, служившего тогда в Азовско-Донском коммерческом банке. Отсюда человек пять отправились на базар, чтоб купить крестьянский костюм, переодевшись в который, отправляться в

народ. Помню, в числе отправившихся на базар были Баранников и Хотинский. Являются в лавку еврея, торговца крестьянским хламом, и, ни мало не стесняясь, снимают ботинки и брюки и примеряют шаровары, коты и пр. Конечно, такие необычайные покупатели подобных продуктов российской промышленности не мало удивили продавца-еврея, и он стал делиться своими впечатлениями с своим соседом, продавцом таких же товаров, на еврейском жаргоне. „Посмотри, посмотри-ка, какая у него на голове шапка! Зачем ему лапти, — что ты думаешь?“ — „А зачем мне думать, зачем тебе знать, на что ему лапти? Он покупает, ты продаешь, что тебе еще нужно!..“ Среди покупателей был еврей Хотинский, который понимал, какое удивление они вызвали у торговцев-евреев. Покупатели нисколько не смущались тем, что о них могут подумать, купили, что им было нужно, сложили в мешок и отправились опять к Гартману, где, переодевшись в купленный костюм, отправились пеши в качестве косарей на работы в Мелитопольский уезд. Мелитопольский уезд был одним из пунктов пропаганды. Брату студента Хотинского, содержавшему почту между Мелитополем и Бердянском, было поручено засеять 10 десятин земли, уборку которых мы намеревались произвести сами с целью научиться земледельческим работам. Организацию этих работ взял на себя Быковцев. Мелитопольская группа земледельцев состояла исключительно из мужчин. Другая же группа, состоявшая из мужского и женского персонала, отправлялась на работы в Ростовский уезд, где взялся руководить этим делом мой брат Илья Попов. Весной 76 года я отправился в Харьков, где должен был застать Быковцева, откуда, переодевшись соответственно, вместе с Быковцевым отправиться в Мелитополь, чтобы поступить в качестве ямщика на службу к брату Хотинского до времени уборки хлеба и затем вызвать группу лиц, согласившихся убирать хлеб, и нанять их якобы на работы к Хотинскому. Приехав в Харьков, я не застал там Быковцева, — он почему-то должен был поспешить на место предполагаемых работ, — но в Харькове он оставил для меня адрес и наставление, как его найти в Мелитополе. Наставление было такое: приехав в Мелитополь, найти там домашнего учителя в одном

еврейском семействе, и он уже сведет меня с Быковцевым. С небольшим запасом денег, достаточным лишь на проезд и харчи, и с паспортом в кармане на имя крестьянина Павленко, я отправился в Мелитополь. Нашел дом по приметам, которыми меня снабдили в Харькове, вошел в этот дом, поворотил направо в первую дверь и вошел в предполагаемую комнату учителя. Но в комнате не оказалось никого. Бросившаяся мне в глаза этажерка с книгами и единственная койка убедили меня в том, что я не ошибся и попал именно в комнату учителя. Расположился и стал ждать прихода учителя, — думаю себе, куда-нибудь ушел временно. Как же я был удручен, когда через каких-нибудь полчаса вошла в комнату, где я сидел в ожидании учителя, дама, очевидно, хозяйка дома, и на мой вопрос, — туда ли я попал и могу ли надеяться увидеть учителя такого-то, она ответила мне, что это действительно комната репетитора ее детей, но так как он тоже еврей и у них, евреев, теперь праздники пасха, то он уехал в Бердянск и проживет там несколько дней, а может быть и всю неделю. Положение мое было безвыходное. В моем кармане только и было каких-нибудь рубль с копейками да фальшивый паспорт. Очевидно, безвыходность моего положения так ясно отразилась на моем лице, что дама легко прочитала это и сказала: „Но это нисколько не мешает вам расположиться в комнате нашего репетитора и подождать его приезда“. Ничего другого мне не оставалось в моем положении, и я воспользовался предложением неизвестной мне дамы, поблагодарил ее и заявил, что я так и сделаю, ибо ехать, думал я, в Бердянск с риском и там также его не застать, перспектива еще более неприятная, чем та, в которой я сейчас нахожусь. Таким образом я расположился в доме людей, мне совершенно неизвестных, с небольшим запасом денег. Жду день — другой, не замечая, что делается вокруг, волнуясь тем: а что как этот учитель проживет в самом деле все дни праздника в Бердянске, а быть может, по каким делам и еще куда уедет, — что мне делать? Между тем моя хозяйка вошла в мое положение и принимала меры вывесть меня из него. К счастью моему, Хотинский, по пути из Петербурга в Ростов, заехал к себе домой, в Мелитополь. Хозяйка моя, родственница его, сообщила ему о

своем неожиданном госте, и вот Хотинский и вызволил меня из беды. Но это случилось два дня спустя после моего приезда в Мелитополь. До этого же времени я чувствовал себя так, как чувствовал потом, когда меня арестовали в Киеве, в первые дни. Встал я утром на другой день по приезде и, помня хорошо, что всякий человек вставши пьет чай или, по крайней мере, завтракает, я обратился к кухарке, русской, довольно суровой пожилой женщине, и попросил ее купить мне молока и хлеба к завтраку и в ответ на просьбу получил довольно нелюбезный ответ, что этого здесь нельзя, так как у евреев во время этого праздника никакого хлеба в комнату вносить не полагается и что в эти дни в еврейском доме ничего не дозволяется кушать, кроме мацы. Хорошо еще, что кухарка на мою просьбу ответила громко, так что ее хозяйка слышала ее отказ в моей просьбе и сказала из своей комнаты: „Ничего, Алена, — купи что нужно“, а то, пожалуй бы, пришлось итти завтракать на базар, ибо гостиница была мне не по карману. Словом, мой первый дебют в народ был первым блином комом. Наконец души моей терзания кончились. Явился ко мне Хотинский, признал во мне товарища по делу, снабдил деньгами и успокоил меня, сказав, что здесь я могу спокойно себе жить, пока не явится Быковцев, который, вероятно, на-днях будет здесь, и что я должен искать его у амбаров, где он обыкновенно пребывает, когда появляется в Мелитополе. После этого я сделался настоящим гостем в этом доме, где до сих пор был под сомнением — не то друг, не то враг учителя. Откровенно говоря, думали обо мне надвое: то ли я радикал такой же, как ее учитель и Хотинский, или, быть может, шпион и, по меньшей мере, человек, подлежащий удостоверению его личности. С момента же удостоверения моей личности ко мне по временам заходила в комнату моя хозяйка, приглашала обедать и чай пить. Дети же ее, Анюта и мальчик Саша, постоянно вертелись у меня в комнате. Теперь уж и хозяйка знала, кого мне нужно, не потому, конечно, что Хотинский сообщил ей, что мне нужно у амбаров для ссыпки хлеба встретить Быковцева, а потому, что я только и знал дорогу от амбаров к дому, где я жил, и обратно. Почитаю-почитаю какую-нибудь из книжек, взятых с этажерки, и пройду

к амбарам, присматриваясь, нет ли среди рабочих Быковцева. Приходилось заниматься этим в продолжение дня несколько раз, и немудрено, что хозяйка моя поняла, что я с кем-то жду встречи у амбаров. На четвертый день моего пребывания в Мелитополе, не успел я еще умыться, как вбегает ко мне Анюта и лукаво говорит мне: „Там под амбаром какой-то человек лежит, а Саша боится его, — я говорю ему: зачем бояться, может быть, ему кого-нибудь нужно видеть!“ Я вышел и в этот раз нашел Быковцева. Он сказал мне, что он пойдет за город к кладбищу, и просил, чтоб я с Хотинским пришли к нему туда же. Здесь, на кладбище, еще одна неожиданность, граничащая с неудачей, постигла меня. Я ехал в Мелитополь занять место ямщика, как мы о том условились с Быковцевым, а здесь узнаю, что он предложил место ямщика Брандтнеру, или, как он известен был у нас, Немцу, и что мне поэтому тоже нужно отправляться в Ростов и оттуда уже ко времени уборки хлеба притти вместе с компанией, найти Брандтнера или его, Быковцева, и наняться на работу к Хотинскому. Мне ничего не оставалось, как возвратиться вместе с Хотинским в Ростов, где я уже застал в сборе компанию, собиравшуюся на работы в Мелитополь, о сборах которой я уже сказал выше. Я во второй раз уже не попал в Мелитополь, ибо захватил где-то лихорадку и отправился в свою семью лечиться. Знаю только, что работы в Мелитополе сошли благополучно. Были, конечно, шероховатости, но скорее комического, чем трагического характера. Например, мне рассказывали, что крестьяне ломали голову над тем, что за люди эти бог весть откуда взявшиеся косари, очевидно, в первый раз в жизни взявшие в руки косу и грабли? Кроме того, так как задачей этой работающей компании на поле близ Мелитополя было лишь научиться сельским работам под руководством таких людей, как Быковцев, с детства знакомым с этим трудом, то она не считала нужным симулировать заправских рабочих и не заставляла себя выходить на работы одновременно с выходом на работы по соседству работающих настоящих рабочих, и после немногих первых дней работы с особым рвением, не сообразив, что им, как непривычным к физическому труду, не так-то

легко дается труд с косой под горячим солнцем юга, быстро спасовали, в особенности после того, как иронизировал Быковцев, когда один из косцов, Иван Левитский, на предложение вставать на работы заявил: „Ей-ей не могу, у меня ровно ребро зашло за ребро, так болят спина и правый бок". Вот это все вместе взятое — и поздний выход на работу, около 8 часов, когда уже настоящие рабочие идут завтракать, и все другое, что работающую интеллигенцию у Энгельгардта в Батищеве дало повод крестьянам назвать тонконогими, все это, говорю, вместе взятое заставляло и соседних крестьян определить, — к какой категории рабочих отнести земледельцев на мелитопольском поле, неведомо откуда-то взявшихся, Говорят, что соседи-крестьяне решили: „шо то, мабудь, заграничны вермены", т. е. заграничные армяне. Совсем не так гладко сошла затея ростовской компании научиться земледельческим работам, где организатором работ был мой брат Илья, осужденный потом по процессу демонстрации на Казанской площади в ссылку в Сибирь. Дело началось с того, что эти земледельцы смутили станового пристава. Приехал он к моему отцу и ведет с ним такую речь за рюмкой сантуринского, я же, лежа в соседней комнате в лихорадке, слушаю: „Скажите мне, батюшка, — начал становой, — ну, я понимаю, говорят, графиня Воронцова своими руками и копала, и полола, словом, занималась черным трудом; это, я понимаю, делала она для спасения души, — скажем так: богоугодным делом занималась. Ну а вот у Ильи Родионовича работают в поле студенты и девицы какие-то, — это чем объяснить?" — „Какие же какие-то, — возражает становому отец, — там работает и моя дочь, товарки ее по гимназии, студенты — товарищи сына Ильи, и им знакомые студентки, и я не понимаю, что вас удивляет, Иосиф Васильевич? Для меня ничего в этом нет удивительного. Я даже, смотря на них, радуюсь, думаю, пусть себе поработают на свежем воздухе, запасаются на зиму силами. Ведь в Петербурге-то в сырых квартирах здоровья не наживешь, ну, и пусть наш благодатный юг освежит их здоровье". — „Нет, отец Родион, это не то. Вот отправлюсь я туда сам, возьму косу, и пусть-ка они от петухов до петухов потянут за мной, — небось, скоро бросили бы". — „А вы,

Иосиф Васильевич, когда-нибудь косили?" — спрашивает станового отец. „Нет, не приходилось, да уж ради этого понатужился бы", — ответил становой. „Ну, так я вам, Иосиф Васильевич, не советую, ибо не только от зари до зари, как поют студенты наши, а и одну ручку (ряд, захватываемый косой в один раз на расстоянии десятины вдоль или поперек, смотря, как идут косцы) не одолеть вам". Такую речь вел с моим отцом становой. И так как становой не договаривал до конца, то со стороны и выходило, что они говорили на разных языках. Не предубежденному человеку, каковым был мой отец, просто казалось, что становой находил труд земледельческий неподходящим для учащейся молодежи, отец же мой не соглашался с ним, и только. На этом, однако, дело не остановилось. Из среды работающих студентки Богомаз, Конопля, две сестры Товбич и Бутенко нанимали в нашей деревне крестьянскую избу, где и жили. В одно время, когда барышни были в поле, приходит к их хозяйке, по всем признакам, гороховое пальто из Ростова и просит хозяйку, пока придет поезд из Владикавказа в Ростов, напоить его чаем. Хозяйка отвечает, что у нее самовара своего нет, а самоваром барышень она не смеет без их позволения распоряжаться. На это таинственный человек говорит ей, что в сущности ему не так чай нужен, как он желал бы познакомиться с барышнями, и что если бы она, бабушка, помогла ему познакомиться с ними, то он бы ее щедро отблагодарил. Тут уж, очевидно, произошло qui pro quo. Строгая бабушка, не подозревая истинных намерений горохового пальто и заподозрев его в иных видах на любимых ею барышень, заговорила и иным языком. „Отправляйся, — сказала старуха, — виткиль пришов, бо я тобі таких барышень покажу, шо ты не втрапишь куди й тикать". И вооруженная скалкой, которой она что-то делала в это время, подступила к нему и еще раз подтвердила, чтоб он убирался. „Це не таки барышни, як ты думаешь своїй скаридной головой".—„Да, я знаю, бабушка, что это не такие барышни"...— начал было уверять старушку таинственный посетитель, но старушка его прервала и сказала: „А знаешь, так тобі лучше. Иди собі, виткиль пришов, покиль я не посчитала тобі ребра".

Оказалось, и новый подход не удался смущенному появлением на поле студентов и студенток начальству. По чем дальше, тем все больше становилось ясным, что начальство не в шутку завозилось около необычайных рабочих на поле близ деревни Самарска. В одно время приходит еще одна старуха, поле семьи которой было соседним с полем, где работали наши студенты и студентки, и говорит отцу: „Не знаю, батюшка, с чего и начать, зачім я пришла к вам!“ — и рассказывает, что к ним приходил какой-то солдат наниматься на работу. Стали они ладиться с сыном, сказала старушка, а солдат и говорит, что он собственно не работы ищет, а так, чтоб ему только проживать у них. Чем дальше говорил солдат, тем более, по словам старухи, становилось ясным, что ему нужно было бы понаблюдать за людьми, работающими на батюшкином поле, не делают ли они фальшивых денег. „Так то він сказав моему сыну, батюшка! Сын мій, правда, сказав ему, — чі мы ж таки не знаемо Родионовичей, шоб таке про них говорить? А він так-таки и сказав: в том-то и діло, шо вы не знаете. Поговорила я с сыном и кажу собі: хоть по всему видно, шо тут якась брехня, бо мы ж бачим и все то у нас на глазах, — а все ж, думаю, треба сказать батюшке, бо потом, чего оборонь боже, як лихо стрясеться, батюшка не выговорив бы нам: бач знали, а не сказали мені!“ В конце концов, вероятно, убедившись в том, что всякие аллюры ни к чему не приводят, начальство решило действовать напрямик. Брат Гартмана, начальник телеграфной конторы в Новочеркасске, сообщил нашим в Ростов о том, что между управлениями ростовским жандармским и донским воинским идут переговоры о необходимости произвести обыск у сына священника, работающего на земле, принадлежащей Войску Донскому. Тогда г. Ростов был уездным городом Екатеринославской губернии. Деревня наша находилась в Ростовском уезде, земля же, на которой работали брат с компанией, взята была в аренду у казака Донской области. Вот почему и понадобились эти переговоры между ростовским жандармским управлением и воинским управлением Земли Войска Донского. Я все еще был болен и находился в доме моего отца. Вдруг вижу, к дому подъезжает извозчичья пролетка, — что-то необычное, ибо Самарск находится в

35 верстах от Ростова по Владикавказской железной дороге и к тому же в самой деревне станция. Приехал Осипич, ведший в это время дела среди ростовских рабочих, и говорит, что приехал на извозчике, чтоб предупредить об обыске, ибо, может быть, с шестичасовым поездом нагрянут жандармы, и нужно все компрометирующее припрятать. А ведь в наше время пределы недозволенного были широки. Сюда входили и речи Лассаля и „Капитал“ Маркса, не говорю уж о политической экономии Милля с примечаниями Чернышевского, и многое другое. Обладатели всего этого смело могли рассчитывать на несколько лет каторги. Пошел я с сестрой на злополучную квартиру необычайных самарских жильцов, и все в этом роде, что там оказалось, припрятали мы в более безопасное место. Затем отправил гонца с письмом к брату на поле, посоветовал нашим рабочим не возвращаться в Самарск, а прямо отправиться пароходом в Таганрог и по железной дороге оттуда, кто куда желает. С шестичасовым поездом на Владикавказ из Ростова прибыли в Самарск жандармы во главе с начальником ростовского жандармского управления, но их появление в Самарске обнаружилось лишь в том, что они выкупались в купальне, принадлежащей служащим железной дороги, и дальше этого они не пошли. Утром на другой день я отправился на станцию в надежде что-либо узнать там о намерениях жандармов. Итти на станцию нужно было мимо дома моей тетки. Поровнявшись с домом моей тетки, я увидел ее на крыльце, подзывавшую знаком руки подойти к ней. Подхожу, и она начинает с того, что говорит: „Знаешь, ведь наших барышень арестовали“. Это было почти невероятным, и я спросил ее, откуда она знает об этом. Она рассказала мне следующее: „Приходила ко мне старуха Тыркалка, у которой по случаю ремонта железнодорожной станции квартировал временно начальник станции, и сказала мне так: „Пришел, говорит, мой барин, ходит по комнате и одно: ах, боже мой, ах, боже мой! Я и спрашиваю у него — что-то вы так, барин, убиваетесь? А он и сказывает, что тех барышень, что работали у Ильи Родионовича на поле, арестовали.— За что же то их, барин, арестовали? — спрашивает Тыркалка. — А за то, — ответил ей начальник станции,— что они читали книжку, где

про вас, крестьян, написано. — Отто ж! Чи вжешь, барин, про нас и в книжках писать нельзя? — спрашивает старуха. — Выходит, значит, бабушка, что нельзя". Как это ни казалось странным, так как посланный в поле привез письмо, что все, кроме Александры Дмитриевны Товбич, уехали в Таганрог, тем не менее факт налицо, — свидетельство начальника станции. Отправляюсь на станцию и узнаю от начальника станции, что со станции Степной, Владикавказской железной дороги, действительно, по словам кондукторов, отправлены в отдельном вагоне арестованные наши работницы под строгим секретом в Ростов и что на нашей станции ни в вагон, ни близко подойти к вагону никому не позволялось. Возвратившаяся с поля А. Д. Товбич тоже сообщила, что что-то сенсационное произошло на поле около станции Степной, но что это, по всей вероятности, не имеет никакого отношения к нашим, ибо наши уехали в совершенно противоположном направлении. Оставалось одно — подождать дальнейших сведений. И вот на другой день прошел такой слух: приехавшие жандармы, узнав о том, что интересующие их земледельцы в поле, решили арестовать их на месте преступления. Наши дамы на работы не особенно переряжались и только заменяли шляпы платками, повязывая их так, как повязывают дончихи. Это обстоятельство и ввело жандармов в заблуждение. Они вместо нигилистов-пропагандистов, за которыми они охотились, арестовали шедших на работу 4 девушек-казачек, что обнаружилось уже в Ростове, так как девушки были из станицы Елизаветинской, находящейся в 30 верстах от Ростова, откуда и были вызваны их отцы, чтобы удостоверить, что они действительно казачки, как они сообщили при их аресте, а не пропагандистки, поселившиеся в Самарске и работавшие на поле брата. Весть об этом дошла и до нас в Самарск и, конечно, послужила предметом для толков об этом и вполне заслуженного смеха над такой непростительной для жандармов ошибкой. Но все же продолжать работы на поле, конечно, было невозможно, и компания разъехалась, в том числе и мой брат, организатор, и работы уже заканчивал мой второй брат без всякого соблазна для жандармов, ибо работали уже настоящие рабочие, а не студентки и студенты, явившиеся из Петербурга. Остался

только я один, все еще не избавившийся от лихорадки. В конце лета меня, больного, посетили Осинский и Андреич. В этот год Осинский тоже покидал Ростов, из которого, как я уже говорил, он давно рвался, но ему все еще мы не советовали бросать место секретаря в ростовской городской управе. Ибо при помощи его можно было во всякое время поместить в городскую управу человека из нашей революционной среды. Его положение, как секретаря городской управы, было совсем иное, чем положение секретаря какой-либо другой городской управы. Семья Осинских среди дворянства Ростовского уезда занимала видное место, и, благодаря этому, его рекомендация была рекомендацией не только секретаря управы. В ростовской управе многие из состава служащих в это время сочувственно относились к революционному движению. Городским головой был в это время Кривошеин, тот Кривошеин, который потом какими-то судьбами попал в министры путей сообщения. Судя по словам Осинского, Кривошеин был далеко не умный человек, так что мне было странно узнать в Шлиссельбурге, что он достиг портфеля министра; но, как сказал наш знаменитый Щедрин, что русский человек среди жандармов — жандарм, среди либералов — либерал, то и Кривошеин, по словам Осинского, — правда, ироническим словам, — любил похвалиться, что не даром же он учился где-то в Париже и, конечно, вполне понимает и до некоторой степени сочувствует стремлениям современной молодежи, если эти стремления не переходят известных пределов. Каковы эти пределы, это можно судить опять-таки по той иронии, с какой Осинский передавал мне о разговоре его с председателем земской управы Сарандинаки, что было бы недурно издавать заграничный конституционный орган и что в Ростове нашлись бы люди, тому сочувствующие, — при чем указывал и на Кривошеина, разделяющего такое мнение, — которые бы дали на это и денежные средства, но само собой понятно, если б риск такого предприятия взял бы на себя кто-нибудь другой, а не Сарандинаки и разделяющие его мнение люди. Дошло до жандармских ушей, что, пользуясь покровительством Осинского, в управе приютились неблагонадежные элементы. Понятно, Кривошеин, хоть и с реверансами, заявил

Осинскому, что он, как представитель города, допустить этого не может, а как хороший знакомый Осинского, посоветовал Осинскому покинуть совсем Ростов. Таким образом Осинский мог свободно располагать собой, и вот он, Андреич и я собрались в доме моего отца и обсуждали те коррективы к старой программе деятельности, какие по указанию опыта должны быть сделаны. Вопрос о пересмотре программы все больше и больше занимал умы лиц освободительного движения нашего времени. Уже в эту осень собравшиеся в Петербурге представители отдельных кружков определенно формулировали основные положения, которые вошли в программу „Земли и Воли". В 1877 году съезд революционеров в Петербург был ранний, сравнительно с предыдущими годами. Съехались пересмотреть старую программу и на основании опыта выработать новую. До сего времени существовали отдельные, не зависящие один от другого кружки, теперь же большинство революционных деятелей стремились к тому, чтобы создать организацию, которая объединила бы разрозненные кружки под одним знаменем. Кружок бывших чайковцев и кружок без определенного названия, но имевший своих представителей во многих местах провинции, напр., в одном Ростове были его представителями: Гартман, Осинский, Андреич, Титыч и пр., послужили главными составными элементами организации „Земли и Воли". Старая программа, рекомендовавшая проповедь принципов социализма в деревне, заменена была программой протестов на почве жизненных интересов деревни. Задачей представителей организации было отыскивать в народе протестующие элементы и на почве, создающей эти элементы, призывать народ к активной борьбе. Сообразно теоретической программе, программа практическая основателями организации в общих штрихах была намечена в таком виде. Организация „Земли и Воли" состоит из группы народников, которые должны были селиться в районах России, на которые наиболее можно было надеяться, что они дадут протестующие элементы или в силу исторической традиции, как Волга, Дон, Урал, или на почве сектантства. Вот почему после того, как была закончена организация „Земли и Воли", представители народнической группы организации двинулись для поселе-

ния на Волгу, где центром был Саратов, и на Дон, где центральным пунктом был Ростов. Вторая группа организации „Земли и Воли“ называлась группой дезорганизаторов и носила характер летучей группы организации. Ея задачей была дезорганизация правительства. В протестах, возникавших на почве аграрных или правовых насилий над деревенским населением, дезорганизаторы должны были являться мстителями особенно усердствующим администраторам. Во главе организации стоял основной кружок, из членов которого избиралось бюро в количестве трех человек. Членами основного кружка стали те, кто непосредственно участвовал в выработке программы, а затем большинством членов основного кружка, по предложению одного из них или нескольких, принимались в основной кружок новые его члены. Бюро распоряжалось денежными средствами организации, на его обязанности лежало сноситься со всеми поселившимися в народе и с дезорганизаторской группой. В каждой образованной вновь группе в провинции должен был быть один из членов основного кружка, так же точно и в группе дезорганизаторов. С ними и сносилось центральное бюро организации. После того, как организация „Земли и Воли“ была более или менее закончена, основным кружком было решено объявить во всеобщее сведение о народившейся вновь организации „Земля и Воля“ демонстрацией на какой-нибудь из площадей города Петербурга. В мое пребывание в Петербурге сделано было две попытки в этом направлении. Было объявлено среди учащейся молодежи и среди петербургских рабочих о демонстрации на площади Исаакиевского собора, куда приглашались на какой-то молебен или панихиду. В один день там под таким предлогом собралась молодежь, но, кажется, в виду того, что рабочих явилось на площадь менее, чем рассчитывали организаторы демонстрации, собравшаяся молодежь разошлась, и демонстрация была отложена. То же повторилось и еще раз. Вскоре потом я был командирован в Астрахань, где в это время проживал в виду раздела наследства некто Мартын Герасимович Гостинцев, обещавший уделить кое-что из полученного им наследства на дело нашей организации. В Астрахани в это время проживали принадлежавшие к организации „Зем-

ли и Воли“ Баранников, известный под именем Семена, и Медведев, или Матвеич. Я несколько остановлюсь здесь на личности Баранникова и скажу несколько слов о нем с того времени, как он прямо из Павловского училища отправился в народ, — это послужит материалом для характеристики Баранникова. Баранников с мелитопольской фермы, где он был тоже в числе „яких-то заграныгчных вермен“, отправился в Ростов-на-Дону. Здесь я видел его вместе с Быковцевым за Доном, в так называемом по-местному займище (место, заливаемое в разливы Дона), у амбаров моек, где Баранников сказал мне, что он намеревается наняться на рыбные ловли в станице Елизаветинской, Земли Войска Донского; это было приблизительно в конце июля. В конце ноября я встретил его вновь в Астрахани. Нужно помнить читателю, что приблизительно в декабре или январе 76 года Баранников в первый раз появился на сходке на Большой Дворянской улице. Молодой человек из богатой дворянской семьи, он прямо, без всяких переходов и подготовки ринулся в народ. Говорят, что когда он в первый раз в качестве рабочего в Мелитополе нашел в своей рубахе вшей, то был крайне удивлен, увидев белых блох, и только от своих товарищей, работавших там вместе с ним, узнал, что это вши, а не блохи. Выйдя на свидание за Дон с Быковцевым и Баранниковым, я увидел такую сцену: Быковцев убил змею и, взяв ее за хвост, бегал за Баранниковым, который удирал от него во все лопатки, что называется, не в состоянии побороть свою брезгливость к змее. На вопрос мой: что это за препровождение времени? — Быковцев, смеясь, ответил: „Подготовляю его в народ. Боится змеи, что за народник из него!“ И вот этот барич, не умевший отличить вши от блохи и брезгавший змеей, нанимается в рыбаки в заброд, как говорят на Дону. Он рассказал мне о своей роли в качестве рыбалки в Астрахани при встрече вот что. „Сели мы несколько человек на баркас под предводительством хозяина-казака ехать забрасывать невод. Дали и мне два весла, но так как я отроду в первый раз взял их в руки, то понятно, каков я был в качестве гребца на баркасе. Хозяин самой настоящей русской руганью обругал меня и назначил меня работником около лошадей. Взялся я за лошадей. Ве-

лит хозяин запрячь лошадей. Иду, беру хомут, надеваю его клещами к груди лошади, уж я и так и этак, говорил Баранников, поворачивал хомут на шее лошади, но шлеи никак не подденy под хвост, — коротка, думаю. Так я провозился долго, но безуспешно. Ждал-ждал мой хозяин, приходит, видит мои тщетные усилия и со словами: „Где ты родился и где тебя крестили, что и хомута не умеешь надеть на лошадь“, стал запрягать сам. Несмотря на то, что я объяснил ему свое неумение запрячь лошадь тем, что, мол, у нас ездят на волах, тем не менее хозяин рассчитал меня“. После такой неудачи в качестве рыбалки он, кажется, вместе с Андреичем отправился вверх по Дону до Калача, а оттуда в Царицын и таким образом очутился в Астрахани. В Астрахани нанялся в кузнечную мастерскую в качестве молотобойца, к какому-то Смирнову, как теперь помню. Ну, тут его вызволяла его атлетическая фигура, и хозяин дорожил им. Но, боже, что представляло его тело, когда он по субботам вечером приходил на квартиру и переодевался на воскресенье в чистое белье! Все тело было изборождено продольными и поперечными кровавыми струпьями. Это так его донимали в кузнице вши, — рабочие в числе 12 человек спали в комнате при кузнице, где, по словам Баранникова, вши кишели кишьмя, как говорится. Тело молодое, выхоленное, и вот вши и набросились на него. Тем не менее он чувствовал себя именинником, что наконец-то он сделался заправским рабочим. Пишу, вспоминаю, какую суровую школу прошел Баранников, и не могу не сказать здесь же, что много было героических натур в движении 70-х годов, но по героизму с Баранниковым не могу никого сравнить. Покончив денежные дела с М. Г. Гостинцевым и сговорившись с ним, что по окончании дела о наследстве он переедет в Ростов-на-Дону, мне ничего не оставалось делать в Астрахани и к тому же нужно было ехать в Питер, чтоб осведомить бюро о том, в каком положении дело с наследством принадлежавшего к основному кружку М. Г. В это время Матвеич и крестьянин Нижегородской губернии, служивший в Астрахани капельдинером в театре, собирались на родину Ефима (имя капельдинера) в Макарьевский уезд. Задумали они ехать так: купить пару саней и пару лошадей и на одни сани на-

грузить рыбу, а на других ехать самим. Я решил ехать с ними. Отец Ефима, человек сведующий в покупке лошадей, купил пару лошадей и пару саней, и мы отправились вверх по Волге по льду, в качестве астраханских приказчиков, отправляющихся на родину и захвативших с собой на родину из Астрахани рыбы. Я с ними ехал только до Царицына, а они в Макарьевский уезд, на родину Ефима. Путешествие это было в высшей степени поучительно. Мы пристали к одному обозу с рыбой и ехали таким образом в обществе крестьян-извозчиков. Пропаганду насчет земли и воли вели не стесняясь, ибо наше положение приказчиков было в высшей степени благодарное. Извозчики относились к нам, как к людям более их сведущим в том, что делается в России, с полным доверием. На кормежке лошадей и на ночлегах тоже встретили благодарную почву. Не знаю, как теперь, но в то время на расстоянии пути от Астрахани до Царицына общества крестьян тех деревень, что мы проехали, не позволяли у себя открывать постоялые дворы частным лицам, а извозчики по очереди заезжали во дворы крестьян. Бывало, подъезжаешь к деревне, и десятские разводят по дворам извозчиков. Таким образом, мы и на ночлегах бывали в кругу крестьян. В первый раз в деревне Соляное Озеро я читал в крестьянской избе „Хитрую механику". Злобой дня в деревне в это время был недавно введенный налог на соль, чем деревня была возмущена, ибо добыча соли была воспрещена, почему нас и слушали с напряженным вниманием, понимали без всяких разъяснений и вполне соглашались с автором, что правительство действительно подвело хитрую механику. В этот же раз в Астрахани были заведены сношения с деревней Никольское, Царевского уезда, в которой, судя по газетам, в начале сентября этого года были волнения. В это время деревня Никольское вела войну с только что введенным законом о рыбных ловлях, и крестьяне вступали в активную борьбу с надзирателями рыбных ловлей. Был случай в наше пребывание в Астрахани такой: надзиратель во главе объездчиков-калмыков на запретном пространстве вод захватил сети крестьян дер. Никольской. В деревне ударили в набат, и крестьяне бросились выручать своего односельчанина. Догнав сани, на которых увозили сети и поверх

которых сидел надзиратель, они опрокинули сани с сетями и таким образом задушили под сетями надзирателя. Интересно было при этом поведение объездчиков-калмыков. Когда они увидели, что грозит беда и им, они сказали надзирателю: „Ну, теперь, барин, ты сам, как знаешь!“ — и с этими словами разбежались. С этой же деревни в это время снаряжался ходок с прошением об отмене тяжелого для крестьян закона о рыбных ловлях. Мы свели знакомство с этим ходоком и, по приглашению его, намеревались поселиться около этой деревни в качестве лесных объездчиков, что и обещал нам устроить знакомый нам и сочувствующий делу революционеров губернский лесничий в Астраханской губернии. Интересна была наша встреча с этим ходоком. Встреча состоялась в квартире лесничего же. Мы собрались и ждем. Приходит почтенный старик крестьянин, поздоровались мы с ним, он рассказал нам, что происходило сейчас в рыбном комитете, где он состоял членом от крестьян. „Прямо говоря, — говорил он, — нам там слова сказать не дают! Начал говорить, а мне сейчас: ты, говорят, помни, что ты не в кабак пришел, и всяких глупостей не рассказывай! Это-то мне говорят, который, не помню, был ли когда в кабаке, разве, может быть, в молодые мои годы. У меня не водка на уме, а как помочь миру, — вот что у меня на уме. Был как-то раз у губернатора, тоже все потому же, что нам никак нельзя жить с этими рыбными законами, а он вместо того, чтоб облегчение какое нам положить по закону, стал лаять и грозил в тюрьму посадить, если буду смущать крестьян“. Между прочим увидел этот ходок на стене портрет Шевченко, и, вероятно, его внимание привлек костюм, в котором снят Шевченко, похожий на костюм крестьянский. Спрашивает, — кто такой этот старик? Мы отрекомендовали ему Шевченко, как ходока от малороссийских крестьян, который был за это сослан в царствование Николая. „Вот она-то правда к чему приводит“, — сказал он. На наше предостережение, что и с ним так же могут поступить, он ответил: „Пущай, но я уж не отступлюсь, раз взялся. Уж там что будет, а уж я решился, забрал руки мирян, надо итти до конца. А что будет, господу будет известно, и пускай он, господь, нас и рассудит“. Деревня Никольское вполне представ-

ляла почву для той деятельности, к которой призывала программа „Земли и Воли", но пока такое дело было еще не по силам нашей молодой организации. Тем не менее я ехал в Петербург с предложением направить поселение в Царевский уезд, Астраханской губернии, имея в виду главным образом Андреича (Боголюбова), который, по мнению моему, только и мог взяться за организацию такого дела. Оно было ему и по характеру, да он и гораздо больше был опытен в ведении дел с крестьянством, умел говорить с ними. Но приезжаю в Питер и узнаю, что на-днях только произошла демонстрация на Казанской площади и что брат мой и Андреич были арестованы по делу этой демонстрации. Считаю нужным сказать здесь, что Боголюбов не участвовал в демонстрации, хотя и был приговорен за участие в ней к 15 годам каторги. Решено было членами основного кружка, что лица, исполняющие определенные функции по организации, на площадь не должны были выходить. Андреич, во избежание соблазна, в часы, определенные для демонстрации, занят был другим, именно — он в это время отправился учиться стрелять в тир. Возвращаясь оттуда, на одном из углов Невского проспекта, после того как на Казанской площади все успокоилось, он стал расспрашивать о том, что произошло на Казанской площади сегодня, и в это время, по указанию кого-то из толпы посыльных, был арестован; револьвер, найденный при нем, послужил достаточной уликой против личности задержанного. Точно так же и мой брат не должен был участвовать в демонстрации. Андреич и мой брат затевали что-то вроде Клеточникова при секретном отделении. Насколько это я знаю со слов жены брата, Александры Дмитриевны, брат ходил к Колышкину и предлагал ему свои услуги в качестве агента, но, вероятно, это сделано было так неумело, что когда при аресте мой брат заявил себя агентом секретного отделения и, отказавшись от дальнейших разъяснений своей личности, сослался на то, что дальнейшее разъяснение могут получить о нем в секретном отделении, то этот маневр со стороны брата послужил лишь к тому, что дал время его жене убрать с квартиры паспортный стол, организуемый им с Андреичем, Колышкин же дал о нем такой отзыв: действительно, к нему заходил студент Художественной

академии и предлагал ему свои услуги, дал несколько, оказавшихся по проверке ложными, сообщений, „и я пришел к заключению, что Попов ведет себя в этом отношении неискренно, и отнесся к нему с недоверием". Вышел же мой брат вместе с своей женой на Невский, чтобы в качестве гуляющего видеть своими глазами происходящее на Казанской площади, но не выдержал и бросился в толпу помогать демонстрантам в свалке, происшедшей между ними и полицией. Из Петербурга, куда я явился из Астрахани, чтоб предложить поселение близ деревни Никольской, пришлось отправиться в Ростов, чтоб сообщить семье об аресте брата, отправить в Петербург для свиданий с братом мать и самому остаться в Ростове, чтоб заменить собой роль Осинского по отношению к работавшим в Ростове среди рабочих. Но мне пришлось вновь отправиться в Петербург, не помню сейчас почему, на короткое время. Побывал на процессе так называемом 50-ти, который произвел на меня очень сильное впечатление. Во всяком случае на этот год я оставался в Ростове вместе с Титычем представителями организации „Земля и Воля". В Ростове в это время дело с рабочими было поставлено очень хорошо. У нас было знакомство среди рабочих и в мастерских Владикавказской железной дороги и на заводах Грагама и Фронштейна. Кроме того мы имели в своей местной ростовской организации несколько человек из плотничной артели и среди приказчиков. Вне Ростова наша же организация вела дело на Грушевских шахтах. На заводе Грагама вся почти администрация оказывала нам услуги по пропаганде среди рабочих этого завода. Вообще революционеры в Ростове сравнительно с другими провинциальными городами находились в очень хороших условиях. Помню, приехал в Ростов Александр Васильевич Сентянин и прямо со студенческой скамьи настойчиво выражал желание поступить на завод рабочим. Отправился я к управляющему заводом Грагама переговорить с ним, нельзя ли хотя бесплатно поместить на заводе одного студента в качестве рабочего, при чем не скрыл от него, что в работе он столько же знает, сколько всякий студент. Управляющий сказал на это: „Зачем же бесплатно, пусть Грагам оплачивает пропаганду среди его рабочих!"—и поместил Сентянина с

платой в день полтора рубля. Среди населения предместья Ростова, Темерники, среди служащих на заводе и приказчиков торговых заведений мы были очень популярны. Раз сидим мы с Титычем у меня на квартире, отворяется дверь, и под предводительством одного из знакомых в торговом мире входят три новых. Поздоровались, сели. Один из вновь пришедших обращается со словами к нам, что вот, мол, пришли поучиться, и уж будьте так добры, не откажите. На первых порах мы были даже сконфужены таким лестным мнением о нас, сложившимся в этой среде, и только их искренность и их неподдельное желание познакомиться с социалистическим учением изгладило первое впечатление неловкости. Мы были в достаточной степени популярны в такой среде, в которой мы и не думали, что о нас что-либо знают. Существовала, как я уже говорил, у нас квартира специально для приезжающих в Ростов, чтобы отсюда, переодевшись, отправляться в народ. Вот однажды, когда в ряд на полу лежало человек пять в крестьянском платье, входит хозяйка, дом который мы нанимали под квартиру, и, обратившись к Быковцеву, подает ему повестку о получении на ее имя денег в почтовой конторе и просит написать на ней, что предъявительница действительно то лицо. „А то платить не хотелось бы, — поясняет хозяйка, — а вот вы напишите, а уж в полиции засвидетельствуют, и все тут“. Быковцев, притворяя из себя заправского крестьянина, сказал ей, что он неграмотный и писать не умеет. „Ну, вот, не умеете, кто ж тогда и умеет писать, если вы не умеете“. Быковцев, смущенный таким мнением о нем, стал уверять хозяйку, что он простой человек и совершенно безграмотный. Но хозяйка в свою очередь говорит ему: „Ну, будет вам, напишите, пожалуйста, разве я не знаю, кто вы такие!“ И каково же наше было смущение, когда на вопрос Быковцева, — кто же мы, по ее мнению, — мещанка города Ростова, наша хозяйка, сказала ему: „Вы пропагандист!“ Ничего другого не оставалось делать после этого Быковцеву, как достать спрятанную от посторонних глаз чернильницу и исполнить просьбу хозяйки. Повторилось подобное же и на другой квартире, где Титыч, Севастьян Ильяшенко, крестьянин, судившийся потом вместе со мной в Киеве, и Хотинский жили в качестве сапожников и

где в их сапожной мастерской собирались сходки рабочих. Квартира эта помещалась на Казанской улице, переименованной теперь в Пушкинскую. Собрались мы как-то раз на сходку; Титыч читал лекцию рабочим, — их собралось довольно, привел наш дедушка, Журавлев, и плотников своей артели. Дело было летом, а потому окна, выходившие на улицу, были открыты. После лекции велись общие беседы. Поглощенные в беседах интересом дела, мы забыли о всяких предосторожностях и не стеснялись в беседах тем или другим словом, которое в присутствии посторонних не произносили обыкновенно. Входит хозяин дома, в котором происходили сходки, и говорит: „А вот я пришел вас пожурить, господа!“ — „За что?“ — спрашиваем. — „Да как же, собрались, громко говорят, и окна открыли на улицу, — сказал хозяин. — На беду подслушает какой-нибудь проходящий полицейский, вот и целуйтесь тогда с ним“. Конечно, мы стали уверять хозяина, что бояться нам некого и не за что, мы люди законные, имеем паспорта, живем, никого не обижаем, а зарабатываем сами себе на хлеб. „Ну, полно, полно, господа, — ответил нам хозяин на наши уверения в нашей законности, — отвечать-то есть за что, как пронюхает полиция да жандармы! Я пришел по-соседски дать совет: быть осторожней! А затем извиняюсь и прошу принять и меня в гости и послушать, о чем у вас речь, — ведь такой же и я рабочий человек!“ С этого дня у жильцов с хозяевами установились дружеские отношения, и, как потом ниже читатель увидит, хозяева помогли одному из своих жильцов избежать жандармских рук. В Ростове в это время мы представляли достаточную силу, чтоб даже вступать в борьбу с общественным мнением. В 77 году шла война за освобождение болгар. В ростовском театре по поводу этого стали после спектакля петь „Боже царя“, причем публика стояла с открытыми головами и, хочешь — не хочешь, слушала. Сделай это раз-два, быть может, это и прошло бы себе, а некоторые, вероятно, и с удовольствием прослушали, но ведь у нас в России меры не знают вообще, а если еще при этом и начальству это нравится, то тогда уж подавно. Так было и в этот раз: пропели раз, другой и наконец беспредельно. Среди публики стали проявляться признаки неудовольствия по поводу приевшегося

изо дня в день одного и того же „Боже царя“. Среди радикальной публики из рабочего мира и приказчиков состоялось решение положить конец этой бесцеремонно навязываемой обязанности всякий день выслушивать одно и то же. Собрались мы в летнем саду в театре, и только музыка заиграла, как поднялся топот и крик: „Камаринского! камаринского!“ Оркестр сначала немного поупорствовал, но, нужно полагать, и ему это занятие беспредельно надоело, и он остановился. А когда публика, ободренная первой победой, еще больше подняла шум и крики: „Камаринского, камаринского!“ — то и камаринского сыграли. После этого патриотическое ханжество было снято с очереди дня. На Темернике, рабочем центре города Ростова, у нас было много знакомств не только с мужским, но и женским персоналом. Это, между прочим, очень интересно отметить здесь. Раз рабочие поставили нам на вид, что вот, мол, мы мужчины и читаем, и с нами и занятия ведутся, а наши жены стоят в стороне, — придешь домой, хотелось бы поделиться с женой своими мыслями, — начнешь это, а она: „А что я там знаю! Вишь вот, вы там собираетесь, читаете, а мы только одно и знаем — сварить вам обед да детей нянчить!“ „Вы бы, — стали просить рабочие, — подыскали женщину, которая занималась бы с нашими женами“. За это дело взялись две дамы: Аптекман, городская акушерка, и некая Нина, не помню ее фамилии по отцу, — жена Новицкого, известного в революционном мире под именем Митрошки. Но особенно крупной фигурой среди наших знакомых в мире рабочих был дедушка. Не помню, кто его отыскал где-то на базаре, кажется, Гартман. По профессии этот почтенный старик Журавлев был плотник. До знакомства с нами он отыскивал правую веру, а потом сделался социалистом. Веру в православную церковь, по его словам, у него поколебало следующее обстоятельство. Он был крепостным помещика, на сестре его хотел жениться крестьянин их деревни, его друг; почему-то на брак друга с его сестрой не последовало согласия их помещика. Он и его друг бежали от помещика в надежде, пристроившись где-нибудь, выписать сестру и пожениться вопреки помещику. Но вот в дороге его друг умирает. Журавлев говорил, что он с своим другом жил душа в душу, и, когда друг его умер,

он хотел его похоронить не так, как обыкновенно хоронят бродячий люд, т. е. снести на кладбище, зарыть, а потом при случае батюшка запечатает, как говорят. Ему хотелось похоронить друга по всем правилам православной церкви. Но оказалось, что для этого одного желания еще не достаточно, — нужно еще иметь деньги. А денег-то у Журавлева было всего 3 рубля. Нужен был гроб, венчик, свечи, да самому Журавлеву нужно было сколько-нибудь иметь про запас. „Просил я, просил этого попа,— рассказывал Журавлев, — он все свое: „Дай 3 рубля, похороним, как ты хочешь, а нет — снеси на кладбище, в воскресенье отпою и запечатаю. Бился, бился, просил его так, — нет, он свое да и только. Снес я его, сердечного, зарыли и закопали в землю. Больно это стало моему сердцу, — повествовал Журавлев, — и стал я это думать: как же это так, богатого вон как хоронят, а бедного просто закопают, как какую-нибудь падаль! Долго я думал над этим: неужели церковь наша есть ложь? Не ем, не пью, так вот ровно гвоздь кто в голову мне вколотил, — томит меня эта мысль, да и только. Почитай дня три так это было со мной, выпытывал я, значит, мысль мою, и вот на меня нашло просветление, и с тех пор мне стало ясно, что церковь наша есть ложь“. С тех пор Журавлев все искал правой веры. Был он и в Турции у некрасовцев, и на Кавказе, и на Волге. „Посмотришь это, — говорил Журавлев, — сначала как будто вера и хорошая, справедливая, а больше приглядишься, и опять что-нибудь покажется, не как бы нужно было, не так, как требует душа моя, и опять я пошел себе в другое место, — все ищу, думаю, есть же где-нибудь настоящая, правая вера“. Журавлев был не только идейный человек, но и в высшей степени идеально нравственная натура. Его впечатлительную душу волновало то, мимо чего обыкновенные люди не замечая проходили. На пасху, помню, приходит Журавлев к нам в гости, но, вместо праздничного вида, лицо его было взволнованное, грустное, и, похристосовавшись с нами, он печально начал: „Посмотришь это, и думаешь: люди — те же звери! Сейчас вот, идучи к вам, вижу, — грызутся две собаки, и мальчик науськивает. Выскакивает потом из ворот человек уже взрослый, и, чтоб сказать парнишке хорошими словами, он облаял его всякими скверны-

ми словами, схватил за вихры... Тьфу! Думаю себе: собаки грызутся, и люди, глядя на них, тем же следом! Ничем не лучше, по мне, этот человек собаки". Беседы для Журавлева на собраниях рабочих были лучшей духовной пищей, и только, когда эти беседы принимали очень бурный характер, он несколько бывал удручен и обращался к публике с просьбой говорить мирно, по-хорошему. В это время среди интеллигентных питерских рабочих образовался кружок, который проповедывал, что рабочие сами должны взять свое дело в руки, что руководство интеллигенции рабочими явление ненормальное и нужно, чтоб интеллигенция, как пришедшая в рабочую среду извне и не знающая этой среды, играла бы в этой среде не руководящую, а посредствующую роль: доставляла бы рабочей среде образовательные средства и средства материальные, а организационные работы и руководство рабочими — это дело самих уже рабочих. Из членов этого кружка прибыл некто Бачин и в Ростов с тем, чтоб познакомить ростовских рабочих с своей программой. Обратился он к нам, чтоб мы познакомили его с рабочими, дабы он мог изложить им свою программу. Мы собрали сходку, на которой Бачин и выступил с критикой ненормального положения в рабочей среде интеллигенции. Бачин, человек горячего темперамента, стал довольно резко говорить на сходке о самозванстве интеллигенции в рабочей среде и предлагал ростовским рабочим положить предел этой ненормальности, ограничить пределы деятельности интеллигенции определенными функциями, дать понять интеллигенции, что рабочее дело должно быть всецело в руках рабочих. Титыч, руководивший рабочим делом, ограничивался только тем, что иронически делал то или другое замечание, вообще же предоставил самим рабочим быть судьей между Бачиным и интеллигенцией. Наш дедушка был возмущен речью Бачина и сказал: „Приехал ты, бог тебя знает откуда, и заводишь у нас ссоры! Было у нас все мирно, по-хорошему, слушали, что нам говорили люди, больше нас знающие, и никто самозванства не видели от них, как ты говоришь. Я прямо скажу: дело не в том, кто такой ты или кто такой вот они, как ты сказал, интеллигенция, — дело, брат, в человеке, а хорошие люди всюду бывают, так же, брат, и между рабочими

куда как много худых людей. Ты говори нам дело, поучи нас, если ты больше нас знаешь, мы тебя послушаем и поблагодарим, а расстраивать нашу компанию — зачем же?“ Тем дело и кончилось. Бачин скоро после этого уехал. Вероятно, теперь Журавлев уже умер, но на Каре я получил сведения от Александра Лукашевича, что Журавлев был отправлен в ссылку в Тунку вместе с женой и дочерью. По словам Лукашевича, он остался таким же социалистом, каким я знал его в Ростове. У него во время побега из Иркутской тюрьмы девяти (Попко, Яцевич, Березнюк, Фомичев, Волошенко, Орлов, Григорий рабочий — фамилии не помню, — Калюжный, девятого не помню) скрывался Волошенко некоторое время, когда он из тайги, где проживали он, Попко и Березнюк у одного сибиряка на заимке, отправился в Тунку за деньгами, и там его пребывание было открыто, каким-то образом, полицией. Был еще в Ростове преданный делу революции инструментальщик Жучковский, в семье которого на Темернике имели пристанище революционеры. Он тоже в числе многих, о чем речь впереди, был выслан в Восточную Сибирь. Ростов был главным пунктом, в котором молодежь, приезжавшая из университетских городов, получала революционное крещение и отправлялась в народ. С этой целью нанималась квартира, где переодевались и шли в народ и куда возвращались из народа. Делалось это очень просто, как о том я уже выше говорил. Приезжал студент из Питера или Харькова на эту квартиру, переодевался соответственно сезону, брал свиту или чепан, составлялась компания — и в путь. Помню, явились в Ростов из Питера два юных студента: Балабуха и другой, если память мне не изменила, Масловцев. В народ желаем итти! — Отлично. Отправляются из Ростова то ли в Ейск, то ли Екатеринодар, Кубанской области, и устраиваются там чебанами (пастухами овец). Город Ейск был местом, откуда мы получали паспортные бланки. Казначеем здесь был свой человек. Невдали от Ейска была немецкая колония. Вот от имени Шульца этой колонии мы и получали в казначействе паспортные бланки. В тесном союзе с Ростовом были ближайшие города, для которых он служил центром: Новочеркасск, Екатеринодар, Ейск и пр. Я уже говорил, что на Грушевских шахтах у нас были заведены

сношения. Там работал Быковцев. Сначала ему приходилось на саночках на четвереньках возить по проходам уголь, но потом он, как пропагатор, был избавлен от этого труда рабочими и его главным дело стало читать книжки в шахтах. По деревням кое-где были разбросаны учителя народных училищ, которые примыкали к ростовскому кружку общерусской организации „Земли и Воли". В Василе-Петровской волости проживали в качестве земских фельдшериц Мария Николаевна Ошанина и Екатерина Дмитриевна Сергеева, жена Тихомирова. М. Н., представительница в это время так называемого центра ткачевцев, была слишком выдающейся личностью, чтоб представители организации „Земля и Воля" не замечали ее и не стремились привлечь ее в свою организацию. Знакомство с Марией Николаевной давно у нас было, и она оказывала нашей организации услуги, хоть и не разделяла мнений представителей организации и главным образом она не разделяла надежд землевольцев на народ. Наконец Осинскому и мне удалось убедить М. Н. поехать к нам в Ростов и поселиться в качестве фельдшерицы в Василе-Петровской волости. При всем своем предубеждении против мужика, она в лице старосты этой волости встретила крестьянина Жабского, которым, по ее словам, она была очарована. Как-то я приехал к ней, она пользовалась в это время среди крестьян уже большой любовью. На мой вопрос: как показался ей народ? — ответила: „Во всяком случае могу сказать вам, что не ожидала встретить таких умных мужиков, каковы ваши мужики; здешние крестьяне далеко более развиты, чем, напр., наши орловцы, и скажу прямо, если б все крестьяне были такие, как Жабский, волостной старшина наш, то и я стала бы народницей. Какой умница этот Жабский! — говорила М. Н., — с ним можно с таким удовольствием говорить обо всем, с каким не со всяким интеллигентным человеком". Между прочим, она рассказала мне следующее, случившееся с ней. Соседние помещики, насколько помню, Пеленкины, и один из них даже студент Медико-хирургической академии, в нетрезвом довольно виде явились к ней под предлогом нужды в медицинской помощи кому-то из них. Увидев, что на уме у них далеко не медицинская помощь, а нечто другое, — просто молодые господа

хотели осчастливить своими любезностями сельскую фельдшерицу, — М. Н. ушла от них в другую комнату и заперла за собой дверь на крючок. Но, очевидно, гости не привыкли останавливаться перед запертой дверью и начали ломиться в нее. „Я просто находилась в безвыходном положении, — говорила М. Н., — но выручил меня Жабский". Жабский, заметив, что гости что-то недоброе затевают, вошел к квартиру М. Н. и, убедившись, что его подозрения оправдались, сказал гостям: „Вот, видите, господа, вы люди образованные и считаетесь благородными; а я вот и мужик, но должен вам сказать, что вы поступаете неблагородно с нашей фельдшерицей. Ведь вы не знаете, что за человек наша фельдшерица, а поступаете так, как будто вы ее хорошо знаете. Я вас прошу оставить в покое нашу фельдшерицу, а то придется позвать сотских и вас отсюда вывесть силой". Таким образом господа были выдворены. Студент Борисевич, знакомый Марии Николаевны, узнав о подвиге своего однокурсника, обещал в аудитории в присутствии его сообщить товарищам о том, как крестьянин Жабский учил порядочности студента по отношению к женщине; но не знаю уже, чем кончилось это дело. Теперь, почти после 30 лет отсутствия из моего родного края, куда я в числе других явился с призывом к народу сбросить с себя иго рабства, я без всякого самообольщения могу сказать, что наша деятельность оставила следы в народе. Тому доказательство налицо. В Ростовской тюрьме вместе с Ладыженским сидел один крестьянин Василе-Петровской волости и рассказывал ему о том, что он помнит о нашей деятельности, и заключил рассказ свой так: „Посіяли воны добре зерно, бач, яки тепер дружни всходи". Или вот: „На пасху я поехал к моей сестре в гости на своих лошадях верст за сто от Ростова. По дороге покормить лошадей я заехал в одну крестьянскую избу. Войдя в комнату, я заметил этажерку с брошюрами изданий „Донской Речи", „Молота" и т. д. Стал пересматривать брошюры и дивиться такой небывальщине в наше время. Подходит ко мне крестьянин, хозяин избы, и говорит: „Любопытствуете книжечками?" — „Да", — отвечаю ему. „Постойте, вот я вам покажу одну — „Нагорная проповедь" зовется. Вот книжка, всім книжкам книжка!" Поискал, — книжки не оказалось. „Нема, — сказал он, — ма-

буть сын взяв с собой почитать кому“. Разговорились. Он спросил, куда и откуда еду. Ответил ему, что еду из хутора Олексея Родионовича. „Знаю, знаю хутор Олексея Родионовича. А де тепер той его брат, що сидів в якійсь-то крепости?“ Отвечаю, что он живет в Ростове у матери. Но со мной был мой племянник, гимназист, который тут же сказал: „Да это он самый и есть“. Нужно было видеть, какое впечатление произвело это открытие на этого крестьянина. „Біжи швидче, Анютка, скажи брату, щоб шов до дому, — бач, якого дождались гостя! Та вин, як узнае, що був у нас М. Р. и вин его не бачив, то и батькови не простит“. Скоро пришел и сын, но об этом пока несвоевременно говорить. Обстоятельства как в Ростове, так и в окружности Ростова сложились довольно благоприятно для нас по тем временам. Недалеко от Ростова, в Земле Войска Донского были хутора, владельцы которых были моими знакомыми с детства. Пользуясь их опытностью, мы завели хутор, владельцем которого был Гостинцев, мой товарищ по академии, тоже принадлежавший к организации „Земли и Воли“. Хутор этот был местом, где можно было укрыться и людям нашей организации на время усиленного розыска их, и скрывать все, что в то время носило характер нелегальщины. Здесь одно время скрывался и Мирский после покушения на Дрентельна. Окрестные хуторяне, хотя были всего-навсего только хорошие мои знакомые, но все же они знали, что мы за люди, и умели держать языки за зубами, как говорится. В Ростове семья Осинских, два брата которой были членами земской управы, тоже готова всегда была оказать нам услуги. Угольный склад моего хорошего знакомого был справочным бюро для приезжающих в Ростов. Благодаря всему этому, дела организации „Земли и Воли“ в Ростове были поставлены сравнительно хорошо. Многолюдные сходки рабочих собирались за городом на открытом воздухе летом. Так революционная деятельность развивалась в Ростове непрерывно, без всяких погромов, начавшись еще гораздо раньше, чем я принял в ней участие. Правда, Гартман, принадлежавший к ростовскому кружку, одно время был арестован, но он арестован был вне Ростова, в Екатеринодаре, и его арест не отразился на делах ростовских. Нам, ростовцам, осво-

бождение Гартмана из тюрьмы стоило лишь того, что мы послали туда одного человека, Быковцева, которому очень скоро удалось сдать Гартмана на поруки одному батюшке, и Гартман потом уехал из Екатеринодара в Саратов. Но вот наконец жандармы добрались до нас. В один день подходит к окну моей квартиры мой отец и таинственно вызывает меня. Вышел я. Отец приглашает меня пройтись с ним. По дороге он сообщает мне, что он виделся сейчас с одним священником и тот ему сообщил, что на одном вечере за картами начальник ростовского жандармского управления говорил, что в Ростове ведется противоправительственная пропаганда и что на-днях предстоит арест намеченных им лиц. „В том числе называл и тебя“, — закончил отец. Узнав об этом, мы в тот же день решили закрыть квартиры: мою и сапожную мастерскую. Хозяева квартиры Титыча с того дня, как явился к ним с советом хозяин вести дела поосторожней, были своими людьми, и только благодаря этому Ильяшенко, оставшийся последним в квартире, чтобы забрать оставшиеся мелочи, избежал рук жандармов. В тот момент, когда Ильяшенко был в доме хозяина, чтоб расплатиться с ним, хозяйка квартиры увидела в окно пришедших гостей-жандармов, она указала Ильяшенко кладовую, где он мог спрятаться, и вышла навстречу гостям. Жандармы спросили у ней, кто живет у ней во флигеле. Им хозяйка ответила, что жили каких-то три сапожника, но вчера вечером съехали. „Говорили, едут в Харьков“, — добавила хозяйка. Жандармы отправились в пустые комнаты флигеля, тщательно осмотрели их, подняли несколько клочков изорванной бумаги и с тем вышли. Постояли в раздумьи на дворе, еще раз спросили: „Вы говорите, они уехали в Харьков?“ На что хозяйка еще раз ответила: „Да, они говорили, что уезжают в Харьков“. Ушли. Пересидевший в кладовой Ильяшенко по приходе рассказал нам о случившемся сейчас на бывшей квартире сапожников. Я, Хотинский и Титыч разъехались скоро в разные стороны. Титыч уехал, кажется, в Екатеринодар, я и Хотинский — в Питер. В Ростове остался пока один Сентянин, как человек, еще не преследуемый жандармами и спокойно все еще работавший на заводе Грагама. Вскоре после этого произошел разгром в мастерских Владикавказской

железной дороги. Разгром был произведен по доносу Никонова, решетника по профессии, убитого, кажется, в Ростове в тот же год, помнится, в ноябре. Арест рабочих в мастерских Влад. жел. дороги произведен был так: к концу работ явились у ворот мастерских жандармы и, по указанию Никонова, арестовывали выходивших рабочих из мастерских. Всех арестованных рабочих было человек 50. Сколько потом из них выпустили, и сколько отправили в ссылку, не знаю. Из высланных в этот раз из Ростова рабочих я встретил кое-кого по дороге на Кару; в Красноярске, в Чите и, как я уже узнал на Каре, в Тунке жили некоторые из высланных из Ростова рабочих. С этого времени в Ростове я бывал только проездом и уже считался в числе нелегальных, по крайней мере в самом Ростове.

После разгрома в Ростове я еще раз взялся за медицину. Я был уже второй год на 3-м курсе, и мне нужно было или взять свои документы из академии, или перейти на 4-й курс. Я и решил использовать свое пребывание в Питере и подготовиться к переходному экзамену на 4-й курс. Но и на этот раз мои намерения остались только намерениями.

Конец 77-го и начало 78 годов было временем вновь намечающегося переворота в революционном движении 70-х годов. Расправа неудобозабываемого Трепова, отца столь прославившегося в настоящее время сына, с Боголюбовым, приговоренным к 15 годам каторги за демонстрацию на Казанской площади, в которой, как я уже сказал выше, он не участвовал, взволновала умы не одних революционеров, но и всего общества, что ясно доказывается тем, что суд присяжных заседателей оправдал В. И. Засулич. Стали раздаваться среди революционеров слова мести по адресу варвара. С юга приехали люди с специальной целью отомстить Трепову за дикую расправу с товарищем по делу: Осинский, который из Петербурга отправился в качестве представителя „Земли и Воли“, Фроленко, Попко и Волошенко. Было предложено несколько планов этой мести, которые один за другим были сданы в архив. Наконец, В. И. взяла на себя акт мести. Подробно об этом я не говорю, ибо не принимал лично участия в этом деле, и думаю, что это удобней сделать людям, близко стоящим к делу. Я не знал, что должно было случиться даже

в день выстрела В. И., но Оболешев явился ко мне и сказал, что нужно будет проделать сейчас вот что: написать заявление об утере паспорта на имя канцелярии градоначальника и отнести часов около 11—12 и под этим предлогом подождать там с подачей. Я написал и отправился. Подхожу к канцелярии градоначальника и замечаю необычайную сумятицу у входа. Пытаюсь пройти в канцелярию, меня не пропускают. Говорю, что пришел подать заявление об утере паспорта, мне на это отвечают: теперь не до этого, идите себе, после придете. Проскользнул какой-то высший чин, что-то спросил у швейцара, ответ швейцара был таков: „самого князя". Недоумеваю, да и теперь не понимаю, почему швейцар назвал Трепова князем, разве, быть может, среди своих он слыл за князя. Наконец, потеряв надежду проникнуть в канцелярию, я думал уже итти домой. Только что поворотился, чтоб итти, вижу вышедшего из кареты профессора академии, хирурга Корженевского, которого спешно подошедший какой-то чин полицейский просил поскорей пожаловать. Я стал догадываться в чем дело и остался подождать, что будет дальше. Разъяснения скоро последовали со стороны швейцара. Он сообщал, очевидно, своим знакомым соседям: „Сам князь ранен! Какая-то барышня пришла с револьвером под мантильей, говорит, прошение желаю подать самому Трепову, ну, а потом оказалось вот что,—выпалила из револьвера". Услышав это, я решил, что больше оставаться мне здесь не нужно, да и не безопасно. „Значит, — спросил я швейцара, — по этому случаю сегодня приема не будет в канцелярии?" — „Надо полагать, что в постели он вас не примет, сами должны понимать",—с достоинством ответил мне швейцар. Я отправился в одну конспиративную квартиру, где я условился с Оболешевым встретиться, рассказал ему то, чему я был свидетелем у подъезда канцелярии градоначальника, и только тогда он сказал мне, что случилось. Отсюда я отправился в академию, ибо знал, что у Корженевского на 4-м курсе должна быть лекция, и что, быть может, возвратившись от Трепова, Корженевский сообщит что-нибудь о случившемся. Корженевский уже читал лекцию, когда я пришел. От студентов же потом узнал, что Корженевский сообщил им, что какая-то студентка медицин-

ских курсов (хотя В. И. на самом деле таковой не была) выстрелила в Трепова, причинив ему рану в живот, и что он думает, что этот поступок студентки бросает худую тень на женские медицинские курсы. Опасения профессора не оправдались, как оказалось потом, и на поступок В. И. не все так взглянули, как почтенный хирург. Под впечатлением случившегося я вспомнил своего босяка Алексея, о котором я уже говорил в другом месте „Былого“ [1], и подумал: вот как тебе, Алексей, на твой вопрос: какой же будет ваш ответ Трепову, — ответила В. И. Выстрел В. И. был призывом в революционном мире на новый путь борьбы. Так, мне кажется, многие революционеры нашего времени его поняли. В этот год вновь появился среди нас и Кибальчич, просидев год в крепости, куда он попал по доносу одного священника, за пропаганду среди крестьян во время каникул. Расскажу об этом первом аресте Кибальчича. Я выше уже говорил, что Кибальчич был одним из членов того кружка, в котором впервые состоял и я членом. С этого времени мое знакомство с ним не прерывалось вплоть до его первого ареста. Сижу я как-то в студенческой библиотеке, подходит ко мне взволнованный Кибальчич и говорит мне, что сейчас он от Пескова (инспектор академии, гвардии майор), который сообщил ему, что о нем справлялись из полиции и что ему нужно побывать у себя на квартире. „Пойдем со мной, — сказал Кибальчич, — заберешь у меня тюк с нелегальными книгами, привезенными только вчера вечером ко мне одной барыней. Может быть, ее проследили, и тогда, пожалуй, произведут и у меня обыск“. Отправились мы. Я все еще жил на Большой Дворянской улице, а он тоже на Петербургской стороне, не помню, как называется улица, идущая от Троицкого собора вдоль Невы. Подходим к его квартире и замечаем у ворот дома, где он квартировал, карету и снующих полицейских. Ясно, у него обыск. Говорю ему, что мы опоздали и что ему предстоит тюрьма, если он пойдет домой. Он решил итти, а я отправился к себе домой и сообщил дома о происходящем сейчас у Кибальчича. Спустя часа полтора я отправился на квартиру, чтобы узнать, чем кончилось де-

[1] См. статью: «Земля и Воля» накануне Воронежского съезда.

ло. Вхожу во двор и вижу, на крыльце одного из домов во дворе собрались жильцы и дворник что-то рассказывает своим жильцам, очевидно, о случившемся в каменном доме, выходящем на улицу окнами, где жил Кибальчич. Подхожу к дворнику, спрашиваю квартиру Кибальчича и в ответ получаю: „Сгорел ваш Кибальчич, — уходите, а то как бы и с вами того же не случилось. У него много кое-чего нашли, — и прибавив тихо: — там у него сидят, и лучше идите себе с богом“, — посоветовал мне дворник. Я, конечно, поспешил воспользоваться добрым советом и отправился сообщить печальную новость. Кибальчич просидел в крепости полный год. И вот теперь он вышел из тюрьмы. Тюрьма произвела на Кибальчича свое влияние. Сейчас я представляю себе двух известных мне Кибальчичей: одного до тюрьмы и другого после тюрьмы. Правда, Кибальчич никогда, вероятно, не отличался веселым нравом и всегда был человеком ровным. Но до тюрьмы он любил принимать участие в прениях, даже, быть может, мечтал руководить людьми. После тюрьмы, кроме пожатия руки, дружеской приветливой улыбки, мне ничего не помнится, когда я думаю о нем. При коротких встречах на конспиративных квартирах, если он не мог что-либо получить сейчас, за чем приходил, он изображал молчаливую фигуру. Таким я его помню, когда он на средства, отпускаемые организацией „Земля и Воля“ изучал химию и свойства динамита. Таким он сохранился в моих воспоминаниях, когда он в Одессе, снабдив меня динамитом и запалами в декабре 79 года, давал наставление мне об обращении с врученными вещами. Даже на шутки товарищей над ним он отвечал только улыбкой. Я хочу всем этим сказать, что Кибальчич был одним из тех, кто понял выстрел В. И. как призыв на новый путь борьбы. Со времени своего выхода из Петропавловской крепости и вплоть до готовившегося взрыва в ноябре 79 года на Московско-Курской железной дороге, Кибальчич в тиши небогато обставленного кабинета ученого терпеливо изучал химию, имея в виду строго определенную цель — вооружить русскую революцию динамитом. Думаю, что такие ученые были редкостью в истории наук, если только они были где-либо в другом месте. Удивительно, право, что после таких примеров все еще находятся люди, которые

считают веревку и военно-полевые суды верхом политической мудрости в борьбе с революцией. В этом же году, в конце марта или начале апреля был освобожден из Литовского замка в Петербурге Пресняков. Я не знаю, зарегистровано ли в воспоминаниях кого-либо это освобождение,— освобождение, по смелости не уступающее освобождению Кропоткина. Оно совершено при помощи того же Варвара. В субботу, когда обыкновенно в русских тюрьмах бывают бани, в пролетке, запряженной Варваром, подъехали к Литовскому замку два революционера, один в качестве кучера, другой—седока. Пресняков об этом знал и был снабжен нюхательным табаком. Проходя в баню, он засыпал табаком глаза провожавшему его в баню надзирателю и, бросившись на улицу чрез открытую калитку, сел рядом с седоком в пролетку. Очевидно, Преснякову не совсем удалось засыпать табаком глаза надзирателю, ибо надзиратель побежал догонять Преснякова, и, когда Пресняков сел, надзиратель налег на крыло пролетки. Пролетка накренилась даже в эту сторону и грозила перевернуться, когда Варвар тронул с места полной рысью. Это, вероятно, и случилось бы, если б сидевший рядом с Пресняковым Хотинский не ударил надзирателя по рукам кистенем и тем не заставил его взять свои руки с пролетки прочь. Раз это было сделано, на Варвара можно было положиться,—Варвар умчал пролетку с седоками. Таким образом среди бела дня Пресняков был взят из Литовского замка. На Песках была приготовлена квартира, куда и привезен был Пресняков. При помощи краски переделали его из блондина в брюнета, и затем, когда прошло несколько дней и полиция примирилась с фактом побега, Пресняков уехал в Саратов, где его я видел в последний раз в июле 79 года. Это освобождение произвело впечатление на публику. На другой день один из выпущенных по процессу 193-х принес нам, как заслуженную дань, пасхальный кулич. Помнится, это был Фишер. В это же время была и стачка рабочих на Торнтоновской хлопчатобумажной фабрике, стачка, кончившаяся демонстративным шествием рабочих для подачи прошения наследнику, т. е. Александру III. Землевольцы, воспользовавшись возникшими неудовольствиями между рабочими этой фабрики и управляющим, впервые организовали рабочих для актив-

ной борьбы. Вели эту стачку Г. В. Плеханов, Николай Лопатин и я. Сказать об этой стачке нужно уже по тому одному, что организаторы этой стачки впервые имели дело не с отдельными лицами из рабочей среды, как это было до сих пор в сношениях интеллигенции с рабочими, а с массой, и поэтому, вероятно, стачка эта пользовалась большой популярностью среди интеллигенции петербургской, включая и людей, стоящих вдали от революционных кругов ее. Мне Г. В. сообщил, что на фабрике Торнтона произошел конфликт, чем можно воспользоваться, организовать стачку и вызвать рабочих на улицу под тем или другим предлогом, — словом, устроить демонстрацию, что составляло тогда главную цель организации, по мнению ее членов. Обсуждая с ним те способы, какими можно было бы вызвать рабочих на улицу, мы остановились на подаче прошения наследнику... Подачу прошений на имя царя и членов царской фамилии землевольцы рассматривали как самое удобное средство разрушить авторитет власти. Не знаю, почему Александр III в бытность свою наследником пользовался популярностью среди народа и вообще рабочего люда Петербурга. О нем ходила молва, что он защитник народа. Думаю, что самое вероятное объяснение этому то, что когда ждешь тщетно от одних, то охотно переносишь свои надежды на других. Так ли — не так, но среди рабочих Торнтоновской фабрики идея подать прошение наследнику всем наличным составом рабочих фабрики была принята охотно и без всяких колебаний. Рабочие фабрики Торнтона, как, вероятно, и рабочие других фабрик, жили артелями, человек по 20. В одну из таких артелей мы и отправились. При входе в помещение артели мы застали горячий спор между теми, кто был за стачку, и противниками стачки. Противниками стачки были главным образом семейные рабочие. По крайней мере, при первом же нашем знакомстве с настроением умов рабочих, нам постоянно приходилось слышать от бессемейных рабочих, что главным тормозом делу стачки служат семейные рабочие. И бессемейные рабочие это понимали, ибо приходилось слышать от них: „Нам-то что, мы не там, так в другом месте заработаем себе на хлеб, а семейный куда подастся“. На это тормозящее обстоятельство стачкам мы и обратили главное внима-

ние. Не помню хорошо, кто из нас, Г. В. ли или я, был представлен рабочей массе как адвокат. В качестве агитатора среди рабочих и под видом рабочего действовал Н. Лопатин. Несколько раз назначался день стачки, но приступить к стачке все как-то не решались. С вечера как будто стачка решена бесповоротно, а наступит завтра, рабочие собрались на фабрику и приступили к работам. Но, наконец, в одно утро, когда рабочие собрались на работы, один из рабочих, совершенно неизвестный до сего времени нам, агитирующим за стачку, потушил газ на фабрике, надел свою красную рубаху на рукоятку какого-то помела и с криком „ура" вывел рабочих из фабрики. Таким образом, стачка началась. Мы немедленно же этого рабочего снабдили деньгами и предложили уехать из Питера, чтоб арест его не произвел деморализующего влияния на стачечников. Затем Лопатин, стоя на куче угля во дворе фабрики, поддерживал настроение рабочих. В своих речах он главным образом успокаивал семейных, заявляя им, что нуждающимся обещают помощь „Земля и Воля" и люди, сочувствующие рабочим. Он предложил, чтоб рабочие из своей среды избрали комитет, которому и будут выдаваться средства для распределения между нуждающимися рабочими. Лопатин в роли рабочего-агитатора на куче угля, находившейся посреди двора фабрики, был совершенно другим человеком в глазах знавших его раньше. Рабочим он с первого своего выступления в роли агитатора очень понравился. Раз собиралась сходка рабочих на дворе, то рабочие сейчас же вызывали на импровизированную кафедру Николая. В тот же день в газету „Новости" была отправлена статья о стачке на фабрике Торнтона. На другой день газетчик, жена которого была кухаркой в той артели, куда мы явились в первый раз с Г. В., принес газету со статьей о стачке. То обстоятельство, что о стачке их напечатано в газетах, ободрило еще больше рабочих. Среди толпы была уверенность, что теперь уж их дело трудно будет замять директору фабрики, ибо теперь уж их дело известно всем. На второй или третий день стачки явился на фабрику градоначальник Зуров, убеждал рабочих прекратить стачку, в противном случае грозил их выслать на родину. Рабочие стояли на своем, — требовали прибавки жалованья

и удаления директора фабрики. Вечером предместье фабрики кишело шпионами, которых рабочие называли пауками, и шпульщики, в большинстве подростки, охотились за пауками, бросали в них камнями. Вдруг слышится в воздухе: „Ребята, паук! Камнями его, камнями“. Написали прошение на имя наследника, Лопатин прочел его рабочим с своей кафедры, прошение было одобрено и решено итти к наследнику толпой с прошением. Толпа двинулась к Аничкину дворцу, где жил наследник. Я шел по тротуару Невского проспекта, на одном углу стоял продавец спичек с лотком и на вопросы недоумевающей публики, в виду двигавшейся массы, говорил: „Это торнтоновские рабочие, значит, донял аспид. Рабочие зря не пойдут, — это не студенты, чтоб зря бунтовать“. Солидно одетый господин, по виду похожий на приезжего из провинции помещика, может быть, отец студента, вступился за студентов и сказал торговцу спичками: „Почему, старина, ты думаешь, что студенты зря бунтуют? Вот ты рабочий человек, тебе известна жизнь рабочего, и ты потому знаешь, что рабочий зря не станет бунтовать. Вот, если бы так же хорошо знал жизнь студентов, то ты бы, вероятно, не стал говорить, что студенты зря бунтуют. У всякого, старик, есть свое дело, свои нужды, и каждый по-своему старается защищать свои интересы, — зря никто не станет об стену головой биться“. — „Может, ваша правда, барин, — ответил старик с лотком, — а только я знаю этих аспидов фабрикантов, сам на себе испытал, как они над нашим братом измываются. Тоже и я был фабричным, потому и говорю, барин, что рабочий зря не станет бунтовать“. Наконец толпа подошла к дворцу. Прискакал моментально Зуров, спросил, — что нужно, и на заявление рабочих, что пришли подать прошение наследнику, — сказал: „Хорошо, я доложу его высочеству“, и отправился во дворец, доложить наследнику об их желании. Докладывал или нет Зуров наследнику, но он вышел вновь к рабочим, сказал, что наследник приказал ему принять от них прошение. Затем попросил остаться пяти человекам, стоявшим рядом с подававшим прошение, а прочих просил расходиться по домам. Толпа обратно двинулась на фабрику. Наше положение, как агитаторов, было чрезвычайно затруднительным. Как быть дальше? Мы рассчитывали

на то, что рабочих не допустят к дворцу, и нам оставалось тогда сказать рабочим, что, в виду такого отношения к ним начальства, им остается только рассчитывать на себя, и предложить им продолжать стачку. Это было бы для нас тем лучше, что в продолжение стачки на фабрике Торнтона рабочие других фабрик через земляков своих были подробно осведомлены о происходящем у Торнтона и на некоторых фабриках шла среди рабочих агитация о поддержке торнтоновских рабочих, своих товарищей. А вышло, что прошение принято, при чем Зуров обещал рабочим, что жалоба их будет рассмотрена и все, что можно будет сделать в их пользу, будет сделано. Рабочие в массе, конечно, придавали этим обещаниям от имени наследника большое значение. Можно ли было при таких сложившихся условиях рассчитывать подвинуть рабочих на дальнейший протест, на требование освободить задержанных товарищей? На это было трудно рассчитывать. И действительно, когда мы по приходе сейчас же предложили через спропагандированных рабочих требовать освобождения заложников, то в ответ получили: что нельзя же зря требовать, а нужно подождать, что будет дальше. Таково мнение массы. В виду такого ответа, легко было предвидеть, что рабочие подождали бы, подождали результатов прошения, да и принялись бы за работу. Ожидание в таких случаях слишком расхолаживающее средство, особенно, если им пообещали сделать кое-какие уступки. Но, очевидно, дело представлялось иначе Зурову, и он, не зная, — в какой тупик попали мы, ограничился лишь тем, что попытался у оставленных им рабочих выпытать о тех людях, которые подбивают их, рабочих, на воспрещенные законом действия. Сказал им, что только доброта наследника заставила его так отнестись к ним и он все же принял их прошение, а в сущности законом подача прошений скопом строго воспрещается. Говорил им о том, что есть злонамеренные люди, враги царя и отечества, которые и пользуются доверием рабочих, но в сущности они враги их и добиваются только своих преступных целей. Советовал им, если они знают таких людей, например того, кто писал им прошение, выдать властям. Но так как и сам подававший и взятые с ним пять человек были спропагандированы и в достаточной степени раз-

бирались между своими врагами и своими друзьями, то Зурову ничего от них не удалось добиться и он еще раз обещал им, что все, что можно будет, его высочество обещал сделать, советовал им положиться на его обещания, успокоиться и приступить к работам. Так окончилась эта первая рабочая стачка, организованная „Землей и Волей". Во всяком случае эту стачку можно считать впервые проложенной русскими революционерами тропой в массу рабочих. До сего времени революционеры вели дело не с массой, как я уже говорил, а приобретали знакомства с единичными представителями рабочих, которых группировали в кружки и вели среди них занятия, и такие рабочие даже иронически в массе назывались студентами. Потом я уже не был свидетелем развивавшегося рабочего движения в Петербурге; но на другой год на той же Торнтоновской фабрике повторилось то же самое. Рабочие этой фабрики тоже были выведены на улицу, — не знаю, под тем же ли предлогом подачи прошения кому-либо или другим. Но на этот раз они были разогнаны казацкими нагайками. Я узнал о второй стачке на фабрике Торнтона по пути на Кару, когда в нашей партии в Красноярске присоединили троих рабочих, высылаемых за эту стачку в ссылку в Сибирь. Среди них было два моих знакомых по первой стачке. Они мне и рассказали об этой стачке и демонстративном шествии по улицам с красным знаменем. Но моя память мало сохранила из их рассказа о подробностях этой рабочей демонстрации. Помню только, что рабочим казаки преградили путь у Аничкина моста и рассеяли их, при чем многих избили нагайками. Остается еще мне сказать о том горячем участии учащейся молодежи, которое она проявила во время этой стачки. Во всех учебных заведениях Петербурга производились сборы в пользу стачечников, и было собрано достаточно средств, чтоб поддержать семейных и вообще нуждающихся рабочих-стачечников. Вот эпизод, свидетельствующий о том энтузиазме, который проявила учащаяся молодежь к этой стачке. Пришел я в одну из артелей рабочих, и здесь Лопатин конспиративно сообщил, что приходили лавристы и приглашали представителей от рабочих на сходку, чтоб из слов самих рабочих узнать о ходе и цели стачки. „Я думаю, — сказал мне Лопатин, —

что нужно этому помешать, ибо как бы лавристы не испортили всего дела“. Нужно сказать, что так называемые лавристы представляли партию, которая начала уже эволюционировать, хоть и в другую сторону, именно в сторону германской программы социал-демократов, но еще сохранила методу ведения дел среди рабочих по программе „Вперед“, т. е. ограничивалась пропагандой идей своей программы. Упрекали лавристы землевольцев в том, что они призывают к протесту, мало придавая значения тому, — сознательно ли рабочие идут на протест, или нет. Кратко, землевольцы думали, что в борьбе лишь рабочие вырабатывают классовое сознание, лавристы же думали путем пропаганды привить рабочим такое сознание. Я находил, что ставить преграду предложению, которое они сделали рабочим, неудобно, и с тремя рабочими отправился на сходку. Когда мы вошли в помещение, где собралась сходка, три комнаты квартиры были битком набиты молодежью. Я предложил рабочим пройти вперед, сам остался у дверей той комнаты, куда мы вошли. Рабочих усадили на почетное место, и вокруг них образовалось тесное кольцо из студенток и студентов. Рабочие, засыпанные с разных сторон вопросами, сначала еще кое-как отвечали, но в непривычной обстановке чувствовали себя не по себе, конфузились и наконец до того растерялись, что на предлагаемые им вопросы, указывая на меня, говорили осаждавшим их вопросами: „Спросите вот у них: они все знают, они там с нами“. И немудрено было не растеряться. Одна барышня подает им чай, другая стоит перед ними с лотком с хлебом и угощает их, и рядом с этим со всех сторон засыпают их вопросами о стачке. Помню, один из рабочих под напором с одной стороны расточаемых любезностей, и с другой — засыпанный вопросами, выпустил из рук незаметно для себя картуз, и одна барышня, подняв его, очистив от пыли, сказала ему: „Позвольте, — я ваш картуз вот тут, на вешалке повешу“, — то я, все это наблюдая со стороны, подумал про себя: если б эта барышня предложила повесить его самого на вешалке, то едва ли бы он был более смущен, чем он сейчас смущен ее любезностью. Я решил вызволить рабочих из этого трудного положения и сказал: „Гг.! нам пора итти, ибо сейчас должно быть

собрание рабочих на фабрике". В ответ на это со всех сторон посыпались вопросы: „Нужны ли деньги?" Грушевская, еще молодая очень барышня, фамилию которой я и узнал только на этой сходке, вытряхнув на стол из сухарницы хлеб, стала собирать на стачку. Никто, кажется, не пропустил мимо себя эту барышню, не бросив ей в сухарницу, по меньшей мере, рубль; бросали кольца, цепи от часов и пр. Это делали студентки и студенты, из которых большинство сами питались чаем и колбасой. Дорогой я спросил: „Ну как же вам показалось в гостях у студентов?" Очевидно, сочувствие молодежи так ярко выразилось на этой сходке, что рабочие, несмотря на смущение свое в непривычной среде, были глубоко тронуты виденным и слышанным на этом собрании молодежи. „Непривычно все это нам, а все же какие душевные господа студенты. Вот бы всем так жить, хорошо бы было!" Таков выпал тот год, который я решил было использовать для занятий в академии, и понятно, что он был далеко не подходящим для мирного изучения медицины. Я побывал на лекциях не более десяти раз, и когда наступили экзамены, я чувствовал себя совершенно неподготовленным к ним. Мария Николаевна и ее сестра Наталья Николаевна усердно убеждали меня итти и все же держать экзамены. Я уступил их настояниям. Но на пути с их квартиры, которая была на Большой Невке, рядом с Георгиевской общиной, в академию остановился в раздумьи на Сампсоньевском мосту и думал: стоит ли при всем моем невежестве в тех науках, по которым мне предстоит держать экзамен, итти экзаменоваться? И вот, опершись на перила Сампсоньевского моста и смотря в мутные волны Невы, я окончательно решил, что двух дел в одно и то же время нельзя делать и что нужно одним пожертвовать для другого. Я и пожертвовал академией для революционной деятельности, взял мои документы из академии и отправил их на хранение моей матери. С этих пор я был только революционером.

II

1878–1879 гг.

Годы 1878—1879 — критические годы в освободительном движении 70-х годов, годы перелома в революционной

психологии этой эпохи. В моей памяти они сохранились как момент резкого поворота на новый путь революционной деятельности, быстрого нарастания революционного настроения. Годы эти — межевые столбы между деятельностью предыдущей — путем пропаганды идей социализма — и деятельностью последующей — активно революционной и, наконец, террористической. В статьях журнала „Былое“ часто высказывается мысль, что освободительное движение 70-х годов носило в себе с самого начала тенденцию той деятельности, которая потом ярко выразилась в программе народовольцев.

Мне кажется такое мнение ошибочным, и возникло оно из следующего. Несомненно, слово „революция“ значит не что иное, как насильственный переворот. Так определялось это слово и во все моменты движения 70-х годов. Но и к насильственному перевороту можно стремиться различными путями, руководиться той или иной тактической програмюой. Германские социал-демократы стремятся к революции, т. е. к насильственному перевороту, но средства партии, ее тактика совсем не революционны. Так и представители движения 70-х годов, первого призыва, по своему революционному настроению, по своей революционной психологии резко отличаются от представителей революционного момента 78—79 гг., момента высокого революционного подъема. Короче говоря, поскольку дело идет не об отвлеченной идее переворота, а о конкретной программе средств, моменты движения начала и конца 70-х годов резко разнятся между собою. Были, может быть, отдельные личности, даже и группы лиц, среди которых, по словам М. Ф. Фроленко, ходила мысль о необходимости открыть поход против правительства, но, не говоря уже о том, что одно дело — говорить, а другое — делать, нужно иметь в виду не отдельных лиц, а всю революционную среду; а, в общем, настроение революционной среды в начале 70-х годов было иное, чем оно стало в 1878 г. Словом, я не хочу отнимать чести у русского правительства фигурировать на страницах истории освободительного движения 70-х годов в роли единственного автора террора конца этого движения. Только жестокие репрессии были причиной скопления такого количества революционных актов террористического характера: 24 января 1878 г. В. И. Засу-

лич стреляет в Трепова; 23 февраля — покушение на товарища прокурора Киевского округа Котляревского; 25 мая убит жандармский офицер барон Гейкинг; 1 июля — попытка вооруженного освобождения Войнаральского; 4 августа — убийство шефа жандармов Мезенцова; 30 января оказано вооруженное сопротивление при аресте Ковальского, ночью с 11 на 12 октября в Петербурге оказано вооруженное сопротивление при аресте Малиновской и М. Федоровой; 16 декабря — вооруженное сопротивление при аресте офицера Дубровина в Старой Руссе; 17 апреля — вооруженное освобождение из Коломенской части Пресникова. Я уже не говорю об убийствах шпионов. — И все это на протяжении одного года.

Мне кажется, одного этого достаточно, чтоб убедиться в резкой перемене темперамента революционеров по сравнению с предыдущими годами. Этот же год был богат всякого рода демонстрациями на почве студенческих требований, а также политического характера. В этом году имело место демонстративное шествие студентов с прошением к наследнику, будущему Александру III. Почему студенчество избрало такую форму демонстрации, теперь трудно понять, ибо, конечно, оно было чуждо той наивной веры, которая двинула рабочие массы ко дворцу 9 января. Вероятно, считали, что под таким предлогом демонстранты с большей вероятностью могли выйти на улицу и вызвать сочувствие среди публики. В этом же году была демонстрация по поводу похорон Подлевского, одного из участников процесса 193-х. Об этой демонстрации скажу несколько слов, так как она совершенно забыта, а между тем несомненно является одним из показателей нараставшего революционного чувства в среде деятелей освободительного движения 70-х годов.

Я участвовал в ней, как представитель организации „Земли и Воли", и потому в моей памяти эта демонстрация сохранилась довольно живо. Я как бы вижу ту взволнованную и возмущенную до глубины души толпу учащейся молодежи, решившейся на все. Подлевский безнадежно заболел в Доме предварительного заключения и, как студент, был переведен в клинику Вилье. Уже дня за два до его смерти врачи потеряли надежду на его выздоровление, и студенты, под влиянием агитации представителей „Земли и Воли", решили устроить демонстративные похо-

роны. III отделение было осведомлено об этом намерении и, для предупреждения демонстрации, распорядилось, чтоб полиция выкрала тело Подлевского из клиники Вилье и, до поры до времени, поместила его в Николаевском сухопутном госпитале, что на Песках. Собравшиеся на похороны студенты, узнав о такой проделке полиции, были глубоко возмущены, и, как только было получено известие, где находится тело Подлевского, толпа студентов высших учебных заведений, собравшаяся во дворе Медико-хирургической академии, двинулась в госпиталь.

Полиция, проделав такую махинацию с телом Подлевского, думала, очевидно, что этим устранила повод к демонстрации, и совершенно успокоилась, не подозревая, что подлила только масла в огонь. Только когда толпа демонстрантов стала переходить Литейный мост, полиция спохватилась и распорядилась разводкой моста, чтоб тем прекратить дальнейшее шествие. Но было уже поздно. Толпа оттерла работающих по разводке моста и перешла на другую сторону Невы. Достигнув Николаевского госпиталя, демонстранты, не ожидая распоряжения о похоронах Подлевского, — конечно, III отделение намерено было совершить их ночью, по своей привычке все делать ночью, — подняли гроб с телом и отправились с ним обратно на Выборгскую сторону, где родные Подлевского хотели похоронить его на католическом кладбище. Когда гроб был вынесен из госпиталя, полиция сделала натиск на толпу с целью отнять у нее гроб, но натиск был отбит. Во время этой свалки тело Подлевского едва не вывалилось из гроба. Это-то обстоятельство и помогло демонстрантам отстоять гроб, потому что собравшаяся посторонняя публика была тоже возмущена надругательством над мертвым и на полицию посыпались упреки и выражения негодования со всех сторон. Полиция сконфузилась и отступила. Толпа после этого двинулась на Выборгскую сторону мимо Дома предварительного заключения. Поровнявшись с ним, толпа на руках подняла гроб над головами со словами: „Вот жертва насилия и произвола!“ Далее путь до кладбища был совершен беспрепятственно, и демонстрация закончилась погребением Подлевского.

В этом же году имела место демонстрация по поводу похорон 8 рабочих, жертв взрыва на Пороховом заводе,

на Васильевском Острове. Не помню сейчас, по какой вине начальства произошел этот взрыв, но помню, что рабочие обвиняли начальство. Ночью с Васильевского Острова пришли в одну из конспиративных квартир „Земли и Воли“ Халтурин и еще один рабочий. Они сообщили нам о взрыве и рекомендовали устроить по этому поводу демонстрацию. По их мнению, она должна была иметь успех, так как рабочие в высшей степени возмущены этим несчастьем и считают начальство виновником смерти восьми человек. Времени на подготовку демонстрации оставалось мало, но все, что возможно было сделать за короткое время до погребения, было сделано. Утром на Смоленском кладбище, в церкви, над гробами жертв взрыва одним из рабочих была сказана речь, в которой начальство обвинялось в несчастьи. Нельзя сказать, чтоб эта демонстрация вышла очень удачна, — многое из того, что предполагалось, осталось невыполненным, — но, принимая во внимание условия, при которых она происходила, и новость такого протеста в среде рабочих масс, мы все же думали, что было сделано все, что возможно.

В этом же году происходил суд над 193-мя, известный под названием Большого процесса; беззаконие этого суда ярко демонстрировал в своей речи на суде Ип. Н. Мышкин, а мы, на воле, узнали из рассказов избежавших кары по этому процессу. Помню то негодование и жажду мести, с которыми, вероятно, не я один выходил из собраний молодежи, где освобожденные по этому процессу рассказывали о суде, во главе которого стоял прокурор Желиховский, ухитрявшийся выставить процесс 193-х, как процесс одной организации. Когда все это вспоминаешь теперь, ясно видишь, как революционизировалось настроение представителей освободительного движения 70-х годов. И как они, может, незаметно для самих себя, толкались в том направлении, которое год спустя было формулировано в программе „Народной Воли“. Правда, слово „террор“ еще не было произнесено в это время, и даже такой человек, как Александр Дмитриевич Михайлов, который потом представлял такую видную фигуру в организации народовольцев, возвратившийся весной этого года из своих экскурсий в сектантские поволжские организации и строивший планы революционных организаций среди

сектантов, даже он не знал, что больше в Поволжье не вернется. Но нервное настроение революционеров того времени, насколько оно сохранилось в моей памяти, не подлежит ни малейшему сомнению. И ему оставался только один путь, который оно и выбрало, — путь наименьшего сопротивления. Да и что оставалось другое для русского просыпающегося гражданина, когда ему решительно не позволялось ничего в области политики и общественности. Мирное обновление России? Но если это иронически звучит в наше время, то какой бы злой иронией показалось тогда, в 78—79 гг., когда стоявшие у кормила российского корабля, например Дрентельн, говорили революционерам на их заявление о неисполнении по отношению к ним законов: „Вы же, господа, не признаете законов". Стало быть, и они, представители власти и закона, не должны их исполнять. Такова была логика тех, в руках которых находилась судьба русских обывателей, признающих и не признающих существующие законы. Когда я задумывался в уединении равелиновского и шлиссельбургского каземата над вопросом: возможно ли было другое направление революционной деятельности? — передо мной вставал образ офицера Дубровина (казненного в Петропавловской крепости 28 февраля 1879 г.), в тот момент нашей встречи, когда он, не говоря ни слова, показал мне кинжал с надписью: „сим защищайся". Вспоминая его нервное состояние, я говорил себе: да, Дубровин был уже вполне террорист, хотя террористической программы еще не было написано.

В июне еще никто не думал, что 4 августа будет убит Мезенцов. Говорили, что брат Мезенцова сказал по поводу этого убийства, что в лице его брата убит не Мезенцов, а шеф жандармов. Если правда, это делает честь его уму: именно система III отделения толкнула на путь террора людей, вначале шедших в народ только с одним оружием — пропагандой. Интересно отметить здесь разницу во взглядах на деятельность вышедших на свободу по процессу 193-х и представителей организации „Земли и Воли". За время заключения привлекавшихся по этому процессу жизнь ушла далеко вперед по революционному пути, и когда на собраниях заходила речь о практических программных вопросах, землевольцы и выпущенные на сво-

боду революционеры первого призыва, если позволительно так сказать, говорили на разных языках. Например, Желябов и Тихомиров приходили в ужас от практической программы землевольцев. Последние представлялись им людьми насильственных мер, а не пропагандистами идей, не людьми, мирной проповедью зовущими народ к новой жизни на социалистических началах. С этого времени вошло в обиход называть землевольцев троглодитами. С такими деятелями, — говорили Желябов и Тихомиров, эти будущие яркие представители народовольческой программы, — у них, адептов мирной пропаганды, не может быть ничего общего. Одним словом, представители „Земли и Воли“ и представители процесса 193-х казались людьми из двух различных миров. Это было весной 78 г., а в сентябре Тихомиров и Желябов явились из провинции в Петербург и оба пошли по одной дороге, оба стали представителями политического террора. Еще яснее и резче можно было наблюдать, на первых порах, на Каре, какая пропасть легла между двумя напластованиями революции, между деятелями начала 70-х годов и конца их. Из этого ясно, как успешно правительство революционизировало людей своими репрессиями.

Извиняюсь за это отступление. Я хотел представить 78 год в том виде, как он сохранился в моей памяти.

В то время даже, когда революционное движение так резко изменилось, землевольцы еще не отказались от своей программы и весной этого года планировали поселения в народе. А. Д. Михайлов составлял план организационной деятельности среди сектантов Поволжья; я, Квятковский, Мария Николаевна Ошанина и Ширяев мечтали об организации поселений в Воронежской губ., не подозревая, что эта форма деятельности составляет уже прошлое в движении 70-х годов, и то, о чем мечтали еще весной, осенью того же года будет оставлено навсегда. Но так как все же это было, то я расскажу и об этом.

Весной 78 г. организовалась в Петербурге группа для поселения в Воронежской губ.; я, Квятковский, М. Н. Ошанина, ее сестра Н. Н. Оловенникова и др. должны были быть пионерами этого поселения. Первыми отправились, в конце мая, в Новохоперский уезд, на земскую службу в качестве фельдшериц, Н. Оловенникова и Геронимус.

Вслед за ними, предполагалось, отправимся М. Н., Квятковский и я. М. Н. должна была поселиться в самом Воронеже и организовать справочное бюро для поселенцев. Квятковский и я, в качестве торговцев крестьянскими товарами, намерены были объехать Воронежскую губ. с целью подыскать наиболее подходящие места с точки зрения деятельности по программе „Земли и Воли". Но нам пришлось отложить до поры до времени отъезд в Воронеж, в виду предполагавшегося освобождения Мышкина, и мы трое отправились в Харьков.

Здесь мне не пришлось долго оставаться, потому что в это время Фроленко и Осинский, с освобожденными из тюрьмы Стефановичем, Дейчем и Бохановским, прибыли из Киева в Харьков, откуда последние трое должны были отправиться в Питер и затем за границу. Мне, как не бывавшему в Киеве и потому наименее подвергавшемуся опасности навести на след беглецов, предложено было проводить их в Питер, чтоб оттуда они могли, при помощи Зунделевича, перебраться через границу и уехать в Швейцарию. Квятковский, М. Н. и я решили, чтобы я не возвращался уже в Харьков, прямо отправился в Воронеж и занялся подготовкой к нашему путешествию в качестве торговцев, а они, по окончании дела с освобождением, приедут также в Воронеж. Я так и сделал.

Приехав в Воронеж, я решил пока один отправиться в качестве офени с коробкой на плечах. Приютился я в Воронеже в семействе Тулисовых и, при помощи сестры Тулисова, Марьи Ивановны, приобрел коробку, сложил в нее всякий мелкий крестьянский товар и отправился в Семилуки, деревню в 11 верстах от Воронежа, где в это время была ярмарка. Разложив свои товары в мелочном ряду, я начал торговлю. Из Воронежа, в качестве охотников, явились на ярмарку несколько студентов с Тулисовым, чтобы посмотреть, насколько удачно я симулирую торговца. Подошли ко мне, купили кое-какие мелочи и нашли меня в этой роли на своем месте. Мы распрощались, и мне оставалось заводить новые знакомства.

Первым моим знакомым был крестьянин деревни Перелевки, Иван Голодонов, старик, служивший на ярмарке

ночным сторожем у лавок. Днем он был совершенно свободен, и потому я поручал ему караулить мой товар, когда мне нужно было по каким-либо делам уходить: купить в оптовой лавке недостающих товаров, напиться чаю в трактире и т. п. Запросил он с меня недорого за свои услуги — складной нож, который обратил особенно его внимание среди других мелочей моей торговли и который я при продаже рекомендовал как „аглицкий" нож. Иван приглашал меня отправиться по окончании ярмарки в их деревню, Перелевку, подавая мне надежду на хорошую торговлю там и в окрестностях. „Мы со старухой одни, у нас на квартире можешь расположиться, и за любезное дело пойдет торговля", — говорил мне Иван, когда я рекомендовался ему, как начинающий только заниматься этим делом. Я согласился, и по окончании ярмарки мы отправились с дедом Голодоновым в Перелевку.

Я взвалил себе на горб, как говорят крестьяне, коробку пуда в полтора весом, Иван нес на плечах пуда два соли. Пошли мы. Перелевка от Семилук находится верстах в 14-ти. В дороге нас захватил дождь. Я порядком устал; но предложить отдохнуть Ивану, старику, несшему тяжесть побольше моей, мне, сравнительно с ним молодому, было неловко, и я решил не выдавать себя и ждать, пока Иван сам предложит присесть. Жду нетерпеливо, а Иван все шагает мерным шагом. Прошли мы больше половины пути, усталость дает себя знать, а Иван все молчит. Я уже стал терять надежду на отдых, в котором так нуждался. Показалась Перелевка. Ну, думаю себе, он отдохнуть не намерен и будет шагать так до Перелевки. Вдруг к моему удовольствию Иван говорит, указывая мне на бугорок: „У того бугорка маленько присядем, нужно будет подсчитать деньги, потому у меня, брат, старуха бедовая, — сейчас ей подавай отчет, а то почнет моркву стругать". Дотащился я кое-как до вожделенного бугра. Иван пересчитал свои деньги, несколько мелочи отложил и, кладя их в карман, сказал: „Это надо отдать, брат, — зайдем по дороге в кабак, — нашему кабатчику", — а остальные деньги, завернув отдельно, спрятал за пазуху. „Другой раз зайдешь, — продолжал Иван посвящать меня в свои тайны, — выпьешь в долг, и, значит, надо теперь расплатиться, а то, пожалуй, более и не поверит. Только

ты, мотри, придем домой, не говори старухе моей, что, мол, заходили в кабак, на этот счет она у меня во какая строгая“.

Пришли мы, наконец, в Перелевку, зашли в кабак. Думаю, выпью рюмку наливки для подкрепления. Выпил и не почувствовал. Решил выпить стакан водки. Выпил, сел на лавку, и меня потянуло ко сну. Дремлю и сквозь дрему слышу, мой дед Иван хвалится кабатчику подаренным мною ножом. „Сказывал, будто настоящий аглицкий. Как по-твоему, аглицкий ли в самом деле?“ — „Это можно сейчас узнать, аглицкий сейчас скажется“,—ответил кабатчик. Потянулся рукой к бороде деда, вырвал из нее волос и начал им дуть на лезвие ножа. Меня это заинтересовало, и я стал смотреть. Лезвие пересекло волос, и кабатчик с полным убеждением сказал деду, ожидавшему с затаенным дыханием результата экспертизы: „Настоящий аглицкий, хоть кому покажи!“ Дед бережно вытер нож и, заворачивая его снова в тряпку, сказал: „Должно быть, аглицкий. И он сказывал: аглицкий, говорит, настоящий. А он такой человек, как я заприметил, — раз скажет, значит дело свято. На ветер слова не бросает, не как прочие другие из их брата, торговцев“. После таких комплиментов на мой счет Иван обратился ко мне: „Ну что ж, брат, маленько отдохнули, выпили по рюмочке, теперь можно и домой, старуха, поди, что-нибудь настряпала“.

Пришли мы к Голодоновым. Старуха Ивана, действительно, угостила нас щами и пышками со сметаной. Я поместился в хибарочке. На утро проснулся в сильной лихорадке. Пролежал весь день. Лежу и сквозь дрему и лихорадочный бред слушаю причитания старухи: „Беда это—хворь на чужой стороне! Може, чего ты покушал бы, молодец, — ты скажи, не сумлевайся, если что!“ — „Нет, ничего пока, бабушка, не хочется. Коли захочется — скажу“, — отвечаю я. „Ну, ну, касатик! А то, може, позвать бы попа,— запричастил бы? Боже упаси, неравен час, умрешь, все же и тебе лучше, — телеса, по крайности, не будут резать твои!“ — „Погоди, бабушка, коли что, там видно будет — скажу тебе“.—„Ну что ж, как сам знаешь, тебе лучше знать“. К вечеру лихорадка утихла... На другой день я принял утром хинин и, позавтракав, отправился по де-

ревне с коробкой. Зазвали меня к батюшке. Матушка кое-что купила и, увидев карандаши, сказала своей дочери, гимназистке, судя по форме: „Уж выбери ты — ты лучше знаешь — карандаш Ванюше“. Я показал барышне карандаши № 2 Фабера и говорю: „Вот, барышня, хорошие карандаши“. На что гимназистка, лукаво улыбаясь, сказала: „Ты таки понимаешь — хороший или плохой; а я думала, просто тебе всучили продать, вот ты и расхваливаешь, а сам-то, поди, в карандашах столько понимаешь, сколько я в китайской грамоте. Сам-то ты, грамотен ли хоть сколько-нибудь?“ — „Маленько учили, — отвечал я, — и по-печатному читаю, и если что записать, то тоже могу“. — „Ну то-то же, а рассказываешь: очень хороший карандаш! Положим, что в этот раз ты не ошибся, это действительно хороший карандаш, но признайся, ведь так, по привычке, расхваливаешь?“ — „Зачем, барышня? Ведь покупаем же мы и продаем, потому приноровились; сколько, небось, я их продал“. — „Ну, ладно, говорить-то ты, вижу, мастер, и действительно приноровился, видно, надувать простоту деревенскую, а пуще всего баб. Без запроса, по-божецки, — продолжала иронически подшучивать барышня, — сколько стоит карандаш?“ Очевидно, она ожидала, что я запрошу тройную цену. „Да что уж, барышня, лишнего не положу. Сами знаете цену, сколько, небось, исписали за все время, как в гимназии учитесь“. — „А ты почему знаешь, что я учусь в гимназии?“ — „По форме, барышня, форма ваша показывает“. — „Да ты вот какой, — шутит барышня, — и формы кто какие носит, знаешь! Однако, сколько хочешь за карандаш?“ — „Торговаться что же, — отвечаю. — В Воронеже платите за такой карандаш 5 коп., ну да 2 коп. набавите за то, что принес вам в Перелевку. Значит, и будет круглым счетом 7 коп.“. — „Это, значит, по-божецки будет?“ — „Полагаю, барышня, по-божецки“. — „Ну, коли так, — закончила барышня, — давай два карандаша“. В придачу к 14 коп. за карандаши барышня дала мне еще два порошка хинина, когда я стал жаловаться на лихорадку.

Из этого короткого знакомства с барышней я заподозрил, что моя покупательница родственна мне по духу, и нарочно узнал фамилию батюшки в этой деревне.

По расспросам в Воронеже у знакомых оказалось, что моя перелевская покупательница принадлежала к кружку, составленному в Воронеже молодежью для самообразования.

Совсем другой прием ожидал меня в барском доме. Дня через два я отправился в окрестности Перелевки. Прохожу мимо одной барской усадьбы, выбежала навстречу мне горничная и спросила, есть ли у меня пуговки к летнему платью. На мой утвердительный ответ она пригласила меня в дом, к барыне. Стал показывать я барыне пуговицы к платью; пуговицы у меня были только стеклянные. Барыня спросила — нет ли у меня роговых; стеклянные, заметила она, раз покатаешь платье, и побьются. И угораздило же меня сказать ей: „Кто ж, барыня, платья катает, платья, говорю, гладят". Барыня, очевидно, не любила выслушивать противоречия, да еще в поучительном духе, вскипела: „Пошел вон! — сказала она. — Забирай свою дрянь и сейчас убирайся вон!" Ушла моя барыня в другую комнату, я собрал свою коробку и вышел в коридор.

Пробегавшая туча брызнула дождиком, и я, поджидая, пока пройдет туча, поставил коробку и беседую с горничной в коридоре. Барыня, очевидно, услышала наш разговор и выскочила в коридор. „Ты все еще здесь, — набросилась она на меня; — кому я сказала, чтоб убирался вон отсюда! Или ты ждешь, чтоб тебе дали по шее? Сейчас же пошел вон!" Горничная вступилась было за меня: „На дворе, барыня, дождь, так он только пережидал, пока пройдет"... Но куда тебе, барыня и слушать не хочет. „Здесь ему не постоялый двор и не кабак. Сейчас пусть убирается отсюда, чтоб и духу его не было. Хам, грубиян! еще учить всякая сволочь будет!" — выкрикнула барыня и хлопнула за собой дверью. Этот случай с пуговицами научил меня быть осторожным с господами, а то, чего доброго, и шею накостыляют за неуместные разговоры.

Отправился я дальше. По случаю болезни старушка Голодониха сварила мне курицу на дорогу. Вечерело, когда я подошел к деревне Богословское. Внизу, подо мной, растянулась деревня со своими дымящимися трубами. Был, помню, какой-то пост, поэтому я решил, чтобы не вводить в соблазн незнакомых мне крестьян, поужинать курицей здесь, на горе, в пролеске. Снял с плеч коробку, поста-

вил на землю и, усевшись на ней, принялся за ужин. Вдруг слышу шуршание в зарослях пролеска. Очевидно, кто-то там пробирался. Я вынул на всякий случай револьвер и жду. Вылезает из чащи молодой поросли мужичок и направляется ко мне. „Здравствуй!“ — говорит. „Здравствуй!“ — „Нет ли огня? Охота покурить, да огня не захватил“. — „Садись, покурим“. Сел он и начал вытряхивать табачную пыль из своего кисета. Я предложил своих корешков. Закурили. „Куда, спрашиваю, направился?“ — „А вот тут недалече, к Феде иду“, — отвечал мужик. „Кто ж такой этот Федя будет?“ — „Да барин вот тут есть, може, проходил. Мы все его Федя да Федя зовем, а он уж давно перестал быть Федей. Богатый, да скупой, окаянный“. — „Зачем же тебе к нему понадобилось?“ — продолжаю спрашивать. „Да вишь ты, какое дело: подрядились мы с осени с бабой под овес, тут вот овес подошел, а она — на тебе — родила! Так вот иду к нему, не переведет ли нас на пшеницу, да не даст ли с полтину денег на крестины. Ныне всем плати, и попу нужно тоже заплатить, тоже даром не покрестит. Ну, спасибо за табак. Надо итти к Феде, аспид его возьми!“ Зашуршал мой нечаянный знакомец опять в порослях.

Думаю, дай подожду, что ему скажет Федя. Сижу. Слышу, шуршит мужичок обратно. „Ты все здесь еще?“ — спрашивает. „Здесь, — отвечаю, — торговать уж поздно, спать еще рано, вот и сумерничаю здесь на прохладе. Садись, покурим еще, да рассказывай, чем Федя тебя порадовал?“ — „Порадовал, окаянный! Говорит: а я чем причиной, что твоя жена родила? Такой аспид! Стал было его просить, чтоб уважил, так куда тебе, и слушать не стал. Так я и пошел ни с чем, даром только проходил“. — „Значит, и на крестины денег не дал?“ — спрашиваю. „А то даст такой аспид! Такое горе, такое горе, что больше и некуда. Хорошо коли еще поп в долг перекрестит, а то хоть не крещеный оставайся“, — закончил мой собеседник. „Ну, знаешь что, — говорю ему, — бери меня кумом“. — „Сделай милость, уважь, во как буду благодарен. Скажу тебе прямо: во как затянуло“, — сказал он, проводя рукой по своей шее. Передо мной сидел тип обтерпевшегося русского крестьянина. Жаловался, правда, он на горе; но не нужно было особой прони-

цательности, чтоб видеть, что к горю он привык и пригляделся. Пошли мы к нему. Таким образом я неожиданно попал в кумовья. Окрестили мы новорожденную, назвал ее батюшка, по моей просьбе, Надеждой. Не знаю, живет ли моя Надежда где-то, в одной из деревень Воронежской губернии.

Так я прошел с моей коробкой до Землянска, приглядываясь, где бы нам поселить поудобнее кого-нибудь из наших. В Землянске зашел на почту и там нашел ожидавшее меня письмо из Воронежа от М. Н.; она писала, чтоб я возвращался в Воронеж, где она и Квятковский ждали меня. По правде сказать, я был очень доволен этим приглашением, потому что соскучился-таки порядком за месяц скитанья с коробкой за спиной, без газет и всяких сведений о том, что делается в культурном мире, в той среде, в которой мы выросли. По совету хозяина постоялого двора, где я остановился, я отправился в ближайшую деревню нанять подводу ехать в Воронеж. Вошел я в первую попавшуюся избу и увидел пожилую женщину с ухватом в руках. Помню, было это 29 июня, во всяком случае праздник. На мой вопрос: могу ли нанять подводу до Воронежа, старуха ответила: „Посиди, подожди, вот придут наши с ночного. Отчего не найти, дело праздничное, должно согласиться". Сел я ждать, на наш разговор вошла молодая женщина с ребенком на руках и, обращаясь ко мне, сказала: „Вишь, вот, моя матушка, меня посылает в церковь, а сама на старости лет у печи и трудится. Ты бы, матушка, сама шла в церковь, — обратилась она к свекрови, — я, чай, помоложе тебя, и мне бы хлопотать, а ты бы по старости шла богу помолиться". — „Иди с богом, касатка, помолись, може, бог даст, и полегчает на душе, а я уж как-нибудь управлюсь возле печки", — ответила любовно старуха. Затем обратилась ко мне, очевидно, признавая во мне городского: „Скажите, милый человек, не слыхать ли у вас в городе, скоро ли наши ратнички домой повозвратятся?" На мой ответ, что пока ничего не слышно и, верно, до конца войны ждать нельзя, она сказала: „И чего только нашему царю да этому турке нужно: чего-то они все не поделят. И все-то наш с туркой воюют. На моем веку вот уже во второй раз они сцепились. Какого им ляда, прости господи, недостает? С

жиру, милый человек, поди, все воюют. Им-то чего, не сами ведь воюют, а солдатики свою кровь проливают за них. Вот коли б они сами промеж себя воевали, скажем, наш царь против турецкого грудью выступил, тогда бы, небось, подумали да подумали прежде, чем войну объявлять. А то, как что не по-ихнему, так идите, солдатики, воевать. А тут вот кровью сердце обливается, как подумаешь о своем кровном детище. Как-то он там, думаешь, сердечный, милует ли еще его господь, а може, уж и головушку свою сложил. Другой всего год женился, сердечный. Вишь, вот, молодушка с ихним ребеночком на руках,—сердце замирает, как подумаешь, что коли бог не помиловал, и он уже к господу представился, а они сиротками оставайся. Другой раз подумаю этак про себя, посмотрю, значит, на нее, касатку, да на внучка своего, и скажу себе: хорошо еще, что бог дал людям привычку. Ко всему-то человек привыкает, по-малу привыкает да привыкает. А не дай бог людям привычки, что б тогда люди делали? Скажи ты, милый человек, что тогда — одно страдание до конца жизни".

Меня поразила деликатность и та глубина чувств, с которыми эта редкая свекровь относилась к своей невестке. Но особенно поразила меня ее философия по поводу привычки. Я часто вспоминал в казематах равелина и Шлиссельбурга философа-крестьянку и черпал в ее философии успокоение в тяжелые минуты тюремной жизни. — Я с удовольствием провел время в беседе с ней. Особенно поражало меня, как легко усвоивала она чужие мысли, над которыми, несомненно, голова ее раньше не работала. Будь я с ней знаком не час — два, а по крайней мере день — два, и намеревайся я остаться в этой местности, я без всякого колебания прямо сказал бы ей — кто я такой и каким образом очутился у нее в избе. Такого глубокого впечатления мне не приходилось испытывать во все время моего скитания в народе. Я часто рассказывал о философе-старухе моим товарищам по заключению, и, вообще, часто вспоминался мне этот образ крестьянки с ее выстраданной философией. Помню, в 1904 г., уже, значит, всего за год до моего выхода на свободу, нас посетил петербургский митрополит Антоний и, в разговоре, сообщил мне, что, проездом на

Кавказ, проезжал места моей родины, и, „вероятно, в этом году также буду там“. Сказав это, он остановился в раздумье и затем сказал: „Вот я хвалюсь, а того и не подумал, что вы сделать этого не можете, и своим рассказом, быть может, причиняю вам лишнюю горечь и душевную боль“. Я и тут вспомнил моего философа-старуху и сказал ему: „Не беспокойтесь, батюшка, когда я ходил в народ в качестве революционера, то встретил одну старуху, которая благословляла бога за то, что он дал людям привычку, способность привыкать ко всему. Так и я привык, и потому не завидую тем, кто может по своей доброй воле ездить всюду и вообще располагать собой и своим временем“.

Пока я таким образом беседовал со старухой, ее сын возвратился с ночного. Мы с ним поладили, и он свез меня в Воронеж. Квятковский и М. Н. рассказали мне, чем кончилось предполагавшееся освобождение Войнаральского, отправляемого в Централку. Насколько в моей памяти сохранилось из этих рассказов, неудача предприятия объясняется тем, что участники освобождения поехали разными дорогами, и, пока они съехались, удобный момент был упущен.

Им пришлось приступить к выполнению своего намерения уже довольно далеко, верст за восемь от Харькова, и к тому же при очень неблагоприятных условиях—на виду у крестьян, убиравших хлеб в поле. Дело было так: Баранников, в форме жандармского офицера, потребовал от унтер-офицеров, сопровождавших Войнаральского, чтоб они остановились. Те, ничего не подозревая, повиновались. Баранников выстрелил и ранил одного из них. Другой унтер-офицер, очевидно, понял, в чем дело, вставил конец своей шашки в кольцо кандалов Войнаральского, чтоб тем предупредить попытку последнего выскочить из телеги, и крикнул ямщику: пошел! Квятковский забежал вперед и выстрелил в лошадей, надеясь, что, попав в голову лошади, он свалит ее с ног и тем задержит экипаж. Но, очевидно, Квятковскому не удалось попасть лошади в голову, а несколько выстрелов в мягкие части только разгорячили лошадей, и они бешено помчались. Догнать их было невозможно и пришлось отказаться от дальнейших попыток. С места схватки

участники освобождения направились прямо на вокзал, чтобы сейчас же ехать из Харькова и предупредить оставшихся в квартире сделать то же самое.

Перед отходом поезда, на вокзале появились уже жандармы и полиция с намерением арестовать участников нападения, если узнают их по каким-либо признакам. Более всего подвергались риску быть арестованными А. Д. Михайлов, М. Н., Софья Львовна Перовская и Фомин, потому что первый играл роль помещика, приехавшего на ярмарку, М. Н. — его жены, Софья Львовна — горничной, а Фомин — кучера; всех их, конечно, знал в лицо дворник, который был уже на вокзале. М. Н. кое-как принарядилась в дамской комнате и вышла на платформу под вуалью, в сопровождении какого-то генерала, с которым успела завязать заранее знакомство тут же на вокзале, всучила ему свой багаж и поручила занять место в вагоне. Исполнив все это, любезный кавалер пришел за М. Н. и провел ее в вагон. Проехав несколько станций с этим генералом, М. Н., не доезжая до Орла, вышла под каким-то предлогом на какой-то станции, поручив своему любезному спутнику доставить по данному адресу ее багаж в Орел. В доставленном генералом в Орел багаже были револьверы и кинжалы, именно то, что М. Н. и А. Д. считали всего необходимее забрать из харьковской квартиры. А. Д. как-то счастливо, уже на ходу, вскочил в один из вагонов этого же поезда и тоже благополучно унес ноги. Как успела избежать ареста Софья Львовна, не помню. Таким образом, из четырех лиц, заведомо известных дворнику постоялого двора, где шли приготовления к освобождению, только один Фомин был арестован на вокзале.

Таким образом, я, Квятковский и М. Н. опять съехались в Воронеже, чтобы заняться подготовкой поселения в Воронежской губ. Роли наши мы так распределили: М. Н. должна была оставаться в Воронеже и заняться организацией бюро воронежского поселения и привлечением для этой цели местной интеллигенции. Мне и Квятковскому нужно было купить лошадь и телегу с будкой, накупить разного крестьянского товару, отправиться на разведки по губернии для отыскания подходящих для поселений мест и, по мере их отыскания, вызывать для

поселения людей из организованной нами в Питере группы. Возвратившись в Воронеж с коробкой, я поселился, в качестве торговца, на постоялом дворе, откуда отправился предварительно в квартиру Тулисова и, переодевшись в костюм культурного обывателя, явился на квартиру М. Н. Хорошо не помню теперь почему, но нам с Квятковским нельзя было раньше двух недель отправиться в путь, и потому мы с ним поселились на одной квартире и выдали себя за людей, ищущих места на железной дороге.

Какие бывают иногда неожиданные совпадения! Мы наняли комнату у бывшей надзирательницы Воронежской тюрьмы, которая была распропагандирована Завадской во время заключения последней в этой тюрьме. Всего этого мы совершенно не знали. Мы с Квятковским занимали большую комнату. Дня три спустя после нашего водворения хозяйка обращается к нам с просьбой уступить ей на один вечер нашу комнату. „Вчера приехала из Петербурга моя дорогая знакомая, Завадская, может быть, слышали, и обещала притти сегодня ко мне в гости. Я познакомилась с ней, когда она сидела в тюрьме, где я в то время была надзирательницей. Она так много сделала для меня, и я так ей благодарна, особенно за то, что она открыла мне глаза, какую я нехорошую занимала должность. И вот она теперь опять приехала к нам в Воронеж, и я так рада, что сегодня она будет в моем доме гостьей“. При этом она прибавила, что если мы желаем познакомиться с приезжей, то можем также быть в числе гостей. Пока же просила позволить ей приготовить нашу комнату к приходу гостьи. Мы ушли с Квятковским, приняв приглашение хозяйки. Нас эта неожиданность очень заинтересовала. Ни я, ни Квятковский не были лично знакомы с Завадской, хотя знали, что она была в числе 193-х, по Большому процессу. Мы решили, что обстоятельства покажут — открыться нам Завадской, кто мы, или нет, но во всяком случае представиться ей как ищущие места на железной дороге. До вечера мы пробыли у М. Н., которой сообщили о предстоящей нам встрече с Завадской.

Вечером, возвратившись на квартиру, мы уже застали Завадскую у хозяйки и отрекомендовались ей, как было

условлено. Предварительно мы сговорились также с Квятковским, как держать себя в случае, если зайдет речь о процессе 193-х и о движении, результатом которого был этот процесс. Я должен был отрицательно отнестись к этому движению, а Квятковский соглашаться с Завадской и поддерживать ее в дебатах по этому вопросу. Завадская была типичная пропагандистка и принадлежала к тому разряду молодежи 70-х годов, который не знал других тем для разговора, кроме волнующих душу.

Сначала мы, в качестве людей совершенно не знакомых с тем движением, в котором участвовала Завадская, расспрашивали ее о процессе, о том, из-за чего она попала на скамью подсудимых. Завадская только того и ждала. Она начала знакомить нас с современным движением молодежи, говорила о причинах, вызвавших это движение в России, о бедности русского народа, о святой обязанности русской интеллигенции притти на помощь русскому народу, которому она обязана своим просвещением. Словом, стала нам доказывать, что культурные представители России в неоплатном долгу у народа и что пробил час, когда интеллигенция должна уплатить свой долг, внести свет в народ. Затем, входя все больше и больше в роль глашатая приближающегося нового исторического момента, когда представители труда выступят на сцену жизни, требуя и для себя равного участия в возможном счастьи людей на земле, она стала нам излагать социалистические учения Запада и знакомить нас с движением рабочих классов в Европе. Я стал возражать ей, доказывая, что все эти учения — плоды увлечения не созревших еще молодых умов и незнания жизни нашей учащейся молодежью. Что студенты, пока на университетской скамье, проповедуют всякие крайние теории, а вступив в жизнь и узнав ее, делаются людьми, как и все в той среде, где они живут, и, может быть, потом сами смеются над своими юными увлечениями.

Одним словом, я использовал весь запас аргументации трезвых людей, которым они располагали против молодежи, захваченной движением 70-х годов. Завязался нескончаемый спор между мной и Завадской. Присутствовавшая публика молчаливо слушала нас, но ясно было, что она со-

чувствовала Завадской, особенно когда время от времени в спор вмешивался Квятковский и поддерживал Завадскую.

Поддержка Квятковского еще больше оживила ее, она еще с большим энтузиазмом старалась доказать мне, что я ошибаюсь, что если иногда люди, с самыми лучшими стремлениями вступая в жизнь, пасуют перед теми трудностями и препятствиями, которые встречают на пути к своим идеалам, это объясняется отчасти средой, слишком неподготовленной еще к новым запросам жизни, а также и тем, что сами люди эти — плоть и кровь окружающей их среды и не имели еще времени накопить достаточный запас энергии для борьбы с отживающим строем. Россия, говорила она, политически не жила еще, и было бы чудом, если бы было иначе, чем есть на самом деле. Но то обстоятельство, что в России, не живущей целые века политической жизнью, в России, где еще только занимается заря новой жизни, мы имеем людей, беззаветно отдавшихся делу освобождения народа, это должно вселить в нас веру в то, что Россия просыпается от долгого сна. „И поверьте мне, — говорила вдохновенно Завадская, — что чем дальше, тем все больше будет таких беззаветных борцов за свободу и счастье народа. После процесса, в котором я имела счастье участвовать, я еще более укрепилась в этой вере. Если раньше я верила в это только потому, что так было в других государствах и, следовательно, так будет и у нас, если раньше моя вера основывалась только на том, что история, как выразился Чернышевский, на диване не сидит, а идет вперед, и жизнь человечества развивается так же, как и жизнь отдельного человека, — то теперь моя вера укрепилась еще тем, что я видела и пережила в нашем процессе“. В соседней комнате давно стоял на столе самовар, и хозяйка уже несколько раз приглашала нас к чайному столу; но мысли Завадской были далеко от чая, она старалась убедить меня в справедливости того, за что судилась вместе со своими товарищами по делу. В виду такой веры в наше дело, я и сам, казалось, стал еще больше верить и мне становилось неприятно продолжать взятую на себя роль трезвых людей. Мне было все трудней выжимать из головы мысли, ко-

торых в ней не было, все труднее вспоминать те аргументы, над которыми работали головы, совсем иначе устроенные. Наконец хозяйка выручила меня. „Ну, дорогие мои гости,— сказала она, обращаясь к молчаливо слушавшим нас, — мы их не дождемся, пойдемте пить чай, а им я принесу сюда, пусть себе спорят“. Все вышли, и мы остались одни с Завадской. „Ну, полно нам, людям одного лагеря, ломать копья, — сказал я Завадской. — А чтоб вы не сомневались в том, что мы люди одного лагеря, скажите, пожалуйста, Ольга Александровна Натансон в Петербурге сейчас... и видели вы ее перед отъездом?“ Завадская смутилась этим вопросом, а может быть и слишком крутым поворотом нашего разговора. „Я спрашиваю вас, во-первых, потому,— продолжал я, — чтоб убедить вас, что мы люди одного дела, а во-вторых, потому еще, что мы из Петербурга давно и мне нужно знать, там ли еще Ольга Александровна. Мне помнится, вы с ней знакомы, и вероятно у нас с вами из общих знакомых в Петербурге не одна Ольга Александровна“. Я назвал ей еще несколько известных в Петербурге имен землевольцев и несколько из процесса 193-х, с которыми я познакомился в гостинице Фредерикса (если мне не изменяет память), где несколько номеров занимали освобожденные по Большому процессу.

Завадская смерила меня глазами с ног до головы и спросила: „Кто вы, и почему вы знаете этих людей?“ — „Простите, — сказал я, — что позволил себе мистифицировать вас. Случайность устроила нам с вами здесь встречу, мы с вами люди одного и того же лагеря, как я уже вам сказал, приехали мы сюда для проведения в жизнь той программы, которую вы сейчас с такой верой защищали, а назвал я вам эти имена, чтобы у вас не осталось сомнения в подлинности наших с товарищем личностей“. После этого у Завадской не оставалось больше сомнений, и она со смехом сказала: „А я-то распиналась, благо нашлись терпеливые слушатели. И сколько пороху зря потратила“. Мы снова пожали друг другу руки и отправились в комнату, где остальная компания пила чай. Завадская сказала шутя Квятковскому: „Спасибо вам за то, что помогли мне убедить вашего товарища в истине моего вероучения“. Квятковский ответил шуткой на шутку: „Быть может, мой товарищ

сдался, чтобы не остаться без чаю".—Эта неожиданная встреча с Завадской дала нам в Воронеже несколько новых знакомств, так как Завадская пользовалась в Воронеже общей любовью культурной среды, в которой было много людей с солидным общественным положением.

Наконец нас с Квятковским уже ничто не задерживало в Воронеже. Мы стали готовиться к выезду из Воронежа в качестве торговцев, приступили к покупке лошади и крытой телеги, в которой обыкновенно торгуют в развоз товаром. Телегу мы приобрели на базаре, и я привез ее на постоялый двор, где находилась моя коробка с товаром. Оставалось купить лошадь. Мы думали купить ее на толкучке, но одно непредвиденное обстоятельство дало нам возможность купить хорошую лошадь. На постоялом дворе я выдавал себя за сельского лавочника, приехавшего из деревни Перелевки купить товар, но в дороге у меня пала лошадь. Приходится теперь, говорил я на постоялом дворе, купить лошадь. Указывал на Перелевку потому, что знал ее. Ко мне на постоялый двор изредка приходил Квятковский, одетый в обыкновенное культурное платье, а не в поддевку, в которой щеголял я обыкновенно, за исключением тех случаев, когда бывал у М. Н.; тогда я предварительно заходил к Тулисовым и там переодевался.

Однажды хозяйка постоялого двора пригласила меня на чай, и стала расспрашивать о господине, который заходил ко мне. Я сказал ей, что это сын нашего батюшки, окончивший семинарию, а теперь, мол, ищет невесту, приехал и в Воронеж поискать,—не найдется ли где подходящая. У хозяйки постоялого двора была дочка невеста, чем и объяснялось любопытство хозяйки насчет Квятковского. Разговорились мы с хозяйкой, и она сообщила мне свои планы насчет Квятковского и просила моего содействия. Рассказывала мне, сколько они дали бы приданого за своей дочкой, если бы нашелся хороший человек; говорила и о том, что желала бы выдать свою дочку за семинариста. Положение батюшки, по ее мнению, самое завидное; человек образованный, говорила она, не то что наш брат, опять же обеспечен на всю жизнь, не то что чиновник какой-нибудь. Так частенько она приглашала меня то пообедать, то чайку напиться, неиз-

менно заводя разговор на эту тему и обещая, в случае успеха, отблагодарить меня. Я, конечно, высказывал ей мою готовность быть полезным ей в этом случае и обещал по приезде домой поговорить об этом с батюшкой. Вот, говорил я ей, куплю лошадь, справлюсь со своими делами, уеду домой, поговорю с батюшкой и, коли что, нарочно приеду к ней и скажу ей виды на этот счет батюшки. Пока же предложил ей познакомиться с Квятковским: я ему шепну, что вот, мол, есть подходящая невеста. Предложение мое хозяйка охотно приняла, и в первый же приход Квятковского после этого я познакомил хозяйку с ним, а уже она со своей дочкой.

Чтоб больше склонить меня на свою сторону, хозяйка предложила купить лошадь у них: „Уж я тебя не обману, говорила она, лошадь с грехом, маленький шпад имеется, опоили, но лошадь крепкая, как раз по вашему делу". Лошадь оказалась сильной, рослой и даже красивой, а небольшой шпад, благодаря которому она потеряла ценность, для нас мало значил. В это время проездом был в Воронеже Фроленко, я привел его на постоялый двор, запрягли мы лошадь в телегу и проехали: лошадь, по общему приговору нашему с Фроленко, оказалась самая для нашего дела подходящая, и мы купили за 60 руб. лошадь, которая, не будь этого порока, стоила бы руб. 120.

Пока Квятковский сватался и тем отводил от меня глаза хозяйки, я занялся покупкой товара и скоро приготовил все к отъезду. Таким образом, благодаря видам хозяйки постоялого двора насчет Квятковского, обстоятельства неожиданно сложились благоприятно для нас. Я стал желанным гостем и, не навлекая никакого подозрения, покончил с своими делами. Хозяйка проводила меня благими напутствиями, когда я уезжал, обещая ей похлопотать о ее дельце по приезде в Перелевку. Лошадь мы назвали Лешкой, в честь Оболешева. Я выехал за город, где ожидал меня Квятковский, которому в телеге был приготовлен такой же костюм, как у меня, т. е. поддевка, рубаха-косоворотка и высокие сапоги. Квятковский влез в телегу и тоже преобразился в торговца. Покончив со внешним нашим видом, мы развернули карту Воронежской губернии и наметили на ней наш путь, отметив торговые села, ярмарки и прочее.

Прямо из Воронежа мы направились в Коротоякский уезд Вор. губ. и решили отбыть первую ярмарку в Дивногорском монастыре. Приехав в монастырь, я отправился к монаху, который заведывал арендой мест на ярмарке, внес деньги за место под лавку и купил кольев разной толщины для постройки лавки, потолще для столбов, потоньше для продольных и поперечных перекладин внизу и вверху. Принялись мы с Квятковским за постройку лавки, или, вернее, холщевой палатки, какие обыкновенно строятся на деревенских ярмарках. Вкопали более толстые колья в землю, привязали вверху и внизу поперечины и обтянули холстом. Таким образом наша импровизированная лавка снаружи была готова. Принялись за внутреннюю отделку: на живую нитку приладили полки, построили во всю ширину лавки прилавок и разложили незатейливый крестьянский мелочной товар.

Скоро сказка сказывается, говорят, да не скоро дело делается. Достать все, что нужно для постройки лавки, не трудно, потому что все это берется торговцами напрокат у местных крестьян. Гораздо труднее было построить лавку нам, занявшимся в первый раз в жизни этим делом. Как ни казалась на первый взгляд немудреной такая постройка, но встречались трудности, перед которыми мы становились в тупик. В таких случаях Квятковский отправлялся к соседям, занимавшимся такой же постройкой, и, приглядевшись, как делают они, возвращался и сообщал мне, и мы вновь принимались за дело. Короче, на этот раз мы кое-как соорудили постройку и открыли торговлю.

Чтоб читателю стало ясно, зачем нам понадобилось торговать на ярмарках, надо иметь в виду практическую программу „З. и В.". Программа деятельности в народе „З. и В." была результатом хождения в народ наших предшественников. Опыт первых пошедших в народ представителей освободительного движения 70-х годов показал, что расчет вызвать народ на активную борьбу с государственным строем, враждебным его интересам, путем пропаганды таковой борьбы, не достигает успеха и ни на чем не основан, кроме нашего горячего желания.

Нам, знавшим свой народ по книжкам, психология народных масс оставалась неизвестной. До непосредственного

столкновения с народом представители революционного движения знали о нем то, что знала и вся интеллигентная среда, отделенная непроходимою пропастью от народа. Они знали, что народ угнетен, что он жаждет освобождения от невыносимого гнета. Если прибавить еще, что им были известны pia desideria насчет земли, то вот и все знания отправившихся в народ с призывом к освобождению. Но не могли знать они того, что народ, века живший вне всякой политической жизни и шедший пассивно на буксире за бюрократией, отвык рассчитывать на себя самого и все надежды свои возлагал на царя, который освободит его от гнета и осуществит его pia desideria.

На первых порах, при столкновении с народом, легко было впасть в заблуждение, в виду той легкости, с которой народ соглашался с критикой государственных порядков, слыша ее от тех, кто пришел к нему, решившись перешагнуть пропасть, отделявшую русский народ от интеллигенции. При большем знакомстве с психологией народа становилась ясна причина этого. Не знавший целые века политической жизни, ум народа не был загроможден никакими политическими традициями и пережитками предшествующей исторической жизни и в этом отношении представлял tabula rasa, на, которой легко было все писать, раз написанное не шло в разрез с его интересами. Но это еще не значило, чтоб народ готов был бороться за ту программу, которую ему предлагали и с которой он соглашался. Народ инстинктивно чувствовал, что для выполнения такой программы нужна сила, себя же такой силой он никоим образом не представлял и не мог представить в виду вышесказанного. Вот эту-то истину и вынесли из народа наши предшественники. Вот почему и стали дебатироваться на сходках вопросы о том, как подготовить народ к протесту против виновников его угнетения. Предлагались различные способы, вплоть до мистификации при помощи царского манифеста, призывающего народ к восстанию против своих врагов. „З. и В.“ остановилась на способе воспитания в народе протеста на почве злобы дня, на том или ином факте недовольства в той или другой местности, на почве столкновений той или другой деревни с той или иной стороной, враждебной интересам народа, будет ли столкновение с администрацией,

помещиком, кулаком и проч. Как ни однообразно угнетен наш народ, все же в одной местности это угнетение чувствовалось слабее, в другой — сильнее, в зависимости от личных качеств того или другого угнетателя.

Ярмарка, таким образом, казалась нам самым удобным обсервационным пунктом, в котором легче всего было узнать, где в окружности живет, по словам крестьян, аспид помещик, в каком уезде исправник и становой донимает крестьян. Вот с какой целью решили мы с Квятковским объехать ярмарки в качестве торговцев. Деревенская ярмарка — это центр, куда из округа съезжаются крестьяне, и таких ярмарок в Воронежской губернии было в то время много.

В Дивногорском монастыре, на первой отбытой нами ярмарке, мы завели первое наше прочное знакомство с семьей бывшего дворового Гукова, из села Корневища. Познакомились мы так: сидит Квятковский с гармоникой в руках на прилавке и наигрывает; подходит группа деревенских девушек и упрашивает Квятковского сыграть что-нибудь повеселее, — „что тиликаешь не знать что", говорят они. Квятковский ответил им, что сыграл бы и веселую, да не умеет. „Ну, рассказывай — не умею. Так вот тебе и поверили. Торговец, — да не умеет играть". Потеряв надежду заставить Квятковского сыграть, одна из девушек сказала ему: „Ну, коли сам не хочешь сыграть нам, дай гармонию, Маша сыграет". Квятковский стал подшучивать: „Какая же такая Маша, которая умеет играть на гармонике, — ваша Маша, поди, и гармоники в свой век в руках не держала". — „Ну, не говори, ты допрежь узнай, а потом уж и скажешь. Наша Маша двух таких мужиков, как ты, за пояс заткнет", — ответила одна из девушек. „Она на все руки, — и косит, так за любого мужика сойдет". — „Буде тебе, Танька", — отозвалась из группы девушек блондинка, на вид старше других девушек, с умным и выразительным лицом. Квятковский предложил Маше гармонику. Она сначала немного сконфузилась, поцеремонилась, но под конец уступила просьбам и сыграла несколько песен.

Квятковский вступил с ней в разговор. Говорила Маша с полным сознанием своего достоинства, серьезно, без обычной смешливости, сопровождающей раз-

говор крестьянских девушек. Маша резко выдавалась из среды остальных своих подруг и умом и выдержанностью и, — это ясно было, — пользовалась уважением у своих товарок. Квятковский сказал Маше несколько комплиментов и между прочим спросил ее: „Что же ты, Маша, при таких достоинствах до сих пор не вышла замуж?“ — „Не хочу, — ответила Маша. — Выйди за мужика, то он, хоть ума-то у него и меньше, станет драться, — я, мол, мужик, а ты что — баба. А так я сама себе хозяйка, никому не обязанная“. — „Что же ты, Маша, черничка что ли?“ — вмешался в разговор я, зная, что в Воронежской губернии очень распространено черничество, т. е. девушка дает обет не выходить замуж и остается девственницей. „Нет, — ответила Маша, — я сама своя“. — „Как это сама своя? И черничка тоже сама своя“, — возразил я. „Нет, черничка не своя, а божья. Черничку всякий узнает, — она черным платком для того покрывается, а я, видишь, покрывшись таким же платком, как и прочие деревенские наши девушки. Только замуж нейду, — хочу сама себе хозяйкой быть. Сама своя, — вот и вся моя разница от прочих баб“, — закончила Маша решительно и предложила своим товаркам итти. „Буде, — наговорились“. Уходя, девушки предложили нам приезжать к ним в деревню. „Вон на горе, Корневищем называется“, — указали они по направлению деревни, видимой невдалеке. „Ладно, — ответили мы. — А у кого там останавливаются торговые?“ — „Да хоть у нас, — ответила Маша. — Спросите Гуковых, всяк и укажет вам“.

По окончании ярмарки в Дивногорском монастыре мы отправились в Корневище, спросили Гуковых и поместились у них на квартире. Семья Гуковых производила впечатление незаурядных крестьян. Особенно бросилось нам в глаза, что Маша пользовалась в своей семье необычайным в крестьянской среде уважением к девушке. В общих разговорах она принимала участие и даже при нас, посторонних людях, тогда как обыкновенно девушки крестьянские лишь слушают молча, что говорят старшие, и разве только улыбкой выдают свое участие в общем разговоре.

В семье Гуковых мы впервые познакомились с тем острым недовольством, с каким крестьяне Воронежской губернии относились к охоте на волков великого князя

Николая Николаевича Старшего. Это недовольство приходилось наблюдать потом по всем деревням, по которым прошли охотники. Гуков обстоятельно познакомил нас с бесцеремонным отношением администрации, желающей угодить знатному охотнику, к интересам крестьян. Охота эта происходила в деревенскую страду, в августе месяце, и Гуков, рассказывая нам об ней и о пренебрежении к их интересам, иллюстрировал и сравнивал такую бесцеремонность с недавним прошлым, хорошо ему известным, с крепостным правом. „Просто беда, что только делают, — говорил Гуков, — хозяев выгоняют из собственных изб и на их место собак поселяют. А что собачни этой навезли, — целых две избы под собачий постой требуют. Опять же этих собачников (егерей) — целое войско. Едут под командой главного собачника-генерала (кажется мне, Ржевского), турки да и только на нашу землю ополчились. Скажи ты мне, что, мол, дядя Гуков, там, скажем, на Москве где-нибудь так-то и так было, вот как у нас сейчас: целое войско ополчилось на волков под командой генерала, — ей-ей, ни в жизнь не поверил бы, — враки, сказал бы. Ну а сейчас, как не верить, когда своими открытыми глазами видишь. Да еще приедет исправник делать распоряжение для этих самых собачников: на облавы назначать мужиков да собакам квартиры отводить, — так куда тебе — слова сказать не даст. Станем ему говорить: ваше высокоблагородие, сами знаете, страда теперь у нас, — не до волков нам теперь: на уме, как в пору хлеб убрать, — не осыпался бы на корню. Так и досказать не даст. Дураки, болваны! Сами своей пользы не понимаете... Вишь ты, выходит, они же наши благодетели, нас, дураков, от волков оберегают.

Что ты им на это скажешь?

По-нашему, разоряют они нас, а по-ихнему — благодетельствуют. Слушаешь это их, слушаешь, да и плюнешь. Охотой не пойдешь, силой погонят, и ищи потом на них закона“.

Впрочем, об этом я еще буду говорить, когда будет речь итти о нашем пребывании в селе Чесменке и прилегающих к нему деревнях. Пока я расскажу только, почему мы остановили свой выбор на Корневище, как на одном из пунктов предполагаемого нами поселения в Воронеж-

ской губернии. Дело в том, что в этом году великий князь Николай Николаевич Старший проживал в Воронежской губернии, в Бобровском уезде, в селе Чесменке, и на досуге занимался травлей волков. Неподалеку от Чесменки, в том же уезде, в селе Козачкове, проживала некая Числова, актриса, в то время хорошо всем известная особа. Приехал ли он в свое имение Чесменку отдохнуть после своих подвигов на Балканах или по другим причинам, — кто его знает; но дело не в том, почему он попал в этом году в Чесменку, а в том, что он жил там в это время и занимался травлей волков. Было это в конце июля и в августе, т. е. как раз в то время, когда крестьяне были заняты уборкой своих полей, — была страда, как говорят на Руси. Князь сам-то, может быть, плохо отдавал себе отчет в том, что его забава не так-то дешево обходилась крестьянам. Ведь всегда трудно поставить себя в положение другого человека, особенно, когда положение этого другого отделяется непроходимой пропастью от вашего собственного, как это было в данном случае. Богомолов же, бобровский исправник, — тот самый Богомолов, сын которого зарезался осколком стакана в Петропавловской крепости, — хотя и отлично понимал, что стоит охота князя крестьянам, был не из тех, чтобы принимать во внимание интересы крестьян, когда выпадал случай послужить сильному миру сего. И поэтому в страду он гнал крестьян на облавы волков и в то же время, если верить крестьянам, в присутствии этих же крестьян, ни мало не смущаясь, уверял князя, что крестьяне не только с удовольствием принимают участие в его охоте, но считают за великую для себя честь и счастье сделать все возможное для удачной охоты князя. Крестьяне ругали, конечно, начальство на чем свет стоит, но главным образом ругали исправника Богомолова.

Не знаю, откуда дошел слух к крестьянам, но они нам рассказывали и о том, что сын этого самого их исправника Богомолова лишил себя жизни в Петропавловской крепости, где он сидел, по словам крестьян, за то, что пошел против начальства. Мы с Квятковским начали с того, что объяснили Гуковым, что за человек был Богомолов-сын, и сказали, что таких людей, как Богомолов, много в России. Люди эти, говорили мы, стоят

за крестьян и требуют народу землю и волю. Что в других местах, напр. в нашей Владимирской губернии (мы имели паспорта из волостного правления Ковровского уезда Владимирской губернии), таких людей уже достаточно даже среди крестьян, и что эти люди называют себя обществом „Земли и Воли", потому что они поставили своей задачей добиться для крестьян земли, отобрав ее у помещиков, и дать крестьянам свободу, чтобы таким образом избавить крестьян от произвола, какой ныне тяготеет над крестьянством в России, „например, недалеко ходить, у вас в настоящее время". Конечно, говорили мы, начальство за это не особенно жалует членов этого общества, и если кто из них попадет в руки правительства, то уже правительство не пощадит и сажает их в тюрьмы и крепости, ссылает в Сибирь в каторгу и пр. Богомолов был из этого общества „Земли и Воли" и попал в руки начальства, а чтоб избавить себя от неволи, не желая томиться в крепости, куда его засадило начальство, зарезал себя осколком стакана.

Слушая наш рассказ об обществе „З. и В." и его члене Богомолове, Маша сказала своему брату: „Вот и хорошо, что вы того-то не поймали в прошлом году, може и он из таких же, как сын нашего исправника". И рассказала нам, что в прошлом году из коротоякской тюрьмы бежал „один какой-то", как выразилась она, и по деревням сотским и десятским приказано было сделать облаву. „Наш Петруха, — говорила Маша, — в те поры был сотским. Идет это он на эту облаву, я и говорю ему: не замай, говорю, Петруха, ежели заприметишь где, — не наше дело: мало ли бывает так, что и ни за что попадают в тюрьму, а волюшка-то всякому мила. Пускай кто винит его, тот и ловит. И вот тут недалече, в леске, наши мужики и видели его, сердечного, в овражке, в лопухах, да как будто и не заметили и прошли, значит, его. А вот теперь и того пуще скажу: хорошо, что не изловили его, — вишь вот каких ныне сажают людей по тюрьмам да в Сибирь гонят. Мужику-то нашему и вовсе грех таких людей предавать, — они за нас стараются, а мы будем их же отдавать в руки нашим лиходеям". — Таким образом, чем дальше, тем все больше и больше мы сближались с семьей Гуковых. И мы с Квятковским ре-

шили, что Корневище можно избрать одним из пунктов для поселения нашей группы.

Квятковский занялся сначала Машей и стал читать ей книжки и вообще пропагандировать ей программу „З. и В.“. Постепенно и остальные члены семьи стали прислушиваться к чтению. Маша быстро проникалась пропагандируемыми ей идеями. Дело пошло так неожиданно быстро, что мы стали в семье Гуковых своими людьми. Мы решили окончательно, что Корневище будет первым этапным пунктом в нашей деятельности. Мы условились, что на зиму, по окончании осенних ярмарок, возвратимся в Корневище, и в случае, представится необходимость уехать на время, то лошадь с товаром будет оставаться у Гуковых. Гуковы были согласны оказывать нам помощь, по силе уменья, в нашем деле. До поры до времени мы решили не посвящать других из деревни в нашу тайну с семьей Гуковых, хотя со стороны Маши и были предложения насчет знакомства с некоторыми из крестьян Корневища, за скромность и честность которых она ручалась.

Неожиданная встреча с Машей и успех в семье Гуковых так подкупили нас, что Квятковский решил, в случае успеха нашего поселения в Воронежской губернии, жениться на Маше и поселиться в Корневище. Но пока я настаивал на том, чтобы Квятковский не подавал надежд Маше в этом отношении, и только в случае, если мы решим окончательно вопрос о поселении в этом районе, и в частности в Корневище, тогда только начать об этом речь. Так, по-моему, нужно было поступать потому, что иначе нам пришлось бы сейчас же повести дело начистоту и откровенно сказать ей, ее отцу и матери, что мы за люди. Квятковский соглашался отложить окончательное решение этого вопроса до возвращения в Воронеж, где он выслушает мнения других на этот счет и затем поступит так или иначе. Мне и Марье Николаевне пришлось много употребить усилий, чтоб Квятковский не делал решительного шага и подождал, пока окончательно будет решен вопрос о нашем поселении. И трудно сказать, как поступил бы Квятковский, если бы вскоре по возвращении в Воронеж мы не получили письма от Александра Дмитриевича. о чем будет речь впереди.

Условившись с Гуковым насчет того, что на зиму мы возвратимся к ним в Корневище, мы отправились дальше

по деревенским ярмаркам. Ярмарки давали нам знакомства по деревням. Являясь в ту или другую деревню, мы находили там знакомых, с которыми встречались на районной ярмарке. Нам, торговцам мелочным галантерейным, по преимуществу крестьянским товаром, особенно легко давались знакомства с женским элементом деревни. И действительно, в короткий промежуток времени, в какой-нибудь месяц-полтора, у нас оказалось столько знакомств среди крестьянок, что в деревнях мы то и дело встречали наших покупательниц на ярмарках.

Этому способствовало, главным образом, то, что Квятковский охотно исполнял просьбы крестьянских женщин, — смерить холсты, которые они выносили на ярмарки для продажи. Сначала он мерил холст только знакомым нам бабам, потом стали появляться у нашей лавки знакомые наших знакомых с просьбой смерить. В конце концов у нашей палатки на той или другой ярмарке толпились бабы с холстами. Проходят, бывало, вдоль палаток на ярмарке, отыскивая нас, и, завидев Квятковского или меня, говорят: „Вот они-то наши; Ликсандра, мы все к тебе с просьбой, — почитай всю ярмарку избегали, тебя все ищучи, — уж уважь, пожалуйста, померяй наши холсты“. Квятковский начинает мерить и выслушивать комплименты: „Мы к тебе, Александра, как ровню к своему брату-соседу: помоги, мол, суседушка“.

Я обыкновенно, для отвода глаз соседей торговцев, начинаю выражать неудовольствие, что они надоедают со своим холстом, мешают торговать и проч. „Ну, что сердишься больно, Михайло! Вот бог вашу доброту и вознаградит, и вы еще пуще заработаете, — продадим холст, чего купить надумаем—к вам принесем денежки, уж вас не обойдем, не сумлевайся, Михайлушка“.

Это нововведение на ярмарках — продажа бабами холста шебаям с условием: а уж мерить пойдем к нашему Александру, — чрезвычайно вооружало против нас шебаев. Часто происходили по этому поводу у нас с шебаями конфликты. Приведет, бывало, баба шебая, который купил у ней холст. Квятковский начнет, по ее просьбе, мерить холст, шебай и начнет упрекать: „Что ломаешь торговлю: никогда такого обычая нигде по ярмаркам не слышно было, что вы вводите, — кто покупает, тот и меряет. А это что: я купил, а

он, вишь ты, мерит“. На это Квятковский обыкновенно отвечал: „Ты погляди-то вокруг себя; например, у нас покупатель покупает, скажем, ленту или что другое, — кто мерит, покупатель или я? Так-то и тут. Она продавец, она и мерить должна, а просит меня, я и мерю“. Бабы в свою очередь начинают доказывать свое право мерить холст. „Ты уж оставь это, — человек тут не причиной. Доведись это и на тебя, скажем, или на другого: наш знакомый, мы его попросили, и он уважил нашу просьбу. Твои знакомые попросили бы тебя: сделай, мол, милость, смерь нам холст, и ты уважил бы им, — кому какое дело“. — „Кому какое дело, — передразнивает бабу шебай: — вот не куплю, и носись со своим смеренным холстом, и тогда не будешь вводить свои обычаи в торговлю“. Но Квятковский окончательно разочаровывает шебая. „Не купишь ты, — говорит он шебаю, — мы примем за себя по твоей же цене. Сколько давал за аршин?“ — „Так, так, Александрушка! С нашим почтением продадим тебе“, — поддерживают Квятковского бабы. „Сколько давал? — передразнивает шебай Квятковского. — Дело сторговано“... — Вообще среди своего брата, торговца, мы не пользовались любовью, и бывали случаи, что нам грозили.

Помню, на Урюпинской ярмарке приходит один пожилой крестьянин и спрашивает запаньи (широкая лента из мишуры, которой в Воронежской губернии крестьянки обшивали в то время паневы). Отвечаю: есть. Крестьянин подает мне записку, в которой я читаю: Варьке Степановой 70 арш., Анютке Тарасовой 50, и так далее, целый ряд заказов запаньи, так что у нас в лавке столько ее не бывало. Я и говорю ему: „Сколько ты покупаешь запаньи, а пришел к нам, мелочникам, покупать — ты здесь ни в одной лавке столько запаньи не найдешь. Положим, сходить в оптовую лавку недолго и купить, сколько тебе нужно, а говорю к тому так, что чем тебе покупать у нас и переплачивать по копейке на аршин, пошел бы, вон на углу склад товаров Семячкина, и купил бы несколько мотков, — вот бы твои копейки и остались в кармане у тебя“. — „Оно конечно, твоя правда, в складе, может, кто и дешевле купил бы, да нашего брата и там знают. Поглядит: мужик, мол, да еще пуще накроет, и вместо того, чтобы выиграть, и того пуще проиграешь“. —

„Ну, ладно, — говорю, — схожу я, — барыш пополам“. Пошел, взял несколько мотков, и отмерил отдельно каждой его заказчице. Рассчитались мы с покупателем. Но в то время, как я с ним вел этот разговор, торговец из противоположной лавки к нему прислушивался, и, как только мой покупатель отошел от нашей лавки, он и набросился на меня: „Завидущий, проклятый! Сами в лавке своей поганой на грош товару имеют, так, значит, чтобы другой вместо их не попользовался, стал учить, куда пойти, да как там можно дешевле купить. Вот только проучить бы тебя, раскидать твою поганую лавку, и знал бы тогда, как торговать следует. И будет то тебе когда-нибудь, попомни слово мое“. Пришлось на его угрозу показать ему револьвер.

Таким образом и с подобными инцидентами мы объехали несколько ярмарок и завели достаточно знакомств по деревням. В деревне Шестаково, Бобровского уезда, где нам пришлось прожить тоже неделю, крестьянин, у которого мы стояли на квартире, предлагал остаться в их деревне и завести лавку, при чем обещал построить лавку и отдавать нам в аренду. Мы сговорились с ним, что, осмотревшись, если не найдем более подходящего места, возвратимся в Шестаково и порешим окончательно с ним по этому делу. Последнюю ярмарку мы провели в Урюпинской станице, где запаслись товаром и двинулись в обратный путь к Воронежу, с тем расчетом, чтоб мне в Борисоглебске сесть в поезд и ехать в Воронеж, а Квятковский оттуда отправится в Корневище и, оставив там лошадь и товар, тоже на какой-либо из станций сядет в поезд и приедет в Воронеж. На обратном пути мы и попали в Чесменку.

При первом же знакомстве в селе Чесменке мы достаточно убедились в том, что между крестьянством и экономией самые враждебные отношения, и чем более оставались в Чесменке и делали разъезды по другим деревням, находящимся вблизи, тем все больше и больше в том убеждались. Обыкновенно, приезжая в ту или другую деревню, кто-либо из нас, Квятковский или я, отправлялись оповестить деревню о том, что вот, мол, приехали торговые люди и остановились там-то, — загадывали, как говорят в деревне. Так было и в Чесменке. Квятковский отправился загадывать, а я занялся переклад-

кой товара. Слышу, дочь старика, черничка Анна Васильевна, вышла из избы и кричит: „Ванюшка, а Ванюшка, — гляди-ко, где твои телята! Будет тебе от тятьки, коли попадут к тем аспидам. Беги скорей, займи“... На мой вопрос, кто эти аспиды, Аннушка указала рукой по направлению экономии и сказала: „А вот те, прости господи, дьяволы. Как только вот ту межу перешли телята либо другая скотина, так и неси полтину, а то и больше, и рубль заплатишь“.—„Да там же, — говорю я Анне Васильевне, — кажись, никакого и посева не видно, — за что ж платить-то?“ — „За спасибо. За то, что уж такие они жаднющие к деньгам, вот и обирают нашего брата, мужика“, — ответила она. „Не может быть, чтобы это делалось с ведома князя, — сказал я Анне Васильевне, — это уж верно управляющий от себя, — норовит в свою пользу. Вам бы следовало жаловаться князю“. — „Князю? — спросила с досадой она. — Жаловались, да ничего из этого не вышло... Мы же и виноваты остались. Не знаешь ты, молодец, их, вот если бы пожил на нашем месте, тогда бы ты узнал, во что нам это соседство обходится. Живем как на пожаре, вот как мы живем здесь“.

Скажу здесь мимоходом о черничках Воронежской губернии. Анна Васильевна, как уж заметил я выше, была тоже из черничек, которых очень часто приходилось встречать нам в нашей экскурсии по Воронежской губернии. Их легко отличить среди крестьянок по черным платкам. Лет Анне Васильевне было за 30, и жила она не в общей избе с семьей, а в отдельной горенке, на заднем плане двора, обсаженной деревьями. Мы, может быть, с ней и не познакомились бы, и не имели бы возможности с ней беседовать, если б смерть жены ее брата не заставила ее принять на себя временно, пока брат вновь женится, хозяйственную часть в избе. Какой обет налагают на себя чернички, кроме безбрачия, я не добился, как ни интересовался этим, но, кажется, никакого другого определенного. Ханжества, обычного богомолкам по городам, по крайней мере у чернички Анны Васильевны я не замечал. Точно так же особенного богомольства и всяких частых воззваний к богу не было у ней заметно, разве, может быть, она предавалась этому духовному упражнению у себя в горенке. Склад ума ее резко рационалистический. Она охотно всту-

пала в разговор общественного и житейского характера. Когда, как-то раз, зашел у меня с ней разговор о школе, она убежденно высказывалась за школу и готова была приписывать все беды крестьянства безграмотности. „Вся наша беда, — говорила она убежденно, — наша безграмотность и наша темнота. Вот бы на что я ничего не пожалела и все, что у меня есть, — все отдала бы на школу. Сколько-то уж я нашим указываю, говорю, хотя бы нам какую школу, да никак с ними не сговоришь". Не говоря уже об Анне Васильевне, готовой, по ее словам, и от монастырей отказаться для школы, я составил общее заключение о черничках Воронежской губернии, что по уму и характеру они выделяются из общего уровня женского элемента деревень и часто во всех отношениях выше среднего мужика.

Мы узнали в Чесменке, что главный штаб охотников, во главе с генералом, заведующим охотой, и егерями, находится в другой деревне, недалеко от Чесменки, и отправились туда с нашей торговлей. Заходило солнце, когда я шел по улицам загадывать, чтоб приходили покупать туда, где мы остановились. По улицам на лошадях гарцовали егеря, большинство, повидимому, из солдат. С полей шли крестьяне с косами и граблями на плечах. Встречаю их ироническими словами: „Вот как стали у вас нынче по деревням одеваться, — не узнать и деревню". — „А ты думал: у нас ноне не то, что допрежь", — поддерживают мою иронию крестьяне. Остановились, поздоровались, расспрашиваю, что за люди разъезжают по деревне. „Да вот, чорт принес, прости господи, откуда-то собачников, охотой, вишь ты, нашли время заниматься. На дворе страда, а они с жиру волков приехали травить. Там, брат, что собачни навезли, где уж они и насобирали — две избы под собак запоганили. Хозяев выгнали из изб, а избы заняли собаками. Вот она правда: люди построили для своего пристанища избы, опять же святили их, а они псов туда нагнали. Как хозяева не упирались, никаких тебе резонов не принимают, и ничего не поделать, пришлось убираться. Просто сказать, выгнали, да и только, и жаловаться некуда. Моют это их, чешут, доктор это их каждый день осматривает, — как поживаете, дескать, ваши благородия, собачки? Просто смех, если б только до смеху

было, — только чего с жиру не придумает человек! Надысь, — есть тут у нас бабушка Катерина, — проходит это она мимо двора, а егеря это намыливают собак, — купают, видишь ли, — смотрела это она на них, смотрела, да и говорит: у нас вот крошки родятся и помыть нечем, а вы вот собак мылом натираете. А они тебе хоть бы что, как будто и в самом деле чем хорошим занялись, и говорят в ответ ей-то: „А ты как думала, бабка? Хозяин у нас не скупой, не только нам все продовольствие выдается, но и собакам на мыло не жалеет“. Плюнула это она в ответ, да так прямо и сказала: „Видно-то, ваш князь больше собак любит, чем людей“.

Но интереснее всего то, что, как можно было заключить из рассказов крестьян, князь был в приятном заблуждении насчет отношения крестьян к его препровождению времени в этих местах. Рассказывали, напр., нам, что при передвижении с места на место охотничьего стана князь выражал готовность оплатить услуги крестьян по охоте. „Почнет это он спрашивать нас, — рассказывали крестьяне, — что вам, мол, мужички, следовает от меня, то вам будет уплачено, а исправник тут как тут и зачнет брехать: они, ваше высочество, за счастье для себя почитают, что удостоились послужить вам. Ну он, значит, и говорит на это: спасибо вам, спасибо. Так, значит, за спасибо все и делаем. А время-то, сами знаете, какое сейчас стоит. Не токмо за спасибо, а и бог с тобой и твоими деньгами, только избавь, как видишь, что свое дело в поле не ждет: хлебушко, дар божий, осыпается“. Кроме этой причины, обострившей неудовольствие крестьян к экономии, имелась, по словам крестьян, застарелая причина недовольства. На вопрос, не слышно ли о нарезке земли, — вопрос, с которым мы прежде всего обращались к крестьянам в той или другой деревне, куда нас заносила судьба, — в Чесменке и смежных с нею деревнях крестьяне отвечали: „Жди, как раз нарежут. Не отняли бы и последнего еще“. И рассказывали нам следующее из недалекого прошлого их деревни. Как будто бы какая-то графиня Орлова, которой принадлежали деревни Чесменка, Хреновая, Орловка и другие, еще в 50-х годах XIX столетия, из христианской любви к ближним, освободила крестьян от крепостной зависимости, наделивши их пахотной землей и лесом. И будто бы

деревни Чесменка, Хреновая и другие, кроме деревни Орловки, были обчекрыжены, по выражению крестьян, в земельном наделе удельным ведомством. В подтверждение своих слов крестьяне ссылались на Орловку, как единственную деревню, избежавшую такой участи и оставшуюся при своем наделе. „Вот будете в Орловке, — говорили нам крестьяне, — и увидите, как там живут, — перед каждым двором — что лес у них. Да и во всем у них достаток; так-то и мы жили бы, ни в чем не нуждались“. По словам крестьян, поводом к тому, что удельное ведомство лишило их части надела, было то обстоятельство, что Орлова, отдав землю крестьянам, подарила уделу хреновские конские заводы, но с условием перевода их в другое место. Удельное же ведомство как будто бы предпочло остаться здесь и потому, на каком-то основании, отрезало часть земли, подаренной графиней крестьянам. Насколько это верно, я, конечно, не знаю, но в этом основная причина острой вражды крестьян к удельному ведомству. Принимая во внимание все вышесказанное о Чесменке и смежных с нею деревнях, мы с Квятковским нашли необходимым начать наши поселения в этих деревнях. С этим планом мы и решили возвратиться в Воронеж, чтобы туда вызвать наличный состав лиц, желавших поселиться в Воронежской губернии. Нам казалось, что если поселить по одному человеку в каждой губернии в качестве фельдшера, учителя, волостного писаря и т. д., да пары три разъезжающих, вроде нас, торговцев, то можно будет воспользоваться наличным протестующим настроением крестьян и таким образом вызвать крестьянство на активный протест. Это и составляло задачу программы „Земли и Воли“, т. е., пользуясь отдельными случаями недовольства крестьян, призывать их к активному протесту и связывать между собою в общие организации те деревни, где удалось бы вызвать протесты. Затем я уехал по железной дороге в Воронеж, а Квятковский в Корневище, чтобы там оставить у Гуковых лошадь и товар и потом тоже с какой-нибудь станции уехать в Воронеж.

В Воронеже, как я уже говорил в другом месте [1], нас ждали неприятные вести из Питера. А. Д. Михайлов писал

[1] „Земля и Воля“ накануне Воронежского съезда.

нам, что центр организации „З. и В.“ разгромлен и что он остался без средств и без людей. Мне и Квятковскому необходимо было ехать в Питер. Мы решили, что сначала уеду я, а он съездит в Корневище и сообщит Гуковым, что у него умер отец и что, может быть, ему придется уехать на месяц-два домой, а потому поручает на хранение им лошадь и товар. Я же из Питера должен буду писать Квятковскому, — ехать ли ему в Петербург или ожидать меня в Воронеже. В Питере в это время царило уже совсем иное настроение. Провал в Питере, который стоил нам таких людей, как О. А. Натансон, Оболешев, Адриан Михайлов и другие видные члены организации, требовал мести и революционизировал людей в этом направлении. Многие, правда, еще стояли в нерешительности пред этими вопросами, вызванными погромом, но другие, во главе с А. Д. Михайловым, окончательно решили, что революционное движение должно пойти новым путем.

Я уже говорил, но повторяю еще раз, что в одной из конспиративных квартир один из присутствующих, когда шел разговор о том, какой род деятельности возможен при наличных условиях революционной партии, нарисовал медведя и прицелившегося в него охотника. Подавая этот рисунок мне, он спросил, что я скажу на это. Я высказал свое мнение, что для создания организационной силы, способной вызвать в народе надежду на исполнение его ожиданий насчет земли, пока к такому средству прибегать рано и оно, вероятно, понадобится как заключительный аккорд организационной деятельности. Но А. Д. Михайлов, всегда отдававшийся всецело той идее, которая западала в его голову, — быть может, я буду ближе к истине, если охарактеризую А. Д., как человека, которым скорее овладевала идея, чем он ею, — считал все такие рассуждения совершенно несвоевременными. Он прямо тут же сказал: „Мы должны отныне вступить с правительством в борьбу, разбираясь в средствах только по указанию самой борьбы. Мы должны прежде всего бороться всеми средствами за наше существование, за существование революционной партии в России. И вот что нам сейчас предстоит, господа: во-первых, убрать Рейнштейна, агента III отделения, ко-

торый, по сведениям от чина полиции (Клеточникова), готовит нам провал, не уступающий недавно нами пережитому, так как в Москве Рейнштейн опутал московскую революционную молодежь целой сетью паутины; во-вторых, нам нужно отмстить Дрентельну за варварское избиение наших товарищей в Петропавловке". При этом он показал нам письмо из Петропавловской крепости, где говорилось об избиении и о том, что на заявление заключенных Дрентельну о незаконном обращении с ними, тот сказал: „Вы же не признаете законов, а требуете исполнения их от нас". „Вот что совершается над нашими товарищами, — говорил А. Д., — быть может, скоро то же будет совершаться и над нами. Мне кажется, — заключил А. Д., — теперь не время заниматься обоснованием программ деятельности". Мне нет надобности говорить, что А. Д. ставил на первый план месть правительству за все его беззакония над революционерами. Такое настроение царило в это время не только в революционной среде, даже и не в интеллигентной молодежи, но и вообще среди интеллигенции; этим только и можно объяснить, что в столь короткий промежуток времени, протекший с последнего разгрома, А. Д. успел вновь восстановить центральную организацию и имел в своем распоряжении достаточно денежных средств, чтоб приступить к устранению Дрентельна, Рейнштейна и проч.

Особенно резко выступило такое настроение А. Д. в одном случае, о котором я позволю себе рассказать здесь. Устранить Рейнштейна, как опасного врага организации, поручено было двум лицам. Они отправились в Москву, где в это время Рейнштейн расставлял свои сети. Один из отправившихся был знаком с этим агентом III отделения и на этом знакомстве был построен весь план. Но Рейнштейн был очень осторожен и, на предложение своего знакомого притти к нему в гостиницу, под различными предлогами отказался. План пришлось изменить. Построен был новый план: нанять в гостинице Мамонтова семейный номер из трех комнат, распространить среди московской молодежи слух, что приехал из Питера представитель „З. и В.", и прочтет ряд рефератов по программе „З. и В.", одной знакомой Рейнштейна вручить два билета для нее и Рейнштейна, и в билетах сказать, что день и место чтения

будут объявлены в самый день чтения реферата, чтобы тем обезопасить место от агентов III отделения. В виду перемены плана, нужно было еще одно лицо, которое заняло бы семейный номер под предлогом ожидания своей семьи в Москву. За этим и пришлось одному из участников отправиться в Питер. Когда А. Д. узнал, что с Рейнштейном еще не разделались, он, ссылаясь на сведения от „чина" о грозящих для организации опасностях со сторони Рейнштейна, набросился на приехавшего за медлительность. „Со дня на день можно ждать погрома, — говорил в запальчивости А. Д., — когда опять организации грозит потерять все, что с таким трудом удалось восстановить, а они разъезжают из Петербурга в Москву и обратно"... Пришлось урезонивать, ставить ему на вид, что глупо руководствоваться только желанием и не принимать во внимание условий возможности выполнить это желание. Он несколько успокоился и чистосердечно признал, что им действительно слишком овладело чувство мести и что с каждым новым сведением о том, что жандармы расправляются с своими пленниками, нашими товарищами, им все больше и больше овладевает желание отмстить во что бы то ни стало. Мне кажется, я не ошибаюсь, если думаю, что в начале поворота к той революционной деятельности, которая потом стала программой „Народной Воли", А. Д. руководился только чувством мести правительству за все те репрессии, которые оно сыпало щедрой рукой на революционеров, и потом только, под влиянием известного письма В. А. Осинского и после того, как Желябов развил на Воронежском и Липецком съездах основные положения программы нарождающегося революционного настроения, он стал шире понимать значение террора. Не отказывая А. Д. в редких организаторских способностях и в том ценном качестве его таланта, благодаря которому А. Д. умел, усвоив чужую идею, облечь ее в плоть и кровь и превратить в реальность, я все же думаю, что, не будь у А. Д. на первых порах той страстности и почти узости понимания деятельности, на которую повелительно толкали революционеров окружающие условия, раскола „З. и В." не произошло бы. За это говорит, между прочим, то, что многие из чернопередельцев возвратились скоро к деятельности народовольцев. Наш киевский кружок, затем кружок Щедрина

в Киеве уже разделяли программу народовольцев, хотя несколько в ином освещении.

При последнем моем свидании в Одессе со Стефановичем и Дейчем я предлагал им начать переговоры о соединении расколовшейся „З. и В.", и мне казалось, что Стефанович тоже сознавал необходимость соединения революционных сил в одну организацию, хотя, правда, он молча выслушивал наши споры с Дейчем; последний же энергично высказывался против соединения, доказывая, что добывать конституцию Варшавским и tutti quanti не дело социалистов. Когда стало известно, что Стефанович, Дейч и Плеханов уехали за границу, наш киевский кружок послал своих представителей для переговоров с народовольцами — если не о полном соединении, то по крайней мере о согласованности действий. И мне кажется, если б наш киевский кружок не был вскорости после этого разгромлен, то, вероятно, он присоединился бы окончательно к народовольцам, пока же он находился в сепаратных отношениях к ним, т. е. входил по каждому случаю в отдельные переговоры. Так, например, наш киевский кружок вступил в договор с одесскими представителями народовольческой организации, именно с Колодкевичем, В. Н. Фигнер и Кибальчичем, по вопросу об изъятии из обращения южных генерал-губернаторов, киевского — Черткова, и одесского — Тотлебена.

Я прервал нить моего рассказа об убийстве агента III отделения Рейнштейна. Вскоре после совершения этого факта приступлено было к устранению шефа жандармов Дрентельна; это дело, окончившееся неудачей, взял на себя Мирский. Вслед за этим поднят был вопрос о цареубийстве, вследствие непоколебимого решения Соловьева совершить этот акт на свой личный страх, если б организация „З. и В." была против него. В другом месте я уже говорил о том разногласии, которое было вызвано в организации „З. и В." этим вопросом. Но в виду появившейся статьи Н. А. Морозова (в декабрьской книжке „Былого") „Возникновение Народной Воли", я еще раз остановлюсь на этом вопросе.

На мой взгляд, воспоминания Морозова, как по поводу дела Соловьева, так и вообще о всех событиях этого момента истории „З. и В.", носят слишком субъективный характер. Отчасти такая субъективность, выразившаяся в

этой статье, объясняется тем, что Морозов, как верно заметил и М. Ф. Фроленко, смотрит на эволюцию революционной деятельности в этот момент через типографское окно, и потому ему кажется, что тогдашние резкие разногласия редакторов верно отражали настроение умов революционеров и за порогом редакции. Что же касается всей хитростной дипломатии, которая будто бы была пущена в ход с обеих сторон при приеме новых членов в организацию „З. и В." на Воронежском съезде, то все это, мне кажется, есть плод субъективного чувства Морозова, подогретого его поэтической фантазией. Фроленко указывал уже по поводу себя лично, что не было никакой необходимости по отношению к нему прибегать к таким приемам, как, напр., прятать предварительно где-то за деревьями и затем уже пригласить участвовать в собрании съезда. Я, с своей стороны, подтверждаю слова М. Ф. и приведу в доказательство то обстоятельство, что Фроленко и Перовскую я встретил в Козлове на вокзале и направил их вместо Тамбова в Воронеж, заявив, что место съезда, по независящим обстоятельствам, будет не в Тамбове, а в Воронеже. Итак, в отношении Фроленко и Перовской такие приемы, о которых рассказывает Морозов, оказываются излишними. Что касается В. Н. Фигнер, которая тоже вступила в это время в организацию „З. и В.", не было также нужды в каких бы то ни было прелиминариях, вроде предварительного оставления ее где-то за деревьями. В. Н. еще при основании „З. и В.", т. е. в конце 1876 года, потому только не вошла в организацию, несмотря на общее желание членов „З. и В." иметь ее в своей среде, что предпочла вместе с Богдановичем, Иванчиным-Писаревым, Соловьевым и другими, вполне разделявшими в то время землевольческую программу, быть в сепаратных отношениях к ней. На этом основании, встретив В. Н., на моем пути в Саратов, в Тамбове и узнав от нее, что она решила вступить в организацию, я, нисколько не сомневаясь в том, что одного согласия В. Н. было достаточно, чтоб В. Н. стала членом организации, предложил ей вместе со мной ехать в Воронеж и приготовить все нужное к приему съезжавшихся на съезд землевольцев, и приезжавшие прямо являлись в квартиру, которую мы с В. Н. наняли для явки.

Здесь, на квартире, еще до первого собрания съезда перебывали почти все съехавшиеся на съезд. То же самое можно сказать относительно Колодкевича, Желябова и М. Н. Ошаниной. Конечно, съезд открылся тем, что были предварительно названы вновь вступившие члены, но и только, и уж во всяком случае без тех дипломатических тонкостей, о которых рассказывает Морозов, потому что все вступившие члены были хорошо всем известны и предварительно принимали участие в общих делах с землевольцами. Короче говоря, этот прием новых членов была лишь обыкновенная в таких случаях формальность. Все это и многое другое в статье Морозова нельзя, по-моему, объяснить одним тем, что Морозов смотрел на отношения членов „З. и В." через типографское окно. Скорее, дело в том еще, что Морозов был очень недавним членом организации „З. и В.". Он только осенью 1878 года вступил в организацию, совсем не знал в этот момент очень многих, да, пожалуй, только и знал А. Д. Михайлова, Тихомирова, Квятковского и еще немногих из бывших тогда в Петербурге. Даже я, в это время бывший в Петербурге, знал о Морозове только, что он — Морозов, и числится в организации. Лишь после того, как с приездом Стефановича и Дейча вновь возникли разногласия в организации и была сделана попытка сговориться, я узнал о нем больше, так как мне предложили письменно изложить програму с точки зрения правой „З. и В.", а Морозову с точки зрения левой. Тут только мне стало известно и о тех разногласиях, которые царили до Воронежского съезда в редакции „З. и В.". Мне кажется, что этим можно объяснить то впечатление, которое произвело бурное заседание, по поводу предложения Соловьева, и многое другое на Морозова, как на новичка в организации, и он, может быть, искренно думал тогда, что с Соловьевым нужно прятаться, и так это и сохранилось в его памяти до сих пор. Между тем старые члены „З. и В." посмотрели на это бурное заседание совсем иначе, чем Морозов. После заседания, не помню, в тот же или на другой день, А. Д. Михайлов, Квятковский, Зунделевич и я отправились в оперу, и там вновь обсуждался нами вопрос о соловьевском намерении; я отлично помню, что, возвратившись домой, вели разговор о наблюдениях у дворца в связи с

намерением Соловьева, при чем Зунделевич, ссылаясь на то, что ему завтра нельзя будет взять на себя эту обязанность, предложил мне заменить его, хотя и жалел, что на первом собрании по этому поводу я высказывался особенно резко против намерения Соловьева. Правда, я отказался от его предложения, на том основании, что не разделяю его взгляда на это дело, но, тем не менее, самое предложение может дать читателю верное представление об отношениях между членами „Земли и Воли“ в этот момент.

Откровенно говоря, я не помню, предлагал ли Александр Михайлов на этом же заседании, чтоб организация предоставила в распоряжение Соловьева лошадь и кого-нибудь из членов общества в роли кучера. Но психологически возможны два предложения: 1-е, если Соловьеву настолько грозила опасность со стороны несочувствующих его намерению, что с ним нужно было прятаться, тогда, насколько я знаю Алекс. Дмитриевича, он, такой опытный конспиратор, не сделал бы такого крупного промаха; или 2-е, Алекс. Дмитриевич смотрел иными глазами, чем Морозов, на бурную сцену при возникновении вопроса о цареубийстве. Затем, какую лошадь организация могла предложить Соловьеву? Варвара у организации уже не было, — он был арестован в октябре 78 года и, следовательно, к услугам Соловьева не мог быть предоставлен землевольцами в апреле 1879 года. Можно было, правда, взять для Соловьева верховую лошадь в татерсале, как была там же взята для Мирского. Но, очевидно, Морозову или память изменила, или ему и тогда это обстоятельство было неизвестно. Действительно, был план взять для Соловьева верховую лошадь в татерсале, хотя это было и рискованно после покушения Мирского на Дрентельна тоже на лошади из татерсаля. Соловьев пытался на Крестовском Острове учиться верховой езде, но после нескольких неудачных опытов сам отказался от плана совершить покушение верхом. Да это и само собой понятно: Соловьев, никогда не ездивший верхом, едва ли мог рискнуть совершить нападение на лошади, совсем ему неизвестной, и притом совершенно не умея держаться в седле. Вот почему Соловьев совершил нападение так, как он его совершил, а не по чему-либо другому. В данном случае ему нужен был только револьвер и

точное определение времени, в которое он мог бы встретить Александра II в известном месте, для чего некоторыми лицами и взято было на себя наблюдение у Зимнего дворца. Но, как мы видели выше, от членов организации не находили нужным этого скрывать, потому что надеялись, что тот или другой может не отказаться взять на себя эту обязанность. Пред покушением Соловьева была также организована рассылка прокламаций, и это также не было тайной для членов организации. В одной из квартир надписывали адреса вместе с самим Соловьевым и те, которые при обсуждении этого вопроса на первом заседании высказывались против намерения Соловьева. Наконец, о необходимости выезда из Петербурга, в виду ожидавшейся попытки Соловьева, было сообщено всем членам организации без различия их взглядов на попытку Соловьева. Я, напр., за два дня до покушения Соловьева уехал из Питера и успел доехать только до Тамбова, как телеграф разнес весть о покушении Соловьева на государя. Точно так же не совсем точно сохранился в памяти Морозова состав редакции „З. и В.“, что несомненно опять-таки объясняется тем, что Морозов только осенью 78 года стал членом организации „З. и В.“. Вопрос о периодическом органе „З. и В.“ возник гораздо раньше, чем Морозов вступил в организацию, а именно с основания самой организации, и Плеханов намечался редактором с самого возникновения мысли о журнале „З. и В.“. Для этого он и возвратился из-за границы, куда уехал после Казанской демонстрации, в которой фигурировал как оратор, почему за ним и сохранилась с того времени кличка „Оратор“. Весной 78 года мы, наличные члены „Земли и Воли“ в Петербурге, слушали приготовленные статьи для „З. и В.“ Адриана Михайлова и редакционную статью Плеханова. Кравчинский, быть может, и намечался в редакторы „З. и В.“, когда он был в Петербурге летом 78 года, но фактически им не был, потому что после убийства Мезенцова, т. е. после 4 августа, уехал за границу, а „З. и В.“ вышла в ноябре 1878 года. Мне кажется, ближе будет к действительности, что Морозов заменил в редакции Клеменца, который был арестован в конце февраля или в начале марта 1879 года. При обыске чуть не погиб портфель с бумагами редакции. Клеменц каким-то образом спас портфель, помнится, поло-

жил под себя на стул, с которого и не вставал в продолжение всего обыска. Отступив с хронологического порядка моих воспоминаний только благодаря статье Морозова, я закончу это отступление так: несомненно, в этот момент в организации „З. и В.“ существовало довольно резкое разногласие в среде членов организации, при чем одна половина ее членов тянула в одну сторону, другая — в другую. Правы или нет те, кто считает, что другого исхода не было, кроме раздела, но во всяком случае той вражды, о которой говорит Морозов, между обеими сторонами не было. Стоит только припомнить общий тон настроения всех присутствующих на Воронежском съезде, и затем то обстоятельство, что уже после окончательного раздела „З. и В.“ было обещано с обеих сторон не только не мешать друг другу, но по возможности помогать, и эта была вовсе не пустая любезность, а братское обещание. Я сам присутствовал на окончательном разделе и вынес такое впечатление. Уже после раздела я возвратился с юга, куда я ездил за бланками в одно казначейство, снабжавшее нас ими. При встрече с Стефановичем он меня предупредил, что мне хотят предложить принять участие в предполагаемом подкопе под полотно железной дороги, в качестве хозяина квартиры, т, е. ту роль, которую потом взял на себя Гартман. Мне никто из народовольцев не говорил об этом, и весьма возможно, что Стефанович просто хотел предупредить меня на всякий случай, так как, по предложению Стефановича, мне предстояло ехать в качестве крамаря в Чигиринский уезд. Но дело не в том, и я упоминаю об этом потому, что и после раздела возможно было, значит, такое предложение человеку, уже вышедшему из организации.

Во время моего путешествия с целью созвать съезд землевольцев я первую остановку сделал в Тамбове. Там были в это время: Гартман, Фигнер, Богданович, Аптекман, Титыч и другие. Конечно, среди собравшихся речь шла, главным образом, о том направлении деятельности, которое она принимала в это время в Петербурге и которое довольно ясно для всех характеризовало только что произведенное покушение на жизнь Александра II Соловьевым. Даже те, кто несочувственно относился к направлению, говорили, что такое настроение в настоящее

время совершенно понятно, потому что люди с боевым темпераментом не могут удовлетвориться той скромной, чтобы не сказать бесцветной, деятельностью, которая до сих пор ведется в деревнях, и налагая только veto на такую деятельность, ничего нельзя достигнуть. Настроение все же пойдет своим путем. Единственно, чем можно было отклонить такое настроение в желательную сторону,— это создать что-нибудь крупное в деревне. Насколько я помню, это было общее мнение. Вообще, мне кажется, глубоко заблуждаются, думая, что деятели деревни резко оппонировали такому направлению деятельности. Гораздо ближе к истине будет сказать, что наиболее непримиримые представители обоих течений в организации „З. и В." были в Петербурге. Работавшие в деревне более, чем кто другой, чувствовали себя неудовлетворенными своей деятельностью, и те из них, кто не соглашался с мнением, что из всей программы землевольцев следует остановиться только на дезорганизаторской деятельности, которая превращалась, таким образом, в политический террор, те ясно сознавали все-таки необходимость создать в деревне что-нибудь крупное, могущее удовлетворить наличное революционное настроение. Поэтому, прочитав в статье Морозова „Возникновение Народной Воли" строки: „Весной 1879 года мы получили, не помню, от кого из двоих, Попова или Плеханова, грозное послание, где говорилось, что все работающие в народе требуют созыва общего съезда организации в каком-либо из городов центральной России для того, чтоб нас судить и исключить из своей среды, как людей, не подходящих по духу..." И далее: „Что нам теперь делать?—задавали мы себе вопрос. Большинство будет на стороне старой программы, и нас просто исключат..." Я был поражен. Воля ваша,—в моей памяти этого не сохранилось, и я даже склонен думать, что кто-нибудь из друзей Морозова просто подшутил над ним. Иначе мне, напр., совершенно непонятно, почему могли волноваться Александр Михайлов, Тихомиров и Квятковский, когда они не только не находились в одинаковых условиях, но даже в гораздо лучших, чем их антагонисты, деревенщики. Где-то по деревням разбросан был какой-нибудь десяток-два лиц, совершенно оторванных от культурного мира и связанных с ним только Александром Михайловым, Тихоми-

ровым и другими, составляющими в это время центральное бюро организации. И вот эти-то десять-двадцать человек исключают из своей среды свое центральное бюро и тем самым не кого другого, как себя, ставят в невозможное положение. Правда, Морозов говорит: „при разделе „З. и В." нам не досталось ни копейки из ее материальных средств"... Опять-таки полное незнание тогдашних обстоятельств организации „З. и В.". Громадное состояние Лизогуба были единственные средства организации, за исключением тех средств, которые добывались А. Михайловым. Правда, надежды на лизогубовские капиталы остались надеждами, но зато 10 000 из херсонского казначейства остались в руках народовольцев, между тем как у чернопередельцев были только надежды на капиталы братьев Игнатовых, о судьбе которых я не знаю. Ближе к истине будет признать, что в материальном отношении народовольцы были лучше обставлены, чем чернопередельцы. Это и само собой будет понятно, если только помнить, что весь состав бюро „Земли и Воли" перешел в партию „Народной Воли".

Так в хронологическом порядке следуют события, в которых я принимал участие или которых был свидетелем: Воронежский съезд и затем время, прошедшее вслед за ним, вплоть до окончательного раздела организации „З. и В.". И на этот раз я заканчиваю на этом мои воспоминания из моего прошлого. Во все это время А. Д. Михайлов работал с невероятной тратой труда и своей неисчерпаемой энергии. Его можно было застать дома только, когда он вставал рано утром и, одевшись, пил молоко вместо утреннего чаю, шагая по комнате с кувшином в руках, и потом вечером, когда он, устав за день, лежал на кровати, с заложенными под голову руками, и замечал перед сном, что ему предстояло сделать завтра. Таким я заставал его в его квартире в последние мои деловые сношения с ним по поводу отыскания пристанища для Мирского после покушения последнего на Дрентельна. Это было мое последнее пребывание в Петербурге. После разделения „З. и В." я уехал в Киев, где и оставался до моего ареста и суда.

ПО ПОВОДУ ЗАМЕТКИ МОРОЗОВА „ОТГОЛОСОК ДАВНИХ ДНЕЙ“ [1]

Заметка Н. А. Морозова — „Отголосок давних дней“ — по поводу моих в июльской книжке журнала „Былое“ помещенных воспоминаний убедила меня в том, что личное настроение ярче всего сохраняется в памяти и окрашивает в соответствующий цвет факты пережитых исторических моментов. Поэтому в интересах исторической правды лучше предоставить наше разногласие с Н. А. суду тех, кто вместе с нами пережил тот исторический момент, по поводу которого мы разноголосим с Н. А. Я остановлю внимание читателей только на тех наших разногласиях с Н. А., — их всего два, — о которых говорит Н. А., и в последней своей заметке обойду молчанием те, о которых он в ней умалчивает.

Н. А. говорит, что хотя и можно признать кружок Натансона родоначальником „Земли и Воли“, но называть этот кружок „Землей и Волей“ значило бы впадать в анахронизм... Кружок этот в шутку называли троглодитами, но „Землей и Волей“ до выхода нашего журнала называли только прежнее общество 60-х годов, сошедшее со сцены еще со времени Чернышевского и не имевшее с нами никакой преемственной связи... Я же утверждаю, что наш кружок назывался „Землей и Волей“ с 1876 г., т. е. с момента его появления на исторической сцене. Совершенно верю тому, что Н. А. спрашивал многих деятелей конца 70-х годов, живущих теперь в Петербурге, — напр., В. И. Засулич и других, — слыхали ли они название „Земля и Воля“ по отношению к кружку Натансона до выхода нашего журнала? Верю и тому, что все говорили ему, что никогда не слышали. Но вот, напр., III отделению осталось неизвестным то, что, с легкой руки Клеменца, в тесном революционном кругу нас называли в шутку троглодитами, а то, что с 1876 г. появилась на исторической сцене партия „Земля и Воля“, то до слуха III отделения дошло. Известный официальный отчет — „Хроника социалистического движения 1878 — 1887 гг.“ — точно устанавливает дату образования „Земли и Воли“, — 1876 г. (стр. 54). А на стр. 41 этого отчета, где идет речь о деятельности революционеров среди фабричных и заводских рабочих Петербурга в 1877 г., — читаем следующее: эту новую кампанию (агитацию среди рабочих) открыл комитет партии „Земли и Воли“. Словом, III отделение датирует появление „Земли и Воли“ 1876 г., а не

[1] Сбор. „Наша страна“, Спб., 1907 г.

ноябрем 1878 г., когда появился 1-й № журнала „Земля и Воля". Затем Н. А., со слов моих, — или где-либо еще он о том узнал, — утверждает, что „разговоры в кружке Натансона, может быть, и шли об издании свободного бесцензурного органа до основания нами „Земли и Воли", но это никого не может удивить из знающих историю освободительного движения в России, ибо не представляет из себя ничего нового. Об этой необходимости все говорили еще со времени декабристов и даже не раз пытались осуществить такие издания. Я же говорю в моих воспоминаниях, что партия „Земля и Воля" задалась целью издавать орган „Земля и Воля" с самого своего появления на исторической сцене. Это наше второе разногласие с Н. А.

Мне еще осталось сказать, что я в моих воспоминаниях нигде не утверждал, что между членами организации „Земля и Воля" накануне ее распада не было идейного разногласия, а в моих воспоминаниях говорю, что Н. А. и в последней своей заметке точно так же поступает, т. е. преувеличивает. „Посмотрите, — говорит он, — только на названия двух фракций, на которые распалась „Земля и Воля", и вы увидите, в чем дело. Первая часть, — продолжает он, — „Земля" — превратилась в „Черный Передел", а вторая часть — „Воля" — в „Народную Волю". А прибавь Н. А. к этому, что каждая из фракций охотно оставалась бы при старом названии „Земли и Воли", если б только какая-либо из фракций уступила право другой так называться, то и факт окрашивается в другой цвет, и становится понятным, почему рядом с Н. А. присоединились к фракции „Народной Воли" и те, которые не придавали такого преобладающего значения борьбе за политическую свободу, какое придавал этой борьбе Н. А... А в действительности было так: обе фракции пытались удержать за собой название „Земля и Воля", но так как ни та ни другая не соглашались уступить старое название одной, то и порешили не уступать никому.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ В 70-х ГОДАХ [1]

В 76 году образовался в Петербурге основной кружок партии „Земля и Воля“. Членам основного кружка вменялось в обязанность организовать по типу основного кружка кружки по районам России. На первый раз избраны такими районами были „ВН“ (Воронеж) и „ДН“ (Ростов Дон), и весной 77 года часть членов основного кружка отправилась в „ВН“, а другая в „ДН“. Я отправился в числе трех в Ростов-на-Дону, который с 74 года служил центром революционной деятельности в своем районе. Теперь, перебирая в моей памяти все прошлое из деятельности революционеров, мне кажется, что едва ли какой другой город в России имел такие благоприятные условия, как Ростов н/Д. Не было только учащейся молодежи, так как Ростов н/Д не был университетским городом. К 76 году Ростов н/Д представлял с этой точки зрения следующее. Земская управа, благодаря председателю земства и члену управы, давала революционерам возможность помещать своих врачей, фельдшеров и учителей. В

---

[1] Эти воспоминания были написаны Михаилом Родионовичем Поповым в 1903 г. Из конспиративных соображений М. Р. не писал ни названий местностей, ни фамилий, заменяя все собственные имена значками. Из расспросов сестер М. Р. и его товарищей по работе нам удалось восстановить все названия и фамилии. Но для соблюдения точности мы каждый значок, первый раз появляющийся в рукописи, проводим, поясняя смысл его в примечании. В дальнейшем изложении, чтобы не затруднять текста, мы заменяем значок теми названиями, которые ранее привели в примечании.

В 1918 г. в последней книжке „Русского богатства“ отрывки из этих воспоминаний нами были опубликованы. Но книжка эта не получила распространения, поэтому они были перепечатаны в кн. X „Известий Северо-Кавказского университета“ за 1926 г.

А. М. Ладыженский

уездной земской управе секретарем был В. [1] и еще один свой человек, так что в зиму 75—76 годов почти весь канцелярский состав состоял из революционеров. Чугунно-литейный завод ГР[2] был к услугам революционеров. Администрация его — управляющий, конторщик и бухгалтер были свои люди. Поместить на завод своего человека ничего не стоило. Помню, когда я привел к управляющему в 77 году Сентянина, студента Горного института (известного потом под кличкой „Инженера“), и попросил поместить его на завод в качестве рабочего бесплатно, то управляющий на это сказал шутя: „Зачем бесплатно, пусть Грагам платит за пропаганду. Самого его теперь нет, — уехал в Англию, а к его возвращению пилить напильником вещь немудреная — можно будет научиться, и, значит, глаз хозяйский ничего не заметит“. В железнодорожном управлении тоже были связи, помещать на службу было легко. Кроме того, в самых железнодорожных мастерских были и инструментальщик Жучковский свой, монтер Б-ев свой. В Азовско-Коммерческом банке служил Л. Г-н [3], а братья его — один на правительственном телеграфе Н. [4], а другой на одной из железных дорог, и, следовательно, на 600 верст даровая езда.

Городская библиотека была к услугам революционеров. На табачной фабрике тоже можно было помещать своих людей и даже курить даровой табак. Это более крупные связи. Но было много и мелких. Угольный склад на набережной Дона служил не только справочным местом, но в амбарах его я по ночам возился с босяками, пока Алексей-босяк не убедил меня бросить это занятие, что я и сделал, рассчитывая зимой открыть притон для босяков, по совету того же Алексея. Не могу не привести подлинных слов Алексея по этому поводу. „Смотрю я, — сказал он, — на вас, Родионыч, и думаю себе — и какая только вам охота возиться с нашим братом босяком. Зимой полушубок да штоф водки, — вот мы и ваши. А, помоему, чего легче забратить нас: есть у вас еврей старик, вон что газеты продает, устройте зимой харчевню,

[1] Валерьян Осинский.
[2] Грагама.
[3] Лев Гартман.
[4] Николай Гартман.

3 коп. за ночлег, да по-божески обходитесь, вот мы и ваши. Посмотрите, Бориска жид, он зимой на нас воду возит, захвораешь, не дай бог, выбросит из харчевни как собаку, а, поглядите, мы его подневольные. Но только говорю вам истинную правду, пальцы в зубы не кладите нашему брату, а то как раз на шею сядут, вот эти самые босяки. Вот я их при вас расспрошу. Соберем уж еще раз их в амбар, но это будет последний разговор с ними". — Собрал он их, и я стал с ними беседовать. Они, ничего не подозревая, поддакивают, на все согласны. Алексей лежит в стороне, слушает. Потом встал, подошел к одному и говорит: „Вот что, Марко, слушай. У Родионыча в кармане сейчас 200 руб.,—это я говорю тебе правду, ну-ка попадись он тебе на Д [1], или на Б [2], или еще где в глухом месте, — но говори, идол, правду,—как бы ты стал с ним разговаривать?" Марко, застигнутый врасплох неожиданным поворотом нашей беседы, растерялся и конфузливо ответил: „Что ты, Алешка". — „Ну, нечего растабаривать с вами, попросите у Родионыча по пятаку, да и идите к своему батьке Бориске. В кармане, небось, пусто, за ночлег заплатить нечем".

Задачей нашей было воспользоваться теми благоприятными условиями, которые представлял Ростов н/Д для выполнения программы „Земли и Воли". Два из нас взяли на себя вести дело с рабочими, устроили с этой целью сапожную мастерскую, а я, третий член основного кружка, в который я зачислен в 77 году, должен был быть связующим звеном между культурными людьми и ими. Положение мое, будь я один, может быть, было бы мне не по силам, но у меня, помимо этих двух товарищей, с которыми я обсуждал и должен был обсуждать все планы, был еще один человек, опытный в житейских делах, образованный и умный человек, брат В. [3], П. А. [4], без совета с которым я ничего не предпринимал. Нам казалось, что условия для нашей деятельности хороши, а в будущем можно было надеяться и еще на лучшее. Рабочих было привлечено много в организацию. Образовался основной мест-

---

[1] Глухая часть города Доломановка.

[2] Богатый хутор — тоже глухая часть города.

[3] Валерьяна Осинского.

[4] Павел Андреевич — председатель уездной земской управы.

ный рабочий кружок, члены которого собирались в сапожной мастерской или у кого-нибудь из семейных рабочих на сходки. На сходках этих обсуждалась программа деятельности среди рабочих и вообще проекты возможной агитации среди них. Сходки же всех посвященных в революционные планы рабочих собирались за городом. Иногда на таких сходках собиралось рабочих много; бывало, что переваливало за сотню. Эти последние сходки были очень благотворны в агитационном смысле, и отголоски этих сходок помимо нашего ведения проникали дальше, чем мы думали, в среду рабочего люда и мещанства. Напр., собрался однажды основной кружок рабочих в сапожной мастерской, во флигеле на Кузнечной улице[1]. Улица нам показалась довольно подходящей, довольно широкая, вдали от центра города, и мы так привыкли к безопасности, что никому и в голову не пришло прикрыть створки окон на улицу прежде, чем начать революционные разговоры. Вдруг открывается дверь, входит хозяин флигеля и обращается к нам со словами: „Эх, и бить же вас, господа, нужно, открыли окна и кричат на всю улицу. Положим, что у нас тут, слава богу, полиция редко показывается, а на-ко вот какой злой человек подслушает, вот и пропали все“. Мы, конечно, состроили невинные мины, — за кого, мол, вы нас принимаете! Но не тут-то было, хозяин наш прекрасно знал, что мы за люди. „Ну что там долго говорить! Ведь не в Кубанских же степях, чай, вы живете, а среди людей, и мы об вас кое-что слышим“. Успокоил нас, прикрыл окна и попросил продолжать. Конечно, мы подтянулись, и, чтоб не обидеть его своей подозрительностью, некоторые из рабочих продолжали говорить что-то в роде того, что надо же и рабочим взяться за ум и самим позаботиться о себе, будет, мол, полагаться на то, что о них порадеет правительство. Надеялись, слава богу, долго, пора божьим старушкам это предоставить. С этого дня хозяин стал своим человеком, и когда жандармы, по доносу рабочего Никонова, решили накрыть нас, то сапожники, узнав об этом, сдали свое добро хозяину, а сами ушли. Мало того, мы послали наблюдать, что делается на Кузнечной улице, у бывшей сапожной мастерской. На-

[1] Ныне Пушкинской.

ши наблюдатели не заметили ничего подозрительного, и мы решили послать Севастьяна Ильяшенко забрать кой-какие нужные вещи. Особенно Титыч[1] беспокоился об оставшихся книжках. Ильяшенко отправился и стал в квартире хозяина отбирать вещи, которые находили нужным взять поскорей. В это время и нагрянули жандармы. Хозяина самого не было дома, а хозяйка предложила Ильяшенко спрятаться в кладовой, а сама вышла навстречу гостям. Ей объявили, что у их жильцов во флигеле должен быть сделан обыск, так как их квартиранты заподозрены в государственном преступлении. На что она ответила, что флигель вот, пожалуйте, но жильцы, бог их знает почему, вчера спешно съехали с квартиры и сказывали, будто бы им неотложно нужно уехать в Харьков. Жандармы все-таки вошли во флигель, прошлись по опустевшим комнатам, да с тем и отправились, впрочем, по словам хозяйки, подобрали на полу писанные бумажки. Севастьян же на другой день утром явился и сообщил нам о гражданской доблести нашей бывшей хозяйки.

На Шахтах в 90 верстах от Ростова у нас также были связи, и там жил в качестве шахтера вначале Быковцев, пока не отправился в „ЕН"[2], где в это время сидел в тюрьме Гартман (он был выпущен на поруки священнику и оттуда прямо уехал в Саратов). Организованного кружка рабочих там, правда, не было, потому что рабочие на этих шахтах не представляли в то время специализированных рабочих, и состав их часто менялся; но несколько рабочих, как, напр., заправщики, мелкие приказчики при складах угля, были посвящены в революционные дела, т. е. им сообщали, что в России существует революционная партия, ставящая своей задачей произвести переворот в России в интересах представителей труда, — крестьян, фабричных рабочих и вообще людей, работающих по найму. Что касается основной массы рабочих, которые в большинстве своем представляли людей беспаспортных, объявлявшихся тамбовцами, то их не было нужды особенно стесняться, так как каждый работавший на шахтах хорошо знал, что с волками жить, надо по-волчьи выть, и

[1] Тищенко.

[2] Екатеринославль.

тот, кому не нравились революционные разговоры, мог сам не принимать в них участия, но переходить в своей преданности законным порядкам границы бродяжного товарищества — значит, рисковать своей головой, ибо большинство рабочих — народ беспокойный, сегодня он здесь, а завтра ищи ветра в поле, и, значит, легко могут найтись такие молодцы, которые не остановятся перед тем, чтоб спустить в выработанные шахты, лишь бы было за что. Мне как-то пришлось прожить на шахтах дня 4—5. У нас там был один казак, которого нужно было удержать на шахтах, как подходящего для нас, по этому поводу меня и вызвали туда, чтобы я с помощью доктора, знакомого нам В.[1], выкрутил его, как мне сказали. Мне пришлось услышать там такую народную молву. Якобы донское начальство донесло в Петербург, что на шахтах народ беспаспортный, что поэтому с ним нет никакого сладу, и просило позволения у наследника, как атамана казачьих войск, вывесть всех беспаспортных и завести порядки на шахтах, как везде в России. Но наследник, будто, на это ответил так: „Мой лес, мои и зайцы", и велел не трогать. Так, значит, начальство и осталось с носом.

На земской службе мы поместили фельдшериц и несколько учительниц. Учительский персонал в это время в округе Ростова н/Д был вообще довольно развитой, благодаря тому, что братья В-на[2] считали земскую школу своим главным делом и потому выбирали учителей для земских школ с разбором. В самом городе был кружок учителей, довольно ярко окрашенный в революционный цвет, да и в окружности были учителя, напр., в станице Г[3] был учитель, хорошо ведший пропаганду среди казаков. Затем на довольно значительном расстоянии от Ростова был один учитель, который потом, во время возникших недоразумений среди донского казачества по поводу введения земства в Земле Донского войска, выстрелил в станичного атамана. Деятельность этих революционеров проникала и в Землю Кубанского войска. В Екатеринодаре был революционный кружок, подробностей о котором сообщить не могу, так как сам там ни разу не был, а

[1] Владыкина.
[2] В. Осинского.
[3] Гниловской.

знал по рассказам других, бывавших там, но рассказы эти выветрились из памяти за эти почти 25 лет. Помню только, что там был захвачен революционным течением даже один поп, который сложил с себя сан священства, тоже ходил в народ и в 77 году поступил учителем в одну из станиц казачьего войска. Нельзя обойти молчанием и того факта, говорящего в пользу города, что там было много из торгового элемента людей привлечено к революционной деятельности. Это тем интересно, что в большинстве русских городов и даже русских столицах торговый элемент представлял из себя в то время самый консервативный элемент и нередко в союзе с полицией пускал в ход кулаки против революционеров (напр., в Петербурге во время Казанской демонстрации, в Москве расправа мясников). В Ростове же в мою бытность было очень много приказчиков из магазинов и мелких лавочников, принимавших участие в революционной деятельности. Помню, во время войны с Турцией 1877—78 гг. в Ростове в летнем театре по окончании спектакля неожиданно со сцены объявили: „Хор певцов под аккомпанемент оркестра исполнит русский гимн („Боже, царя храни")". Затем стали печатать в афишах, что по окончании спектакля будет исполнен гимн, и начало это повторяться в каждый спектакль. Сидел я однажды в большом бакалейном магазине Перушкина. Мальчик принес афишу, читаем, — опять „Боже царя"... „Нет, господа, это уж слишком много патриотизма, — сказал один, — надо немного охладить патриотический жар актеров. Что это, — ровно и актеры решили против нас действовать? Вот что, господа, если в воскресенье антрепренер опять захочет угостить гимном, собрать побольше народу в театр и потребовать камаринского вместо гимна". В воскресенье вышла афиша с тем же обещанием — после спектакля исполнить народный гимн. Собралась в этот день на галерке разношерстная толпа революционеров, большинство, правда, составлял служащий торговый люд, но были тут и рабочие, и гимназисты старших классов, были даже церковные певчие. Окончился спектакль, поднялся занавес, публика в креслах, как всегда, встала, и вдруг с галерки заревели: „Камаринского! Камаринского!" Хор поет гимн, галерка неистово орет: камаринского. Какие расчеты заставили антрепренера по окончании гимна ис-

полнить желание галерки, — вероятно, просто ему и в голову не пришло, что это протест против патриотических его чувств,—но только кончился гимн, как оркестр начал камаринского. Сыграл, а галерка ревет: „Бис!“, в театре наступает недоумение, публика переглядывается в креслах. Наконец какой-то нашелся в креслах и выкрикнул: „Бис гимн!“ — может быть, и не один, впрочем, голос раздался за гимн, но рев галерки стоял гулом в театре, и оркестр начал повторять камаринского, по окончании которого галерка с криками „браво“ стала выходить из театра. На другой день по городу шли разговоры об этом событии в театре, и толкование этого события было вполне правильное, что, мол, это было устроено с целью вывести из моды это послеспектакльное вставание и обнажение голов. Вот в каком виде стоял перед революционерами Ростов во время моего пребывания в нем в качестве представителя организации „Земля и Воля“. Часто в продолжение моей долгой тюремной жизни я спрашивал себя, почему революционеры при таких кажущихся благоприятных условиях ни разу не попытались вызвать волнение народное в нем. И долго я не умел ответить на этот вопрос, хотя ответ на него я еще угадывал на воле. В бытность мою в Киеве, когда шли приготовления у народовольцев к взрыву царских поездов, мне почему-то казалось, что было бы хорошо в связи с фактом этим попытаться произвести волнение в Киеве и воспользоваться этим фактом, как агитационным средством для вызова такого волнения. Мне казалось, что в каком-нибудь людном месте, напр., на базаре, следует объяснить факт цареубийства и, если возможно, т. е. если толпа откликнется на такое объяснение сочувственно, то революционеры должны воспользоваться этим сочувствием и попытаться призвать толпу к бунту против местных агентов правительства. Теперь на этот вопрос я имею ясный для себя ответ. Революционеры потому не попытались вызвать волнение в Ростове, или в каком другом городе, что такое волнение вне связи с центральной деятельностью было бы совершенно бесполезным. Я не сомневаюсь ни мало в том, что в Ростове, в бытность мою там, если бы революционеры захотели, или, точнее, если бы сознавали ясно необходимость бунта, то могли бы вызвать его, и уверенность

такая подтверждается там фактом, что бунт сам по себе произошел спустя всего год после того, как я принужден был покинуть Ростов. Но они не вызвали волнения потому, что поступки, подсказываемые разумом, непременно требуют ответа на вопрос — зачем. Поступки диктуемые чувством, не требуют ответа на вопрос — зачем. Вот почему толпа города Ростова бунтовала 2 апреля, а революционеры даже уже в происшедшем волнении не сумели принять участия. Вот если б в это время в центре России, т. е. Петербурге, шла деятельность, какая началась в России в конце 79 года, то, может быть, и революционерам пришло бы в голову попытаться вызвать волнение в Ростове и связать его с центральной революционной деятельностью, тогда и был бы ответ на вопрос — зачем. Мне припоминается эпизод из жизни революционеров в Ростове. В Ростов приехали в это время молодые революционеры из Петербурга для поселения в окрестностях Ростова. Некоторые уже нашли себе места. Так, один, помню, в этот день собирался отправиться на место пастуха, или „чебана", как говорят на юге, к овцеводу Трапезонцеву. Другие еще подыскивали места. Все они жили на одной квартире. Я пришел к ним и принес номер газеты „Голос", в которой сообщалось о расправе Трепова с Боголюбовым. Новость о такой расправе так поразила и даже принизила нас, что один, некто Буланов, истерически зарыдал. В это время вошел Алексей-босяк (он, между прочим, предлагал некоторым из приехавших отправиться вместе с ним на строящуюся тогда Донецкую железную дорогу) и, заметив грустное настроение наше, сказал: „Что это вы, господа, приуныли, ровно кого похоронили?" Ему в ответ на это прочли газетную новость. „Ну, чем же мы на это ответим?" — спросил он. Вопрос такой, на который вообще не легко ответить, и затем заданный человеком, от которого никто из нас не ждал такого вопроса. Конечно, кроме общих фраз, — подумаем да посмотрим, — мы лучшего ответа не сумели дать. Зато он нам ответил так, что опять-таки мы не ждали от него такого ответа. Он сказал: „Хорошие вы люди, — это я всем и каждому скажу, а вам скажу — но вот моя жизнь — грош ей цена, а и то мне жаль так зря бросать ее. Прощайте, господа!" — И с тем ушел. Дня через три я шел по на-

бережной в угольный склад, ко мне подошел Алексей и, ровно извиняясь за высказанную правду, сказал: „Вы, Родионыч, на меня не обижайтесь; ей-богу, я вас люблю, да только ж что в этой дыре можно сделать?“ Попросил и паспорт для себя. Я пошел с ним в угольный склад, обещал ему дать на другой день, что он просит, и с тех пор я уже его не видел. Когда В. Засулич выстрелила в Трепова и я видел своими глазами всю суматоху, которая происходила в доме градоначальника, то мне припомнилась эта сцена в Ростове и я сказал сам себе: „Вот тебе ответ, Алексей, на твой вопрос, на который мы не сумели ответить“. Осенью в 77-м же году, вероятно в сентябре, но не позже начала октября, к нам с разных сторон стали приходить вести о том, что жандармы готовятся предпринять кампанию против революционеров в Ростове. Дня за два перед тем, как они открыли кампанию, ко мне пришел на квартиру приказчик угольного склада и сказал, что меня просят в угольный склад. Там мне сказали, что меня желает видеть мой отец. Я отправился в гостиницу, где останавливался мой отец, и он мне сказал, что был у такого-то священика [1] и тот сообщил ему, что на-днях в Ростове будут обыски и, вероятно, будут произведены значительные аресты. „Смотри, — прибавил он, — пожалуй, и тебя арестуют“. (Священник об этом узнал случайно от самого жандармского ротмистра за карточным столом.) Я сейчас отправился предупреждать, бросил свою квартиру, закрыл сапожную мастерскую, о которой речь была выше, и переехал в соседний город к доктору [2], куда нам и доставляли сведения о том, что делается в Ростове. Жандармы, побывав в двух опустевших квартирах, решили действовать иначе. Вечером, когда рабочие по окончании работ стали выходить из железнодорожных мастерских, то у дверей оказались жандармы и начали производить аресты по указанию рабочего Никонова. На другой день повторилась та же сцена у ворот завода Грагам. Арестовано было в этих двух местах человек до 75-ти рабочих. Некоторых из рабочих, продержав около месяца, выпустили, а остальных держали год или $1\frac{1}{2}$ в заключении и потом

[1] Михаила Прокоповича.
[2] Владыкину в Новочеркасске.

разослали по Сибири. Местью за эти аресты и было убийство Никонова. Его убил рабочий, пригласивший его в публичный дом, и когда они шли туда, он и застрелил его из револьвера в глухом месте. О казни его в ту же ночь были расклеены прокламации по Ростову, в которых объяснялось это убийство. Мне передавали, что прокламации почти весь день оставались на местах и что около одной прокламации собралась толпа и один из толпы читал вслух: „В эту ночь такого-то числа и месяца по распоряжению революционного кружка рабочих города Ростова убит своим товарищем рабочий решетник Никонов за то, что предал своих товарищей. Такая участь ждет каждого Иуду“. Убийство Никонова было организовано Сентяниным, который остался вне подозрения во время арестов. Арестован он был потом в Харькове по делу подкопа для освобождения Фомина, и так как была установлена его связь с организацией „Земли и Воли“, то он был привезен в Петербург, и, вероятно, его судили бы вместе с Ольгой Натансон и Оболешевым, но он умер до суда в Петропавловской крепости. Таким образом закончилась наша деятельность в Ростове н/Д. Чтобы покончить с ним, остается еще рассказать о бунте в нем в 79 году 2 апреля. Этот бунт и враги и друзья, да вероятно и та самая толпа, которая бунтовала, приписывали революционерам. Официальный мир в самом Ростове н/Д положительно утверждал, что бунт дело рук революционеров. Рассказывали, напр., что пелись революционные песни, что в доме полицмейстера якобы кто-то играл на рояле революционную песню, а остальные пели. Мало этого, ходил слух и был широко распространен по России (по крайней мере, я слыхал в Тамбовской губернии, что такие бунты были организованы во многих городах России и что если б покушение Соловьева удалось, то такие бунты произошли бы во многих городах), что в Ростове произошел бунт только потому, что его не успели предупредить о том, что Соловьев дал промах. Удивительнее всего то, что ростовская полиция поддерживала такой взгляд на бунт, а между тем ей, кажется, легче всего было правильно объяснить ростовский бунт. Ростов давно точил зубы на полицию. Можно сказать, что в Ростове в воздухе висело: „А будет когда-нибудь этой полиции!“ — Почти

каждое столкновение с полицией заканчивалось словами: „Когда-нибудь влетит нашей полиции!“ Итак, несмотря на то, что почти все приписывали бунт 2 апреля в Ростове революционерам, справедливость требует сказать, что в нем революционеры не виноваты ни сном, ни духом. 2 апреля в 79 году было днем Пасхи. Народ толпился на качелях вблизи Нового базара. Полиция арестовала двух пьяных за нарушение порядка и препровождала их в часть на Садовой улице. На первых же порах она позволила себе бесцеремонное обращение с арестованными, а потому из толпы многие стали провожать арестованных. По дороге в участок один из конных полицейских ударил нагайкой арестованного. Это переполнило чашу терпения толпы, она бросилась на полицейских. Полицейские бежали в часть, где и спрятались. Толпа стала требовать их выдачи. Конечно, требование не было удовлетворено, и в толпе раздался призыв разбить часть. Вмиг ворота были взломаны, толпа ворвалась в часть, и, уже оставив в покое виновных полицейских, занялась разрушением части. Было сорвано зеркало, портреты государя, уничтожен архив. Двери и окна были разбиты. Покончив с этой частью, толпа направилась к Казанской части, которую постигла та же участь. Толпа собиралась итти еще в Никольскую часть, которую постигла бы та же участь, но в это время на паре пожарных лошадей приехал полицмейстер, в которого посыпались камни. Он стал уходить, толпа за ним. Когда толпе не удалось поймать полицмейстера и он скрылся с глаз толпы (говорят, что он скрывался у кого-то из купцов), толпа направилась к дому полицмейстера, ворвалась в дом и с пением: „Эх, ребятушки, ухнем“, переломала всю мебель. Зеркала, рояль были выброшены из второго этажа на мостовую. Здесь очевидцы наблюдали такую сцену — вылетел в окно кусок какой-то шелковой материи (нужно заметить, что все, что выбрасывалось на мостовую, истреблялось, — мебель ломали, материю и платья рвали в куски или затаптывали в грязь). Подходит один субъект, с виду отставной солдат, и говорит: „Братцы, зачем рвать, дайте мне этот кусок материи“. Из толпы подошел к нему кто-то и спросил: „И ты возьмешь эту дрянь?“ — „Для чего не взять? Чем ей пропадать зря, она мне пойдет на пальто“.

Тогда спросивший сказал ему: „Бери, да убирайся отсюда“. Но этот субъект тоже не смутился, взял и стал уходить. Тогда толпа начала свистеть, тюкать, женщины, когда он проходил мимо, плевали на него и тоже стыдили. Отделавши дом полицмейстера, толпа двинулась в центр города без определенной цели. Тогда один из революционеров, приказчик из одного магазина, крикнул: „Ну-те, ребята, идем на острог. Христос воскрес, добрая душа птичку выпускает на волю, а там люди сидят“. Толпа двинулась за город к тюрьме с криками: „Идем, идем, откроем двери!“ Но когда вышли из города,—нужно заметить, что тюрьма в Ростове в то время была на достаточном расстоянии за городом, и толпа очутилась в поле,—ее, очевидно, стало брать сомнение, по силам ли ей эта задача. Некоторые стали отставать. Впрочем, говорили мне, что больше прилично одетые. Чем дальше подвигались к тюрьме, тем все больше и больше редела толпа, а когда увидели, что на подкрепление караула двинулся к тюрьме весь гарнизон, толпа поворотила назад в город и направилась прямо в городской сад. Арендатор ротонды городского сада приказал накрыть столы и поставить выпивку и закуски. Когда толпа подошла к ротонде, он любезно, конечно, страха ради, пригласил толпу выпить и закусить, на что толпа плюнула ему в лицо (задние ряды стали тюкать, свистеть и кричать: „Лопай сам“). Поворотились и с криком: „На кладбище!“ вышли из сада. Зачем ей пришла охота итти на кладбище? Мне кажется, это объяснить можно тем, что на кладбище было устроено нечто вроде даровой столовой. Называли ее поминальным домом. По субботам в этом доме нищие получали даровое угощение. Зимой в Ростове в субботу целые толпы босой команды тянутся на кладбище, приняв смиренный вид, иногда и притворно-хромающие и другого рода притворные калеки. До сих пор толпа вела себя корректно. По дороге на кладбище она разбила водочный склад, и пьянство было великое. Говорят, что водку пили кружками, горстями и вообще всяким сосудом, попадавшим в руки. Надо между прочим заметить, что элемент мещанства и торгового люда, после того, как расправа с полицией была покончена, постепенно стал убывать из бушующей толпы, и в винном складе действовал чистокров-

ный босяк. Он же после оргий в винном складе отправился и на кладбище, где на другой день или в тот же день вечером и забрали тех, кто не позаботился о своей безопасности. Насколько помню, кажется, человек 40 судили в качестве главных зачинщиков. Но, конечно, как и всегда в подобных случаях, это были первые попавшиеся, быть может, раньше бунта известные полиции. Не помню хорошо, но, кажется, их судили военным судом в 80 году, ибо сестра мне в тюрьму в Киеве принесла приговор над ними. Казнить никого из них не казнили, но сроки приговора были продолжительные, и число лет назначалось непринятое в русском суде. Напр., человек 10 было приговорено на 25 лет каторги. Отбывать каторгу их отправили в харьковские централки.

К ИСТОРИИ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ В КОНЦЕ 70-х ГОДОВ [1]

Насколько помнится, это было в начале весны 78 года, мне Плеханов сказал со слов знакомого нам разносчика газет, что на фабрике Торнтона забастовали шпульщики и что есть вероятность, что и остальные рабочие этой фабрики забастуют. Мы решили с ним в этот же вечер отправиться в одну из артелей рабочих этой фабрики, где жил и наш знакомый разносчик газет. Вечером мы отправились и застали в артели много рабочих, все больше земляков, которые собрались, чтобы столковаться, — бастовать ли им или нет. Когда мы вошли в квартиру артели и стали прислушиваться к разговору, то прежде всего узнали, что не все разряды рабочих фабрики одинаково относятся к стачке. Я не помню хорошо,— ткачи ли или прядильщики были за стачку, а помню только, что между этими двумя классами рабочих шла борьба. Первые слова, которые поразили мой слух, когда я вошел в квартиру, были: „Вам, чертям, хорошо, так вы думаете, и всем хорошо".

Ответом из противного лагеря было:

— Тут и думать нечего,—нам тоже деньги не пригоршнями дают, а только и вам дурить нечего.

— Дурим ли или нет, а только так и знайте, — завтра мы не станем на работы.

Новый голос, менее решительный:

— Мы же не говорим супротив вас, и всех-то нас не чаем с калачами поит наш фабрикант Торнтон.

Третий голос, решительнее первых двух, из оппозиции:

— По-вашему выходит, итти нам всем за шпульщиками, а по-моему — нужно шпульщикам вихры помять. Отцы-то в деревне — поучить и некому.

---

1 „Голос Минувшего", 1920—1921 гг.

Тут загалдели шпульщики, все подростки (лет 12—14), на все лады, вплоть до передразнивания, какое обыкновенно практикуется по деревням: фу-ты, ну-ты, мы-ста, вы-ста, с характерным прононсом.

В это время подошли к нам наши знакомые, среди которых был и разносчик газет, и мы вышли в артельную кухню, где была жена разносчика, артельная повариха, и две-три женщины. Здесь нам сообщили, что фабрика не работала весь день. Утром, когда начали рабочие становиться на занятия и были пущены в ход машины, один из мастеровых, незнакомый нам и даже не числившийся среди рабочих в качестве революционера, потушил газ и снятую свою рубашку, кумачевую (многие рабочие работают без рубах), надел на рукоятку метлы и прокричал:

— Выходи, ребята, из фабрики, пускай машины работают сами! — Большинство с ним согласилось.

— И вот, — сказал рабочий, рассказывавший мне об этом, — с утра так и ходим из артели в артель: сговариваемся, да никак не сговоримся, как быть — бастовать ли или работать. Завтра сберемся в фабричном дворе все. Что будет, не знаем. Вот здесь все свои — земляки, а и то не столкуемся.

— Чего там земляки, — все мы земляки, все тверяки, — сказал разносчик. — Вот если бы какой адвокат, который поговорил бы нам от закона, а то некоторые сумлеваются, — как это по закону выходит. Всякий из нас хочет — работает, хочет — нет, — взял расчет, и дело с концом. А как вот все?—Из этих слов ясно выходило для нас: вопрос ставится такой: законна или незаконна стачка. Мы ответили нашим знакомым, уже посвященным в революционную пропаганду, так: русский закон, как во многом другом, на этот счет кривой. С одной стороны, уничтожив крепостное право, он признал труд вольнонаемным, так как признает обе договаривающиеся стороны, как нанимателя, так и нанимающихся, свободно договаривающимися сторонами, а с другой стороны, стачки законом воспрещаются. Выходит, что закон к рабочим и лицом и спиной в одно и то же время. Сам себе противоречит. Задача рабочих — снять с закона эту маску, требовать, чтобы закон смотрел в таких случаях прямо в лицо рабочих, иначе на словах рабочие будут свободно-договаривающейся стороной, а на

деле труд будет подневольный. Рабочий только и силен, когда он сообща ставит условия нанимателю. Поэтому, если мы пригласим настоящего адвоката и предоставим ему говорить с рабочими, то он им скажет кратко: стачки законом воспрещаются. Вот вы и решайте, — как нам быть. По нашему мнению, стачка рабочих единственное средство в их руках в борьбе с капиталистами, и кто признает необходимость борьбы, должен признать и необходимость стачек.

На это нам ответили знакомые, что они-то согласны, а вот никак не согласим всех. После этого частного сговора мы вошли опять в ту же комнату, где рабочие вели спор о том, бастовать или нет, и из которой мы на время выходили в кухню. Все присутствующие рабочие знали или, по крайней мере, догадывались, что некоторые их земляки ведут знакомство с нашим братом революционерами, „со студентами“, как они говорили. Очевидно, рабочие даже ждали нашего вторичного появления, ибо когда мы вошли, то разговоры прекратились, и глаза присутствующих были направлены в нашу сторону. Общее водворившееся молчание разносчик газет, желавший вывести обе стороны из неловкого положения, прервал, обращаясь к нам со словами: „Вот не знаем, как нам быть, бастовать ли всем, или становиться на работы“.

В толпе пронесся легкий, дружеский смешок по адресу разносчика, и кто-то из толпы сказал: „Да тебе-то что, Андроныч, на кой леший тебе становиться, взял под мышки газеты и выкрикивает: „Кому новых, свеженьких газет“.

— Ну, брат, врешь, и я не понесу газет, коли на то пойдет, — с вами ж буду; я, брат, артельный человек.

— Против этого кто же говорит, — начал было тот же голос, но другой прервал словами: „Ну, будет вам чесать языки. Дай сказать людям, — сами-то мы договорились до хрипоты, а что надумали, и не знать“.

Плеханов только этого и ожидал. В таких случаях он человек незаменимый; импровизации его всегда были, по-моему, лучше гораздо, чем предварительно продуманная речь. К сожалению, я не могу воспроизвести его речь дословно; я помню только, он начал так: „Господа, даром ничего не дается“... В этой речи выставлялась выпукло и ярко та мысль, что рабочие свободно-договаривающаяся

сторона; крепостничество с барщиной кануло в вечность, что задача рабочих отучить своих хозяев от привычки смотреть на них, как на своих крепостных; в манифесте ясно сказано — отныне труд свободен.

Все это было произнесено сильно и энергично. Что же касается того, что стачки законом воспрещаются, то это затуманивалось тем, что „богатому сам чорт службу служит“, что, конечно, за деньги они найдут охотников, которые сумеют и законное дело сделать незаконным. „Поверьте мне, — говорил Плеханов, — я хоть и не пророк, но не нужно быть и пророком, чтобы предсказать, что и это ваше вполне законное желание — не давать себя в обиду — они назовут бунтом. Но вы этим не смущайтесь; мы постараемся вывести ваше дело на свет божий, мы будем печатать о ходе вашей стачки в газетах. В крайнем случае, если понадобится, можно будет подать прошение, — по-моему, лучше не государю, а наследнику, он, говорят, более расположен к простому человеку: насколько это верно, — бог знает, но все же к нему легче доступ, чем к государю. Но об этом после, об этом надо еще посоветоваться с адвокатами“. Закончил он так: „Господа, мы не хотим лгать вам и не станем вас уверять, что вы в этот же раз победите; может быть, вам придется и покориться; но мы твердо верим, что рабочие в конце концов выйдут победителями, верим, что труд победит капитал“.

„Мне остается сказать еще только вот что, — так закончил свою речь Плеханов, — вы заметили, я все время говорил вам: мы да мы, а не я. Есть много, господа, людей, которые готовы работать и жертвовать своей жизнью для блага русского народа, для блага русского рабочего. А пока, господа, прощайте. Я вам сказал наш совет, ваше дело принять его или отвергнуть“.

Эта речь произвела сильное впечатление. Непринужденное и дружное: „Благодарим покорно, благодарим“, было ответом. С тем мы и ушли. Мы прямо отсюда отправились на квартиру, принадлежавшую организации „Земля и Воля“, где собрались и ждали нас члены основного кружка, которым мы должны были дать отчет о том, что мы узнали о предполагавшейся стачке. Итак, нам пришлось стать в первый раз пред лицом факта, — самостоя-

тельного протеста рабочих. Вопрос заключался в том, — принять ли нам участие в этом протесте рабочих и какое дать ему направление. Несомненно, нашим прямым долгом, предписываемым нам нашей программой, было принять участие во всех протестах народа, и мы все единодушно решили взять стачку в наши руки. Но вот трудный вопрос, — какое дать направление стачке. Легко сказать — принимать, но не так легко выполнить. О том, как руководить стачкой, программа ничего не говорила, да и не могла сказать. В программе нашей скорее выражались наше стремление, наше настроение под впечатлением совокупности фактов русской жизни. Настроение сказалось в словах — принимать участие во всех протестах народа. Но ведь каждый протест имеет свои особенности, и к этим особенностям должны приспособляться акты деятельности революционной партии. Словом, пред нами стоял один из тех вопросов, более или менее безошибочное решение которых дается практической деятельностью. И поэтому каждый легко поймет, что по этому вопросу у нас не было единодушия, и тем резче это выступало, чем резче отличались темпераменты присутствующих. Плеханов вообще пылкий человек, а в данном случае, кажется, под впечатлением своей же собственной речи, настолько увлекся, делая доклады о том, чего мы были только что свидетелями, что даже я, несомненно также подогретый происходившим в артели, чувствовал, что он слишком увлекается, и это так сказывалось на моем лице, что Ольга Александровна (жена Марка) сказала: „Я вижу, Оратор[1], по лицу Родионыча[2], что он с вами несогласен". И она не ошиблась. В самом деле, если бы даже на меня все, что мы видели и слышали в артели, произвело такое же впечатление, как на Плеханова, а этого не было, то и тогда я не мог бы согласиться с предложением Плеханова сразу превратить стачку в уличную демонстрацию под предлогом подачи прошения наследнику. Г. В. Плеханов ставил вопрос так: завтра же он скажет собравшимся рабочим на фабричном дворе речь и предложит, как он сказал, итти с петицией к наследнику. Мне же казалось, хотя,

[1] Революционный псевдоним Г. В. Плеханова.
[2] Революционный псевдоним М. Р. Попова.

конечно, и у меня не было определенного плана, что рабочие должны сперва сколько-нибудь пропитаться духом протеста, который, несомненно, будет развиваться в ходе стачки под взаимным воздействием толпы на личность и личности на толпу. Я и сказал: „Не знаю, придется ли прибегнуть в конце концов к подаче прошения наследнику, но начать с этого — значит, этим и кончить. А так поступать совсем не расчетливо. На нашу долю не часто выпадают такие случаи, и я прежде всего предлагаю воспользоваться этим случаем для взаимного ознакомления нас с рабочими и рабочих с нами". Плеханов с этим согласился и тут же начал строить планы о расширении стачки и о том, как начать агитацию на других фабриках Петербурга. (Эти его мечты, как потом увидит читатель, не были далеки от действительности, и рабочие пошли навстречу нам.) Мы остановились твердо пока на том, что Плеханов идет сейчас же к Ледрю-Роллену и чрез посредство его напечатает завтра же в „Новостях" о стачке на фабрике Торнтона. Мне же предстояло отыскать подходящего человека, который бы в качестве рабочего поместился в артели. Нужно правду сказать, что это было не легко выполнить, так как „Земля и Воля" скупо ставила своих людей на рискованные позиции и всегда в таких случаях искала людей на стороне. Нужно, например, студентов вызвать на протест, в университете тогда поручается „Юристу"[1] найти подходящего человека. Нужно собрать сходку для реферата в духе „Земли и Воли" — поручается „Оку" (кличка) собрать сходку и прочесть на такую-то тему реферат. Плеханову очень нередко делались выговоры за его горячность, так как он редко воздерживался от того, чтобы не вскочить на скамью и не сказать импровизацию или не вступить в полемику с оппозицией нашей программе или практическому плану. Но было бы несправедливо поставить это в укор организации. В делах особенной важности, в делах, в которых приходилось рисковать жизнью, всегда, хоть один, непременно участвовали члены основного кружка. Благодаря этой тактике организация только и могла непрерывно существовать с 76 года вплоть до раздела на „Народную Волю" и „Черный Передел".

[1] Преображенский.

Итак, я отправился в штаб-квартиру „Ока" и предложил Николаю Лопатину поселиться на время в качествѣ рабочего в артели. Там я переночевал, и на другой день вмѣстѣ с Николаем сначала отправились в артель, гдѣ Николай облекся в поддевку фабричного, а оттуда вмѣстѣ с рабочими отправились на двор завода Торнтона, гдѣ собрались почти всѣ рабочие фабрики. За время этой стачки я просто полюбил Николая. Часто недочеты личного характера дают ложное представление о человѣкѣ. Так было и с Лопатиным, а в этот раз он обнаружил такие таланты, что многие из его критиков остались бы далеко позади его. Он сразу ориентировался, ровно он попал в родную среду, гдѣ он выросъ и всѣ стороны которой ему так же извѣстны, как и всякому принадлежавшему к ней. Только мы вошли во двор, как мой Николай исчез. Слышу, то там, то в другом мѣстѣ отдается его голос, а поймать не поймаю. Вдруг вныряет перед моим носом. Родионыч, идите! Андрюха принес „Новости". Проталкиваюсь за ним, он вскакивает на кучу угля с газетой в руках: „Ребята! Слушайте, в газетах про нас пишут", и прочел: „На хлопчато-бумажной фабрикѣ Торнтона, на Обводном каналѣ, рабочие забастовали. Поводом к стачкѣ послужила сбавка с поштучной работы от 4 до 7 коп., смотря по роду ткани, шпульщикам же уменьшена дневная плата на 6 коп. Это, повидимому, ничѣм не вызванное понижение цѣны вызвало справедливый отпор со стороны рабочих алчности наших капиталистов, привыкших рассматривать всѣ с точки зрѣния только своего интереса. Дѣло осложнилось к тому же еще недовольством рабочих главным мастером фабрики, который, говорят, злоупотребляет штрафами. В редакции имѣются и болѣе подробные свѣдения относительно этого ревнителя хозяйского, а может быть и своего интереса, но пока об этом не сообщаем. Подождем официального разъяснения этого протеста рабочих, которое, конечно, не заставит ждать себя. Пора, наконец, чтобы законная власть обуздала алчных предпринимателей и защитила в неравной борьбѣ сторону болѣе слабую", и т. д. Рабочих сразу ободрил тот факт, что о них пишут в газетах. В толпѣ послышались возгласы: вѣрно, справедливо. „Эй, кто там, как тебя, ну прочти еще раз". „Николай, — не удерживались свои рабочие, — прочти еще раз". Лопатин повторил.

С этого времени Лопатин стал известен всем рабочим под именем Николая, и в дальнейшем ходе стачки он стал центральной личностью в числе стакнувшихся рабочих. „Ну, теперь, ребята,—сказал Лопатин,—не робь,—дело наше пошло в ход. Уж коли в газетах пропечатано, тут уж не спрячешь концы в воду,—у всех на глазах. Значит, и расходились по квартирам,—будем ждать, что дальше, Пускай директор выставит новую табель,—сбавки долой, чтоб по-старому, тогда и на работы станем“. Ребята,—голос из толпы,—надо бы еще, чтобы расчет был правильный, точный, по субботам,—нечего задерживать. Вот в газете об этом не сказано, а надо бы сказать, что контора затягивает выдачу“. Я кричу: „Завтра будет об этом напечатано в газетах“.—„Правильно говорит,—новый голос из толпы,—надо расчет точный по субботам,—какого дьявола там еще: деньги заработаны, и отдай,—нечего канителить!“—„Значит,—кричит вновь Лопатин,—выставь нам перво-наперво табель, сбавки долой! Правильный расчет по субботам, по окончании работ“.

— Верно, по субботам расчет, зашабашили в субботу, и давай деньги.

— Так, значит, и знай всяк, и расходись, ребята, по квартирам. Эх, господа, надо бы еще, этого аспида-немчуру чтобы убрали. Верно, ребята, к чорту его,—к чертям в пекло,—раздаются ругательства и смех.

К этому времени появляются у ворот полицейские мундиры, околоточные, пристава, полицмейстер. Наконец приехал и сам Зуров тогдашний петербургский градоначальник. Входят во двор. Толпа стала плотней, сгрудилась, как говорят в народе.

Зуров подошел к толпе.

— Вы что ж это, вздумали бунтовать?

— Никак нет, ваше превосходительство,—кричит Лопатин.—Никакого бунта с нашей стороны нет, а только несходно нам так работать, сегодня пятак, завтра другой сбавят, а там третий... Ведь это, ваше превосходительство, и на квас с хлебом не хватит. А надоть и в деревню послать тоже. Примерно, я в этот месяц получил по старой расценке 16 руб. 3 руб. отдай за квартиру, приварок с хлебом бедно-бедно 5 руб., чай тоже, да надо одеться-обуться,—много ль останется в деревню-то по-

слать? А за тем и ездим сюда, ваше превосходительство. А по этой расценке и того меньше придется.

— Вы бы меньше пропивали. Все расчел, да забыл только, сколько в праздник пропил, — сказал, улыбаясь, Зуров.

— Бывает, ваше превосходительство, что и выпьешь стаканчик в праздник, — ответил Лопатин, — и без этого тоже рабочему человеку нельзя. Только не больно-то разгуляешься. Примером, у меня в деревне отец, мать, жена, детей, скажем, пока нет, зато братишки, — все рты, ваше превосходительство.

— Не сходно, говоришь, бери расчет, иди, ищи, где сходней. А ведь это сборище, скоп — законом это воспрещается. Я должен буду разослать вас по деревням. Фабрикант не обязан давать вам то, что вы хотите. Без выгоды фабриканту тоже нет расчета работать.

В толпе с разных сторон: „Мы чужого не хотим, — отдали б наше... Одними штрафами сколько им идет нашего... где уж тут взять ихнее, — больно цепко держат. Заработанное пока возьмешь, так находишься в конторы, пороги обобьешь“, и т. п. Революционная группа: „Труд теперь свободный, мы не крепостные Торнтона, сборища никакого нет, пришли на фабрику, некуда в другое место, каждый день собираемся на фабрику на целых 14 часов, а сейчас собрались только узнать — согласна ли фабрика работать по старой таксе, станем на работы, нет — разайдемся по квартирам, вот и все сборище“.

„Ну довольно, — заявил градоначальник. — Вот что я вам скажу: становитесь на работы, справедливые требования директор обещает удовлетворить, он обратит внимание на то, чтоб с вами поступали по правилам фабрики, несправедливо не обижали. Говорю вам: что можно будет сделать, — будет сделано. А затем еще раз повторяю: если это будет продолжаться, — распоряжусь выслать вас по деревням. В Петербурге праздношатающегося сброда и без вас достаточно“. — Из толпы: „Мы не золоторотцы, ваше превосходительство, — у нас паспорта есть“. — „Ну, довольно, — прервал Зуров, — все, что нужно, я вам сказал и вас выслушал, больше чтоб этого не было“. И поворотился уходить. Полицмейстер что-то сказал шопотом, Зуров вновь поворотился к толпе: „Да, вот что, кто будет других

подбивать, чтоб не работали и бунтовали, тогда ему же будет хуже. Такое самоуправство не может быть терпимо на фабрике; это нарушение фабричных правил карается законом". В толпе гробовое молчание. Зуров обратился к полицмейстеру со словами: „Этого мерзавца нужно отыскать".

Отмечаю характерное поведение полиции. Как до приезда Зурова, так и потом обыкновенная городовая полиция держала себя так по отношению к стачечникам, как будто это дело не касается ее, и городовые стояли на своих обычных постах. Но зато сыскной полицией, или, как говорили рабочие, „пауками", Обводный канал был довольно-таки насыщен. Но дело в том, что в этом рабочем квартале сыскная полиция оказалась совсем безвредной. Рабочий узнает рабочего по духу, и появление „паука" сейчас же обнаруживается. Помню, свечерело уже, я шел по Обводному каналу в известную уже читателям артель. Рабочие во время стачки обыкновенно шатались по Обводному каналу, заходя то в один, то в другой трактир, и в воздухе то там, то там раздавались полудетские голоса подростков-рабочих (шпульщиков): „Ребята, паук, паук, вот, вот". Мало того, в рабочих трактирах прислуга с рабочими живет по-товарищески, а она нюхом узнает „паука". В подростках же фабрика имела отличных сыщиков, тем более, что для них охота на „пауков" была забавным и приятным препровождением времени. Идешь, бывало, и то и дело натыкаешься на такие сцены: подбегают к группе рабочих подростки: „Паука сейчас видели, и уйма же их". — „Вы бы их каменьями", — поощряют рабочие. — „Мы и то". — И действительно, прежде всего при обнаружении паука раздаются голоса: „Глядите, паук, паук, паук". Часто в рабочих группах высказывалось желание, что „надо бы хоть одному пауку намять бока", — тогда вдогонку ему посылались камни, которые были у каждого из подростков в кармане про запас.

После отъезда Зурова рабочие разошлись по квартирам и трактирам. В трактирах разговоры рабочих обнаруживали твердую решимость продолжать стачку, несмотря на угрозы Зурова разослать по деревням. „Эх, запугал, разошлю по деревням. Сделай милость, — слышалось то за одним, то за другим столом, — даром домой съезжу", и пр.

в этом роде, но вместе с тем не обходили молчанием и слабых сторон стачки. Не раз приходилось слышать: „Не спдоховали бы только наши семейные. Карманы-то им недолго повытрусить". Семейные рабочие очень смущали стачечников. Уже накануне нам приходилось слышать, что семейные рабочие неохотно соглашаются на стачку. На это больное место мы и обратили наше внимание. Николай отправился с другими рабочими по артелям, чтоб собрать сведения о том, кто из семейных скоро будет нуждаться в средствах прокормления, а я отправился к своим, чтоб поставить им на вид, что придется, вероятно, если не сейчас, то скоро давать пособие семейным. Скоро были организованы сборы по учебным заведениям мужским и женским. Для учащейся молодежи, студентов и студенток, и даже вообще для либеральной интеллигенции эта стачка была медовым месяцем сочетания с рабочими. Пошли вечеринки, сборы по аудиториям и вообще повсюду, где можно было хоть что-нибудь сорвать в пользу стачки. Ольга Александровна посетила всех либералов из литераторов и адвокатуры. Но вот характерный эпизод для демонстрации того горячего сочувствия, которое проявила культурная молодежь к стачке. Пришел я однажды в артель, Николай конспиративно заявил мне, что вчера некто Гаркуша (лаврист) был в артели и пригласил рабочих притти на Пески в такую-то квартиру, и что не мешало бы мне с рабочими пойти туда, „знаете, — не напакостили бы нам лавристы. Рабочие меня приглашают, но я жду „Оратора", так как нужно непременно Зиновьева (тот, кто потушил газ) отправить на время в деревню да и покончить вопрос о выборе комитета для распределения пособий". Я отправился с рабочими на Пески.

Квартира, куда мы пришли, принадлежала студенткам-медичкам. Первая комната, куда мы вошли, была набита битком. Каких только разновидностей интеллигенции, собравшихся на эти смотрины, здесь не было. При входе в квартиру нас встретил сам Гаркуша. Я был с ним хорошо знаком, но он, полагая, вероятно, что я также один из пришедших на смотрины, поздоровался со мной и пригласил рабочих на почетное место, предоставив мне самому позаботиться о себе. Рабочие посмотрели на меня

в нерешительности, как будто спрашивая взглядом, как им быть. „Идите, — говорю, — что ж“. Наблюдаю со стороны, хозяйки квартиры суетятся с чаем, закусками, угощая рабочих, а публика со всех сторон напирает. Начались расспросы о делах на фабрике, сыплются похвалы, одобрения. Рабочие в необычайной обстановке теряются, конфузятся. Один из них до того растерялся, что только и нашелся сказать, указывая на меня кивком головы: „Да вот они знают“. Тогда все взоры направились в мою сторону, чтобы видеть, кто это они. Признаюсь, я тоже был смущен вопрошающими взорами — кто это они? Можете по этому судить, как были смущены рабочие, в особенности, если принять во внимание, что фабричные рабочие Петербурга и Москвы в то время были крестьяне в чистом виде, и даже в той артели, в которой мы толкались, были рабочие, приехавшие в первый раз в Петербург. Но что делать, — видно на лицах всех благожелательное, чистосердечное, искреннее отношение к виновникам торжества, оставалось только сказать про себя: назвался груздем, полезай в кузов. Но, с другой стороны, нельзя было не переживать и того душевного состояния, которое испытывали рабочие. Представьте себе трех рабочих 22—24 лет, в светлоголубых фабричных поддевках, посаженных рядом на стульях, ровно их привели на выставку; представьте одного из них конфузливого и растерявшегося до того, что забывает, что он держит на коленях свой картуз, и потому постоянно нагибавшегося, чтобы поднять с пола упавший с его колен картуз, который он через некоторое время опять ронял. Когда одна из студенток, заметив это, решила, наконец, избавить его от сизифовой работы, и обратилась к нему со словами: „Дайте ваш картуз, я вот здесь его повешу“, то мне, молча наблюдавшему, казалось, что на лице его была написана готовность не только отдать картуз, но и себя самого, лишь бы только она унесла его отсюда. А между тем этот рабочий своею смелостью и находчивостью производил в артели выгодное для себя впечатление. Наконец я решился и сказал: „Ну, господа, нам пора итти, узнаете обо всем потом, а пока нужны только деньги“. Этими словами я ровно разрядил электричество. Вижу, как сейчас, фигуру Грушецкой. Я раньше ее встречал в польском кружке, но она обыкновенно молча слушала и потому,

несмотря на красоту, не производила особенного впечатления. Тут же она точно преобразилась. Схватила со стола тарелку, на которой лежал хлеб, стряхнула на стол хлеб и с лицом, на котором скорее написано было приказание дать деньги, чем просьба, начала обходить публику. Да и каждый из присутствующих так это понимал. Студент, которому, может быть, не на что будет купить к чаю колбасы, бросил бумажку, клали на тарелку такие вещи, как часы и пр. Пока Грушецкая собирала деньги, предметом внимания сделался я, до сих пор не замечаемый такими близко знакомыми мне, как Мария Николаевна и Наташа. Последней, между прочим, даже нужно было видеть меня, чтобы передать деньги, собранные на Георгиевских курсах. А тут набросился на меня Ледрю-Роллен со словами, полными трагизма: „Родионыч, вы должны мне дать слово; даете?" Этим он меня так же огорошил, несмотря на то, что я его уже достаточно знал с этой стороны, как в сентябре предыдущего года, когда приехал из Ростова н/Д. Я сидел в его рабочем кабинете, погруженный в чтение Щедрина, и был внезапно огорошен им, писавшим здесь же стихи для „Новостей", словами: „Возьмите, что хотите, но только скорее пожалуйста рифму на Крест". Оказалось на самом деле всего-навсего только то, что я с „Оратором" должны итти к князю Велепольскому и опять только потому, что он, я и „Оратор" прикосновенны к стачке, — чрез него, как я уже говорил, „Оратор" печатал о ходе стачки в „Новостях". Грушецкая окончила свою миссию, и мы вышли.

Только что рабочие передохнули от тяжелого испытания, стали расспрашивать меня, что за люди тут были, как слышу, кто-то окликнул меня сзади. Оглядываюсь и вижу знакомую мне барышню. „Мне к вам, Родионыч, дело есть, — можете уделить несколько минут?" Долго мнется барышня, наконец спрашивает: „Вы идете туда — к рабочим?" — „Туда", — отвечаю я. — „Как бы мне пойти туда с вами?" — „Ну, стоило, — говорю, — за этим догонять меня, — что вы будете там делать?" — „Нет, я, положим, имею к вам дело. Мне вчера один знакомый говорил, что Рагозин, знаете, тот, что издавал раньше „Неделю", узнав про стачку, сказал ему: вот это дело, вот это я понимаю, и готов помочь деньгами. Так вот бы вы сходили к нему". Я

понял, что это был только предлог, а главное не это, и говорю: „Так вот что, у вас, наверное, сегодня будет „Юрист“, — предложите ему сходить“. — „Хорошо, я предложу ему. Но отчего бы мне нельзя пойти туда, Родионыч, ведь есть у рабочих жены, я и могла бы побыть некоторое время у них“. — „Нет, оставьте вы это, — зачем?“ — „Опять зачем, — несколько обидевшись, сказала она. — Просто желала бы видеть быт, обстановку их жизни“. — „Нет, право, это неудобно, особенно теперь“, — и поворотился продолжать свой путь. Потеряв надежду убедить меня, она вдогонку уже мне сказала: „Скажите Николаю, что Вере (ее сестре) нужно видеть его“. Рабочие были очень заинтересованы всем виденным, спрашивали о том, о другом, особенно их заинтересовали студентки, о существовании которых они узнали в первый раз. Очевидно, культурное общество произвело на них хорошее впечатление и вызвало даже в их душах порывы к чему-то лучшему. „Хорошо, — сказал рабочий, ронявший шапку, — если б всем так жить: учатся, соберутся, — есть о чем поговорить. Не то, что наш брат, — неделю работает, в воскресенье пьяный напьется, а в понедельник опять начинает с того же“. В артели, куда мы пришли, был „Оратор“, Николай и много рабочих. Раньше уже нами было решено выбрать несколько человек из рабочих и им поручить распоряжаться раздачей пособий нуждающимся. Такое предложение и было сделано „Оратором“. „Как же это нам распоряжаться чужими деньгами?“ — возражали рабочие. Когда же им поставили на вид, что деньги пожертвованы для поддержания стачки и что в целях этого им легче, чем жертвователям, стоящим вне их среды, распределить деньги по мере нужды каждого из них, то холостые рабочие стали настаивать на том, что лучше бы семейным выбрать из своей среды распределителей пособий, так как семейным легче узнать через своих жен, у кого есть что сварить и варится, а у кого нет. Семейные не отрицали удобства знать через жен, кто нуждается, но боялись нареканий, не вышло бы, что, мол, своей семье мирволит. Кончили тем, что при четырех семейных распределяли деньги между нуждающимися.

Наши собрания на фабричном дворе стали происходить не каждый день и очень на короткое время, в виду того,

что в конце концов нами было решено вести рабочих ко дворцу наследника для подачи прошения, и мы не хотели давать повода Зурову привести в исполнение угрозу разослать стачечников по деревням. Газету „Новости“, где от времени до времени сообщалось о ходе стачки, раздавали в числе 12 экземпляров по артелям. Кстати маленькое qui pro quo: Лопатин часто сам ходил в контору редакции „Новостей“ в качестве рабочего. Раз его в конторе редакции начали пропагандировать, он разыграл роль пропагандируемого рабочего до конца, но, получив номера газеты и расплачиваясь за них, заметил: „Вот и все хорошо говорили в нашу пользу, одначе деньги за газету берете, а они у нас сильно плывут и в съестные лавки и туды-сюды и за газету“. Пропагандисты, конечно, немало были этим смущены, но кончилось все-таки это тем, что они обещали впредь, до конца стачки не брать с рабочих за газету.

В начале этих воспоминаний я отметил, что Плеханов мечтал о расширении стачки, и мечты его были недалеки от действительности. Рабочие Торнтона имели земляков и на других фабриках, и о забастовке поэтому сейчас же узнали рабочие других фабрик. Стали доходить к нам слухи о том, что о стачке поставлен вопрос на трех фабриках: на Васильевском Острове, за Невской заставой и на Охте.

Однажды нам даже сообщили, что на Охте стачка рабочих уже началась, но потом оказалось, что администрация фабрики, уступив рабочим, предупредила стачку. Какие требования ставили рабочие этих фабрик,— не знаю, а может быть и знал, да забыл, твердо помню только, что стачки не состоялись на этих фабриках, и, кажется, не состоялись в виду уступчивости со стороны фабрик по отношению к рабочим.

Мне кажется, я исчерпал все заслуживающее интереса в этой стачке и теперь можно приступить к эпилогу ее,— подаче прошения наследнику. На вопрос, что заставило нас дать такой поворот стачке,— ответить не трудно. Во-первых, демонстрация,— рабочие пройдут процессией до Аничкова моста; во-вторых, в нашей программе предлагалось пользоваться всеми случаями, которые можно эксплоатировать в качестве средства расшатывать веру в царя. Но почему мы спешили с подачей прошения, на

это я затрудняюсь ответить. Бодрость в рядах стачечников скорее повышалась и, во всяком случае, не падала. Средства к нам притекали, и нам обещали в случае нужды дать до 1000 руб. Теперь мне кажется, почему бы нам было не продолжать стачку, тем более, что она представляла нам прекрасные условия для сближения с рабочими. За время этой стачки было привлечено рабочих больше, чем за все предыдущее время. Под конец стачки я и „Оратор“ (о Лопатине и говорить нечего), могли бывать в любой из артелей рабочих, конечно, в сопровождении знакомых рабочих. Я в артелях рекомендовался как „Адвокат“, Плеханов — „Оратор“ — был „Оратором“ и между рабочими. Мы могли бы легко при помощи рабочих этой фабрики завести прочные связи и на других фабриках. Но таково уж было наше нетерпение поскорее вывести рабочих на улицу. Мы считали это самым важным, а может быть, нас заставляла спешить боязнь, как бы уступка со стороны фабричной администрации не отняла у нас повода повести рабочих к наследнику. Нам составили прошение по всем правилам адвокатского искусства. Мы переписали его в двух экземплярах, один для того, чтобы прочесть рабочим, а другой — чтобы иметь в запасе готовым, с гербовой маркой на случай, если рабочие согласятся, чтобы завтра же им вручить и двинуться к Аничкову дворцу.

Вечером Николай собрал в одной из артелей представителей остальных артелей, и мы отправились с „Оратором“ — Плехановым. Мы не ожидали, что рабочие так охотно пришлют представителей. На наше замечание, что все же нужно спросить всех:

— Если уж итти, — сказали мы, — с прошением к наследнику, то чтобы шли все рабочие или, по крайней мере, большинство.

На это они нам ответили:

— Что спрашивать — все пойдут, не пойдут разве только те, кто работу где на стороне нашел. (Рабочие ходили на поденные работы, какие случалось найти.)

Прочли мы копию прошения, — не привожу его дословно, ибо и тогда я едва ли передал бы его содержание, если бы кто спросил меня, так мало мы придавали значения содержанию его. Но, конечно, в нем было изложено

все то, чего рабочие решили добиться путем стачки. Рабочие одобрили.

— Ну, в таком случае, — сказал я, — собирайтесь завтра к часу на фабричном дворе; я к этому времени приготовлю прошение с гербовой маркой, и прямо двигайтесь к дворцу наследника.

На том мы и решили. Выбрали тут же из представителей артели, кто будет вручать прошение и двоих ассистентов, которые должны быть при нем неотлучно. Ассистентами были: разносчик газет и другой тоже из рабочих революционеров. На другой день ровно в 12 часов я был уже на Обводном канале в трактире, куда должен был явиться один из рабочих, чтобы сказать мне, что делается на фабричном дворе. В час я отправился на фабричный двор, вручил прошение выборным, и рабочие двинулись. Не доходя до Невского уже к процессии приставала публика, на Невском же проспекте толпа увеличилась вдвое, но шла по тротуарам по обеим сторонам Невского, так что рабочие, шедшие по самой улице, составляли толпу без примеси. Я шел по тротуару по левой стороне Невского проспекта. Помню, идет навстречу мне господин, очевидно провинциал, увидел эту процессию и спрашивает меня: „Что это такое?“ — „Не знаю хорошо сам, — отвечаю я, — говорят, рабочие, что ли, идут с прошением к наследнику“. — „Это от Торнтона, — отвечает кто-то сзади меня, — обижает, значит“. — „Кто нашего брата не обижает, почитай, кто только не хочет“. Оборачиваюсь, вижу старика со спичками на лотке. Сказал это он с таким чувством, так сердечно, что невольно заразил этого господина. „А мерзавцы, сказать правду, эти толстосумы, до чего людей доводят“. — „Коли не мерзавцы, настоящие аспиды, ваша милость. Такой народ зря не пойдет, — это не студенты“. — „Вот видишь, старик, — отвечает провинциал, — говоришь, не студенты, — а, может, и студенты не зря поступают, — у всякого своя нужда“. — „Не спорю, ваша милость, а мы, значит, промеж себя говорим, — студенты, мол, балуют, а, может, и ваша правда, — у всякого своя нужда“. Не знаю, что дальше говорили эти два случайно вступившие в беседу представители двух различных классов. Я стал продолжать свой путь. Когда я поровнялся с воротами дворца, их уже спешили закрыть.

Не умею объяснить безучастного поведения полиции, — на всем пути ни разу со стороны полиции не было сделано никакого обращения по адресу рабочих. Вероятно, полиция не ожидала, что стачка примет такой поворот. Но как бы то ни было, стачечники беспрепятственно подошли ко дворцу и стали перед парадным входом. Зуров взволнованный, но довольно мягким тоном спросил в чем дело. В переднем ряду рабочие заявили, что они пришли подать прошение государю-наследнику. „Без разрешения его высочества государя-наследника я не могу принять прошения, — ответил Зуров, — но я доложу ему", и отправился во дворец. Минут через десять Зуров возвратился и сказал: „Его высочество поручил мне принять прошение и приказал мне передать вам, чтобы вы спокойно разошлись по домам. Итак, расходитесь по домам. А ты, — обратился он к подавшему ему прошение, — останься, и еще вот ты, ты... — указал еще на пять человек в переднем ряду, — тоже останьтесь". Рабочие так же толпой пошли обратно. Когда рабочие отошли на довольно значительное расстояние от дворца, ворота дворца растворились, вошли рабочие 6 человек во двор, и ворота опять затворились. Такой конец демонстрации нами не ожидался. Скорее можно было ожидать, что рабочих не допустят до дворца. Вышло не так, как мы думали. Перед нами теперь стоял вопрос, как же быть дальше. Мы думали, что этих 6 человек арестовали и как зачинщиков подвергнут ссылке. Оставалось одно, именно, чтобы рабочие требовали освобождения своих товарищей. Но хватит ли у стачечников гражданского мужества на это, — ведь тут нужно было вести начистоту уже дело. Да, по правде сказать, и мы были в большом затруднении насчет того, каким путем требовать. Можно было предложить рабочим итти ко дворцу и потребовать выдачи товарищей, но я, по крайней мере, не рассчитывал на такое гражданское мужество со стороны рабочих. Решили подождать до завтра, и, в ожидании могущих быть арестов в артелях, не пошли в этот вечер к рабочим. Утром на другой день я отправился в один из трактиров на Обводном канале и, к моему удивлению, встретил там нескольких из тех рабочих, которые были вызваны к наследнику. Они пришли в трактир в надежде увидеть кого-нибудь из нас. Я вышел из трактира и отправился

в артель. Рабочие, поняв значение моего выхода, тоже вышли вслед за мной и пришли туда же. Вот что они рассказали: их отвели в подвальный этаж дворца, где помещались пожарные инструменты дворца, и под караулом, кажется, частного пристава они там просидели часа три. Зуров уехал, куда он ездил, — к царю ли, к шефу ли жандармов — это осталось неизвестным. Потом часа через три приехал и сказал им приблизительно следующее: „Вы люди простые, вы не все умеете понять, и вас легко могут обойти люди, враждебные России и русскому государю. Государь-наследник изволил принять во внимание вашу простоту и прощает вам ваш незаконный поступок. А вы вот скажите нам, по чьему совету вы решили подать прошение государю-наследнику“. Ему на это ответили, что „мысль подать прошение явилась у них сама собой, а прошение написал адвокат, фамилии которого не знаем, так как случайно встретили его в трактире, он обещал написать прошение и на другой день привез и даже денег не взял, говорит, вы люди бедные, вам и даром, говорит, можно“ [1]. — „Ну вот-вот, я так и думал именно и даже не спрашиваю у вас, кто тот, кому он вручил прошение и с кем говорил в трактире. Скажу только, вас обошел злой человек. Ну так вот что: идите себе домой, успокойте ваших товарищей. Государь-наследник обещал расследовать ваше дело, и вы должны положиться на его обещание. А вот если встретите этого адвоката, который писал вам прошение, укажите его полиции. Подача прошений на имя наследника и государя разрешается только поодиночке и не лично, а через канцелярию. Адвокат должен был это знать и не подводить вас, людей темных, на незаконный поступок. Идите с богом и помните благодарность к государю-наследнику за его доброту к вам“.

Фабрика уступила требованиям рабочих, и скорее всего потому, что хозяева фабрики (фабрика акционерная, и говорили тогда даже, что великий князь Константин Николаевич был в числе акционеров этой фабрики) были скандализированы этим столкновением рабочих с администрацией фабрики, поведшим к подаче прошения на имя наследника. Через некоторое время после того, как рабо-

---

[1] Такой ответ им был рекомендован накануне нами.

чие стали на работы, был даже удален директор фабрики. Таким образом стачка окончилась в пользу рабочих. После этого мне не приходилось уже бывать в артелях рабочих, работавших на этой фабрике, сначала из опасения, чтоб какой-нибудь из рабочих не поступил по совету Зурова, а потом был чем-то другим занят, — помнится, после этого скоро стали готовиться к освобождению Мышкина на пути в централку. Но когда я ехал в каторгу на Кару, то в Красноярске встретил следовавших в ссылку в Восточную Сибирь трех рабочих с фабрики Торнтона; два из них были мои знакомые, один Тимофеев, другого забыл фамилию. Они рассказали мне, что на фабрике в конце 79-го года или в начале 80-го, хорошо не помню, Плеханов хотел повторить ту же историю, т. е. повести рабочих с прошением к тому же наследнику, при чем рабочие вышли с красными флагами из фабричного двора, но не успели они дойти до Фонтанки, как на них бросились казаки с нагайками; рабочие сначала оказали сопротивление, но были разбиты казаками. Многих из них тут же арестовали и часть разослали по деревням, часть выслали в Западную Сибирь, а их троих ссылают в Восточную Сибирь [1].

Когда я писал свои воспоминания и предо мной проходили в живых картинах сцены и люди,—невольно напрашивались мысли по поводу прошлой революционной деятельности и тех поправок, которые жизнь в союзе с временем несут за собой во всем. Сначала я хотел в самом рассказе то там, то в другом месте вставить ту или другую мысль, пришедшую мне в голову, но нашел это неудобным, так как это прервало бы рассказ и, быть может, не всякому показались бы эти мысли столь интересными, чтобы ради их отрываться от интереса к самой стачке на фабрике Торнтона. Поэтому я и даю им место в конце рассказа о стачке,—кто пожелает—прочитает, а не желающий—закроет тетрадь в конце описания стачки.

---

[1] Следующая за этим, заключительная часть статьи М. Р. Попова не была напечатана в „Голосе Минувшего“ и впервые появилась в печати в № 6 „Каторги и Ссылки“ за 1923 год.

Ред.

Я знал в Петербурге не только фабричных, но и заводских рабочих, и наблюдал их почти в таком же деле, как забастовка на фабрике Торнтона, а именно, когда по поводу взрыва на пороховом заводе, жертвами которого было несколько убитых, они задумали выразить свой протест путем демонстрации при похоронах убитых. По-моему, фабричный тип петербургского рабочего более симпатичен и, как протестующий элемент, более надежен, чем заводский. По виду он, правда, менее культурен и отдает деревней, но более чувствуется доверие к словам фабричного, когда он говорит: „Мы согласны", чем когда говорит это заводский рабочий. Чем это объяснить?

Я прожил в 76 году около трех месяцев в Колпине среди заводских рабочих, работавших на казенном железопрокатном заводе. Вероятно, я приехал в Колпино незадолго пред Рождеством и, помню, был на святках на вечере в семье Петерсона. Вскоре я свел знакомство с местными заводскими рабочими казенного железо-прокатного завода.

При основании этого завода контингент рабочих завода составляли военные поселенцы, но в это время на заводе работали уже сыновья и внуки их по найму. Я жил в доме кузнеца, правда, уже ветхого старика, который с очень немногими такими же стариками представлял последних могикан этого контингента. Но состав рабочих был и в то время почти только из жителей Колпина. Это составляло их привилегию — работать на заводе предпочтительно пред пришлым рабочим. Колпинские рабочие опять-таки производили хорошее впечатление, и между ними было более доверия друг к другу, и в постороннем человеке они поселяли к себе более доверия, чем обычно.

Карпович тоже как-то писал мне, что появляющиеся вновь из деревень рабочие в вопросах стачек и всяких протестов ни мало не ниже рабочих, уже давно порвавших с деревней. Мне кажется, его наблюдение вполне верно, так как на основании моих наблюдений 1/4 века тому назад я сказал бы, что они представляют более удобный в этом отношении элемент. Читатель помнит, я в моем рассказе отметил, что семейные рабочие неохотно соглашались на стачку и представляли слабую сторону стачки, а это именно и были уже порвавшие с деревней,

образовавшие оседлый класс фабричных рабочих. Мое объяснение такое: фабричные рабочие, или не порвавшие с деревней, или недавно порвавшие, еще не утратили общественных чувств и этики, приобретенных ими в старом обществе. Живут они артелями земляков по деревне или волости. Да и весь состав на фабрике Торнтона был из крестьян Тверской губернии.

То же можно сказать и о колпинских рабочих. Колпино считается посадом. К сожалению, я был так мало внимателен, что не обратил должного внимания на самоуправление. Даже не знаю, сельского ли типа оно, или это мещанское управление.

Заводские же рабочие Петербурга, состоящие в большинстве из мещан Петербурга и уездных городов, собранные на заводе из частных мастерских, не принесли с собой на завод общественных чувств, а классовых еще не успели выработать в недолгий период жизни. Когда приходилось вести разговоры в артелях фабричных рабочих, и входил новый человек из другой артели, то это не производило ни особенного беспокойства, ни особенного старания перевести разговор на другую тему. Когда же случалось это в обществе заводских рабочих на квартире, и входило новое лицо, то отворивший дверь сейчас даст понять, что пришел человек не посвященный, и сейчас же переводит разговор на постороннюю тему.

Фабричные рабочие, правда, не дали таких лиц, как Обнорский, Пресняков, Халтурин и пр., но ведь, во-первых, я не отрицаю, что заводские рабочие по культурности стояли выше фабричных; во-вторых, эти личности не продукт заводской среды, а продукт общей русской культуры, к которой приобщили их те или иные условия их жизни, непосредственно не вытекавшие из того обстоятельства, что они состояли в рядах заводских рабочих, чего нельзя сказать, например, о Петре Алексееве, который отличался от остальной фабричной массы лишь тем, чем он обязан только самому себе.

Все это я говорю к тому, что в последнее время часто приходится слышать презрительное отношение к деревне. Я думаю, что такое отношение—продукт чисто русского недостатка—бросаться из одной крайности в другую—коль рубить, так уж с плеча. Я согласен, что рассеянные по

великой Руси деревни представляют трудное поле для революционной организации, и это несомненно отрицательная сторона деревни. Но эта отрицательная сторона разрослась во всестороннее отрицание чего бы то ни было хорошего за деревней. „Дикость", „тупость" — постоянные эпитеты, даваемые в наше время деревне. Как будто какие-нибудь французские крокопы, или английские дитеры, или немецкие представители бошгоки в свое время были менее дики и темны, чем русский мужик в наше время.

В Европе и особенно в Германии, где царит или, по крайней мере, до недавнего времени царило среди социалистов недоверие к революционности крестьян, это понятно. С ними можно не соглашаться, но упрекать в логической непоследовательности нельзя. Там поставлена на очередь социалистическая программа, и так называемые марксисты, которые рассматривают социальную доктрину Маркса не как удачную схему, в которую укладывались без заметного противоречия общественные явления, вытекавшие из производительных отношений его времени, но как научно обоснованную социальную истину, вполне логично рассуждают, когда говорят: „Деревня с ее формами жизни неизбежно осуждена на смарку, пока там не окончился процесс экспроприации, пока там капитал не начал выполнять свою историческую миссию обобществления труда, там нам, социалистам, делать нечего (о тупости и дикости ни слова), и мы пока идем с нашей программой на фабрику, где капитал подготовил условия нашей деятельности, где совершается обобществление труда, и нам остается только дать всеобщую форму обобществленному труду,—социалистическую форму".

Но когда это говорят наши марксисты, да притом еще марксисты, которые соглашаются с тем, что нам, русским, пока еще предстоит борьба за то, что в Европе уже существующий факт, — за политическую свободу, — такое отношение, со ссылками на тупость и дикость, просто логическая непоследовательность. Одно из двух: или признавать, что главная основа человеческих отношений — производственные отношения, и, значит, врывающиеся в русские деревни под флагом капитала производственные отношения, в частности капитал, совершающий экспроприацию в де-

ревнях, или, по выражению Витте, „перераспределение народных благ“, или, еще лучше, по Мертваго, „перекладывание из большинства карманов в карманы меньшинства“, — должно давать себя чувствовать, несмотря на дикость и тупость, или отвергнуть универсальное значение производственных отношений и остаться при „тупости и дикости“.

Что касается меня, то я тупость и дикость имею в виду. Но, признавая, что в деревнях действительно совершается перераспределение народных благ, т. е. врываются новые производственные отношения под флагом капитала, и что, по пословице, где лес рубят, там и щепки летят—в виде выброшенных с свободными руками, по выражению Маркса, пролератиев, — я не могу допустить, чтоб объекты этой операции — крестьяне — так же к этому спокойно относились, при всей их тупости и дикости, как мы об этом спокойно пишем и говорим.

Нет, что бы ни говорили о наших земствах, но, мне кажется, прогрессивные элементы земства более дальнозорки в политике, чем мы привыкли думать, и, ставя вопрос о расширении правовых норм для крестьянства, они готовят себе поддержку в борьбе за политическую свободу. Если только этот элемент будет расти в земстве, то он сыграет самую видную роль среди культурных элементов, может быть, в союзе с интеллигентным разночинцем, как называли их раньше, или с интеллигентным профессиональным классом, как, может быть, их правильнее называть теперь. Во всяком случае, большую роль, чем представитель русского капитала. Эта птица, вероятно, спокойно будет нести свои золотые яйца под прикрытием царской порфиры, пока чьи-нибудь ножницы не обрежут полы порфиры.

Шлиссельбургская тюрьма
15 декабря 1902 года

„ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ“ НАКАНУНЕ ВОРОНЕЖСКОГО СЪЕЗДА [1]

„Назвался груздем, — полезай в кузов!“ Вот с чем я прежде всего обращаюсь к читателям „Былого“.

Пока я сидел в Шлиссельбургском застенке и смотрел на мир божий через решетку, мне казались все пережитые мной события, начиная с 74 года и вплоть до моего ареста в 80 году, 22 февраля, такими бесспорными и простыми, что следует только поведать их миру, и они всем будут казаться таковыми же. Вот почему, когда редакция „Былого“ предложила мне написать о Воронежском съезде, я с легким сердцем согласился исполнить ее желание. Теперь же, по мере того, как горизонт предо мной раздвигается и я знакомлюсь с мнениями и взглядами других на пережитые мной события, я начинаю думать, что я поступил несколько легкомысленно, взяв на себя такую задачу, еще не вполне осмотревшись на воле. Мне становится с каждым днем все ясней и ясней, что Воронежский съезд, о котором я должен буду дать отчет читателям „Былого“, был явлением не таким простым, каким он казался мне в Шлиссельбурге. Я теперь узнал то, чего я прежде не знал. Я узнал, напр., что о Воронежском съезде и событиях, предшествовавших ему, существует два мнения, одно другое оспаривающие. Это именно и навело меня на мысль, что простое описание съезда, если б я даже и мог по памяти восстановить все то, о чем на этом съезде велись дебаты,— чего, конечно, моя память не в состоянии воспроизвести,— то и в таком случае Воронежский съезд для многих остался бы непонятным, ибо все дебаты, вне связи со всем предшествующим Воронежскому съезду, ничего не сказали бы ни уму, ни сердцу читателя. Помимо этого соображения, в виду наличности разногласия мнений по поводу

---

[1] „Былое“, 1906 г., № 8.

Воронежского съезда, или, вернее, по поводу того, чем он был вызван, сказать просто, что это было не совсем так, как думает такой-то, и не так, как думает другой, а так-то и так-то,—значило бы не сказать ровно ничего, а прибавить к существующим уже мнениям еще одно новое.

Для меня такая задача кажется неблагодарной. К Вонежскому съезду и к событиям, предшествующим ему, пора отнестись с беспристрастием историка, а не сторонника той или другой партии.

Понимаю хорошо, что я недостаточно подготовлен к тому, чтобы выполнить задачу мою именно так, как я находил бы это нужным.

Прежде чем взяться за такую задачу, мне следовало бы познакомиться с существующим литературным материалом, имеющим отношение к Воронежскому съезду. Может быть, со временем я так и поступлю. Пока же я прошу моих читателей помнить, что я пишу только то, что осталось в моей памяти об этом.

Начну с того, что познакомлю моих читателей с той точкой зрения, с которой я смотрю на эволюцию программы „Земли и Воли“ к программе „Народной Воли“. Я думаю, что моя точка зрения на социальные явления сделалась общепризнанной в социологии, и мне кажется, что она в достаточной степени выяснена Марксом в его „Исторических очерках Германии“.

„Времена суеверия, приписывающего революции проискам немногих агитаторов, давно прошли. Теперь всякий знает, что, где есть революционные судороги, там должна быть за ними какая-нибудь общественная потребность, удовлетворению которой мешают устарелые учреждения. Потребность эта может ощущаться еще не так сильно, не так повсеместно, чтобы обеспечить непосредственный успех... Задачи — в изучении причин, обусловивших как прошлый взрыв, так и его поражение, причин, которые нужно искать не в случайных поступках, талантах, недостатках, ошибках или измене некоторых вождей, а в общем социальном положении и бытовых условиях каждой из потрясенных наций“. Затем, мне кажется далее, что в 70-х годах состояние России было таково, что по отношению к ней с большим, быть может, правом мож-

но сказать то, что сказал Маркс в том же самом труде по поводу Германии в 40-х годах. „Развитие условий существования многочисленного, сильного, концентрированного и сознательного класса пролетариев идет рука об руку с развитием условий существования численно богатого, концентрированного и влиятельного среднего класса. Движение рабочего класса никогда не принимает исключительно пролетарский характер, пока различные части средних классов и, в частности, наиболее прогрессивная доля их не завоюют политической власти и не переделают государства сообразно своим потребностям". Всего этого в 70-х годах в России не было, и наш капиталист вместе со всеми обывателями России, в том числе и с пролетарием, находился в полной опеке бюрократического абсолютизма.

Для полного выяснения моего взгляда на социальные явления считаю нужным сказать, что я не думаю, что высказанное Марксом о Германии буквально должно повториться и в России. Не нужно думать, чтоб эти подробности в изменении государственного строя непременно изменились бы в направлении специфических потребностей капиталистического строя. Так это было на Западе, но так ли это будет и у нас или, по меньшей мере, в такой ли степени,—это будет зависеть от исторического соотношения социальных сил, с одной стороны, у нас, и с другой стороны — от соотношения таковых же сил в Европе, которое, несомненно, при наличных международных отношениях отразится и у нас. За это говорит, напр., хоть бы то, что Россия не переживала того болезненного процесса возникновения капиталистического производства в ней, каковой пережила Англия. Роды капитализма в России сравнительно с родами капитализма в Англии прошли не так болезненно и гораздо быстрее.

Я буду смотреть с этой точки зрения на мои иллюстрации пережитых событий партией „Земли и Воли" накануне Воронежского съезда. Не заходя в более ранние периоды революционного настроения выступившей на арену политической деятельности интеллигентной молодежи, я ограничусь тем, что при помощи иллюстраций событий и настроения представителей партии „Земли и Воли" постараюсь познакомить с тем, как и почему программа „Земли

и Воли" эволюционировала в программу „Народной Воли". Но предварительно я остановлюсь вот на чем. В предисловии к „Истории революционных движений в России" Туна мой очень близкий в то время по взглядам товарищ Г. В. Плеханов познакомил меня со взглядами на Воронежский съезд и события, предшествующие ему, как своими, так и г. Серебрякова. Я разыскал потом и брошюру Серебрякова. Прочитав и то и другое, я пришел к заключению, что как Г. В. Плеханов, так и Серебряков, первый защищающий деревенщиков, второй—горожан, взяли совершенно не соответствующие действительности подразделения партии „Земли и Воли". Насколько я помню, „Земля и Воля" пред разделением на партии „Народной Воли" и „Черного Передела" не делилась ни на специалистов деревенщиков, ни на специалистов горожан. В самом деле, кто были накануне раздела „Земли и Воли" А. Д. Михайлов, М. Ф. Фроленко, Квятковский, Желябов, Баранников, Гартман, Богданович, Соловьев и пр.? Я думаю, что все эти революционеры, только в конце 78 года начавшие появляться в Петербурге, могут считать себя не в меньшей степени деревенщиками, чем те, кто составлял правую в партии „Земли и Воли"; явились они в город не с готовым намерением покинуть деревню и посвятить себя деятельности городской, вступить из чувства мести в непосредственную борьбу с правительством, как это говорит Г. В. Плеханов. Я не отрицаю, что чувство мести клокотало в груди революционеров в большей мере, чем у других обывателей России того времени. И это само собой понятно, потому что суровая рука правительства давила главным образом на них, людей, ставивших себе задачей реализовать свои идеалы в жизни; но странно было бы думать, что только личная месть революционеров могла толкнуть их в непосредственную борьбу с правительством и развить в такой мере их деятельность, грандиозность которой, приняв во внимание условия, при которых им приходилось действовать, никто не станет отрицать. Несомненно, значит, нужно допустить, что их чувство мести к правительству разделяли все честно мыслящие и политически развитые люди того времени, чем и объясняется то сочувствие, которое революционеры встречали в культурных слоях общества. А тогда почему не сказать, что государ-

ственный режим уже и в то время так был узок в своих рамках, что для всех людей с общественными стремлениями было ясно, что в рамках его никакая, не говорю уж политическая, но и социальная в самых простейших формах деятельность, напр., образование народа, не была возможна? Да и для одних ли политически развитых людей так это казалось!

Ниже, возражая Г. В. Плеханову, по мнению которого, революционеров толкнуло в сторону от деревни то обстоятельство, что крестьянство, к которому явились они с проповедью социализма, вырисовалось перед ними как представитель труда, который его собственными производственными отношениями толкался в сторону от социализма, я скажу о тех впечатлениях, которые и я сам вынес из столкновения с крестьянством на этой почве, а также и о впечатлениях других, предпринимавших экскурсии в народ. Сейчас же я покончу с вопросом, кем были накануне образования „Народной Воли" будущие видные ее деятели. Я решительно утверждаю, что большинство из них смотрело на деятельность в деревне, как и все знакомые с деревней, и ясно представляло себе деятельность там. Скорее, они увлеклись „непосредственной борьбой с правительством" благодаря своему боевому темпераменту и сознанию, что деревенская деятельность без грозной разрушительной организации в центрах мало будет иметь значения. В то время все представители партии „Земли и Воли" ясно сознавали, что вызвать революцию можно не организацией в слоях народа, а, наоборот, сильной организацией в центре можно будет вызвать революционные элементы и организовать из них революционные очаги. Относительно А. Д. Михайлова читатели найдут подтверждение сказанного мной в автобиографии самого Александра Дмитриевича. Я только прибавлю, что когда Александр Дмитриевич возвратился из своих экскурсий в область сектантов Саратовской губернии, мне пришлось быть в то время в Петербурге, и я собственными ушами слышал, с каким энтузиазмом он говорил о благодарной деятельности в этой области, и возвратился он оттуда в Петербург не с целью вступить в „непосредственную борьбу с правительством" из чувства мести, а с намерением навербовать себе товарищей для деятельности в среде са-

мого народа. И если в исходе 78 года он отказался с болью в сердце от своих планов, то только потому, что он понимал ясно, что каких бы он ни достиг результатов среди сектантов Поволжья, все же его организационные работы в среде этой представлялись бы оторванным ломтем и оставались бы таковыми до тех пор, пока не образовалась бы в центре могущественная боевая организация, способная непосредственно вступить в борьбу с правительством не из чувства мести, а с надеждой поколебать уверенность правительства в то, что единственное лечение революционной судороги того времени кроется в репрессиях. О Баранникове, Фроленко, Колодкевиче, В. Н. Фигнер, Богдановиче и других, мне кажется, я имею основание сказать то же. В конце 78 года, после убийства Мезенцова, мне пришлось довольно долго прожить с Баранниковым в Воронеже, и в этом отношении он вполне разделял мнение мое и Квятковского. В конце 79 года, уже после Воронежского съезда, когда пред партией „Земля и Воля“ стоял вопрос, как быть с либералами, — и когда Желябов, в то время стоявший за чисто политическую программу, предлагал совершенно прекратить писать в органе „Земля и Воля“ об аграрном вопросе, дабы не отпугивать либералов, которые относятся к партии „Земля и Воля“ с недоверием и считают представителей организации „Земли и Воли“ волками в овечьей шкуре, Баранников был против этого и предлагал мистифицировать либералов изданием особого листка от Исполнительного Комитета, программа которого должна была быть только политической, продолжая издание газеты „Земля и Воля“ по той же программе. Таким оставался Баранников и до конца моей свободной жизни. Накануне моего ареста я получил от Баранникова письмо, в котором он писал мне, что устал от напряженной террористической деятельности и что он желает только одного,—поскорее покончить с начатым уже делом. „Ей-ей,—писал он мне,—только одно удерживает меня здесь: не хочется оставить раз начатое дело неоконченным! Как только дело (убийство Александра II) будет окончено, нужно будет приняться за осуществление воронежских поселений“. В таком же роде было и письмо Перовской ко мне, переданное мне в Киеве Владимиром Жебуневым в день

моего ареста, с которым я был арестован и которое каким-то чудом осталось нетронутым в моем кармане и было уничтожено мной, когда я уже был под замком [1]. С Ширяевым я помню мой разговор в Воронеже уже в то время, когда я был в этом городе, во время моих поездок по юго-востоку, когда в качестве уполномоченного от партии „Земли и Воли" имел поручение созвать членов „Земли и Воли" на съезд. Ширяев сказал мне, что он сам крестьянин и, конечно, будет стоять за то, чтобы программа „Земли и Воли" принципиально оставалась той же, какой она была до последнего времени, и никогда не откажется от основных положений „Земли и Воли", хотя и находит нужным расширение дезорганизаторской деятельности, входящей в программу „Земли и Воли" со времени ее основания.

Каково было, вообще, общее настроение революционеров в это время, видно из следующего. Возвратившись в Петербург после объезда вновь юго-восточных губерний с резолюциями, к которым пришел Воронежский съезд, я по пути на конке в Лесной, где была одна из наших конспиративных квартир, разминулся со Стефановичем, почему и узнал, что он и Дейч возвратились из-за границы. В квартире, куда я ехал, я застал только одну В. Н. Фигнер, сообщил ей, что встретил Стефановича, и спросил, что думают Стефанович и Дейч о воронежских резолюциях. Вера Николаевна сказала мне так: когда Тихомиров спросил Стефановича, что он скажет на то, если главные силы и средства партии будут направлены на борьбу с центральным правительством, и прибавил, что Воронежский съезд пришел к такому решению, то на это Стефанович ответил Тихомирову словами: „Что же делать, если таково общее настроение!" Кратко: нужно было бы пережить то, что переживали в этот момент землевольцы, чтобы судить о том, какое царило настроение среди них.

Я лично принадлежал к правой „Земли и Воли", не потому, что я был против борьбы с центральным правительством, а потому, что левая была сильней, и мне

[1] Перовская писала из Курска и в письме сообщала адрес гостиницы, где она остановилась, и представьте себе: полицейский чин полез в карман и не взял письма; я думаю — умышленно.

казалось, что она круто поворачивает в сторону чисто политической борьбы, и тем не менее я принимал деятельное участие косвенно и непосредственно во всех террористических актах, которые были совершены в период от конца 78 года вплоть до раздела партии „Земли и Воли“. И не подвернись Стефанович с надеждами его на то, что в Чигирине вновь возможно будет сорганизовать крестьянство, не прибегая к мистификациям с царскими манифестами, то, вероятно, я остался бы и продолжал мою революционную деятельность со старыми моими товарищами по революционному делу и мне не пришлось бы выйти из партии, чтобы через какой-нибудь месяц, полтора вновь войти в нее. Предо мной, как будто это было всего вчера, стоят как живые, молчаливо, с укором на лице, не то себе, не то мне, подписавшие вместе со мной условия раздела партии „Земли и Воли“. Помню, как больно отозвались в моем сердце слова Тихомирова, — увы! так далеко теперь ушедшего от нас: „Кто-кто, Родионыч, а вы пожалеете о разделе! Ведь все мы остаемся теми же самыми, что и были, и различаемся только в оценке настоящего момента“. И у меня едва повернулся язык сказать ему в ответ: „Раз завертевшееся колесо в одну сторону, трудно будет поворотить в другую“.

Накануне Воронежского съезда я был ближе всех с Квятковским; с ним мы спали бок-о-бок в одной телеге в наших скитаниях по Воронежской губернии с конца июня до 20 ноября 78 года и знали поэтому душу друг друга, как могут узнать только люди с одной заветной думой в голове, когда им остается одна возможность поверять свои мысли и чувства только друг другу. В начале 78 года составилась в Петербурге поселенческая группа.

Квятковскому и мне выпало на долю произвести рекогносцировку Воронежской губернии, где предполагала эта группа расселиться. После попытки освободить Мышкина по пути в централку я, Квятковский, Мария Николаевна (Ошанина), Баранников и М. Ф. Фроленко собрались в Воронеже. Купили мы в Воронеже лошадь и, нагрузив телегу товаром, я и Квятковский отправились сначала по направлению в Нижнедевицк, где незадолго пред тем поселились доктор и две фельдшерицы: Наталья Николаевна Оловенникова и Геронимус.

Здесь не место подробно останавливаться на наших похождениях и говорить подробно о тех впечатлениях, которые мы переживали и вынесли из нашего скитания с ярмарки на ярмарку и из села в село. Достаточно сказать, что мы нашли самым подходящим для целей наших Бобровский уезд, именно ряд сел: Чесменку, Козачковку, Хреновое и др. Все это — имения дворцового ведомства, между экономиями которого и крестьянством существовали такие обостренные отношения, о которых мне нигде раньше ни слышать, ни видеть не приходилось. Не малое значение в обострении этих отношений сыграло и то обстоятельство, что в это время, как говорила молва, не по своей доброй воле проживал в Чесменке Николай Николаевич Старший, а неподалеку от него, в Козачковке — Числова (актриса), и в самый разгар полевых работ они занимались травлей волков, для облав на которых сгонялись крестьяне, невзирая на то, что этим самым их отрывали от полевых работ, — работ, не терпящих откладывания.

Мы с Квятковским решили, что Бобровский уезд — самое подходящее место для поселения воронежской группы, и, отбыв ярмарку в Урюпинской станице, в конце октября направились в Воронеж. Квятковский довез меня до одной станции, и я отправился по железной дороге в Воронеж, а сам он отправился в село Корневище Коротоякского уезда, чтоб там оставить лошадь и товар у знакомого нам крестьянина Гукова. Мы отправились в Воронеж, чтоб познакомить, по нашим предположениям, уже собравшуюся в Воронеже нашу группу. Но в Воронеже нас ожидало письмо от А. Д. Михайлова, в котором он сообщил нам о разгроме в Петербурге и об аресте многих членов из предполагаемой воронежской группы. Александр Дмитриевич сообщил нам, что он остался без всяких средств и почти один, и предлагал немедленно продать все, что можно продать, и ехать в Петербург. Приискав безопасное место для Баранникова в одном имении Харьковской губернии, так как Александр Дмитриевич рекомендовал позаботиться о его безопасности, мы с Квятковским стали обсуждать, — как нам быть в виду настоятельного требования Александра Дмитриевича? Как это ни было нам горько, что наши планы о поселении приходится отложить и притом в такой момент, который казался нам таким

благоприятным, тем не менее мы ясно понимали, что пока Петербург, как центр нашей организации, не будет восстановлен, наши усилия, при всех надеждах на возможность организованного протеста среди крестьян против насилий и безобразий, которые совершались местной администрацией, чтоб сделать все возможное и даже невозможное для великокняжеской охоты, останутся отдельным фактом и потому безрезультатным. И мы скрепя сердце решили, что я отправлюсь в Петербург. Но в то же время у нас было твердое намерение не откладывать надолго план предполагаемого поселения в Воронежской губернии. Квятковский, провожая меня в Петербург, напутствовал меня советами не поддаваться соблазнам деятельности в Петербурге и, как только дело мало-мальски наладится в Петербурге, ехать обратно в Воронеж. Он же решил оставаться в Воронеже и уехать в Петербург в том только случае, если я найду, что его приезд туда настоятельно необходим.

Приехавши в Петербург, я нашел, что за время от разгрома, который лишил нас таких товарищей, как Адриан Михайлов, Ольга Александровна Натансон, Коленкина и другие, до того времени, как я приехал в Петербург, А. Д. Михайлов настолько успел заделать бреши, причиненные III отделением нашей организации, и настолько обеспечил в денежном отношении организацию, что чувствовался недостаток только в руководящих людях, чтоб приступить к организации таких фактов, как отмщение шефу жандармов Дрентельну за погром, только что пережитый, и изъятие особенно вредных шпионов, как напр. Рейнштейна. Все единодушно решили, что в таком направлении на первых порах и предстоит деятельность. Я помню такую сцену. Некто, остающийся в живых и по сие время, нарисовал медведя и вдали охотника, прицелившегося в него. Показывая свое произведение мне, он спросил, что я думаю на этот счет. Понимая вполне содержание рисунка, я ответил ему, что те впечатления, с которыми я возвратился сюда из моего путешествия по Воронежской губернии, за то, что в центре необходимо создать грозную боевую силу, если желаем всколыхнуть Россию. Мысль, высказанную мной, поддержал Тихомиров, заявив, что и он с тем же впечатлением возвратился из провинции.

Пишу Квятковскому под свежим впечатлением того, что я нашел в Петербурге, и сообщаю, что нужда большая ощущается в людях. Приезжает Квятковский. При встречах наших в первые дни он неоднократно, делясь со мной своими мыслями, навеянными Петербургом, говорил мне, что все это, несомненно, необходимо, но на это можно найти людей и здесь, мы же должны помнить, что у нас есть начатое дело, и мы не должны бросить его.

На время, короткое в обыкновенной жизни, но продолжительное в переживаемое тогда нами время, когда в Петербурге деятельность кипела ключом и одни впечатления сменялись другими, мы расстались с Квятковским. Я уехал в начале января, а во второй половине марта я опять в Петербурге и нахожу всех моих друзей, стремящихся по наклонной плоскости к той деятельности, которая стала потом программой партии „Народной Воли". И увы! Квятковский, который так предупреждал меня не поддаваться соблазнам городской деятельности, сам нуждался теперь в советах. Как раз в то время, как я приехал в Петербург, в тот же вечер в совете обсуждался вопрос о покушении на убийство Александра II. Правая партия была против этого акта, я тоже был в рядах правой по этому вопросу. Мне казалось, что убийство Александра II будет политической ошибкой партии, ибо Александр II в глазах народа — освободитель миллионов русских крестьян от крепостного рабства. То же обстоятельство, что роль освободителя была навязана ему безвыходным положением после Крымской войны, а также и то, что царствование вслед за реформами мало в чем отличалось от царствования его отца и под конец сделалось столь же реакционным, — это могло быть оправдательным документом в глазах историка, среднему же обывателю России того времени все эти тонкости оставались неизвестными. Кроме всего этого, среди правой партии „Земли и Воли" ходил слух, что решившийся взять на себя убийство Александра II был не кто другой, как Гольденберг, еврей по национальности, и это еще более подкрепляло меня и правую сторону в том, что это будет роковой ошибкой „Земли и Воли". Совет по этому поводу был самым бурным. Когда со стороны левой было заявлено, что некто просит довести до сведения организации „Земли и Воли" о своем решении

во что бы то ни стало пойти на убийство Александра II и что он останется при этом своем решении и в том случае, если организация выскажется против и откажет ему в помощи в этом деле, то поднялась целая буря. Помню, одна из дам подходила поочередно то к правой, то к левой совета с просьбой успокоиться и помнить, что может услышать прислуга, у которой к тому же сейчас в гостях дворник; все это мало успокаивало взволнованный совет. Особенно потеряли меру два друга, я и Квятковский, очутившиеся в этот раз в противоположных лагерях. Я, в качестве правого, заявил: „Гг., если среди нас возможны Каракозовы, то поручитесь ли вы, что завтра из среды нашей не явится и Комиссаров со своим намерением, не стесняясь тем, как отнесется к его намерению наша организация?“ На это Квятковский с такой же запальчивостью ответил по моему адресу: „Если Комиссаровым будешь ты, то я и тебя застрелю“. Но каким бурным это заседание совета ни было, о разделе и речи в это время еще не заходило. Чаще конфликты случались между редакторами „Земли и Воли“, люди же дела после столь бурного заседания ясно сознавали, что в единении нашем сила, и в тот же вечер в ложе театра я, Квятковский, Михайлов, Зунделевич (других не помню) вновь обсудили этот вопрос. Здесь я узнал, что этот некто, решившийся на столь важный факт, не еврей и что, так или иначе, „Земля и Воля“ не должна остаться в стороне в этом деле.

Я остановил внимание читателей „Былого“ на этом факте, чтоб показать, как еще крепки были узы, связывающие членов организации „Земли и Воли“, что даже и такие противоположные взгляды, как в данном случае взгляды на цареубийство, не грозили разделом. Правда, этот острый конфликт по поводу намерения Соловьева ясно дал понять всем необходимость общего съезда землевольцев; но о разделе в это время никто не думал. Объясняется это не одним товариществом и доверием друг к другу членов организации „Земли и Воли“, но и тем, что теоретические взгляды большинства членов „Земли и Воли“ немногим разнились. Все, или, по крайней мере, большинство единодушно сознавали, что только сила грозная, импонирующая народу и культурному обществу, сила, способная

непосредственно вступить в борьбу с правительством, может надеяться всколыхнуть недовольные, но пока инертные элементы, рассеянные в достаточном количестве в России. Вопрос состоял лишь в том, каким путем и какими средствами создать эту грозную боевую организацию. Начать ли с конька государственного здания России или постепенно подойти к коньку? Конечно, было бы хорошо одними и теми же средствами стремиться к этой цели и сверху и снизу, и это подсказывалось самой жизнью.

Когда я выехал из Петербурга, за два дня до покушения Соловьева, с полномочием созвать съезд землевольцев в одном из городов средней России, то в Козлове на вокзале кондуктор, приехавший из Ростова, держал к толпе, окружившей его и разбиравшейся в двух событиях дня, о которых только что телеграф принес известия — о покушении на жизнь государя и бунте в Ростове-на-Дону, — такую речь: „Когда, — говорил он, — революционеры решили убить царя, то они разослали по всем городам своим агентам приказ разгромить полицейские участки и перебить все начальство, и если б Соловьев убил государя, то, что произошло в Ростове, было бы везде по России; но Соловьев промахнулся, и потому из Петербурга был послан приказ повременить; но в Ростов то ли не попало второе распоряжение, то ли они забыли послать туда; в Ростове поэтому и произошел разгром полиции". Несомненно, это—создание народной фантазии, ни больше, ни меньше, тем не менее оно реально представляет ту программу, которая привела бы революционеров к победе. И такая программа представлялась нашим умам ясно; но, вероятно, в то время не созрели еще ни силы, нужные для этого, ни средства. По крайней мере, я, вместе с толпой слушавший эту фантазию кондуктора, сказал про себя: вот наша программа, устами кондуктора провозглашенная. Открытым, следовательно, вопросом было, — могли ли землевольцы выполнить такую программу или нет, и решение его, конечно, обусловливалось наличностью накопленности революционного чувства во всех слоях тогдашнего общества; но что на этот вопрос был лишь этот один ответ, т. е. что только сильная и грозная боевая организация могла всколыхнуть матушку Русь и принудить правительство пойти на уступки, в этом никто не сомневался.

Теперь приступаю к вопросу: только ли политически развитые люди, так называемая интеллигенция, находили тесными рамки бюрократического строя России, или узость этих рамок если не создавалась, то чувствовалась и некультурным обывателем России. И правда ли то, что говорит Г. В. Плеханов в своем предисловии к Туну, т. е. будто бы революционеров оттолкнуло от революционной деятельности в деревне то, что пред ними вырисовалось крестьянство, как представитель труда, который его собственными производственными отношениями толкался в сторону от социализма? Вот что приходилось слышать о нас, революционерах, в некультурных слоях России. Сидим мы с Львом Николаевичем Гартманом в его квартире в Тамбове и слышим за стеной разговор сейчас возвратившихся с молебна по поводу спасения государя от руки убийцы хозяина квартиры Гартмана и его гостя. Гость возмущается злодейством Соловьева и предлагает самые суровые меры против революционеров; хозяин же в ответ на его возмущение говорит: „Я тебе скажу, — нет дыму без огня! Помнишь, вот этот наш,—ведь он из нашей губернии,—который тоже стрелял в государя, Каракозов... Я слышал — пришел к нему в тюрьму Муравьев и говорит ему: ты должен мне сказать все, — знаешь, ведь я русский медведь! А тот ему в ответ: я тоже, говорит, белый медведь, и сказал ему что-то. Что сказал, — не знаю и врать не буду, а только слыхал я, что когда Муравьев передал эти его слова государю, то государь на это вот что сказал Муравьеву: эту тайну ты должен унести с собой в могилу, и тут же показал ему шелковый шнурок, т. е. понимай, мол! Вот оно и выходит, — дело-то не так просто, братец ты мой! Нам, темным людям, многое невдомек, а образованные люди все это по-писанному разбирают, и у них все это как на ладони".

Или вот. Выехал я встретить Фроленко в Козлове, предупредить, что съезд состоится не в Тамбове, как предполагалось, а в Воронеже. В ожидании поезда на Воронеж мы зашли в трактир напиться чаю. В трактире сидит группа прасолов и ведет разговоры о нашем брате, революционере. Один из них резюмирует обмен их мыслей так: „Мы смотрим, братцы мои, на все, что кругом нас делается, нашими темными глазами, а ведь они смотрят в

микроскоп, и то, что нам кажется в горошину, то им в гору представляется. Если правду сказать, — неправды в нашей матушке России много". А вот что я слышал в парикмахерской в Киеве, после взрыва в Зимнем дворце. Телеграмму о взрыве принял сочувствующий революционерам телеграфист и, конечно, тотчас же сообщил нам. Я вышел на Крещатик в ожидании телеграмм, чтоб видеть, какое это известие произведет впечатление на публику. Оказалось, что Судейкин задержал опубликование телеграммы, как сам на суде сказал он нам, чтоб установить тот факт, что революционеры знали в Киеве о имеющем быть взрыве, ибо до него дошли сведения, что на одном из базаров города Киева предполагалась демонстрация [1]. Наскучив шататься по Крещатику в ожидании телеграмм и не желая мозолить собою глаза полиции, которая, по моим наблюдениям, тоже была настороженна в ожидании чего-то необычайного, я зашел в парикмахерскую. Только что парикмахер принялся за мою голову, вскакивает из соседней пивной какой-то господин с телеграммой в руке, по всем видимостям, знакомый парикмахера, и как громом поражает публику: „Взрыв в царском дворце!" Сидевший тут же какой-то полицейский чин, вероятно, как и я, зашедший к парикмахеру в ожидании телеграмм, схватил со стола фуражку и помчался на улицу. В парикмахерской происходит обмен мнений по поводу необычайного события. И вот что я слышу: „И что думает наше правительство! Взрыв под Москвой, теперь взрыв во дворце, а там завтра революция... Чего же будет потом, — резня!.. Так же нельзя, правительство должно выслушать их и обратить внимание на те непорядки, на которые ему указывают. Ведь это не какие-нибудь люди, это люди ученые! Зачем тогда и ученые люди, ведь зачем же нибудь их учат?"...

Мне на это могут сказать, что это отдельные случаи. Может быть, пока таких случаев было еще и немного, я хочу сказать только, что такие разговоры вызывались, несомненно, творцами таких фактов, как взрыв, и эти раз-

[1] Действительно, в ожидании счастливого исхода взрыва, готовилась демонстрация на так называемом Житнем базаре, имеющая выяснить цель взрыва.

говоры, несомненно, множились бы по мере развития деятельности в этом роде,—другими словами, этими фактами русское общество революционизировалось, и мне кажется, что я в праве думать, что если б наличные силы людьми и средствами позволили народовольцам развить их деятельность в больших размерах, если б предательство Гольденберга и Дегаева не подорвало этих сил, то тот переполох, который уже начал проявляться среди состоятельных классов (ведь известно теперь, что после взрыва в Зимнем дворце знать и богатые классы прятали и увозили свои драгоценности за границу), заставил бы уже и тогда потерявшееся правительство пойти на большие уступки, чем те, на которые оно уже было готово пойти в диктаторство Лорис-Меликова, даже и при той степени развития революционной деятельности в этом направлении, которой оно достигло в этот момент. Что же касается крестьянства и деятельности революционеров среди него, то мне кажется, что крестьянство остается и теперь таким же, каким оно было и в наше время; деятельность среди него с тех пор ни мало не изменилась—и разница только в интенсивности революционного чувства среди крестьян в наше время и теперь. Если Г. В. Плеханов прав, и действительно крестьянство своими производственными отношениями толкается совершенно не в ту сторону, какую рекомендует ему революционер, то еще в большей степени эти производственные отношения должны были бы толкать и теперь в этом направлении крестьянство. За эти почти 30 лет эти производственные отношения должны были выступить еще более резко, если иметь в виду, что за это время капиталистическое производство сравнительно далеко ушло. Правда, с того времени умственный кругозор крестьянина стал шире, с одной стороны, под влиянием изменившихся условий передвижения,—пароходы и железные дороги, несомненно, усилили социальное трение, — а с другой стороны, и народное образование с умножением школ сделало прогресс. Но ведь новые данные народной жизни могут представлять плюс при моем взгляде на социальный прогресс, в глазах же Г. В. Плеханова, как социал-демократа, это скорее минус, чем плюс в развитии революционного чувства среди крестьянства. Ужели и в наше время производственные отношения крестьян требуют повелительно от

революционеров пройти мимо крестьянства, невзирая на то, что крестьянство составляет 80% населения России? Отвечу на это несколькими иллюстрациями отношений крестьянства к революционерам нашего времени. Алексей Андреевич Емельянов, осужденный по делу Казанской демонстрации под именем Боголюбова, вместе с Мозговым, и ныне здравствующим где-то в Забайкалье, проживали в деревне Пески, Воронежской губернии, Хоперского уезда. Им удалось в такой степени достигнуть доверия среди крестьян, что, когда жандармы явились арестовать Мозгового, бывшего в Песках волостным писарем, то крестьяне с кольями в руках окружили волостное правление, чтобы не допустить ареста своего писаря, и Мозговой только потому был арестован, что не хотел сам воспользоваться предложением крестьян увезти его, чем воспользовался Боголюбов. Вот что рассказывал мне Алексей Андреевич о своей деятельности в Песках. Был он с одним крестьянином Семеном в поле на работе. Нужно сказать, что это было приблизительно в 74 году, когда мы, юные революционеры, думали, что и крестьяне так же легко могут разбираться в сочинениях Лассаля и Прудона, как и мы, и потому не стеснялись подкреплять свою пропаганду ссылками на Лассаля и Прудона. Мне кажется, что иллюстрацией этого примера успеха пропаганды среди крестьян я дам возможность читателю представить себе, насколько крестьянство и в то время способно было итти за людьми, сулящими ему исполнение заветной мечты—доступиться матушки-земли. Из этой маленькой картинки читатель ясно увидит, что крестьяне каким-то чутьем угадывали в пропагандистах своих истинных друзей. Проходят на Дон крестьяне Пензенской губернии и заходят на поле к Семену напиться воды. Семен честь-честью приглашает присесть случайных гостей, угощает водой и начинает держать к ним такую речь: „Чьи будете и куда бог несет?“ Получив в ответ, что гости его идут на Дон на заработки, Семен спрашивает: „Скажите мне, будь у вас земли вдоволь, сколько вашей силушки хватит одолеть ее, кормилицу, пошли ли бы вы на край света киселя хлебать?“— „Что говорить,—отвечают гости,—кто от добра добро ищет? Сам знаешь, братик мой,— нужда всех нас гонит,—вот кто“.—„А кто тому причиной,—спрашивает вновь Се-

мен, — скажи-ка мне, — кто тому причиной, что у нас земли нет? Не знаешь, — спешит с ответом на поставленный им же вопрос Семен,—так слушай: царствие, жандармствие, дворянствие, поповствие. А вот если б всех их, аспидов наших, залассалить, запрудонить, дело бы то приняло другой оборот и не было бы у нас на Руси, что у одного чрез край, по горло, вон как у нашего барина, а у других, прямо сказать, нет ничего. И я вот тоже все к господу вздыхал, — а что им господь, коли в их руках сила, — да вот, спасибо, люди открыли глаза,—указывая на Алексея Андреевича, сказал Семен. — И я тебе теперь прямо говорю: пока в их руках власть, не видать крестьянству земли, как ушей своих".

То же самое было и в Саратовской губернии. И там точно так же, когда, после покушения Соловьева, расследование дела о нем обнаружило, что Соловьев пред этим был в Вольском уезде поселенцем вместе с другими, то революционеры избегли ареста только благодаря помощи крестьян. Подробности об этом я слыхал и от Богдановича в Тамбове и от Иванчина-Писарева в Петербурге, но за давностью лет забыл. Но вот чего я сам был свидетелем. Проездом через Тамбов я остановился у Девеля, у которого проездом же был в это время прокурор, производивший следствие по этому делу среди крестьян в Вольском уезде Саратовской губернии. Прокурор этот передавал нам о своих впечатлениях, вынесенных им из опроса крестьян. Не зная, кто мы, он с горечью в сердце говорил нам, что никогда и в мыслях не допускал, чтобы революционеры так глубоко пустили корни среди крестьянства. „Мы, жители города, ровно ничего не знаем, что делается под нашим носом в деревнях наших, — говорил прокурор. — С кем из крестьян мне ни приходилось говорить—и мужики, и бабы самого лучшего мнения о них. Особенно восторженные отзывы я слышал об одной фершалке, как они называют. Эта фершалка, по их словам, какая-то богородица. Уверяю вас,—говорил негодующе прокурор,—один из ямщиков так-таки и сказал мне: „Что уж и говорить, барин, — наша фершалка на редкость. Уж истинно кого господь захочет благословить на добрые дела. Придешь это к ней: ночь ли, дождь, и какая там ни будь погода, — ни тебе

слова! Села себе и поехала, а то и пеши пошла. Просто сказать вам, барин, истинно святая душа!"—„Да знаешь ли ты, говорю я ему, — передает нам прокурор, — что это за люди? Ведь это враги царя, враги закона". А он себе, ровно это для него такие пустяки, о которых и говорить не стоит, отвечает: „Насчет этого ничего вам, барин, не могу сказать. А что она вот какой человек, как я вам докладывал, это истинно так, как перед богом говорю".

Я мог бы многое порассказать об этом и из моих личных воспоминаний в моих скитаниях по Волге вместе с Медведевым и по Воронежской губ. с Квятковским, и читатель увидел бы, что завоевать симпатии крестьян в такой мере, чтоб потом вести среди них пропаганду совершенно откровенно, не составляло большого труда. В небольшое сравнительно время, в каких-нибудь два-три месяца, мы с Квятковским пользовались таким доверием крестьян, что на ярмарках нас отыскивали. Ни одна баба не соглашалась при продаже своего холста, чтоб купивший ее холст прасол сам мерил. „Продать-то я продам тебе, — говорила баба прасолу, — но мерить пойдем к Ликсандре (Квятковскому), потому он уж смеряет по-божески". И кулак волей-неволей уступал. Пред нашей палаткой постоянно стояла вереница баб с холстами и среди них с аршином в руках Квятковский. В деревне Шестакова Бобровского уезда крестьяне предлагали нам поселиться, обещали построить нам лавку. Мне казалось странным, что люди мало-мальски скомпрометированные уезжали за границу, и в 79 году, на предложение Стефановича ехать за границу, я ответил, что если б я по каким-либо соображениям нашел нужным бросить деятельность в городе, то вместо того, чтоб ехать за границу, поселился бы в деревне Воронежской губернии и находил бы себя там в большей безопасности, чем за границей. Конечно, быть может, это было увлечение, но только в том смысле, что едва ли я чувствовал бы себя удовлетворенным в моих культурных запросах. Я думаю, что в наше время крестьянство вовсе не было недоступно пропаганде, и вопрос состоял совсем не в том, — возможно ли крестьянство вызвать на протесты всякого рода, а в том, насколько создаваемые среди крестьян протесты соответствовали бы наличной подготовке революционной деятельности в центре. Другими

словами, революционные организации в центрах не были еще развиты в такой мере, чтоб они могли использовать в своих целях рассеянные протесты среди крестьянской массы. Революционера на первых порах действительно поражало то, что крестьянство возлагало надежды на царя в улучшении своей горькой доли, но не нужно было особенного ума, и достаточно было небольшого знакомства с психологией народа, чтоб понять в чем дело. Народ не знал иной реальной политической силы, которая могла бы, если б, конечно, хотела, осуществить заветные мечты крестьянства насчет земли. И крестьянство в то время заслуживало упреков не больше в этом отношении, чем и все остальные слои русского общества, не исключая и культурных и даже высокообразованных слоев его. Помню, когда Александр II после взятия Плевны возвращался с театра войны, в Петербургском университете по какому-то поводу происходили студенческие волнения, и профессор государственного права Градовский советовал студентам успокоиться, ибо, — сказал он, — говорят, государь возвращается с войны в благодушном настроении и можно ожидать, что он даст конституцию. Или вот. Во время так называемых контрактов в Киеве я отправился в один из ресторанов, где обыкновенно в то время проводило время дворянство, съехавшееся на контракты, чтоб прислушаться к тому, что волнует дворянство в ожидании 25-летнего юбилея восшествия на престол Александра II. Конечно, разговоры шли о милостях, которые, несомненно, по мнению беседовавшего за бутылкой дворянства, были бы, если б не все эти взрывы и убийства, которые совершает недоучившаяся наша молодежь. Еще приведу один случай из моей революционной деятельности в пользу того, что революционеры конца 70-х годов были правы, думая, что только реальная творческая сила, вступившая в борьбу с правительством, могла всколыхнуть Россию и внушить ей убеждение, что пора перестать возлагать надежды на кого бы то ни было и позаботиться о себе самим. Правда, этот случай из подонков русского общества, тем не менее он хорошо иллюстрирует мою мысль, которая была почти общей мыслью революционеров конца 70-х годов. Сидел я в Ростове в одном торговом заведении у моего знакомого. Входит приказчик и докладывает хозяину, что у амбаров

то ли пьяный, то ли больной кто. „Говорю ему: что лежишь здесь, — шел бы себе куда-нибудь. Молчит, ничего не отвечает“. Выходим вместе с хозяином к амбарам. Действительно, у амбара одного лежит человек. „Что, милый человек, лежишь здесь — болен что ли?“ — спрашивает хозяин. „Чай, сами видите“,—отвечает неизвестный. „Шел бы в больницу, коли болен“, — говорит хозяин. Молчит. Хозяин обращается ко мне и говорит: „Вот и больница есть, но пойди туда, — вылечат, потом посадят в тюрьму и начнут мытарить по этапам. Ведь это босяк. Возьми, Василий, его в контору“. Привели мы его в контору, уложили и принялись лечить. У него был возвратный тиф. Лечили мы его и вместе с тем читали ему революционные издания: „Хитрую механику“, „Сытые и голодные“ и пр. Особенно понравилась ему „Понизовая вольница“ Мордовцева. Наш знакомый оказался крестьянином Петербургской губернии, Ямбургского уезда, звали его Алексей, а среди босяков Алешка. Алешка с каждым днем проникался пропагандируемыми ему идеями социализма, и к выздоровлению он окончательно принял наше учение и сделался сам пропагандистом в своей среде. Интересно то, что по какой-то непонятной нам застенчивости или, быть может, чтоб мы не мешали ему в его своеобразной пропаганде, он в присутствии нашем никогда не заводил речи с босяками в роли пропагандиста, но нам было известно, что он деятельно работает в своей среде. Раз только мне удалось быть свидетелем его пропагандистской деятельности. Проходил я мимо одной харчевни и заметил собравшуюся толпу пред харчевней. Среди толпы, стоявшей кругом, я заметил Алексея. Он с обнаженной головой, наступив одной ногой на шапку, почему-то брошенную им на землю, декламирует из „Парадного подъезда“ Некрасова со своими собственными вставками: „Волга, Волга, Дон и Азовское море, весной многоводной вы не так заливаете поля, как великой скорбью народной переполнена наша земля“, и пр. в таком же роде, с своими прибавлениями. Меня заинтересовала эта сцена, я стою и молча слушаю. Кончил Алексей весь „Парадный подъезд“. В толпе раздалось: „Браво, браво, Алеша! Вот куплетист, так куплетист!!“

"Дураки вы, дураки, — ответил Алексей своей публике, надевая на голову шапку. — Куплетист!.. Вам все театр! Раскусите своей башкой, что я вам сказал. „Не стая воронов слеталась на груды тлеющих костей, — удалых шайка собиралась!" — закончил Алексей словами Пушкина, взятыми Алексеем из известной книги Флеровского, поставленными автором в виде эпиграфа. Молча вышел из круга и пошел по направлению к угольному складу, где он проживал в качестве разгрузчика вагонов с углем. Я остался в толпе наблюдать впечатление, произведенное на нее своеобразной пропагандой Алексея. Толпа угрюмо и молча стояла, не то не оправившись от сурового упрека Алексея, брошенного ей, не то, по совету Алексея, она задумалась над словами поэмы Некрасова. После этого случая я решил воспользоваться Алексеем, чтоб с помощью его проникнуть в среду босой команды, как ее называли в Ростове, и не раз просил его собрать ночью босяков в амбаре склада, но Алексей на мои просьбы отвечал: „Да они, Родионыч, никуда не годятся, как только что слизать, что плохо лежит. Пропащий это народ, — не советую вам с ними возиться. А понадобятся они нам, я отвечаю вам головой, — они будут с нами. Зимой по полушубку и рюмке водки, и они пойдут, куда мы их поведем". Конечно, я не мирился с такими средствами воздействия, предлагаемыми Алексеем, и в этом смысле возражал ему. В конце концов и он задумался над этим вопросом и однажды сказал мне: „Вот что я вам скажу, Родионыч. Смотрите, как ваши босяки, ровно на барина, работают Бориске (еврей, содержавший притон): воду ему носят, краденый уголь ему несут, и все это они делают только за ночлег. Я видел, в вашей компании есть старичок еврей, откройте притон, и босяки в ваших руках. Только я вам прямо говорю, — даром в притон не пускайте. Три копейки и никаких, а то они вас заберут в руки, а не вы их. Довольно будет и того, что вы будете поступать с ними по-человечески и во время болезни не выбросите их на двор, как Бориска". Наконец Алексей уступил моим настояниям и собрал человек десять босяков в одну ночь в амбаре. Начались у нас разговоры. Алексей сидел в стороне и не принимал участия в беседах. Остальные слушали меня и поддакивали. Встает Алексей, подходит к одному и говорит: „Слушай, что я скажу

тебе, Марко. У Родионовича сейчас в кармане 200 р. денег, — верно тебе сказываю, — ну-ка попадись он тебе где-нибудь на Темернике (глухое тогда предместье) или на Богатом (тоже), как бы ты заговорил там? Правду только говори, ведь меня не обманешь!" Аудитория переглянулась, Марко сконфузился и сказал: „Что ты, Алеша, бог с тобой!" — „Бог-то бог, а только вот что, Родионович: дайте им по 3 коп., — пускай они идут к своему Бориске и больше сюда не приходят". Этим и кончился мой опыт с босяками. Я стал замечать, что Алексей смотрит на нас, как на представителей силы, где-то стоящей за нашей спиной. Из разговора между нами, революционерами, он узнал, что люди, подобные нам, есть и в Харькове, и в Саратове, и в Петербурге, и, может быть, по всей России. Словом, мы представлялись ему какой-то таинственной силой, которую ему пока не удается учесть. Не составив себе понятия об этой таинственной для него силе здесь, в Ростове, он просит меня отправить его в Саратов или вообще куда-нибудь на Волгу. Снабдив паспортом, я отправил его в Царицын, где были тоже революционеры. Недели три пробыл он там, затем попал оттуда в Саратов, и в один день возвращается в Ростов. Приходит ко мне под хмельком, от чего он воздерживался со времени нашего знакомства. Спрашиваю о том, как ему понравилось там, на Волге. „Да, что, Родионыч, и там все одни слова, а дела никакого. Я прямо вам скажу, Родионыч, хорошие вы люди, и я полюбил вас всей душой, но скажу вам, если и везде так, как здесь и там, где я был, то все же дело не выгорит". Отвечаю ему, что такие дела скоро не делаются, что нужна для этого дела продолжительная подготовка и пр. Возразить он мне не умеет, но глаза его ясно говорили мне, что все сказанное мной его не убеждает. Самым откровенным образом он высказался после известной расправы Трепова с Боголюбовым в Доме предварительного заключения. По пути в квартиру, где жили Буланов и другие, приехавшие из Петербурга в Ростов, чтоб, преобразившись здесь, отправиться чрез Калач на Волгу, я захватил газету, в которой сообщалось об этой расправе. Нет нужды говорить, какое тяжелое впечатление произвело на нас это насилие над личностью товарища. Мы прочли и, угнетенные новостью, молчали. Был при

этом и Алексей, на которого это насилие тоже произвело тяжелое впечатление. Вот что он тут же сказал мне. „И что вы будете делать, Родионович, после этого? Какой ваш ответ будет?“ Я не нашелся, что сказать ему на это, и молчал. „А я вот что скажу. Моя жизнь — грош ей цена, а и мне жаль бросить ее ни за что!“ — затем попрощался и ушел. После этого я его долго не видел; но, проходя раз по набережной Дона, я увидел Алексея в числе разгрузчиков баржи, подозвал и спросил, что он не заходит ко мне. „Вы знаете, я вас люблю и уважаю, но, право, делать мне у вас нечего. Подумаете еще, что хожу к вам, чтоб получить пятачок“. Два дня спустя после этого он зашел ко мне, убеждал меня бросить это дело, говорил, что ему просто больно думать, что меня засадят в тюрьму. „Вы все говорите: народ, народ, а я вам скажу: народ ваш такой, что коли ему дадут, он возьмет, а самого его с места не сдвинешь“. Это было последнее наше свидание. Он попросил у меня на память „Положение рабочего класса в России“ Флеровского и паспорт, и с тех пор мы не встречались.

Прошу читателя извинить меня, что я так долго остановился на истории моего знакомства с Алексеем. Эта встреча с Алексеем оказала громадное значение на решение мной вопроса, что делать. Она укрепила во мне то убеждение, что только за силой, способной вступить в непосредственную борьбу с правительством, пойдет наш русский народ. Говоря так, я имею в виду наше время, время 70-х годов. Если всем тем, что я до сих пор сказал, я достиг того, что желал, то читатель должен притти к заключению, что никаких ни горожан, ни деревенщиков в действительности не было. И если б у меня спросили, — много ли накануне Липецкого и Воронежского съездов было среди членов „Земли и Воли“ людей, которые признавали лишь только политическую борьбу, и обратно — много ли было людей, которые относились отрицательно к террористическим актам, совершенным до покушения Соловьева на жизнь Александра II, то я затруднился бы дать определенный ответ, ибо разница во взглядах сказывалась скорее, по крайней мере, среди большинства членов „Земли и Воли“, не в теоретических взглядах, а в практической программе деятельности. Было ясно всем,

что средств и людей было слишком мало, чтоб можно было вести борьбу на два фронта, — в одно и то же время и с правительством вверху, и вести к протесту крестьянство внизу. Вопрос, за какое дело приняться в первую голову, — был вопросом, по которому мнения членов „Земли и Воли“ разнились. Одни стояли за то, что нужно в первую очередь поставить на прочную ногу борьбу с центральным правительством. Другие за то, что начатое Соловьевым дело нужно привести к концу. И, наконец, третьи за то, что нужно, путем аграрного террора и особенно мести губернаторам за экзекуции, чинимые ими среди крестьянства, популяризировать себя в крестьянских массах.

Мне теперь остается очертить внешние контуры Воронежского съезда. Сначала я избрал местом съезда землевольцев Тамбов, в предместьи которого, в одном уединенном месте, куда нужно было ехать по реке Цне, и предполагались заседания съезда. В Тамбове уже были: Вера Николаевна Фигнер, Титыч (Тищенко), Иосиф Васильевич (Аптекман), Хотинский, Девель. Из Воронежа и Саратова должны были приехать: Сергеич (Харизоменов), Юрист (Преображенский), Щедрин, Пресняков. Многие из Саратова не могли приехать, так как им нельзя было бросить места, и поручили свои голоса мне и Юристу. Но съезд в Тамбове не состоялся по следующим независящим обстоятельствам. Находившиеся летом в Тамбове землевольцы для обмѣна мыслей по вопросам, подлежащим обсуждению на съезде, собирались в том уединенном месте, где предполагались и заседания съезда. Отправляясь однажды на двух лодках по Цне в это место, мы не приняли во внимание, что по дороге туда на реке Цне есть загородное место для прогулок тамбовцев, и упросили Евгению Николаевну Фигнер (теперь Сажина) спеть нам „Бурный поток“, который она очень хорошо пела. Она начала петь и своим пением вызвала на берег Цны гуляющих тамбовцев, которые и провожали наши лодки по берегу Цны. Эти неведомо откуда взявшиеся в Тамбове люди вместе с певицей привлекли и внимание полиции. Дело кончилось тем, что на возвратном пути полиция нас проследила и к некоторым из нас, человекам трем, явилась и потребовала паспорта. Паспорта, конечно, были под-

ложные, и обладателям их пришлось на другой день выехать, оставив паспорта полиции. Значит, Тамбов был скомпрометирован как место съезда.

Я с Верой Николаевной отправились в Воронеж и, облюбовав два уединенных предместья в Воронеже, известных и раньше мне, дали знать о перемене места съезда в Петербург. Перемена места имела лишь то неудобство, что мне пришлось провести два дня в Козлове, где я встречал проезжавших на съезд землевольцев и снабжал их адресами бюро съезда в Воронеже. К вышеперечисленным лицам, переехавшим из Тамбова в Воронеж, присоединились: А. Д. Михайлов, Фроленко, Плеханов, Тихомиров, Желябов, Ширяев, М. Н. Ошанина, Баранников, Перовская, Морозов, Квятковский, Колодкевич, Исаев, Сергеева. Не ручаюсь, что я перечислил всех съехавшихся на Воронежский съезд членов организации „Земли и Воли"; но ошибка не превышает двух-трех человек. Почти каждый из присутствующих голосовал по поручению за отсутствующего, а некоторые имели в своем распоряжении и по два-три голоса. Всех заседаний съезда было четыре: два заседания имели место в одном из уединенных мест ботанического сада, и два — в роще по реке Воронежу, близ водяной мельницы. Председателем съезда был избран Титыч; он формулировал и постановления съезда. Прежде всего приступили к пересмотру программы, которая и была прочитана по параграфам; предлагаемые поправки того или другого параграфа обсуждались и, по выслушании прений по тому или другому параграфу, вопрос об изменении параграфа ставили на голоса. Основные положения программы „Земли и Воли" остались неизменными. Революционная деятельность попрежнему должна иметь основою интересы народа. Экономическая революция — цель этой деятельности. К параграфу о деятельности среди крестьянства, которая раньше съезда определялась так: „вызывать протесты в народе, на почве местных нужд, и вообще пользоваться всяким возможным случаем, чтоб вызывать крестьянство на протесты", на съезде было сделано добавление: признавалась необходимой и своевременной организация в деревне аграрного террора и месть правительственным агентам на местах за экзекуции, совершаемые ими над крестьянами.

Вторым вопросом на съезде был вопрос о политическом терроре. Параграф программы „Земли и Воли“ о так называемой дезорганизаторской деятельности, которая раньше определялась так: „устранить всех правительственных агентов, вредящих деятельности организации“, был изменен в том смысле, что устранению подлежат те высшие агенты правительства, которыми определяется внутренняя политика России. Затем поставлен был вопрос о начатом уже деле, т. е. об убийстве Александра II, который и был решен большинством в положительном смысле. В принципе же вопрос о цареубийстве остался открытым, и решение его предоставлялось следующему очередному съезду. Что касается органа „Земли и Воли“, то было постановлено, что газета „Земля и Воля“ сохраняет то направление, которое выражено в исправленной и дополненной программе съезда. Из прежнего состава редакции „Земли и Воли“ редакторами оставались два: Тихомиров и Морозов, и к ним выбрали третьего — Тихомирова; администрация выбрана была из трех лиц: председателя совета Титыча, Фроленко и Михайлова. Закончился конгресс тем, что решено было тратить на террористическую деятельность не больше $^1/_3$ имеющихся денежных средств, остальные $^2/_3$ предназначались для деревенской деятельности. Так называемая мной левая фракция „Земли и Воли“, известная потом под именем террористов, рассчитывая на то, что в деревне пока нет дела, которое требовало бы больших денежных средств, согласилась на такое распределение средств, в надежде на то, что не будут же тратиться деньги, ассигнованные на деятельность среди крестьян, если этой деятельности не будет. Их расчеты, вероятно, и оправдались бы, ибо, действительно, деятельность в деревне нужно было еще организовать, для чего прежде всего нужны люди, а люди, — даже и те, которые стояли за деятельность в народе, но которые вместе стояли и за то, чтоб начатое дело было приведено к концу, и, следовательно, до окончания его были заняты, — не могли заняться организацией деятельности в народе; но неожиданно являются из-за границы Стефанович и Дейч, которые говорили, что у них есть основательные надежды на то, что в Чигирине возможна вновь организация крестьянства и что крестьянство там

настроено революционно. Народники, ясно сознавшие, в том числе и я, ваш покорный слуга, что, чтоб остановить революционные элементы на пути к чисто политической деятельности, нужно создать какое-нибудь громкое дело в крестьянстве, ухватились за эти надежды. Это и было поводом к конфликту между народниками и террористами, который и привел к расколу „Земли и Воли“ на две партии. Таким образом, общество „Земли и Воли“ и печатный его орган перестали существовать; ни одна из двух образовавшихся партий не имеет права присвоивать себе названия „Земли и Воли“; материальные средства делятся пополам. Обе партии обязуются оказывать одна другой всевозможную поддержку, и, таким образом, являются в России две партии: „Народная Воля“ и „Черный Передел“.

Настроение съезда было самое мирное: как правая, так и левая съехавшихся членов организации „Земли и Воли“ ясно выражали желание не доводить дело до раскола, отчасти в силу доверия друг к другу, товарищеских привязанностей, но больше такое настроение вытекало из сознания обеих сторон, что не так-то легко создать такую организацию, какой была „Земля и Воля“, — единственная в то время революционная организация, которая пользовалась авторитетом в широких кругах не только революционеров, но за деятельностью которой следило с напряженным интересом все культурное русское общество. До какой степени в каждом из съехавшихся на съезд господствовало сознательное желание обойти возможность раскола общества, за это говорит то, что каждый старался сдерживаться, и, если тот или другой оратор выходил из-под своего собственного контроля и начинал незаметно для себя самого увлекаться, сейчас же кто-нибудь из близких друзей напоминал ему об этом и при общей помощи успокаивал оратора. Помню, когда Желябов стал развивать программу политической борьбы, как единственной, соответствующей переживаемому Россией моменту, я возразил ему, что свести всю деятельность нашей организации на политическую борьбу легко, но едва ли так же легко будет указать предел, дальше которого итти социалистам непозволительно.

Но едва Желябов, чтоб ответить мне, успел сказать мне: „не нами мир начался, не нами и кончится", как вмешался Фроленко и сказал: „По-моему, и ты, Андрей, и ты, Родионыч, оба вы говорите ерунду, не имеющую отношения к делу. Пред нами вопрос, — как быть с начатым раз делом, и этот вопрос мы и должны решать, — а как будет потом, нам скажет будущее".

Точно так же при выборе лиц в администрацию, когда кто-то предложил Юриста (Преображенского), Михайлов вскипятился и сказал: „Ну уж нет, кого хотите, но только не Юриста, — это заядлый народник!" Сейчас же вмешалась Мария Николаевна и заметила своему другу: „Ах, дворник! Как вы плохо владеете собой! Вы даже забыли то, что о присутствующих так не говорят; не говоря уж о том, что не все же такого мнения о Юристе, как вы". Кратко, на съезде царило общее желание — не разделяться.

ИЗ МОЕГО ПРОШЛОГО [1]

Эти мои воспоминания посвящены тому периоду моей деятельности, когда я после раздела „Земли и Воли" отправился в Киев.

Но прежде я еще раз остановлюсь на моментах пред разделом „Земли и Воли" и сейчас после совершившегося раздела.

Относительно моих воспоминаний мне были сделаны некоторые замечания О. В. Аптекманом и Н. А. Морозовым о том, что я несколько не так передаю и освещаю факты, вызвавшие раздел „Земли и Воли".

Возражать я не буду, ибо мы, очевидно, смотрим под углом того настроения, которое мы переживали всякий посвоему в этот момент освободительного движения 70-х годов.

Но я осмеливаюсь настаивать на том, что мое освещение фактов и настроений для многих и многих столь же верно, как и для меня. В самом деле, психологически уже вероятно, что не все сразу могли сделать внезапный скачок от одной программы деятельности к другой. С другой стороны, зная настроение и наличный состав мнений людей, стоявших в первых рядах революционной фаланги, легко понять, — почему одни из них пошли вперед других в нараставшем новом революционном настроении, а другие составляли, так сказать, арьергард в идущем на смену старому новом настроении.

Посмотрим, кто были те, которые, по словам Морозова, придавали больше, а, по-моему, почти все значение борьбе за гражданскую свободу.

Вот они, и их было не много. М. Н. Ошанина всегда, как я ее и знал, стояла за политическую борьбу, ибо она принадлежала к партии „Набата". Если в последнее время Ошанина примкнула к партии „Земля и Воля", то отчасти

[1] «Минувшие Годы», 1908 г., № 2.

потому, что эта партия была единственной деятельной революционной партией в Петербурге, к тому же партией организованной, чему она придавала большое значение; отчасти же, быть может, и потому, что „Земля и Воля" все больше и больше расширяла рамки для борьбы политической.

Зунделевич был по убеждениям социал-демократ и большой поклонник программы деятельности социал-демократов германских; он считал, что задача русских социалистов состоит в том, чтоб завоевать для России политическую свободу, и тогда русские социалисты пойдут тем путем, каким идут германские социал-демократы.

Желябов и Морозов пред этим просидели годы в тюрьме. Старая их деятельность прервалась. Относительно Желябова известно, что он по выходе из тюрьмы так же, как и многие из его товарищей по процессу 193-х, отнесся к программе „Земли и Воли" отрицательно, потому что эта программа, по их мнению, била только на чувства, а не на ум и сознание масс и тем самым представляла народным массам пассивно-стихийную роль в революции. Известно и то, что Желябов по выходе из тюрьмы пытался вновь возвратиться к прежней программе деятельности, практиковавшейся в России до его ареста. Но то, что было уже отвергнуто революционной практикой за время его пребывания в тюрьме, невозможно было вновь рекомендовать с успехом, и Желябов, не имея живых связей с деятельностью партии „Земли и Воли", легко и свободно прошел мимо программы землевольцев к программе „Народной Воли".

Остается А. Д. Михайлов. Но я уже не раз говорил в предыдущих моих воспоминаниях, что в эволюции „Земли и Воли" в „Народную Волю" играла значительную роль месть правительству за все те жестокости и беззаконные средства, которыми оно оперировало против каждого, кто осмеливался руководиться в своей деятельности своим умом и совестью, и в высшей мере против представителей освободительного движения 70-х годов.

А. Д. Михайлов больше, чем кто-либо другой, был захвачен таким чувством мести, и этим я отчасти могу объяснить себе, почему А. Михайлов так решительно и круто примкнул к чисто политической деятельности.

Часто Н. А. Морозов рядом с собой и А. Михайловым ставит Квятковского. Я не так смотрю на Квятковского, как Морозов. Квятковский человек боевого темперамента и потому сам не замечал разницы между той деятельностью, на которую влек его темперамент, и теми его убеждениями, которые прочно залегли в его душе. Вот почему я решительно утверждаю, что Квятковский глубоко был искренен на суде, — как и вообще всегда он был искренен, — когда он заявил суду, что по убеждениям своим он народник.

Все это я говорю не с целью кого-либо убедить в том, что нараставшее настроение, которое потом отлилось в программу „Народной Воли", было делом нескольких человек. Скажу больше, я, переживавший это возникавшее в то время настроение, ясно предвидел, что революционное движение грозит превратиться в политическую борьбу. Вот почему, когда на Воронежском съезде Желябов предлагал временно совершенно отказаться от социалистической программы и все силы и средства партии употребить исключительно на политическую борьбу, я возражал ему так: лиха беда начать, но раз завертевшееся в одну сторону колесо трудно будет остановить и поворотить в другую.

Я хочу только представить читателю верную картину прошлого, верно действительности передать эволюцию „Земли и Воли" в „Народную Волю". Если б речь шла о том, что я теперь думаю, я, как непосредственно участвовавший в деятельности партии „Земли и Воли", то я сказал бы без колебания, что даже если бы Соловьев не поставил своим покушением на очередь тот вопрос, который круто толкал партию „Земли и Воли" в сторону до сих пор постепенно происходившей эволюции взглядов и настроений, принимая во внимание меры репрессий со стороны правительства, — эволюция партии „Земли и Воли" пришла бы к тому же концу, т. е. к борьбе за гражданскую свободу. Но ведь речь идет не о том, что я думаю теперь, а о том, что я видел тогда.

Итак, что касается меня, то я скажу, что я не пе живал более трудного и тяжелого момента во весь мо революционный период жизни, чем тот, который я пережил пред и после раздела „Земли и Воли". Самое

тяжелое душевное состояние — колеблющееся состояние. Быть может, это было так потому, что пред разделом в той поселенческой группе (в Воронежской группе), в которой я участвовал, были задуманы широкие планы поселения, с которыми, в виду наступившего нового революционного настроения в городах, приходилось покончить.

„Продайте все, что можно продать, — писал нам А. Михайлов, — и поспешите в Петербург! Мы разгромлены. Нет ни людей, ни средств“... Приходилось бросить начатое уже дело. А не так-то легко бросить начатое и заставить работать мысли в другом направлении, чем то, в котором они работали до сих пор. Это раз. С другой стороны, по темпераменту я совсем не был склонен удовлетвориться деятельностью в деревне потому только, что это деревенская деятельность. Мне часто приходилось защищать деятелей городских пред теми, кто решительно отвергал такую борьбу во имя деятельности в деревне.

Вот почему на Воронежском съезде я так решительно не настаивал на разделе, как, напр., Г. В. Плеханов. Точно так же я, вероятно, и в Петербурге, если б раздел совершился и вопреки моему желанию, не перешел бы во фракцию „Черного Передела“. Но тут меня увлекли надежды, внушенные мне Стефановичем, что в Чигиринском уезде можно вновь начать деятельность среди крестьян.

О. В. Аптекман, в заметке, помещенной им в октябрьской книжке журнала „Современная Жизнь“, указывает на то, что я много придаю значения случайному приезду Стефановича и Дейча в деле раздела „Земли и Воли“ и неясно говорю о принципиальном разногласии террористов и народников; между тем как, по словам Аптекмана, даже из моего не совсем ясного изложения следует, что „террористы стремились к чисто политической деятельности, а народники к деятельности в народе, т. е. чисто экономической“. Совершенно верно, — отвечаю я. Но ведь ньше все наличные члены партии „Земли и Воли“ стояли деятельность в деревне, хотя, по-моему, деятельность деревне по программе „Земли и Воли“ предполагала борьбу не на одной только экономической почве; но пусть будет так. Я хочу сказать, что часть партии, которую Ап-

текман называет террористами, переменила одну программу па другую не случайно, а потому что убедилась в невозможности борьбы в деревне при наличных политических условиях и решилась на борьбу с этими политическими условиями. Вопрос, следовательно, ставился так: возможна или нет при наличных условиях революционная деятельность в деревне? И в этом вопросе голоса Стефановича и Дейча имели свой вес, тем более, что они, опираясь на сведения, полученные ими из Киева, сами верили, что в Чигиринском уезде возможно организовать деятельность среди крестьян.

Предо мной именно стоял этот вопрос, и, мне кажется, не предо мной одним. Я во всяком случае находился под обаянием той мысли, что деятельность в деревне можно отстоять не словами и убеждениями в необходимости такой деятельности, а только самой деятельностью там. Я думал: только крупной величины факт среди крестьянства может отвлечь начавшееся уже настроение умов, — бороться всеми средствами с абсолютизмом, — в сторону деятельности в деревне.

Вот почему знавшие меня из тех, кто примкнул к организации „Народной Воли", обращались ко мне с такими словами: „Больше всех вы, Родионович, пожалеете о том, что уходите от нас", — слова, сказанные мне в момент раздела Тихомировым. Затем, когда я пришел в день моего отъезда в Киев проститься со старыми товарищами по делу, М. Н. Ошанина, удерживая мою руку, поданную ей на прощание, сказала: „Оставайтесь, Родионович, с нами".

Все это я говорю для того, чтоб было понятно, почему я так быстро в Киеве переменил свои взгляды и меня потянула народовольческая деятельность. Надежды на деятельность в Чигирине рухнули. Надежды эти были основаны на настроении крестьян-чигиринцев, сидевших в Киевской тюрьме. Не таково было настроение крестьян Чигиринского уезда, избежавших участи своих земляков и оставшихся на воле. Последние были решительно того мнения, что в настоящий момент, когда поставлена на ноги вся уездная полиция, когда по ярмаркам и базарам рыщут исправники и становые, деятельность в Чигирине невозможна.

О. В. Аптекман этот наш неуспех в Чигирине приписывает неудачному выбору лица, посланного на разведки в Чигирин. Я так не думаю. Раз действительно Чигиринский уезд был так настроен, как то казалось нам со слов крестьян, сидевших в тюрьме по делу Стефановича, то что мешало нам послать на новые разведки более опытного в этом деле человека? Мне кажется, что можно было и наперед знать, что такое, а не иное должно было быть настроение крестьян после тех правительственных репрессий, которыми правительство обрушилось на чигиринцев. Особенно, если помнить, что крестьяне шли за Стефановичем, как за посланцем царя, а не в силу того, что они сознательно были организованы для борьбы за свои крестьянские интересы. По крайней мере, я верил тогда и продолжаю верить и в настоящее время, что Петров, который и был на разведках в Чигиринском уезде, передал мне то, что он там видел своими глазами и слышал своими ушами. Кроме того, я имел довольно ясное представление о настроении умов в крестьянстве в то время, чтоб сознательно отнестись к тем впечатлениям и сведениям, с которыми возвратился из своей экскурсии в Чигиринский уезд Петров. Во всяком случае, повязка с глаз моих спала.

Я потерял надежды что-либо сделать в Чигирине, и мне нужно было решить, что делать. Мне стало ясно, что раздел „Земли и Воли" был крупной ошибкой, и в первую же встречу со Стефановичем в Киеве я повел речь о том, что нужно начать переговоры о соединении вновь расколовшейся на две фракции „Земли и Воли". Мне казалось, что Стефанович не был против моего предложения, по крайней мере, он не возражал в этот раз, и мы решили обсудить вновь мое предложение в Одессе.

Пока что, до моего отъезда в Одессу, я решил перезнакомиться с революционными представителями Киева.

Киев перед моим появлением в нем пережил два погрома: в декабре 1878 года арестованы были Осинский, Волошенко, Лешерн и другие. В январе 1879 года арестованы были во флигеле Косоровской так называемые панковцы (д. Косоровской был на углу улиц Панковской и Жилянской — отсюда панковцы). Оба эти погрома последовали быстро один за другим и вычеркнули из рядов киевских

революционеров многих энергических представителей революционных организаций юга. Достаточно сказать, что в числе погибших были: Осинский, Дебагорий-Мокриевич, Волошенко и другие видные революционеры.

Осинский пользовался большой популярностью на юге России даже среди людей, не разделявших его взглядов. Помню, по приезде в Киев мне пришлось быть в одной почтенной семье украинофилов Житецких, и меня, как друга Осинского, в высшей степени тронуло то уважение, с которым относились в этой семье к памяти Осинского. Хозяйка дома, принимая меня, рекомендованного ей, как близко знавшего Осинского, указала со слезами на глазах на один из подоконников в комнате, где мы сидели, и сказала: „Вот на этом месте в последнее свое посещение нашего дома сидел Валерьян Андреевич, и это место в нашем доме считается священным местом, на которое я не позволяю никому садиться. Пусть тень этого самого благородного и гуманного из известных мне людей присутствует с нами на этом месте“.

Итак, как я уже сказал, Киев перед моим приездом был разгромлен. Но Киев в наше время был городом, в котором революционеры не переводились и убыль одних быстро заменялась новыми революционерами.

Первым моим знакомым в Киеве был Буцинский. Он принадлежал к партии „Народной Воли“, когда я познакомился с ним, и жил в Киеве в качестве представителя этой партии. Ему первому я изложил ту революционную программу, которую я находил соответствующей в тот момент.

Моя программа в общих чертах была такова. В данный момент революционеры всех оттенков должны объединиться для общей борьбы. Раздел „Земли и Воли“ в это время казался мне крупной ошибкой, так как разделом организованной партии на две фракции революционеры обессилили себя и стали еще более слабыми в неравной борьбе с правительством. Предложил ему, если он разделяет такое мнение, принять участие в объединении наличных революционных сил в Киеве в одну общую организацию, не придавая значения тому, что одни склоняются более к старой программе „Земли и Воли“, а другие — к программе партии „Народной Воли“. Ставил ему на вид.

что революционная тактика в тот или иной исторический момент определяется сложным социальным и политическим состоянием страны, что в самой борьбе революционные деятели объединяются, и сама борьба указывает средства для дальнейшей борьбы. „Поэтому,—говорил я,—если нам удастся объединить наличные революционные силы в Киеве в одну группу, которая охотно будет брать на себя деятельность обеих групп расколовшейся „Земли и Воли“, посвящать такую свою деятельность, ведущую к одной цели—защите экономических нужд трудового люда, то наша деятельность не будет стоять в противоречии ни с той ни с другой программой этих фракций“.

Тенденция, как читатель видит из этой намеченной в общих штрихах программы, состояла в том, чтоб сохранить самостоятельность за Киевской группой, которая, как позволительно всякому самообольщаться, должна была послужить первой ячейкой общей русской революционной организации, и предупредить превращение этой группы в партию борющихся лишь за буржуазные принципы. Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что большинство революционеров именно этого боялось.

Буцинский знал о планах народовольцев в связи с проездом Александра II из Крыма в Петербург, и нам предстояло определить деятельность Киевской группы революционеров на случай удачи предпринятых народовольцами планов. Мы решили, что Киевская революционная группа должна будет выяснить народу, что партия „Земля и Воля“, встречая препятствие в осуществлении заветного желания народа—дать ему землю и волю,—решила устранить это препятствие.

В реальном своем осуществлении это должно было произойти так. На одной из площадей Киева (было потом решено—на Житнем базаре) Киевская группа во всем составе должна была поднять красное знамя с девизом „Земля и Воля“, и оратор в своей речи должен был выяснить народу необходимость совершенного факта. Накануне демонстрации предполагалось распространять среди городских рабочих прокламацию, в которой тоже выяснялся бы им совершенный факт.

Нам предстояло обратиться к партии „Народной Воли“ с просьбой напечатать достаточное количество экземпля-

ров прокламации, нами составленной, от партии „Земли и Воли“.

Затем, зная хорошо, как правительство расправляется с демонстрантами, из предыдущих случаев, напр., на Казанской площади и во время демонстрации в Москве, когда через Москву высылались на север студенты Киевского университета за волнения в этом университете, было решено, что на демонстрацию должны были несколько человек явиться с бомбами и расположиться вокруг собравшейся толпы, чтобы в случае натиска со стороны казаков и полиции предупредить таковой метанием бомб.

Буцинский отнесся с полным сочувствием к организации такой группы революционеров в Киеве, и мы приступили к выполнению нашего проекта.

При помощи Буцинского я познакомился с другими лицами, примыкавшими к программе „Народной Воли“, которые тоже отнеслись симпатично к такому плану организации. То были: Поликарпов, Лозянов, Диковские, Жуков и др.

Затем я познакомился и с представителями старой программы „Земли и Воли“. Среди них в лице Иг. Кир. Иванова, Н. И. Подревского и И. И. Присецкого нашлись выдающиеся по уму и энергии работники.

Благодаря энергии и согласной деятельности этих лиц, киевская организация быстро росла и крепла, и в какой-нибудь месяц—другой наша революционная Киевская группа располагала значительными силами и достаточными средствами для предначертанной нами деятельности.

Буцинский отправился для переговоров по поводу намеченной нами деятельности с представителями организации „Народной Воли“ в Одессу. Одесские представители „Народной Воли“ отнеслись сочувственно к нашим планам создать в Киеве такую организацию, как мы задумали, и обещали снестись с Петербургом по поводу напечатанья прокламации, нами составленной, обещали снабдить нас всеми средствами борьбы, имеющимися в их распоряжении, и снабдить нас техническими сведениями, необходимыми для пользования этими средствами.

Петербургские народовольцы охотно напечатали нашу прокламацию, отказались только, в силу договора при разделе „Земли и Воли“, напечатать предполагавшийся нами

заголовок прокламации от „Земли и Воли“, оставив, впрочем, место для заголовка чистым и заявив, что они—народовольцы—ничего не будут иметь против, если мы его сами напечатаем.

Таким образом Киевский кружок не встретил препятствий со стороны народовольцев, и, больше того, народовольцы обещали нам помощь в наших планах, рассчитывая на таковую и с нашей стороны — их деятельности.

Киевский кружок стал деятельно готовиться к событию, предполагавшемуся на одном из железнодорожных путей из Крыма в Петербург. Было приготовлено красное знамя со словами на нем „Земля и Воля“, выработана программа речи. Словом, к 19 ноября у них было приготовлено все, что нужно было для предположенной демонстрации на Житнем базаре.

Нашему Киевскому кружку, что называется, везло вначале, точно так же, как под конец его ровно покинул гений хранитель и на его голову посыпались неудачи со всех сторон.

Что касается личного состава кружка, то в этом отношении он решительно был счастлив. Людей энергичных и преданных делу в нем было много.

В числе членов кружка центральной фигурой был Иг. К. Иванов, в высшей степени деятельный, с железным характером и талантливый оратор. Жаль, право, что Иг. Иванов пал жертвой так рано, не успев развернуть все силы своей богатой души. И сколько погибло в движении 70-х годов таких талантливых и богато одаренных природой людей! В нашем кружке Игнатий Кириллович Иванов был известен под именем Лойолы, и не потому только, что он носил одинаковое имя с Лойолой. Иг. Иванов обладал всеми данными, нужными организатору,—логический сильный ум, уменье проникнуть в душу человека, искренняя преданность делу, которому он посвятил себя, и выдающийся ораторский талант.

Все это помогало ему быстро завоевать себе уважение среди людей, с которыми ему приходилось иметь дело. Среди студентов он был любимцем всех. Его отметил, как выдающегося по дарованиям студента, Бунге, в то время ректор Киевского университета, а потом министр финансов. Когда Иванова арестовали, Бунге по своей ини-

циативе отправился к генерал-губернатору Черткову хлопотать о нем. Но черствая душа бюрократа ответила на ходатайство Бунге так, как она и могла только ответить. Чертков обещал Бунге смягчить участь Иванова в том лишь случае, если он, Иванов, выдаст всех и все. Конечно, честный Бунге считал такое условие позорным для чести Иванова и не предложил Иванову сделать так.

На суде хозяйка квартиры, где жил Иванов, заурядная чиновница низшего ранга, на вопрос прокурора Стрельникова: „не внушал ли Иванов ей своим поведением подозрения о неблаговидности его деяний и в частности готовности на те преступления, за которые, как вам теперь известно, он попал на скамью подсудимых?"—ответила суду так: „Я женщина простая и ничего в таких делах не понимаю, но я всегда, видя доброту г. Иванова, его готовность всякому оказать помощь, всем сделать только хорошее, говорила, глядя на моих детей: дай бог, чтоб мои дети были такими!" Судья с председателем улыбнулись, и председатель стал делать ей наставление в том роде, что, мол, вы, конечно, раньше могли ошибаться в ваших взглядах на подсудимого Иванова, но теперь, когда вы знаете, что Иванов судится за государственное преступление, желать неуместно матери своим детям преступного будущего. На это внушение председателя простая женщина ответила: „Я знаю Иванова только с хорошей стороны и благодарна ему, что он, зная мою бедность, безвозмездно занимался с моими детьми, помогал им готовить уроки и дети мои обращались к нему с вопросами, как к старшему брату..." —на этом председатель прервал свидетельницу.

Даже у председателя суда, генерала Слуцкого, Иванов пробудил лучшие чувства его души и приковал его внимание своей речью: „В речи г. прокурора,—сказал Иванов,—я заметил одно лишь желание во что бы то ни стало взвести меня на эшафот, и мне остается одно: понять его и простить ему. Г. прокурор в продолжение долгой своей практики развивал только эту единственную способность своей души и таким образом весь запас своих духовных сил израсходовал на эту функцию, а для остальных движений человеческой души в его душе ничего не осталось".

Когда И. Иванов сказал эти слова, Стрельников вскочил с прокурорского кресла и зло прошипел: „Прошу

г. председателя занести слова подсудимого Иванова в протокол",—Слуцкий, очевидно тугой на уши, остался в прежнем положении, именно с ладонью над ухом, в полуобороте по направлению к Иванову, говорившему речь. Иванов продолжал свою речь, председатель попрежнему слушал. Это заставило прокурора вновь вскочить и почти прокричать: „Прошу еще раз г. председателя занести слова подсудимого Иванова в протокол, а также и действие председателя после первого моего заявления!"

Эти слова прокурора и, вероятно, раздраженный тон, которым они были сказаны, вызвали волнение среди судей. Судьи стали тихо переговариваться между собой. До наших скамей донеслись слова судьи Байкова: „Сам же позволяет себе оскорблять их!" Председатель, махнув левой рукой по направлению секретаря суда, сказал: „Запишите!"—и, приставив вновь ладонь к уху, предложил Иванову продолжать речь.

Я остановился на этих эпизодах нашего суда в связи с именем Иванова, чтобы воздать должное памяти Иванова и вместе с тем дать понять читателю, какую крупную величину в Киевском кружке представлял И. К. Иванов.

В лице Н. Н. Подревского наш кружок имел всесторонне образованного члена, слушавшего в это время уже 3-й факультет Киевского университета, человека, начитанного во всех отраслях знания. Он читал публике рефераты по программе „Земли и Воли", как представитель нашего Киевского кружка, и назначался редактором предполагавшегося нами органа „Земля и Воля".

Границы влияния нашего кружка раздвигались за пределы г. Киева. В Полтавской губернии у нас были связи благодаря И. К. Иванову и И. Н. Присецкому.

Однажды Иванов сообщил мне, что на-днях приезжала дама из Курской губернии и поручила ему подготовить ее младшую сестру на высшие женские курсы. И вот что ему рассказала его ученица. Муж ее сестры, артиллерийский офицер Стаховский, участвовавший в только что окончившейся войне за освобождение болгар, очень интересуется революционным движением, готов и лично, и своими средствами принять участие в борьбе с абсолютизмом, наготу которого он видел на войне своими глазами, и желал бы видеться с представителями этой борьбы. До

сих пор ему не встречались люди, близко стоящие к этой борьбе, которым он мог бы предложить и себя, и свои средства в распоряжение революционной организации.

„Моя ученица может дать письмо к этому офицеру, и, мне кажется, — говорил Иванов, — было бы полезно вам съездить к нему в имение в качестве представителя нашего кружка".

Имение Стаховского, помнится, Путивльского уезда, Курской губернии, находилось недалеко от одной из станций Курско-Киевской железной дороги. Я отправился туда.

Стаховский действительно оказался человеком, жаждавшим принять участие в деятельности революционной. Он думал, что уже давно наступила пора для России разделаться с абсолютизмом, и последний существует все еще в России, несмотря на то, что он уже давно прогнил насквозь, только благодаря нашей русской политической неразвитости, и что еще больнее, что он давит все живое, где бы это живое ни проявлялось.

„Знаете, — говорил мне Стаховский, — до войны я был слеп, но война открыла мне глаза и я понял все ничтожество нашего абсолютизма. Я дал себе клятву по окончании войны выйти в отставку. Стыдно, право, стыдно служить! И это, — закончил он, — только и есть то хорошее, что остается в моей памяти об этой войне".

Он предложил в распоряжение нашего кружка себя и сказал: „Все, что имеется у меня, и мой дом в вашем распоряжении".

Мне среди офицеров русской армии в лице Стаховского пришлось встретить второго офицера, беззаветно отдававшего себя освобождению родины. Первый был поручик Дубровин, и Стаховский напомнил мне его, уже в то время умершего за идею борьбы во имя освобождения родины.

Я сказал Стаховскому, что пока нахожу его имение удобным для помещения типографии, в которой кружок будет печатать нужную ему литературу. „Как угодно, так и используйте мой дом, — сказал Стаховский, — мое условие одно: только для борьбы с ненавистным абсолютизмом".

Это было кстати. В нашем кружке в это время стоял на очереди вопрос об устройстве типографии, и вот все в этом отношении благоприятствует нам.

Я был знаком в Киеве с единственным, можно сказать, энергичным представителем украинофилов — Р. Житецким. Программа нашего кружка и украинофилов имели мало общего между собой. Украинофилы нашего времени были не только узкие националисты, но и помимо того они были скорее эволюционистами, чем революционерами. В средствах же борьбы между революционерами и украинофилами не было ничего общего. Они собирали малороссийские песни, ставили своей задачей знакомить малороссов с прошлой историей Украйны, создавали кружки из учащейся молодежи для таковой деятельности. Словом, деятельность украинофилов носила характер культурной работы. Кончалось дело обыкновенно тем, что молодежь, организованная украинофилами в кружки, или, как украинофилы называли их, курени, не находя удовлетворения стремлениям своей молодой души, уходила от украинофилов и примыкала к революционным организациям. Таким образом на деле деятельность украинофилов сводилась к тому, что их кружки были подготовительными курсами для будущих революционеров. Тем не менее, при всеобщем тогда гонении на всех, кто выходил из граней жизни, предначертанных правительством русскому обывателю: жить, есть и плодиться, — гонимые сходились друг с другом и помогали друг другу.

Р. Житецкий задался планом в 1879 году устроить на Украйне типографию, чтобы в ней печатать литературу на малороссийском языке. Им была приобретена за границей типография, перевезена в Россию и хранилась у одного помещика, сочувствующего украинофилам. Но Р. Житецкому не удалось довести до конца задуманное им дело. Он был арестован и сослан в Вятку.

Как-то я зашел к его жене, остававшейся до весны в Киеве, и она сообщила мне совершенно неожиданную приятную новость. Она прочла мне полученное ею письмо от мужа, в котором он рекомендует украинофилам так распорядиться типографией: передать ее в распоряжение нашего Киевского кружка.

Итак, незадолго пред поездкой к Стаховскому мы получили даром типографию. Теперь Стаховский предлагает в наше распоряжение свой дом, где мы можем найти приют для нашей типографии и работающих в ней. Уединенный

дом в имении, недалеко от станции Курско-Киевской железной дороги,—чего же лучше? Мысль Киевского кружка завести свою типографию превратилась в реальность с неожиданными удобствами.

Стаховский, узнавши о моем намерении воспользоваться его домом для типографии, выяснил мне все удобства для осуществления такого намерения. Предложенный им план был таков: купить пару лошадей с экипажем, что легко сделать при его посредстве, и поместить своего человека в ближайшем селе от станции в качестве извозчика, развозящего со станции пассажиров, который этим же промыслом с небольшой субсидией от кружка прокормит и себя, и лошадей, и будет провозить на станцию из имения Стаховского литературу, куда в условленный день в неделю кто-нибудь будет приезжать из Киева забирать ее для распространения.

Эта-то непонятная для провокатора Забрамского покупка лошадей и отправка куда-то с ними Ильяшенко, переданная им, очевидно, Судейкину уже потом, была объяснена последним как подготовление к экспроприации полтавского казначейства, о чем наш кружок и не помышлял. Судейкин так цепко держался за это свое измышление, что когда на следствии была ясно установлена цель покупки лошадей для перевозки литературы из имения Стаховского, он не хотел расставаться со своим детищем, и мы были судимы, а Севастьян Ильяшенко только за это был приговорен к 15 годам каторги.

В этот же мой приезд я познакомился и с товарищем Стаховского, Успенским, который упорно стоял за пропаганду крестьян и впоследствии достиг того, что спропагандированные им крестьяне высказывались в присутствии его и нас за программу, предложенную партией „Земля и Воля“, т. е. нашим Киевским кружком.

Среди киевских рабочих никогда не прерывались связи революционеров. Нам же удалось через киевских железнодорожных рабочих завести связи почти на всех крупных пунктах по линии железных дорог от Киева до Одессы.

Давно это было, и в моей памяти изгладились имена и фамилии рабочих, с которыми мы имели дела. Остался в памяти один интеллигент, превратившийся в рабочего,

через которого мы вели дела среди рабочих, человек очень деятельный и очень хорошо симулировавший заправского рабочего. Но особенно врезался в моей памяти железнодорожный рабочий, смазчик Ромась, типичный малоросс, настоящий представитель этой русской народности, характерная черта которого то, что он подумает да подумает прежде, чем возьмется за то или другое дело, но раз он уж возьмется, то не остановится ни перед чем. Таков был и Ромась. По внешнему виду он был чистой крови малоросс, с неизменной трубкой во рту, делавший все неспешно, сопровождавший всякое дело пословицами своих земляков и малороссийским юмором, но всегда с расчетом, наверняка.

Этот-то Ромась и завел связи среди железнодорожных рабочих по всей линии железной дороги от Киева до Жмеринки. Через Ромася наш кружок распространял революционную литературу среди рабочих по этой линии.

У нас пока не было определенного взгляда на рабочих в связи с общей деятельностью нашего кружка. Вообще нужно сказать, что так как наш кружок только еще начинал жить, что называется, то мы вербовали адептов своих среди всех слоев населения избранного нами района,—будет ли то культурная среда или представители физического труда. Пока, так сказать, собирался матерьял для организации.

Не помню сейчас, по какому поводу к нам в Киев приехал Г. В. Плеханов. С Плехановым по рабочему вопросу мы были по взглядам близки со времени нашей совместной деятельности среди петербургских рабочих. Мы вместе с ним работали среди рабочих на Торнтоновской фабрике во время стачки на этой фабрике. Понятно, у нас с ним зашел разговор о деятельности Киевского кружка. Плеханов сообщил мне, какие планы имеются в виду у них в Петербурге среди рабочих. От него я узнал впервые, что в Петербурге среди рабочих возникла мысль об организации Северо-Русского рабочего союза; он познакомил меня с программой Северо-Русского рабочего союза и рекомендовал по такому же плану организовать на юге Южно-Русский рабочий союз. Мне план и программа Северо-Русского рабочего союза, с которыми познакомил меня Плеханов, показались отвечающими запросам рабочего на-

селения России, и я решил по тому же плану организовать Южно-Русский рабочий союз.

Но нашему кружку удалось только начать работу среди рабочих в этом направлении, ибо скоро наш Киевский кружок был разгромлен. Мне уж потом на Каре пришлось узнать о продолжении деятельности в этом направлении на юге от Щедрина, Ковальской, Кашинцева и других, которые и были нашими преемниками в Киеве, и они по праву могут назвать себя творцами Южно-Русского рабочего союза.

Проник наш Киевский кружок и в ту среду, в которую, насколько я знаю, до сего времени киевские революционные организации не пытались проникнуть.

И. И. Присецкий познакомил наш кружок с вольноопределяющимся, который отбывал воинскую повинность в саперной бригаде, находившейся в это время в Киевской крепости. Вольноопределяющийся этот вел занятия в школе саперов; офицеры были очень рады, что попался интеллигентный человек, и свалили с своих плеч все дело по школе на Ваничку, как назывался этот вольноопределяющийся среди нас. Саперная школа таким образом была в полном распоряжении нашего Ванички, и он был в ней полным хозяином и пользовался любовью своих учеников-саперов.

Такое положение Ванички среди саперов дало ему возможность спропагандировать несколько рядовых среди саперов и образовать революционный кружок среди них. Некоторых из членов саперного кружка он познакомил с тремя членами нашего кружка—Иг. Ивановым, с И. И. Присецким и мной.

Из предосторожности было решено в казармы никому из нас не ходить, а по праздникам и воскресеньям Ваничка с двумя солдатами-делегатами от кружка саперов приходили на квартиру, для этой цели заведенную, где эти члены кружка саперов сообщали нам о результатах их недельной деятельности, обсуждали вместе с нами дальнейший ход работы по организации, получали от нас литературу.

Пропаганда среди саперов шла довольно удачно, благодаря энергии Ванички и тому обстоятельству, что в кружок был привлечен один из унтер-офицеров; последнее, кроме морального значения, было важно и потому,

что не приходилось прибегать к большим конспирациям, что, конечно, очень много значило. С каждой неделей кружок среди саперов увеличивался, и мы, ободряемые успехом, работали более энергично в надежде перешагнуть за пределы саперов и повести пропаганду и среди других родов войск, находившихся в Киеве.

В среде нашего Киевского кружка ставился уже вопрос,—как мы используем кружок саперов? Трудно сказать, как бы мы использовали кружок саперов потом, если бы нашему кружку судьбой было определено более долговечное существование. Но пока этот вопрос оставался открытым. Для деятельности в Киеве мы не предрешали этот вопрос наперед, держась того принципа, что потом время само укажет, какую роль военный кружок должен будет занять в общей деятельности нашего кружка. Пока же в виду того, что в следующую осень трое из образовавшегося кружка саперов оканчивали срок военной службы и выходили в запас, мы на них смотрели, как на деятелей по программе нашей на своей родине, и в этом смысле вели с ними разговоры, подготовляли их к будущей их роли агитаторов среди крестьян, агентов „Земли и Воли" в деревнях, куда они уходили, зная хорошо, что солдат—единственный человек в деревне, снабжающий ее сведениями о том, что делается за околицей их деревни и за пределами того города, куда крестьянин ездит на базар.

Но червь уже сидел в самом сердце нашей организации, и всем нашим планам ставился предел долговечности.

Несомненно, спропагандированные нами саперы имели потом в известном направлении влияние в деревне. Ведь было констатировано в 1902—1903 гг. работающими в деревнях Саратовской губернии, что пропаганда 70-х годов оставила следы в деревнях и облегчила их последующую деятельность. Может быть, и наши саперы, говоря о нас, нашей деятельности и о той каре, которую мы понесли за эту деятельность, заронили в тех деревнях, куда они попали по отбытии воинской повинности, сомнения в справедливости тех традиций и взглядов, которыми были загромождены умы деревенских обитателей, не понимавших всего того, что совершалось вокруг них и во всей жизни России.

Пока же нам наши саперы сослужили службу, когда

мы были арестованы и сидели в тюрьме. Через них, когда они были в карауле в тюрьме, мы получали сведения с воли. Мне в первые же дни моего пребывания в тюрьме посчастливилось, и я получил от часового, стоящего у окон нашей тюрьмы, письмо от Ванички, карандаш и бумагу. Слышу, ночью зовет меня Ромась и начинает шифровать мне что-то. Оказалось, что в окно его камеры, находившейся в нижнем этаже, часовой сообщил ему, что ему нужно знать, где сидит Василий Николаевич, и передать ему с воли письмо и еще кое-что. Ромась, сообщив мне эту новость, посоветовал мне спустить коня часовому, попросту говоря, веревку, при помощи которой каждый из нас снабжался всем тем, в чем он нуждался, а также снабжал и других. Я спустил часовому веревку и он привязал к концу ее карандаш, бумагу и письмо от Ванички.

Относительно того, что наш кружок завел связи среди саперов Киевской крепости, жандармы решительно ничего не знали, и, когда Судейкин по окончании нашего процесса конвоировал нас во Мценск, откуда мы должны были следовать далее — на Кару, и мирно с нами беседовал, его самолюбие сыщика было задето, когда наш поезд, проезжая мимо крепости, был встречен собравшейся группой солдат, которые, махая красным флагом, приветствовали нас криками: „Да здравствует русская революция". Как раз только Судейкин начал с нами откровенную беседу о том, как он нас всех выслеживал, и налицо — неопровержимое доказательство, что и ему все же не все известно.

„Вот где даже имеются у вас друзья, — вырвалось у Судейкина. — Признаюсь, этого я не подозревал".

Неудача 19 ноября заставила нас все приготовленное для демонстрации до поры до времени припрятать.

Все это я предпринимал не от имени партии „Черного Передела", к которой я принадлежал после раздела „Земли и Воли", а на свой личный страх, и таким образом фактически вышел из этой партии.

Но в виду того, что мы с Стефановичем в Киеве не пришли к определенному решению о воссоединении „Земли и Воли" и уговорились встретиться вновь с ним в Одессе для того, чтоб покончить с этим вопросом так или иначе,

я, помнится, в конце ноября, если уже не в декабре, — ибо в день казни Малинки, Дробязгина и Майданского, 3 декабря, я был в Одессе, — отправился в Одессу. И уже потом, когда эти переговоры с Стефановичем и Дейчем ни к чему не привели, и Стефанович с Дейчем решительно высказались в том смысле, что такие переговоры могут иметь место лишь тогда, когда народовольцы откажутся от борьбы за конституцию гг. Варшавских [1] et tutti quanti, — уже после этого только я вошел в переговоры от Киевского кружка с представителями „Народной Воли" в Одессе об объединении деятельности нашего Киевского кружка с деятельностью одесских народовольцев.

В это время партию „Народной Воли" в Одессе представляли В. Н. Фигнер, Кибальчич, Колодкевич и Лев Златопольский. У них на очереди в это время стоял вопрос о борьбе с южными генерал-губернаторами: Тотлебеном в Одессе и Чертковым в Киеве, которые наиболее тормозили деятельность революционеров на юге России.

Нашему Киевскому кружку был предоставлен киевский генерал-губернатор Чертков. С таким предложением я и явился в Киев.

В нашем обвинительном акте, со слов все того же Забрамского, говорится о том, что у нас шли приготовления к покушению на жизнь генерал-губернатора. Это совершенно верно. Но план нападения на Черткова чрез посредство подкопа из какой-то гостиницы — план не наш, а план Судейкина, измышленный им в сотрудничестве с Забрамским. План наш был другой, именно: штабс-капитан Стаховский с Сер. Диковским думали застрелить его из берданок, и местом засады был избран овраг, откуда было и удобно и безопасно напасть на Черткова, предварительно выследив, в какие часы дня он проезжает липками мимо этого оврага.

Таким образом, наш кружок взял на себя еще это новое дело.

Затем, в виду того, что переговоры в Одессе с Стефановичем и Дейчем о воссоединении „Земли и Воли"

---

[1] Варшавский — в то время железнодорожный и банкирский туз.

окончились не так, как то думал наш кружок, мы, киевляне, решили отправить кого-либо из членов кружка в Петербург для переговоров с обеими фракциями расколовшейся „Земли и Воли“ об образовании единой революционной организации в России.

Выбор пал на И. Н. Присецкого. Ему было поручено сначала повести переговоры с фракцией „Черного Передела“ по этому поводу, а затем, узнавши, как к этому отнесется эта фракция, вступить в переговоры с народовольцами.

Миссия И. Н. не дала определенных результатов. Почему? — ответить на этот вопрос не могу, ибо забыл подробности его отчета нашему кружку по поводу его поездки в Питер. Но помнится, что чернопередельцы не совсем охотно отозвались на наше предложение, и потом еще, кажется, что народовольцы в это время были разбросаны по разным концам России и были все еще поглощены тем делом, из-за которого главным образом, по мнению моему, произошел раскол партии „Земли и Воли“. Очень может быть, что в виду этого дела народовольцы не желали вводить в свою организацию такую группу, какой была наша Киевская группа, группа, состоявшая из людей, не отказавшихся от деятельности в деревне, хотя и не отрицавшая деятельности народовольцев. В общем я не погрешу против правды, если скажу, что миссия нашего делегата кончилась только тем, что он заручился обещаниями обеих фракций помогать Киевскому кружку в его деятельности и обещал такую же помощь обеим фракциям.

Не знаю, потому ли, что Присецкий условился в Питере, что от нашего кружка вновь явится уполномоченный для продолжения переговоров по этому поводу, или потому, что наш кружок остался неудовлетворенным расплывчатым обещанием петербургских представителей обеих фракций, от Киевского кружка, спустя немного времени, вновь отправился делегат, на этот раз Маслов. Чем кончились переговоры с петербуржцами, — не знаю. Маслов возвратился из Петербурга накануне начавшегося разгрома нашего кружка, как раз в то время, когда нас занимал вопрос о личности Забрамского или, как мы его называли, с легкой руки Стаховского, идол № 1-й.

Стали появляться признаки предательства этого провокатора.

Случился такой эпизод. Нам нужно было послать в Одессу С. Диковского, чтобы получить оттуда в Киев кое-какие довольно нелегальные вещи. Мы решили сделать это под прикрытием мундира офицера артиллерии. Стаховский был в Киеве в это время, и хотя был в отставке, но еще не снял военного мундира. Мы и решили переодеть в военный мундир С. Диковского. Так как дело было чрезвычайной конспирации, то об этом знали немногие, именно только те, чья помощь нужна была в устройстве этого дела. Решено было так, что Стаховский на дверях той гостиницы, где он остановился, вывесит объявление о продаже военного мундира и шинели в таком-то № гостиницы. Диковский же зайдет к Забрамскому и скажет, что, проходя мимо такой-то гостиницы, прочел на дверях объявление о продаже военного костюма, и пошлет Забрамского справиться о цене и, если цена будет подходящая, скажет, чтоб он купил этот военный костюм. Забрамский в это время еще не знал Стаховского, значит, и Забрамский узнает лишь то, что нами приобретено у какого-то офицера военное платье на всякий случай.

Забрамский по профессии был портной, сходил и купил, по его мнению, очень недорого все эти вещи.

На другой день С. Диковский в этом военном костюме уехал в Одессу. Вечером того же дня собирался уехать к себе домой и Стаховский, но вместо этого на другой день он пришел ко мне и рассказал, что с ним вчера произошло на вокзале. Произошло же вот что: как только он приехал на вокзал, подошел к нему Судейкин и пригласил его в жандармское управление, где у них произошел такой разговор. Судейкин сначала спросил, кто он и куда собрался ехать, и после того, как на эти вопросы ответил Стаховский, спросил у него документы, чтобы проверить сказанное ему Стаховским. После всего этого извинился перед ним и сказал, что так поступить с ним его заставило следующее. „Вы продали вчера военный мундир?“ — „Продал, — ответил Стаховский, — ибо мне он теперь не нужен, так как я вышел в отставку“. — „Все это теперь я понимаю, — сказал ему Судейкин. — Но одно обстоятельство, о котором я не могу вам сообщить по

долгу службы, навело на некоторые подозрения относительно вас. К моему удовольствию, подозрение мое теперь рассеяно, и мне остается только извиниться и сказать вам, что вы свободны".

Конечно, мы все были встревожены этим обстоятельством и думали так, что если С. Диковского арестуют по пути в Одессу, то беда еще не так велика. Но будет совсем уж плохо, если Судейкин окажется умнее и, пропустив С. Диковского в Одессу, арестует его на обратном пути.

В тот же день поэтому мы решили послать в Одессу Буцынского, чтоб сообщить Диковскому, что о его отъезде в Одессу в военном мундире известно. Буцынский уехал. Но в тот же день Забрамский сообщил нам, что на станции Казатин С. Диковский арестован, а еще через два-три дня, что также арестован на станции Жмеринка и Буцинский.

Это обстоятельство вызвало впервые подозрение относительно Забрамского.

Кто такой Забрамский и как он сблизился с Судейкиным? По словам Судейкина на суде, дело было так как будто бы. Когда Забрамский выходил из тюрьмы, куда он попал по приговору мирового судьи за какое-то дело по своей профессии, по какому-то иску на него заказчика, то у Забрамского тюремное начальство отобрало рекомендательную записку от Избицкого к Клименко. Тогда-то, по словам Судейкина, у него состоялось с Забрамским соглашение, что Забрамский с этой запиской отправится по данному ему из тюрьмы адресу и сообщит ему, Судейкину, что ему на это скажет тот, кому адресована записка. Забрамский так и сделал, но, говорил Судейкин, он заметил, что Забрамский скрыл от него правду и на его вопрос, что ему ответили там, куда он ходил с запиской, сказал, что ответа ему никакого не дали, а только поблагодарили за записку. „В виду этого я, — сказал Судейкин, — Забрамского отпустил, но установил за ним негласный надзор".

Если правда, что сказал на суде Судейкин, то тогда непонятно, — почему Забрамский не сообщил о том Клименко. С другой стороны, Забрамский приблизительно вышел из тюрьмы в июне, и до января среди Киевской группы не было арестов. А между тем были моменты в

продолжение этого промежутка времени, когда многих из этой группы могли накрыть с солидными уликами налицо. Так, в одной из квартир приготовлялись бомбы и многое другое в этом роде, и происходило это в квартире Забрамского, но тем не менее это осталось неизвестным Судейкину и на суде нашем об этом не было и речи. Затем, Забрамский был в самых близких отношениях с Жуковым, у которого на квартире часто бывал и знал, что Жуков заведывал паспортным столом, и опять-таки Жукова оставляли в покое.

В декабре только мы начали узнавать от Забрамского, что он имеет сношения с жандармами. Первое сообщение Забрамского Жукову было то, что он, Забрамский, познакомился с писарем жандармского управления и думает, что за деньги у этого писаря можно будет получать сведения о состоянии дел в Киевском жандармском управлении. Мы пожелали Забрамскому успеха и обещали субсидию писарю. Забрамский в это же время, якобы со слов этого писаря, указал некоторым из нас переодетых жандармов, исполнявших роль сыщиков, назвал их фамилии, что на суде подтвердилось.

Еще немного времени спустя Забрамский, к нашему общему изумлению, сообщил нам однажды, что сегодня вечером он будет иметь свидание с Судейкиным в такой-то гостинице и что на этом свидании Судейкин предложит ему быть агентом жандармского управления.

Сообщение это нам казалось, с одной стороны, заманчивым, ибо, конечно, было бы хорошо быть в курсе дел учреждения, которое исключительно имело в виду нас, революционеров, с другой стороны, и опасное, так как Забрамский для такой роли, по-нашему, не годился, был слишком прост, как выразился, не помню, кто из нас. Во всяком случае мы не отговаривали от такого опыта Забрамского, но предупреждали его не особенно полагаться на себя и без предварительного совета с нами ничего не предпринимать, ибо Судейкин, говорили ему мы, опытный сыщик. Кончилось во всяком случае тем, что Забрамский отправился на свидание с Судейкиным.

Лозянов и, кажется, С. Динковский решили проследить за этим свиданием и проверить самого Забрамского.

Результаты наблюдения дали следующее. Забрамский

действительно в назначенный час прошел в гостиницу, но точно определить, кто был с Забрамским, — Судейкин или кто другой, — им не удалось.

Переговоры Забрамского с Судейкиным кончились таким соглашением. Забрамский должен будет нанять квартиру, которую будет оплачивать жандармское управление, оно же ее и меблирует. Вывеска на этой квартире с нарисованным на ней офицером будет гласить: „Специальный военный портной Забрамский". Таково было назначение квартиры для публики, не посвященной в тайные планы Судейкина, нам же Забрамский сообщил, что, по плану Судейкина, он, Забрамский, предоставит ему квартиру для наших собраний, а также для хранения в ней всякой нелегальщины. Условлено было между Забрамским и Судейкиным, что эта квартира предлагается нам некоторой, сочувствующей нашей деятельности, особой, которая желает остаться неизвестной.

Цель Судейкина ясна без всяких пояснений. Он желал поставить нам западню. Он рассчитывал на то, что Забрамский скроет от нас, кто такая особа, которая предлагает нам такие удобства, и что мы, доверяя Забрамскому, примем с благодарностью предложенную нам квартиру, расположимся в ней, как у себя дома, и он, Судейкин, накроет нас в этой квартире со всем поличным.

Но что имел в виду Забрамский, каков был план его и для какой цели он откровенно сообщил нам, что эта особа не кто иной, как Судейкин? Ясно, что, открыв нам все это, Забрамский разбивал вдребезги всю затею Судейкина.

Я много над этим думал в тиши казематов, которые выпали на мою долю в продолжение четверти века с лишним, и мне кажется, возможно сделать два предположения, наиболее вероятных. Одно предположение то, что у Забрамского была своя собственная цель — не наша и не Судейкина. Он просто имел в виду взять, что можно, у нас и еще больше у Судейкина и затем исчезнуть из Киева. Он так думал вначале: там, как вам угодно, гг. революционеры и г. капитан Судейкин, так и считайтесь между собой; мне же нужно от вас лишь одно — разжиться немного деньжонок и зажить потом где-нибудь мирно в Могилевской губернии. Второе предположение то, что по-

том, когда он увидел, что Судейкин окружил его жандармами, он волей-неволей должен был выдавать тех, кого жандармы видели вместе с ним. Возможно и то, что оба эти предположения верны и что вторая конъюнктура обстоятельств вытекала вопреки намерениям Забрамского из первой, т. е. Забрамский хотел перехитрить Судейкина, но в конце концов Судейкин перехитрил Забрамского.

В пользу этого говорит вот что. Когда Забрамский устраивал квартиру, предложенную нам особой, желавшей остаться в неизвестности, т. е. Судейкиным, он еще думал, что Судейкин вполне доверяет ему. Устроивши квартиру, он явился и сказал нам: „Не желаете ли, пока безопасно, пойти и посмотреть, как я на средства жандармов обставил квартиру, ибо тогда уже будет поздно, когда я отправлюсь с докладом к Судейкину, что у меня все готово и что пора начать кампанию“. Он был вполне уверен, что он обойдет Судейкина, и заразил и нас такой верой, что нашлось человек десять дам и мужчин, которые отправились к нему на новоселье. Очевидно, об этом нашем осмотре квартиры, приготовленной на деньги жандармского управления, Судейкину осталось неизвестным, ибо большинство из участвовавших в этом осмотре не попали вместе со мной в тюрьму.

Но когда, после ареста С. Диковского, я решил отправиться к Забрамскому в эту квартиру переночевать там, чтоб попытаться, — нельзя ли что-либо открыть, что помогло бы разгадать самого Забрамского, который после ареста Диковского стал внушать подозрения, — то достиг этим лишь того, что у Забрамского открылись глаза, и он, наконец, понял, что он окружен шпионами.

Я зашел к нему часов в девять вечера, и мы занялись с ним чаепитием. Разговоры шли о Судейкине и его планах. Забрамский был в настроении, шутил насчет затей Судейкина. Вдруг звонок. Забрамский вышел к дверям, предложив мне войти в другую, темную комнату, чтоб меня нельзя было увидеть в окно, и сказал тихо мне: „Это они“. Минут через десять он возвратился, смущенный, сконфуженный, и, сказав тихо: „Меня зовут“, — ушел.

Мне пришлось подождать его часа полтора. Возвратился он домой с таким убитым видом, что достаточно было взглянуть на него, чтобы понять, что случилось что-

то для него неожиданное. По лицу его ясно можно было заключить, что ему нужно что-то мне сказать, но он не знал, как приступить к разговору со мной.

Очевидно, он сам теперь понимал, что он запутался в собственной лжи на обе стороны. На мой вопрос, — что случилось? — он стал убеждать меня чуть не со слезами на глазах немедленно уехать из Киева.

— Вас проследили, — сказал он мне, — и на-днях арестуют, если вы останетесь в Киеве.

— Где же меня проследили и где они намерены меня арестовать? — спросил я.

— На вашей квартире. Ваша квартира открыта, и у вашей квартиры стоят переодетые жандармы, — ответил Забрамский.

На мой вопрос, — сказали ли ему, где моя квартира? — он ответил утвердительно. „Где же, они сказали вам, — я квартирую?“ — Он назвал мне улицу и дом, где я не только не жил, но и не помнил, чтобы бывал там.

Для меня стало ясно, что Забрамский врет, и, вероятно, потому, что он растерялся, врет неискусно. Ибо врать мне, где я живу, — конечно, нелепо: кому же лучше знать, где я живу, как не мне! Но я не дал ему повода думать, что я понимаю его хорошо. Я стал его успокаивать и сказал ему: „Напрасно вы преждевременно так пали духом, жандармы вам соврали, я там не живу, и, очевидно, они просто хотели выпытать у вас мою квартиру“.

— Все равно, вам нужно завтра же уехать, — убеждал меня Забрамский, — притом вы должны уехать не по железной дороге, а, если можно, на лошадях до какой-нибудь ближайшей станции в ту или другую сторону, в крайнем случае идите до ближайшей станции пешком.

Я поблагодарил его и решил было уйти от него, так как стал подумывать, — не решили ли меня сегодня арестовать здесь? Но Забрамский стал убеждать меня остаться ночевать у него. Он сказал мне: „Жандармы простоят у этой квартиры часов до двух, самое большее, в ожидании вашего ухода, а затем решат, что вы останетесь здесь ночевать, и уйдут. Завтра же вновь придут не раньше семи-восьми часов утра, а вы уйдете часа в четыре-пять, таким образом они потеряют вас из виду“.

Это убеждало меня, по крайней мере, в том, что

Забрамский не желает, чтоб меня арестовали сегодня же в его квартире, и я принял его совет. Потушив огонь, Забрамский стал жаловаться на усталость и сон и лег спать, сказав, чтоб я разбудил его, когда буду уходить. Я не противоречил ему, ибо понимал, что ему просто неловко дольше оставаться со мной с глазу на глаз, и, кроме того, ему, очевидно, не о чем было больше говорить со мной.

Я просидел до пяти часов, разбудил Забрамского, сказал ему, что ухожу. На прощанье, когда я уходил, Забрамский вновь стал уговаривать меня, чтоб я завтра же уехал. Я обещал ему исполнить его совет и вышел.

После всего случившегося в эту ночь я, конечно, оглядывался во все стороны и не заметил, чтобы кто-либо, кроме меня, проходил по тем улицам, по которым я прошел от квартиры „военного портного Забрамского" до Крещатика, откуда, сделав несколько туров, пришел к И. Н. Присецкому на квартиру.

Конечно, я застал И. Н. Присецкого еще дома и рассказал ему все, что я в эту ночь пережил в квартире Забрамского. Сообщил ему также и о том, что, по словам Забрамского, меня на-днях Судейкин намерен арестовать и что мне и в самом деле нужно будет на время, по крайней мере, уехать из Киева. Я высказал мое убеждение, выстраданное, можно сказать, в эту ночь у Забрамского, что Забрамский играет в двойную игру и что так или иначе с ним нужно разделаться или, по крайней мере, отделаться от него.

„Сегодняшняя ночь, — говорил я, — не оставляет у меня ни малейшего сомнения в том, что Забрамский с нами не во всем искренен, хотя, принимая во внимание, как он неожиданно был встревожен и как убедительно просил меня поскорее уехать, можно думать, что он не злостный провокатор. Но ведь для целости и безопасности нашего кружка — это безразлично".

Ясно было для меня и до суда, что Судейкин, не доверяя Забрамскому, окружил его своими агентами, и потому, когда агенты замечали кого-либо в сообществе с Забрамским, немедленно допрашивал о том или другом замеченном лице, и, вероятно, Забрамский, когда к нему приставал с пристрастием Судейкин, выдавал ему таковаго.

Такое предположение доказывают аресты: С. Диковского, Ильяшенко и Н. Петрова. Все эти лица арестованы вслед за тем, как Забрамский побывал у них, как это было с Сер. Диковским, или шел с ними по городу (Ильяшенко, Н. Петров и Буцинский).

Во время же суда это еще стало яснее. Судейкин на суде говорил, что, главным образом, он не терял из виду Забрамского, так как „я решительно убедился, — подчеркнул на суде Судейкин, — что Забрамский меня обманывает".

После показания в таком роде Судейкина на суде капитан Скандраков, второй помощник начальника жандармского управления полковника Новицкого, в то время, во время перерыва суда, говорил нам, что Забрамский причинял им столько хлопот, как никто другой из нас, и что им часто приходилось весь наличный состав агентов, находившихся в их распоряжении, ставить на ноги, чтоб не упустить его из виду.

Мне нужно было в виду этого уехать из Киева, и я уехал бы в тот же день. Но меня задержало дело с типографией.

После того, как случился такой неожиданный инцидент со Стаховским, до полного уяснения его, взять у украинофилов типографию и перевезти ее в имение Стаховского было рискованно. Поэтому, после этого случая со Стаховским на вокзале, я отправился в Харьков и пригласил Н. Петрова взять на себя устройство типографии временно в Нежине. Н. Петров согласился, прибыл со мной в Киев и затем отправился в Нежин, чтобы там подыскать хоть временно квартиру, где бы можно было приютить типографию. Жуков, положительно доверявший Забрамскому, свел Забрамского с Петровым, и они вместе поехали в Нежин отыскать квартиру. Но когда Петров из Нежина поехал в Харьков, его по дороге туда арестовали.

Оставалось одно, — перевести временно типографию в имение Успенского. Вступили в переговоры по этому поводу с Успенским. Он согласился сам приехать за нею. И вот мне необходимо было подождать его приезда.

На это время я пока принял только одну предосторожность, именно — сбрил бороду.

Наконец, приехал Успенский, ему предстояло отправиться в имение, где находилась типография. На нашу беду Успенский явился в военном мундире, каковой после недавнего ареста Диковского мы считали подозрительным. Я отправился с Успенским в магазин готового платья, чтоб переодеть там его в костюм подходящий, в котором появление в имении, где хранилась типография, не вызвало бы подозрения. По окончании процедуры переодевания в магазине Успенский уехал, я же остался в магазине под предлогом посмотреть еще черную пару для себя, а на самом деле, чтоб не выходить вместе с Успенским.

Минут десять спустя, как уехал Успенский, я вышел из магазина, заявив, что зайду как-нибудь в другой раз.

По выходе из магазина я заметил, что за мной идут два подозрительных субъекта, и решил для проверки подозрения перейти на другую сторону Крещатика, но только дошел до половины улицы и остановился в ожидании проезда экипажа, пересекавшего мне дорогу, как меня схватили за руки и арестовали эти два субъекта.

И это случилось как раз тогда, когда я покончил с тем, что меня задерживало в Киеве, и мне оставалось отправиться, куда я накануне решил вместе с И. И. Присецким уехать.

Дело вот в чем. Мне нужно было на время уехать из Киева. Место, куда я мог уехать, было, и притом не только для того, чтобы не попасть в руки жандармов, но вместе с тем сделать дело, которое отлагалось только в виду спешности дела с типографией.

И. И. Присецкий предложил мне недели за две до моего ареста увезти из одного имения Полтавской губернии дочь владельца этого имения, которая после одного дела в Москве, в связи с именем Качки, дела, в то время довольно известного в Москве, была отдана на поруки своему отцу. Между тем дочь этого помещика горела желанием принять участие в той борьбе за освобождение России, которая в это время достигла своего зенита.

План был такой. Я в качестве мельника поселюсь на мельнице в этом имении, что при достаточной уже старости помещика, который уже не раз настаивал на том, чтобы сын его взял на себя заботы по управлению имением, сделать было нетрудно.

Значит, мне предстояло познакомиться с пленницей своего отца, при посредстве брата увезти ее и, перевенчавшись с ней, тем самым освободить от поруки отца.

Не будь такой спешности с типографией, я бы на другой же день, после той ночи, которую я провел в квартире военного портного Забрамского, выехал по этому делу из Киева.

Но суждено было свершиться другому. 22 февраля я был арестован и предстал пред Судейкиным в Старо-Киевском участке. Первые слова, с которыми Судейкин обратился ко мне, был вопрос, — с кем я шел вместе сегодня по направлению к вокзалу? Я ответил ему — со Стефановичем, ибо знал, как Судейкин жаждал изловить Стефановича. „Со Стефановичем? — превратившись в слух, переспросил Судейкин. — А вы, — вы не Бохановский?“ — Я подтвердил его догадку.

Он быстро вскочил со стула, сбегал в отдельную комнату, очевидно, чтоб посмотреть фотографию Бохановского, и, возвратившись, с лукавой улыбкой сказал: „Вы, очевидно, любите пошутить. Нет, серьезно, будьте любезны, сообщите нам, — кто вы таков?“

— У вас же мой паспорт в руках, — ответил я, — чего же еще вам?

При мне был взят мой паспорт, на-днях полученный мной из Екатеринославской консистории, и, значит, скрывать, — кто был я, — не было смысла. Тем не менее Судейкин не поверил мне. „Знаю, — сказал Судейкин, — в вашем распоряжении таких паспортов много. Вот, например, и в этом паспорте вы называетесь Михаилом Родионовичем Поповым. Признаюсь, вашей фамилии не знаю, но знаю, что вас зовут Василием Николаевичем. Так пока я вас и буду называть. Намерены ли вы, Василий Николаевич, дать мне какие-либо показания?“

— Кто я такой, где был пред моим арестом, я вам сказал, а больше пока ничего не намерен сказать, ибо еще много времени впереди, и мы с вами, надеюсь, не в последний раз видимся.

После этого Судейкин составил протокол и, распорядившись о снятии с меня фотографии, сказал частному приставу: „В склад!“

Ясно, что меня только в этот день встретили жандармы, и, очевидно, получив от Судейкина распоряжение арестовать меня при первой встрече, они без разрешения Судейкина не решились арестовать вместе со мной и Фроленко, которого я проводил несколько по направлению к вокзалу, и Успенского, с которым они несомненно меня видели.

Мне думается, что Забрамский в моем аресте в этот день не оказал услуг жандармам, ибо он все это время среди них не показывался, и этим только можно объяснить, что не был арестован вместе со мной И. Н. Присецкий, у которого я ночевал накануне.

На другой день меня отправили в тюрьму. Вскоре в тюрьме получились вести об аресте Иванова, который был арестован, когда вместе с Забрамским переносил динамит, находившийся на старой квартире его, которую занимала в это время его жена.

Очевидно, в это время Забрамский решил так: будь, что будет. И другого ему ничего не оставалось. С одной стороны, он был бдительно сопровождаем агентами и поэтому не могу избежать рук Судейкина; с другой стороны, он понял, что потерял доверие и среди нас и боялся нас до того, что оказался в кольчуге, когда пытался убить его Поликарпов, пригласив его для этой цели в свою квартиру. Благодаря этому Поликарпов при помощи кинжала и не мог его убить.

В тюрьме мы получили вести о неудачном покушении Поликарпова на Забрамского. Арест Иванова не оставлял уже сомнения ни в ком, что Забрамский предает нас, и решено было отделаться от него, на что не соглашались еще в то время, когда я после проведенной у него ночи предложил это.

Попытка Поликарпова кончилась неудачей, так как Забрамский был в кольчуге, и Поликарпов только нанес ему несколько ран в шею уже в борьбе с Забрамским, когда рассчитанный неожиданный удар кинжалом был прегражден кольчугой. Раненый Забрамский выскочил из квартиры Поликарпова и начал звать на помощь. Поликарпов в виду этого застрелил себя.

Сведения о неудачном покушении Поликарпова и самоубийстве его самого сопровождались сообщением о том,

что Забрамский, получивший несколько ран в шею, лежит в больнице и, по слухам, дошедшим из больницы, сказал будто бы доктору или кому другому — не помню сейчас: „До сих пор я скрывал от жандармов все, что я знал, но теперь, после того, как они со мной поступили, я открою все, что мне известно“.

В сущности Забрамский знал о наших делах немного, или, правильнее, у него были обо всем отрывочные сведения, обрывки того или другого предпринимаемого нами дела, схваченные на лету, что ясно подтверждает и обвинительный акт нашего процесса. Например, Забрамский знал, что у нас шла речь о покупке лошадей и что Ильяшенко с этой целью куда-то уехал. Передал он об этом Судейкину уже после того, как он решил говорить все, что ему известно о наших делах. Так заставляет думать то, что едва ли Судейкин, если бы он знал, куда и зачем едет Ильяшенко, арестовал его раньше, чем Ильяшенко сделал то, зачем ехал.

И вот Судейкин, на основании полученных с опозданием от Забрамского сведений, задает себе вопрос, — зачем им понадобились лошади? — и решает — лошади нужны для ограбления полтавского казначейства. Это он внушает Забрамскому и, после ареста Ильяшенко, заявляет Ильяшенко, что ему, Судейкину, известно из показаний арестованных его сообщников, что лошади, которых ему поручено было купить, нужны были именно для этой цели. Ильяшенко, не разбиравшийся в юридических тонкостях и у которого не хватало мужества совсем отказаться от дачи показаний, полагал, что такое показание дали другие, чтоб отвести глаза от имения Стаховского, куда (он хорошо знал) ехал он, — поддакивает Судейкину [1].

Затем Забрамский знал, что у нас имеется динамит и бомбы, но для какой цели—не знал. Судейкин опять решает за нас, что бомбы, нами приготовленные, предназначались для покушения на генерал-губернатора Черткова, между тем, как уже читателю известно из предыдущего, бомбы были предназначены для другой цели. И так далее, сплошь и рядом.

Так что деятельность, за которую нас судили, была

[1] На суде Ильяшенко отказался от этого показания.

не наша деятельность, а деятельность фантазии Судейкина.

Наш процесс — одна из ярких демонстраций, что следственный материал, на основании которого оперируют военные судьи, в большинстве случаев чистейшей воды фантазия жандармов, и наш обвинительный акт самый лучший образчик тех обвинительных актов в наше время, какие готовились для военных судей жандармами. Люди обвинялись за такие деяния, о которых они и не помышляли, и отправлялись на эшафот и в каторгу.

Розовский отправлен на эшафот ни за что. Он решительно не принимал ни малейшего участия в революционных делах, если не считать его знакомства по университету с Иг. Ивановым, который привел к нему на ночлег С. Диковского. Кроме сочувствия к гонимым правительством, за Розовским не было никаких преступлений.

Точно так же Ильяшенко по нашему процессу приговорен к каторге на 15 лет за намерение ограбить казначейство полтавское, о чем он и не помышлял.

Другие, правда, по нашему процессу были виновны пред законом, если и не в том, в чем их обвиняли, но за ними все же были поступки, хоть и не обнаруженные следствием, но, конечно, караемые законом. За Ильяшенко же не было поступков, за которые бы его следовало осудить на 15 лет каторги.

Как бы то ни было, но наша группа, так успешно начавшая свою деятельность и за короткое время привлекшая в свои ряды столько способных и энергичных лиц и сосредоточившая в своих руках достаточно материальных средств, была так же быстро разгромлена, как сначала успешно организовалась. Скоро очутились под тюремным замком все почти члены Киевского кружка.

Трагического характера новости следовали одна за другой. Только что мы в тюрьме пережили полученные вести о покушении Поликарпова на Забрамского, кончившемся его самоубийством, как нам сообщили с воли о трагическом событии в имении Стаховского.

М. Н. Стаховский жил в имении своей жены в Курской губернии. Отец же его с матерью жили в своем имении в Полтавской губернии.

Отец Стаховского был кутила и картежный игрок и

после кутежей в каком-нибудь из картежных притонов в Полтаве часто возвращался к себе домой в имение в пьяном виде и раздраженный неудачей в игре в карты. Как это не в редкость на Руси, особенно когда еще так свежи были традиции крепостного права, он вымещал эти неудачи на жене и позволял себе грубое обращение с ней. В таких случаях мать Стаховского искала защиты и покоя от грубости мужа в семье М. Н. Стаховского.

Так было и в этот раз. Она приехала к сыну в курское его имение. Но вслед за ней приехал и отец Стаховского. М. Н. Стаховский встретил своего отца на пороге своего дома и сказал ему: „Вот что, отец, я решил сказать тебе! Ты так груб и несправедлив с моей матерью, что я принужден отказать тебе в гостеприимстве и прошу тебя оставить и мать и меня в покое“. После этого Стаховский направился в комнату, на пороге которой он встретил своего отца. В это время отец вынул из кармана револьвер и выстрелил в спину сына. М. Н. Стаховский после этого недолго прожил и умер, ибо пуля прошла позвоночник.

Что за субъект отец Стаховского—это достаточно объясняет характерная история приобретения им револьвера, которым он убил своего сына. По пути к сыну он кутил с каким-то жандармским чином на станциях пути его в имение сына. Следствие выяснило, что револьвер, которым он убил своего сына, он уворовал у этого жандармского чина, ехавшего с ним в одном вагоне. Похитил ли на самом деле Стаховский револьвер, или завладел им с согласия этого чина, как о том ходили тогда слухи,—и в том и в другом случае эта история о револьвере довольно говорит о нравственном облике отца Стаховского.

В это время у Стаховского проживал Юрковский, или инженер Сашка, кличка, под которою он был известен после наделавшего в свое время много шуму дела с „конфискацией“ (по выражению на суде Юрковского) херсонского казначейства. Нет нужды говорить, какое ошеломляющее впечатление произвела эта трагическая смерть Стаховского на мать и жену его, единственных двух женщин, оставшихся в доме Стаховского. Юрковский посмотрел на все случившееся на его глазах, как на семейную драму, находил для себя безопасным оставаться в доме, тем более, что убитые горем жена и мать нуждались

в присутствии человека, на помощь которого они могли рассчитывать.

Но дело приняло неожиданный характер для всех и в том числе для Юрковского, характер политический. Отец Стаховского заявил на следствии, что убил сына, потому что он узнал, что сын его примкнул к революционной партии, чего он, как дворянин, не мог простить своему сыну и решил убить его.

Конечно, такой мотив убийства подсказала Стаховскому трусливая, эгоистическая душа кутилы и прожигателя жизни.

В дом Стаховского нагрянули жандармы с обыском, и Юрковский, до выяснения личности, был арестован и заключен в Курской тюрьме. Выяснилось, что задержанный в доме Стаховских не кто другой, а именно Юрковский, которого так тщательно в то время разыскивали во всех концах России.

Юрковского сначала отправили в Одессу, а оттуда в Киев, признав в нем одного из членов нашего кружка.

Таким образом наш Киевский кружок был разгромлен, и Судейкин со Стрельниковым принялись за составление обвинительного акта против нас. Пока что я коснусь обвинительного акта мимоходом, надеясь со временем дать более подробный отчет о суде. Теперь же скажу, что весь обвинительный акт построен на показании одного лишь свидетеля Забрамского, который к тому же на суде не присутствовал; по откровенному заявлению суду Стрельниковым, потому, что Забрамский слишком не самостоятельная и мягкая натура и мог поколебаться, представ на суде лицом к лицу с подсудимыми, к некоторым из которых, — „я не скрою этого от суда, — прибавил Стрельников, — Забрамский и после того, что с ним эти гг. проделали, питает симпатии и жалеет об ожидающей их участи“. „Всего только на-днях он, Забрамский,—сказал прокурор, — был у меня и просил о снисхождении и милосердии к некоторым из сидящих пред вами подсудимым“.

Трудно сказать,—сколько правды в том, что откровенно поведал Стрельников суду. Но верно то, что Стрельников и Судейкин после того как на суде подвел их Богуславский, выставленный ими против нас свидетель, боялись положиться на Забрамского.

Богуславский был приговорен незадолго пред нашим процессом к смертной казни. Стрельников и Судейкин, создавшие себе карьеру нашим судом, обещали ему отмену казни, если он согласится выступить свидетелем против нас. Богуславский дрогнул и обещал. Стрельников таким образом, как казалось ему, имел против нас страшного свидетеля. Он инспирировал Богуславского, как разоблачителя нашей „революционной подоплеки", и рекомендовал пред приводом Богуславского в залу заседания суда, как хорошо знающего „закулисную сторону гг. русских революционеров". „Я попрошу суд,—говорил прокурор,—позволить мне, быть может, не раз обратиться к свидетельству Богуславского, которого показания,—суд сейчас увидит,—так драгоценны для меня, как обвинителя". Стрельников на показаниях Богуславского предполагал в полной наготе представить безнравственность русских революционеров.

Ввели Богуславского. Стрельников с сияющей улыбкой потирает руки. Новицкий и Судейкин вошли тоже в залу. Богуславский стоит пред судом, опустив глаза к полу.

„Свидетель!—обратился к Богуславскому Стрельников.— Вы близко стояли к русским революционным кругам и даже сами примыкали к ним. Расскажите суду все, что вам известно о безнравственности этой среды, так же откровенно, как откровенно о том вы рассказывали мне!"— Богуславский молчит. Новицкий переглянулся с Судейкиным, ровно спрашивает: что это значит?

Стрельников вновь обращается к Богуславскому. „Вы ярко развернули пред моими глазами закулисную сторону вот этих господ, которые ждут возмездия за свои преступные деяния, познакомьте суд так же точно со всеми тайнами революции".—Богуславский вновь молчит. Судейкин у дверей залы стоит сконфуженный и, по привычке, в досаде грызет верхней челюстью край левой губы.

„Например, — продолжает наводить Богуславского Стрельников,—начните с того, что толкает на беззаконный путь наших революционеров? Вы мне говорили, что господ, подобных тем, которые сидят пред судом, толкают на революционный путь, главным образом, корыстные це-

ли — так ли?" — Богуславский опять ни звука. Наконец вмешивается председатель суда и повторяет вопрос прокурора Богуславскому: „Что толкает русскую молодежь на революционный путь?" — Богуславский отвечает председателю: „Любовь к народу". — „Что?" — переспросил тугой на ухо председатель. — „Любовь к народу!" — громко повторил Богуславский.

Публика сочувственно посмотрела в нашу сторону. Прокурор переглянулся с Новицким, Судейкин вышел из залы суда.

Председатель, очевидно, понял, что время вывести из неловкого положения прокурора и жандармов, и делает распоряжение об уводе свидетеля Богуславского. Жандармы торопливо исполнили распоряжение председателя, и Богуславский исчезает за дверью залы на все время процесса и потом в тюрьме умирает.

После того, конечно, что называется,—обожгись на молоке, и на воду станешь дуть, — Стрельников и Судейкин решили, что будет надежней, если Забрамский заочно будет показывать, справедливо рассуждая, что бумага все вытерпит, а Забрамский, — кто его знает? — может и изменить.

Нам оставалось одно—сидеть и ждать правого и милостивого суда. План побега из тюрьмы Иг. Иванова и меня провалился, благодаря другому провокатору, известному среди украинофилов под кличкой Пана. Он попал в тюрьму и, чтоб выкарабкаться из нее, доводил до сведения Судейкина о всем, что Судейкину было интересно. План задуман был удачно. Павел Иванов поступил в качестве ассенизатора в обоз, который ведал Киевскую тюрьму. Явился в качестве ассенизатора в тот дворик, где мы гуляли и в котором в стороне находилась сточная яма, условился, что на следующий день явится с специально приготовленной бочкой для двоих, и чтоб мы были готовы к побегу. Я распрощался со всеми товарищами, в том числе и с Паном. Последний, конечно, не замедлил о том предупредить Судейкина. Прежде всего сделано было распоряжение о бдительном надзоре за ассенизационными бочками, которые были в день тревоги и должны были явиться завтра. Нам оставалось быть довольными хоть тем, что успели предупредить об этом на воле. Удалось же это благодаря вот чему.

Мы не знали, что начальству уже известно о предположенном нами побеге. Но начальство распорядилось, чтоб надзиратели строго следили за бочками, которые завтра приедут в тюрьму, осмотрели бы их все, когда ассенизаторы будут ехать во двор тюрьмы и когда будут выезжать обратно. Между тем надзиратели наши под предводительством Алексея были посредниками между нами и вольными товарищами нашими. Узнавши обо всем этом от смотрителя, Алексей отправился по тому адресу, по которому он всегда носил корреспонденцию из тюрьмы и где брал таковую для нас в тюрьму, и сообщил там, что о предположенном завтра побеге из тюрьмы начальству известно и приказано обратить особенное внимание на бочки ассенизационного обоза.

Благодаря только этому Павел Иванов не попал в руки начальства. Благодаря же этим трем надзирателям у нас с волей были самые правильные сношения.

Вечером, когда тюрьма закрывалась после вечерней поверки, у нас начиналась жизнь. Подходил к форточкам наших дверей Алексей, сообщал о том, что поверка в тюрьме кончилась и тюрьма закрыта. Затем отправлялся и ставил самовар, при чем для предосторожности, чтоб внезапный контроль не услышал шума самовара, отпускались в клозетах краны, и у нас устраивалось чаепитие, во время которого нам сообщались новости с воли и передавались газеты, вплоть до нелегальных.

До какой степени Алексей честно исполнял взятую на себя роль по сношению нас с вольными товарищами, свидетельствует то, что через посредство его мы получили с воли 700 руб. денег, которые были доставлены нам в том расчете, что, может быть, по пути на Кару кому-нибудь подвернется случай бежать.

Был у нас в тюрьме бунт из-за того, что одного из нас, В. Позена, посадили в карцер. Бунт выразился тем, что мы побили окна в наших камерах и погасили огни. Кончился этот бунт тем, что нас сначала перевязали, а потом явившийся Судейкин распорядился развязать нас и поставить в коридоре часовых с ружьями.

Это ни мало не смутило Алексея, и, как только тюрьму заперли, он точно так же, как и всегда, поставил самовар и стал угощать чаем и нас, и часовых. Предложив чай

первому часовому, который стал было отказываться на том основании, что он поставлен на часы и, значит, ни есть, ни пить не может, Алексей сказал ему: „А ты не рассказывай, а бери и пей, коли дают! Знаю, сам я тоже был солдатом, как и ты, и больше твоего видел, и скажу тебе—как исполнять все, что требует от солдата начальство, так и от голода помрешь и на морозе замерзнешь! Слыхал, небось, как на Балканах наш брат солдат замерзал, ну, а я не только слыхал, но и глазами своими видел. Бери — небось! Тут, брат, — продолжал тихо уже Алексей, чтоб показать солдатам, что он не все говорит, что бы мы слышали, — тут, брат, никто начальству не донесет, это только нашего брата пугают,—еще тише заговорил Алексей,—государственные преступники! Так и я думал сначала. А вот теперь вижу, что люди эти никому зла не желают, а всем добра".

Солдат поставил ружье, а другой уже без всяких возражений взял хлеб и чай, и вступили в разговоры то у одной, то у другой форточки наших камер.

В довершение иронии судьбы этот самый Алексей был вызван на суд Стрельниковым в качестве свидетеля против нас. Стрельников поставил себе задачей уверить суд в том, что и разбои в России все те же плоды революционной пропаганды. В то время в Киевской тюрьме сидели два выдающихся разбойника, Тышкевич и Адамюк, на которых уголовные смотрели не как на обыкновенных разбойников, а как на народных защитников. На суде военном они держались тоже не как обыкновенные разбойники, и, когда их приговорили к смертной казни, то один из них—кажется, Адамюк—считал унизительным для своего достоинства просить о помиловании. Это-то обстоятельство Стрельников хотел использовать на нашем процессе и предупреждал суд, что это явление нужно приписать влиянию русских революционеров. Он на нашем суде обратил внимание суда на то, что мы и в тюрьме ведем противоправительственную пропаганду. В доказательство этой своей мысли он и вызвал на суд Алексея, чтоб тот подтвердил, что мы ведем среди уголовных сношения, чрез них мы сходимся с революционерами на воле, а отсюда, по его взглядам, уже само собой понятно, что мы ведем пропаганду среди уголовных.

„Скажи суду, унетер-офицер, — обращался к Алексею на суде прокурор,—ты постоянно с ними в тюрьме, не думаешь ли ты, что вот эти подсудимые получали сведения с воли через уголовных?“ — „Не иначе, ваше высокоблагородие, как через них“. „Трудно уследить за уголовными, ваше высокоблагородие,—продолжал давать свои показания Алексей,—конечно, заметишь,—велишь им, т. е. уголовным, не подходить к окнам политических. Но разве за ними уследишь? Одного прогонишь, — другой уж тут! Долго ли нужно, чтоб бросить в окно записку, или, скажем, что другое там“. — „Совершенно верно, унтер-офицер“, — подтверждает Стрельников. — „Но не иначе, — продолжает Алексей,—как через уголовных политические имеют дела с волей, ваше высокоблагородие“.

„Довольно, унтер-офицер! Служи так же верно, исполняй долг присяги, как ты всегда исполнял!“—сказал торжественно Стрельников.

„Рад стараться, ваше высокоблагородие“, — не менее торжественно ответил Алексей.

ВОЕННЫЙ СУД В КИЕВЕ В 1880 ГОДУ [1]

(Из моих воспоминаний)

В газете „Киевлянин" в июле 1880 года появилась следующая заметка:

„В Киевском военно-окружном суде при открытых дверях назначено на 14 июля к слушанию следующее политическое дело: 1) о мещанине Никите Левченко, 2) австрийском подданном Болеславе Костецком, 3) неизвестном, называющем себя Бойченко, 4) мещанине Вениамине Позене, 5) сыне дьячка Павле Лозянове, 6) сыне священника Моисее Диковском, 7) неизвестном, называющем себя Николаем Троицким, 8) крестьянине Севастьяне Ильяшенко-Куценко, 9) сыне священника Сергее Диковском, 10) сыне священника Дмитрии Буцинском, 11) дворянине Николае Подревском, 12) дворянине Владимире Жукове, 13) сыне священника Михаиле Попове, 14) личном дворянине Игнатии Иванове, 15) дворянине Михаиле Клименко, 16) жене почетного потомственного гражданина Виктории Левенсон, 17) сыне губернского секретаря Николае Петрове, 18) дворянине Федоре Юрковском, 19) мещанине Шейве Шехтер, 20) мещанке Фанни Реферт и 21) австрийском подданном Соломоне Лотрингер, обвиняемых в составлении в г. Киеве тайного противозаконного сообщества, имеющего целью ниспровергнуть путем насилия существующий государственный и общественный порядок, для чего они поддерживали сношения с такими же кружками, находящимися в Петербурге и других городах империи, устраивали сходки для обсуждения средств к произведению социальной революции, приобретали и распространяли возмутительные прокламации, подделывали подложные паспорта для снабжения ими членов кружка и, замыслив убийство некоторых должностных лиц, приобрели для этого разрывные снаряды, при чем главными распоря-

---

[1] Сборник „О минувшем", Спб., 1908 г.

дителями этого сообщества были Михаил Попов и Игнатий Иванов.

„Состав суда назначен следующий: председатель суда генерал-майор Слуцкий, член суда полковник Байков, временные члены: полковник Коллерт и подполковники: Кирдановский, Шпиллер, Михаель, Селецкий и Троянов.

„Поддерживать обвинение будет прокурор военно-киевского окружного суда полковник Стрельников. Места защитников займут кандидаты на судебные должности Бельский, Добровольский и Булгаков.

„На обычном месте, назначенном для подсудимых, будет устроена временно решетка с 4-мя скамьями, на которых разместят подсудимых".

Этот суд происходил надо мной и моими товарищами по делу в 1880 году, с 14-го по 26 июля, следовательно — 28 лет тому назад. Многих подробностей нашего суда моя память не сохранила, да, мне кажется, и нет надобности загромождать эту статью неважными подробностями, имевшими место на суде; в России военные суды по политическим делам существуют и по сие время, и такие подробности были бы только лишним балластом в моей статье.

Накануне нашего суда волна общественного настроения еще выше поднялась. Незадолго перед нашим процессом во главе внутренней политики в России стал Лорис-Меликов, что породило в обществе неясные намеки на какое-то лучшее будущее; в награду за это неясное будущее от общества требовалась помощь в борьбе с внутренним врагом государства, т. е. революционерами. В политически развитых слоях общества это именовалось заигрыванием Лориса с обществом, а Катков окрестил этот момент в истории русской „диктатурой сердца". Но дело не в названии, а в том, что и этого немногого со стороны правительства было достаточно, чтоб волна общественного настроения поднялась. Это, мне кажется, ясно говорит, в каком направлении работала общественная мысль.

Мы, явившиеся на суд, спустя в среднем для каждого из нас 4—5 месяцев после того, как нас упрятали в тюрьму, заметили без особого труда признаки особого веяния, и новые веяния казались тогда реальностью не только обыкновенному смертному, но и таким испытанным людям, как, напр., жандармы. При нас на суде в

качестве посредника между караулом нашим, состоявшим из донских казаков, и нами состоял капитан Киевского жандармского управления Скандраков, который в беседе с ними не отрицал того, что налицо достаточно оснований ждать в недалеком будущем конституции, и лишь прибавлял: „А все ж, господа, не по-вашему будет — конституция далеко не социализм, чего добиваетесь вы!“

Обусловленное переменой курса внутренней политики общественное настроение сказалось и на отношении суда к нам. Состав суда не был враждебно настроен по отношению к нам. Конечно, эта невраждебность в большой своей дозе была чисто платоническая и мало отразилась на приговоре суда над нами, но все же отразилась. За 3—4 месяца перед нашим судом тот же Киевский военно-окружной суд вынес смертные приговоры Лозинскому, Розовскому и Богуславскому, менее многих из нас виновным в ниспровержении государственного и общественного строя, за что нас судили. Розовский казнен за то только, что у него переночевал Сергей Диковский, чемодан которого нашли при обыске у него, в котором оказалось несколько прокламаций от Исполнительного Комитета, а самого Диковского тот же военно-окружной суд приговорил к 20 годам каторги. Но, помимо этого, невраждебность состава суда не раз сказывалась в продолжение процесса. Часто, во время переговора судей по поводу того или другого инцидента на суде, до нас доходили слова судей, свидетельствующие о доброжелательности суда к нам. Часто, напр., прокурор Стрельников обращался к суду с просьбой привести к порядку того или другого из нас, позволившего по отношению к нему, прокурору, грубость. Грубость с нашей стороны по адресу прокурора всегда была ответом на грубость прокурора в отношении к нам. В одном подобном случае, когда прокурор обратился к председателю с просьбой привести к порядку, не помню, кого из нас, то во время совещания суда по поводу этого до нас дошли явственно слова председателя: „Пусть сам прокурор не позволяет себе грубости по отношению к подсудимым, тогда можно будет требовать корректности и от подсудимых по отношению к прокурору“.

Сказалась невраждебность суда к нам и в последний день нашего процесса. Когда нас, по прочтении нам при-

говора, рассаживали в кареты для отправки в тюрьму, то ко мне и Иванову подошел секретарь суда и от имени председателя сказал: „Председатель просил меня сказать вам, чтоб вы не падали духом, ибо он прямо из суда едет к генерал-губернатору хлопотать, чтоб смертная казнь вам была заменена более легким наказанием“.

Конечно, суд не мог оправдать нас, раз было доказано, что мы социалисты-революционеры, поставившие себе задачей ниспровергнуть государственный и общественный порядок, но несомненно, что судьи наши не с легким сердцем вынесли нам свой приговор, а один из временных судей при чтении нам приговора даже прослезился.

Даже Судейкин, несомненный циник в общественных вопросах, даже он считал более извинительным рекомендовать себя нам как карьериста, чем искреннего приверженца правительства. Провожая нас до Мценска по пути нашем на Кару, он рассказывал нам об обостренных отношениях между Лорис-Меликовым, с одной стороны, и генерал-губернаторами и особенно киевским генерал-губернатором Чертковым, с другой стороны. Характеризуя нам в вагоне генерал-губернатора Черткова, он не жалел красок, говоря о его жестокости, и на наше недоумение, как он при такой оценке им же самим Черткова может быть слугой и исполнителем велений Черткова, сказал нам: „Я, господа, не идеалист и на все смотрю с точки зрения выгоды! Располагай русская революционная партия такими же средствами для вознаграждения агентов, я так же верно служил бы и ей“.

Таковым настроением общества только и можно объяснить то странное на первый взгляд явление, что движение 70-х годов—капля в море сравнительно с движением 1905 года — было так жизненно и упорно: горсть революционеров вела с могущественным правительством продолжительную и упорную борьбу и заставляла правительство колебаться в выборе средств борьбы с ними.

Правительство то пускало в ход против революционеров самые жестокие меры, за какую-нибудь „Сказку о 4-х братьях“ отправляя на продолжительный срок в каторгу, то обращалось с призывом к обществу помочь ему в борьбе с внутренним его врагом, суля в награду за таковую

заслугу стать на путь реформ, начатых в 60-х годах и якобы прерванных только временно, до победы над врагами всякого общественного порядка. В действительности происходил поединок между правительством и революционерами, общество же как будто ждало, что из этого выйдет. Пресса, за исключением „Московских Ведомостей“ с Катковым во главе, от протянутой руки которого на Пушкинском празднестве брезгливо отвернулся Тургенев, и подголосков Каткова, вроде „Киевлянина“, хранила гробовое молчание, что объяснялось и самим правительством, и обществом так: пресса только страха ради молчит, и если б имела гарантию безнаказанности, то трудно сказать, на чью голову посыпалось бы больше порицаний— на голову ли правительства или революционеров, и самое большее, что сказала бы пресса по отношению к революционерам—это не одобрила бы средства революционеров, но и для этого греха революционеров нашлись бы смягчающие вину обстоятельства.

И это сказалось тотчас же, как только заигрывающий с обществом Лорис-Меликов дал понять обществу, что оно может сказать свое мнение, и ответ общества был таков: нужно не откладывать реформ до победы над революционерами, ибо только лишь реформированием устаревшего государственного порядка и можно победить революционеров.

В Петербурге ходила молва незадолго пред тем, как во главе внутренней политики стал Лорис-Меликов, что как будто бы на призыв петербургского генерал-губернатора Гурко к войскам, чтоб они приняли участие в борьбе правительства с внутренним врагом, один из командиров гвардейского корпуса ответил так: он пригласил к себе гг. офицеров, познакомил их с призывом ген.-губ. Гурко к войскам и затем, с своей стороны, сказал: „Не сомневаюсь, господа, в том, что между вами нет таких, кто стал бы в ряды революционеров, но хотел бы верить и тому, что никто из вас не возьмет на себя роли сыщика. Это не наше дело, господа, для этого существуют синие мундиры“.

После этого небольшого вступления, которое мне казалось необходимым, мне оставалось бы только приступить к изложению обвинительного акта против нашего

Киевского кружка, но я решил предварительно сделать еще одну оговорку по двум соображениям: во 1-х, такая оговорка избавит меня от необходимости излагать весь обвинительный акт, что сделало бы мою статью и длинной и скучной не в меру, а во 2-х, и для того, чтоб читатель мог судить, насколько показания свидетелей заслуживают доверия, а между тем только на основании свидетельских показаний можно было установить тот факт, что мы представляли единое противозаконное сообщество.

Дело в том, что обвинительный акт против нас, который, между прочим, ставил нам в вину и то, что мы составляли сообщество, объединенное одной общей практической и теоретической программой, составлен на основании единственного свидетеля Забрамского, который, по словам жандармского управления и прокурора, обманывал их и только под конец стал говорить правду, иначе говоря, — человека, которому не впервые врать.

Забрамский, как то выяснилось на суде, был сначала невольным, а потом по доброй воле провокатором. По показанию жандармского капитана Судейкина на суде, Забрамский с начала того времени, как он попал в сети Судейкина, и вплоть до покушения Поликарпова на его жизнь обманывал его, Судейкина, и только после покушения Поликарпова, нуждаясь в покровительстве жандармского управления, стал говорить ему, Судейкину, все то, что он знал о делах нашего кружка. Слова Судейкина на суде в беседах с нами подтверждал и Скандраков, упомянутый уже выше в моей статье жандармский капитан. По словам Скандракова, Забрамский доставлял Киевскому жандармскому управлению столько хлопот, как никто другой из нас. Все наличные силы агентуры управления были направлены на то, чтоб не терять из виду Забрамского, и за ним по пятам ходили агенты управления. Необходимо это было потому, что жандармское управление имело много случаев убедиться в том, что Забрамский обманывает его. „Нам оставалось, — говорил Скандраков, — одно — по следам Забрамского проникнуть в центр вашей организации и накрыть и вас и его с поличным“.

Эти слова Скандракова подтверждаются следующим обстоятельством. Судейкин чрез Забрамского предложил нам довольно хорошо обставленную на счет Киевского жандарм-

ского управления квартиру; конечно, Забрамский, по совету Судейкина должен был предложить эту квартиру не от имени Судейкина, а от неизвестной особы, якобы нам сочувствующей, но пожелавшей сохранить свое incognito. Забрамский обещал Судейкину поступить так, как он ему рекомендовал, но поступил иначе.

Он сообщил нам имя тайного нашего благожелателя и познакомил нас со всеми подробностями переговоров, которые по этому поводу были между им, Забрамским, и Судейкиным.

Все это, а также то обстоятельство, что Забрамский не был посвящен в дела нашей организации, а знал только то, что от него нельзя было скрыть (он посещал одну из квартир, именно квартиру Жукова, с которым он одно время жил в одном и том же доме), уничтожают всякое сомнение, что показания Забрамского не есть плод творчества Судейкина. Можно, конечно, допустить, что после покушения Поликарпова на жизнь Забрамского Забрамский стал говорить Судейкину все то, что он знал, но в показаниях Забрамского много такого, чего в действительности не было—это раз; во 2-х, Забрамский не отличался в такой мере силой мысли, чтоб из обрывков того, что ему было известно из наших планов и нашей деятельности, дать стройное, проникнутое общей целью показание, задачей которого было доказать нашу принадлежность к партии народовольцев. Вернее, дело происходило так: Забрамский поделился с Судейкиным теми обрывками знаний о нашей деятельности, которые у него имелись, а Судейкин с помощью Стрельникова присочинил остальное, в чем нас обвиняли на суде, чтоб иметь таким образом основание на суде причислять нас к террористам.

С такой уверенностью я едва ли бы настаивал на этом, если бы точно так же Судейкин не поступил с показаниями других, причастных к нашему процессу. Но в том-то и дело, что точно так же Стрельников и Судейкин поступили с показаниями Ильяшенко-Куценко и Богуславского. Историю с Богуславским на суде я расскажу ниже, как доказательство того, как Стрельников не только вольно излагал свидетельские показания на суде в своей обвинительной речи, но и просто-таки сочинял то, чего на суде свидетели и не говорили. О фальсификации же пока-

заний Ильяшенко-Куценко, состряпанной при помощи того же Забрамского, расскажу здесь.

Ильяшенко-Куценко был арестован на станции Нежин, по пути в имение Стаховского в Путивльском уезде Курской губернии, где нами предполагалось открыть типографию. В связи с этим нашим намерением, Ильяшенко должен был на одной из ближайших станций к имению штабс-капитана артиллерии Стаховского устроиться в качестве извозчика при станции, чтобы под видом такового перевозить из имения Стаховского литературу, которую предполагалось печатать в этой типографии. Арест Ильяшенко в Нежине по пути в имение Стаховского показывает, что Киевскому жандармскому управлению неизвестно было, куда и с какой целью едет Ильяшенко. Жандармскому управлению даже не было известно того, что знал Забрамский, которому если не было известно, где и для какой цели Ильяшенко должен был купить лошадей, то все же он знал, что Ильяшенко уехал с целью приобретения лошадей. Без всякого сомнения, если б Судейкин знал хоть бы только то, что целью поездки Ильяшенко была покупка лошадей, то он не дал бы распоряжения агенту, провожавшему Ильяшенко до Нежина, арестовать его в этом городе, а дал бы возможность доехать до места, куда он ехал, и там арестовать его. Таким образом, остается думать, что Ильяшенко арестован в Нежине только потому, что его заметили в сообществе с Забрамским на улицах Киева, и самое большее, может быть, потому, что Забрамский выдал Ильяшенко, так как возможно допустить, что Забрамский к этому времени убедился, что за ним по пятам ходят шпионы.

Потом уже, после покушения Поликарпова на жизнь Забрамского, он сказал Судейкину и то, зачем ехал Ильяшенко, но так как и Забрамскому неизвестно было, где и для чего Ильяшенко должен был купить лошадей, то это обстоятельство и заставило работать фантазию Судейкина. Продукт творчества Судейкина был таков: Ильяшенко был отправлен на станцию Ворожба, чтобы там приобресть лошадей и экипаж, нужные нам в связи с задуманным нами планом ограбления казначейства. Предъявить такое обвинение нам казалось тем удобнее, что вместе с нами был привлечен к суду и Юрковский,

участвовавший, по его словам на суде, в „конфискации" херсонского казначейства. Оставалось только добиться того, чтоб иметь, кроме Забрамского, еще одного свидетеля. Для этого Судейкин решил держать Ильяшенко изолированно, и Ильяшенко со времени ареста его и вплоть до суда держался в одной из частей города Киева.

Ильяшенко оставалось одно из двух: или решительно отрицать предъявленное ему обвинение, или опровергнуть его, заявив истинную цель, для которой нужны были нам лошади. Ильяшенко — крестьянин, не сведущий в юридических тонкостях,—желая предупредить арест Стаховского, решил не опровергать показаний, предъявленных ему, как показания, данные арестованным Забрамским.

Во время суда Судейкин также думал держать Ильяшенко изолированно от нас и, конечно, потому, что понимал хорошо несостоятельность своей выдумки насчет полтавского казначейства, которая могла сойти за правду лишь в том случае, если Ильяшенко не станет отрицать всего, навязанного ему на предварительном следствии. Но Ильяшенко после первого же заседания суда, когда нас оставили на время перерыва суда на дворе суда, а его вместе с Богуславским и Ключниковым, инспирированными свидетелями против нас, хотели поместить отдельно, заявил жандармам, что он не шпион и что желает остаться в сообществе товарищей по делу. Кроме того он заявил, что если бы его вопреки его просьбе и увели, то „этим ничего не достигнете, ибо на суде я заявлю, что показания, подписанные мной, не мои показания, а Судейкина и навязаны мне застращиваниями и обманом".

На этот раз Ильяшенко оставили с нами, но вечером, размещая нас по камерам при Киевском военно-окружном суде, повторилась та же сцена между жандармами и Ильяшенко, т. е. жандармы вновь попытались поместить Ильяшенко отдельно от нас, но, услышав от Ильяшенко то же, что он сказал им во время обеденного перерыва суда, оставили его в покое и ограничились тем, что во время допроса Ильяшенко на суде нас всех удалили из залы заседания суда.

Но и это не помогло. Ильяшенко отказался от показаний, данных им на предварительном следствии, заявив суду,

что они были вынуждены у него обманом и застращиваниями.

Дело кончилось тем, что раздосадованный неудачей прокурор Стрельников, alter ego английского судьи Иакова II Джеффсона, убеждал верить показанию, которое Ильяшенко дал на предварительном следствии, а не данному им сейчас на судебном следствии. Стрельников в этом случае в гневе не соображался с разумностью, и сказал такую несообразность: „То, что Ильяшенко отказался от показаний, данных им на предварительном следствии, легко объяснить: Попов просто пообещал ему 25 руб., вот он и отказывается“. Слова прокурора в зале суда были встречены немою, но многозначительной улыбкой, говорившей ясно: вот что значит переусердствовать. Защитник Ильяшенко Булгаков в защитительной речи сказал так: „Как бы вы, гг. судьи, ни смотрели на Ильяшенко, все же трудно согласиться с прокурором, что Ильяшенко за 25 руб. готов взвалить себе на плечи 15 лет каторги, а, становясь в ряды подсудимых, называя их своими товарищами, он несомненно дает прокурору право на обвинение по той статье, которая по меньшей мере грозит подсудимому 15-ю годами каторги“.

Но если прокурор и жандармы потерпели неудачу со свидетелями, взятыми из среды нас, с Ильяшенко и Богуславским, то свидетели жандармские унтер-офицеры остались верны тем наставлениям, которые даны были им Стрельниковым и Судейкиным. Но и это мало помогло делу. Всем на суде ясно было, что жандармы показывали не на основании данных, добытых ими непосредственно, а все, что они показывали против нас, они узнали от Забрамского.

Среди судей был судья Байков, который, очевидно, хорошо из предыдущих политических процессов знал, как приготовляются Стрельниковым свидетели по политическим делам, и потому не раз ставил инспирированных свидетелей в затруднительное положение на нашем суде. Байкову, как судье, было понятно, что многое из того, что показывали на суде жандармы, трудно было узнать, стоя у ворот той или другой квартиры, а чаще, из боязни открыть в лице своем сыщика, и на углу улицы, где находится подозрительная квартира, и потому своими

вопросами он часто ставил втупик свидетелей унтеров. Например, свидетель унтер показывает: „Попова или Василия Николаевича, известного в кружке под кличкой „генерала", знаю, следил за ним там-то и там". Байков, очевидно, чутьем судьи угадал, что свидетель не сам узнал, что Попов известен в кружке под именем генерала, а говорит с чужих слов, и ставит такой вопрос: „А не известно тебе, свидетель, почему Попова называли генералом?" — „Мы, ваше высокоблагородие, т. е. жандармы, следивши за г. Поповым, промеж себя говорили: вот их генерал идет! Так как, значит, г. Попов выше всех их ростом, опять же и походка у них важная, вот мы промеж себя и называли Попова генералом".

Конечно, такой ответ вызвал смех в зале суда и для всех и каждого показал, что свидетель говорит с чужих слов о том, что Попов в кружке был известен под кличкой генерала.

Еще курьезнее показание другого жандарма о Сергее Диковском. Одно время С. Диковский жил под видом мещанина Тисова в Киеве. Очевидно, в то время за С. Диковским еще не следили, но для того, чтобы показания Забрамского подтверждались еще одним свидетелем, было внушено одному из унтеров показание со слов того же З., но якобы основанное на добытых им самим сведениях.

Байков привычным ухом судьи опять почувствовал, что свидетель говорит с чужих слов, и потому спросил унтер-офицера: „Почему тебе, свидетель, известно, что С. Диковский, вот этот подсудимый, и Тисов одно и то же лицо?" Очевидно для всякого, что если б унтер в это время следил за Диковским, как он это утверждал, то ему не составляло бы ни малого труда ответить так: что Сер. Диковский, за которым я следил в такое-то время, был прописан в полицейском участке, это я узнал, справившись в полицейском участке; но так как всего этого не было, то унтер-офицер сначала помолчал, очевидно припоминая, не было ли ему на сей счет какого-либо наставления со стороны капитана Судейкина, но ничего подходящего не вспомнив, решил, что надо изворачиваться самому, и понес ахинею, совершенно не имеющую никакой связи с вопросом судьи Байкова. Он сказал: „Мы, ваше

высокоблагородие, называли так г. С. Диковского потому, что С. Диковский всегда ходил по-пад заборами, вот мы, значит, промеж себя друг другу и говорим: вот он, Тисов, заборы обтирает".

Трудно, конечно, разгадать смысл этого ответа; может быть, для малоросса, каковым был жандарм свидетель, тис и тес звучат одинаково, и он, полагая, что речь идет—почему С. Диковский носил кличку Тисов, не зная того, что таковая была подложная фамилия С. Диковского, хотел своим ответом сказать, что кличка Тисов была, выражаясь вульгарно, по шерсти С. Диковскому, ибо он обтирал, по показанию свидетеля, заборы. Но ведь речь шла не о кличке, а о фамилии, под которой действительно одно время С. Диковский жил в Киеве, и, следовательно, если б свидетель знал все это, то ему оставалось бы ответить на вопрос Байкова: „Да, Диковский и Тисов одно и то же лицо, ибо, следя за Диковским в то время, я хорошо знаком был уже тогда с физиономией Диковского, а то, что он жил под фамилией мещанина Тисова, я узнал в том участке, в котором он прописан был под таковой фамилией".

Много было еще подобных курьезов на суде, но за 28 лет трудно сохранить в памяти все; общее же впечатление от показаний жандармских унтер-офицеров было то, что все их показания были им продиктованы прокурором Стрельниковым и капитаном Судейкиным, чтобы придать больше весу показаниям Забрамского.

Это подтверждается и тем еще, что то, что не было известно Забрамскому, то осталось неизвестным и жандармам, несмотря на то, что, по уверению Судейкина, его агенты ходили по нашим следам. Напр., на суде жандармы утверждали, что я во все время моего пребывания в Киеве не имел квартиры, а ночевал у товарищей. На деле же было, что я поставил себе за правило всегда ночевать на своей квартире и за время моего пребывания в Киеве переменил три квартиры, что засвидетельствовали на суде вызванные мной хозяева и прислуги тех квартир, где я жил. Следовательно, не так уж усердно следили за мной жандармы, если в продолжение полугода им не удалось открыть хоть одну из трех моих квартир. Жандармы не знали моих квартир, потому что их не знал и Забрамский.

Мне остается еще сказать, что и единственный свидетель против нас, Забрамский, не присутствовал на суде. Прокурор откровенно сказал на суде, почему он находит неудобным его присутствие, и просил суд рассмотреть наше дело, не вызывая свидетеля Забрамского.

„Забрамский, — говорил суду прокурор, — человек по натуре мягкий и неустойчивый в своих взглядах и убеждениях, и я думаю, что если он встретится здесь лицом к лицу с прежними своими товарищами, то это, быть может, заставить его смягчить свои показания". „Не скрою, — продолжал откровенничать прокурор, — от суда, что еще на-днях Забрамский был у меня, и, несмотря на то, что вот эти господа так жестоко поступили с ним, нанесли ему несколько ран, угрожавших его жизни, он просил меня о смягчении участи некоторых из подсудимых, к которым он сохраняет еще и теперь симпатию". Так говорил прокурор суда в начале нашего процесса, в конце же процесса, в своей обвинительной речи, как увидит читатель, он говорил суду совершенно другое. Там он уверял суд, что отсутствие свидетеля Забрамского на суде было всецело выгодно подсудимым и невыгодно ему, прокурору.

Теперь я считаю возможным приступить к ознакомлению читателя с обвинительным актом, имея в виду, в тех случаях, когда нужны будут пояснения, давать таковые в каждом данном случае, по мере надобности. Но предварительно считаю нужным предупредить читателя, что я считаю совершенно лишним излагать обвинения, предъявленные к каждому из 21 лица, привлеченных по нашему делу. Это значило бы наскучить читателю повторением однообразных обвинений, часто сводящихся к тому, что тот или другой из 21-го имел целью в более или менее отдаленном будущем ниспровержение общественного и государственного порядка. Я буду приводить обвинения только против тех из нас, которым, кроме общих обвинений, предъявлялись еще те или другие проступки или намерение совершить таковые.

Обвинительный акт начинается сообщением того, как Судейкин и Забрамский встретились.

„Весной 1879 года содержавшийся в Киевском тюремном замке рядовой понтонного баталиона Рачинский донес начальнику Киевского жандармского управления, что

в это управление будет подослан с предложением услуг, в качестве агента, один из членов киевского кружка социалистов, с тою целью, чтобы, приобретя доверие управления, узнавать в нем нужные для кружка сведения и сообщать их кружку, при чем, для приобретения упомянутого доверия, этому лицу предоставлено пожертвовать одним или двумя менее компрометированными членами кружка, выдав их правительству". Этот, несомненно, важный свидетель, который мог бы сказать суду: да, действительно, такой план у киевского революционного кружка был, о чем он знает из таких-то и таких источников,— этот свидетель на суде отсутствует и о нем только и упоминается в начале обвинительного акта, и вопрос, таким образом, остается открытым: фантазия ли это или быль. „Вслед за тем, — читаем в обвинительном акте, — в апреле того же года, при выпуске из тюремного замка содержавшегося в нем по приговору мирового судьи за присвоение чужого имущества крестьянина Леонтия Забрамского, у него были найдены возмутительные стихи: „На смерть шефа жандармов Мезенцова". На вопрос по поводу этого, Забрамский показал, что стихи им получены от политического арестанта Избицкого, и что Избицкий, равно как и другие содержавшиеся в замке политические преступники, склоняли его вступить в социалистическую партию и заняться пропагандой социалистических идей, для чего снабдили его адресом к какому-то Клименко, к которому он должен был обратиться по выходе из тюрьмы. При этом Забрамский предложил начальнику жандармского управления свои услуги в качестве агента. Заподозрев, что Забрамский и есть то лицо, которое киевский революционный кружок имел намерение подослать в управление для выведывания нужных ему сведений, полковник Новицкий, не отказываясь от его предложения, сделал распоряжение о негласном надзоре как за самим Забрамским, так равно и за теми лицами, которые будут иметь с ним сношение". Версия знакомства жандармского управления с Забрамским слишком подозрительна, и я думаю, что она плод фантазии Судейкина, ибо если б у Забрамского, при его выходе из тюрьмы, нашли вышесказанные стихи, то это не могло бы остаться тайной для заключенных политических в Киевской тюрьме, и о том нас

уведомили бы. Не могло же это остаться неизвестным в тюрьме потому, что три человека из надзирателей Киевской тюрьмы были заинтересованы в том, чтобы сообщить это политическим, ибо чрез них и передавалась в тюрьму с „воли“ нелегальная литература.

„Наблюдение, — говорится в обвинительном акте, — возложенное на жандармских унтер-офицеров под непосредственным руководством помощника начальника управления, капитана Судейкина, дало точные указания о существовании в Киеве тайного противозаконного сообщества, имеющего целью дискредитирование правительства убийством некоторых должностных лиц и другими преступными действиями, а также, что в числе членов этого сообщества находятся лица, уже давно разыскиваемые полицией; сверх того наблюдением выяснено, что Забрамский действительно служит орудием для упомянутого сообщества и, сообщая жандармскому управлению несущественные сведения, умышленно скрывает от него обстоятельства, имеющие важное значение. Вследствие этого и имея в виду, что преждевременная попытка к раскрытию дела может повлечь за собой побег виновных, полковник Новицкий сделал распоряжение о последовательном заарестовании членов названного сообщества, с тем, чтобы таковое было произведено при условиях, отстраняющих от сообщества мысль, что существование его известно жандармскому управлению. В конце февраля 1880 года Забрамский заявил капитану Судейкину, что аресты некоторых членов кружка навлекли на него подозрение кружка в шпионстве, почему жизни его угрожает опасность; при этом Забрамский, выражая раскаяние в том, что до того времени обманывал жандармское управление, изъявил желание дать точные указания, касающиеся кружка, и просил содействия к охранению от покушения на его жизнь“.

Таким образом, из обвинительного акта видно, что Забрамский не сразу перешел на сторону жандармского управления. Но неправда, что мы подослали Забрамского в жандармское управление. Потом, спустя много времени после того, как Забрамский вышел из тюрьмы и, по рекомендации Избицкого, явился к Клименко, он однажды сообщил нам, что ему случайно удалось познакомиться с писцом жандармского управления и что от него за

небольшие деньги можно будеть получать сведения из жандармского управления, и мы поручили воспользоваться случаем и обещали ему давать деньги на оплату услуг писца; но вначале, когда Забрамский сидел в тюрьме и когда, следовательно, мы не могли знать о существовании его, у нас не могло возникнуть и вопроса об агентуре в связи с Забрамским.

Трудно сказать с уверенностью, чем руководствовался Забрамский в своих действиях. Из того, что Забрамский открывал все планы Судейкина относительно нас, как будто бы нужно думать, что он хотел служить нашему делу; но на ряду с этим он, очевидно, имел в виду чисто личные свои интересы. Кому, напр., пришла впервые мысль открыть для нас на счет жандармского управления квартиру — Забрамскому или Судейкину? — этот вопрос трудно решить. Но что на эту квартиру в руки Забрамского жандармским управлением была отпущена крупная сумма денег, — это мы знали, ибо Забрамский тотчас обо всем этом сообщил нам. Несомненно только одно, что Забрамский плохо учел все обстоятельства, в которых ему пришлось действовать, и вступил на ложный путь, который рано или поздно должен был привести его туда, где он неожиданно для себя очутился, т. е. что он возбудил подозрение своим двусмысленным поведением, и жандармское управление воочию убедилось, что Забрамский его обманывает. Забрамский в своей простоте верил, что ему удастся пройти между Сциллой и Харибдой, и только довольно поздно увидел, что это ему не удастся, что ему грозит опасность с двух сторон, и он бросился в объятия Судейкина, прося его взять под свое покровительство.

Продолжаю излагать обвинительный акт. „Затем, 4 марта, в четвертом часу пополудни, в управление Лыбедского участка г. Киева было сообщено, что проживающий по Жилинской улице, в доме Гласко, в квартире студента Киевского университета Бирнбаума, студент того же университета Константин Поликарпов нанес крестьянину Забрамскому, с целью убийства, несколько ран, после чего выстрелом из револьвера лишил себя жизни.

„При первоначальном осмотре следов преступления, труп Поликарпова найден лежащим на полу близ окна в комнате, занимаемой Бирнбаумом: около трупа поднят

шестиствольный револьвер, в котором оказались четыре цельных натрона и одна пустая гильза; на трупе найден красный сафьяновый чехол от кинжала, привязанный тесьмой к брюкам; как в этой комнате, так и в соседней, занимаемой самим Поликарповым, находятся следы крови; таковая же замечена в коридоре.

„При обыске комнаты Поликарпова, в ней, между прочим, найдены: обоюдоострый кинжал, запачканный кровью, кастет и подложное свидетельство харьковского полицмейстера на имя дворянина Кошанского, с приложенной к нему 60 к. гербовой маркой, но без печати.

„При медицинском освидетельствовании Забрамского, на голове, шее, спине и обеих руках его найдено 15 колотых и порезанных ран. Означенные раны по свойствам отнесены врачом к менее тяжким.

„При вскрытии трупа Поликарпова, на правом виске его обнаружено круглое отверстие, диаметром четыре линии, с обожженными краями, идущее к левому виску. Пуля прошла обе височные кости и покрывающие их мягкие части. Сосуды и пазухи твердой оболочки мозга содержат жидкую кровь...

„По заключению врача, смерть Поликарпова последовала от безусловно смертельной огнестрельной раны в голову.

„По осмотре экспертами-оружейниками револьвера, найденного близь трупа Поликарпова, а также кинжала, оказалось, что в пустой гильзе, находившейся в револьвере, имеется свежая пороховая копоть, удостоверяющая, что выстрел произведен в недавнее время, и что конец обоюдоострого кинжала согнут и отломан, из чего следует заключить, что им ударили во что-нибудь твердое, напр., кость, железо.

„Спрошенный на дознании и предварительном следствии крестьянин Леонтий Забрамский показал, что на третий день по выходе из тюрьмы он отправился, по данному Избицким ему адресу, к студенту Клименко, жившему тогда на Жандармской улице, в доме Косса. На заявленное им желание поступить в кружок социалистов Клименко отозвался, что он получил уже о нем сведения из тюрьмы, и предложил ему притти на следующий день к памятнику св. Владимира. На свидание это он, Забрам-

ский, опоздал, почему через некоторое время вновь отправился в квартиру Клименко, переехавшего на Нижне-Владимирскую улицу, в дом Гаврина. В этот-то раз Клименко заявил ему, что он сам не принимает участия в кружке, но что жена его состоит членом такового и даст ему нужные сведения. При этом он познакомил его с женщиной Левенсон.

„После этого он, Забрамский, стал часто бывать у Клименко и Левенсон, жившей по паспорту Ворониной, встречал у них Кобылянского (Григоренко, Полячек), Вениамина Позен, студента Костецкого и многих других, имена и фамилии которых ему были неизвестны.

„На сходках у Клименко говорили о распространении пропаганды среди рабочих г. Киева, раздавались революционные издания, собирались деньги в пользу политических арестантов. Здесь же обсуждался вопрос об убийстве генерал-губернатора Черткова, при чем исполнение этого акта возлагалось на Левенсон, которая должна была отправиться к генерал-губернатору в качестве просительницы и из револьвера убить его.

„Затем Клименко и Левенсон перешли на Большую Владимирскую улицу, в дом Шкота, где, кроме названных лиц, бывали: Бойченко, Жуков (Лопухов), Левченко. В это время сходки на квартире бывали реже и реже и затем совсем прекратились".

Из этой части показаний Забрамского видно, что Клименко и Левенсон с первой же встречи с Забрамским относились к нему с недоверием. Клименко не хотел его принимать у себя на квартире и назначил ему свидание у памятника Владимира. Затем, когда он все же явился, то сказал, что сам он не принадлежит к партии социалистов.

С своей стороны Левенсон всеми мерами хотела отделаться от него и в конце концов прибегла к тому, что Жуков, ссылаясь на якобы мои неблагоприятные отзывы о Левенсон, рекомендовал не ходить в квартиру Клименко. Таково, в общем, на первых порах было наше отношение к Забрамскому, и не потому, чтобы его подозревали с первых же шагов знакомства с ним, а потому, что его не знали. С Забрамским вел дело исключительно Жуков. Все это я говорю в виду того, чтоб доказать несостоятельность слов

Судейкина, что будто бы Забрамский был подослан нами в качестве агента в жандармское управление.

„В июле месяце 1879 г. он, Забрамский, перешел на Никольскую улицу, в д. Дашкевича, где также имел квартиру и Жуков по одной с ним лестнице. „В квартире Жукова,—говорит Забрамский,—мне приходилось встречать: Левченко, Приходько, Тесленко, Поликарпова, Попова, С. Диковского (Тисов), М. Диковского, Бушинского, Лозянова, студента Подревского, студента Иванова, Петрова, Ильященко-Куценко и служащего на железной дороге Ромася. Много бывало у Жукова и других лиц, звания и фамилии которых остались ему неизвестными“. Несомненно, многих из перечисленных лиц Забрамский в квартире Жукова не видел, и показание такое понадобилось, чтоб доказать состав организации.

„На собрании у Жукова толковали об издании газеты, о пропаганде среди народа в Киевской и Волынской губернии. В квартире Жукова находилась канцелярия для паспортов, 50 печатей, множество бланков разных присутственных мест, копий и подписей и пр. В ноябре месяце шли разговоры о необходимости сношений с украинофилами и стали запасаться порохом, разрывными снарядами, огнестрельным оружием и кинжалами. В это время он, Забрамский, видел в квартире Жукова 18 револьверов“.

Здесь я должен отметить одну странность, замеченную во время нашего процесса. Неизвестно почему, Стрельников,—разве, быть может, для того, чтоб доказать свою солидарность с „Киевлянином“,—старался изобразить партию украинофилов, как партию архи-революционную. И вот Забрамский показывает в угоду Стрельникову, что в ноябре в нашем кружке шли переговоры о соединении с украинофилами и потому мы стали запасаться порохом, оружием и пр.

Свидетель Богуславский был инспирирован Стрельниковым тоже в том же духе. Богуславский должен был на суде свидетельствовать и о политическом и даже о нравственном анархизме украинофилов, и все это с целью, чтоб тень революционизма и анархизма украинофилов набросить и на нас. Трудно сказать, почему этого хотелось прокурору Стрельникову, но факта этого обойти нельзя.

Он считал украинофилов более злыми врагами общественного и государственного порядка, чем остальные революционные партии, и это при всем том, что в действительности в наше время украинофильская партия была партией с программой эволюционной, а не революционной. Украинофилы собирали малороссийские песни, хотели издавать и в России газету на малороссийском языке; кратко, задачей партии было поддерживать и, по мере возможности, развивать национальную культуру и тем спасти малороссийскую национальность от руссификации.

„После взрыва в Москве 19 ноября движение в партии стихло,— говорит со слов Забрамского обвинительный акт; при чем из разговоров в квартире Жукова он узнал, что о готовившемся покушении на жизнь государя императора некоторым членам кружка было известно еще до взрыва. После этого в кружке возникла мысль об открытии типографии в городе Нежине и о приобретении динамита для убийства генерал-губернатора и других должностных лиц.

„Было приобретено три снаряда и два из них переданы для хранения ему, Забрамскому. Один из них взят у Забрамского студентом Ивановым. Где третий снаряд, ему неизвестно. По распоряжению Попова, Киевский кружок распространял прокламации по поводу покушения 19 ноября, чем заведывал Сер. Диковский. Кружок имел свой устав, который он, Забрамский, не читал, но видел у Попова и Сер. Диковского. Озаглавлен этот устав так: Устав террористов“.

Этот небольшой отрывок из обвинительного акта представляет смесь правды с измышлениями Судейкина и Забрамского. Правда, предполагалось открыть типографию, но не в Нежине, а в имении Стаховского; правда, убийство генерал-губернатора имелось в виду, но динамит был приобретен для другой цели [1].

Устав кружка, конечно, существовал, но Забрамский говорит неправду, что этот устав назывался „уставом террористов“. Мне приходилось говорить не раз в моих воспоминаниях, что наш Киевский кружок имел целью

[1] Об этом я говорил в своих воспоминаниях. См. „Минувшие Годы“, 1907 г., февраль.

объединить под девизом „Земля и Воля" деятельность народников или черно-передельцев и народовольцев. Программа нашего Киевского кружка, в общих чертах, программа нынешних социалистов-революционеров. Следовательно, если деятельность народовольцев не покрывалась понятием террористов, то тем паче деятельность нашего Киевского кружка. И Киевский кружок присвоивал себе название „землевольцев" по этой причине. Но прокурор Стрельников почему-то облюбовал слово террорист, и его не удовлетворяло другое название. На суде, напр., я отвечаю так: „Я революционер". Стрельникова это не удовлетворяет, и он, обращаясь к судьям, говорит: „Лист, как был белым, так и остался! Нет, вы скажите нам г. Попов, вы террорист или нет, тогда мы удовлетворимся вашим ответом".

„После ареста Иванова, 25 февраля, к нему, Забрамскому, зашел Клименко и сообщил ему о приезде из Петербурга лица, которое привезло динамитные снаряды, приглашая его вечером в пивную Шульца. В пивной он застал Клименко и незнакомого ему человека, который подозрительно посмотрел на него, потом вышел из пивной. Вслед за ним ушел и Клименко, пригласив его, Забрамского, на следующий вечер в ресторан „Вена", куда должен был прибыть и приехавший из Петербурга. Это показалось ему подозрительным, и потому, отправляясь в „Вену", он надел кольчугу. В ресторане он нашел только одного Клименко, но спустя немного туда вошел какой-то молодой человек в синих очках и, обратясь к Клименко, сказал: „Поезжайте в гостиницу Миссио, там застанете приезжего". После этого они втроем вышли из ресторана и поехали в названную гостиницу и в № 15 застали неизвестного человека. Сюда пришел студент Поликарпов; Клименко и молодой человек ушли, а он, Забрамский, Поликарпов и приехавший из Петербурга стали говорить о динамитных снарядах, которые последний обещал передать на следующий день и при разговоре спустил занавески на окнах и запер на ключ двери номера. Поликарпов спросил Забрамского, — имеет ли он с собой оружие, — и, получив утвердительный ответ, вышел из номера, а за ним вышел и он. На следующее утро он, Забрамский, вновь пришел в гостиницу Миссио, где узнал, что неизвестный, оста-

новившийся в 15 №, скрылся из него вслед за его уходом и что в оставленном им чемодане оказались тряпки. Клименко он также не застал дома, а встреченный им в квартире последнего студент Назаревич передал ему, что будто он накануне уехал из Киева.

„3 марта он, Забрамский, зашел к Поликарпову, который, уверяя, что имеет полное к нему доверие, стал уговаривать его ехать на юг России, для расследования, где арестован Жуков, и притом просил его, в том случае, если бы оказалось возможным освободить Жукова, прислать телеграмму следующего содержания: „Присланы ли мне обещанные деньги?—отвечайте—жду... дня Леонтьев". Цифра, которую следовало проставить, должна была означать число людей, которых нужно прислать для приведения замысла в исполнение. Согласившись на предложение Поликарпова, Забрамский на следующий день, т. е. 4 марта, зашел к нему, чтобы получить деньги и документы. Вскоре к Поликарпову пришел какой-то неизвестный ему человек высокого роста, и, передав ему 100 руб., ушел, а за ним пришел другой, тоже ему неизвестный, и сказал, что так как печати к документу нет, то нужно обойтись без нее. По выходе этого последнего из комнаты Поликарпов принес от хозяев два обеда и два стакана чаю, после чего они стали обедать. Выйдя из-за стола, Поликарпов начал ходить по комнате; в это время он, Забрамский, почувствовал сильный удар по голове, а затем Поликарпов нанес ему ряд ударов по шее, лицу и спине. Тогда, обливаясь кровью, он стал бороться с Поликарповым и, бросив его на пол, отворил оказавшуюся запертой на замок дверь и выскочил в коридор, а затем на двор, откуда его отвезли раньше в Лыбедской полицейский участок, а потом в больницу. Самому ли Поликарпову принадлежит мысль убить его, или же он был только орудием других,— ему, Забрамскому, неизвестно; кто был человек, приходивший в комнату Поликарпова с заявлением о неимении печати,—он не знает; человек же, принесший деньги, был, кажется, студент Королев. Кастет, которым первоначально ударил его Поликарпов, принадлежал Иванову, но каковым образом таковой попал к первому,—ему неизвестно. Кинжал был привезен из Москвы для революционных целей слесарем (Троицким), вызванным для делания разрывных

снарядов. Во время нападения на него Поликарповым на нем была надета кольчуга. Независимо от сказанного, Забрамский показал, что он имеет в Киеве две квартиры, одну на Никольской улице, в доме Дашкевича, где живет его жена, а другую на Большой Житомирской улице, в доме Алексеева (квартира, устроенная для нас на средства Киевского жандармского управления. М. Попов), где он прописан по полученному им от Жукова подложному паспорту на имя дворянина Леонтия Семеновича Полозова, а также, что в дровяном сарае при первом доме находится динамитный снаряд, а во второй квартире разные вещи, принадлежащие кружку. При предъявлении Королева Забрамскому, он не признал в нем лица, приносившего деньги, а по сведениям Киевского жандармского управления, последний был разыскиваемый ныне полицией бывший народный учитель, обер-офицерский сын Павел Осипович Иванов. При обыске, в одежде, бывшей на Забрамском 4 марта, в карманах его сюртука найдена записка, заключающая слова: „Присланы ли мне обещанные деньги? Отвечайте. Жду три дня. Леонтьев", и 100 руб. кредитными билетами. При обыске в квартире Алексеева, между прочим, найдены: цилиндрический футляр в виде трубки, оканчивающийся двумя концами (петарда), 8 ф. типографского шрифта, заряженный револьвер и фальшивые печати, два экземпляра журнала „Земля и Воля", „Хитрая механика", прокламации по поводу покушения 19 ноября, визитная карточка Полозова, на обороте которой написано: „Леонтий! ты не аккуратен. Костя". При обыске в доме Дашкевича найден зарытый в землю металлический ящик весом 8½ ф. Вес заключенного в ящике динамита 5 фунтов. Эксперты взорвали за городской стеной этот снаряд и тем подтвердили свое мнение, что это динамитный снаряд".

Я уже говорил раньше, что мы знали со слов Забрамского, что им на средства жандармского управления устраивается квартира в доме Алексеева на Большой Житомирской улице для нас, что эта квартира, по плану Судейкина, должна быть западней для нас, а зная это, мы, конечно, не могли ходить на эту квартиру. Правда, когда Забрамский только обставил еще эту квартиру, и прежде чем сообщить о том Судейкину, он сказал нам, что квар-

тира готова, кому угодно посмотреть, можно будет в 9 часов вечера это сделать. Тогда несколько студентов и курсисток изъявили желание видеть устроенную Судейкиным западню и в 9 часов вечера отправились целой большой компанией туда. Среди этой компании были и некоторые члены нашего кружка. Кроме этого раза, в этой квартире еще раз я заночевал, как о том я говорил в предыдущих моих воспоминаниях, с той целью, чтоб, наконец, разгадать личность Забрамского. Вообще, повторяю, после того, как мы знали, кем устроена эта квартира и для чего, мы не могли ходить туда и тем паче что-либо там прятать. Между тем, в этой части обвинительного акта говорится, что туда ходили я, Иванов, Жуков и другие и что там найдена петарда, шрифт (8 ф.), прокламации по поводу 19 ноября и пр. Остается думать одно из двух: или там ничего не нашли и это просто ложь, или же туда снесен шрифт и петарда Забрамским, получившим все это из рук Судейкина.

С показаниями Забрамского чередуются показания жандармских унтер-офицеров, которые не могли сообщить ничего за исключением того, что они могли действительно видеть, следя за нами по улицам и у домов; их показания заключались в том, что они видели нас ходящими вместе или бывавшими один у другого, в остальной своей части заимствованы у Забрамского; в доказательство этого я и приведу два-три показания жандармских унтер-офицеров, чтоб не утомлять однообразием читателя. — Унтер-офицер Даниил Продеж показал, „что, наблюдая в июле 1879 года за Клименко и Левенсон, жившими раньше на Нижне-Владимирской улице, в доме Гаврина, а потом на Большой Владимирской улице, в доме Шкота, он заметил в числе посещавших их людей: Бойченко, Позена, Кобылянского (он же Володька) и многих других, фамилий которых не знает. Получив потом приказание наблюдать за домом Дашкевича, на Никольской улице, где жили Забрамский, Жуков (он же Апитов) и некто Воронов, впоследствии скрывшийся, свидетель в числе многих молодых людей, посещавших их, заметил Бущинского, Поликарпова, Попова (он же Генерал), Иванова, Моисея и Сергея Диковских, Лозянова, Тесленко-Приходько, Троицкого и Филиппова. Они посещали Жукова, к Забрамскому же, жившему в нижнем

этаже, заходили только изредка. Следя за посещавшими Жукова, свидетелю удалось узнать квартиру Буцинского, носившего фамилию Стасенко, Моисея Диковского и Поликарпова, а также студента Иванова. Особенно усиленное движение между наблюдаемыми им лицами было замечено пред 19 ноября 1879 года, когда был произведен взрыв на Московско-Курской железной дороге, и пред 5 февраля, т. е. пред взрывом в Зимнем дворце. В январе Петров и Забрамский уезжали в Нежин; свидетель видел, что они остановились в одной гостинице и ходили по улицам, осматривая дома, отдававшиеся в наем. По возвращении в Киев, Петров куда-то уехал, вскоре уехал и Жуков. Потом свидетелю было поручено наблюдать за квартирой Забрамского на Большой Житомирской улице, в доме Алексеева; здесь он видел Попова, Клименко, Иванова, Стаховского и многих других лиц, фамилий которых не знает. 25 февраля утром к Забрамскому пришел Иванов и, вынеся от него какую-то коробку, отправился к себе на квартиру, дом Василевского; в 4 часа пополудни Иванов с тою же коробкой вышел из дому и был задержан свидетелем, в коробке этой оказался динамит. Такие же коробки в первых числах февраля свидетель видел у Жукова и Филиппова (он же Погорелов)".

Аггей Стаин показал, „что, следя за домом Дашкевича, где жили в нижнем этаже—Забрамский, а в мезонине Жуков, по паспорту Анитов, и неизвестный, называвший себя Вороновым, он в числе других лиц, приходивших к Жукову, видел Буцинского, Попова, Тесленко-Приходько, студентов: Иванова, Подревского, Поликарпова и Клименко, Лозянова, Ильяшенко, Моисея и Сергея Диковских и Троицкого. Что касается Забрамского, то он был как бы на посылках и больше ходил по магазинам и лавкам; напр., свидетель видел, как однажды он с Троицким ездил на Подол покупать какие-то инструменты; у Забрамского свидетель раза два видел штабе-капитана Стаховского, снабдившего, как он слышал, своим военным костюмом С. Диковского. Буцинский (он же Стасенко, жил на Рейтарской улице, и, ходя по улицам, был особенно осторожен, постоянно оглядывался по сторонам, так что следить за ним было трудно. Подревский жил на Фундуклеевской улице, в доме Неметти, куда однажды привез от Жукова какой-то узел.

Попов, С. Диковский и Троицкий квартиры не имели, а скрывались у других лиц, чаще всего у Жукова; у Жукова же в конце декабря поселился и Ильяшенко. Иванов жил в Кудрявском переулке, в доме Василевского. Все эти лица были близки между собою и часто посещали друг друга. Особенно сильное движение между ними было пред 19 и 5 февраля, когда свидетель наблюдал за домом Алексеева, на Большой Житомирской улице, где тогда жил Забрамский. По приказанию начальства, свидетель следовал за С. Диковским в Одессу и на обратном пути задержал их на станции Казатин".

В показаниях жандармов обращает особенное внимание то, что они все заметили особенное движение 5 февраля в доме Алексеева на Житомирской улице. Хотел ли Судейкин утешить тем начальника жандармского управления полковника Новицкого, что отпущенные им деньги на открытие этой квартиры не пропали даром, или для самообольщения—трудно сказать; но повторяю еще раз: мы не посещали квартиры ни вообще, ни накануне 5 февраля тем паче, ибо знали очень хорошо, что это ловушка, устроенная Судейкиным для нас.

Таково общее обвинение против нас, таково же и против каждого в отдельности. Чтоб избежать скучного однообразия в этой части моих воспоминаний, я приведу только обвинения, предъявленные мне, Иванову и Н. Подревскому. Начну с Подревского.—„17 января 1880 года, при обыске в имуществе проживавшего в городе Киеве, на Фундуклеевской улице, в доме Неметти, дворянина Николая Подревского, у него, между прочим, найдены были: свидетельство Пермской духовной консистории от 15 февраля 1878 года за № 1025 на имя сына пономаря Петра Воронова, вексельный бланк (от 1—100 руб.), подписанный Костецким, и два письма из города Нежина, писанные одинаковым почерком, из которых на одном подпись „И. Ааронский". В письме без подписи встречаются, между прочим, следующие фразы: „Ты пишешь, что пришлешь чрез Славинского мне книги — великое тебе за это спасибо! Присылай, да побольше и не беспокойся—у меня будут в безопасности. Пришли, если можешь, хоть одну месячную книжку „Вперед" (я возвращу), несколько номеров „Набата". Да напиши (через Славинского

не передавай, а то спутает), какие это события произойдут в Петербурге, и вообще о вашем и петербургском обществах. Впрочем, Славинский передаст тебе остальные вопросы". Из сообщения помощника Черниговского жандармского управления в Нежинском уезде видно, что ученик VIII класса Нежинской гимназии Ааронский, которым писаны упомянутые письма, в настоящее время привлечен к дознанию по обвинению в участии в тайном противозаконном сообществе и в распространении сочинений преступного содержания. По сообщению Пермской духовной консистории, свидетельство на имя сына пономаря Петра Воронова этой консисторией выдаваемо не было. При дознании дворянин Н. Подревский показал, что он ни с каким Костецким знаком не был и ни от кого вексельных бланков не получал, найденный же у него бланк с подписью „Иосиф Костецкий", вероятно, принадлежит Неметти и был оставлен в комоде, находившемся в занимаемой им комнате. К киевскому революционному кружку не принадлежит, в домах Дашкевича и Дерничевой не был и из привлеченных к настоящему делу знаком только с Поповым и Козловским. Независимо от этого, при обыске квартиры крестьянина Динькова и мещанина Ромасева, у них было найдено несколько книг, в том числе „Деревенские общины на востоке и западе" Мэна, с надписью на заглавном листе: „Подревский", и „Социальное движение и политическая экономия" Димети, с заметками карандашом на полях, писанными тою же рукой. Из заметок этих обращают внимание следующие: на странице 61-й: „Если строго придерживаться христианского учения, то необходимо устроить коммунизм; в этом отношении на основании христианской религии легко возмутить народ"; на стр. 75: „Сознание человечества ничего не доказывает, оно есть только следствие привычек. Относительно нравственности можно сказать, что обязательной для всех нравственности не существует"; на стр. 113 и 114, на которых автор излагает вредные последствия, происходящие от стачек рабочих: „Глупость. Вы, г. Диметти, хвалите кооперативное движение; но на какие средства рабочие могут составить кооперацию, если у них нет денег? А стачки иногда удаются и доставляют рабочим деньги". Будучи допрошен по поводу означенных книг, Под-

ревский показал, что он Ромасева не знает, нахождение же у Ромасева книг, принадлежащих ему, Подревскому, объясняет тем, что многие его книги ходят по рукам между студентами и, переходя из рук в руки, легко могут попадать в руки лиц, которых он не знает; кому же именно из товарищей он дал упомянутые книги, не помнит. Спрошенные при дознании свидетели показали: доцент Киевского университета Эдуард Неметти, что Подревский был репетитором детей его, свидетеля, и жил в его квартире; никаких крайних убеждений он в нем не замечал; с учениками Подревский занимался вполне добросовестно. Свидетелю известно, что к Подревскому приходили знакомые, как молодые мужчины, так и барышни, но кто они были — он не знает и признать их не может. Принадлежит ли вексельный бланк с надписью „Иосиф Костецкий" ему, свидетелю, он утвердительно сказать не может, но не может и отрицать этого, так как, в виду незначительной цены векселя, не обращал на него внимания. Кто такой Иосиф Костецкий — не знает. Ученик Нежинской гимназии Николай Ааронский, — что он от Подревского никаких запрещенных книг не получал и Подревский прислать ему таковых не обещал. События, о сообщении которых он просил Подревского, были, как он потом узнал, — что-то вроде студенческих беспорядков в университете, которые, кажется, и не состоялись. Крестьянин Леонтий Забрамский, — что Подревский слыл в киевском революционном кружке за человека, способного по части типографии, и однажды свидетель видел его у Жукова, к которому он приходил за шрифтом. Воронов же, свидетельство которого найдено было у Подревского, был одним из самых деятельных членов кружка и жил раньше вместе с Жуковым, на Никольской улице, в доме Дашкевича, по подложному паспорту, а потом на Большой Васильевской улице — с Поповым, по другому, тоже подложному, паспорту, но на чье имя, — свидетель не помнит. Воронов скрылся из Киева в декабре 1879 г., вместе с Бущинским".

„25 февраля сего года унтер-офицерами Киевского жандармского управления Верблиным и Продежом был задержан на Вознесенском спуске неизвестный человек, имевший при себе небольшой, обернутый в бумагу, ящик. По доставлении задержанного в Старокиевский

г. Киева полицейский участок, когда было приступлено к обыску, он выхватил из кармана сброшенного им с себя пальто пятиствольный заряженный револьвер и хотел стрелять, но не был допущен до того находившимися в участке лицами. При обыске задержанного, при нем, кроме ящика и револьвера, оказалось: 1) две писанные карандашом записки следующего содержания: первая: „Посылаю одну, сегодня вечером в 11 часов — другую. Отвозить сегодня не надо, пусть завтра Клим разом оттащит обе. Кличка и Жуан пусть сидят дома и ни в каком случае не шляются. Иван пусть скроется где-нибудь на квартире и никуда не выходит. Пусть Ника не шляется. Забери Клима чрез сестру бо-фрера (Ж—я) у Идола № 1-й коробку б..., чтоб осторожно на извозчике; пусть именно сестра бо-фрера на извозчике доставит Хохлушке, от нее Икс к себе, а ты завтра разом все перевезешь. Пусть Иван не надевает своей шубки. Завтра обязательно нужно собраться в 8 часов вечера и в 10 утром. Места известны. В 4 часа буду у мамзелей. Хорошо, если б приехали Хохлушка и Икс отдельно. Денег 28 руб. нужно". И вторая записка: „1) Др. похерить; 2) (две строчки зачеркнуты карандашом); разобрать можно только слова: „при складе"; 3) у К. склад платья и белья; 4) у Гр. — и канцелярия; 5) Жуан, Кличка, Икс, Ерш, помещица; 7) мебель продать, № 2-й отдалить от всего; 8) литература не нужна, если сделан стол — заполучить; 9) Ванечка чтоб скорее переписывал, ненужное — в склад и (одно слово зачеркнуто); 10) Ерша отрядить к тем с (эти слова зачеркнуты и вместо того написано:) Клима отрядить к тем, с кем вел дело Хрущ; 11) Ерш пусть среди студентов, дать адресы, чтоб квартиры; 12) Клима, Катю и других — резать; 13) квартиру для свиданий чрез мамзелей устрою; 14) Наденьке закупить ф... и поместить у Генерала; 15) чтоб сообщили канцеляристу все сведения, при каждом пароль лиц; 16) обрат. вним. на рабочих. Ив Ершок; 17) отыскать квартиру для комиссии и вызвать Ваню". Кроме того найдена квитанция из библиотеки Ильницкого на имя Иванова и 32 руб. денег.

„При обыске задержанный заявил, что он студент 2-го курса медицинского факультета университета св. Владимира Игнатий Иванов.

„При обыске в квартире Иванова, в доме священника Василевского, между прочим, найдены: 1) отточенный кинжал; 2) тетрадь с разными заметками, в числе которых обращают внимание следующие: 1) и мужик сиди и ты сиди, — всем сидеть дозволено, нынче всем батюшка царь волю дал, нынче кто хочет сидеть — сиди, слободно!.. 2) В одном обществе поземельного кредита сразу назначено в продажу более 2 т. имений — оскудение помещиков; государыня императрица будто бы умерла, но боятся; 3) записная книжка в пестром бумажном переплете с разными заметками; из отметок можно разобрать какие-то счеты: от Ф. 13 руб. в общем за билет 23 р. 20 к., за № 2 р., от Ивана П. 60 руб., от Генерала 200 руб., из них Хрущу 5 р., на поездку Л—у 20 и т. п. По наружному осмотру отобранного от Иванова ящика, таковой оказался цинковым, длиной 4, высотой $2^1/_8$ и шириной 2 вершка. Посередине крышки ящика находится отверстие с вставленной латунной трубкой, верхний диаметр которой немного меньше $^1/_4$ верш. По заключению экспертов-пиротехников, ящик этот — разрывной снаряд. К тому же заключению эксперты пришли и при взрыве этого снаряда за саперными лагерями, при чем по звуку и сфере действия взрыва признали, что вещество, заключенное в ящике, было динамит и что количество его было вполне достаточно для полного разрушения стены обыкновенной кирпичной кладки. При сличении почерка, которым писаны найденные у Иванова записки, с его почерком, эксперты признали между таковыми сходство как в отдельных буквах, так равно и по общему характеру письма. Затем, 28 февраля, при осмотре в Старокиевском полицейском участке камеры, в которой содержался Иванов, была замечена на стене нацарапанная надпись, следующего содержания: „Игнатий Иванов. В моей записке были клички: Кличка, Иван, Хохлушка и другие; но я не сказал, берегитесь! — прощайте!“ — Спрошенный по этому поводу Иванов показал, что надпись эту он сделал для того, чтоб кто-либо из знакомых мог ею воспользоваться“.

„При дознании и предварительном следствии показали: личный дворянин Иванов, что от кого получил и куда нес ящик, он объяснить не желает, равным образом не желает объяснить значение найденных при нем записок,

писанных им, а также и лица, давшего ему револьвер и кинжал, найденные у него в квартире. Разрывной снаряд принадлежит русской социально-революционной партии, членом которой он, Иванов, состоит. Назвать своих сообщников по делу не намерен, да по отношению ко многим это было бы для него и невозможным, так как в последнее время в партии принято называться кличками, почему члены не знают настоящих имен своих товарищей. Отобранный у него снаряд предназначался не для убийства генерал-губернатора. Заметки, оказавшиеся в его записной книжке, относятся к некоторым из его знакомых, как из членов партии, так и лиц, посторонних партии,—называть этих знакомых он не желает. Находящиеся в отобранных при его аресте записках слова: „Клима, Катю и других резать", означает резать печати для паспортов членов партии. Слова: „посылаю одну, сегодня вечером — другую", относятся к двум снарядам, из которых второй он хотел перенести вечером в безопасное место в день, когда он был арестован. — Вынося из своей квартиры снаряд и вполне сознавая, что ему угрожает при задержании его полицией, он взял с собой револьвер с целью застрелиться, если будет задержан. Затем, когда его задержали, он по дороге в участок застрелить себя не мог, так как револьвер у него лежал под правым бортом пальто в кармане, а левая его рука была в руке жандарма; по приводе же его в участок, когда приступили к обыску, он, сняв с себя пальто, вынул револьвер и хотел застрелить себя, но его удержали и вырвали револьвер; стрелять в кого-либо из лиц, находившихся в участке, он намерения не имел. — По предъявлении Иванову фотографических карточек лиц, привлеченных к настоящему делу, он первоначально показал, что никого из них, а также и умершего штабс-капитана Стаховского, не знал. В доме Дашкевича, Дерничева и Козловского не бывал и даже не знает, где находятся эти дома, и из Киева в конце прошлого года никуда не выезжал. Но затем, будучи изобличен в противном, показал, что он был знаком с семейством Стаховских, учил его свояченицу Евгению Дмитренко и в конце декабря ездил в имение Стаховского, в Путивльский уезд Курской губернии. Попова он также знал, и познакомил его со Стаховским. Последний, выйдя в отставку,

отдал им свое офицерское платье, за которым под видом покупателя был послан к Стаховскому в гостиницу Версаль один из членов партии. Впоследствии в этом платье был арестован Сер. Диковский. — Унтер-офицер Захарий Верблип показал, что 25 февраля задержал на Вознесенском проспекте Иванова и, взяв ящик, который тот нес под мышкой, он передал этот ящик околоточному надзирателю Мришуку, а сам, посадив Иванова на извозчика, повез его в полицейский участок; при этом Иванов говорил Мришуку, чтобы он не садился с ним на извозчика, так как в ящике динамит и от сотрясения может произойти взрыв. Дорогой Иванов сказал свидетелю, — а что если я уйду? На что последний ответил, что он этого не допустит. По приезде в участок, когда с Иванова было снято пальто, он, говоря, что ему нужно из кармана достать деньги, быстро вынул револьвер, который тотчас же был замечен свидетелями, между которыми, с одной стороны, и Ивановым — с другой, произошла борьба, окончившаяся тем, что они, свидетели, отняли у Иванова револьвер. Чтобы Иванов направлял в кого-либо револьвер, он, свидетель, этого не заметил, да это было и невозможно, так как руки его не были свободны. После того, как револьвер был отнят от Иванова, он говорил, что желал застрелить себя. Околоточный надзиратель Мришук показал, что 25 февраля, находясь на Вознесенском спуске, он заметил двух жандармов, которые вели какого-то молодого человека. Подойдя к ним, он, по просьбе одного из жандармов, вынул из-под мышки левой руки небольшой ящик, при чем Иванов тотчас же сказал ему, чтобы он отошел от него с ящиком, так как ему жизнь дорога. После этого один из жандармов пошел в квартиру Иванова, а другой повел Иванова в участок. При обыске в участке Иванов, быстро выхватив револьвер, сначала направил его на жандармов, а затем на него, Мришука. Когда револьвер был отнят у Иванова и его спросили, в кого он хотел стрелять, он засмеялся, а затем сказал, что хотел застрелить себя. Переведенный в камеру участка, Иванов запел песню“.

Против Михаила Попова были выставлены следующие обвинения: „23 февраля 1879 года унтер-офицером Киевского жандармского управления Карпенком был задержан на улице Крещатик в г. Киеве неизвестный человек, у кото-

рого при обыске в Старокиевском полицейском участке найдено: 1) выданное из Екатеринославской духовной консистории свидетельство на имя сына священника Михаила Попова; 2) письмо, написанное карандашом на трех листках папиросной бумаги, следующего содержания: „Милые мои родственники К. Т. и Б.! поздравляю вас с новым годом, желаю вам всего хорошего, а больше всего желаю окончить начатую вами постройку. По-моему, это самое лучшее, в виду всяких житейских условий. Выстроивши этот дом, вы этим самым обеспечите себя навсегда, чтобы не шататься по чужим квартирам. Что касается до меня, то я и в новом году остаюсь при всем старом, т. е. как прежде, так и теперь, я все еще не знаю, в чем меня будут обвинять и почему меня не судят. Впрочем, пред праздником был у меня товарищ прокурора и сказал, что дело мое скоро окончится. А какое дело, так я все еще не знаю. Не знаю потому, что не думаю, чтоб у них хватило наглости, чтобы обвинять меня в том, что я не только не делал, но и не знал, но о чем меня все-таки допрашивали и в чем меня обвиняли. Ну, да пусть их! Лучше опишу вам теперешнюю нашу жизнь“... Затем в письме говорится, что в одну из камер, занимаемую одним из товарищей, посадили шпиона, которого они, признав за такового, просили убрать; но так как просьба их не была исполнена, то они побили в тюрьме окна и мебель, за что их лишили всего и в придаток к этому еще посадили в карцер на пять суток. „А карцер, — говорится в письме,—такой: температура такая, что зуб на зуб не попадает, темно, хоть глаз выколи, вонь невыносимая, и питали нас только хлебом и водой“... Письмо заканчивается так: „кланяйтесь всем и поцелуйте за меня всех“. 3) две записки на такой же бумаге, писанные шифром, стихи возмутительного содержания; 4) две записки, написанные пером, из которых одна такого содержания: „Пан просить передать вам прилагаемую при сем записку и еще сказал, что шинкарь в Белграде называется не Назырский, а Н. Конизырский. Переданное им вам письмо я вчера отправил по почте“; 5) шифрованная записка, кончающаяся словами: „по ключу Павловны. Постарайтесь доставить к 19 февраля. Желательна личная беседа. В одном из небольших городов застанете кого нужно“, и 6) ко-

шелек с 2 р. 55 коп. На допросе неизвестный показал, что он именно и есть М. Попов, как это значится в отобранном у него паспорте. Из сообщения начальника Екатеринославского губернского жандармского управления оказалось, что отобранное свидетельство из Екатеринославской духовной консистории на имя Попова признано этой консисторией действительным и что, по предъявлении фотографической карточки задержанного инспектору духовной семинарии г. Ващинскому и бывшему товарищу по семинарии, ныне учителю духовного училища Тарасьеву и учителю семинарии Никольскому, они признали в нем, один своего товарища по семинарии, а другой — его ученика М. Попова. Попов сам показал, что он временно приехал в Киев из Харькова и членом Киевского революционного кружка не состоял. Знаком с Забрамским и Жуковым и познакомился у своих знакомых, назвать которых не желает. Забрамского потом встречал раза 3—4 у Жукова, и раз по приглашению Забрамского был у него на Большой Житомирской улице. С Подревским познакомился в декабре месяце на балу в пользу студентов. — Лишенный всех прав состояния Арсений Богуславский заявил, что отобранная при задержании Попова записка, начинающаяся словами: „Мои милые родственники...“, писана им в январе и предназначалась для рабочих железной дороги; каким же образом она попала в руки Попова, с которым он на свободе не был знаком, — не знает. — Крестьянин Леонтий Забрамский, — что с Поповым (он же Генерал, Василий Николаевич и Родионович) он познакомился осенью 1879 г. у Жукова. Знает, что Попов бывал у какой-то богатой барыни, живущей на Тарасовской улице, от которой получил однажды две тысячи рублей. Попов был главным распорядителем кружка: ему принадлежит замысел устроить тайную типографию, для чего он посылал Ильяшенко за границу для покупки типографии, которая и была привезена в Киев, но где она хранится — ему неизвестно. Попову принадлежит мысль произвести взрыв на Безаковской улице с целью убить генерал-губернатора. Для этого предполагалось положить динамитный снаряд под мостом, не доезжая вокзала железной дороги, и соединить его проволокой с двором ближайшего дома, где помещается трактир. Попов и ездил в Харьков именно за проволокой. Попов

же вместе с Вороновым замышляли убить военного прокурора Стрельникова за обвинение им политических. Петров и Жуков советовали им оставить их замысел. По словам Попова, он имел много знакомых среди чиновников банка и намеревался получить из какого-то харьковского банка 6 т. руб. по подложному чеку, присланному из Петербурга. В присутствии его, Забрамского, Попов вел переговоры с представителем Казатинского революционного кружка о рассылке членов его по разным местам для освобождения политических преступников и убийства должностных лиц, при чем обещал этому представителю 600 руб. для раздачи членам кружка. Попову присылали из Петербурга разные революционные издания, в том числе в большом количестве журнал „Народная Воля", которые он передавал для распространения членам Киевского кружка".

Показания Забрамского по отношению к Попову, за очень небольшим исключением, отличаются вымыслом от начала и до конца.

В общем, о показании Забрамского можно сказать, что он перевирал факты и события, но все же нельзя отрицать, что то, что сказал Забрамский на предварительном следствии, хоть и не в том виде, но все же было. Слушая показания Забрамского, читанные на суде, каждый из нас понимал, что это показание его относится к тому, о чем слышал Забрамский, но не знал хорошо, или к тому, что опять-таки было, но не в том виде, как рассказывает о том Забрамский. Но когда, напр., Забрамский говорит, что Попов посылал Ильяшенко за типографией за границу, или что Попов имел где-то в виду на Безиковской улице при посредстве подкопа взорвать генерал-губернатора, или что Попов по присланному кем-то из Петербурга подложному чеку хотел получить 6 т. руб. из какого-то банка, или что он, Попов, с Вороновым хотели убить прокурора Стрельникова, от чего отговорил их Жуков, то все это уже вымысел, решительно ни на чем не основанный, и авторами этого вымысла нужно считать Судейкина и Стрельникова.

Вот тот судебный материал, на основании которого прокурор Стрельников построил свою обвинительную речь против нашего Киевского революционного кружка.

Я повторяю, что не думаю отрицать, что наш Киевский кружок был кружком революционным, я имею в виду сказать лишь, что юридических улик против каждого из нас не было, и что если б в число наше попал случайно человек, не имевший с нами ничего общего и неповинный во всем том, в чем обвинялись мы, то прокурор столько же имел основания отправить его на эшафот, как и меня. Все же речь прокурора, в том виде, как она передана в судебном отчете, я считаю нужным привести здесь, как яркий образчик смелости, чтобы не сказать больше, в разрешении политических и социальных вопросов.

„Во время хода судебного следствия вы, милостивые государи, из объяснений подсудимых и показаний некоторых свидетелей слышали термины: политический революционер, социальный революционер, террорист и пр., причем термины эти для многих из вас, не принимавших участия до сих пор в так называемых политических процессах, — а других источников для ознакомления с этими терминами у нас нет покуда, — не понятны.

„Вследствие этого и в виду того соображения, что для суда, призванного постановить приговор по делу, не должно оставаться не разъясненным ничего, имеющего отношение к этому делу, и что всякая темнота и неясность неизбежно должны вредно отразиться на приговоре, я считаю необходимым раньше, чем приступлю к обвинению подсудимых, в сжатом виде изложить вам очерк развития у нас социального движения...“

Прокурор далее говорит, почему он принужден давать этот очерк в сжатом виде. „Вторая половина 50-х годов настоящего столетия, — так начинает прокурор свой очерк социального движения, — несомненно будет причислена будущим историком нашего времени к числу самых знаменательных эпох русской истории: это та эпоха, когда после продолжительного застоя, существовавшего, впрочем, не у одних нас, а и в большей части европейских государств, Россия, по инициативе правительства, вступила на путь реформ во всех отраслях государственного и общественного быта. Известно, что переход от опеки к самостоятельности, как в отдельных индивидуумах (это каждый из нас испытал на себе), так и в обществах никогда не

бывает свободен от ошибок и увлечений. Такие увлечения явились и в нашем обществе и повлекли за собой явления, известные под названием нигилизма. Ближайшие поводы к развитию у нас нигилизма, по моему мнению, заключались в направлении, принятом частью нашей прессы и выразившемся в известных вам, вероятно, сочинениях Чернышевского, Писарева, Шелгунова и других, подтвердивших собой слова Щедрина, что литература не всегда тот храм, при виде которого бьются чистые и честные сердца и без которого мир был бы постылым и бесславным, но отчасти и клоака; в облегчении доставки и распространения заграничных революционных изданий, пример чему мы видим в процессе московских студентов Сороки и Яценко, при чем вред этих изданий усугублялся тем, что проводимые ими тенденции, по причинам, впрочем, не зависящим от легальной прессы, не могли встретить от нее надлежащего отпора; в принятой у нас системе воспитания юношества, — здесь, однако, я должен оговориться, что вред этот заключается не в проведении ложных тенденций с кафедр в наших школах, что не доказано, а в ослаблении семейной и школьной дисциплины и в применении к делу воспитания, требующего строгого режима, вовсе непригодного для него правила: „laisser faire, laisser passer"; в развитии пролетариата в среде низшего дворянства и духовенства, в первом вследствие уничтожения крепостного права, что несомненно было безусловно необходимо, и во втором вследствие вызванного общественными же интересами сокращения причтов; в быстром обогащении посредством неизвестных до того времени предприятий некоторых лиц, повлекшим за собой резкое различие их материальной обстановки от массы неимущих и вызвавшим зависть со стороны последних. Наконец, не без влияния на развитие указанного общественного зла были действия некоторых органов правительственной власти. Кто, напр., не знает мировых судей, признававших за преступление замечание, сделанное чиновником своему лакею, или мировых посредников, получавших казенное жалованье и бравших на себя роль народных трибунов, или даже прокуроров, отказывавшихся от обвинений подсудимого, с целью заслужить своей гуманностью одобрение публики?!"

Выяснив причины, вызвавшие новое направление „новых людей“, прокурор принялся за „новых людей“.— „Первоначально новое направление „новых людей“,—говорил прокурор,—выражалось с внешней стороны особой формой, которую оно приняло для отличия от „черноземной почвы“, т. е. отцов, и заключающейся в невероятных прическах у мужчин, в оскорбительном, вызывающем обращении со всяким „не своим“ обоих полов; внутренняя же сторона новой школы заключалась в отрешении от „предрассудков“ (а наряду с этим и от здравого смысла), т. е. безапелляционное отрицание всяких авторитетов, всего, что до того времени давало смысл жизни, как-то: религия, наука и нравственность. Сомнений у новых людей в непогрешимости их учения не было, а если порой и возникали сомнения какие-либо, то они тотчас же разрешались одним магическим словом: „ерунда“. Следуя мнению Фурье о том, что только тот труд хорош, который доставляет удовольствие, они ничего не делали. Учение наших нигилистов, если только можно назвать учением набор бессодержательных фраз, первоначально было отрицательным, никаких идеалов будущего придумано ими еще не было, и почва, на которой они держались, была исключительно теоретической (sic). Но это продолжалось недолго, и еще в начале 60-х годов дело было найдено и новые люди вступили на практическую почву. Найти дело, впрочем, было не трудно, так как под рукой находилась Западная Европа, а в ней уже существовал так называемый социальный вопрос. Перейдя на практическую почву, наши нигилисты, присвоившие себе с этого времени название социалистов, на первых же порах поставили своей задачей изменение существующего общественного строя в России и, главное, уравнение имуществ. Само собой, что такая задача безусловно неразрешима, и доказательства этого заключаются в следующем: общественный строй создается не капризом той или другой партии, а вековыми законами истории и природы человека; при чем, так как уравнять способности людей невозможно, и между людьми всегда будут существовать и умные и глупые, и трудоспособные и ленивые, и бережливые и моты, то экономическое равенство, созданное сегодня, неизбежно завтра же было бы нарушено,—и его разве можно поддерживать

крайним деспотизмом. Рабочее сословие, во имя которого возникло движение социальное на Западе, находится у нас не в том положении, как в других европейских государствах: у нас не только нет избытка предложения рабочей силы, а, напротив, чувствуется ее недостаток. Это скоро было замечено самими русскими социалистами, которые поспешили взамен рабочего вопроса выдвинуть так называемый аграрный вопрос, но и этот вопрос, быть может, имеющий почву в Англии и Ирландии, неприменим в России, где крестьянство обеспечено поземельной собственностью. Приведение в исполнение какой-либо реформы требует предварительной подготовки как со стороны того общества, по отношению к которому предпринимается реформа, так и со стороны самих реформаторов. Что касается нашего народа, то никакой подготовки к восприятию социальных учений он не имеет, а врожденный ему здравый смысл и привязанность к старине служат залогом того, что обмануть его социальными бреднями невозможно. Одинаково очевиден недостаток способности и подготовки к реформаторской деятельности со стороны самих наших самозванных реформаторов, и до настоящего времени эти партии не выдвинули ни одного сколько-нибудь талантливого человека; напротив, даже способные люди, попадая в партии, как-то мельчают и стушевываются. Кроме того, приступая к делу, наши социалисты не выяснили себе идеалов, к которым, по их мнению, должно стремиться русское общество, и если таковые порой указываются ими, то столь же реальные, как те, которые заключаются в известном сне Веры Павловны в романе „Что делать?“.

Мне кажется, довольно и этого сжатого очерка социального движения, сделанного прокурором на суде, чтобы составить себе ясное представление об этом очерке. Дальше в своей речи прокурор рассказывает, как русские социалисты из пропагандистов превратились в бунтарей, а из бунтарей в партию „Земля и Воля“, а потом в партию „Народной Воли“, или — как охотнее прокурор называет эту партию — террористов. Все это, по словам прокурора, совершалось в силу того закона прогресса, в силу которого профессиональный вор переходит в разбойника. Так как наш кружок прокурор признал принадлежащим к пар-

тии террористов, то он и характеризует террористов как партию, программа которой имеет ближайшей целью государственный переворот, который, по мнению партии, должен быть переходным строем к социальному перевороту. После своего сжатого очерка социального движения прокурор перешел к обвинению всех (21) подсудимых по общему делу, при чем предварительно остановился на вопросах о значении улик, обнаруженных дознанием и судебным следствием, и о целях кружка, к которому принадлежали обвиняемые. Из числа свидетелей главными, по мнению прокурора, являются: крестьянин Забрамский, капитан Судейкин и жандармские унтер-офицеры, на которых было возложено наблюдение за обвиняемыми; что касается остальных, то показания их не имеют существенного значения и относятся к обстоятельствам побочным. „Роль Забрамского по отношению к жандармскому управлению и к революционному кружку вполне выяснена показаниями капитана Судейкина и унтер-офицера Максимова. Из всего этого несомненно, что Забрамский принадлежал к кружку и был подослан последним в управление для целей кружка, при чем он долгое время обманывал управление и выдал своих сообщников только тогда, когда между ними возникло сомнение в его добросовестности и его жизни стала угрожать опасность. Что касается до заявления некоторых из подсудимых, что Забрамский был подослан к ним жандармским управлением, от которого получал жалованье, в роли агента-провокатора, то это заявление положительно ложно и, независимо от изложенных выше доказательств, опровергается тем, что, по своему недостаточному развитию и отсутствию всякого образования (что видно из письма его к капитану Судейкину), он не мог иметь никакого влияния на людей, из которых многие находились в старших курсах высших учебных заведений, а также показаниями жандармских унтер-офицеров о той второстепенной роли, которую Забрамский играл в кружке, получение же им денежного вознаграждения от жандармского управления было вполне естественно, так как последнее, имея в виду наблюдением за Забрамским открыть общество, к которому он принадлежал и от которого был подослан, должно было поддерживать в нем уверенность в том, что его игра не обнаружена

управлением и что последнее считает его за своего агента. Во всяком случае неявка Забрамского в судебное заседание весьма выгодна для подсудимых".

Обращаясь к показаниям Судейкина и унтер-офицеров и объяснив суду порядок наблюдения за подсудимыми, г. прокурор объяснил, что недомолвки и неточности в показаниях этих свидетелей, на которые обращали внимание при судебном следствии обвиняемые, касаются обстоятельств несущественных и, не подрывая достоверности свидетелей, объясняются значительным временем, которое протекло от совершения событий, о которых их спрашивали, а иногда и неправильной постановкой вопросов со стороны обвиняемых. Что же касается объяснений подсудимых, то к таковым прокурор предлагает суду относиться „скептически". Принадлежность этого кружка к партии террористов доказывается, по мнению прокурора, показаниями Моисея Диковского, Лозянова, Бущинского и отчасти Попова[1], признавших свою солидарность с этой партией, отобранным у Реферт письмом, адресованным на имя Кудрявского, и вещественными доказательствами, найденными у большей части обвиняемых, т. е. разрывными снарядами, оружием и ядами. Связь Киевского кружка с таковыми же кружками в Петербурге и в некоторых других городах России доказывается тем, что значительная часть лиц, привлекаемых к настоящему делу, вместе с тем привлечены к дознаниям, производящимся в других местах; так, напр., Кобылянский, Голубов, Филиппов, Троицкий и Бущинский — к дознанию, производящемуся в Харькове; Левченко, Моисей Диковский—к дознанию, производящемуся в Одессе. Кроме того, связь эта доказывается показанием жандармских унтер-офицеров и капитана Судейкина (полученным задним числом от Забрамского. М. Попов) о получении обвиняемыми из Петербурга прокламаций и сведений о готовившихся взрывах 19 ноября прошедшего года и 5 февраля сего года.

[1] Попов на вопрос председателя суда ответил: „я революционер", и только после того, как прокурор сказал: „лист остался белым, как и был", Попов заявил, что „понятие революционер включает и те средства, признания которых прокурор домогается от меня, но это уж дело прокурора доказать, что я практиковал эти средства".

Обращаясь к ближайшим целям Киевского революционного кружка, прокурор думает, что судебное следствие вполне установило: устройство обвиняемыми сходок для обсуждения средств к произведению социальной революции удостоверяется показаниями жандармских унтер-офицеров, следивших за ними, а также записками, отобранными у Иванова, из которых в одной встречаются слова: „Завтра обязательно нужно собрать в 8 часов вечера и в 10 часов утра; квартиры известны“; приобретение и распространение преступных прокламаций — показанием Забрамского, подтвержденным представленными им капитану Судейкину 15-ю прокламациями по поводу покушения 19 ноября; подделка подложных паспортов для снабжения таковыми нелегальных членов кружка подтверждается нахождением их у обвиняемых Лозянова, Подревского, Сер. Диковского и Забрамского, а также тем, что из числа 21 обвиняемых, привлеченных к суду, 11 человек проживали по подложным паспортам. Что касается до замысла кружка об убийстве должностных лиц, то этот замысел, независимо от того соображения, что убийство органов власти признается одним из главных орудий производства революции, удостоверяется найденными у большинства подсудимых оружием и ядами, а также отобранными у Иванова и Забрамского разрывными снарядами. Затем, вопрос о том, кто именно был намечен кружком для убийства, по мнению прокурора, не имеет существенного значения: несомненно, жребий должен падать на лиц, более ненавистных обвиняемым, а таковыми естественно являются те, на которых лежит обязанность преследовать их. Этими лицами, по показанию Забрамского, были: генерал-губернатор, он, прокурор, и капитан Судейкин. Не останавливаясь на показании Забрамского относительно его, прокурора, и капитана Судейкина, прокурор доказывал, что показание свидетеля об умысле на генерал-губернатора Черткова заслуживает полного доверия, так как подтверждается предшествовавшей попыткой Фесенко, удостоверенной Богуславским, а также показанием Гольденберга о том, что убийство г.-г. Черткова, на ряду с некоторыми другими должностными лицами, было решено террористами еще на Липецком съезде в 1879 году. Обращаясь затем к определению по закону преступлений, совершенных подсу-

димыми, и к мере наказания последних, прокурор просил суд применить к ним ст. 249 уложения о наказаниях; однако, находя, что заметная в последнее время перемена в направлении нашей социальной партии (это в июле-то 1880 года!? М. П.), свидетельствующая о зародившемся сознании ее бессилия, дает суду право применить означенный закон во всей строгости только по отношению к главным виновникам, каковыми, по его мнению, являются: Попов, Иванов, Юрковский и Сер. Диковский, и смягчить наказание по отношению к остальным виновникам.

После прокурора говорили защитники, кандидаты на судебные должности при Киевском военно-окружном суде, трепетавшие пред Стрельниковым. Защитник Попова, Бельский, начал свою речь такими словами: „Я в своей речи буду касаться чисто только юридической стороны дела, что же касается политических взглядов клиента, то это все дело предоставляю г. Попову: он, конечно, гораздо лучше меня справится с этой задачей". Прокурор Стрельников срывается с своего места и набрасывается на защитника со словами: „А вы что, предварительно беседовали с подсудимым Поповым о его политических взглядах,—что же вы не сообщаете суду, что они вам понравились?" Бельский растерялся и стал продолжать свой урок, как растерявшийся ученик после окрика учителя, неуверенно, краснея. Из этого примера читатель поймет, что речи защитников были простой формальностью, не больше.

Из речей, сказанных на суде нами, подсудимыми, заслуживает внимания только речь Иванова. Речи других подсудимых, например, Юрковского, иронизировавшего очень удачно насчет прокурора, за что по распоряжению суда был выведен из залы заседания суда, затем короткая речь Буцинского и других — совершенно выветрились из моей памяти. Я хотел говорить об аграрном вопросе, но, два раза остановленный председателем, который сказал мне, что я здесь присутствую в качестве подсудимого, а не профессора, читающего суду лекции об аграрном вопросе, я сел, не окончив моей речи. Передать в подлинных словах речь Иванова я не могу, и читателю придется удовлетвориться сухим остовом речи Иванова, а между тем речь Иванова приковала внимание всех в суде и даже

судей. Я, достаточно знавший Иванова и осведомленный заранее о том, что он будет говорить в своей речи, и, следовательно, речь его не внезапно атаковала мое внимание, а это ослабляет впечатление речи оратора на слушателей, тем не менее я с непрерывающимся интересом слушал речь Иванова от начала до конца. Тем большее впечатление речь Иванова должна была произвести на присутствующих в зале суда, не подготовленных к тому, что скажет каждый из нас. И действительно, все с напряженным вниманием слушали речь Иванова, не исключая и судей, что на суде наглядно доказал председатель суда генерал Слуцкий. Он слушал речь Иванова с большим вниманием, и когда в своей речи Иванов, говоря о том усердии, с которым прокурор хлопочет о том, чтоб его, Иванова, отправил суд на эшафот, сказал: „Понять, говорят, значит простить. И я за все время нашего процесса хорошо понял г. прокурора и простил ему. Что можно требовать, в самом деле, от человека, который все способности своей души употреблял лишь на то, чтобы во что бы то ни стало обвинить тех, кто попал за эту решетку? Из физиологии же мы знаем, что раз практикуется только одна какая-либо способность души, то она развивается за счет остальных. И у г. прокурора все другие движения души замерли, в силу этой физиологической причины, т. е. в силу того, что он злоупотреблял всю свою жизнь одним движением своей души, желанием во что бы то ни стало осудить“,—когда Иванов сказал эти слова, прокурор Стрельников вскочил со своего кресла и потребовал от председателя суда, чтобы слова Иванова были занесены в протокол, но председатель, очевидно, поглощенный речью Иванова, отнесся в данный раз к замечанию прокурора, как к надоедливой мухе, не дающей именно в то время покоя, когда ты чем-либо занят, не исполнил просьбы и продолжал слушать Иванова, что заставило прокурора вновь вскочить и довольно сердито сказать: „Прошу еще раз председателя занести в протокол слова Иванова, оскорбляющие обвинительную власть, и действия г. председателя после первой моей просьбы“. Иванов начал свою речь вопросом: почему я стал революционером? — и все содержание речи Иванова было ответом на этот вопрос. Он говорил, что с того момента, как

стала работать его мысль, ее приковывала участь русского народа. Сначала он угадывал эту жалкую участь, выпавшую на долю нашего народа, по внешнему виду; его забитость, его угнетенный вид внушали его уму, что народу русскому выпала суровая доля жизни. Но познакомившись с историей русского народа, он понял и причины, почему наш народ обойден в жизни. Во всю историю русский народ только приносил жертвы на алтарь отечества, но ему за это отечество платило черной неблагодарностью; на пиру русской жизни ему не было места, там наслаждались жизнью бояре, переименованные потом в дворян, духовенство и все остальное в этом роде, наслоенное во время долгой истории в русской жизни. Он останавливается на крепостном праве в России для доказательства своих взглядов на участь русского народа, на севастопольской кампании и заканчивает исторический обзор в своей речи войной, тогда еще свежей в памяти, за освобождение от турецкого ига балканских славян. „Во все эти моменты,—говорил Иванов,—трудовой русский народ, крестьянство жертвовало и своими детьми и своими материальными благами. В награду за это севастопольские герои что получили? — право просить милостыню. В доказательство я ссылаюсь на севастопольского героя, который на костылях протягивает на Бульварной улице руку прохожим и которого, без всякого сомнения, все вы, гг., знаете“. Говоря о войне за освобождение балканских славян, Иванов мимоходом обращает внимание на то, что абсолютистское правительство у себя дома — берет на себя задачу сделать свободными от такого же абсолютизма балканских славян. „Воображаю себе,—сказал Иванов,—если бы Россия довела до конца дело освобождения славян и могла предписать независимо ни от кого свои желания побежденному,—несомненно, конечно, султан проиграл бы, но выиграли ли бы освобожденные славяне и не попали ли бы из огня в полымя — это вопрос“. Сначала, говорил Иванов, он хотел окончить курс в одном из высших учебных заведений и, обогатившись знаниями, итти на службу народу. С этой целью он поступил в Киевский университет, но скоро убедился, что правительство поставило своей целью превратить университеты в школы для подготовления преданных чиновников правительства, а не слуг для

народа, и потому он пришел к заключению, что прежде всего нужно добыть России свободу и тогда только можно будет мечтать о службе народу. Для доказательства этой своей мысли он указывал на то, что делалось в то время в университетах. В этот именно момент вводились в университетах инспектора, педеля и прочее, достойное фантазии русской бюрократии, заправилой которой в области народного просвещения или, по выражению Щедрина, народного затемнения был неудобозабываемый, по словам Пирогова, Д. А. Толстой.

Суд постановил такой приговор: на основании ст. 13, 15, 17, 19, 22, 28, 134, 135, 139, 150, 152, 249, 975, 977 улож. о наказаниях и высочайшего указа от 5 апреля 1879 г. Попова и Иванова лишить всех прав состояния и подвергнуть смертной казни чрез повешение; из остальных, при уменьшающих вину обстоятельствах, лишить всех прав состояния и сослать в каторжные работы в рудниках: Юрковского, Сер. Диковского и Бущинского — на 20 лет; Моисея Диковского, Ильяшенко-Кущенко, Левченко, Михайлова, Хрущова, Шехтер, Левенсон, Костецкого, Петрова, Реферт, Клименко, Подревского, Лотрингера—на 15 лет, Лозянова, Жукова и Позена—на 10 лет. Обвинение же подсудимого Иванова в вооруженном сопротивлении, Клименко, Подревского, Лотрингера — в принадлежности к тайному противозаконному сообществу в Киеве суд признал недоказанным и постановил считать их в тех деяниях оправданными. Определив подсудимым наказание, следуемое им по закону, суд не мог не обратить внимания на особо уменьшающие вину некоторых обстоятельства, посему определил ходатайствовать, на основании ст. 1234 св. воен. пост. 1869 г., кн. XXIV, изд. второго, пред генерал-губернатором о замене наказания подсудимым вместо ссылки в каторжные работы в рудниках — ссылкой на заводы: Жукова и Позена на 7 лет, Шехтер и Левенсон на 6 лет, Костецкого, Петрова и Реферт на 4 года, Клименко и Подревского ссылкой в Сибирь на поселение — Клименко в более отдаленные места, Подревского в менее отдаленные, с лишением их всех прав состояния; Лотрингера подвергнуть тюремному заключению на 4 месяца.

К БИОГРАФИИ ИППОЛИТА НИКИТИЧА МЫШКИНА

(Из воспоминаний)

ОТ АВТОРА

Эти воспоминания об Ипполите Никитиче были помещены в журнале „Былое“ в феврале 1906 года под тем же названием. В своей статье „Централка“, помещенной в том же журнале за июль месяц того же года, Н. А. Виташевский в своем примечании, на странице 132, говорит: кое-какие подробности, сообщенные как об этих обстоятельствах (обстоятельствах, относящихся к попытке И. Н. бежать из централки), так и вообще о жизни в централке, не совсем точны в моей статье к биографии И. Н. Мышкина. Несомненно, Виташевскому, сидевшему в централке вместе с Мышкиным, эти подробности известны лучше, чем мне, знавшему их с чужих слов. К сожалению, в статье Виташевского указана только неточная передача обстоятельств, при которых Мышкин дал пощечину смотрителю тюрьмы, Копнину, и это я только и могу вернее прибавить, чем изменить. Кроме того, в одном письме мне писали, что неудавшаяся попытка освободить Войнаральского не случайно выпала на долю Войнаральского, ибо Мышкин в это время был уже в централке, и что Перовская об этом должна была знать. Я не знаю, — знала ли об этом Перовская, но что приехавшие из Питера, в числе которых был и я, до приезда в Харьков бежавших из Киевской тюрьмы Стефановича, Дейча и Бохановского, с которыми я выехал из Харькова в Петербург, не знали этого, за это я ручаюсь. Я не знаю, что знала Перовская в это время о централке, но я помню хорошо, что когда я приехал в Харьков в конце ноября 78 года для отыскания места, где бы мог укрыться Баранников, то одно обстоятельство, обрадовавшее так Перовскую, мне кажется, говорит за то, что до этого времени у Перовской не совсем были правильны сношения с центральной тюрьмой. Вот это обстоятельство. Шел я в Харькове и вдруг слышу, кто-то меня сзади зовет. Оборачиваюсь и узнаю доктора Никольского, брата жены Осинского. Он начал с того, что он уже давно ищет кого-либо из нас, но что мы так попрятались, что и не отыскать нас. И сообщил мне, что или он сам, или его товарищ будут назначены в централку врачем, и это, вероятно, даст нам возможность завести правильные сношения с тюрьмой. Я его сейчас же свел к Софье Львовне и видел, как это ее обрадовало. Что это было осенью 78 года, — это вне сомнения уже потому, что я ездил в Харьков для отыскания там приюта Баранникову после убийства

Мезенцова, что случилось 4 августа. В это время там проживал Волошенко, занятый вместе с другими организацией побега Алексея Фомина, арестованного за участие в попытке освободить Войнаральского, затем Квятковский и Фроленко после неудачного освобождения приехали в Воронеж, где был я в это время, и Квятковский передавал мне как новость то обстоятельство, что в остановленном ими почтовом экипаже был не Мышкин, а Войнаральский.

К БИОГРАФИИ

Я в первый раз увидел Мышкина на так называемом большом процессе, или процессе 193-х, где он говорил свою речь, в которой, обращаясь к судьям, бросил им в лицо слова, произведшие тогда впечатление на передовое русское общество вообще, но, главным образом, на тех молодых людей, которые еще только готовились вступить на путь, по которому уже шел Мышкин, и был остановлен и посажен на скамью подсудимых, — слова: „Это — не суд, а простая комедия, или нечто худшее, более отвратительное, более позорное, чем дом терпимости; там женщина из-за нужды торгует своим телом, а здесь сенаторы из подлости, из холопства, из-за чинов и крупных окладов торгуют чужою жизнью, истиной и справедливостью, торгуют всем, что есть наиболее дорогого для человечества“.

Это—тот самый процесс, сенсационные слухи о котором, распространившиеся в Европе, побудили английский „Times“ послать специального корреспондента, дабы он дал обстоятельный отчет о нем в газете. Но, очевидно, процесс этот не оправдал ожиданий газеты, ибо корреспондент „Times“ после двух заседаний уехал обратно, заявив представителям защиты о своем недоумении, почему этот процесс назван политическим, и за что этих молодых людей судят. „Я присутствую здесь вот уже два дня и слышу пока только, что один прочел Лассаля, другой вез с собой в вагоне „Капитал“ Маркса, третий просто передал какую-то книгу своему товарищу. Что же во всем этом политического, угрожающего государственной безопасности?“ Не знаю, что ответили корреспонденту „Times“ представители защиты, но, вероятно, напомнили ему, что в данный момент он в России, а не в Англии, и что Россия, по вопросу бесправия и отсутствию гарантии для неприкосновенности личности, в то время могла конкурировать

даже с Турцией.—Да, для англичанина это непонятно. Ему, конечно, казалось странным, что наше правительство не считало даже нужным прикрываться хоть каким-нибудь формальным правом, хоть какою-нибудь призрачностью закона. Зачем все это ему? Имея в своем распоряжении покорных судей, которых так верно охарактеризовал в своем последнем слове Мышкин, русскому правительству и не могла прийти в голову мысль о каких-то еще правовых нормах. Достаточно было приказать „правому и справедливому" суду отправить на каторгу молодых людей, предъявленных ему Третьим отделением, как все статьи закона в головах наших судей становились вверх ногами, и гг. судьи, ни мало не затрудняясь, усматривали преступления, караемые каторгой вплоть до бессрочной. Без всякого сомнения, процесс 193-х по отсутствию наличности преступления можно поставить рядом с процессом Петрашевцев. Но такова уж судьба нашего правительства,—ему ровно свыше предопределено было накопление революционных чувств в русских гражданах. Таким средством для этой цели и был процесс 193-х, который в ряду прочих реакционных мер правительства, начавшихся сейчас после великих реформ 60-х годов, имел, быть может, наибольшее значение в решении судьбы Александра II. Мало того, что некоторых из молодых людей этого процесса, виновность которых заключалась лишь в том, что они читали Лассаля или имели при себе в вагоне „Капитал" Маркса, посылали на каторгу, но Мышкин, Ковалик, Войнаральский и Рогачев, по личному распоряжению Александра II, должны были весь десятигодичный срок отбывать в центральной тюрьме в оковах. Мышкин, со времени этого процесса, в глазах революционеров тогдашнего времени и всей молодой России стал ярким представителем революционной партии. Организация „Земли и Воли" вместе с более счастливыми товарищами Мышкина по этому процессу, ускользнувшими от каторги, живо интересовались дальнейшей судьбой Мышкина. Решено было употребить все силы и средства, имевшиеся в их распоряжении, чтобы вырвать его из рук правительства. На Николаевском вокзале было учреждено дежурство, задачей которого было следить за отправкой Мышкина из Петербурга. Когда стало известно, что Мышкин, Ковалик, Вой-

наральский и Рогачев назначены в Харьковскую централку, то решено было организовать его освобождение на пути туда. Жандармы перехитрили товарищей Мышкина, поставивших себе целью его освобождение, несмотря на всю их бдительность. В то время, как следили за пассажирскими поездами, отходившими по Николаевской дороге, жандармы увезли Мышкина в товарном поезде. Этим отчасти и объясняется неудачная попытка предпринятого освобождения, по случайности выпавшая вместо Мышкина на долю Войнаральского, так как предпринимавшие освобождение, не успев в короткое, остававшееся в их распоряжении время изучить неизвестную до тех пор местность, поехали двумя партиями по разным дорогам. Я не вхожу здесь в более подробное описание этого предполагаемого освобождения. Этому эпизоду из русской революционной деятельности 70-х годов, вероятно, со временем будет посвящена в „Былом" отдельная статья.

С этого времени о Мышкине, как и обо всех других заключенных в двух харьковских централках, до нас доходили скудные сведения периодами, так как в этих централках режим по отношению к политическим заключенным то ослабевал, то вновь становился суровым, в зависимости от того, кто был губернатором в Харькове и каково было общее направление политики по отношению к революционерам. Что касается Мышкина, то я ограничусь тем, что упомяну о его попытке бежать из централки. Он предполагал бежать через подкоп, который начал вести из своей камеры. Вынутую землю из подкопа он выносил в бадье, известной в арестантском мире под именем параши. Было там правило такое, что выходивший на гулянье заключенный выносил с собой и эту бадью с нечистотами. В этой-то бадье Мышкин и выносил землю.

Каким образом была открыта его работа над подкопом, не знаю, но знаю, что по этому поводу у Мышкина произошло со смотрителем централки столкновение, закончившееся тем, что Мышкин, на грубость смотрителя, ответил пощечиной, за что и был переведен из этой централки в другую, именно в ту, где сидели Ковалик, Войнаральский и Рогачев.

Так о попытке Мышкина бежать из централки сохранилось в моей памяти из рассказа самого И. Н. Но

И. А. Виташевский именно перед описанием в своей статье „Централка“ этой попытки делает ту выноску, которая приведена в моем предисловии, передает подробности, относящиеся к попытке задуманного Мышкиным побега, и, кончив тем, как попытка Мышкина была замечена тюремной администрацией, так рассказывает подробности обстоятельств, при которых Мышкин дал пощечину смотрителю централки, Копнину. „Мышкина, конечно, перевели в другую камеру и стали за ним усиленно наблюдать. Были ли к нему применены какие-нибудь строгости, я не помню. Факт же заключается в том, что Мышкин вознамерился так или иначе добиться изменения своего положения, рассчитывая в новой обстановке изыскать средство к побегу“.

„В какой-то высокоторжественный день, когда Копнин явился в церковь в полной парадной форме и при всех своих орденах и медалях, в церкви оказался и Мышкин. По окончании службы Копнин первым подошел прикладываться к кресту, за ним следом потянулся Мышкин. И едва успел Копнин, приложившись, повернуться к Мышкину, как этот последний размахнулся и, в свою очередь, приложился к физиономии Копнина“. Таким образом, выходит со слов Виташевского, что Мышкин дал пощечину Копнину, чтоб добиться изменения условий своего заключения.

По каким соображениям этот инцидент имел такие последствия, трудно сказать. Те времена, вообще, были чреваты неожиданностями. И перевод Мышкина был такой неожиданностью, имевшей своим последствием то, что он за оплеуху, данную им смотрителю, попал в более сносные условия. В централке, где сидели Ковалик, Войнаральский и Рогачев и куда теперь попал Мышкин, давался чай, между тем как в прежней такая роскошь не допускалась. Насчет книг, гулянья и пр. в этой централке тоже условия были более льготные.

Здесь Мышкин вместе с прочими централистами сидел до конца 1881 года. В конце же этого года, во времена либеральных веяний Лорис-Меликова, или, как говорил Катков, в эпоху „диктатуры сердца“, вместе со всеми товарищами по заключению Мышкин был переведен сначала в Мценскую пересыльную тюрьму, а оттуда на Кару.

По дороге на Кару Мышкин свою революционную натуру,—натуру, выкованную молотом жизни,—проявил в Иркутске. Здесь умер один из централистов, Дмоховский. При его погребении Мышкин сказал в церкви над гробом Дмоховского речь, которую закончил словами: „На почве, удобренной кровью таких борцов, как ты, дорогой товарищ, расцветет дерево русской свободы!“ На эти слова Мышкина священник, отпевавший покойника, ответил словами, которые своей грубостью могли еще лишний раз засвидетельствовать, до какой степени русские представители Христа—так называемое православное духовенство—далеки от учения провозвестника братства и любви на земле. Он сказал не больше, не меньше, как три следующих слова: „Врешь,—не расцветет!“

В начале 1882 года на Кару прибыла партия, состоящая из централистов и осужденных в этом году по процессам: Квятковского, Веймара и Щедрина. В этой партии прибыл и Ипполит Никитич Мышкин.

Обаятельная личность Мышкина сама по себе побуждала меня сблизиться с ним, но было и обстоятельство, способствовавшее еще более тесному сближению. Это был побег, планируемый мной с группой людей, из числа уже сидевших там, до прибытия партии во главе с Мышкиным.

Прибыв на Кару, Мышкин примкнул к кружку лиц, поставивших себе целью, во что бы то ни стало, бежать с Кары. Внешние сношения, связанные с побегом, выпали на мою долю. Я занимал на Каре должность пекаря, дававшую мне сравнительный простор в этом отношении. Как пекарь, я имел возможность сноситься с уголовным миром, в особенности в первый год моего пребывания на Каре, когда я пек хлеб в общей пекарне с уголовными. На правах пекаря я мог, под предлогом исполнения своих обязанностей, брать конвой и итти в то или другое место Карийского промысла. Мог бывать и в Карийской больнице, куда я доставлял хлеб своим больным товарищам. Больница же представляла такое место, где можно было входить в сношение со всеми карийскими промыслами, расположенными по реке Каре, на расстоянии один от другого верстах в десяти. Оставаясь на ночь в больнице, под тем или

иным предлогом, я мог, переодевшись в казачий мундир, бывать не только во всех палатах больницы, но, помню, в 1882 году, вместе с Войнаральским, ночь под Пасху провел в знакомой семье урядника, состоявшего в эту ночь начальником караула в больнице.

Замечательный тип забайкальского казака представлял этот урядник. Как говорят на Каре, „фартовый“ казак был урядник Косяков. Это — смесь удали, риска с желанием, чтобы в его кармане бряцали деньги, нужные ему все для той же удали. Он рисковал не в видах благ земных, — нет, это был своего рода спорт. Пускаясь в предприятие с риском потерять голову, он забывал все и помнил лишь одно — не ударить лицом в грязь и удивить мир удальством.

— Косяков, — спросил я однажды, — не достанешь ли ты где хорошей стали для ножей?

— На что тебе лучшей стали, как вот эта! — указывая на штык, ответил он и в тот же вечер принес мне три штыка. Как он умудрился стянуть их, это только он, да, пожалуй, бог еще знает. В видах все того же побега, было у нас дело с евреем Лейбой, скупавшим на Каре хищническое золото. Не говорю уверенно, так как Лейба этот, вместе с другими скупщиками ворованного золота, был выслан раньше, чем мое дело с ним пришло к концу, но, по всей вероятности, он имел намерение поживиться на счет нашего кармана. Дал я Лейбе денег на покупку револьвера на пробу; в этот же день от одного поляка, бывшего повстанца 1863 года, с которым у нас также были сношения в видах все той же заветной цели, узнаю, что Лейба уезжает и что нужно принять меры, чтобы наши деньги не пропали за ним. Мархоцкий, так звали поляка, побывал у Лейбы по этому делу, сообщил мне, что револьвер куплен, но что он, боясь взять его с собой, оставил на промысле Богатый, верстах в двадцати отсюда.

Передав это, он посоветовал мне переговорить с некоим „Махнидралой“, доставлявшим на Кару контрабандой водку, — он сегодня отправляется на Богатый, а от него уж Лейбе не отвертеться. Иду в лавочку „Махнидралы“ и узнаю от его жены, что он еще утром уехал на Богатый. Прибегаю к Косякову, передаю ему

историю с Лейбой. — „А что ж, поедем сегодня в ночь на Богатый, караул у меня сегодня „фартовый“. К утру будем здесь, — нигде!“ Я не мог согласиться на такую рискованную авантюру, во-первых, потому, что у нас в это время по ночам шли работы в подкопе; во-вторых, потому, что и Косякова надо было беречь до поры, до времени, и тем самым предпочел остроты товарищей насчет моего гешефта с Лейбой. Так шли у нас на Каре дела в связи с нашим предполагаемым побегом.

Верны ли были наши расчеты на побег, нет ли, — теперь трудно сказать, но тогда мы думали, что все условия для побега были благоприятны, и лишь одного из условий нам недоставало, — денег, условия, без которого все остальные сводились к нулю.

Мы и решились выпустить Мышкина, как деятеля, популярного в революционном мире, энергичного, и человека, который от раз намеченной цели не уклонится в сторону. Решили мы выпустить Мышкина не через подкоп, который к этому времени не был еще готов, да и приготовлялся он для побега всей нашей группы. Мышкин и Хрущов (сочетание такое оправдывалось тем практическим соображением, что Хрущов, как рабочий, легче мог найти место в Америке в случае нужды в средствах) бежали из мастерских, которые находились вне тюремного двора, или, говоря языком карийского обывателя, за палями [1], куда они были вынесены: Мышкин — в ящике кровати, а Хрущов — в сундуке.

На моей обязанности лежало замести следы побега. Например, тот конвой, который сопровождал несущих кровать и сундук с Мышкиным и Хрущовым, я увел в пекарню, где и продержал до 11 часов, до времени смены караула. Словом, надо было принять все предосторожности, чтобы устранить всякую возможность напасть на следы исчезновения Мышкина из тюрьмы. Насколько важна всякая случайность при побеге, показывает, например, следующий случай.

На другой день рано утром я по пути в пекарню зашел в мастерскую осмотреть, хорошо ли заделана в

---

[1] Тюрьмы в Сибири огорожены столбами, называемыми на Каре палями, аршин в шесть вышины, вкопанными без просвета один около другого перпендикулярно.

крыше дыра, чрез которую вылезли из мастерской Мышкин с Хрущовым. Осмотрев и убедившись, что все маскировано хорошо, я отправился в пекарню и принялся за свое дело с мыслями о наших беглецах и пожеланиями им всякого благополучия. Входит в пекарню смотритель и говорит мне с многозначительной улыбкой:

— Вы здесь?

— А где же, Александр Николаевич, я мог быть, как не здесь! — отвечаю я.

— А я, знаете, всю ночь почти не спал, все беспокоился, не бежал ли кто из тюрьмы. Приходит ко мне часов в 12 сотник (начальник отряда, который составлял караул политической тюрьмы) и говорит: „Александр Николаевич, все ли благополучно у нас в тюрьме?“ — „А что?“ — спрашиваю я. — „Да, — говорит, — иду я по коридору и вижу в окно, от мастерской по направлению к сопкам пошли два человека“. — Встал я, обошел вместе с ним кругом палей, зашли во двор, все цело, и ничего подозрительного. Спросили часовых, говорят — все благополучно. „Не иначе, — говорю, — как вам показалось, Сергей Васильевич“. — А то, знаете, думал в тюрьму итти, поверку сделать; хоть и поругают, говорю себе, что зря беспокою, а все же буду спокоен; а потом решил, — отложу до утра. Сейчас все ходил кругом палей, ничего, слава богу, все благополучно. В тюрьме-то ваши все еще спят. Зашел вот к вам в пекарню, и вы на месте.

— Да где же, Александр Николаевич, был бы я как не здесь или в тюрьме? — вновь спрашиваю я.

— Ну, слава богу, слава богу! — сказал он успокоенно.

— Так-то вы всегда, Александр Николаевич, — сказал в свою очередь я, — вообразите что-нибудь невозможное, а возможное и выпустите из виду. Напрасно ваш сотник не попытался задержать этих двух молодцов. Для меня теперь понятно, где девался давеча топор из мастерской (взятый Мышкиным с собой). Значит, уголовные подбирают наши инструменты, оставляемые на окнах. На-днях эти два молодца поживились топором, а сегодня пришли посмотреть, — нет ли еще каких инструментов на окнах.

— А ведь это верно! — подтвердил смотритель мою догадку. — Мне, знаете, и в голову не пришло, а это как есть, — это они, мерзавцы, кроме их некому. Надо будет сказать, чтобы посматривали. Скажите и вы вашим, чтобы не клали инструментов на подоконниках. Не иначе, как это они слямзили топор, больше некому.

Таким образом мы друг друга и успокоили. Прошло 19 дней со времени ухода Мышкина и Хрущова из тюрьмы. В продолжение 19 дней мы клали в различных камерах два чучела, накрывавшиеся одеялом: их при поверках и засчитывали вместо Мышкина и Хрущова.

19 дней был срок, раньше истечения которого не должны были бежать желавшие использовать этот же путь: Юрковский, Минаков, М. Диковский, Левченко и Баломез. Мышкин и Хрущов в этот срок должны были уже приехать во Владивосток, где они предполагали сесть на один из иностранных пароходов и уехать в Америку. К несчастью, иностранных пароходов во Владивостоке не оказалось, и Мышкин с Хрущовым решили так: Мышкин на пароходе „Константин" отправится в Одессу, Хрущов же до поры до времени останется во Владивостоке. Но чтобы сесть во Владивостоке на русский пароход, отходящий в Одессу, нужно было засвидетельствовать паспорт во владивостокском полицейском управлении. Хрущов пошел с паспортом в полицейское управление. Просмотрев паспорт, полицейский чиновник, к удивлению Хрущова, спрашивает: „Вы Хрущов? А где же другой — Мышкин?" Понятно, что Хрущова тут же арестовали, а Мышкина вслед за ним разыскали.

Объясняется это вот чем. Забайкальский обыватель отличается удивительной способностью помнить раз встретившееся ему лицо. Мышкин и Хрущов, по выходе из тюрьмы, не нашли парохода на Владивосток; оставаться и ждать пароход на берегу Амура было рискованно. Поэтому они решили купить лодку в ближайшей станице и плыть в лодке по течению Амура, затем пересесть на первый догнавший их пароход по пути во Владивосток. Зашли в станицу, торгуют лодку. Казаки не признали их за местных жителей. Начались расспросы, — кто, зачем попали в эти края? Что ответили Мышкин и Хрущов, — не помню теперь; но кончился их разговор тем,

что их повели в станичное управление, где атаман спросил у них паспорта и прописал. Дело на этот раз обошлось как будто бы благополучно: лодка была куплена, и они уехали, а затем, как и рассчитывали, их догнал пароход, на который они пересели, бросив лодку на произвол волнам амурским, и, как известно читателю, прибыли во Владивосток, сделав таким образом около 3000 верст от Кары. Когда же в тюрьме был открыт побег, то по станицам разослали предписание задерживать всех подозрительных людей.

Из той станицы, в которой Мышкин с Хрущовым купили лодку, атаман сообщил в тюрьму, что недели три тому назад в станицу заходило два подозрительных лица, по виду напоминающих государственных преступников, и что предъявленные ими паспорта прописаны в станичном управлении. Послали в эту станицу гонца с карточками 8 бежавших. Атаман указал на карточки Мышкина и Хрущова, при чем заметил и то, что Мышкин на карточке в бороде, а в их станице он был бритый. Таким образом, открыто было, под каким видом скрываются Мышкин и Хрущов, и — само собою понятно, — об этом дано было знать во все полицейские управления по Амуру вплоть до Владивостока. Вот почему, когда Хрущов явился во Владивосток в полицию, там узнали, что он Хрущов, и что где-нибудь тут же находится и Мышкин. Таким образом, эта несчастная случайность с лодкой повела к тому, что побег, хорошо задуманный и уже приходивший к благополучному концу, так печально окончился.

От Нерчинска до Читы по Забайкальской области нас провожал исправник Писарев. По его словам, он сопровождал Мышкина и Хрущова из Владивостока обратно на Кару. Этот исправник говорил нам, что конвоировали Мышкина матросы и что начальник конвоя, офицер, будто бы сказал ему, Писареву, что если бы Мышкин знал положение вещей во Владивостоке, то ему оставалось бы только сесть на какую-нибудь японскую рыбачью лодку, и он бы легко добрался до Японии, а оттуда все пути пред ним были бы открыты.

После того, как побег в Карийской тюрьме был обнаружен, я, в числе 12 человек, был переведен из политической тюрьмы в Нижне-Карийскую, где просидел в

одной камере с Коваликом и Студзинским до 1 июля. 1 июля в числе 8 человек был обратно возвращен в политическую тюрьму. В тот же день увели меня в больницу на следствие. Следствие имело целью выяснить,—каким путем попали к нам в тюрьму револьверы, найденные при обыске на чердаке. Один уголовный, Соколов, заявил начальству, что он незадолго до побега был свидетелем такой сцены — будто бы я давал часы больничному старосте, при чем сказал: „Вот вам от меня подарок! надейтесь, что и впредь ваши услуги не останутся без вознаграждения".

Меня предупредили через уголовных Нижне-Карийской тюрьмы о таковом показании Соколова, а также и о том, что ответил на следствии больничный староста. Следствие производил из Верхне-Удинска исправник Смирнов, не знаю, насколько это было верно, отрекомендовавшийся мне состоявшим в родстве с профессором Драгомановым. Смирнов нашел показание Соколова незаслуживающим доверия. После следствия меня завели в тюрьму лишь затем, чтобы я взял свои вещи, и потом вместе с Буцинским увели обратно на Нижнюю-Кару.

В то время, когда я был на следствии в больнице, привезли в тюрьму Мышкина и Хрущова, так что я имел время только пожать Мышкину руку и обменяться с ним шапкою, ибо в шапке Мышкина были зашиты 25 руб., которые он посоветовал мне взять на всякий случай.

До 15 июля в Нижне-Карийской тюрьме сидели только мы, 8 человек, назначенные к увозу в Петербург, именно: я, Щедрин, Геллис, Буцинский, Игнат Иванов, Кобылянский, Волошенко и Павел Орлов.

17 сентября 82 года я прибыл в Петербург и вместе с Ивановым и Щедриным был заключен в Алексеевский равелин. В 83 году прибыли с Кары и Мышкин вместе с Минаковым, Малавским, Юрковским и Долгушиным. До 84 года все они содержались в Трубецком бастионе, а весной 84 года Мышкин, Богданович, Минаков, Златопольский и Долгушин были переведены в равелин, так как цынга к этому времени очистила камеры равелина. До смерти Баранникова, умершего 9 ав-

густа 83 года, я кое-как сносился с тем крылом равелина, куда посадили Мышкина; но после смерти Баранникова я был отделен от этого крыла двумя камерами, при чем в одной из них постоянно толклись жандармы, так как в этой камере находилась ванна, в которой мы раз в месяц мылись. Таким образом, мы не знали, кто занял камеры Баранникова, Тетерки и Иванова (Иванов был увезен в Казань). Мышкин же знал от оставшихся живых в своем крыле, что в 12-м № сижу я.

Я стал замечать, что кто-то, проходя мимо моей камеры на прогулку, непременно кашлянет. Приняв это за предупреждение о чем-то, я стал зорко осматривать дворик, где мы гуляли. В один день на торце ручки лопаты, данной нам для перекладывания песка из одной кучи в другую, я заметил приклеенную хлебом записку. Это была записка от Мышкина, написанная обожженным концом спички, в которой он сообщал, — что сидит в их крыле, условился, где будет класть записки, и заключил последнюю похвалой „Христианскому чтению“ за то, что оно имеет широкие чистые поля, удобные для записок. С этого времени у меня с ним установилась переписка, какая, конечно, возможна при помощи обугленной спички и нитки. Быть может, способ переписки при посредстве нитки введет читателя в недоумение, и он спросит меня, — что еще за ниточная переписка? Дергали мы из холщевых портянок основу, сучили из этой основы нитку любой длины и затем при помощи навязанных на нитке узлов передавали слова точно так же, как передавались нами слова стуком в стену, например, слово „Мышкин“ изображалось так:

.. ..., ..., ..., ..., ..., ...;

Конечно, вам, свободный читатель, такая переписка покажется убийственно скучной, но если бы вы испытали целодневное безделье чередующихся один за другим дней в продолжение ряда лет, то, вероятно, и вы нашли бы, что такое препровождение времени если не доставляло особенного удовольствия, то все же давало возможность убить праздное время.

Такая переписка похожа на вязание чулка старушкой, которой не под силу всякая другая работа, а время девать некуда. Я, по крайней мере, был доволен, что

подвернулась хоть какая-нибудь работа для моего праздного ума и праздных рук. Пока навьешь ниток, нанижешь на них слова, смотаешь нитки в клубок да привяжешь этот клубок к кольцу из щетины, добытой из матраца, набитого свиной шерстью (между последней же попадалась и очень хорошая щетина), а день-то и прошел, слава богу! Кольцо из щетины делалось для того, чтобы дать возможность нашей своеобразной почте быстро спуститься по ручке к лопасти лопаты, которая и клалась на кучу песка так, чтобы лопасть прикрывала ее.

Я уже сказал выше, революционная натура Мышкина была выкована молотом жизни. Говоря так, я этим хочу выделить Мышкина из среды революционеров 70-х годов.

Большинство революционеров 70-х годов, при всей их беззаветной преданности делу освобождения русского народа, все-таки пришли к необходимости такой деятельности,—если позволительно так выразиться,—головным путем. Они вступали на революционный путь, руководимые благородной мыслью служить благу народа. Конечно, без соответствующей наличности чувств невозможно благородство мысли. Но все же они руководились скорее мыслью вывести народ из того жалкого существования, в котором он находился, чем чувством мести к виновникам обездоленного народа. Только потом, только суровый путь, которым они решились итти к своей цели, и те жестокие кары, которые правительство сыпало на них, как из рога изобилия, выдвинули вперед революционные чувства, желание во что бы то ни стало и прежде всего свергнуть деспотическое правительство. Тип народовольца-террориста—последнее издание, не только исправленное и дополненное жизнью, но совершенно переделанное жизнью. Да, только жестокий путь борцов 70-х годов за свободу народа, путь бичей и скорпионов, от щедрот правительства вложил в руки революционера меч, которым он и заменил мирную пропаганду.

Мышкин стоял отдельной фигурой среди революционеров 70-х годов. Его революционное чувство накоплялось суровой действительностью его жизни. Впечатлительная организация натуры, при богато одаренном уме, с самого детства могла реагировать только отрицательно



И. Н. Мышкин



И. К. Иванов



Д. Т. Буцинский



Н. П. Щедрин

на ту обстановку, которая выпала на его долю, как на сына кантониста. Вот почему, когда он вступил в ряды борцов 70-х годов, то рядом с его теоретическими обоснованиями ярко выступило накопленное еще в детстве революционное чувство, и вот почему Мышкин всегда и прежде всего реагировал чувством на окружающее его. Каким был всегда, таким он остался и в равелине и потом в Шлиссельбурге. В первых же записках, писанных им мне в равелине, он предлагал протестовать против жестокого и беззаконного обращения с нами. Как теперь, так и тогда было одно средство, к которому прибегали в борьбе с правительством, — это голодовка. Мышкин был против голодовки, как средства. „Такой протест, — писал он, — напоминает мне протест некрасовского Якова верного, холопа примерного, — казнись, мол, моими страданиями. Нашим палачам, и особенно здесь в равелине, наша тихая и спокойная смерть, которую они, строгим соблюдением тайны в этом застенке, могут с удобством выдать за смерть от естественных причин, будет только на руку. Нет, я согласен и голодать, но вместе с тем будем бросать, чем попало, в наших палачей, будем кричать, бить стекло, — кратко, делать все возможное в этой обстановке, чтоб наш протест стал известен вне стен застенка. Пусть нас перебьют. Во всяком случае, такой протест тем удобен, что не останется без следа в жизни, — перебьют нас, или уступят нам, т. е. дадут нам книги, свидания с товарищами и переписку с родными". Предложение Мышкина я передал через Фроленко, сидящего в нашем крыле, Тригони, Морозову, Златопольскому и Исаеву, которыми предложение это и было принято; но в виду надежд, что в этом году, быть может, нас увезут в Сибирь, протест был отложен до осени.

Но 1 августа нас увезли не в Сибирь, а в Шлиссельбург, куда попало в первую голову наше крыло. Первую партию рассадили внизу, один от другого через камеру. Меня посадили в камеру № 17. Тишина была мертвая. Кроме бряцания кандалов на моих ногах да суетни жандармов по коридору, я ничего не слыхал. На другой день над моей камерой справа и слева послышался тот же звон кандалов. Я тотчас инстинктивно вско-

чил на стол и стал стучать ложкой в стену — „кто?“ Справа на мой ответ ни звука: там в камере № 28, как потом уж стало известно, когда он умер в 88 году, сидел Арончик, помешавшийся на том, что он английский лорд. Потеряв надежду, стучу налево. Ответ был: „Я — Мышкин“. — „Отлично, — ответил ему я, — очень рад, что мы соседи! Я — Попов“. Узнавши о соседстве с Мышкиным, я почувствовал себя ровно выпущенным на волю. Новая тюрьма, совсем неизвестная, специально построенная для нас, в первые дни пребывания в ней вызывала тяжелые думы. Думалось, — если вызывающие ужас рассказы на воле о петропавловских мешках-казематах не удовлетворили чувства мести к нам Толстого, то, значит, здесь, в этой камере, я буду окончательно замурован и ни одного живого слова не услышу до конца моих дней. И вдруг слышу: „Я — Мышкин“.

Обменялись мы несколькими словами, причем Мышкин высказал свое предположение, что прикованные болтами к стене кровати, вероятно, представят нам удобство для перестукивания, и мы решили отложить наш разговор до вечера, когда кровати будут спущены. Я горел желанием дождаться поскорее вечера и проверить предположение Мышкина. Тем нетерпеливее я ждал проверки предположения, что иначе нам, сидящим в разных этажах, пришлось бы довольно громко стучать и тем облегчить задачу жандармов — слышать наш стук. Уже и этот наш короткий разговор не ускользнул от бдительности жандармов, и если Ирод, которому, я слышал, у моей камеры жандарм докладывал, что я стучал, отнесся снисходительно, — сказав самонадеянно жандарму: „Пускай его стучит“, — то только потому, что он был уверен если не в невозможности перестукивания, при размещении нас в шахматном порядке, то в большой трудности. Вечером, как только спустили нам для спанья кровати, я и Мышкин сейчас же начали стучать в раму кровати у болта, — и опыт блистательно оправдал предположение Мышкина.

Ум и сердце Мышкина работали в том же направлении — протестовать во что бы то ни стало. „Теперь, — говорил он мне, — не остается у нас никаких надежд на увоз в Сибирь, в который я и раньше не верил и

в котором теперь должны разочароваться и те, которые до перевода сюда надеялись на это. Эта тюрьма — наша могила, мы заживо погребены здесь, и чем скорее смерть избавит нас от такой жизни, тем лучше для нас. Завидую я тем, — говорил он, — кто был приговорен к смертной казни и помилован. Да, я завидую вам, Родионыч! Вы имеете нравственное право заявить нашим палачам, что вы отказываетесь от милости и требуете, чтобы над вами был исполнен приговор суда. Такого права я не имею, но я заставлю их казнить меня, если останется только это средство избавить себя от варварской пытки надо мной".

Я с Мышкиным были совершенно отрезаны от остальных товарищей по заключению. Вверху направо, как я уже сказал, сидел Арончик, сумасшедший. Внизу камера № 16 была занята жандармами, и, таким образом, я был отрезан от Морозова, сидящего в 15 №. Мышкин сидел в 30 № вверху, налево от меня; с ним рядом в 31 №, как оказалось в 87 году, сидел Караулов, не отвечавший на стук Мышкина.

Пока наши попытки снестись с остальной тюрьмой терпели неудачу за неудачей, в один вечер после ужина, часов около десяти, когда тюрьма была закрыта, раздалось пение. Я сейчас же узнал чудный баритон Егора Ивановича Минакова, который пел свою любимую песню:

Я вынести могу разлуку,
Грусть по родному очагу,
Я вынести могу и муку
Жить в вечно праздной тишине.
Но прозябать с живой душою,
Колодой гнить, упавшей в ил,
Имея ум, расти травою,
Нет, — это свыше моих сил!

— Это, — стучу я Мышкину, — поет Минаков, я узнаю его голос и его любимую песню.

— Нужно поддержать его, — отвечает мне Мышкин.

Не успели мы условиться, как нам поддержать Минакова, как загремела тюремная дверь в коридоре, и явился Соколов, слывший потом в тюрьме, с легкой руки Лопатина, Иродом. Он начал с того, что открыл форточку в камере Минакова, сидевшего на противопо-

ложной стороне от меня и Мышкина, в камере № 1, и сказал ему громко: „Если будешь безобразничать, будешь связан!“ В ответ так же громко сказал Минаков: „Убирайся к чорту, варвар!“

Форточка хлопнула, Ирод нервно прошел по коридору, заглянул в стекла камер внизу, вбежал по винтовой лестнице вверх, где, вероятно, проделал то же самое. Очевидно, он проверял, — какое впечатление произвело пение Минакова на обитателей тюрьмы.

Минаков продолжал петь. Окончив свое дело, Ирод вновь направился к камере Минакова. Камера отворилась, Минакова начали вязать. Тогда я и Мышкин закричали: „Варвар! Палач!“ Я прокричал в этот же раз: „Я требую смертной казни, я отказываюсь от этой жестокой милости и требую, чтоб надо мной был исполнен приговор суда“. Из камеры Минакова послышались слова Ирода: „А, ты еще драться!“ И затем ответ Минакова: „А что же, ты думаешь, палач, я позволю бить себя, не отвечая тем же, пока буду иметь возможность?“ Связав Минакова Ирод помчался опять наверх. Открылась форточка Мышкина, и раздался голос Ирода: „Если будешь кричать, подыму койку, и будешь спать на голом полу!“ — „Убирайся к чорту, палач!“ — ответил Мышкин. Форточка захлопнулась. Ирод спустился вниз, открыл форточку у меня и сказал: „Зачем кричать? это ни к чему не поведет! Если что нужно, — надо сказать начальству“. Я ответил ему: „Я уж сказал, что мне нужно, и еще раз повторяю: передайте кому следует, например, варвару, вашему министру внутренних дел, Толстому, что я отказываюсь от милости, считая ее жестоким издевательством надо мною, и требую, чтобы надо мной был исполнен приговор суда — смертная казнь“.

„Хорошо, я передам коменданту; завтра он сам придет“.

Вообще Ирод перетрусил в этот раз. Объяснить это новостью для Ирода, неуменьем найтись, как быть в подобном случае, конечно, было бы наивностью с моей стороны. Потом я оценил его хорошо и на своей шкуре, и по его любимой фразе — „я не таких усмирял!“ Да и до протеста Минакова, еще в равелине, я познакомился с этой стороной способностей Ирода, когда он, заметив

мой стук с Баранниковым, ворвался с жандармом, схватившими меня один за одну, другой за другую руку, чтоб Ирод безопасно мог подойти ко мне и сказать мне только это: „Ты не веди со мной борьбы, иначе ты будешь меня помнить!“ Только это он мне и сказал, но по тому, как он сказал, и как играла в это время его физиономия, я вполне понял, что предо мною патентованный мастер дел застенка.

В данный момент — самое вероятное объяснение — он еще не имел полномочий на этот счет и потому не развернул всех своих способностей.

На другой день Ирод, действительно, привел ко мне коменданта, которому я повторил то, что накануне сказал Ироду. На это комендант сказал:

„Зачем падать духом — не все же будет так! У нашего государя милостей много!“ Получив в ответ от меня, что я знаю, что таких милостей, каковою пользуюсь я, действительно много, он что-то пробормотал себе под нос и ушел от меня. Минаков продолжал петь, а Ирод продолжал его вязать.

Я и Мышкин пришли к заключению, что, пока не сговоримся на общий протест, единичные протесты не будут иметь такого значения, из-за которого стоило бы подвергать себя надеванию горячечной рубахи (в Шлиссельбурге связывали не веревкой, а надеванием горячечной рубахи). Я прокричал через коридор Минакову: „Егор Иванович! Мы думаем, что нужно подождать с протестом в одиночку, пока не придут все к заключению, что единственный выход из нашего положения или смерть, или добиться более человечных условий жизни“. На это Минаков ответил мне так: „Другие, как хотят, я же жить при таких условиях не могу и — или добьюсь свидания с товарищами, книг, табаку, переписки с родными, или умру“.

Как трудно было нам на первых порах в Шлиссельбурге сноситься между собою, показывает то, что когда на меня надевали горячечную рубаху за вышесказанные слова Минакову, я услышал крик Кобылянского, сидевшего на противоположной стороне вверху: „Долгушин, что с тобой делают, и чего ты добиваешься?“ Очевидно, он говорил по адресу Минакова, приняв его

за Долгушина. Через 2—3 дня Минаков прекратил петь, и я с Мышкиным думали, что Минаков тоже пришел к такому же заключению насчет протеста, что и мы. Но мы ошиблись, — Минаков начал голодовку. Начал ли он голодовку с первого дня протеста, когда пел, или потом, — не знаю. Прошло дней 5—6 с начала протеста, прихожу я с гулянья и узнаю от Мышкина, что Минаков бросил в кого-то чашкой, ибо он, Мышкин, слышал звон покатившейся чашки и слова, кем-то сказанные Минакову: „За что же ты меня ударил, — ведь я не сделал тебе никакого зла".

Оказалось потом, что Минаков не чашкой бросил в кого-то, а ответил пощечиной доктору на заявление последнего, что должен кормить его насильно, по приказанию. Чашка же покатилась по полу потому, что доктор выронил ее из рук, когда Минаков его ударил.

Голодовка Минакова прекратилась с этого дня, и ему, по нашим наблюдениям, дали кое-что из требуемого; по крайней мере, мы слышали, как Ирод, открывая камеру Минакова, каждый раз распоряжался, чтобы подали то папиросы, то книги.

Спустя неделю по прекращении Минаковым голодовки, в 4 часа вечера открылась дверь камеры Минакова, и Ирод сказал: „На суд!" Минаков пробыл в суде часов до 10 и был приведен в свою камеру. Еще спустя неделю меня с гулянья увели в старую тюрьму, где я просидел до гулянья следующего дня. В 7-м часу утра, сидя в старой тюрьме, я слышал залп. По возвращении в тюрьму в свой 17 №, я узнал от Мышкина, что в 7 часов утра был казнен Минаков, и что, идя на казнь, он прокричал в коридоре: „Прощайте, товарищи! меня ведут убивать".

Мышкина ужасно мучило то, что на последнее прости Минакова никто не ответил. „Более всех я виню себя, — говорил Мышкин. — Конечно, объясняется это неожиданностью, незнанием, что Минакова приговорили к смертной казни, неумением сразу найтись. Но все же другие более, чем я, могут оправдать себя всем этим, так как многие, вероятно, совсем не знали, что значил крик Минакова и как нужно было понимать его. А я все же знал кое-что и должен был ожидать казни Минакова. А как тяжело было бедняку Минакову всхо-

дить на эшафот с мыслью, что на его последнее прости никто из нас, его товарищей, не откликнулся".

Простучав мне это, Мышкин бросился к двери, и я услышал: „Товарищи! да будет всем нам стыдно, что мы не ответили на последнее прости Минакова. Себе я этого никогда не прощу. Как тяжело было всходить ему на эшафот без теплого сочувственного отклика его товарищей! Представьте только это себе, и ваша совесть так же упрекнет вас, как моя совесть упрекает меня".

Тотчас явился Ирод и прокричал Мышкину: „Чего орешь?" — „Почему вы не дали нам проститься с Минаковым?" — ответил Мышкин Ироду. — „А вы кто такие?" — заорал вновь Ирод. — „Мы люди, — ответил ему Мышкин, — а вы наши палачи!" Форточка закрылась, и этим закончился протест Мышкина.

Дня за три до казни Минакова всех нас обошел Ирод с младшим помощником, тем самым Яковлевым, который был последним начальником Шлиссельбургской тюрьмы, при котором в числе 8 человек я вышел из Шлиссельбургского застенка. Они опросили нас, — кто и чем желает заняться, обещали нам выдать грифельные доски, занумерованные тетради и чернила и в скором времени обещали ручные работы в камерах.

— Например, какие работы разрешат нам? — спросил я.

— Например, — ответил Ирод, — плетенье корзин, что ли, а, может, и еще что. — На другой день, возвратясь с гулянья, мы нашли на стенах камер вывешенные инструкции, в которых, между прочим, обещалось для отличающихся хорошим поведением — беседы со священником, чтение книг из тюремной библиотеки, занятия в камерах ручным трудом, освещение камер в неположенное время (последняя из льгот так и осталась для нас загадкой, ибо камеры освещались всю ночь) и пр. За нарушение порядка в тюрьме, как то: за пение, крик, шум, свист — грозили карцером от 4 до 8 дней с лишением горячей пищи, за более же важные проступки — карцером с наложением оков от 4 до 8 дней и розги, за оскорбление действием начальства — смертная казнь. Некоторые льготы, действительно, дали, хотя и не сразу, а так через месяц, два — по столовой ложке.

Прежде всего ко мне и Мышкину, в качестве льготы за хорошее поведение, пришел священник. Войдя ко мне, он спросил:

— Желаете ли вы, чтобы я от времени до времени посещал вас? — Я ответил, что не имею ничего против, но должен предупредить его, что я не признаю русской официальной церкви, так называемой православной, и думаю, что представители этой церкви — представители не бога на земле, а покорные слуги русского правительства, те же чиновники, только, вместо вицмундиров, в рясах. К Христу же, как к проповеднику любви и братства на земле, отношусь с полным уважением.

Затем я и священник сели рядом на кровати, а Ирод против нас на скамье.

— А я, — начал священник, — вот что вам скажу на ваш упрек нам, представителям русской церкви: если бы вы знали наше положение, вы бы не бросили в нас камнем!

— Знаю я отлично ваше положение, батюшка! я сам — сын священника, прошел семинарские мытарства; знаю также и то, что Христос показал сам, как нужно служить и бороться за его учение о любви и братстве.

Оставив слова мои без возражения, он начал свою беседу со мной так:

— Ваше уважение ко Христу нас сближает, и я надеюсь, что у нас есть почва для беседы.

— Я тоже так думаю, батюшка, — ответил я. — Но скажите, пожалуйста, думаете ли вы, что при такой обстановке, — указывал я рукой на Ирода, — возможны душевные беседы? Что касается меня, батюшка, то я говорю вам вполне искренно, без всякого намерения сказать вам неприятное, что мне вчуже обидно за вас. Вам, священнику, не доверяет ваше правительство, вас под конвоем жандармского капитана привели ко мне для духовной беседы со мной.

Священник промолчал на мои слова, но Ирод, очевидно, хотел вывести его из неловкого положения и бухнул:

— Это не от нас и не от священника зависит, — нам как прикажут, так мы и должны поступать. — Произошло неловкое молчание. Ирод похлопал, похлопал глазами и, наконец, обратясь к священнику, сказал:

— Может, на этот раз, отец Иоанн, довольно?

Священник поднялся, пожал мне руку, пожелал здоровья и терпения, и со словами: „Так я, с вашего позволения, буду по временам заходить к вам“, — вышел из моей камеры. — После этого священник не был у меня ни разу.

Такова же, приблизительно, духовная беседа со священником была и у Мышкина.

Чтобы покончить со священником, в виде льготы за хорошее поведение, я здесь же скажу все, относящееся к этому. Летом посетил нас Оржевский, в то время начальник корпуса жандармов. На вопрос его, — не имею ли я что заявить ему, я спросил, — в каком роде могут быть мои заявления?

— Исполняют ли по отношению к вам в точности все то, что разрешено в вашем положении, напр., бывает ли у вас священник? — спросил он.

— Раз, — говорю ему, — был, но больше не был. — „Почему, — обратился он к Ироду, — батюшка не бывает у них?“ — „Да раз как-то был он у него, — да что батюшка ни скажет, а он все напротив да напротив“. Оржевский улыбнулся, я тоже, в свою очередь, улыбнулся, и тем кончили мы разговор о священнике.

После казни Минакова Мышкин еще больше был занят мыслями о том, как устроить сношения со всеми товарищами по заключению и сговориться на общий дружный протест. Все бывшее в нашем распоряжении было использовано в целях этого. Он начал посылать в корешках книг записки, в той надежде, что, авось, кто-нибудь догадается заглянуть под корешок и найдет там записку. Но через некоторое время я брал ту или другую книгу, в которую он вкладывал записку, и находил записку на месте никем не тронутой.

Мышкин с каждым днем терял надежду на возможность общего протеста, а теперь и совсем потерял. Все чаще и чаще его разговор со мной сосредоточивался на том, что он видит единственный исход из невыносимого положения, из положения, по его словам, оскорбляющего человеческое достоинство, и этот исход — смерть. Помню, однажды он сказал мне:

— Знаете, о чем весь день сегодня я думал, Родионыч?

— О чем? — спросил я.

— Я думал, какая ужасная тайна — жизнь человека! Казалось бы — „ну какая наша жизнь“! Можно ли назвать жизнью наше прозябание в этом застенке? И, однако, я откровенно говорю вам: у меня не хватает духа на самоубийство. И сегодня, после долгих размышлений на этот счет, я пришел к печальному выводу — нет, — я не могу! Не хотелось бы пачкаться с этим ничтожеством, нашим смотрителем, хотя он и заправский палач! Да делать нечего, ибо едва ли когда зайдет к нам кто-либо из высокопоставленных палачей. А, между тем, единственный путь выйти из этого невыносимого для меня положения — это параграф, обещающий нам смертную казнь за оскорбление действием начальствующего лица.

Я стал все больше и больше замечать, что у Мышкина созревает какое-то решение. В продолжение дня он все время нервно шагал из угла в угол своей камеры. Однажды я заметил, что у него был доктор, с которым произошел какой-то резкий разговор. Чтобы спросить в чем дело, я окликал его несколько раз, но за шумом своих шагов он не слышал моего зова, и только вечером, когда мы улеглись, я спросил, что произошло у него с доктором. Он сказал мне, что у него подмышкой опухоль, и так как по болезни руки он не может брать пищу в форточку, то заявил смотрителю, чтобы ему заносили обед в камеру. И вот явился доктор, осведомился о болезни. „При осмотре доктор не сумел построить безличного вопроса и сквозь зубы проронил „ты“. Я сказал ему: „Как вам не стыдно, доктор! Ну, пусть бы сказал это солдат, — указывая на Ирода, сказал я, — а вы человек образованный! Ужели вы до сих пор не поймете, что ваше обращение причиняет мне душевной боли гораздо больше, чем ваше лечение утолит мою физическую боль?“ Затем заявил ему, чтоб он не ходил ко мне, если не желает, чтобы я на его оскорбление ответил оскорблением“.

Под Рождество я с Мышкиным всю ночь перестукивались. Это был единственный за наше знакомство разговор, когда он говорил мне о своей семье и, главным образом, о своей матери. Из этого разговора я узнал, что он очень любил свою мать, и тут же выразил свою

просьбу, что если он умрет, не увидавшись с матерью, чтобы я послал на имя его брата, Гр. Ник. Мышкина, письмо матери, в котором бы сообщил, что он не в состоянии был переживать те оскорбления, каковым подвергало его русское правительство, и что умер с мыслями о ней.

В 4 часа утра — час, когда Ирод ежедневно появлялся, чтобы заглянуть к нам в камеры, все ли благополучно, — он подошел к моей камере, открыл форточку и сказал: „Если будешь стучать, будешь связан!“ Я ему ответил обычным в таких случаях: „Убирайся к чорту!“ К Мышкину он не зашел на этот раз. В 7 часов утра, во время чая, ко мне в камеру вошли четыре унтера и стали предо мною, а Ирод, стоя позади их, сказал мне:

— Стучать здесь не полагается, и если ты будешь продолжать, то будешь наказан.

На что я ответил ему:

— Делай ты свое дело, но оставь меня в покое, избавь меня от своих наставлений.

— Читал 6-й параграф инструкции[1], так помни же! — зарычал Ирод. На это я ответил ему тем, что сорвал со стены инструкцию и бросил ему. Жандармы затопали предо мной ногами, делая вид, что они готовы к наступлению. Но Ирод, сделав „ш-ш-ш!“ — обычное свое объяснение с жандармами в присутствии нашем, вышел из камеры, жандармы за ним.

После этого инцидента в моей камере Мышкин весь день, не переставая, ходил по своей камере, и когда я попытался позвать его во время обеда, пользуясь прекращением его шагов на время обеда, то он ответил знаком „же“ — условным знаком, что он не желает говорить. Во время ужина в тот же день, 25 декабря, когда открылась камера Мышкина, я услышал звон тарелки, покатившейся по железным перилам коридора. Вслед за этим произошла в камере возня и крики Мышкина: „Палачи, разбойники!“ Потом открылась камера надо мной и туда перенесли Мышкина. Когда дверь закрылась, Мышкин простучал мне ногою в потолок, что он слышал, что Ирод сказал мне в „чай“, не отзывался же на мой зов из

---

[1] Параграф, в котором инструкция грозит розгами.

боязни, чтобы разговор со мной не поколебал его решения сделать то, что он сделал.

— Я бросил чашку в Ирода и сейчас связан, — сказал Мышкин.

Связанным Мышкин оставался до чая следующего дня. В „чай“ к нему вошли, развязали и дали чай.

В 10 часов 26 декабря его повели на предварительный допрос, который производил комендант Покрошинский.

По возвращении Мышкин рассказал мне, что на допросе комендант был чрезвычайно вежлив с ним, и он, Мышкин, сказал ему, что прибег к такому средству, чтоб заставить правительство казнить его, так как на требование — лучше казнить, чем истязать душу и тело, — не обратили внимания и не исполнили до сих пор этого требования. Что если и в этот раз его не казнят или не перестанут с ним поступать так, как поступали до сих пор, то он будет добиваться своей казни всеми возможными средствами.

После этого Мышкин просидел до 19 января. Так что и я и он думали, что дело кончится ничем.

В продолжение этого времени дали парные прогулки для 6 человек, именно — Фроленко и Исаеву, Тригони и Грачевскому, Морозову и Караулову; я же на две недели был лишен прогулок.

19 января вечером открылась камера Мышкина, и Ирод сказал ему: „На суд!“ После этого Мышкин уже не возвращался в тюрьму.

26 января часов в восемь я слышал ружейный залп.

А 29 июня я обозвал Ирода палачом за жестокое обращение с душевно-больным Арончиком, за что и был уведен в старую тюрьму, сидел в той камере, где перед казнью находился Мышкин, и на крышке стола прочел: „26 января — я, Мышкин, казнен“. Очевидно, надпись сделана за часы, быть может, за минуты до смерти...

Так прекратилась жизнь одного из выдающихся борцов за свободу России, Ипполита Никитича Мышкина.

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ЩЕДРИН [1]

О Н. П. Щедрине до сих пор в журнале „Былое" упоминалось очень мало, а между тем Н. П. в революционном движении 70-х годов представлял довольно видную фигуру. Скажу то, что мне известно о нем.

Н. П. родился в городе Петропавловске, Акмолинской области, где его отец был каким-то казенным инженером. Учился Н. П. в Омской гимназии, откуда, за непочтительное отношение к какому-то из педагогов, был выключен. Приехал он в Петербург в 75 году с целью поступить в университет. В 76 году он вступил в университетский кружок, во главе которого были Георгий Преображенский и Леонид Буланов. Кружок этот разделял программу „Земли и Воли", и скоро Н. П., в качестве принадлежавшего к „З. и В.", отправился в Саратов, где организация „З. и В." устраивала поселения. Н. П. поступил в Аткарске на службу в уездную земскую управу, кажется, секретарем управы, имея в виду поселенческие планы организации. Было это, кажется, весною 77 года. В 79 году, когда я был в Саратове с предложением от основного кружка организации собраться на съезд в Воронеже, я видел Н. П. в Саратове.

После Воронежского съезда он прибыл в Петербург и после раздела „Земли и Воли" на партию „Народной Воли" и „Черного Передела" присоединился к последней. После ареста нашей организации в Киеве он явился в Киев и был там в числе главных организаторов уже задуманного нами Южно-Русского рабочего союза. В 80 году он был арестован и вместе с Павлом Ивановым, Кашинцевым, Софьей Богомолец, Елизаветой Ковальской и др. был предан военному суду. Во время предварительного заключения в марте месяце, когда вступил на престол Александр III, Н. П. предложили присягнуть на верность вступившему государю, но Н. П. отказался дать таковую

[1] „Былое", 1906 г., № 12.

присягу. В суде Н. П. отказался принимать участие (не помню, было ли это общее решение всех из его процесса, или только он один так поступил), был приговорен к смертной казни чрез повешение, которая была заменена бессрочной каторгой.

По пути на Кару, во время продолжительной остановки в Иркутске, кажется, в ожидании, пока станет Байкал, Богомолец и Ковальская, под видом надзирательниц, бежали из тюремной больницы, но спустя несколько дней после побега, в продолжение которых они скрывались в одном доме, их пребывание в этом доме было открыто, и они были вновь водворены в тюрьму. При их водворении в тюрьму после побега присутствовал тюремный инспектор полковник Соловьев, позволивший себе грубое обращение с Ковальской и Богомолец. Он грубо кричал на них, грозил заковать их в ручные и ножные кандалы и пр. в этом роде, что и по сие время позволяют себе наши тюремщики по старой привычке.

Всю эту удаль тюремщика над беззащитными женщинами Н. П. слышал в своей камере и попросил чрез надзирателя этого самого Соловьева зайти к нему. Бравый полковник, покончив с дикими сценами в камере Богомолец и Ковальской, вошел в камеру Щедрина. Н. П., зажав в кулаке несколько меди, только что полученной сдачи от надзирателя, дал по физиономии Соловьеву с такой силой, что полковник свалился с ног. По словам Н. П., его чуть было солдаты не закололи штыками, ибо полковник, получивший плюху, в это время вероятно вспомнил, что он дворянин, и в ярости кричал солдатам: „Заколите его — я отвечаю!“ Но смотритель тюрьмы упросил полковника, поздно вспомнившего о своем дворянстве, уйти.

Если и на этот раз Н. П. избежал казни, то это нужно приписать чести иркутских дам, которые приняли горячее участие в нем, участие, до того времени не проявленное нигде в других местах России. Случай, имевший место в тюрьме с полковником Соловьевым, стал скоро известен в городе, а вместе с тем рассказывалось и о том, за что Н. П. проучил не в меру ретивого полковника. Дамы иркутской аристократии говорили о Н. П. в своих салонах, как о рыцаре, защитнике слабых женщин от грубостей

необузданного полковника. В тот же вечер от дам Иркутска смотритель передал Н. П. цветы и от жены губернатора, Педашенко — бутылку портвейна и сочувствие его поступку. Словом, случилось то, что, вообще, редко встречается, — неожиданно проснулось гражданское чувство и заговорило о своих правах. Дамы отправились к генерал-губернатору просить его принять во внимание при суждении о поступке Щедрина с полковником Соловьевым те обстоятельства, которые предшествовали этому, т. е. грубое обращение Соловьева с женщинами, и не предавать его военному суду. Генерал-губернатор, тот самый генерал-губернатор Анучин, которому в 1882 году учитель иркутской гимназии Неустроев дал пощечину и который поставил условием остаться на своем посту, если Неустроев будет предан военному суду, отказал дамам в ходатайстве за Щедрина. Н. П. вновь был предан военному суду и во второй раз приговорен к смертной казни чрез повешение, но, по конфирмации генерал-губернатора, казнь была заменена прикованием к тачке, говорили, благодаря неотступным просьбам дам г. Иркутска. Таким образом мне судила судьба еще раз увидеть Н. П. на каторге, куда он приехал в апреле 82 года.

По приезде Н. П. на Кару для него сделана была тачка, к которой его и приковывали во время посещения Кары высшими властями, напр., когда был там проездом на Сахалин главный начальник тюремного комитета Галкин-Врасский. Прикование к тачке состояло в следующем: одноколесная тачка, такая, какие обыкновенно употребляются в России при нагрузках на набережных. От нее идет длинная цепь, которая соединена с концом ножных кандалов, назначение которого — подвязка кандалов к поясу.

На Каре Н. П. пробыл недолго. Приехал он туда, как уже было сказано, в апреле 82 года. В мае месяце был обнаружен побег из тюрьмы Мышкина, Хрущова и других, бежавших спустя 2 недели после побега первых двух. В мае же, помнится, 11 числа, 17 человек, в числе которых был и Н. П., перевели из политической тюрьмы в Нижне-Карийскую тюрьму, верст за 15 от политической тюрьмы, где в одиночных камерах без печей, с окнами вверху, какие делаются в конюшнях, камерах, до того времени занятых

сектантами, известными на Каре под именем „не наших“, рассадили нас 17 человек. Напр., я, Ковалик и Студзинский были помещены в одной камере без всякой мебели, до того тесной, что мы могли в ней только лежать, и когда приходилось кому-либо пройти к так называемой парашке, то другие двое должны были подбирать под себя ноги. Мы просидели здесь до 15 июля в самых невозможных условиях. Насколько гигиенические условия были невозможны, можно судить по тому, что 15 июля, когда нас, 8 человек, увозили из Кары в Петербург, то мы были в такой мере малокровны, что, напр., я при искусственном освещении не мог ходить, ибо ничего не видел, и меня водил под руку Буцинский. Отправили нас 8 человек: меня, Буцинского, Кобылянского, Щедрина, Геллиса, Игнатия Иванова, Орлова и Волошенко. Все мы ехали по-двое в почтовой сибирской телеге. К телеге, в которой ехал Н. П., к задку ее привязывалась тачка. Удивительное остроумие, — везти тачку из Кары в Петербург. Добро бы Щедрин был в пути прикован к ней, ну, куда ни шло, можно было бы объяснить тем, что наказание неукоснительно приводится в исполнение. Но везти тачку за 10 000 почти верст, воля ваша, — такая идея может притти только в голову русскому начальству. Помню, как часто на почтовых станциях шли препирательства между ямщиками и жандармами по поводу этой злосчастной тачки.

„Вот, право, зря только привязывай да отвязывай ее! Подумаешь, невидаль какая, что в Петербурге сделать не сумеют!“ — ворчали ямщики.

„Ну, — возражали ямщикам жандармы, — привязывай там, что разговаривать! сами знаем, что одна это глупость везти тачку за столько верст, и надоела она нам горше редьки, да что поделаешь, если в бумаге сказано: 8 арестантов и одна тачка“.

С таким товарищем Н. П. явился в Петербург и поступил в распоряжение Ирода, в Алексеевский равелин. Здесь он просидел два месяца, прикованный к тачке, так же как и Игнатий Иванов в кандалах. Потом явился Ирод и заявил ему, что он освобождает его от тачки за хорошее поведение, которое, вероятно, выразилось в том, что он в продолжение этих двух месяцев, так же как я и Иванов, не выходил из камеры даже на $1/4$ часа на

воздух, чем пользовались поступившие раньше нас в равелин. Впрочем, и им эта милость была оказана через шесть только месяцев. Щедрин был совершенно отделен от нас и сидел рядом с кабинетом Ирода. Равелин, как известно, представляет из себя треугольник, по одной стороне которого сидели: Тетерка, Арончик, Колодкевич, Поливанов, Игнатий Иванов и Баранников, — по другой: Фроленко, Морозов, Тригони, Исаев, Ланганс и Клеточников. Основание треугольника было разделено на две части дверью, ведущей во дворик для гулянья, находящийся внутри треугольника. За этой дверью и сидел Щедрин и, вероятно, отгороженный от него кабинетом Ирода, Александр Дмитриевич Михайлов.

Как жилось Н. П. в равелине, по крайней мере, до того времени, как он, после смерти Клеточникова, был переведен в камеру последнего, трудно сказать. Когда он был переведен в камеру Клеточникова, о нем только и известно было мне, что он сидит в камере Клеточникова. То, что Н. П. мало стучал с соседями, это было совершенно непонятно, принимая во внимание общительность Н. П. и его живой характер. Очевидно, уже в это время он был психически болен. Но в этот момент пребывания Н. П. в Алексеевском равелине можно сказать, по крайней мере, что он так же жил, как жили и остальные, т. е. не имел ни книг, ни других каких-либо занятий. Получал утром кусок плохого черного хлеба и кружку воды, в обед щи самого плохого достоинства с кусочками мяса в количестве 25 золотников и кашу размазню и вечером оставшиеся от обеда щи. Кратко говоря, голодал, как голодали и все, особенно в постные дни, когда попечительное начальство для спасения наших душ преподносило нам щи со снятками далеко не первой свежести и ту же размазню с постным маслом. Болел, как и все, цынгой и пр.

Сказать что-либо больше о Щедрине за время его пребывания в равелине, о его психическом настроении, о тех думах, которые посещали его в его уединении, — я не могу. Увиделся я с ним уже в Шлиссельбурге, когда его выдающийся ум уже погас.

В Шлиссельбурге на первых порах мы могли судить о том, что делается с Н. П., по тем крикам, которые раздавались из его камеры, и возне с ним в коридоре, кото-

рыми всегда сопровождался насильственный перенос Н. П. из новой тюрьмы в старую. Пронесется по коридору тюрьмы болезненный, нервный крик, затем какой-то продолжительный стон, который издает обыкновенно человек с зажатым ртом, силящийся что-то сказать, и затем все стихнет. Эта душу надрывающая тишина говорила нам, сидящим, что Н. П. унесли в старую тюрьму. Постучишь в дверь, спросишь Ирода в чем дело и в ответ получишь:

„Что тебе еще нужно? — сумасшедший человек, ну и кричит. Перевели в ту тюрьму“...

На этих словах он обрывал разговор с ехидной улыбкой на плотоядном рте и хлопал форткой. Ровно этому зверю в образе человека было недостаточно, что души уже и без того надорваны истерическими криками, которые только что замерли в коридоре, и вот он этой своей улыбкой дает вам понять, что дальнейшие сцены перенесены в другое место, в старую тюрьму, где на просторе, — говорила все та же его недвусмысленная улыбка, — мы заставим его молчать. Что там делалось с больным Н. П., об этом красноречиво говорит самоубийство Софьи Гинсбург, которая, как то стало потом известно, и решилась на самоубийство только потому, что у ней не хватало душевных сил переносить расправу с Н. П. в старой тюрьме. Перед самоубийством Гинсбург несколько раз, как говорили потом унтера, стучала в дверь и спрашивала: „Что вы с ним делаете, за что вы его мучаете?“ Но, не получив ответа на вопрос души, она решилась, чтобы не слышать больше этих невыносимых криков и стонов Н. П., покончить с собой.

Сам Н. П. в светлые минуты своей жизни говорил мне о том, как его в старой тюрьме жестоко избивали. Продержав Н. П. недели две — месяц и полгода, и находя, что те меры, которые были пущены в ход, в достаточной мере исправили Щедрина, Н. П. вновь переводили в новую тюрьму. Через некоторое время вновь повторялось то же самое, и Н. П., при тех же надрывающих душу криках и стонах, вновь переносился в старую тюрьму...

Н. П. не гулял, — это мы знали, — но почему не гулял, — это оставалось неизвестным, пока, наконец, при коменданте Гангардте доктор Ремезов, человек гуманный, однажды не сказал мне, что меня часто просит к себе № 3, т. е. Н. П., и что и сегодня он подал жандармам

записку на мое имя. Доктор дал мне записку, и в ней я прочитал: „М. Р.! сколько уж раз я просил вас притти ко мне в гости, но от вас ни ответа ни привета. Прошу еще раз во имя старой дружбы притти сегодня ко мне на чай. Я ужасно скучаю. Н. Щедрин". Я заговорил с доктором о болезни Н. П. и спросил у него, разрешит ли тюремная администрация исполнить его просьбу. Доктор сказал мне, что он говорил об этом с комендантом. Он приказал, чтоб смотритель передал нам его распоряжение. Смотритель Федоров, или, как мы называли его, Фекла, начал мне говорить о том, что он буйный и что, если я не боюсь, можно сделать опыт.

— Я распоряжусь, — сказал он, — чтобы дверь камеры 3-ей была только прихлопнута, но не заперта на замок. Как только вам будет угрожать опасность, жандарм, стоящий у дверей камеры, откроет вам дверь, и вы, пожалуйста, уходите сейчас же.

Я отправился к Н. П. и, увидев его, был поражен изможденностью и бледностью его лица, которое можно только разве сравнить с оберточной серой бумагой. Я не верил своим глазам, что предо мной стоит Н. П., который сохранился в моей памяти с волосами огневого цвета, прекрасными голубыми глазами и с румянцем во всю щеку. Теперь предо мной стоял только такой же высокий, стройный человек, каким был Н. П., от всего же остального не осталось и следов. Когда-то светлые глаза помутились, и только блестели расширенные зрачки глаз. Мы обнялись. Н. П. спросил меня, — почему я так долго не приходил к нему, несмотря на неоднократное его приглашение.

— Скоро ты забываешь друзей, — сказал он с грустью в голосе, — да и все вы меня забыли!

Я старался кое-как успокоить его, ибо доктор предупредил, что он страдает манией величия. Мы сели, и в этот раз Н. П. неумолчно говорил о прошлом. Я решительно не замечал ничего, что бы говорило о том, что он психически больной человек. Заметна была сильно выраженная нервность и особенно нервное подергивание личных мускулов.

Я спросил у него, — почему он не выходит гулять, на что он ответил: „не хочется". Я решил убедить его выходить гулять, говорил ему о том, как мы огородничаем,

какие у нас цветы, розы и пр. растут. Н. П. согласился все это посмотреть.

На другой день я пригласил доктора и заявил ему о моем намерении гулять с Щедриным. И тут только узнал, что Н. П. не гуляет не по собственной воле, и что это только в его больном мозгу переломилось так, будто он не выходил гулять по доброй своей воле. На мое заявление доктору о намерении гулять со Щедриным доктор несколько замялся, и хотя согласился со мной, что это подействовало бы благотворно на здоровье Н. П., но в то же время сказал мне, что имеются к тому препятствия со стороны тюремной администрации. Это меня удивило, хотя, казалось, я должен был бы привыкнуть ничему не удивляться по части жестокостей в Шлиссельбургском застенке. Обращаюсь к смотрителю.

— Неужели, — спрашиваю я смотрителя, — имеются какие-нибудь причины, которыми оправдалось бы лишение прогулки Щедрина, психически больного, по свидетельству доктора?

Смотритель кратко ответил:

— Имеются.

— Какие же такие, — спрашиваю, — причины? Ведь не налагаете же вы административных взысканий по отношению к нему?

Смотритель ответил, что больше он ничего не прибавит к тому, что он уже сказал, но что, если я желаю, он пригласит ко мне коменданта и, быть может, он найдет возможным сказать о причинах, по которым Щедрин не может пользоваться наравне с нами прогулкой. Я попросил пригласить ко мне коменданта. На другой день ко мне пришли: комендант, доктор и смотритель. И вот тут-то я и услышал от коменданта, что и меня, привыкшего ко всему возможному в Шлиссельбурге, поставило в тупик. На мой вопрос, почему Щедрин лишен прогулки и неужели он, психически больной, подвергается дисциплинарным взысканиям за неисполнение тюремных правил, — комендант ответил:

— Административным взысканиям не подвергают, но я не могу выводить его на прогулку, ибо он часто говорит непочтительно об особе государя императора. Действительно, прежде его за это наказывали, но после того, как

доктор признал его душевно-больным человеком, мы на него никаких взысканий не налагаем, но не могу же я его выводить на гулянье, где стоит караул, а вверху по стенам ходят простые рядовые, которые будут слышать его непочтительные отзывы об особе государя. Вы только вчера один раз видели его и потому не можете составить себе понятия о нем. Ему вот взбрело в голову, что он потомок Рюриковичей, и вот вы бы и послушали, что он говорит тогда. Вот спросите у смотрителя,—как он нас всех честит.

Смотритель, улыбаясь, говорит:

— Сегодня только что во время раздачи вечернего чая кричал: „Эй вы, ...! чтоб у меня было все в исправности", и пошел плесть, как обыкновенно,— закончил смотритель.

— Вот видите!—сказал многозначительно комендант.—Выведи его на прогулку, он и начнет к соблазну рядовых говорить всякие пошлости. Нет, этого я допустить не могу,—сказал решительно комендант.—Вы теперь знаете, что его теперь за это не наказывают,—пусть себе в камере говорит, что ему угодно. Бог с ним, если господь наказал его такой болезнью, но я не могу допустить, чтобы он говорил такие слова громогласно, в присутствии рядовых.

Я стал ему говорить, что это же неслыханная жестокость по отношению к больному и, наконец, вероятно, и доктор согласится с моим предположением, что на прогулке ум его в этом болезненном направлении меньше будет работать, по крайней мере, на первых порах, так как при всей бедности разнообразия, которое может дать наша прогулка, все же прогулка даст такого разнообразия больше,— даст более впечатлений его уму, чем камера, и что поэтому его ум меньше будет иметь шансов сбиваться в эту сторону. Доктор поддержал меня и предложил коменданту сделать опыт. Наконец комендант согласился попробовать вывести Щедрина на прогулку. Теперь и читателю станут понятными те крики, зажимание рта и перевод Щедрина в старую тюрьму. Все это вызывало непочтительное отношение Щедрина к особе государя императора, когда, вероятно, от соблазна приходилось предохранять и нас, как предохранялись до моего разговора с комендантом рядовые.

И так Н. П., если допустить даже, что болезнь его началась уже в Шлиссельбурге, — хотя есть основание думать, что он был болен уже в равелине, — просидел психически больным в Шлиссельбургском застенке свыше десяти лет, ибо только в 95 году он был вместе с Конашевичем увезен из Шлиссельбурга.

После этого разговора с комендантом я часто бывал и в камере Н. П., и гулял с ним. В светлые промежутки своей болезни Н. П. был столь же умным и подчас остроумным собеседником, каким я его знал и на воле. Но приступы его болезни наступали мгновенно. Часто это бывало и в моем присутствии. Достаточно иногда было того, что он замечал во время разговора, что в глазок смотрит жандарм, он вскакивал с места, бросался к двери и начинал громкую брань по адресу виновника, и затем его ум начинал работать в болезненном направлении. Он требовал к себе американского консула, чтобы чрез его посредство заявить цивилизованному миру о том, кто он такой по крови, и требовать вмешательства международной дипломатии, чтобы вырвать его из рук тирании. В такие минуты я с грустью оставлял его и уходил в свою камеру.

Ко всему сказанному я могу еще прибавить, что нам удалось узнать от доктора Безроднова о судьбе Щедрина после увоза его из Шлиссельбурга. Н. П. был отправлен в Казань. Там он находится и по сей день.

Л. А. ВОЛКЕНШТЕЙН [1]

Я не имел удовольствия знать Людмилу Александровну на воле и познакомился с ней уже в Шлиссельбурге, куда она попала в октябре 1884 года.

Перебирая в моей памяти все сохранившееся о Людмиле Александровне, этой беззаветной мученице освободительного движения 70-х годов, я решил рассказать один из эпизодов из Шлиссельбургского застенка, в котором с яркостью проявились товарищеские чувства Людмилы Александровны.

Эпизод этот имел место с конца 1887 года до апреля 1888 года. В это время строгости одиночного заключения были еще в полной силе. Людмила Александровна перед этим только что перенесла тяжелую болезнь — тиф. Кстати расскажу кое-что относящееся к болезни Людмилы Александровны: это тем ярче обрисует ее героическую натуру. Незадолго перед своей болезнью Людмила Александровна получила разрешение на парную прогулку с Верой Николаевной [2] и, заболев, она лишилась ее и осталась в камере одна с своей тяжелой болезнью.

Соколов-Ирод предусмотрительно рассадил наших дам: Веру Николаевну на одной стороне коридора в двадцать шестом номере, а Людмилу Александровну в другой стороне в тридцать пятом номере. Когда Людмила Александровна заболела, то Вера Николаевна не только потеряла право на парную прогулку, но и потеряла возможность знать что-либо о Людмиле Александровне.

Читатель ясно себе представит душевное состояние обеих женщин. Вера Николаевна обращалась с вопросом о том, что делается с Людмилой Александровной, то к одной стенке камеры, то к другой. Единственный путь оставался

---

[1] „Голос Минувшего“, 1918 г., № 4—6.

[2] Фигнер.

для В. Н. обратиться ко мне, так как хоть и далеко сидел я от В. Н. (через две камеры, и притом она наверху, а я внизу), но я гулял с Михаилом Петровичем Шебалиным, который сидел на одной стороне с Л. А. и мог с ней перестукиваться. После гулянья с Михаилом Петровичем я приносил сведения о ходе болезни Людмилы Александровны на нашу сторону и должен был передавать их Вере Николаевне, которую, конечно, больше, чем кого-либо из нас, интересовала судьба Людмилы Александровны. В ней говорило не одно чувство товарищества, как у нас, но и то обстоятельство, что Людмила Александровна была единственное живое существо, с которым Вера Николаевна могла видеться в продолжение своего заключения в Шлиссельбурге. Передать В. Н. полученные мною сведения о Людмиле Александровне я мог только стуком в мой пол ногой, и таким же способом получить от В. Н. все то, что она имела передать Людмиле Александровне. Ирод считал это преступлением, преходящим всякую меру, и, конечно, пустил в ход все, что было в его распоряжении. Рядом с моей камерой была уборная жандармских унтер-офицеров, и на ней Ирод прежде всего остановил свое внимание. Он посадил там жандарма, которому дал наставление мешать нашему перестукиванию с В. Н. Как только мы начинали переговариваться, в уборной производился стук в таз, умывальник, во что попало. В тюрьме начинался невероятный грохот, и мы с В. Н. не могли понимать друг друга. Я, конечно, не сдавался, шел напролом, и усердно топал ногой по полу. Дело кончилось тем, что нервы Шебалина не выдержали, — и он начал кричать. Явился комендант к Шебалину со всем наличным составом жандармов, произошло обычное начальническое объяснение, во время которого комендант выкрикнул Шебалину: „молчать". На что Шебалин в свою очередь ответил коменданту: „сам молчать". Шебалина увели в старую тюрьму. Дошла очередь до меня. Подходит комендант к моей камере, открывает форточку и, окруженный жандармами, заявляет мне: „Если заключенный не прекратит нарушения порядка в тюрьме, то я должен буду принять строгие меры". На это я ему ответил, что не намерен исполнять его требование, и тотчас же по уходе коменданта простучал в двери коридора то, что имел передать о Людмиле Александровне.

На другой день утром меня увели в старую тюрьму. Таким образом сообщение между В. Н. и Л. А. было прекращено. Людмила Александровна переносила свою болезнь совершенно отрезанная от своей подруги.

Не успела она еще вполне оправиться, как и ее постигло наказание. Дело было так. Лаговский за что-то (за что — теперь не помню) был лишен прогулки и, томясь в камере, позволил себе взлезть на подоконник, чтобы взглянуть на лица своих гуляющих товарищей. Окна его камеры выходили во двор, где, по выражению жандармов, „производилась прогулка“. В наказание за это окно его камеры было закрыто ставнями. Лаговский ответил на эту меру стуком в дверь своей камеры. Перестукивание в дверь было слышно всем сидящим. Людмила Александровна вступила с ним в разговор стуком же из своей камеры. Словом, произошло то, что называлось в инструкции нарушением тюремных правил. Лаговского, как зачинщика такого нарушения, перевели в старую тюрьму. Людмила Александровна, как соучастница нарушения, решила разделить наказание с Лаговским и продолжала проделывать раз начатое нарушение. Ирод пустил в ход всю изобретательность своих палаческих способностей. Что он только не заставлял проделывать своих жандармов в отношении Людмилы Александровны! Они ее ругали и даже плевали в глазок ее камеры. Но все это не помогало. Ирод сдался и перевел Людмилу Александровну в старую тюрьму. Так как на стук Людмилы Александровны после того, как увели Лаговского в старую тюрьму, ответил я (незадолго перед тем выпущенный из карцера), то мне тоже не приходилось останавливаться на полдороге: я продолжал стучать, и меня вновь водворили в старую тюрьму.

Тут началась решительная борьба за этот суррогат личного общения друг с другом, за право перестукивания. В это время сидел в старой тюрьме Грачевский, по всем признакам, уже психически-больной (немного времени спустя он покончил с собой самосожжением).

В старой тюрьме до нашего перевода еще досиживали свое одиночное заключение по Лопатинскому процессу: Сергей Иванов, Стародворский, Конашевич, Лопатин и Антонов. Чтобы очистить камеры для нас, Ирод перевел в новую тюрьму троих: Сер. Иванова, Конашевича и Старо-

дворского, оставив еще Лопатина и Антонова. Но так как Людмила Александровна и я решили продолжать перестукиваться и в старой тюрьме, то Ирод увел Лопатина и Антонова в новую тюрьму и принялся за нас. Оставшиеся были размещены следующим образом: Грачевский сидел в № 10, расположенном выступом в коридор, совершенно изолированный от остальных камер темным, узким коридорчиком. Такую же камеру (№ 1) выступом в коридор на противоположном конце коридора занимал Манучаров. Людмила Александровна помещалась во втором номере. Я, отделенный от нее № 3, сидел в 4-м и Лаговский в № 6.

Первая мера, принятая Иродом против непокорных, состояла в том, что он посадил в третий номер жандарма, который, как только мы начинали переговариваться, стучал чем-то по железному столу и производил адский грохот. Это продолжалось с неделю. Затем, убедившись, что мы не намерены сдаться, он решил надеть на меня горячечную рубашку, на что я ответил тем, что побил в камере стекла. После этого Ирод, чтобы локализировать стук, перевел меня в камеру № 3, рядом с камерой Людмилы Александровны, отрезав таким образом меня от сообщения с Лаговским. Мы же с Людмилой Александровной получили право перестукиваться безнаказанно. Так прошло довольно много времени. Ирод примирился с нашей неисправимостью и даже начал выводить нас на прогулки. Словом, окончательно махнул на нас рукой, конечно, до поры до времени. У него составился такой план: так как Лаговский и Манучаров ведут себя хорошо, т. е. не перестукиваются (хотя и не по доброй воле, а потому что он их изолировал, но ведь это все равно, разве русское начальство задавалось когда-нибудь вопросом, почему русские граждане молчат, потому ли, что благоденствуют, или потому, что на них надели намордник. Молчат, значит, все благополучно), он и решил перевести их в новую тюрьму, а с нами продолжать борьбу. Правда, при выполнении задуманного Иродом плана произошло осложнение, но Ирод был упорен в принятом намерении и решил довести свой план до конца и, вероятно, довел бы, если бы ужасная смерть Грачевского не прервала его палаческой карьеры. Осложнение состояло в следующем. Не помню, за какую провинность Ирод перевел в старую тюрьму Юрковского, ко-

торый сообщил нам открытие, сделанное в новой тюрьме в наше отсутствие: что можно переговариваться при посредстве клозетных труб. Мы в тот же вечер выкачали при помощи тряпок воду из клозетов и собрались „в телеграфном клубе". Ирод хоть и видел это, но показывал вид, что ничего не замечает, и чрез некоторое время перевел в новую тюрьму Манучарова, Лаговского и Юрковского, оставив Людмилу Александровну и меня. Таким образом в старой тюрьме нас осталось трое: Людмила Александровна, я и Грачевский. Грачевский в глазах Ирода был уже „решенный", он был, кажется — на шесть месяцев, лишен прогулки за пощечину доктору, и о его существовании мы знали только из того, что от времени до времени он выкрикивал что-то непонятное, так что и Людмила Александровна и я пришли к заключению, что Грачевский уже психически болен. Не раз при криках Грачевского мы обращались к Ироду, надеясь убедить его в том, что такое обхождение с психически больным недопустимо не только по божеским, но и по русским законам. Но Ирод на то отвечал неизменно одно и то же: „Знаем мы таких „самошедших", я старый воробей, меня не проведете".

Так сидели мы с Людмилой Александровной, по временам перестукивались (я стуком даже рассказал ей, как невольно был крестным отцом во время моего шатания в качестве коробейника по Воронежской губернии, и по ее просьбе набросал картинку и передал ей на гулянье, засунув под камень на том месте, где мы гуляли поочередно) и не подозревали, что Ирод что-то затевает. А Ирод не дремал и изучал нас. Он узнал, что Людмила Александровна не любит жарко натопленной камеры, и начал нажаривать ее камеру во-всю. На ее заявление не натапливать слишком жарко камеру, он отвечал, что ничего не поделаешь, уж такое здесь устройство печей, и стал еще больше усердствовать. По отношению ко мне он предпринял другую меру. Меня он начал в буквальном смысле слова выкуривать. Начнут утром топить, и в моей камере дым столбом стоит. Заявлял ему об этом и получил тот же ответ: ничего не поделаешь, такое уж устройство печей, что мало-мальски ветер, и в камере дым. Читатель удивленно спросит: зачем же все это

Ирод предпринял; ну, посадил в старую тюрьму, и делу конец, и сиди там без конца. Но дело в том, что Ирод ужасно не любил разбивать имевшихся в его распоряжении надзирателей. А между тем ему приходилось для нас двоих держать в старой тюрьме три человека: двое должны были быть всегда в коридоре и третий вестовым на случай нужды сбегать зачем-нибудь к Ироду, если что-либо случилось в тюрьме не в обычный час его обхода. Вот он и предпринимал меры, чтобы, во-первых, выкурить нас из старой тюрьмы, и, во-вторых, взять с нас обещание не стучать впредь. Обыкновенно он и отвечал на наши заявления так: „Что ж я могу сделать,—это все не по моей причине. А кто вас заставляет здесь сидеть? Я с удовольствием перевел бы вас в новую тюрьму, но ведь вы и там также будете безобразничать. Ну, вот, и сидите здесь в дыму. Вот та тоже жалуется, что жарко очень в камере, а я чем причиной, такое уж устройство печей, не я ведь делал, печник". По поводу жары и дыма произошло даже qui pro quo. Посетил нас начальник штаба корпуса жандармов Петров. Из его частых посещений мы вынесли впечатление о нем, как о человеке благодушном, но, конечно, как жандарм, он не мог что-либо возразить против изобретательности Ирода. Зашел к Людмиле Александровне; та заявила ему, что в камере невыносимая жара. Ирод и в этот раз сослался на то, что „такое уж устройство печей". Высшее начальство обыкновенно считало непозволительной откровенностью вступать в нашем присутствии в объяснение с местным начальством по поводу наших заявлений, и потому и в этот раз генерал Петров ограничился тем, что согласился с Людмилой Александровной. „Да, да, действительно жарко",—сказал он, вопросительно поглядывая на Ирода. Ирод сделал обычное жандармское, полное секрета, под козырек. И прежде чем войти ко мне в камеру, Ирод дал разгадать генералу смысл этого „под козырек".

Генерал вошел ко мне с глубокомысленной улыбкой на устах и выпалил: „Фу, как здесь жарко". Я ему ответил, что у меня ни мало не жарко, а скорее холодно. Ирод, посвятивший генерала в свою махинацию, а может быть и получивший уже поощрение своей изобретательности, смело выступил: „Нет, ваше превосходительство,

этот не жалуется на жару, а, напротив, жалуется, что холодно. Но я опять же тут не причиной. Топить нельзя. Как затопишь, дымит печь. Опять же он же и жалуется, что дым в камере. Им ведь не угодишь: один одно, другой другое". Генерал поощрительно улыбается в сторону Ирода, раскланивается и выходит со словами: „А вот в новой тюрьме все так благоустроенно, чисто, умеренная теплота, охота же людям здесь сидеть".

Отправились. Ирод после посещения генерала стал еще усерднее проводить свой план выкуривания. И неизвестно, до чего дошло бы дело: в случаях, когда ему не удавалось одно средство, он менял его на другое. Так, например, раз он выкуривал меня с Панкратовым также из старой тюрьмы. Как-то рядом с Панкратовым жандарм забыл завернуть клозетный кран. Панкратов не выносил шума воды и заявил о том дежурному унтер-офицеру, и таким образом открыл свое уязвимое место. Конечно, унтер-офицер сообщил об этом Ироду, а тот воспользовался этим открытием. Кран оставлялся в соседней камере с Панкратовым постоянно открытым. Долго таким образом он терзал издерганные нервы Панкратова и уверял последнего, что все о кранах он выдумывает или что это делают не жандармы, а заключенные. Наконец он якобы уступил Панкратову, запер воду и таким образом лишил воды всех заключенных. Мы все остались неумытыми и мучились от жажды и зловония из непромытых клозетов. Я позвал Ирода и спросил его, почему нет воды. „Я тут не причиной, — ответил Ирод, — вот же тот заявляет, что его раздражает шум воды, ну и приказал, чтобы заперли воду". — „Но ведь надо же умыться, промыть клозеты и, наконец, надо же пить". — „Да что тут рассказывать, говорю, что я тут не причиной, и, значит, не о чем и говорить", — хлопнул форточкой и ушел. Я начал кричать караул в оконную форточку. Ирод вошел ко мне в камеру, поднял кровать и вышел вновь из камеры со словами: „Будешь безобразничать, будешь связан". Я продолжал кричать. Так продолжалось до обеда. Пред обедом Ирод открывает форточку моей камеры и спрашивает: „Нужно воды?" — „Что ж не знаешь, что люди без воды не живут", — ответил я ему. — „Бродяга", — сказал по моему адресу Ирод. На что я в свою очередь ответил ему: „В глазах

этого бродяги ты палач и мерзавец". За это меня избили и набросили горячечную рубашку. Последнее было сделано для того, чтобы, если б следы расправы оказались слишком заметными, то можно было сказать начальству, что кровоподтеки получены мною во время моего сопротивления, когда на меня надевали горячечную рубаху.

Я вспомнил этот случай для того, чтобы показать, чем бы могла кончиться борьба Людмилы Александровны и меня с Иродом, если б самосожжение Грачевского не прервало его карьеру. Мы хорошо знали нашего мучителя и готовились ко всяким возможностям с его стороны. Но в один из вечеров мы услышали шум и беготню в коридоре. Слова: „Беги скорее к ротмистру", — сказанные одним жандармом другому, ясно говорили нам, что что-то произошло необычайное. Быстро отворяется дверь, слышно: „Неси скорее воду, воду неси". Потом я слышу, как что-то вытаскивают из камеры и притопывают ногами, из чего я догадываюсь, что что-то тушат. В камере слышится запах гари, похожий на запах от копыт подковываемой лошади. Появляется Ирод. Стараюсь расслышать, что жандармы говорят ему, и улавливаю слово „сжег" или „зажег". Дальше слышно, как Ирод приказывает говорить тише, жандарм умолкает, и затем долго продолжается молчаливая суетливая работа.

Ко всему этому мы с Л. А. прислушиваемся с замирающим сердцем и стараемся разгадать, что случилось. Не трудно было понять, что тушили огонь в камере, что кого-то оттуда вынесли, потащили по коридору, затем до моего слуха долетели слова жандарма: „Клади вот здесь, вот здесь клади". И опять раздалось иродовское „ш-ш-ш". Мы в одно слово с Л. А. сказали, что с Грачевским что-то случилось, и самое верное предположение, что Грачевский сжег себя. Конечно, мы стали следить с удвоенным вниманием за входом и выходом в камеру Грачевского. Наконец все успокоилось, камера Грачевского закрылась. Ирод заглянул ко мне и Л. А. в глазок, еще раз сказал свое „ш-ш-ш" и быстрой походкой по коридору вышел, очевидно, с докладом к коменданту о необычайном происшествии. Водворилась мертвая тишина, и, кроме мерных шагов унтера и его частого заглядывания в глазок ко мне и Л. А., другого жизненного проявления в ко-

ридоре не замечалось при всем нашем напряженном внимании. Через час, не раньше, железная дверь в коридоре вновь загромыхала, вошли, как мы догадались, Ирод с комендантом. Камера Грачевского вновь открылась, и послышался какой-то глухой встревоженный разговор. В камере Грачевского они провозились довольно долго, и я услышал звон запираемого замка. Мы знали хорошо иродовскую хитрость, — когда кто из заключенных умирал, то Ирод во время обеда, ужина, чая продолжал заходить в камеру отсутствующего, и в таких случаях мы не придавали значения тому, что открывалась камера, а прислушивались к звону посуды. И на этот раз Ирод продолжал заходить во время раздачи пищи в камеру Грачевского. Но мы ясно видели, что это одно надувательство, так как не слышно было ни звона посуды, ни зачерпывания пищи из ведра, в котором нам пища приносилась из кухни. Продолжалась эта комедия дня три. Затем побывали какие-то новые посетители в камере Грачевского. После этого комедия с открыванием и закрыванием дверей в камеру Грачевского прекратилась, и с этого времени Ирод исчез с нашего горизонта. Его временно заменил другой офицер, фамилию которого я не помню, мы же называли его „Классик“, так как однажды, в разговоре с Сергеем Ивановым, новый смотритель, бывший немного под бахусом, сообщил Сергею, что он тоже окончил курс в классической гимназии, и даже позволил себе при унтер-офицере продекламировать слова Некрасова: „Суждены нам благие порывы, но свершить их судьбой не дано“... Присутствовавший при этом унтер-офицер быстро оборвал его излияния гражданских чувств, сказав смотрителю: „Выходите, ваше благородие, тут вам нечего делать“.

После ужасной смерти Грачевского мы с Людмилой Александровной просидели в старой тюрьме до апреля, когда появился настоящий новый смотритель, Федоров, или, как мы с легкой руки Лопатина назвали его, „Фекла“. Очевидно, раз потерпевший за либерализм, временный заместитель смотрителя „Классик“ не решился до приезда нового смотрителя распорядиться нашим переводом. Но уж и то хорошо, что с поступлением „Классика“ в камере Л. А. не стояла страшная жара, а у меня не было дыма. Нужно заметить, что конец 1887 и начало 88 года было

временем наиболее напряженной борьбы за право перестукиваться, было эпохой „борьбы за стук“, как мы потом говорили. Есть предел возможности молчать, после которого человек неудержимо стремится побеседовать с кем-нибудь, и напрасно Антоний Великий избегал людей, чтоб предаваться молчанию; в конце концов к нему пришел бес на исповедь, и у них произошел продолжительный разговор. Аскеты-молчальники, в конце концов, могут только до известного предела бороться с этой прирожденной способностью человека. Поэтому, а также и потому, что в это время, после трехлетнего перерыва, у нас появились новые лица — Лукашевич, Новорусский и другие, от которых нам было очень интересно узнать, что делается на воле, мы не могли не бороться за право переговариваться хотя бы стуком. В новой тюрьме стучали так же упорно, как и в старой, и Ирод даже сказал однажды Лопатину: „Я не говорю, чтоб совсем не стучать, можно и постучать иногда, а то ведь целый день стук, ведь так уж нельзя“. Словом, даже и Ирод готов был мириться со стуком, очевидно, и для него стала ясна непреодолимая потребность поделиться мыслями у безвременно погребенных, но все же живых людей. Новый смотритель окончательно позволил перестукиваться. Через некоторое время после своего назначения он зашел в камеру к Людмиле Александровне и ко мне и сказал: „Я готов вас перевести в новую тюрьму, если вы будете исполнять тюремные правила“. Я ему ответил, что стучать буду. „Стучать можно, сколько угодно“, — ответил он. Очевидно, после трагической смерти Грачевского было дано распоряжение не бороться с перестукиванием. Шестилетняя борьба за этот суррогат личного общения окончилась нашей победой.

К БИОГРАФИИ БУЦИНСКОГО[1]

Дмитрий Тимофеевич Буцинский родился в 1851 году в Курской губ., где отец его был священником. Воспитывался он в духовной семинарии, по окончании которой поступил в Харьковский университет, но за участие в студенческом волнении в 1878 году был исключен из университета. Уже в университете он принимал участие в революционном движении 70-х годов. Познакомился я с Буцинским в Киеве, куда он переехал в 1879 году. В Киеве в этом году он уже принадлежал к партии „Народной Воли". Именно как с членом этой партии, в один из своих проездов через Киев меня и познакомили с Буцинским Стефанович и Желябов. Потерпев неудачу в надежде что-либо сделать в духе старой землевольческой программы в Чигирине, где я думал приложить свою деятельность после раскола „Земли и Воли", я предполагал создать из имеющихся налицо революционеров в Киеве объединенную организацию. Буцинский сочувственно отнесся к этому моему начинанию, и при помощи его я познакомился, с одной стороны, с лицами, уже примкнувшими к организации „Народной Воли", с другой стороны — с лицами, державшимися еще программы „Земли и Воли". Из наличного состава тех и других предполагалось создать общую организацию, которая объединила бы в себе задачи и цели обеих партий разделившейся старой организации „Земли и Воли", т. е. народовольцев и „Черного Передела", при чем представители как одного, так и другого крыла, из которых предполагалось создать объединенную организацию в Киеве, желали, чтобы эта организация называлась „Землей и Волей", а не „Народной Волей" и тем паче „Черным Переделом". Буцинский был очень деятельным членом в создании таковой организации, и так как он имел связи с народовольческими отделениями организации в Одессе и Харькове, то при посредстве его, главным образом, начинавшая деятельность наша партия имела сношения с народовольческой организацией. Так, напр., все сведения о предполагавшихся планах народовольцев на южных железных дорогах наша партия получала от народовольцев чрез Буцинского, — сведения, необходимые для предполагавшегося нами публичного выступления на одной из площадей города Киева (предполагалось на так называемом Житнем базаре) с целью выяснить трудовому люду необходимость совер-

[1] Первоначально напечатано в № 5 „Каторги и Ссылки" за 1923 г.

шенного народовольцами акта для освобождения народа от невыносимого ига правительства. Чрез Бущинского же наша партия получила от народовольцев из Одессы динамит для бомб, которыми мы предполагали вооружиться, чтоб дать отпор на площади, если б и в этот раз правительство воспользовалось теми же средствами для разгона демонстрации, какие в то время полиция стала усиленно практиковать против демонстрантов. Так, напр., она беспощадно избивала демонстрантов на Казанской площади в Петербурге, когда вновь организовавшаяся революционная партия „Земли и Воли" подняла там в 1876 году свое знамя, чтоб публично заявить о своем вступлении в жизнь под этим историческим названием. Подобные же меры правительство применило и против московской студенческой демонстрации в честь провозимых чрез Москву в северные губернии киевских студентов, участников волнений в Киевском университете.

Обо всем этом здесь я упоминаю лишь потому, что Бущинский в подготовке этой предполагаемой демонстрации деятельно помогал нашему Киевскому кружку. Он вместе с С. Диковским организовал приготовление бомб, вызвав для этой цели рабочего Х. из Харькова, он же добыл и динамит для заряда бомб. Бущинский был в высшей степени скромен (это качество было его общей характерной чертой), сдержан, умел следить за собой, как опытный конспиратор, и не бросал, не обдумав предварительно, лишнего слова. Скромность Бущинского заставляла его смотреть на себя лишь как на рядового работника, хотя при его уме и сравнительной начитанности, а, главное, беспредельной преданности делу, другой на его месте ярче выдвинулся бы в нашей организации. Как человек в высшей степени осторожный, Бущинский у нас заведывал паспортами и адресным столом и, вообще, был хранителем всего, что считалось конспиративным. На него пал выбор заведывать типографией, которую партия предполагала открыть в имении Стаховского, в Курской губернии.

Как человек высоко нравственный, скромный и безукоризненно относящийся к товарищам по делу, Бущинский пользовался среди Киевского кружка общей любовью и уважением. На суде Бущинский отказался от защиты и на вопрос прокурора, к какой он принадлежит партии, ответил кратко: „Я принадлежу к террористической партии". Арестован был Бущинский в Одессе, куда он отправился по поручению партии с целью предложить одесскому отделению народовольческой организации избрать кого-либо другого, как агента организации в Киеве, в виду того, что он берет на себя организацию типографии для киевской революционной организации.

По окончании нашего суда в Киеве Бущинский был отправлен в Харьков, где судился вновь в процессе Сажина, так что прибыл на Кару не с той партией, в которой прибыли остальные судившиеся с ним в Киеве. Отбыв второй суд над собой в Харькове, Бущинский перевезен был на зимовку в Мценскую тюрьму, где, вместе с перевозимыми туда революционерами

из харьковских централок, зимовал, и на следующий только год прибыл на Кару вместе с централистами.

В партии централистов Буцинский пользовался также общей любовью и уважением. В этой молчаливой, миниатюрной фигуре, с любящей улыбкой на устах, было что-то, что влекло к нему окружающих. Особенно близко сошелся Буцинский с Ковaликом, и между ними установилась трогательная дружба. Митя и Сергей, так они друг друга называли, в часы досуга на Каре сидели за шахматной доской и дружески вели разговоры по поводу событий и вопросов, достигавших Карийских рудников. На Каре Буцинский взял на себя заведывание карийской тюремной библиотекой и был образцовый библиотекарь. Для него, кажется, не существовало высшего наслаждения, как быть среди полок с книгами в библиотеке. Буцинского всегда можно было найти в библиотеке, где он с усердием расставлял по полкам книги, а в свободное время от этого занятия заносил в свою книжку найденные им новые статистические цифры. Любимым занятием его была статистика, и каждый свободный час посвящал он ей.

На других товарищей тюремная жизнь действовала раздражающе, праздное пребывание в заключении повышало нервное напряжение и делало их нервными в отношениях к товарищам по заключению; Буцинский же, при всей своей физической слабости, умел держать свои нервы под постоянным контролем, и я не помню, чтоб он не только с кем-либо ссорился, но даже говорил повышенным тоном. Самое большее, чем Буцинский выражал свое неудовольствие, было то, что он спешил уйти, если кто-либо ему казался поступавшим неправильно по отношению к нему.

Не таков Буцинский был по отношению к тюремщикам. Правда, и с этими господами он держал себя так же, как и с товарищами, т. е. не обращался к ним вызывающе, был всегда корректен в разговоре с начальством, если уж необходимо было вступить ему с ними в разговор. Короче говоря, и с тюремщиками, как со всеми, у него были обычные ему правила: ровность и сдержанность. Но тюремщики как-то инстинктивно угадывали в Буцинском своего врага и догадывались, что в этом молчаливом, маленьком человечке скрывается достаточный запас нравственной силы и непреклонной воли. Буцинского и на Каре, и в Шлиссельбурге начальство не любило. В Шлиссельбурге, напр., когда я слышал, что начальство, войдя в камеру, тотчас же выходило из нее, я догадывался, что оно было у Буцинского. Обыкновенно весь разговор начальства с Буцинским состоял только в следующем: „Здравствуйте!“ Ответив, Буцинский оставался нем, и начальство уходило. На первый взгляд казалось бы странным, за что начальство не любило Буцинского. Часто Буцинский указывал своим товарищам на их некорректное отношение к тюремщикам. Я помню, — было со мной раз на Каре, — я шел в пекарню за хлебом и раздосадовался тем, что мне пришлось долго ждать конвой, раздраженно стал нападать на урядника, замещавшего на Каре

караульного начальника, и стал добиваться выхода за ворота без конвоя. Буцинский в то время гулял по двору, подошел ко мне и указал мне на мою некорректность по отношению к уряднику. А потом, когда мы были вне глаз посторонних, довольно-таки откровенно по-товарищески пожурил меня за неуменье сдерживать свои нервы.

Тем не менее, тюремное начальство недолюбливало Буцинского. Этим объясняется, почему Буцинскому выпал жребий в первую очередь, в числе 8 человек, быть отправленным сначала в Петербург в Петропавловскую крепость, а затем в Шлиссельбург. В побеге с Кары Буцинский принимал лишь, выражаясь языком следователя по этому делу, пособническое участие. Но в таком преступлении была замешана вся тюрьма. Непосредственного же участия в организации побега он не принимал и не привлекался к следствию по этому делу. Однако его нашли неподходящим для заключения в Карийских рудниках. Воспользовалось начальство для этого следующим случаем. Во время вечерней поверки в Карийской тюрьме Буцинский не захотел встать с того места, на котором застала его поверка. Смотритель тюрьмы потребовал, чтобы Буцинский встал, сказав при этом, что нужно забыть прежние вольности и исполнять все требования, которые предлагаются всем военным чинам при поверке. На это Буцинский ответил смотрителю так: „Я остался таким, каким и раньше был, и прошу не рассчитывать на беспрекословное подчинение всяким требованиям, предъявленным мне". На другой день Буцинского привели на Нижнюю Кару, где сидели: Щедрин, Волошенко, Геллис, Орлов, Кобылянский, Игнатий Кириллович Иванов и я, совершенно не подозревавшие, что нам предстоит впереди обратный путь в Россию.

15 июля 1882 года Буцинский, вместе с только что перечисленными лицами, был отправлен в Петербург. Истомленный непрерывным, почти двухмесячным, путешествием (мы прибыли в Петербург 17 сентября 1882 года), Буцинский, за неимением свободных камер в Алексеевском равелине, был брошен в один из казематов Трубецкого бастиона, где просидел почти два года (его перевезли в Шлиссельбург 2 августа 1884 года).

Эти почти два года были, по словам Буцинского, самыми тяжелыми годами его заключения. Судя по тому, что рассказывал мне Буцинский об этих двух годах его заключения, мне кажется, Буцинский стоял одной ногой к психическому расстройству. Его угнетала мысль, не оставлявшая его в покое по целым дням, что тюремщики задались целью, как он выразился однажды, рассказывая мне об этом, выворотить ему душу и готовы были употребить все, чтобы достигнуть намеченной цели. В таком психическом состоянии он перешел и в Шлиссельбург. В общей сложности он просидел в тюрьмах тринадцать лет: с 1880 по 1893 г., когда в Шлиссельбургской крепости смерть избавила его от мук заключения.

МЕЧТЫ О СВОБОДЕ [1]

(Из шлиссельбургских воспоминаний)

I

Смерть Александра III. — Ожидание освобождения. — Льготы. — Появление в тюрьме Карповича. — Рядовой Рыбальченко

При всякой встрече с новым человеком мне чаще всего приходится отвечать на вопросы: предвидели ли мы наше скорое освобождение, доходили ли до нас сведения о зарождавшемся вновь освободительном движении в России и пр., и пр.

Очевидно, человеку свободному трудно представить реально нашу жизнь или, вернее, прозябание в шлиссельбургских казематах. Человеку свободному, посвященному поэтому во все то, что происходило на родине за все то время, когда мы отрезаны были от жизни крепостными стенами Шлиссельбургской крепости, трудно понять, что могли существовать на Руси люди, которые совершенно не имели ни сведений, ни даже приблизительно представления о том, что происходит вокруг Шлиссельбургской крепости, вне которой жизнь била ключом и занималась заря нового освободительного движения, движения, превратившегося в широкий поток, прокатившийся по необозримой Руси, вынесший на вершине своих волн и обитателей Шлиссельбурга, где они должны были, по плану представителей старого режима, закончить дни своей жизни за то, что они были тоже за обновление России.

В виду того, что, как я уже сказал выше, многих интересует, как мы переживали чаяния свободы внутри глухих стен крепости, я начинаю свои воспоминания с переживаний, связанных с вопросом нашего освобождения.

Так как чаяния эти начались уже с начала царст-

---

[1] „Голос Минувшего", 1917 г., № 7—8.

вования императора Николая II, то я и беру этот период из моей жизни в Шлиссельбурге.

Смерть Александра III в октябре 94 года всполошила обитателей Шлиссельбурга и, притом, не только находившихся под стражей, но и их сторожей. Младший из помощников коменданта крепости, поручик, заведывавший в это время нашими мастерскими в Шлиссельбурге, первый сообщил нам эту новость. Утром 20 октября он явился к нам в трауре, и на наш вопрос, — что значит его траур, — он сказал совершенно откровенно, каковой откровенности в обычае в Шлиссельбурге не было ранее, что умер государь.

Уже эта откровенность и тот тон, которым он сообщил нам эту новость, говорили за то, что и они, наши сторожа, думали, что это событие не пройдет без последствий для Шлиссельбургской тюрьмы. Вскоре комендант сам, а за ним смотритель и другие офицеры более прямо высказывали нам свои предположения насчет перемены в нашей судьбе. Смотритель прямо-таки утверждал и уверял нас в том, что наша судьба изменится. Нужно сказать, что наш смотритель был таки довольно глуп, — „Фекла“, как его мы называли, — но все же одной глупостью нельзя объяснить его разговор с нами о необходимости позаботиться о сапогах и костюме нам на дорогу. Очевидно, среди местного нашего начальства поднимался вопрос об обмундировании нас для дороги.

Чрезвычайно странное настроение тогда царствовало на нашем острове. Что у нас смерть Александра III зародила надежды на свободу, это само собой понятно. Без надежд люди не могли бы жить, и этим только и можно себе объяснить постоянные толки о больших и малых манифестах в наших уголовных тюрьмах, о которых за мое короткое пребывание на Каре мне беспрестанно приходилось слышать среди каторжан. И мы, как и все люди, потерявшие свободу, всеми фибрами нашей души рвались на свободу, — всякое выходящее из ряда обыкновенных событие давало нам повод надеяться, что нас возвратят вновь к свободной жизни.

Но почему наши стражи так всполошились за нашу судьбу, — это довольно нелегко понять человеку вне крепостных стен Шлиссельбурга. Как-то один из офицеров

в разговоре с нами о том, какие деньги стоит правительству эта крепостная тюрьма, и есть ли надежда на то, что такая бессмысленная трата народных денег скоро прекратится, сказал нам:

— Шлиссельбургская тюрьма гораздо более нужна не для вас, господа, а для тех, чрез руки которых проходят средства на содержание этой тюрьмы. Подумайте только, что на содержание тюрьмы отпускается в год 180 000 рублей, и тогда вы поймете, что можно вполне надеяться на то, что еще долго эта тюрьма простоит на этом месте, ибо кто же себе враг и захочет добровольно отказаться от такого доходного места.

В этом, несомненно, кроется объяснение тому, почему вместе с нашими надеждами возникло опасение у наших сторожей за свою судьбу. Унтера в этом отношении были, по своей простоте, более искренни. Они, вслед за своим начальством, тоже думали, что пришел конец Шлиссельбургу, и некоторые из них в разговорах с нами по этому вопросу довольно откровенно говорили о том, что их тревожит. „Оно, конечно,—говорили они нам,—это совершенно правильно: пора вам уж и на свободу. Нельзя же век весь держать людей в тюрьме. Но все же таки должна же быть и нам какая-нибудь награда. А то как же это,—служили мы, служили, верой и правдой—и вдруг: уходи, куда хочешь,—это тоже опять-таки неправильно. Когда мы нужны были начальству, нас держали, а не стало нужды в нас, иди с богом, куда знаешь. У нас же семьи есть; куда мы денемся, раз вас увезут и тюрьма закроется". Более трезвые философы из наших унтеров, правда, не падали духом. „Это место свято,—говорили они,—пусто не будет. Не они будут, другие на место их. Место штатное,—закрой, а понадобится,—опять открывай", и пр. в этом роде. Такие противоположные чувства переживали обитатели Шлиссельбурга.

Нас волновали надежды, что авось нас увезут, а наши сторожа задумывались над тем, что будет с ними и их семьями, в случае нас увезут, и тюрьма закроется. Интересно было бы, если бы в этот момент попал в шлиссельбургский тюремный двор посторонний наблюдатель. На наших лицах, быть может, едва ли он прочел бы то, что происходило в тайниках наших душ.

Надежды на свободу, не скрываю, теплились там, но надежды довольно тусклые. Наши надежды ослаблялись опасениями, как бы начальство не потребовало от нас каких-нибудь гарантий, в виде, напр., слова, что мы не возвратимся впредь к той деятельности, которая привела нас в застенки Шлиссельбургской крепости. А раз дело ставилось бы так, то надежды наши на свободу разлетелись бы в прах, ибо никто из нас такой ценой не думал покупать свободу. Но зато на лицах наших сторожей посторонний наблюдатель прочел бы ясно отраженную грусть и беспокойство за свою судьбу. Офицеры умели до некоторой степени скрыть волнующие их душу мысли, но унтера положительно ходили с понуренными лицами.

Был даже случай, за который они схватились, как хватается утопающий за соломинку. Мы привыкли за наше долгое пребывание на глазах надзора совершенно не стесняться присутствием жандармов, смотрели на них приблизительно так же, как на стены наших камер, и потому ходили перед ними, по меткому выражению Г. А. Лопатина, без брюк, что, вероятно, часто служило к нашему вреду. И в этот раз мы не особенно стеснялись их присутствием. Я хочу сказать, как в этот раз готовы были жандармы воспользоваться всякой нашей неосторожностью в своих суждениях о тех, по милости которых мы сидели в Шлиссельбурге.

Мы собрались у форточки мастерской В. Н.[1] прочесть манифест вступившего на престол нового государя. Манифест и в этот раз, как и всегда по отношению к политическим узникам, оставлял широкое поле министру внутренних дел не применить его к тем или другим заключенным по политическим делам. Сейчас, к сожалению, у меня нет под рукой этого манифеста, но, вероятно, читатель припомнит, что он сулил и политическим свободу, а на деле предоставлял это усмотрению министра внутренних дел, по соглашению с министром юстиции. Об этом именно у нас шли беседы у фортки мастерской В. Н. Один из нас позволил себе непочтительно высказаться на этот счет. И нужно было видеть, как ухватились за это жандармы. Они увидели в словах позволившего себе

[1] В. Н. Фигнер.

критику манифеста непочтительное отношение к автору манифеста и довели до сведения смотрителя. Смотритель тюрьмы подполковник Федоров, известный в нашей тюрьме больше под именем „Феклы“, поднял целую историю по этому поводу. „Я этого ему не прощу, — говорил нам „Фекла“ по адресу виновника, — не быть ему на свободе“, и пр., и пр. Выходило как-то так, что хоть бы уж одного из нас оставили в Шлиссельбурге для прокормления жандармов.

Но скоро наши сторожа успокоились, вероятно, получив успокоительные на этот счет сведения из Питера, и, вероятно, не понадобилось доводить до сведения высшего начальства об этом инциденте. Так можно думать потому, что именно тот, кто позволил себе такое отношение к манифесту, был увезен из тюрьмы, ибо срок его каторги кончился в этом же 94 году, кажется, в ноябре. Жизнь наша вошла в старую колею, жандармы успокоились за свое благополучие, мы примирились с разбитыми нашими надеждами на перемену в нашей судьбе и принялись за свои дела, которые можно назвать делами за неимением более благодарного дела.

Так прежняя наша монотонная жизнь продолжалась до июня месяца 95 года, когда нас посетил министр внутренних дел Горемыкин. Посещение это, по тем впечатлениям, которые мы вынесли из разговора с ним, нам казалось, не обещало ничего хорошего, ибо он на все наши заявления и просьбы долбил одно: „Что ж тюрьма, — чего же вы хотите“. Так он отвечал всем, так же он ответил и мне, когда я заявил мою просьбу о том, чтобы нам разрешили журналы, по крайней мере, если уж газет нельзя.

Но мы на этот раз ошиблись. Вместо свободы, нам вскоре после этого разрешили переписку с родными, которой до этого времени мы были лишены, отпустили в год 140 руб. на покупку книг и разрешили журналы за прошлый год. Последнюю льготу местное начальство расширило, вероятно, как обыкновенно выражались наши сторожа, по данному неофициальному им распоряжению, и выдавало нам журналы за год: одну половину в июне, другую в конце октября или ноябре.

В начале же ноября было объявлено сокращение сро-

ков на $1/3$ для следующих лиц: Л. А. Волкенштейн, Суровцева, Шебалина, Поливанова, Панкратова, Мартынова, Яновича, Ашенбреннера, В. Г. Иванова, Стародворского, которых 23 ноября и увезли, за исключением Поливанова, Панкратова, В. Г. Иванова, Стародворского и Ашенбреннера. Нам же, которых этот манифест обошел, по внушению свыше, местное начальство сказало, что со временем очередь дойдет и до нас. Очевидно, сокращение нам сроков отложили до рождения наследника.

Проводив наших товарищей, мы оставались в Шлиссельбурге, при дарованных нам льготах, вплоть до марта 1903 года.

Кое-что доходило до нас с воли о том, что делается за стенами нашего убежища, по крайней мере, то, что могло попасть в так называемую легальную печать. Мы знали, напр., что на смену нам выступила партия социал-демократов. У нас были журналы за прошлый год: „Русское Богатство", „Мир Божий", „Новое Слово", а потом заменившие его журналы „Начало" и „Жизнь". Мы следили за отношениями народившейся новой партии к нашей прошлой деятельности, к критике ее ею и, рядом с тем, знали, что и наши принципы деятельности не всеми отрицаются. Мы знали, что „Русское Богатство", с талантливым представителем их Н. К. Михайловским во главе, защищало принципы нашей деятельности. Мы не знали только того,—ограничивалось ли дело только теоретическими спорами между этими двумя направлениями, или, на ряду с этим, велась практическая деятельность этих двух борющихся течений в общественной жизни России.

Но в 1901 году прибыл к нам Карпович и сообщил нам о том, что делается на воле. Он познакомил нас с народившимся за наше отсутствие из жизни широким рабочим движением, которое, по его словам, в скором времени будет грозным и непобедимым врагом существующего старого строя. Нам трудно верилось всему тому, что мы узнавали о России, и, конечно, потому, что мы прямо из того времени, когда мы были на воле, перескочили в то время, когда выбыл только что из жизни Карпович. Для меня, напр., это был промежуток в 21 с лишним год.

Трудно верится человеку, который живет прошлым, между которым и настоящим залег промежуток чуть не

в $1/4$ века. Приятно было верить всему тому, что мы узнавали от Карповича, но невольно приходили в голову слова Грибоедова: „Свежо предание, но верится с трудом“. Все же, с появлением Карповича, наши сведения о том, что представляет собою Россия в общественном отношении, обновились, а вместе с тем стали вновь зарождаться надежды и на то, что авось и мы еще будем жить на свободе и увидим собственными глазами, что теперь делается на горячо нами любимой родине, которую мы так давно покинули. Карпович нам говорил, что мы выйдем на волю скоро уже потому, что тюрьма понадобится для новых жильцов.

Он говорил с полной верой в свои слова, что через два каких-нибудь года Шлиссельбургская тюрьма будет переполнена, и что нам, старикам, придется где-нибудь в другом месте доживать свои дни. П. В. Карпович, по приезде в Шлиссельбургскую тюрьму, находился на особом положении. Начальство решило его держать некоторое время в одиночном заключении. Но его одиночное заключение было далеко не тем одиночным заключением, которое проделали мы.

Мы постоянно торчали или у дверей камеры Карповича, или у дверей того дворика, где он гулял. По этому поводу у нас происходили постоянные столкновения с начальством, но, с одной стороны, непреоборимое желание знать то, что делается за стенами нашего тюремного двора, а с другой стороны, мы не мирились и с тем, чтобы нашего Вениамина, как назвала В. Н. Карповича, предоставить на волю начальству. У нас была даже заведена очередь, кто должен был находиться у дверей, которые отделяли его от нас. Карпович и письменно сообщал нам о том, что делается в настоящий момент в России среди рабочих и студенчества.

Итак, значит, из всего этого читатель знает, что в первые два года нового столетия мы кое-что знали из того, что совершается в России, во 1-х, из легальной литературы, по крайней мере, то, что легальная литература по цензурным условиям могла отразить на своих страницах, а то, что она по необходимости проходила молчанием, то мы узнали от Карповича, — во 2-х. Но вот в марте 1903 года в нашей Шлиссельбургской тюрьме происходит

новый перелом в жизни ее обывателей. Вероятно, поворот к старому режиму обусловливался общим состоянием общественной жизни в этот исторический момент. Но ближайшим поводом послужило к тому следующее.

В качестве прислуги при тюрьме, на обязанности которой лежало: приборка тюрьмы, чистка двора, летом от травы, зимой от снега, приготовление и раздача обеда, наблюдение за приборкой в мастерских и пр. работы при тюрьме, состояли рядовые жандармы. Службу надзора за ними несли только унтер-офицеры, все же остальное делали рядовые, которых при тюрьме находилось, кажется, шесть, под командой вахмистра. Рядовые, вообще, относились к нам доброжелательно, по крайней мере, те, которые находились при тюрьме в качестве прислуги.

Бывали случаи, что когда кто-либо из унтеров утащит из мастерских какой-либо инструмент, то рядовой, улучив возможность сказать нам об этом, сообщал, что такой-то унтер из такой-то мастерской. Раз как-то был при наших мастерских один рядовой, которого унтера называли убоищем, так как тот прямо-таки гласно в нашем присутствии уличил одного из унтеров в том, что он таскает из нашей мастерской инструмент, рискуя за это понести дисциплинарное взыскание, ибо от рядовых требовалось, чтобы они в нашем присутствии были немы, как рыбы.

С 1902 года был при тюрьме в качестве прислуги рядовой Рыбальченко, очень симпатичный солдатик, сочувствовавший нам. Как-то мы с ним остались наедине, и я узнал, что он из Воронежской губернии, которую я хорошо знал. Я рассказал ему, что я бывал в Воронежской губернии с целью пропаганды. Он, в свою очередь, рассказал мне, что бывал на работах на Дону и знал те места, где я родился. После этого у нас установились добрые отношения. Он, получая письма с родины от своего брата, сообщал мне часто, вытирая снаружи окно моей камеры, когда я находился в ней под замком. Кратко говоря, мы считались с ним полуземляками. Он обещал по выходе в запас побывать в Ростове и повидаться с моей матерью. Узнав от меня, что я всего только два раза в год имею возможность писать письма моим родным и то чрез департамент полиции, он сказал: „Ну и варвары же, — даже матери, и той нельзя писать“. И тут же предложил

мне, что он может передать письмо моей матери, или кому там я пожелал бы написать. Я об этом сообщил В. Н. и Фроленко. Фроленко советовал не подвергать риску человека несомненно хорошего, ибо пользы, говорил мне Фроленко, особенной переписка при таких условиях не принесет, а риску попасться с такой перепиской много. Вера же Николаевна думала, — отчего бы не попробовать. Я решил пока, до поры до времени, держаться совета Фроленко и потому сказал Рыбальченко, что пока посылать не буду, ибо особенной нужды нет, а между тем ему, если его поймают, за это может грозить серьезное наказание.

II [1]

Объяснение со следователем — Инцидент с письмом. — Странная постройка. — Эшафот. — Казнь Балмашева. — Новые притеснения

Теперь я доскажу мое объяснение со следователем.

Он мне предложил всего еще один вопрос, именно, — как я мог обойти надзор за нами, чтобы передать мое письмо рядовому.

На это я ответил ему так: „Как я уже сказал вам раньше, я состою старостою тюрьмы, рядовой был прислан ко мне унтер-офицером, заведывающим кухней, взять у меня заказы. Пользуясь этим, я вместе с заказами, в присутствии унтер-офицера, стоящего в это время на часах у наших камер, передал и мое письмо. Очевидно, — пояснил я следователю, — унтер-офицер не рассчитывал на такой рискованный шаг со стороны моей и не проверил переданной мною записки“. На самом же деле это было так: Рыбальченко вошел ко мне в камеру, чтобы передать мне заказы, уже выполненные унтер-офицером, и я, пользуясь тем, что унтер-офицер был в противоположном конце камеры, передал ему письмо без подписи на конверте и на отдельном клочке бумаги адрес, который он должен был написать на конверте, как о том мы раньше с ним сговорились.

[1] Настоящая глава не имеет прямой связи с предыдущей. Пропущен рассказ о передаче письма Рыбальченко, начавшихся репрессиях, насилии над С. А. Ивановым, оскорблении, нанесенном В. Н. Фигнер ротмистру Гудзю. См. воспоминания Ашенбреннера, Новорусского, Волкенштейн и др. *Ред. „Гол. Мин“*.

Интересная сцена происходила за спиной следователя во время моего объяснения с ним. Вахмистр немыми знаками руки и трясением головы, стоя сзади следователя, наводил меня на ответы, с лицом мольбы, чтобы я обелил тюремный надзор.

И подумать только, из-за чего вся эта драма, разыгравшаяся в нашей тюрьме и потрясшая всю нервную систему не только заключенных, но и тюремного надзора. Из-за невиннейшего письма матери от сына, точное содержание которого таково: „До сих пор не получил вашего письма и потому не пишу вам. Беспокоиться вам нет, значит, оснований. Раз получу письма или получу ответ от директора департамента, что письмо не может быть передано мне, сейчас же напишу вам обычным порядком“.

Закончил я мои объяснения со следователем тем, что просил чрез него министра смотреть на передачу мной письма матери, как на вину исключительно мою, за которую и отвечать должен только я один. Товарищи мои по заключению столько же об этом знали, сколько знало и местное начальство, и наказывать за это вместе со мной и их нет никаких оснований.

От меня следователь отправился к В. Н., с которой он вел речь о том, что побудило ее нанести столь тяжкое оскорбление ротмистру Гудзю, каковым для офицера русской армии является срывание погонов. Но об этом подробно говорит в своих воспоминаниях в „Былом“ М. В. Новорусский.

30 марта были удалены со службы при Шлиссельбургской тюрьме комендант полковник Обух и смотритель тюрьмы Гудзь. Их заменяли в качестве начальника тюрьмы, или коменданта, наш старый знакомый по равелину полковник Яковлев, бывший в равелине еще только поручиком, и ротмистр Провоторов в качестве смотрителя, тоже наш знакомый, бывший пред этим заведующим нашими мастерскими и кухней.

Новый комендант прочел мне приказ министра внутренних дел лишить меня прогулки на 1 месяц за незаконную передачу письма матери и при этом прибавил на словах, что ему приказано на некоторое время сократить те льготы, которыми мы до сих пор пользовались, за все те беспорядки, которые произошли за это время в тюрьме;

но что, вместе с тем, ему дано право министром, если он с своей стороны, найдет возможным, ходатайствовать о разрешении вновь нам таковых льгот.

Так закончился инцидент с моим письмом.

3 апреля мы заметили тревожное метание наших сторожей по тюремному двору. Во главе с комендантом и офицерами, унтера размеряли тюремный двор. Ясно было нам, что что-то планируется.

Затем чрез несколько дней стали проводить проволоки для электрического освещения старой тюрьмы, или, как мы называли эту тюрьму, сарая, где до того не было никакого освещения, так как там были до сих пор мастерские наши, в которых мы работали только днем. Наконец, нам сообщили, что до некоторого времени, по случаю ремонта в старой тюрьме, нас туда не будут пускать, а еще немного спустя заявили нам, что старая тюрьма, вследствие возникшей в ней надобности, совсем закрыта для нас, и мастерские оттуда будут переведены в новую тюрьму. Мы стали замечать, что, кроме ремонта в сарае, идут какие-то постройки и в маленьком дворе, по другую сторону тюрьмы. По вечерам оттуда выносили все наши насаждения: крыжовник, малину и прочее, — разоряли то, что стоило нам больших трудов.

Затем стали таскать туда лес для каких-то построек. Словом, шла стройка.

Для чего все это? Вот вопрос, над которым мы ломали наши головы. Сначала мы думали, что это приготовляется жилище для В. Н. за то, что она сорвала погоны у ротмистра Гудзя. И мы все переживали в это время самое тревожное настроение, и больше всех, конечно, я, как подавший повод моим письмом таковому поступку Веры Николаевны. Мы думали, что, по крайней мере, на некоторое время, напр., на год, там думают уединить Веру Николаевну. Сторожевой пост в нашей тюрьме занимал Антонов и был на высоте своего долга. От него ничто не ускользало.

И вот в одно время он сообщил нам, что, по его наблюдениям, на маленьком дворике строится эшафот. Уже ли, думали мы, этот эшафот для Веры Николаевны готовится? Я отказываюсь описать то душевное настроение, которое царило у нас. Мне даже неприятно сейчас об

этом вспоминать. Предоставляю читателю самому вообразить себе наше настроение, что, вероятно, сделать будет ему нетрудно, если он примет во внимание наше отношение к В. Н., которое так верно передал в своих воспоминаниях Михаил Юлиевич Ашенбреннер.

Но эта чаша нас миновала.

2 мая, в 7 часов утра, только раздали нам чай, Антонов заметил по поспешности, с которой жандармы раздавали чай, и другим неуловимым признакам на лицах жандармов, по которым мы безошибочно определяли, что они что-то от нас желают скрыть, или, по выражению Антонова, своровать. Он, Антонов, стал следить за крепостным двором и простучал нам в дверь своей камеры: привезли нового и поместили в канцелярию.

Антонов не сводил глаз с места, где была спрятана жертва; заметил, что туда в 12 часов понесли обед, потом матрац. Очевидно было, что до вечера решено было держать его там, а с наступлением темноты — ведь только совы летают по ночам, да жандармы исполняют свой долг — перевести в сарай. После обеда Антонов поведал нам, что, по его наблюдениям, на завтра готовится казнь, ибо он видел входившего в канцелярию священника, который бывает там только 20-го числа за получением жалованья, а в другое время, появляясь на острове, идет или прямо в церковь, или заходит в квартиру коменданта.

Кроме того, заметил он еще каких-то субъектов в мундирах, невиданных на нашем острове, и детину в поддевке, по всем признакам — палача.

Вечером и всю ночь у окон тюрьмы, в сторону той части крепости, где находится канцелярия, дежурили: Антонов, Вера Николаевна и Стародворский поочередно. Утром Антонов сообщил, что часа в три казнили привезенного. То был Балмашев, как потом мы узнали; но в это время мы только знали, что эта казнь была возмездием за убийство министра внутренних дел Сипягина.

Об убийстве же Сипягина мы узнали так. Как-то, гуляя в своем огороде, Вера Николаевна заметила вырезку из газеты, подняла ее и прочла. Оказалось, что какой-то тайно нам сочувствующий решил этим путем сообщить нам новость об убийстве министра внутренних дел Сипягина. В вырезке этой сообщалось первое сведение об этом

убийстве. В ней сообщалось, что какой-то молодой человек, в форме адъютанта, в здании Государственного Совета шестью выстрелами из револьвера убил министра Сипягина.

Но я продолжаю сообщение Антонова нам о казни Балмашева. Какими путями провели в маленький дворик жертву на казнь, он до конца не мог проследить. Он видел только, как обреченного на казнь вывели из канцелярии, как проводили его под стенами крепости, сделав большой круг, чтобы удалить процессию с поля зрения наблюдения из окон тюрьмы; но потом процессия прошла вне поля его зрения. Но что казнь состоялась, в том нет никакого сомнения. Ибо с места казни возвращалась группа лиц, во главе с комендантом, в формах, — один, вероятно, судейской, другой — в форме департамента полиции, при чем от него не ускользнуло и то, что группа эта, поровнявшись с церковью, благочестиво перекрестилась вслед за священником.

Сзади этой группы с двумя унтер-офицерами прошел и тот детина в поддевке, в лице которого он еще накануне угадал палача. Днем уже не оставалось никакого сомнения, что казнь 3 мая совершилась на нашем острове, ибо и унтера не отрицали, хотя с улыбкой на наши вопросы некоторые отвечали: „Не знаем". Один же унтер, заведывавший в то время мастерскими, ответил на упрек Поливанова: „Тянули за веревку, заведующий", в таких словах: „Нет, я не присутствовал при казни; отказался. Мои нервы не могут выносить такого зрелища".

Вслед за казнью Балмашева мы стали замечать привод новых жильцов в шлиссельбургские казематы. По словам Мельникова (потом уже), его провели по крепостному двору с завязанными глазами. Мы же о привозе новичков узнавали по счету судков, выносимых из кухни, и довольно точно знали, сколько было привезено, несмотря на то, что судки для сидящих в сарае не прямо несли из кухни в сарай, а направлялись из кухни как будто бы в новую тюрьму, а затем под стеной новой тюрьмы проносились в старую.

Но все эти воровские уловки мы достаточно знали, и потому они не ускользали из наших глаз. Настроение в тюрьме продолжало оставаться подавленным в высшей степени. Начальство сурово молчало, по временам давая

нам понять, что прежние порядки в тюрьме прошли безвозвратно, как выразился однажды ротмистр Провоторов: „мы над прошлыми вольностями поставили крест“. Впрочем, и они давали нам по временам понять, что новый режим, более суровый, объясняется не желанием начальства вновь приняться за нас, старых жильцов Шлиссельбургской тюрьмы, а тем, что, пока мы были здесь одни, было больше простора, а теперь старая тюрьма с большим и малым дворами понадобилась для другого назначения. „На все наши заявления в департамент полиции по поводу вас, стариков, — в департаменте полиции отвечают, что, в силу неизбежности, другие условия заключения в этой тюрьме в настоящее время невозможны“.

„Пусть, сказали мне в департаменте полиции, — продолжал комендант, — не работают ни в мастерских, ни в огородах, если, при наличных условиях, эти работы скорее неприятны, чем приятны, каковыми были при условиях, бывших раньше“. Словом, по словам коменданта, департамент поручил ему сказать, что мы введены в новые рамки жизни. Не потому, что нас желают стеснять, а потому, что иначе невозможно нас устроить в этой тюрьме.

Огороды наши стали обносить новыми заборами в 4 аршина высотой, парники со старого двора, где они раньше помещались, тоже перенесли во двор новой тюрьмы.

В июне месяце нас посетил начальник корпуса жандармов фон-Валь, который откровенно нам сказал, что они поставили своей ближайшей целью перевести постепенно Шлиссельбургскую тюрьму на старое положение. Тюрьма в Шлиссельбурге по закону — тюрьма одиночного заключения, и тот режим, который до сих пор еще продолжается здесь, — отступление от закона, и те, кто допустил такое отступление, превысили свою власть. „Вы говорите мне, что такое отступление допущено, — сказал мне фон-Валь, — предшествующими министрами, я вам на это отвечаю, что министры предшествующие нарушили в данном случае определенный закон и мы считаем нашим прямым долгом вновь восстановить нарушенный закон. Если мы этого не сделали до сих пор, то только потому, что хорошо понимаем, что сразу восстановить прежний порядок в тюрьме

было бы для вас слишком невыносимо, и потому решили постепенно восстановить старый порядок в тюрьме, требуемый законом для этой тюрьмы", — говорил мне стальным голосом фон-Валь, в то же время наблюдая, какое это произведет впечатление на меня. Затем круто повернул речь и спросил меня: „Вы на сколько лет осуждены?" Я ответил ему: „Бессрочно". — „Одно вам могу сказать: только полное раскаяние может изменить ваше положение". На эти его слова я ответил ему: „Если б, генерал, вы были на моем месте, а я на вашем, я бы не позволил себе сделать вам такое предложение, так как знаю, что честный человек не покупает свободы таким путем". На это он, несколько растерявшись, сказал мне: „Бог с вами, я никогда не совершал государственного преступления", — и тотчас повернулся к дверям и вышел из моей камеры, что-то бормоча сквозь зубы коменданту о тяжелом воздухе в камерах и о вентиляции. Так все шло крещендо сокращение наших и без того ничтожных льгот. Сведения с воли совсем прекратились. Журналы за прошлый год давали нам, предварительно вырезав из них все, кроме беллетристики. В письмах от родных вычеркивалось все, кроме того, что касалось семейных дел. Но и в этом отношении, раз кто-либо из членов семьи хотя мимоходом коснется жизни общественной и об этом сообщает нам, то и это вычеркивалось. Например, одна из сестер писала мне, что она ухаживает за больными и ранеными в своей деревне; цензор нашей корреспонденции вычеркивает слово „ранеными", желая, очевидно, скрыть от нас, что происходит война. Место в письме Лопатина о его брате, офицере на Дальнем Востоке, тоже было вычеркнуто. Но тем не менее о том, что Россия воюет с Японией, мы знали. Первое сведение мы опять-таки получили, найдя в огороде вырезку из газеты, в которой говорилось, что Манджурия и Корея представляют сейчас интересное зрелище; там сейчас театр военных действий между Россией и Японией. Чрез некоторое время Фроленко, выходя из камеры с сором, был остановлен одним унтером, который, положив ему на тарелку несколько вырезок из газет, сказал: „Возьмите, это у вас выпало". В этих вырезках сообщалось об отступлении русских от Пьюжигина и об обходном движении японской армии. И вот вдруг в июне

месяце 904 года начинают появляться признаки ослабления нашего режима. В первый раз это сказалось при следующем обстоятельстве. Мы обыкновенно ежегодно праздновали рождение В. Н. В 903 году этого празднования не было, ибо В. Н. была за свой поступок с Гудзем в большой опале перед начальством и празднование дня ее рождения могло быть принято за демонстрацию, и мы, чтобы не встретить отказа со стороны начальства, провели этот день, как день рядовой. В 904 году, после того как В. Н. был сокращен срок каторги до 20 лет, мы решили в последний раз отпраздновать день ее рождения. Распоряжение празднеством взяли на себя я с Серг. Андр.[1]. Прихожу я накануне июня из ванны в мою камеру и застаю в ней сидящим на моей кровати коменданта. Поздоровавшись со мной, комендант обратился ко мне с вопросом: „Вы, кажется, завтра собираетесь устроить празднество?“ Полагая, что комендант ведет речь такую со мной, чтоб объявить мне о недозволительности со стороны инструкции такого празднества, я возмутился и стал ему говорить, что ведь не его же деньги мы будем расходовать на празднество и не казенные, а заработанные нами в наших мастерских. Комендант с благожелательной улыбкой на устах сказал мне: „Не волнуйтесь, не волнуйтесь! Я совсем не намерен вам мешать отпраздновать этот день, как вы хотите, и пришел к вам, наоборот, с целью оказать вам помощь. Например, что вы желаете, чтоб было в этот день приготовлено вам?“ Я ему сказал, что заказ уже дан господину офицеру, заведующему нашей кухней, а вот мы желали бы выпить кофе не в камерах, а на прогулке. „Ротмистр, — позвал комендант стоявшего за дверью моей камеры офицера, заведующего нашим продовольствием, — распорядитесь, чтобы приготовили им кофе и подали на прогулке“. Такой крутой поворот со стороны коменданта в переговорах наших просто поразил меня. Я стал дальше выпытывать его и закончил мой разговор с ним: не даст ли он нам журналы за прошлый год без тех вырезываний, которые он проделывал в прошлом году. „Подождите немного, — сказал с лаской в голосе комендант. — Может быть, дам не только жур-

[1] С. А. Иванов. *Ред.*

налы, но и газеты", и с этими словами выскользнул из моей камеры, как будто опасаясь преждевременно проговориться. Очевидно, в голове министра внутренних дел Плеве созревал какой-то план насчет нас, и комендант уже был посвящен в этот план, план, который потом наш прозорливый товарищ Г. А. [1] передал в следующих характерных словах: „Очевидно, нас хотят вывести отсюда через митрополичью подворотню". Но я забежал вперед. Буду продолжать в порядке событий, чтобы не ставить в недоумение читателя этих моих строк, напр., хоть по поводу слов Г. А. насчет митрополичьей подворотни. В конце июня нам наш староста, в это время М. В. Новорусский, на гулянье сообщил, что был у него комендант и сказал ему, что нас желает посетить одна высокопоставленная дама, что он рекомендует нам принять ее, ибо она, в силу своего высокого положения, может многое сделать в облегчении нашей участи, но что он не советовал бы нам обращаться к ней с просьбами мелочными. На это ему М. В. ответил, что он об этом передаст товарищам и думает, что против посещения никто, вероятно, ничего не будет иметь, но что с просьбами к ней никто, конечно, не станет обращаться, так как было бы нелепо ко всем, кому к нам заблагорассудится притти, обращаться с какими бы то ни было просьбами. Действительно, 1-го, помнится, июля к нам явилась княжна Мария Мих. Дондукова-Корсакова. Была она в этот раз у В. Н., Морозова и М. В. и сообщила им, что 9 июля нас желает посетить митрополит Антоний. На другой день она была еще у нескольких человек. В этот раз ее сопровождал комендант и через неплотно закрытую дверь слушал, о чем она говорит с нами. Очевидно с ней условились, что она не должна ни о чем говорить с нами, а только лишь по вопросам религиозного характера. На первый же день ее посещения В. Н. произошел такой инцидент. Она рассказывала В. Н. о своей общине сестер милосердия, устроенной ею в Порховском уезде Псковской губернии, и о целях, преследуемых этой общиной. До слуха коменданта через щель двери, вероятно, донеслись слова: сестры милосердия; он вызвал М. М. и сказал ей что-то. Очевидно, он думал, что она ведет разговор с В. Н. о

[1] Г. А. Лопатин. *Ред.*

войне нашей с Японией. Так, по крайней мере, можно было бы заключить со слов М. М. на его замечание, сказанных громко. Она сказала ему: „Что вы, М. Николаевич, я совсем не о том говорю с В. Ник.“. 9 июля, во время обеда, обошел пас всех один из помощников коменданта и сообщил нам, что „приехал митрополит из Петербурга, Антоний, и просил меня спросить вас, желаете ли вы, чтоб он посетил вас, так как он говорит, что он не желает без позволения вламываться в ваши камеры“. За исключением Г. А., который сказал офицеру, что он не спрячется под кровать, если митрополит пожелает войти к нему, но лично он не имеет особенной нужды видеться с ним, все остальные сказали, что они не имеют ничего против. Я ответил так: „Я не знаю, что побудило митрополита побывать у меня в камере, и потому отказать ему в таком желании было бы с моей стороны неделикатно“. Митрополит обошел нас всех, начав с Антонова. В каждой камере он провел не менее 10 минут в разговоре. Явившись в мою камеру, он увидел в углу иконку, присланную мне матерью, перекрестился на нее и стал меня благословлять со словами: „Увидел у вас икону и потому заключаю, что вы верующий“. Я ответил ему на это, что икона имеется в моей камере не потому, что я верующий, а потому, что это память моей матери. Но он уже благословил, с этими словами мы поцеловались. Беседа со мной была самая сердечная и оставила во мне хорошее впечатление. Так, напр., говоря со мной о моей родине, чрез которую он почти ежегодно проезжает по пути на Кавказ, куда он думает и в этом году также уехать, он остановился внезапно, помолчал и затем сказал мне: „Вот я хвастаюсь, что поеду на Кавказ чрез вашу родину, а того и не подумал, что тем, быть может, причиняю я вам боль лишнюю, — ведь вы-то поехать не можете“. Сказал он это не так себе, не потому только, чтоб что-нибудь сказать, а действительно он, вероятно, искренно жалел о том, что он, как сказал, хвастает предо мной, так что я счел нужным со своей стороны успокоить его, сказав ему, что в качестве агитатора я встретил в одной деревне старуху-философа, которая, говоря со мной о несчастиях, каковые постигают человека в жизни, сказала мне: „Хорошо еще, что бог дал людям привычку — ко всему люди привы-

кают“. Так и я привык и никому не завидую из тех, кто может пользоваться тем, чем не могу пользоваться я. Посещение митрополита нам всем ломало голову, хотелось проникнуть в тайны плана, несомненно имевшегося в виду по отношению к нам. В том, что нас посетила М. М., не было ничего удивительного и неразгаданного, по крайней мере для меня. Я часто с ней беседовал и убедился, что она глубоко верующий человек и христианка в истинном смысле этого слова. Ее одна обрядность и молитвы не удовлетворяли, и она всей душой стремилась к действительному христианству, и ее послали в первую голову к нам, хорошо зная, что она сделает это с истинным удовольствием. Но каким образом попал к нам митрополит? По своему личному почину при таком министре, каковым был Плеве, едва ли митрополит достигнул бы того, чтоб его пропустили к нам, если б только Плеве находил это лишним для своих целей. Это уже априорное соображение говорит за то, что тут есть какой-то план, относящийся к нашей судьбе. За это же говорит и то обстоятельство, что с 15 июля, когда был убит Плеве, не была у нас вплоть до января и М. М., заявившись к нам на несколько дней, чтоб сообщить нам, что, по неопределенным обстоятельствам, она долго не будет бывать у нас, хотя раньше говорила, что будет у нас часто и боится, чтобы своими посещениями не наскучить нам. Но еще больше в пользу этого говорит то, что комендант вдруг изменил свои взгляды на посещение М. М. нас. Он вскоре после 15 июля говорил о М. М. новости. Напр., однажды он сказал Серг. Андр. или М. В. так: „Охота вам принимать у себя эту старуху. Раньше я думал, что она что-нибудь действительно может сделать в вашу пользу, а потом убедился, что она одна из тех, которые обивают пороги у министров, и от которых чтоб отвязаться, министры иногда удовлетворяют их просьбы“. В январе вновь появилась у нас М. М., пробыла у нас с неделю, сообщив нам, что она едет в Архангельск к В. Н. в гости и, возвратившись оттуда, вновь явится к нам надолго, и между прочим стала заговаривать о нашем освобождении. После отъезда М. М. через несколько дней явился к Сер. А., который был в это время старостой у нас, комендант и сообщил, что он получил от директора департамента полиции письмо,

которое поручено прочесть нам. В письме этом директор департамента просит коменданта сообщить нам, что, по просьбе митрополита, нам разрешается бесцензурная переписка с митрополитом, при чем коменданту разрешается дать нам сургуч для запечатания писем, для большей уверенности нас в том, что наши письма департаментом полиции читаться не будут. При этом со своей стороны комендант предложил Серг. Андр. свою печать. „Знаете, — сказал он, — для всякого случая лучше запечатать письма печатью... Я нисколько не сомневаюсь, что директор департамента, раз уже сказал, что вам разрешается бесцензурная переписка с митрополитом, то он свое слово сдержит; но, так сказать, мелкая какая-нибудь сошка (я заменил нецензурное слово словом сошка, он употребил слово, недопустимое в печати) может поинтересоваться и прочесть ваше письмо. Серг. Андр. ответил ему на это, что то, что каждый из нас напишет митрополиту, не будет таким секретом, что нужно бы было прибегать к особым предосторожностям, и обещал сообщенное им ему передать всем своим товарищам по заключению. На приглашение митрополита вступить с ним в переписку немногие откликнулись. Написали митрополиту: Серг. Андр., Морозов, Стародворский и Новорусский. Письма были скорее любезностью митрополиту со стороны написавших. Серг. Андр. вступил в полемику с ним в своем письме по поводу бесцельности мер наказания по отношению к людям идейным, поступающим в жизни согласно своим убеждениям. Морозов попросил его доставить ему книги, которые имеют своим предметом откровение Иоанна Богослова. Новорусский просил о том, чтобы нам разрешили вновь готовить для музея гербарии и коллекции. Один только Стародворский написал письмо, в котором просил митрополита о том, что в случае, по поводу рождения наследника, к нам будет приложим манифест, то чтоб он похлопотал о разрешении ему отправиться на войну, в действующую армию против Японии. Я забыл сказать, что в это время нам уже разрешили читать некоторые еженедельные газеты за прошлый год, большая часть которых, как „Разведчик“, „Нива“ и еще одна специально посвященная войне, с Георгием на обложке, поражающим дракона, название которой я теперь не помню, были в чрезвычайной мере патриотические, откуда мы

задним числом, или, вернее, задним годом читали о наших подвигах на Дальнем Востоке. Ответа от митрополита пришлось ждать очень долго, и, кажется, всего-навсего один Морозов только и был удостоен ответа, остальные так и не дождались ответа митрополита. Мне кажется, что я недалеко уйду от истины, если скажу, что все эти эксперименты при помощи митрополита и других имели целью как-нибудь развязаться с нами. Плеве предвидел, что Шлиссельбургская тюрьма понадобится для других, более нас требующих прочного и недоступного помещения, каковым и была в распоряжении его Шлиссельбургская тюрьма. Но и с нами он не хотел рассчитываться, не попытавшись сорвать, что удастся сорвать, или, по крайней мере, не заглянув поглубже в нашу душу. Во время стояния у кормила правления Мирского, во время так называемой ныне в России „весны", нас оставили в покое. Вскоре у кормила правления стал Булыгин, руководителем которого был Трепов, и они, очевидно, совместно решили довести до конца план Плеве. М. М. нам тоже очень часто стала говорить о большом к нам расположении Трепова. Наконец, неожиданно, в июле 904 года является к Стародворскому комендант и объявляет ему, что он получил из департамента полиции распоряжение снарядить его в путь. Все мы объяснили себе это так. Очевидно, митрополит похлопотал, чтобы исполнили патриотическое желание отправиться на театр военных действий, и Стародворский уезжает в Манджурию. Проводили мы Стародворского и ждем, что за этим последует. На другой день ко мне в огород заходит Антонов и говорит мне: „Ты знаешь, что Стародворский приехал обратно?" Я подумал, что Антонов шутит, но нет, Антонов серьезно говорит. Я хотел было уже итти посмотреть на Стародворского и послушать, что он привез нам за новости из Петербурга, но Антонов передал мне, что Стародворский обещал зайти ко мне в мой огород. Скоро после этого пришел и Стародворский и сообщил мне кучи новостей. Он рассказал мне, что его прямо с парохода, приставшего у Летнего сада, отправили в департамент полиции. В департаменте директор департамента Вучич или Вулич, хорошо не помню, уже поджидал его. Разговор со Стародворским произошел такой. Директор сказал ему: „Вы просились на войну, но война

приходит к концу, на-днях, вероятно, уже будет заключен мир. Так что, значит, ехать вам на войну не придется. Война эта страшно непопулярна в обществе, так что мир будет заключен во что бы то ни стало". Прошелся мимоходом насчет генералов, назвал их бездарностями и вообще говорил о том, что Россия, не спросившись броду, сунулась в воду, и оказалась совершенно неподготовленной к войне с таким врагом, как Япония. „А вот что, — перевел потом разговор директор, — скажите, пожалуйста, чем бы вы занялись, если бы мы выпустили вас на волю?" Стародворский ответил ему на это, что, не располагая никакими личными средствами к жизни и не имея родных, обладающих такими средствами, он прежде всего позаботится о своем личном устройстве и об обеспечении. „А приходилось ли вам слышать о том, что у нас в России существует партия социал-демократов, и не скажете ли вы мне, как вы относитесь к учению этой партии?" Стародворский ответил ему, что теории этой партии не признает, и что „если вы, директор, интересуетесь моими общественными взглядами, то я рекомендую вам прочесть письмо Исполнительного Комитета партии „Народной Воли" к Александру III", — на что ему Вулич ответил, что он читал это письмо. „Значит, вы причисляете себя к так называемой партии у нас в России: народников?" — спросил директор Стародворского. Стародворский ответил ему утвердительно. „А вот, кстати, — продолжал директор, — я вам могу сообщить приятную новость. На-днях у нас выйдет указ о Государственной Думе. Правда, предполагаемая Государственная Дума будет не парламент в европейском смысле, а лишь только совещательное собрание по вопросам законодательства, но в нашей Государственной Думе (вам, вероятно, как народнику, приятно будет услышать это) крестьянству будет отведено достаточно мест, так что крестьянство будет иметь возможность непосредственно доводить до сведения правительства о своих нуждах. Правительство русское, — продолжал директор, — решительно убедилось в том, что единственный надежный класс в России — это крестьянство, и что пора, давно пора ему опереться на этот класс, употребить все усилия на то, чтоб поднять на должную высоту культурный уровень крестьянства и стоять неизменно на страже инте-

ресов крестьянства. Таким образом, всем, кто одинаковыми глазами с правительством смотрит на крестьянство, предстоит в будущем широкое поле деятельности на этом пути. Повторяю еще раз, что правительство непоколебимо убедилось в том, что пора, давно пора обратить должное внимание на наше крестьянство, что благоденствие и счастие России связано тесно с благополучием и достаточно широкими материальными и культурными благами именно только крестьянства, на которое до сих пор мало было обращено внимания. Затем еще один вопрос позволю себе предложить вам, — сказал директор. — Обещаете ли вы, если вы выйдете на волю, не заниматься политическими делами? Я должен вас предупредить, что вас будут разыскивать, добиваться с вами вступить в сношение, напр., хоть те же социал-демократы, и нам интересно было бы знать, как вы будете ко всему этому относиться. Вообще я вам должен сказать, что наше общество оказалось не на высоте требований, которые предложило к нему современное положение вещей в России, и правительству с большим трудом приходится проводить те реформы, в которых так нуждается сейчас наша родина. И вот я еще раз ставлю вам вопрос, — даете ли вы мне слово, что вы не будете принимать участия в политических делах?“ Стародворский ответил ему на это так: „Дать слово честное в тех условиях, в которых находятся они, когда они ничего не знают, что происходит в России, было бы с его стороны легкомысленно. Притом, что значит в ваших устах принимать или не принимать участие в политических делах?“ На этот вопрос Стародворского директор отмолчался, и Стародворский ему сказал, что такого обещания ему он дать не может. После этого директор департамента пошел к телефону, переговорил, по догадкам Стародворского, с Треповым, возвратился вновь к Стародворскому, посмотрел на часы и сказал ему: „Вам пора ехать, ибо уже поздно, а вам нужно засветло проехать пороги Невы“. Так кончилась аудиенция Стародворского у Вулича, и Стародворский, к удивлению всех обитателей уединенного острова, вновь очутился на нем. Это путешествие Стародворского имело то значение для нас, что он нам привез целую кучу новостей, которые не могли нам и во сне присниться в Шлиссельбурге. Он нам рассказал о

происшедшем на броненосце „Потемкине Таврическом", о волнении матросов в Одессе и в других портах. Он же нам сообщил, что уже вышел указ о созыве Государственной Думы и что на-днях будет обнародован закон о выборах в Думу. Словом, со слов Стародворского нам стало известно, что в России происходит революция. Надо еще сказать, что директор департамента полиции просил, чтоб Стародворский дал ему слово, что он не сообщит нам, оставшимся еще в Шлиссельбурге, о том, что он узнал от него, директора департамента. Но Стародворский, конечно, такого обещания не дал ему, но заметил, что это — façon de parler со стороны директора, а что и вызван был Стародворский лишь для того, чтоб именно мы узнали то, что он рассказывал Стародворскому. Очевидно, он думал так: если Стародворский не пошел на его предложение воспользоваться свободой на известных условиях, то, может, кто другой воспользуется этим, и считал нужным, во всяком случае, еще раз довести до нашего сведения, на каких условиях мы можем вновь очутиться на свободе. Я сказал, что Стародворский узнал от директора департамента полиции об учреждении в России Государственной Думы. Опираясь на то, что все равно нам уже известно об учреждении в России Госуд. Думы, мы стали домогаться у коменданта, чтоб он дал нам прочесть положение о Г. Думе. Комендант нам ответил, что на свою ответственность он не может разрешить нам этого, но что он скоро будет в департаменте полиции и передаст нашу просьбу директору департамента. Возвратившись из Петербурга, комендант сказал нам, что директор разрешил ему, коменданту, неофициально выдать нам положение о Думе, и таким образом, хоть и неофициально, познакомить с положением о Думе. Конечно, это дало нам богатый материал для наших разговоров во время прогулки, мы разбирали детально все параграфы этого положения, подвергали их критике, нисколько не смущаясь присутствием нашего караула. Жандармы, как унтера, так и офицеры, прислушивались к нашим рассуждениям на этот счет. В разговоре со смотрителем по поводу положения о Думе кто-то из нас спросил его, — как относится общество русское к проектируемой Думе? Смотритель ответил, что так

же точно критикует, как и мы, недовольно и требует Думы с законодательными функциями. Вообще в это время весь надзор на дворе в Шлиссельбурге, от офицеров и до унтеров, сообщал нам о том, что происходит за стенами Шлиссельбургской крепости. Так, напр., выражаясь языком департамента полиции, официально нас решено было знакомить с войной за прошлый 904 год, но комендант сообщал неофициально о важных моментах войны и в 905 году. Так, он сообщил нам о поражении нашем при Мукдене, об уничтожении русского флота при Цусиме, но, конечно, всегда заканчивал речь о поражении русских тем, что вот-вот скоро в распоряжении русских полководцев будет достаточно войск и что тогда, конечно, Япония будет введена в границы ее островов. Часто было, что по предыдущему сообщению коменданта у нас, напр., при Мукдене, было уже достаточно войск, чтобы раздавить Японию, у которой к тому времени армия уже состояла из одних мальчиков и стариков, а затем в последующем сообщении, после того, как безусые мальчики и дряхлые старики Японии наносили нам поражение, комендант со вздохом говорил нам: „Ничего не поделать: у нас войск в этой битве было по крайней мере вдвое меньше, чем у японцев“. Так мы доживали последние дни в Шлиссельбурге, пробавляясь обрывками тех сведений о внешнем и внутреннем положении России, которые по временам сообщали нам жандармы. В сентябре месяце, числа 15—20,—хорошо не помню,—мы все сидели уже под замком, часов в 8 вечера, к Стародворскому явился смотритель и сказал ему: „Ну, собирайтесь опять в Петербург,—завтра часов в семь утра за вами приедет пароход“. Стародворский спросил: „А на этот раз с багажом мне уезжать или без багажа?“ Смотритель сказал: „Не знаю, но лучше не берите багажа; в случае если вы не возвратитесь вновь к нам, то мы вышлем ваш багаж“. Мы распрощались с Стародворским с вечера, и наутро, вставши, узнали, что Стародворский уже уехал, при чем один из унтеров сказал: „Теперь же созываются депутаты от всех губерний и земских учреждений, вот и от нашей губернии потребовали депутатом Стародворского“. Вечером в этот день Стародворский не явился, не явился и на другой день, а на третий день смотритель

сказал нам, что Стародворский больше не возвратится к нам, ибо по распоряжению из департамента полиции отправлены его вещи в Петербург. Стародворского мы увидели уже в Петербурге, куда и нас привезли в Петропавловскую крепость. Он тоже сидел там же, и когда мы вышли на прогулку, то, к удивлению нашему, среди нас появился и Стародворский, сообщивший нам о том, что было с ним с того времени, как мы распрощались с ним в Шлиссельбурге в средине сентября. Рассказал нам Стародворский, что, по приезде в Петербург, он имел аудиенцию уже у самого Трепова; я не помню подробностей рассказа об этой его аудиенции, ибо в это время был в большом волнении в ожидании моих родных, которых не видел больше четверти века, и мои мысли были заняты моими родными, сведения о приезде которых мне уже дали в крепости. Вероятно, со временем об этом Стародворский сам сообщит в печати. Я только скажу, что Трепов говорил ему почти то же самое, что и директор департамента полиции. Центральным гвоздем этих переговоров было затруднительное положение правительства при проведении реформ, в которых нуждается Россия, ибо, по словам Трепова, русское общество в политическом отношении мало созрело и потому руководить им не так-то легко и приходится прибегать к мерам, к которым правительство прибегает только в силу необходимости. Приблизительно в общих штрихах такой был разговор между Треповым и Стародворским. Принимая во внимание то, о чем часто в наших разговорах в Шлиссельбурге проговаривалась М. М., я думаю, как это нелепо. Трепов, очевидно, рассчитывал на то, что мы можем сыграть роль в умиротворении России. Напр., в разговоре со мной М. М., говоря о тех ужасах, которые происходят в России, однажды сказала мне, что, по ее мнению, мы можем при нашем положении сыграть крупную роль в успокоении России. Если рядом с этим поставить то, что, по ее словам, Трепов относится к нам с большим уважением и готов сделать для нас все хорошее, то, мне кажется, позволительно думать, что на этот счет и в таком именно духе Трепов вел разговоры с М. М. Впрочем, я, как уже сказал выше, предоставляю выяснить это дело Стародворскому, я же только скажу то, что в разговоре

Стародворского с Треповым, очевидно, когда шла речь об умиротворении России, Стародворский спросил Трепова: „Разве предвидится борьба впереди?“ На этот вопрос, по словам Стародворского, Трепов довольно решительно сказал: „Да, борьба будет“, — и даже сделал какой-то угрожающий жест рукой по адресу тех, с кем Трепов считал необходимой борьбу.

После отъезда Стародворского из Шлиссельбурга у нас наступило временное затишье, приток новостей прекратился, и наши мысли были больше заняты тем, что рассказывал нам Гершуни о делах в России до его ареста. Обаятельная сама по себе личность Гершуни и его сообщения о том, какое направление социалистическое движение принимает в настоящее время в России, заставили нас забыть о своей личной судьбе. Мы рады были скорому обновлению России и легко мирились с тем, что нас обошел и в этот раз манифест, изданный по поводу рождения наследника русского престола. Слушали мы поочередно, — поочередно потому, что мы не могли все собираться в огороде так называемом большом, где находилось большинство парников и где нам разрешалось быть в числе 4-х. Но в конце первой половины октября мы стали замечать, что жандармы с большим интересом читают газеты. В окно моей камеры дневной, которая выходила в ту сторону, где находились квартиры наших караульных, мне не раз приходилось видеть, как то доктор, то офицеры, совместно с их дамами, гуляя по аллеям, с жадностью брали из рук принесшего солдата газету и тут же кто-нибудь читал ее вслух. Унтера тоже вытаскивали из-под полы газету, как только сходили с вышки, с которой они наблюдали за нами, и с захватывающим интересом читали. Мы начали при удобном уединении с тем или другим унтером, который позволял себе иногда кое-что сообщать нам, спрашивать о новостях. Числа, вероятно, 18 октября я спросил одного такого унтера, который сначала сказал мне, что новостей много: „но боюсь я лишнее говорить вам, — сами ведь знаете, что нам за это может нагореть“, — но потом, вероятно, не сдержав своего желания поделиться приятной новостью и со мной, сказал: „Там пятой так наступили на хвост бюрократии, что аж только пыль из них сыплется“. И затем, проводив

меня до запертых дверей моего огорода, быстро поворотив, ушел от соблазна проговориться больше. Вскоре после этого проходил по вышке смотритель; когда он поровнялся с моим огородом, я спросил его, каковы новости сообщают нынче газеты. „Сегодня, — ответил смотритель, — есть крупная новость. Вчера объявлен манифест уже настоящей конституции, теперь уж Дума будет не совещательным собранием, а законодательным“. — „Очень приятная новость,—сказал ему на это я.—А скажите, —спросил я вновь его, — обыкновенно, когда в других государствах издавался акт о конституции, то вместе с тем объявлялась амнистия по политическим делам, у нас насчет амнистии ничего нет?“—„Пока,—ответил мне смотритель,— об амнистии ничего не слышно“,—и прошел дальше своим путем. Стоявший пред моим огородом унтер, когда смотритель ушел, обратился ко мне со словами: „Тоже скрывают, — там требуют амнистии для вас, и вас, наверно, скоро увезут. Во всяком случае, наверно, не позже 20 февраля, когда соберется Дума“. Вместе с этим он рассказал мне о забастовке. „Никто, — сказал он мне, — ни за какие деньги не хотел становиться на работу, и потому железные дороги не ходили, ну, словом сказать, все было отрезано. Кто был в дороге, так на дороге и остался“. — „Ну, а сейчас?“ — спросил я. „Сейчас, — ответил унтер, — движение началось, потому эти уступили. Там что только делалось, просто любо-дорого читать. Задали-таки им за то, что в японском море отдали матросиков на съедение ракам. Словом, теперь нет такого дурака в России, который сказал бы, что все должно быть по-старому, все стали смотреть открытыми глазами“.

Опять наступило маленькое затишье на нашем острове. Наши все надежды сосредоточились на 20 февраля 906 года. Нас только смущало то, что в начале октября рядом с нашей тюрьмой заложили постройку церкви, и в головы наши стали западать мысли о том, что храм готовят для нас в виде амнистии. Правда, М. М. нам подавала надежды на скорое освобождение, но в это время среди нас начинали закрадываться сомнения насчет искренности М. М. Если раньше Г. А. один относился с большим сомненеем к роли М. М., то теперь под влиянием Гершуни, и многие стали с большим сомнением от-

носиться к ней. Некоторые при своем свидании с М. М. давали ей это понять. Мне пришлось, по поручению Мельникова, довольно обстоятельно на этот счет поговорить с нею, и вот по какому поводу. Мельникову что-то чрез М. М. передала его жена, Мельников отказался принять от нее переданное ему его женой и письменно изложил М. М., почему он не желает чрез нее получать переданное ему его женой. В письме своем к ней он не только ясно, но и резко определял ее роль и цели начальства, разрешившего ей свидания с нами. Правда, он оговаривался и допускал, что она, вероятней всего, слепое орудие в руках других, но, тем не менее, он не может продолжать с нею своих свиданий и пользоваться ее услугами даже в виде той, о которой сейчас идет речь. Письмо это Мельников поручил передать ей мне. Я прочел ей письмо Мельникова и, конечно, стал на сторону Мельникова. Я сказал ей, что, в сущности говоря, ее роль для нас довольно-таки загадочная роль, и потому она должна помириться с тем, что сомнения такого рода в нашем положении вполне понятны. Она, к чести ее должен сказать, согласилась со мной и просила меня передать Мельникову, что она вполне понимает его. „Но надеюсь, — сказала она мне, — что вы по крайней мере не сомневаетесь в чистоте моих намерений по отношению к вам всем. Моя цель по отношению к вам продиктована учением Христа, и боже меня сохрани, чтоб я позволила себе врываться в вашу душу. Для меня политика не существует, моя единственная политика — учение Христа“. Я успокоил ее и поступил так не из деликатности только, а потому что вполне верил ее словам, и верил потому, что из предыдущих ее бесед со мной знал, что ее взгляды на христианство не сходны и очень расходятся со взглядами нашей официальной церкви. В религиозном отношении, насколько я понимаю, у нее нет отечества и она стоит за необходимость обновления, без различия, всех церквей христианства. Впрочем, sapienti sat, и я думаю, что я отклонился в сторону.

Так мы прожили до 26 октября. Утром в этот день мы с Гершуни в моем огороде читали декабрьскую книжку „Рус. Бог.“, именно „Внутреннее обозрение“ симпатичного мне по складу ума Мякотина. Про что мы и начали

беседу по поводу этой статьи с Гершуни. Вдруг вбегает к нам запыхавшийся Г. А. и говорит: „Что вы тут сидите, идите в первый огород, там все: амнистия“. Мы с большим скептицизмом шли в первый огород, но действительно в огороде мы застали всех в сборе. Здесь были, кроме наших, комендант с бумагой в руках, доктор, смотритель и остальные офицеры. Я уже не застал чтения бумаги, и мне уже товарищи сказали, что для всех тех, кто просидел более 10 лет, полное освобождение из тюрьмы и перевод на поселение, для просидевших же менее 10 лет сокращение срока наполовину. Но комендант тут же сказал, что он думает, что нас на поселение не пошлют, куда, напр., на поселение еще отправлять Морозова или вот их, указал он на Фроленко, просто, вероятно, сдадут родным на руки. Затем комендант спросил, когда мы намерены отправиться в путь, ибо „я не имею права вас задерживать в тюрьме ни одного часа, а между тем мне нужно сообщить в департамент, когда он должен прислать за вами пароход“. Мы решили ехать 28-го, сказав коменданту, что нужно же собраться в путь, на самом же деле мы так поступили потому, что нужно было произвести чистку, т. е. убрать все то, что находили нежелательным, чтобы оно попало в руки жандармов. Мы знали хорошо, как тщательно обыскивали всех, кто раньше нас уехал из Шлиссельбурга, и притом как здесь, в Шлиссельбурге, так и в Питере, в Петропавловской крепости. Поэтому на другой день, т. е. 27 октября, развели огонь в нашей кузнице и предали сожжению плоды своих дум, которые за долгие годы пребывания в Шлиссельбурге были занесены на бумагу. Потом мы пожалели о том, ибо нас не обыскивали ни в Шлиссельбурге, ни в Петропавловской крепости, и мы могли бы нужное, более или менее достойное того, провезти свободно. 28-го за нами прибыли из Петербурга два парохода. Мы спешно пообедали, потом прослушали напутственную речь Гершуни, которая нас растрогала до слез, братски расцеловались с оставшимися там — с Гершуни, Мельниковым и Карповичем — и отправились на пристань. По дороге туда нас завели в канцелярию, где посидели очень недолго, распрощались с нашими сторожами и собирались уже двинуться в путь, как из-за канцелярского стола встал взволнованный унтер-офицер Си-

доров и, обратившись к коменданту, сказал: „Ваше высокоблагородие, я служил честно и только вот на-днях заходил в мастерскую господина Попова и на его вопрос: „что новенького, Сидоров“, покривил душой и сказал: ничего не знаю, Пятый. Теперь уж позвольте распроститься с моими равелиновцами“. С этими словами он поцеловался трижды с Фроленко, Морозовым и потом подошел ко мне со словами: „Вот мой господин Пятый. Простите мне, я никогда не желал вам зла, а такая уж моя служба“. Мы расцеловались с ним, и затем он шел рядом со мной до самой пристани без шапки. Говорил мне о том, как часто он говорил обо мне вместе со своей старухой в своей квартире. „Сын тоже мой часто нападал на меня из-за вас, и тот бросил нас. Плачем, бывало, это мы со старухой по сыне, я утешаю ее, что, мол, так же может, плачет матушка господина Попова, которого я караулил в равелине“.

На пристани уже собралось все население острова. Мы стояли на мостках, рядом со мной стоял Сидоров. „Не откажите,— обратился он ко мне,— посмотреть на мою жену, она вот здесь“. Я охотно согласился и пошел за Сидоровым, и он, указывая на плачущую женщину, сказал мне: „Вот это и есть моя жена“. Я пожал ей руку. В это время подошел к нам Антонов и, указывая на рядом стоящую с женщиной девушку, сказал: „Сидоров, это, кажется, ваша дочь?“ Он подтвердил слова Антонова, и мы оба пожали и ей руку и попрощались, при чем женщина напутствовала нас словами: „Пошли вам господь всего хорошего хоть теперь“. Две дамы культурные, жены офицеров, ободренные, очевидно, обхождением нашим с Сидоровым и его женой, тоже подошли к нам, пожали нам руки и просили верить им, что они искренно радуются нашему освобождению... Затем мы вошли на пароход и оставались на палубе, с острова нас провожали дамы, махая белыми платками, унтера фуражками. В каюте, куда нас просил войти офицер, мы застали обилие яств и чай. Нам было не до еды, и мы кое-что попробовали, выпили по стакану чаю и вышли вновь на палубу. Жалкие красоты природы Шлиссельбурга нам казались чем-то феерическим после столь долгого прозябания в стенах крепости, во дворе тюрьмы, где, кроме старых крепостных

стен серых, наш глаз ни на чем не останавливался. Если б теперь кто-либо спросил, хороши ли окрестности Шлиссельбурга, то, вероятно, я бы ввел в заблуждение спросившего, ибо теперь сам не могу сказать, хороши ли или дурны они. Нам казался расстилавшийся пред нами горизонт, не скрытый от наших глаз крепостными стенами, чем-то необычайным, что только может присниться во сне, а не наяву. На пароходе офицер, сопровождавший нас, познакомил нас со всеми перипетиями борьбы, которая предшествовала манифесту 17 октября. Сообщил нам о том, что 17 октября не всех удовлетворяет и многие требуют республики, но что, по его мнению, до республики нужно еще лет 50, по крайней мере, чтоб она могла осуществиться у нас в России. Вечером, когда уже начинало темнеть, мы пристали к пристани Петропавловской крепости, так что противоположный берег Невы едва мы могли видеть. Зимний дворец в своих очертаниях представлялся какой-то неясной громадой. Но скоро и это скрылось, и мы попали в казематы Петропавловской крепости. Здесь ничего достойного замечания не происходило. Разве только то, что мы в первый раз узнали, до какой степени за время нашего отсутствия из жизни вырос антисемитизм в России. Веревкин познакомил меня со всеми теми страхами, которые грозят России со стороны евреев, но все это так неинтересно и глупо, что, вероятно, эта глупость, этот бред всем оскомину набил и потому я не стану об этом говорить. Скажу только, что когда я слушал Веревкина, то причислил его к психически ненормальным людям, но затем убедился уже на воле, что это не больше, не меньше, как прием борьбы с охватившим русский народ освободительным движением. Сколько потом мне пришлось слышать о так называемом еврейском нашествии и сколько потом пришлось спрашивать не раз, кого они могут этим обмануть! Впрочем, будет об этом.

С 23 октября до 15 ноября судьба моя взвешивалась на весах тех, кому поручено было ее взвесить. В это время я имел свидания два раза в неделю с родными, от которых узнал о происшедшем в нашей родне, узнал, кто умер, кто вновь народился и вырос и пр. Из газет же, доставляемых нам все еще, хоть для вида, конспиративно, я постепен-

но знакомился с тем, что происходит за стенами цитадели абсолютизма. 15 ноября меня предупредили об отъезде и предложили приготовиться, при чем сообщили также, что я отправляюсь на родину в г. Ростов вместе с моей матерью и сестрой. Часов в пять вечера пришли за моими вещами, я вышел, сел в карету, где меня ожидали два гороховых пальто, и мы поехали. Но перед квартирой коменданта крепости карета остановилась, из квартиры вышел какой-то жандармский полковник, который тоже сел рядом со мной в карете и для первого знакомства, как в обычае у всех жандармов, предложил папиросу с вопросом: „Вы курите?“ Я отклонил любезность полковника, сказавшись некурящим, хотя это была и неправда, зная по опыту, что за сим последует какой-нибудь подвох. Действительно, начал. „Вас будут сопровождать на место вашего назначения вот эти унтер-офицера в штатском платье. Им даны на руки кормовые—50 коп., которые вы от них и требуйте. Им же переданы деньги на покупку билета 3-го класса, но если вы желаете ехать во 2-м классе, то уж вы должны доплатить как за свой билет, так и за билеты сопровождающих вас“. Выслушав его до конца, я сказал ему, что мне сообщили в Петропавловской крепости, что я буду ехать вместе с моими родными, мне нужно поэтому знать от него, где я с ними встречусь. „Странно, мне ничего об этом не известно, и я решительно ничего не могу сказать по этому поводу. Вы, конечно, не поверите мне, что я говорю совершенную правду. Уверяю вас, что по этому поводу я не получил никаких распоряжений. Вам об этом ничего не было сказано?“—обратился он к гороховым пальто.—„Точно так, ваше высокоблагородие, мы не имеем распоряжений на это“.—„Удивительно, право, и так это всегда. Вам скажут одно, а нам другое. Как честный человек говорю вам, я решительно ничего не знаю о том, что вам обещали отправить вас с вашими родными“. Для меня, человека, проведшего более полустолетия с жандармами, ясно было, что от начала и до конца мой провожатый врет, но я не понимал решительно, зачем все это нужно было, и прекратил разговор. Приехал я на Николаевский вокзал до отхода поезда часа за два и был помещен в жандармском отделении вокзала. Полковник мой исчез,

о чем-то пошептавшись с моими чичероне. Сижу и думаю, придется ли мне ехать с родными или одному. Вдруг входит в ту комнату, где я сидел, дама. Это была сестра жены моего брата, которую я видел 30 лет тому назад, но, тем не менее, я моментально ее узнал и припомнил ее имя и отчество. „Скажите, пожалуйста, вы не Елена ли Дмитриевна?“ — „Да, — ответила она, — а вы Попов?“ — спросила в свою очередь она. Я тоже подтвердил ее догадку. Рассказал я ей о мистификации, которой я был сейчас жертвой. Она сообщила мне, что моя мать и сестра сейчас прибудут на вокзал. Я попросил ее сообщить им, где я нахожусь. Она ушла. Только она ушла, как меня попросили перейти в другую комнату, предложили снять верхнее платье и, если угодно, прилечь на диване до отхода поезда. От отдыха я отказался, верхнее же платье снял, потому что было довольно тепло. Вдруг другая дама появляется и в той комнате, куда меня вновь ввели. То была Лидия Николаевна, и хоть я ее раз всего мельком видел в жизни, но зная ее по фотографии, которую имела в Шлиссельбурге В. Н., я к ней обратился с вопросом, — не Лидия ли она Николаевна. Оказалось, что и в этот раз я не ошибся. Когда, вероятно, убедились, что больше негде скрыть меня, мне предложили спать в вагоне, куда скоро пришли мои старые друзья, которых я так давно видел, и я провел время до отхода поезда в беседе. А затем уехал в Ростов на свою родину.

ЛЮБА [1]

(Из воспоминаний детства)

Как живучи и ярки впечатления детства! Мне теперь 45-й год, и, не угодно ли вам, — год тому назад мне снилось: я, маленький Миша, сижу в кругу таких же маленьких моих товарищей на скамье под акацией. Саша держит небольшую черную гармонику, которую подарил ему помещик нашей деревни, и играет, а мы под гармонику напеваем вот эту нехитрую песенку: „а Любушка, Любушка, сизая голубушка“...

Последний аккорд гармоники еще замирал в моих ушах, когда я проснулся. Сон был так реален, так полон подробностей сцены и места, что я, проснувшись, был под его обаянием. Я уже наяву сказал:

— Ну, Саша, еще!

И затем только спохватился:

— Постой, да ведь мне 44 года, и я совсем не в родной мне деревне, а... а здесь... — Но и это не остановило меня. Предо мной пронеслась вереница воспоминаний, пока я не остановился на одном из них.

Я вспомнил наш острог (так называли в нашей деревне маленькую тюрьму) и единственного узника его — Никиту.

Я подумал: быть может, это первый острый шип в моей жизни, пронзивший впервые мою безмятежную детскую душу.

Расскажу. Пусть узнают современные дети, как жили некие дети в крепостной деревне, невольные свидетели канувшей в вечность крепостной неволи, и как она отдавалась в их детских душах, когда они подошли к ней в лице Никиты, жертвы этой неволи.

Но тут предстала предо мной белокурая головка с искрящимися голубыми глазками, головка Любы, девочки 6—7 лет. Глазки эти словно говорили мне:

[1] „Вестник Европы“, 1911 г., № 11.

„Это я, Люба, помнишь? Ты хочешь рассказывать о Никите? Ну, бог с тобой, только мне стыдно". И мои воспоминания понеслись в сторону Любы.

Но несколько слов о нашей деревне. Наша деревня, если вы въезжаете по единственной дороге, ведущей в нее, представлялась в таком виде: направо море; впереди вдали лиман. В сторону лимана квадратная площадь, посреди которой возвышалась белая каменная церковь, утопавшая в зелени тенистых деревьев, которыми была засажена ограда. За ней вплоть до лимана, на расстоянии полуверсты, и влево от нее тянулся барский сад. Левую сторону площади замыкал ряд домов: барская контора и дома духовенства, пред которыми протянулась аллея из акаций. Перед церковью барский дом образует третью сторону площади. Справа к площади прилегала улица дворовых крестьян. А за улицей дворовых протянулись ряды улиц деревни к морю. Позади конторы находился острог, а сзади барского дома „вітряки" (ветряные мельницы) далеко разбросались вдоль дороги. Кончим на этом о деревне и перейдем к Любе.

Было воскресенье. Обедня кончилась, народ разошелся по домам. Возвращается и духовенство домой.

Навстречу своим отцам бегут Люба и Анюта. Люба завернулась полой рясы отца, только головка торчит.

— Папа, — обратилась она к отцу, — Петя говорит, что дедова Любка вчера пошла в Николаевку, и до сих пор ее нет, и деду некому сегодня обед варить.

— Что ж, ты, что ли, думаешь заменить сегодня Любку? — пошутил о. Феодосий.

Люба выпорхнула из-под полы рясы и надула губки, ровно собралась заплакать.

— Ну полно же, дурочка, ведь я пошутил. Конечно, нужно деду обедать. Иди же, веди деда чай пить, у нас и пообедает.

— Нет, о. Феодосий, — заразившись примером Любы, вмешалась Анюта: — У вас дед будет чай пить, а у нас обедать, или, как хотите, у нас будет чай пить, а у вас обедать.

Батюшки засмеялись.

— Да вы прежде убейте медведя, а потом уж и шкуру делите, — заметил другой батюшка, — дотащите ли вы деда?

В самом деле, дед, отбывший свою барщину мельником, был старый, престарый, почти не видевший глазами. Для такого деда было истинным подвигом пройти пространство, отделявшее его землянку у мельниц от домов батюшек.

— Ну, что же, идите, тащите своего деда, — шутил о. Феодосий над затруднением Любы и Анюты. Люба и Анюта молчат. Они понимают, что без посторонней помощи им не совладать с дедом.

— Анимпадист, — крикнул о. Феодосий барскому буфетчику, дородному молодцу, стоявшему на крыльце барского дома, — иди, брат, помоги нашим девицам деда притащить, вызволь их из беды.

Анимпадист подхватил ту и другую на руки и понес их в землянку деда. Вскоре из землянки вышла группа в таком порядке: справа Анимпадист поддерживает деда под руку; в левой руке у деда костыль, на который он опирается. Анюта и Люба идут впереди, то лицом к деду делают шаги назад, словно соображают, глядя на деда: дойдет ли, мол, дед; то поворачиваются лицом вперед, чтобы измерить пространство, которое предстоит еще победить деду...

Вспомнилась и еще одна сценка. Мы, дети, идем в сад. Наступило давно ожидаемое Преображение. С этого дня Валентин, барский садовник, открывает нам вход в сад. С тех пор, как прошел сезон вишен и абрикосов, и впредь до Преображения двери сада были для нас закрыты, и мы могли попасть в сад только тайно от Валентина, проще говоря — воровски, под предводительством Пети, сына нашего дьячка. Но Валентин зорко следил за нами, так зорко, что трудно было попасть за ограду сада. Петя положительно утверждал, что Валентин знается с чортом и что в его сношениях с чортом видную роль играет его картуз с большим козырьком.

— Потому он и носит этот картуз летом, — говорил Петя. Но сегодня Преображение, и Валентин сам явился после обеда вести нас в сад. Он сегодня, по приказу барина, открывает сад для детей духовенства. Его угостили водкой оба батюшки и дьячок. Он зашел даже к дьякону, и там ему поднесли, хотя у дьякона дети еще не в таком возрасте, чтобы итти в сад. Но так уж повелось. Вален-

тин от выпитого под хмельком и словоохотлив. Он ведет дружески разговор с Любой, которая у него на руках.

— А о чем я хочу спросить тебя, Валентин, — говорит Люба.

— Что, Любочка, что, милая барышня?

— Только ты скажи правду, Валентин.

— Истинную правду скажу, Любочка, зачем мне вас обманывать!

— Скажи, правда ли, что ты с чортом знаешься?

— Вот уж от вас, такой доброй барышни, я не ожидал, чтобы вы меня, старика, так опорочили. Да я знаю, — это не ваши слова, это вам Петя сказал. Это ты, сукин кот, Петя, такое нехорошее про меня выдумал, — обратился Валентин, уже совсем охмелевший, к Пете.

Петя поднял брошенную ему перчатку.

— Скажешь, небось, нет? — спросил убежденно Петя.

— Прямо скажу — нет. На мне вот крест. Вот смотрите, Любочка! — Валентин становится одним коленом на землю, спускает Любу и вынимает из-за пазухи крест.

Мы все подходим и удостоверяемся. Действительно, у Валентина крест, как у всех крестьян, медный, немного позеленевший от пота. Но Петя не сдается.

— Ну, хорошо, ты так говоришь. А я тебя спрошу: в ту субботу я вон откуда, от лимана зашел; это с версту будет от твоей сторожки. Только я подошел к груше, а ты тут, как тут. Кругом никого не было, да тебе никто и не скажет; всякий знает, как трясешься над своими яблоками. Ну, говори, кто тебе сказал? — допрашивал Петя Валентина.

— Дурачок ты, Петюшка, вот что! Я тебе прямо скажу по-нашему по-мужицкому: ты только за дугу — а я уже на воз. Перво-наперво знай: ты только вышел из своей калитки и обогнул церковь, как я уже знаю твои намерения. А что ты называешь меня скрягой, и это опять же твоя неправда. Ты хоть и жаловался барину, что я тебя обижаю, а я вовсе тебя не обижаю.

— Я барину жаловался, — возмутился Петя. — Спроси у Щербака, как было дело. Конюхи поили лошадей, вывели Красавчика, и барин приказал Щербаку подвести Красавчика к окну. Барин погладил Красавчика, а Щербак и говорит: „Скучает, барин, Красавчик по Никите; не будет,

думает, у барина такого форейтора, какой был Никита". Барин усмехнулся и перевел разговор на меня. „Ну, что,— говорит,—Петя, хороши яблоки в этом году?"—Ну, я и сказал: „А я почему знаю, спросите у Валентина".— Барин на это и сказал: „Вижу, Петя; обижает тебя Валентин". Вот как было дело,—закончил Петя.

— Против этого я тебе ничего не могу сказать, потому я там не был. А скажу только, всякому известно, что ты у нас молодчик. И на дерево без себя я тебя не пущу. При мне—изволь, полезай на грушу ли, скажем, на яблоню, слова тебе не скажу. А без меня—нет! Уж там, как хочешь, прямо тебе говорю—нет! Потому ты, например, ветки обломаешь, а ветки-то, дурачок, плоды родят, а ты этого не понимаешь. Так я и барину сказал: „Пусти,—говорю,— козла в огород, то он не столько съест, сколько потопчет". Уж там серчай, не серчай, а ты прямой козел, Петюха!

Люба вмешалась опять.

— Петя говорит, что ты и картуз носишь с таким козырьком, чтобы тебе не смотрели люди в глаза.

— Пустое он говорит, Любочка. Картуз барин мне купил. В городе все садовники в таких картузах. Потому, например, я смотрю вверх на дерево, нужно, скажем, обрезать сухой сук, а солнце бьет в глаза, мешает мне видеть. Чем мне постоянно рукой прикрывать глаза, так лучше уж козырек,—он всегда при мне на голове, и руки у меня свободны: работаю себе пилой или ножом.—Пока Валентин с Петею перекорялись, мы пришли к сторожке, на затененной стороне которой мы увидели, прикрытые рогожей, предметы наших вожделений. Но Петя, прежде чем приступить к делу, осведомился у Валентина, собрал ли он плоды с той груши, которая там где-то, как ему доподлинно известно. На что ему Валентин ответил несколько просительно:

— Не замай ты ее пока; через неделю сам скажешь мне спасибо, потому сейчас она не в своей поре. Через неделю, сделай милость. Мне, говорю, не жаль, а только сказываю, сейчас она не готова.

Петя удовлетворился, и мы приступили к делу—наелись и с собой набрали. Собираемся домой. Валентин накладывает корзинки Любе и Анюте, при чем говорит последней:

— Вот тут в вашу корзинку, Анюточка, я положу узелочек для Зиньки. Скажите ей: шлет, мол, тебе гостинец Валентин. А это, — подавая другой узелок Пете, сказал Валентин, — ты уж, Петя, похлопочи: это, значит, от меня гостинчик Никите.

Перейдем и мы к Никите. Никита — крепостной нашей деревни. Он был сначала форейтором, а в то время, к которому относится этот рассказ, он отбывал барщину в качестве кузнеца.

Помещик нашей деревни был старик, разбитый параличем. Не владел он ни руками, ни ногами. Он обыкновенно сидел в трехколесном кресле, в котором лакеи возили его в церковь. В этом же кресле летом возили его по аллеям сада, и он говаривал в таких случаях: „я сегодня гулял“. В кресле же он попадал и в поле; только в редких случаях здоровье позволяло ему выезжать в поле в карете. Помещик наш был, кажется, добрый человек, по крайней мере в моей памяти не сохранилось ничего о нем, что было бы похоже на те зверства крепостного права, о которых я узнал потом. С нами, детьми, он был ласков, дарил нам в праздники игрушки. Но при нем в барском доме жила бывшая его подруга жизни, от которой он имел единственную дочь, находившуюся где-то в институте и никогда на моей памяти не приезжавшую в нашу деревню. Эту женщину за глаза все называли Сашкой, а в глаза — Александрой Николаевной. Она была крепостной его же деревни. Что она из себя представляла — не знаю. Но, кажется, и она была не злая женщина, только вечно пьяная. Брат ее был главным конторщиком в господской экономии.

При барском дворе держали несколько дворовых девушек, занятия которых состояли в том, что они приготовляли все барское белье: столовое, спальное и пр. Барин жил на широкую ногу; в его доме всегда толпились гости, особенно, если вблизи были расквартированы войска (сам барин был полковник, в молодости служивший в кавалерии).

В числе этих дворовых девушек была Зинаида, красивая брюнетка. На эту Зинаиду, как на жену, имел виды Григорий Николаевич, брат Сашки; но красавица Зинаида предпочла ему Никиту. Сашка, конечно, радела в пользу

брата. И вот, за непокорность барскому выбору, Зинаида была разжалована из дворовых девушек и отдана батюшке в кухарки. А Никита ударился в бега. Казалось бы, и хорошо, беги себе, скатертью дорога!.. Но, очевидно, не без умысла изобрел он такой путь протеста. Дело в том, что наша деревня с одной стороны только заливом моря отделяется от Кубанской области, а с другой стороны только двенадцативерстное расстояние отделяет ее от Земли Войска Донского. Ясно, что у Никиты был план, в который он не посвятил нас, своих друзей. Теперь только я могу догадываться, что Никита хотел сначала пристроиться где-нибудь, а затем уж явиться за Зинаидой. Впрочем, как я уже сказал, это моя догадка; а в чем состоял план Никиты, об этом знал только он сам, да Свирид. Свирид — так зовут Спиридона малороссы—был старик лет шестидесяти, своеобразная личность в нашей деревне. Он состоял в привилегированном отношении к барщине. Такое отношение Свирида к барщине установилось не на моей памяти. Рассказывали, что раз Свирид в числе прочих был приведен к барскому окну, где по воскресеньям чинился суд за провинности прошлой недели. Когда дошла очередь до Свирида, староста сказал:

— Не слушается, барин, а скажешь что, ругается.

— Как ты смеешь не слушать и грубить старосте! — обратился к нему барин.

— А так смію, бо я не ваш кріпостной, — ответил Свирид, неизвестно на каком основании.

— Вот что, а чей же ты? — удивился барин.

— Я батюшкин дворецкий, — ответил невозмутимо старик.

— Когда же ты перестал быть моим крепостным и стал дворецким батюшки? — продолжал любопытствовать барин.

— А с тіх пор, як и помню, — говорит Свирид: — там їм хліб-сіль, там и барщину отбуваю. — Говорят, помещик так был подкуплен смелостью и оригинальностью Свирида, что тут же сказал ему:

— Ну, ты прав, а я и не знал этого до сих пор.

Помещик охотно рассказывал своим гостям о столкновении со Свиридом. Свирид же с тех пор состоял рассыльным при конторе и, вероятно, на правах дворецкого,

проводил большую часть дня во дворе или на току батюшки.

Вот этот-то старик и принял близкое участие в судьбе Никиты и Зинаиды. Никита несколько раз порывался бежать, и его каждый раз ловили, наказывали и сажали в острог. Но как только выпускали на волю, он вновь бежал. Никите все в деревне сочувствовали, но посещать его в заключении никто не осмеливался, кроме нас, детей, да Свирида, который как-то умудрялся соединять должность рассыльного с должностью тюремного сторожа. Мы были настоящими посетителями тюрьмы — постоянно кто-нибудь из нас, а то и все вместе стояли у решетки окна тюрьмы. Печет ли Зинаида хлеб — испечет Никите калач или пышку; соберет ли Щербак яйца в яслях конюшни для Никиты — через нас все это попадало Никите в острог.

Да и сами мы не меньше Зинаиды заботились о Никите; правда, не всегда, быть может, по бескорыстным побуждениям — такой грех за нами водился на первых порах, но потом, когда мы больше сблизились с Никитой и прониклись его судьбой, корыстные побуждения все больше отходили на задний план, и мы вместе с другими стали жалеть Никиту. Никита охотно отплачивал нам за наши добрые чувства к нему: делал нам долотца для выдалбливания из поплавков волокуш-баркасов. Рассказывал нам о донских и черноморских казаках, как они живут вольно, не обязанные никакой барщиной. Мы в свою очередь передавали ему новости деревни и все то, что нам удавалось узнать о его судьбе. Словом, чем дальше, тем все большими друзьями Никиты мы делались. Он все больше забывал, что мы дети, а мы, как дети, не смыслили, что он уже в таком возрасте, когда в жизни людей играет могучую роль любовь.

Раз как-то мы все были в сборе у решетки. Никита плел Любе и Анюте корзинки из куги. Разговор коснулся его судьбы.

— Отчего, Никита, ты не живешь, как все мужики? — спросила его Люба, — вот как Митрофан? Ковал бы ты с ним, как прежде, и тебя бы не наказывали и в острог не запирали.

— А я вас спрошу, Любочка, за что я стану на него работать? Если бы, скажем, он что доброе сделал мне, —

другое дело, работал бы и я; все равно нам, простым людям, нужно где-нибудь работать. А какое, Любочка, он мне добро сделал? Я ему форейтором служил. Потом в кузню поставили; три года в кузне пекся, ровно на родного батька́ работал. А он мне что за это? Жену, и ту бери—не какую сам выбрал, а какую он тебе указал. Нет, пускай на него чорт работает, а я не стану! Пускай лучше волки меня в степи съедят, чем я покорюсь ему. Вы думаете, Любочка, сладко так жить, как я живу: бегать по камышам да слушать волчьи песни? Рассказал бы я вам, Любочка, как это сладко, да вы еще маленькая барышня. Ну что, хорошо так?—прервал Никита речь о себе, показывая корзинку.—Мало куги. Погодите, может, Свирид за чем пойдет в Николаевку; я ему скажу, чтобы он побольше нарезал куги, тогда я сделаю всем по большой корзинке, и будет вам память об Никите.

— Разве ты уж совсем, Никита, не будешь жить в нашей деревне?—спросили мы.

Никита улыбнулся и сказал:—Там уж как бог даст,—волки съедят, лихой человек убьет, мало ли что может случиться.—Никита сказал это таким грустным тоном, так жалостно подействовал на наши сердца детские, что мы все умолкли и несколько минут следили, как его пальцы перебирали кугу. Петя прервал молчание.

— А все это, Никита, Ревенко да Сашка. Барин бы ничего, сам барин ничего бы не сделал. Да и Сашка бы ничего, если бы ее Ревенко не научал.

— Пускай Ревенко что хочет делает, по-ихнему не будет,—закончил Никита.

На этом нас прервала Зинаида. Она пришла звать нас чай пить. Зинаида не подошла близко к нам, а издали поклонилась, улыбаясь, Никите. Никита ответил тоже улыбкой, и мы пошли за Зинаидой домой. Вскоре после этого Никиту выпустили из тюрьмы, и мы в течение нескольких дней приходили к нему в кузню с нашими заказами. Но в одно утро с грустью услышали, что Никита опять бежал. Долго о нем не было слышно. Расспрашивали мы о нем и писаря Пантюшку.

— Ничего,—говорит,—не слышно.

Приставали с расспросами и к Свириду, но Свирид отделывался от нас сердитым и лаконическим ответом:

— Отчипитесь, бачь им треба все знать! Що я хожу за вашим Микитой?

— А между тем мы чутьем оттадывали, что Свирид знает. Мы замечали, что Свирид подойдет, например, к забору, отделявшему двор от конторы, и крикнет:

— Зинька, а Зинька! Чи нема там у батюшки якого ледащего кавуна? Така жара: пив, пив воду, дай лышень кавуном чи не перебью жажду!.

Зинка несет кавун Свириду, и он о чем-то таинственно с ней переговаривает. Раз как-то Зинаида отжимала творог на сырне [1] около кухни. Свирид подошел к забору, позвал ее, но увидев, что она занята, сказал:

— Тоби николы, стрівай, я сам пріду.

Пришел. Мы тут же около старика юлили.

— А вам чего тут треба, идить собі, гуляйте! Никуды от вас не спрячешься.

И в ожидании, пока мать, заметив, что мы там лишние, позовет нас, он присел на корточках около сырни и, очевидно, занятый своими мыслями, взял кусочек творога и в рот.

— Діду, що то вы робіте — це ж сыр!

— А сукиному сынові дочка, оскоромила діда! Сыр, сыр, тьфу, тьфу!

Скоро, как дед и ожидал, мать крикнула нам:

— Дети, ступайте сюда, что вам там надо!

И мы, покоряясь судьбе, только и могли запищать на разные голоса в отместку по адресу Свирида: „Сыр, сыр, тьфу, тьфу!“ Мы с добрыми намерениями интересовались Никитой, хотя, быть может, не подозревая того, оказывали ему медвежью услугу, приставая с расспросами к Свириду. Но не одни мы интересовались Никитой, и не с добрыми намерениями следили за Свиридом и Зинаидой другие. Вскоре после этого Зинаида с дедовой Любкой отправились на лиман полоскать белье, и Зинаида возвратилась с лимана печальная и молчаливая. А утром Петя имел уже сведения от Пантюшки, что Никита пойман и что его перед обедом будут наказывать у барского окна.

— Вы только дома не говорите, — наставлял нас Петя, — а то ведь все равно загонят в комнаты, и ничего не увидим.

---

[1] Низенький стол, за которым малороссы обедают.

Петя был прав. Не будь наши отцы в отъезде,— в это время ходили с крестным ходом по хлебам — они, быть может, раньше нас узнали бы эту новость. Но теперь наши матери могли узнать только от нас, и, конечно, мы вполне согласились с Петей, что нужно воспользоваться случаем и молчать, иначе загонят в комнаты, и мы ничего не узнаем и не увидим. И вот мы сидим в аллее и поглядываем на угол церкви: оттуда будут вести Никиту. Аллея была вся в цвету: акации распустили свои пышные кисти цветов. Солнце так ярко освещало площадь. Воздух был насыщен благоухающим ароматом цветущей акации. Это было вскоре после Троицы, день был еще не жаркий, тихий, В воздухе реяли стрижи, или, как у нас их называют, щуры; словом, природа ликовала. Но люди всегда умудряются испортить праздник природы. Так и на этот раз. Первый показался из-за ограды Никита со связанными назади руками. Рядом с ним староста с бляхой на груди и с шапкой в руке. Позади их два сотских с розгами в руках и, наконец, немного на отлете сзади старуха, мать Никиты, с сжатой в руке белой хусточкой у щеки. Барское окно раскрылось, и у окна суетилось несколько человек под командой конторщика Ревенко. Картина молчаливая, но так много говорившая даже нам, детям. Мы переглядываемся; у Любы губки начинают складываться, ровно собирается заплакать. И только Анюта успела сказать: „А Люба плачет“, — сама заплакала. Люба громко зарыдала, и со словами: „Не нужно Никиту наказывать, не нужно, ах, не нужно наказывать!“— ровно неведомая сила ее подхватила, и Люба понеслась к барскому крыльцу. С крыльца ей навстречу лакей Алфей кричит:

— Любочка, воротитесь, нельзя, Любочка, нельзя, барин нас накажет! — Выбежал другой лакей, Арон, что-то сказал Алфею, и тот посторонился с дороги. Люба скрылась от нас в барском доме. Минуты две-три спустя побежал Арон навстречу группе с Никитой во главе. Группа поворотила к острогу. Но тут в калитках наших домов раздались встревоженные голоса наших матерей:

— Дети, ступайте домой!

Как только мать узнала от нас, в чем дело, отобрала у меня и у брата фуражки, а у сестры платок и пригрозила:

— Только кто из вас выйдет у меня, разую, ходи босые. Ах, подлые дети, и везде вам дело!

Спустя полчаса мать Любы подошла к окну нашего дома.

— Что с вашей Любой? — спросила наша мать у нее.

— Лежит в постели, дрожит, плачет, целует руки. Немного успокоилась теперь, уснула. Не знаю, как и быть! Не позвать ли Сашку? Как вы посоветуете? Такая неприятность... Подумает еще, научили. А тут еще и Феодосия Степановича нет.

— Нет уж, Мавра Егоровна, подождем, приедут, тогда и подумаем, что и как.

— Да, приедут! Скажет, зачем не смотришь, зачем волю им даешь!

— Ну мало ли что, пусть сам и смотрит, — успокаивала Мавру Егоровну мать. — Усмотришь за ними, как же! Я уж у своих платок и картузы поотобрала. А только кто из них выйдет, разую, пусть босые ходят, — закончила, адресуя последнее скорее к нам, чем к Мавре Егоровне. А мы сидим и слушаем с братом молча, а Анюта плачет.

Тревога нашей матери сообщилась и нам, и нам стало казаться, что мы совершили какое-то преступление. К вечеру возвратились наши отцы. Не успела мать передать отцу о случившемся, как явился Алфей с обычной формой приглашения: „Барин приказали просить вас, батюшка, к себе".

— Ну, а что барин? Как? — спросил отец.

— Никакого не пускает к себе, один Арон при них. Пыталась Сашка к ним, не пустили.

— Да что там у вас случилось, расскажи? — вновь спросил отец.

— Да вбежали это Любочка, — начал Алфей, — бегут, плачут и все твердят: „Не нужно наказывать Никиту, ах, не нужно наказывать". А потом что с ними случилось, я не умею вам, батюшка, сказать. Барин приказали посадить ее на кресло. А они, ровно им воздуху мало: все вот так, — при этом Алфей начал изображать, как Люба истерически всхлипывала. — Барин опять приказывают: „Дай ей понюхать одеколону и потри виски". После этого они ровно стали успокаиваться. Взял я их на руки, чтобы нести домой, — они опять заплакали, и все время, как нес их, они на руках у меня спачала ровно птичка встрепенутся, а потом так это глубоко вздохнут.

Алфей замолчал. На пороге показался отец Феодосий. Оба батюшки пошли в отдельную комнату, сговорились наскоро и отправились к барину.

Матушки ждут с нетерпением батюшек и вполголоса делятся своими впечатлениями, вздыхают и заканчивают: „а вот придут, узнаем". Наконец возвратились батюшки. Отец вошел в калитку и, направляясь к крыльцу, сказал Конону, работнику, метущему двор: „Позови ко мне Зинаиду". Потом вошел в комнату, посмотрел, улыбаясь, на нас и сказал:

— Ну что сидите, надувшись, как мышь на крупе, идите погуляйте.

Я с братом получили картузы, Анюта платок, и не заставили просить себя больше.

Анюта пошла к Любе, а мы, мальчики, собрались в аллее. На крыльце конторы сидел Свирид. Мы к нему с расспросами:

— Свирид Иванович, где Никита? в остроге?

— От я вам покажу Микиту, — погрозил он нам палкой, — наробили діла!

— Эй ты, сыр, сыр, тьфу, тьфу! — огрызнулись мы.

В калитке показалась Зинаида, такая сияющая:

— Діду, — крикнула она Свириду, — идить — спасибі вам — сюды!

— Иду, що таке? Що так сяешь?

— Идить скажить Миките, шо барин приказав нас перевінчать.

— Успію, говори товком, що таке?

— Сим часом батюшка пришли от барина и сказали: „Ну, Зинаида, готовься к свадьбе, — барин согласился, чтобы вас перевенчать. Иди скажи свою радость Никите!" А я, як стояла, так и повалилась батюшке в ноги.

— Отак-то лучше, бачь, стара собака, диждався, поки дітіна его научила.

Из калитки другого батюшки показались Анюта и Люба, держась за руки. Люба — бледная, со стыдливой улыбкой на лице.

Зинаида побежала к ним и со словами: „Ах вы, наша милая барышня, наша заступница", — схватила Любу на руки и начала целовать ее...

Шлиссельбург, 1896 года 14 ноября

ПРИМЕЧАНИЯ

7. — Стражники были введены много позднее; надо было бы сказать: „благодаря урядникам".

15. — Оржих стал впоследствии членом партии социалистов-революционеров.

16. — Сотоварищ по „Земле и Воле" — это Тищенко, Г. М.

21. — Любопытен отзыв М. Ладыженского о А. С. Посникове. Этот смоленский помещик, в революцию 1905—1907 гг. член партии „демократических реформ", стоявшей направо от кадетов, защитник общинной формы землепользования, является ярким выразителем аграрной фракции буржуазии, „товарного помещика". Идеология этой группы, защищающей интересы сельского хозяйства в целом от засилья буржуазного города, стоит рядом с идеологией архиправого кустаризма, отражающего интересы „товарного мужика", т. е. мелкого производителя, врастающего в капитализм. Очень закономерно, что в кружке такого профессора, как А. С. Посников, воспитался будущий кадет М. Я. Герценштейн, убитый в 1906 г. черной сотней за яркое выступление — в кадетском духе — по вопросам аграрной программы в 1-й Государственной Думе.

27. — Сентиментально-либеральные замечания М. Ладыженского, во-первых, о „неумении русских людей быстро и решительно столковаться", т. е. осуждение революционной непримиримости; а во-вторых, о „вечно-человеческом", будто бы таящемся на дне души жандармов, шпионов и, стало быть, таких людей, как убитый М. Р. Поповым Рейнштейн, — явно принадлежат самому Ладыженскому. Впрочем, если они верны по отношению к М. Р. Попову, то разве только в самом позднем его возрасте, когда дух непримиримого и бескомпромиссного революционера, очевидно, был надломлен четвертью века крепости.

34. — Ответственность за церковные похороны М. Р. Попова и за возможность выступить на них с речью такому оратору, как Калистрат Тарасьев, лежит целиком на близких и друзьях умершего. Этого не следовало бы делать, хотя бы ценой отказа от удовольствия слышать, как по адресу правительства „пускает шпильки", конечно, очень и очень замаскированные, такой столп „престола и отечества", как служитель православного культа.

Возможность такого прискорбного факта объясняется тем, что в народнической среде всегда замечалось толерантное отношение к христианству; в этой среде признавали Христа, как осуждающего капиталистическое неравенство учителя, и даже

крайние левые утописты констатировали свое идейное родство с таким образом „спасителя“ (см., например, стр. 312, 328 и др.).

35. — Автор определяет борьбу 70-х годов, как „борьбу с правительством“. Не один Подревский употребляет такое выражение по адресу утопистского движения семидесятников. Либеральная историография, причисляя все движение к своему „полку“, создала даже особый термин: „освободительное движение“. В качестве любопытного примера того, до какой степени часто и ловко буржуазно-либеральная терминология „обволакивает“ людей, ей чуждых, показывает, что даже в марксистской литературе иногда употребляется термин „освободительное движение“ по адресу борьбы утопистов, поднявшихся прежде всего не против властей, а против буржуазии! Поэтому естественно, что народники усвоили этот не отвечающий своему содержанию термин. М. Р. Попов — в частности — тоже употребляет это выражение.

46. — М. Р. Попов неправильно излагает сущность социал-демократических „упреков“. Все знали, что землевольцы работали среди пролетариата. Но тем не менее истинным демиургом революционной истории они считали крестьянство; рабочих рассматривали, как посредников между интеллигенцией и крестьянством, и роль их сводилась к поднятию на революцию — крестьянства же. А затем главный упрек сводился к тому, что народничество не понимало „творческой работы капитализма“ (Ленин), как необходимейшей предпосылки для победы социализма. А такие упреки — абсолютно справедливы.

Там же. — Указания на колебания Баранникова, Перовской и др. ярко свидетельствуют о нижеследующем: землевольческий бакунизм испугался политического радикализма, но чувствовал, что на старой позиции удержаться нельзя. Эти колебания продолжались до тех пор, пока не выяснилось, что бабувистский синтез политики и социализма дал отпор такому перехлестыванию в политике, какое было свойственно политическим радикалам типа Морозова. Неприязнь и настороженность по адресу радикализма вели к преувеличенным надеждам на всяческие „чигиринские“ действа, как изображено у Попова на стр. 47.

56. — Видимо, надо разуметь не Харламова, а Хазова.

60. — Современный читатель улыбнется, читая замечание Попова о мнимо-метафизической оболочке первых глав I тома „Капитала“. Несомненно, они трудны для понимания малоподготовленных рабочих, но не всякая отвлеченность есть метафизика. В замечании М. Р. сказался „нигилист из семинарии“, для которого всякая философия, всякая теория — „метафизика“!

Там же. — В предисловии мы подробно говорим о том, чем была „программа хожденцев“.

62. — Строки 2—9 верно указывают, что „цели“ движения остались те же, но изменились пути, „средства“. Но цели заключались не в борьбе с правительством, а в ликвидации капиталистически-помещичьего строя. В данном случае наш автор, вспоминая движение, трактует его не таким, каким он

сам изображает его в других местах своей книги, а таким, каким рисовала его к 1907 году либеральная историография. В самом деле, если в 1875—1876 гг. люди уже думали, что они борются с правительством, то как же могла в 1878 г. появиться официозная брошюра Кравчинского „Смерть за смерть", заявлявшая, что революционеры борются не с правительством, а с буржуазией; как мог автор говорить о расколе в „Земле и Воле" по поводу требования будущих народовольцев взяться за политическую борьбу? Все эти вопросы разрешаются просто: некоторые из вышедших на волю шлиссельбуржцев стали смотреть на свое собственное прошлое сквозь призму новых установок, иногда и откровенно освобожденческих!

62. — Рогозов — это, по всей вероятности, опечатка, вкравшаяся в текст при печатании воспоминаний Попова в „Былом". Исправить опечатку за отсутствием рукописи невозможно. Однако, можно догадываться, что в рукописи вместо „Рогозов" стояло „Рогачев", т. е. известный впоследствии деятель военной организации „Народной Воли" Н. М. Рогачев, товарищ Баранникова по Павловскому училищу.

73. — По М. Р. Попову выходит, что „старая программа" была программой социализма, а новая — „программой протестов на почве жизненных интересов деревни". Эта антитеза верна, но ее надо развернуть в такую цепь:

1. Мирная пропаганда — агитация и бунт.
2. Ассоциаторский вариант—вариант индивидуалистический.
3. Беспримесный аполитицизм — зародыш идеи дезорганизации правительства.
4. Сеть независимых друг от друга кружков — единая организация.
5. Работа только в народе — работа во всех слоях общества.
6. Ставка на „ум", на „сознательность" — ставка на упражнение революционных чувств, на „стихийность".
7. Летучая пропаганда — поселения.

Левый столбец характеризует хожденцев, правый — землевольчество, особенно раннее (позднее — было уже пропитано элементами будущего народовольчества).

Нетрудно видеть, что в будущем народовольческая система синтезировала в себе, воспроизводя их на расширенной базе, главнейшие признаки хожденцев и землевольцев: ум и чувство, сознательность и стихийность, интеллигенция и народ, пропаганда и агитация, социализм и политическая борьба, централизация и организационный демократизм. Отсюда ясно видна правильность указания, что народовольчество — кульминационный пункт развития утопической мысли. Так как ее сменяет — после перерыва постепенности, после „скачка", после перехода количества в качество, — мысль пролетарско-революционная, то ясно, что эта последняя не могла не взять в свой синтез, переработав их, наиболее значительные выводы, которые сделала утопистская мысль из своего опыта, из своей борьбы.

78. — Землевольцы были федералистами, т. е. признавали право наций на самоопределение. Поэтому заподозревать их в великодержавном шовинизме, так сказать, a priori — нельзя. Вполне допустимо, что М. Р. Попов по небрежности назвал украинцев малороссами.

83. — Журавлев, отыскивавший правую веру, а потом сделавшийся социалистом, — более или менее распространенный в народническую эпоху тип. Мы уже указывали на то, что в народнической среде Христос признавался единомышленником, так что вполне естественно было думать, что рационалистические секты (штунда, духоборы, молокане и т. д., и т. д.), боровшиеся против православной поповщины, освящавшей своим авторитетом строй чиновников, помещиков, кулаков и капиталистов, — будут выделять приверженцев революционного движения. Такие случаи, как обращение Журавлева, казалось, подтверждали гипотезу народников, но рационалистические секты определились со временем, как религиозно-политические системы крепкого, товарного мужика, который стремился не к социализму, а к демократическому капитализму.

85. — Бачин, повидимому, тот, который назывался Игнатием Антоновичем. Это — слесарь из кружков Низовкина и Синегуба. Летом 1876 г. он был в Ростове. В 1878 г. примкнул к „Северному союзу русских рабочих“. Чем был этот союз? В примечаниях к сочинениям М. Ф. Фроленко мы так отвечали на этот вопрос: „Программа союза характерна для той стадии развития пролетария-сына, когда он, не изжив еще вполне трэд-юнионистских настроений, уже переходит к настроениям предсоциалдемократическим, т. е. нащупывает идею программы-minimum (с особо подчеркнутым пунктом о значении политической свободы), не как самоцели, а уж только как средства для достижения социалистического строя. Но этот последний еще мыслится в духе некоторых положений утопического социализма (община, федерация общин, обычное право, ассоциация и т. д.). Отсюда в программе ясно чувствуется влияние лассальянства, — системы переходной от утопического к научному социализму“ (II, 350).

Под пролетарием-сыном мы условились понимать то поколение рабочего класса, которое уже окончательно оторвалось от земли или самостоятельной мастерской и не мечтает больше о возврате к независимому хозяйствованию. Из сравнительной истории рабочего движения мы знаем, что на известный момент такой пролетарий-сын склонен к трэд-юнионизму, т. е. признает капитализм строем, которому предстоит существовать еще более или менее долгое время, и думает, что мечты о его свержении — нереальны, утопичны, и что, таким образом, надо устраиваться получше в этом „капиталистическом доме“, не дожидаясь, пока он рухнет. У Фроленко, у Ланганса, у Тихомирова и у Попова (см. стр. 178, 187 и др.) можно найти много свидетельств о таких трэд-юнионистских настроениях. Настроения такого типа — знаменательная антитеза народническому утопизму. Они полны реализма, но реализма нерево-

люционного. „Трэд-юнионисты“ верно вскрывают иллюзии утопистов, но они сами впадают в еще худшие иллюзии насчет живучести капитализма. Марксизм в великом диалектическом синтезе берет для построения своей системы революционного реализма некоторые элементы левого утопизма и трэд-юнионизма.

Бачин — трагическая фигура; он и кончил — прямо символически — тем, что повесился через четыре дня после того, как задушил свою жену-интеллигентку Е. Н. Южакову в глухом улусе Якутской области.

Откуда происходило его враждебное отношение к интеллигенции, о котором говорит Попов? Здесь мыслимы две догадки: первая — это нерасположение „трэд-юниониста“ к утопическим призывам свергнуть капитализм, когда так ясно чувствуется ребяческая нелепица этих призывов; вторая — это нерасположение предсоциалдемократа к аполитическому народничеству.

Чем персонально был Бачин — трэд-юнионистом или предсоциалдемократом? Трудно ответить на этот вопрос: мы не располагаем никакими конкретными сведениями о Бачине.

86. — Побег, о котором упоминает М. Р. Попов, был совершен в феврале 1880 г. П. А. Орлов в нем участия не принимал: он бежал позднее, в августе того же года, переменившись по дороге на Кару паспортом с одним уголовным ссыльным. Рабочий Григорий, фамилию которого М. Р. Попов забыл, — Иванченко. Кроме лиц, перечисленных Поповым, в побеге принимал участие Н. П. Позен. Все бежавшие вскоре были задержаны.

87. — Интересный штрих вскрывает Попов насчет Быковцева: рабочие лелеют своего агитатора, они выполняют за него работу — только читай в шахтах книжки! Так начинает историю развития своего самосознания класс, которому суждено было достигнуть величайшей победы через 40 лет. Книжки, прочитанные Быковцевым и многими другими, сменившими его, сделали свое дело: шахтеры не обочлись!

101. — Смешно и говорить, что лавризм эволюционировал в сторону программы германских социал-демократов. Лавризм не понимал „творческой работы капитализма“ и учил, что последний может и должен быть свергнут в любое время, как строй, не имеющий никаких положительных сторон и представляющий собою сплошное зло. В оценке капиталистического способа производства лавризм ничем не отличался от остальных утопистских систем. Но в общем лавризм был насквозь эклектическим учением и включал в себя некоторые моменты марксизма, в особенности оппортунистического крыла социал-демократии. Подробнее о лавризме см. наши примечания к кн. Русанова „На родине“.

103. — Мысль, что „освободительное (sic!) движение 70-х годов носило в себе с самого начала тенденцию той деятельности, которая потом ярко выразилась в программе народовольцев“, совершенно не верна. В старину думали, что эволюция это простое увеличение, простой рост того, что в уже готовом, но только малом виде находится в зародыше. Таким образом, в желуде уже имеется дуб с его кроной, стволом и корнями, но только из-за сверх-микроскопических размеров не виден. Такое

наивное представление теперь оставлено. М. Р. Попову, если б он знал, в чем дело, следовало бы сказать, что в 70-х годах мы находим диалектическое развитие идей и событий путем возникновения и разрешения противоречий. Но об этом мы говорили уже в предисловии.

Неправ М. Р. Попов и в своем высказывании о германских социал-демократах, ибо не различает среди них крыльев — оппортунистического и ортодоксально-революционного. А эти крылья по-разному представляли себе социалистическую революцию.

Наконец обращаем внимание читателя на то, как, обсуждая слова М. Ф. Фроленко, наш автор впадает в противоречие с собой: на стр. 62 он утверждает, что целью движения с самого начала являлась борьба с правительством, а теперь правильно указывает, что мысль об этой борьбе возникла и оформилась лишь к 1878 году. Еще раз указываем читателю, что такие противоречия, не раз у автора встречающиеся, и не только у него одного, являются результатом влияния на народничество буржуазно-освобожденческой историографии.

108. — В книге М. Р. Попова разбросано очень много интереснейших замечаний насчет Желябова. Судьба этого замечательного человека очень странная. Мы не имеем, например, ни одного сколько-нибудь удовлетворительного физического портрета Желябова в его взрослую пору жизни. Не имеем и ни одного политического портрета, сколько-нибудь удовлетворительного. В частности, не справился с Желябовым и тов. Д. Заславский. На наш взгляд, происходит это потому, что портретистам надо было бы давать Желябова в становлении, ибо до конца своей жизни он не откристаллизовался, а был в состоянии, если выразиться языком химии, „бурно происходящей реакции". Мы знаем, что в „Народной Воле" были три течения: бабувистское, предсоциалдемократическое и политрадикалистское. Желябов быстро и резко переживал все эти три течения, не утвердившись окончательно ни на одном из них. В липецкий период партии он вдавался явно в политрадикалистский уклон, затем стал правоверным бабувистом, а под конец жизни проявил четкие предсоциалдемократические настроения. О них особенно явно говорит, например, „Программа рабочих членов партии Народной Воли", в составлении которой он принял виднейшее участие.

В виду всех этих соображений читатель особенно тщательно должен запоминать и анализировать все сообщения М. Р. Попова о Желябове.

На этой же странице интересны указания на те тяжелые колебания, которых не избежали такие люди, как Квятковский, А. Михайлов, Ошанина и др., не говоря уж о не раз менявшем свои вехи Л. Тихомирове.

117. — Все эти разговоры с митрополитом и даже поцелуи с ним (стр. 374), все эти ссылки на многотерпеливое „русское племя" — повторяем — очень характерны для кустаризма, подчеркивавшего не раз свое родство с психоидеологией легендарного Христа. На современного читателя они производят дурное впе-

чатление, но их мы не выбрасывали из текста, не имея права искажать картину прошлого.

140. — Автор цитирует фразу А. Михайлова: „мы должны отныне вступить с правительством в борьбу". Слово „отныне" совершенно правильно рисует положение вещей. Но такое изображение событий противоречит стр. 62, на которой „борьба с правительством" изображается как цель, поставленная себе революционерами еще с начала десятилетия.

142. — Автор живо рисует А. Михайлова, как революционера, грешившего вначале явным перехлестыванием, и правильно подчеркивает, что бакунисты, которые не „приняли" политрадикалистского типа борьбы и ушли в „Черный Передел", охотно воссоединились с народовольцами, когда последние утвердились на бабувистском типе политической борьбы. Политрадикалистский тип борется за политическую свободу, а бабувистский — за политическую власть, как рычаг антикапиталистического переворота.

143—144. — Морозов, действительно, в своих мемуарах изображает события с точки зрения субъективной, т. е. с позиций политрадикала. У него расстановка сил такая: деревенщики — все заядлые бакунисты, аполитики; их противники — горожане — не верят в народ, верят в боевую деятельность интеллигенции, ведущую к завоеванию политической свободы. Во время обсуждения „программы" Исполнительного Комитета (И. К.) Морозов имел случай убедиться, что его представления грешили против действительности. На самом деле была еще третья группа (распространенная и среди деревенщины, и среди горожан), которая, сохраняя бакунистскую веру в народную социалистическую революцию, хотела политической борьбы. Это — будущие бабувисты, ставшие большинством „Народной Воли".

144. — По поводу разноголосицы между Н. А. Морозовым и М. Р. Поповым интересно заслушать свидетельское показание В. Н. Фигнер. Она излагает дело так: „теоретические разногласия, личное раздражение и взаимное недоверие, опасения обеих сторон, как бы противники не взяли верх, скрытое существование в недрах одного тайного общества — другого, вдвойне тайного, общая настороженность в виду угрожающего конфликта, — вот напряженная атмосфера, в которой собрался этот революционный съезд" (Сочинения, I, 130).

Здесь В. Н. Фигнер свидетельствует очевиднейшим образом в пользу Морозова. Но затем показывает в пользу М. Р. Попова следующее: „Но как только съезд открылся, стало очевидно, что взаимные отношения горожан и землевольцев деревни — далеко не так обострены, как можно было ожидать, судя по бурным стычкам в Петербурге" (I, 131). Отсюда вытекает следующий вывод: революционный город опередил деревню в деле выявления нового направления.

145. — Насчет „типографского окна" Морозова все же надо указать, что Попов, сблизившийся впоследствии с народовольцами, так как последние „нашли" приемлемый для него бабувистский тип политической борьбы, забывает, что до этого

он был очень резок в борьбе с политически-радикалистской позицией Морозова и др. Попов не понимает, что такая резкость в то время только усиливала „загибы“ политрадикалов. О прежней установке Попова В. Н. Фигнер справедливо говорит: „Плеханов и М. Попов со всей резкостью своих ярких индивидуальностей боролись против новшеств“ (I, 125).

Там же. — Насчет возражения Попова Морозову, что с Соловьевым не нужно было прятаться, надо сказать, что нашему землевольцу все-таки не совсем ясен ход тогдашних событий. Отрицать факты тайного сговора фракционеров — будущих народовольцев — нельзя: Липецкий съезд, например, произошел в глубокой тайне от партии в целом, с ним прятались, при чем именно острой позицией Плеханова, Попова и их единомышленников нужно объяснить, что на Липецком съезде сильно перегнули палку, перехлестнули, сдвинулись чересчур вправо. Этот временный поворот Морозов ошибочно счел за прочную установку. Отсюда вытекло следующее: когда партийное руководство повернуло опять влево, при выработке программы И. К., Морозов и Любатович обвиняли его в отходе от липецких позиций. Любопытно, что после 1-го марта, когда ясно стало, что не осуществятся надежды на то, что „удар в центре“ развяжет „живые силы народа“, руководство опять колебнулось вправо, в сторону взглядов политического радикализма. „Правый уклон“ народовольчества стал чрезмерно влиятельным и распространенным. Это в свою очередь вызвало реакцию тех, кто в общем и целом еще держался бабувистских взглядов. Так называемая молодая партия „Народной Воли“ в 1884 г. фактически провозгласила: „Назад к Воронежу“, где в 1879 г. происходил съезд позднего землевольчества, т. е. за фабричный и аграрный террор в противовес центральному политическому, из которого политрадикалистское течение сделало свой главный козырь.

Насколько этот факт перманентных колебаний от бабувизма к политрадикализму, с левого фланга на правый и обратно, не осознан и не проанализирован даже серьезными историками народовольчества, показывает пример С. Валка. Этот исследователь, говоря о молодой партии „Народной Воли“, останавливается на роли в ней М. П. Овчинникова и пишет о нем: „Он являлся сторонником, подобно всей оппозиции, аграрного и фабричного террора... Овчинников представлял отчасти отзвуки давнего семидесятничества... По мнению Овчинникова, к политическому террору надо прибегать только в крайнем случае, как к средству, от которого надо ожидать желательных результатов в известный момент, но не возводить его в систему (в систему возводил его политрадикалистский уклон. — *Ив. Т.*), т. е. совершать его перед началом общего массового революционного движения, а до тех пор заниматься организационной работой“ („Каторга и Ссылка“, 1931, № 2, 113). Здесь верно указывается на протест оппозиции против политрадикалистской линии тогдашнего народовольчества. Но установки оппозиции косвенно характеризуются как „от-

звуки давнего семидесятничества". Это совершенно ошибочно, ибо не исторично. „Давнее семидесятничество" вошло в бабувизм в качестве одного из элементов и было давным-давно уже переработано синтетически. Дело не в личной биографии Овчинникова; дело в том, что его целиком поддержала оппозиция. А она самым очевидным образом была не „семидесятнической", а бабувистской. Ошибка т. Валка — в непонимании этого факта, этой борьбы левого крыла с правым.

Что указанная ошибка т. Валка не случайна, можно видеть еще из такого факта. Валк цитирует интереснейшие показания Лопатина о том, что Лавров „упорно настаивал всегда на строгом проведении в журнале чисто социалистического идеала", а, наоборот, в Тихомирове и близких к нему людях „практическая жизнь убила веру в возможность осуществления ближайшими поколениями социалистического идеала".

Анализируя эти очень важные показания, С. Валк заключает: „Для Тихомирова, как и для Лопатина, все дело революции сводится к борьбе с „бюрократическим самодержавием"... Не надо усиленно доказывать, что такая постановка вопроса в деле борьбы с самодержавием отличалась от той, которую ставила себе Народная Воля, хотя бы в дни первого марта" (l. c., 119).

В своей работе „1-е марта 1881 г." мы показали, что как раз „в дни первого марта" партийное руководство шарахнулось резко вправо. Резко вправо сдвинулся и сам тогдашний вождь бабувистов — Л. Тихомиров, — так что т. Валк явно ошибся здесь в отграничивании периодов. Что касается Лопатина, то уже из предисловия мы знаем, что в антинечаевской кампании и компании он занимал позицию правого утописта; вместе с Михайловским он со временем модифицировал ее в позицию политрадикала. Все это естественно и понятно. Но т. Валку надо было бы объяснить, почему оформившийся и сложившийся в стройную систему, изложенную на страницах „Народной Воли", особенно в номерах 3—9, а также в партийных документах программного значения, бабувизм так быстро стушевался перед политическим радикализмом.

Наш ответ на этот вопрос — следующий. Мы видели в предисловии, что бакунисты-чернопередельцы первые признали, что мысль в настоящих условиях свалить капитализм — утопическая. Мы знаем, что бабувисты-народовольцы держались несколько дольше: они верили еще в свое вновь приобретенное оружие — инсуррекцию. Но вот крахнула и она. После признания этого факта революционная мысль стала работать в таком направлении. С фактом некоторой длительности существования капитализма приходится примириться. Ни одно из всех испытанных средств не подняло массы мелких производителей на восстание. Что же делать? Ответ облегчался для многих и многих тем, что в партии уже существовали две иных, кроме основной, концепции: предсоциалдемократическая и политрадикалистская. Первая отвечала: политическая свобода — и длительная подготовка к социалистической революции. Вторая го-

ворила: политическая свобода, как условие „бесконечного прогресса". Но такие четкие формулировки не сразу определились и выработались. Как в мире живых организмов выживший экземпляр говорит о массе погибших, не приспособившихся к жизни, так и в мире идей — выжившая идея свидетельствует о массе неприжившихся и отмерших. Лопатин, например, дал одну переходную формулировку, рассчитанную и на радикалов и на предсоциалдемократов. Любопытно, что т. Валк прошел мимо нее, совершенно не заметив, насколько она интересна и насколько нуждается в комментариях. Вот переходная формула Лопатина: „политическая свобода во имя социализма и всякого прогресса" (l. с., 119). Эти слова о „всяком прогрессе" идут от Михайловского, а слова о „социализме" — уступка предсоциалдемократизму. Естественно, что эта гибридная формула Лопатина не дала потомства, не пустила корней.

Но не надо ни на минуту забывать того обстоятельства, что пока политрадикалистская и предсоциалдемократическая мысль спорили между собой по вопросу, кому из них занять в партии место почившего или, по крайней мере, умиравшего бабувизма — „его величество" российский капитализм преобразовывал массы полупролетаризованных мелких производителей в настоящих пролетариев. Люди, учившие, что надо завоевать политическую свободу и использовать ее для подготовки масс к социалистической революции, вдруг увидели, что эти массы — другие: произошел „скачок" от мелкого производителя к пролетарию. Но, как мы говорили в предисловии, этот „скачок" в области социально-экономической отразился в области мысли „скачком" от предсоциалдемократизма — к социалдемократизму.

Но „его величество" российский капитализм делал еще одну работу: другие слои мелких производителей он превращал в „товарного мужика", а затем взаправскую мелкую буржуазию.

Под товарным мужиком мы разумеем земледельческого товаропроизводителя в буржуазных общественно-экономических отношениях. Ленин пишет: „Крестьяне, будучи мелкими производителями в земледелии, превращались из производителей с преимущественно натуральным хозяйством в товаропроизводителей. Насколько сильно или слабо было при этом развито именно товарное производство в крестьянском хозяйстве разных местностей России той эпохи, это — вопрос иной. Но несомненно, что именно в обстановку товарного производства, а не какого-либо иного, вступал „освобождаемый" крестьянин. „Свободный труд" взамен крепостного труда означал таким образом не что иное, как свободный труд наемного рабочего или ловкого самостоятельного производителя в условиях товарного производства, т. е. в буржуазных общественно-экономических отношениях" (XI т., 2 ч., 239).

Вот эти-то слои с течением времени и стали питательной средой политрадикалистских идей.

149. — Давая формулировку такого рода: „дезорганизаторская деятельность превращалась в политический террор", М. Р. Попов характеризует только политрадикалистскую позицию, ибо эта

последняя дошла только еще до идеи дезорганизации чужой (дворянско-бюрократической) власти, а народовольческое большинство уже думало о власти своей, т. е. о диктатуре мелких производителей и их идеологов.

Фальсификаторы истории народовольчества, например, Богучарский или особенно дерзкий и беспардонный Колосов, отрицают у народовольчества существование идеи диктатуры. В доказательство ссылаются на такие места, как, например, следующее в программе И. К.: „Мы должны поставить своей ближайшей задачей — снять с народа подавляющий его гнет современного государства, произвести политический переворот с целью передачи власти народу". Так сказано в § 1 пункта 13 программы. А в § 3 того же пункта пояснено, как произойдет передача: „Наша цель — отнять власть у существующего правительства и передать ее Учредительному собранию".

Эти слова очень часто толкуются совершенно неправильно, по-либеральному. Итак, упомянуты два акта: 1) отнять власть, 2) передать ее народу. Извратители и не думают затруднить себя вопросом: а что же происходит в промежутке между отнятием и передачей? А между тем на этот именно вопрос, мало освещенный в программе И. К., народовольчество отвечает в программе рабочих членов, и отвечает так: „Рабочие зорко следят за Временным правительством и заставляют его действовать в пользу народа. Когда восстание одержит победу во всей стране, когда земля, фабрики и заводы перейдут в руки народа, а в селах, городах и областях установится выборное народное управление, когда в государстве не будет иной военной силы, кроме ополчения — тогда (NB! NB! NB! Только тогда! — *Ив. Т.*) немедленно народ посылает своих представителей в Учредительное собрание, которое, упразднив Временное правительство, утверждает народные завоевания".

Выходит, что промежуток между захватом власти и передачей ее народу в лице Учредительного собрания — очень и очень долог, по крайней мере длится столько, сколько нужно для „полной победы революции во всей стране". В СССР, например, для полной победы понадобилось около пяти лет (мы имеем в виду дату присоединения Дальневосточной республики). Но если бы в ту эпоху Временное правительство действовало те же пять лет, то только кретин отказался бы трактовать такой режим, как режим подлинной диктатуры. Но и это не все. В наиболее радикальной из программ народовольчества — в рабочей программе — роль Учредительного собрания сводится — об этом говорится прямо — к утверждению народных завоеваний, ибо народовольцы не допускали и мысли, чтоб „социалистический" по всей своей природе, по всей своей истории народ дал бы несоциалистическое большинство в Учредительное собрание. Но так понимаемое представительное собрание, говоря историческими параллелями, — не Конституанта, а типический Конвент, руководимый якобинцами. Поэтому величайшая

логическая нелепость и историческая неправда считать народовольческое большинство учредиловцами: нет, они — конвентисты.

Это до такой степени верно, что даже в програме И. К., созданной еще не окончательно отчеканившейся, не окончательно определившейся бабувистской мыслью, про Учредительное собрание говорится якобинским повелительным языком: „Оно должно (NB! *Должно!* — *Ив. Т.*) пересмотреть все наши государственные и общественные учреждения и перестроить их, согласно инструкциям своих избирателей“ (§ 3 пункта В). Последняя подчеркнутая нами фраза должна быть прочитана в сущности так: согласно указаниям нашего „Якобинского клуба“! А если оно не перестроит? — Вся установка обеих программ такова, что на этот вопрос мыслим только один ответ: тогда оно будет разогнано!

Мы сказали, что програма И. К. — продукт еще не окончательно определившейся бабувистской мысли. В предисловии нами показано, что хотя Морозов и потерпел поражение при составлении этой программы, но ему удалось придать ей некоторый политрадикалистский налет. Кроме того, в ней можно открыть еще совсем не переработанные, еще не видоизмененные элементы примитивного ткачевизма.

Ткачевизм учил, что для политического переворота использовать массы нельзя. В § 1 пункта В „Программы И. К.“ говорится совсем в духе Ткачева: „Мы“ должны снять с народа гнет государства. Мы — интеллигенция. Итак, не сам народ делает политический переворот, а „мы“. Захватив власть, передаем ее, — опять же „мы“, — народу.

Но эта ткачевистская установка нарушается в двух местах программы. В пункте А говорится, что каждая идея должна „предварительно пройти через сознание и волю народа“. Логический вывод отсюда — казалось бы — такой: политический переворот должен быть функцией сознания и воли народа. Но если так, то нельзя было бы в пункте В говорить: „мы“, а не народ, отнимем власть.

Второе — антиткачевистское — место находится в § 1 пункта Д. Оно таково: „Каким бы путем ни произошел политический переворот — как результат самостоятельной (народной) революции, или при помощи интеллигентского заговора, — обязанность партии“ и т. д. Здесь, вопреки ткачевизму, допускается случай, когда политический переворот совершаем не „мы“, а сам народ.

Крайне важно подчеркнуть, что таких политрадикалистских или ткачевистских ляпсусов в рабочей программе „Народной Воли“ не имеется. За короткий срок, всего только за год, но в атмосфере великой исторической борьбы, народовольческая мысль созрела от механического соединения идей различных течений до выработки единого, органически цельного, бабувистского синтеза.

Но програма рабочих членов партии „Народной Воли“ имеет одну специфическую особенность: в ней на ряду с закон-

ченной бабувистской концепцией появляется впервые предсоциал-демократическая постановка вопроса. В пункте Е читаем слова: „может быть, однако, и другой случай". Под этим „другим случаем" понимается такое положение вещей, когда, во-первых, завоевывается только политическая свобода, а не власть, а, во-вторых, рабочий класс начинает при этой свободе готовить свои силы на новую — социалистическую на этот раз — революцию. Во избежание недоразумений, подчеркиваем, что и при этом варианте социализм понимается программой в общем утопистском духе.

150. — Братья И. — это В. Н. и И. Н. Игнатовы, дети богатого купца. В. Н. Игнатов — впоследствии один из основателей социал-демократической „Группы Освобождения Труда".

152. — Эффектная формулировка Морозова: народовольцы-де при расколе взяли себе волю, а чернопередельцы — землю, разделялась в основном и Михайловским — Гроньяром. Последний, будучи околопартийным и не зная точно положения дел в движении, спрашивал у народовольцев, куда они дели „землю". Но Попов правильно возражает Морозову, а значит и Михайловскому. В чем ошибка Морозова? В том, что прежнему традиционному бакунизму Морозов противополагал свой политрадикализм, а большинство партии — бабувизм. А в этом последнем течении „земля" продолжала играть центральную роль, ибо самое мучительное — в глазах всякого утописта — в капиталистическом способе производства это то, что он базируется на обезземеливании крестьянства.

Насколько именно земля играла важную роль в народовольческой программе, показывает такой случай. В. Н. Фигнер, давая свои комментарии программы И. К., совершила один совершенно невероятный промах: говоря очень много о земле, она буквально ни единым словом не обмолвилась о таком пункте программы: „система мер, имеющих передать в руки рабочих все фабрики и заводы". Этот пункт — повторяем — абсолютно выпал из поля зрения В. Н. Фигнер (l. c., стр. 138—143).

157. — Те выражения, в которых М. Р. Попов в 70-х годах формулировал задачи революционной партии, т. е. выражения, вытекающие из основных позиций утопического социализма, — крайне любопытно сопоставить с политрадикалистскими, а не социалистическими формулировками Н. А. Морозова. Вот что последний говорил крестьянам: „Молодые люди, занимающиеся науками и пишущие книги... пошли в деревни... чтобы помочь народу устроить его жизнь так, как это сделано давно в иностранных государствах, где народ сам управляет своей судьбой через выбранных им людей" („Повести моей жизни", I, 121).

Пусть исследователи, считающие, что наши утописты — демократы и только, задумаются над глубочайшим различием формулировок Попова и Морозова о причинах этого различия.

161. — В рассуждениях нашего автора о ростовских событиях 2 апреля 1879 г. ясно видна так называемая „теория детонации".

163. — Своим сообщением о слухах в Тамбовской губернии М. Р. Попов еще раз развивает „теорию детонации“.

171. — По поводу слов: „мы все единодушно решили взять стачку в наши руки“, напомним читателю знаменитый отзыв Плеханова в его брошюре „Русский рабочий в революционном движении“: „Народники — люди дела!“

187 — 188. — На этих страницах М. Р. Попов рассуждает о рабочих. Здесь он совершенно беспомощен и в терминологии и в обобщениях. Но он ощупью подходит к некоторому представлению о том, как в основном сменялись рабочие генерации. Лично мы различаем такие этапы: 1) пролетарий-отец, смотрящий на свою работу в капиталистическом предприятии, как на нечто преходящее, после чего, повалив капитализм, он или вернется к самостоятельному индивидуальному хозяйствованию, или начнет работать в производительной ассоциации; 2) пролетарий-сын т р э д - ю н и о н и с т с к о г о периода, убедившийся в том, что повалить капитализм методами мелкого производителя и пролетария-отца — безнадежнейшая утопия, что надо стремиться к улучшению своей жизни в р а м к а х капитализма; эта генерация противопоставляет утопизму пролетария-отца реализм, но еще не революционный, а типично трэд-юнионистский; 3) пролетарий-сын позднейшего социал-демократического периода, тоже исповедывающий против утопизма реализм, но уже реализм революционный, сводящийся к пониманию идеи программы-minimum (завоевание политической свободы и использование ее для подготовки к социалистической революции, но па ряду с этим и для улучшения своего профессионального положения), но постулирующий необходимость и желательность также и программы-maximum.

Симпатии Попова целиком на стороне пролетария-отца. Пролетария-сына первой генерации он определенно не любит, в революционность пролетария-сына второй генерации не особенно верит. Таков М. Р. Попов в своих отношениях к рабочему классу: в этом сказался типический утопист!

188—190. — Наш автор пишет в 1902 г.: „В последнее время часто приходится слышать презрительное отношение к деревне“. В таком отношении он обвиняет марксистов того времени. Но он не понимает сущности вопроса. Революционные социал-демократы того времени утверждали, что даже полупролетарские слои крестьянства самостоятельно, „самотеком“, без гегемонии и руководства индустриального пролетариата не могут итти к социализму. Это утверждение с тех пор десятки раз было подтверждено на самой решающей практике. Почему это верно? Потому, что известные слои крестьянства — беднота и середняки — в сущности не социалистичны, а только антикапиталистичны. Они хотят свержения капитализма, но не знают, чем его заменить. А это ведет к тому, что фактически идеалом выдвигается восстановление сети мелких самостоятельных хозяйств, ранее разрушенных капитализмом. Наоборот, пролетариат, ликвидируя капитализм, знает, что его надо заменить единым плановым коллективным хозяйством, регулируемым еди-

кой волей из единого центра. Наличие у пролетариата позитивного идеала при отсутствии такового у крестьянства и при наличии у него только негативного антикапитализма создает почву для возможности пролетарской социалистической переделки крестьянских хозяйств.

Против такой позиции революционного пролетариата выступали в то время концепции эпигонов народничества и оппортунистов социал-демократии. Первые подчеркивали не то, что верно, а именно, что крестьянство антикапиталистично, а то, что абсолютно неверно: будто крестьянство самостоятельно может притти к позитивному идеалу научного социализма. Что же касается оппортунистов, то они колебались между давидианскими концепциями, смотревшими на крестьянство глазами защитников мелкого хозяйства, и концепциями типа русского меньшевизма, „не хотевшего подымать крестьян на восстание“ (Ленин), т. е. не понимавшего необходимости использовать для политической революции ненависть крестьянства к помещичьему землевладению, а для революции социалистической — ненависть его к капитализму.

192. — Выдержка из Маркса, приведенная на этой странице М. Р. Поповым, является фактически цитатой из „Революции и контр-революции в Германии“, написанной Марксом в сотрудничестве с Энгельсом. Эта работа помещена в VI томе их сочинений, а цитированные строки находятся на стр. 15. Что вычитал наш автор у Маркса? Только одно, — что революции вызываются не злой волей агитаторов, а серьезными причинами. Но любопытно отметить, что „серьезные причины“ понимает М. Р. Попов очень своеобразно. Согласившись с Марксом на стр. 192, он на стр. 195 говорит, будто народовольчество появилось в результате... „боевого темперамента и сознания деятелей“!!! Уж конечно, боевой темперамент Маркс и Энгельс не причисляли к „серьезным причинам“. В приведенной цитате они излагали знаменитый тезис о том, что если экономический базис является уже буржуазным, то феодально-дворянская надстройка, рано или поздно, должна пасть. Непосредственно перед приведенными Поповым словами, Маркс и Энгельс писали: „Более полного поражения, чем понесенное по всей линии континентальной революционной партией — или, лучше сказать, партиями — нельзя себе представить. Но что из этого? Разве в Англии буржуазия не добилась социального и политического господства только после сорока восьми лет, а во Франции после сорока лет беспримерной борьбы?.. Значит, если мы побиты, нам остается только снова начать сначала“.

Маркс говорил о необходимости привести в соответствие с капиталистическим базисом феодальную надстройку Германии; Попов всю свою жизнь исповедывал учение, что надо сокрушить капиталистический базис в России. Читатель, понявший эту разницу, улыбнется, прочитав слова М. Р.: „Я думаю, что моя точка зрения на социальные явления сделалась общепризнанной в социологии, и мне кажется, что она в достаточной

степени выяснена Марксом в его „Исторических очерках Германии“ (т. е. в „Революции и контр-революции в Германии“. — *Ив. Т.*)“.

193. — На этой странице дается новая цитата из той же работы Маркса и Энгельса, но в исключительно плохом переводе. Поэтому мы приведем это место в более верной передаче: „Улучшение условий существования многочисленного, сильного, организованного и сознательного класса пролетариев идет рука об руку с улучшением условий существования многочисленной, богатой, организованной и мощной буржуазии. Движение рабочего класса никогда не является самостоятельным, никогда не принимает исключительно-пролетарский характер, пока все различные части буржуазии и, в частности, ее наиболее прогрессивный слой — крупные промышленники — не завоюют политической власти и не перестроят государства сообразно со своими потребностями“ (VI, 20).

В старые годы это знаменитое место толковалось русскими меньшевиками в пользу двух их тезисов: 1) индустриальная буржуазия „наиболее прогрессивна“, следовательно, она прогрессивнее мелкой крестьянской буржуазии, а потому нам надо блокироваться с кадетами, а не с крестьянской революционной демократией, и 2) во время борьбы с абсолютизмом поддерживай либеральную буржуазию и не веди своей особой демократической политики.

Такое толкование совершенно неправильно. Что говорит Маркс? Он утверждает, что при абсолютизме „движение рабочего класса никогда не принимает исключительно-пролетарский характер“, т. е. характер социалистический в тесном смысле этого слова. Иначе говоря, не свалив абсолютизма, пролетариат не выдвигает задачи непосредственного перехода к социалистической революции, как это делают идеологи мелких производителей. Таким образом в знаменитых словах Маркса проводится одна из главнейших мыслей марксизма, а именно, что в странах, где еще господствует политическая система полукрепостнического или крепостнического дворянства — абсолютизм, предстоят две, разделенные во времени, революции: 1) политическая, в результате которой будет сломлена феодальная надстройка над капиталистическим базисом, развившимся в недрах феодального общества, и 2) социалистическая, когда власть перейдет к пролетариату с тем, чтобы последний сломал надстройку буржуазную, ставшую в свою очередь в противоречие с социалистическим базисом, развившимся в недрах буржуазного способа производства. Маркс и хочет сказать, что только перед второй революцией движение рабочего класса будет носить исключительно-пролетарский характер, т. е. только пролетариат, — и никто больше, кроме него, — будет готовить социалистическую революцию. Но отсюда никак не следует, что перед политической революцией движение рабочего класса должно превратиться в придаток к движению либеральному. Утописты всех видов утверждали, что и перед тем, как

надстройка придет в соответствие с капиталистическим базисом, движение рабочего класса (под которым разумелись мелкие производители) должно носить „пролетарский“ (в их смысле) характер, т. е. должно стремиться прямо и непосредственно к „социалистической“ революции. Марксизм разоблачил эту установку, как ошибочную. С другой стороны, оппортунистические исказители марксизма сделали другую ошибку: из того факта, что в этот период движение рабочего класса не носит исключительно-пролетарского характера, сделан был вывод, что в эту эпоху рабочий класс не может иметь и самостоятельной, независимой от либерализма, демократической политики, раз он не ставит перед собой непосредственно-социалистических задач.

Гигантская заслуга Ленина в том, что он разоблачил это дерзко-софистическое толкование Маркса. Нет, — сказал Ленин, — и в политической революции пролетариат имеет свою особую демократическую политику, которую осуществляет, ведя за собой крестьянство. Он стремится не к политической свободе и только; он стремится к политической власти, но разделяет ее с крестьянством: отсюда вытекла идея диктатуры пролетариата и крестьянства, провозглашенная большевиками в 1905 г., с целью создания условий или для перерастания в социалистическую революцию или для расчистки путей американскому типу развития капитализма.

Установив истинный смысл знаменитых слов Маркса, спросим теперь себя: зачем понадобилось М. Р. Попову привести эту цитату? Нам кажется, случилось это потому, что наш автор, как и все утописты, не понял этих слов. Ведь мысли Маркса бьют наповал всякую утопическую систему, поскольку она учит, что произвести социалистическую (в ее смысле) революцию можно в любое время, т. е. и до эпохи падения абсолютизма, тогда как Маркс утверждает, что в такую эпоху не может пролетариат ставить себе непосредственной целью социалистическую революцию. При этом читатель должен помнить, что под рабочим классом Попов разумеет мелких производителей.

Но наш автор не вполне соглашается с Марксом. Он говорит: „Не думаю, что сказанное Марксом о Германии буквально должно повториться и в России“. Эта оговорка и последующая в ее пользу аргументация говорят о большой слабости теоретической мысли нашего землевольца. Во-первых, вряд ли имеется на свете человек, который рассчитывал бы на „буквальное повторение“, а во-вторых, в старые годы вместе со всеми утопистами наш автор звал к „социалистическому“ перевороту потому, что капитализм нес народу ужасающие бедствия. Указание на эти последние было абсолютно правильно. Недаром в 1911 г. Ленин характеризовал бедствия той эпохи, как „поток и разграбление“. Поэтому до последней степени странно натолкнуться на строки автора, написанные в 1906 году: „Роды капитализма в России сравнительно с родами капитализма в Англии прошли не так болезненно и гораздо быстрее“. Нельзя не признать, что и в данном случае ска-

залось влияние на нашего автора, как на всякого народника, буржуазно-освобожденческой историографии.

194. — Обращаем внимание читателя на то, что М. Р. Попов отмежевывается и от Серебрякова, и от Плеханова. Плеханов — социал-демократ. От него Попова отделяет признание „творческой роли капитализма“, т. е. мысль, ненавистная утописту, непереносимая. Серебряков — политический радикал. От него Попова отделяет примирение с буржуазной политической свободой. А он, Попов, — бакунист, перерастающий в бабувиста; он — за „синтез“, за слитую воедино политическую и экономическую революцию. Кроме того, Плеханов не видел, что среди бакунистов он в меньшинстве, ибо он раньше их почувствовал, что при сложившихся тогда условиях свалить капитализм — нельзя. Остальные, разочаровываясь в большей или меньшей степени в чистом бакунизме, фатально шли за теми бывшими бакунистами, которые раньше других стали бабувистами. О бакунистах хорошо говорит Попов на стр. 220: „Одни из них пошли вперед других в нараставшем новом революционном настроении, а другие составляли, так сказать, арьергард в идущем на смену старому новом настроении“. Сам Попов был в арьергарде. Плеханов неверно судил об этой эволюции. Он в то время всех народовольцев считал политрадикалами. Серебряков тоже считает их таковыми, только Плеханов находит это плохим, а Серебряков хорошим!

196. — Здесь много ценнейших указаний на те мучительные колебания, с которыми бакунизм перерастал в бабувизм. Оказывается, и Михайлов, и Баранников, и Фроленко, и Колодкевич, и Фигнер, и Богданович, и Перовская, и Ширяев, и Квятковский (не упомянут только — и правильно! — Н. А. Морозов) с трудом усвоивали мысль, что „вызвать революцию можно не организацией в слоях народа, а, наоборот, сильной организацией в центре“ (стр. 195). Если первая половина этого положения является бакунистской, то вторая — ткачевистская. Объединить их казалось очень трудным. Но когда мысль преодолела эту трудность, мучительное раздумье сменилось страшной энергией и бодростью. Желябов говорил чернопередельцам: „Я покажу им, что можно работать и в народе, и в центре“.

195—199. — На этих страницах М. Р. Попов правильно полемизирует против представлений, созданных такими историками, как Богучарский, Морозов, в последнее время Колосов, будто землевольчество сменено было политическим радикализмом. Нет, возражает он, поскольку первое время казалось, что политический радикализм действительно будет ведущим направлением, постольку к народовольчеству в целом было настороженное, подозрительное отношение. В этом безусловно прав Попов. Стоит только прочесть любую статью из „Черного Передела“, чтоб убедиться в том, что в глазах чернопередельцев все народовольчество повинно было в политрадикализме.

Но как только стало делаться ясным, что партийное большинство народовольчества выработало свой — бабувистский — тип политической борьбы (использование политвласти

для экономического переворота),—как все настороженные изменили свою позицию. Вот почему Попов и говорит: „я тоже хотел борьбы с центральным правительством, поэтому неверно делить тогдашних деятелей на „политиков" и „аполитиков"; я вовсе не отрицал политической борьбы, но я не признавал только политрадикалистского типа этой борьбы, но бабувистский тип вполне меня удовлетворил". Поэтому прав Попов, когда указывает, что истинным преемником землевольчества стало коренное,—бабувистское,—течение „Народной Воли", а не политический радикализм. Но, приемля перерастание бакунизма в бабувизм, Попов, повидимому, боялся слишком бурных темпов этого перерастания. Он говорит об этом во многих местах: „Мне казалось, что (левое землевольчество) круто поворачивает" (стр. 198); „если бы Соловьев не поставил своим покушением на очередь этот вопрос, который круто толкал партию „Земли и Воли" в сторону до сих пор постепенно происходившей эволюции взглядов и настроения,—эволюция партии „З. и В." пришла бы к тому же концу, т. е. к борьбе за гражданскую свободу" (стр. 223) и т. д. и т. д.

По поводу последней строчки обратим внимание читателя на освобожденческую фразу о „гражданской свободе" и еще раз напомним о необходимости откапывать подлинно народовольческие „Помпеи" из-под грязи, насыпанной извержениями „грязевых вулканов" либеральной историографии.

200.—„В центре необходимо создать грозную боевую силу, если желаем всколыхнуть Россию". Опять перед нами „теория детонации", созданная бабувистской мыслью в России. На стр. 203 Попов пишет: „Вопрос состоял лишь в том, каким путем и какими средствами создать эту грозную боевую организацию. Начать ли с конька государственного здания России, или постепенно подойти к коньку". Организовать всероссийский бунт, развязывая ряд местных бунтов снизу—это от бакунизма; создать организацию в центре, чтобы она „всколыхнула" Россию—это от бабувизма! И мы видим, как Попов постепенно переходит к этой мысли.

201.—Надо помнить, что народовольческий „синтез" выработан был быстро и прошел такие этапы: „тезис"—ортодоксальное землевольчество с бакунистскими установками; „антитезис"—выдвинувшееся чересчур на первый план дезорганизаторство с политрадикалистским его обоснованием („морозовские" мотивы землевольчества).

202.—Термин „люди дела" Попов употребляет в пику Н. А. Морозову. Здесь он инстинктивно чувствует правду и хочет сказать следующее: политрадикалы вели к крайностям, к разрыву, тогда как „люди дела", т. е. бакунисты, перерастающие в бабувистов, шли против разрыва, ибо они хотели политический террор радикалистского типа заменить террором народовольческого типа, т. е. орудием бабувистского типа политической борьбы. На суде А. И. Желябов так отмежевался от морозовского „теллизма": „Некий Морозов написал брошюру. Я ее не читал; сущность ее я знаю; к ней, как партия, мы

относимся отрицательно, и просим эмигрантов (Морозов написал брошюру, находясь в эмиграции. — *Ив. Т.*) не пускаться в суждения о задаче русской социально-революционной партии, пока они за границей, пока они беспочвенники. Нас делают ответственными за взгляды Морозова, служащие отголоском прежнего направления, когда действительно некоторые из членов партии, узко смотревшие на вещи, вроде Гольденберга, полагали, что вся наша задача состоит в расчищении пути через частые политические убийства" („Дело 1-го марта", ред. Дейча, стр. 336).

С первого взгляда может показаться, что Желябов впадает в противоречия с самим собою: с одной стороны, он „теллизм" Морозова приписывает тому, что последний оторвался от родной почвы; с другой стороны, он объясняет его, как отголосок прежнего направления, разделявшегося такими узкими людьми, как Гольденберг, — а последний ведь в эмиграции не был. Но на самом деле противоречия нет, ибо Желябов проводит такую мысль: эмигрировав за границу и оторвавшись от России, люди вроде Морозова не улавливают постоянных изменений в жизни партии; а между тем прежде она склонялась к политрадикализму, теперь же, быстро пережив этот момент, утвердилась на бабувизме. Морозов же продолжает считать вчерашний день за сегодняшний.

203. — „Только сильная и грозная боевая организация могла всколыхнуть матушку Русь и принудить правительство пойти на уступки". Народовольцы-бабувисты предвидели возможность такого оборота событий: захватить власть и создать свое Временное правительство не удастся, но царское правительство поспешит уступить и даст конституцию. В программе рабочих членов говорится, что в таком случае надо продолжать готовиться к социалистической революции. Это зародышевая идея предсоциалдемократизма, а именно — идея об использовании политической свободы для подготовки социалистического переворота. В дальнейшем мысль работала в таком направлении: вряд ли такой случай мало вероятен; нет, он гораздо более вероятен, чем захват власти, ибо для захвата власти и немедленного построения социализма народ вряд ли готов. Дальнейшее размышление в этом духе вело к отчеканенному предсоциалдемократизму с таким типичным для него предвидением: не захватываем власть, но получаем политическую свободу, а благодаря ей можем с успехом готовить социалистический переворот. Когда понимание этого переворота становится марксистским, а не утопистским, предсоциалдемократизм превращается (Скачок! Перерыв постепенности!) в социалдемократизм.

Понимал ли Попов свою фразу — „правительство пойдет на уступки" — в предсоциалдемократическом смысле? Нет, у нас не имеется оснований для такого утверждения. В таком случае, приходится констатировать еще раз, что несомненный бабувист здесь употребляет — под позднейшим влиянием освобожденческой историографии — либеральный термин.

206. — Полемизируя с Плехановым о роли крестьянства, Попов и прав, и не прав. Прав он постольку, поскольку меньшевики, действительно, не понимали, что демократические, антипомещичьи настроения крестьянства могут и должны быть использованы в политической революции, а антикапиталистические, антибуржуазные настроения беднейших крестьян могут и должны быть использованы в социалистической революции. Но не прав он в том отношении, что совершенно не понимает, что только пролетариат, — класс-организатор, класс-гегемон, — может повести за собой крестьянство и на демократическую, и на социалистическую революцию, что „самотеком" крестьянство не идет не только к социализму, но даже к демократической революции.

Мы знаем, что 60-е и 70-е годы эмпирически, так сказать, натолкнулись на идею, что кто-то должен возглавить крестьянские массы. Мы видели, что и лавризм, и ткачевизм, и бакунизм, хотя и по-разному, но таким возглавляющим слоем считали интеллигенцию, вышедшую из народа, но опередившую его в развитии. Они были правы, поскольку указывали на необходимость возглавления, но история показала, что возглавила борьбу крестьянских масс в обеих революциях, — и в политической, и в социалистической, — не интеллигенция, а пролетарская масса, тоже вышедшая из народа и тоже опередившая его, и не только в политическом развитии, но и в народно-хозяйственном опыте.

207. — Общеизвестно, что и среди рядовой интеллигенции, и среди ее духовных вождей 60–70-х годов, особенно на правом крыле и в правом центре движения — пользовались огромным влиянием Лассаль и Прудон. Общеизвестно также, что в частности Н. Михайловский колебался между идеями Лассаля и идеями Прудона, о чем можно найти много указаний в его собственных сочинениях. Теперь М. Р. Попов лишний раз подтверждает, каким авторитетом пользовались среди семидесятников Лассаль и Прудон. Можно поэтому только пожать плечами, когда пресловутый Колосов — в невежестве своем — считает, будто Чернов, писавший в 1912 г. о влиянии Прудона и Лассаля на Михайловского, открыл Америку, сказал новое слово!

Мы знаем, что хожденцы вели мирную пропаганду, как правые кустаристы. Поэтому легко объяснить, почему за представителя правого крыла утопизма Луи-Блана и стоявшего между ним и марксизмом Лассаля, а также за вождя фракционного правого центра мелких производителей Прудона ухватились хожденцы: эти писатели — наиболее яркие выразители собственных социально-экономических воззрений хожденцев.

209. — В № 1 „Народной Воли" мы читаем знаменитую фразу: „Или будем по-старому игнорировать политическую деятельность, тратя все силы на то, чтобы биться около народа, как рыба об лед?" Чрезвычайно обильны толкования, каким подвергались эти слова. Попробуем сопоставить их со словами программы, напечатанной в № 3: „Не менее серьезное внимание партия должна обратить на народ. Главная за-

дача партии в народе — подготовить его содействие перевороту и возможность успешной борьбы на выборах после переворота, имеющей целью проведение чисто-народных депутатов. Партия должна приобрести себе сознательных сторонников в наиболее выдающейся части крестьянства, должна подготовить себе активное содействие масс".

Если работать в народе значит биться, как рыба об лед, то совершенно странно звать на работу в народе с такой энергией, как это делает программа. Казалось бы — налицо глубочайшая неувязка № 1 с № 3. Мы объясним сейчас в чем дело, оперируя словами М. Р. Попова. На стр. 209 он пишет: „Завоевать симпатии крестьян в такой мере, чтоб потом вести среди них пропаганду совершенно откровенно, не составляло большого труда". Или ниже: „Я думаю, что в наше время крестьянство вовсе не было недоступно пропаганде". Итак, пропагандировать можно, и даже с большим успехом.

Прочтем теперь, что он писал на стр. 60: „Надежды на то, что пропаганда вызовет деревенский народ на активную борьбу или, по крайней мере, вдохнет в крестьянство веру в то, что такая борьба даст плодотворные результаты, — такие надежды не оправдались. Крестьянин слушал революционера точно так же, как он слушает батюшку, проповедывающего ему о царствии небесном". Итак, от пропаганды до восстания — огромная дистанция; легко распропагандировываемый, крестьянин очень и очень туг на активные действия. Следовательно, с „битьем об лед" надо сравнивать не пропагандистскую работу в народе, а работу повстанческую.

Мы уже видели, что в полемике с Плехановым Попов забыл, что при расчете на крестьянство важны не итоги пропагандистской, а итоги повстанческой работы. Но здесь нам важно другое; а именно — надо показать читателю, что бабувистский синтез ответил на все противоречия следующим образом: ведите энергичную пропагандистскую работу в деревне; она непременно скажется потом взрывом восстания, но только тогда, но только при том условии, если в центре грянет инсуррекция, дезорганизующая вконец силы абсолютизма.

Тут же добавим следующее. Во многих своих работах мы указывали, что на первых двух номерах „Народной Воли" сильно сказывается влияние политрадикализма. Затем оно исчезает вплоть до 8—9 номера, и появляется вновь отчасти в 10-м, а особенно в 11—12 номерах. Такое выражение, как „работать в народе значит биться как рыба об лед", политрадикалы понимали посвоему в смысле отрицания всякой, — и пропагандистской, и повстанческой, — работы в народе. Когда двое говорят одно и то же — это всегда не одно и то же.

210. — Нельзя не признать верным и тонким у М. Р. Попова сопоставление „народа" и „культурных, и даже высокообразованных слоев". Народ верит в царя, а либеральные слои известной эпохи — в просвещенный абсолютизм. У народа эта вера проистекает из следующих условий: мы уже знаем, что утописты правого крыла уповают на существующую власть,

на „ум и совесть“ правительств, парламентов и господствующих классов. В основе своей такие упования одной природы с народной верой в царя: подлинные мелкие производители тоже ищут силу, которая вывела бы их из беды. Как идеологи, так и сами мелкие производители постоянно колеблются с фланга на фланг: была эпоха, они верили в царя; наступили другие годы, и они пошли за революционерами. Какие моменты в деятельности царей истолковывались народом в свою пользу? Народ страдал и от дворянства, и от капитализма. Абсолютизм в известные эпохи защищал интересы сельского хозяйства против интересов капиталистического города. Крестьянин перетолковывал это как мнимый антикапитализм царя и ставил ему это в плюс. В другие эпохи абсолютизм поддерживал против дворянства в целом ту часть дворянства же, которая хотела европеизации страны (аграрную фракцию буржуазии); народ истолковывал это как антидворянскую позицию царя и тоже ставил ему это в заслугу. Любопытно, что почти так же мыслил и „высокообразованный“ либерализм. ставя в заслугу царизму то его мнимое антидворянское настроение (напр., в эпоху освобождения крестьян), то его мнимый антикапитализм (напр., защиту общины, разрушаемой капитализмом, покровительство сельскохозяйственному экспорту, политику хлебных цен и т. д. и т. п.).

Подобно народу, и либеральное общество смелело ровно постольку, поскольку сказывалось влияние революционного пролетариата.

214. — Парадокс М. Попова: „никаких ни горожан, ни деревенщиков в действительности не было“, имеет следующий смысл. Не было горожан, т. е. не было политических радикалов; не было деревенщиков, т. е. не было чистых бакунистов. Были только — бакунисты, уже перерастающие в бабувистов.

216—217. — Надо все-таки признать, что Воронежский съезд землевольчества оказал огромное влияние даже на народовольцев, отколовшихся от партии „Земли и Воли“. Если Липецкий съезд дал большой загиб в сторону политрадикализма, то Воронежский съезд, подчеркнувший, что „э к о н о м и ч е с к а я революция — цель революционной деятельности“ (стр. 216), что политический террор в центре должен обязательно итти рядом с аграрным террором в деревне, — напоминал увлекавшимся деятелям о твердынях бакунизма. Поэтому Воронежский съезд очень важный этап на пути перерастания бакунизма в бабувизм.

218. — Правоверные бакунисты носились еще с мыслью создания какого-нибудь нового „Чигирина“, но более громкого, более углубленного и обширного. На это могло бы уйти много денежных средств и рабочих сил. А между тем, согласно убеждению бабувистов, без удара в центре, без инсуррекции, местный народный бунт будет раздавлен и окажется безрезультатным. Таким образом и люди, и материальные средства пропадут зря. Раскол и должен был положить конец бесполезным тратам. Люди и средства спасались таким образом для лучшего назначения!

222. — Рассказ о Квятковском свидетельствует еще раз, что многие из тех, кто первоначально был очень близок к Н. А. Морозову, т. е. к политическому радикализму, позднее отошли от него и примкнули к бабувизму.

Выражение М. Р. Попова, что „революционное движение грозит превратиться в политическую борьбу", — совершенно беспомощное, очень дурно выражающее его мысль. А она такова: была опасность, что политическая борьба пойдет по морозовскому политрадикалистскому типу. Когда же он увидел, что она пошла по бабувистскому типу, он примкнул фактически к народовольцам.

223—227. — М. Р. Попов говорит, что он боялся, как бы Киевская группа не превратилась в „партию борющихся лишь за буржуазные принципы. Мне кажется, что я не ошибаюсь, если скажу, что большинство революционеров именно этого боялось".

Наш автор очень верно изображает душевное состояние и свое, и других бывших землевольцев. Если взять номера „Черного Передела", то из них делается совершенно ясным, что чернопередельцы приписывали всему народовольчеству то, что было верно лишь по отношению к политрадикалистским уклонистам „Народной Воли". Боязнь, что народовольцы идут к политрадикализму, удержала Попова в „Черном Переделе". Но когда он увидел, что в народовольчестве торжествует бабувизм, т. е. вера в народное социалистическое восстание, вспыхивающее в ответ на грозный удар в центре, сорганизованный боевым отрядом интеллигенции, он протянул руку народовольцам. Таков смысл деятельности его Киевской группы (ноябрь 1879 г. — февраль 1880 г.). Такой ход развития специфичен для биографии М. Р. Попова, которого можно назвать бакунистом, превратившимся в бабувиста с большим опозданием, с мучительными колебаниями.

257. — Под кличкой Пан в революционных кругах Киева был известен провокатор Ярослав Герасимович Пиотровский (он же Ярослав Герасимович Доппельмайер). В феврале 1880 г. Пиотровский был арестован под фамилией Акимова и посажен в Киевскую тюрьму. Находясь там, он выдал подготавливавшийся побег М. Р. Попова и И. К. Иванова.

261. — Под фамилией Бойченко был арестован крестьянин Филипп Михайлович Филатов, а Троицкого — Николай Егорович Хрущов. Оба они открыли свои настоящие фамилии только на суде.

264. — Наш автор, как нам кажется, ищет причин жизненности и упорства движения 70-х годов не там, где искать их следует. В предисловии мы приводили слова Ленина, рисующие „жуткую картину" первоначального накопления, выпивавшего из народа последние капли крови. В своей работе „1-е марта" мы писали: „Если вспомнить всю эту вакханалию капиталистической спекуляции, то станет удивительно ясно, почему совпало с нею по времени движение, подготовившее „хождение в народ", ставившее себе целью смести эту нечисть с лица земли" (стр. 33). Сила движения 70-х годов — в том, что хотя народ и не поднялся

на восстание, но его ропот, его стоны, его отчаяние, его страдания были так велики, что удесятеряли энергию и волю к борьбе у его детей-идеологов.

265. — Автор ошибается: ген. Гурко в это время был помощником главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа; генерал-губернатором он был в 1882—1883 гг.

266. — Действительная роль Забрамского осталась неясной для М. Р. Попова и его товарищей по судебному процессу. Предательские сообщения жандармам Забрамский начал делать еще до покушения Поликарпова на его жизнь. Начальник Киевского губернского жандармского управления полковник Новицкий решил не открывать на суде всей предательской деятельности Забрамского. В виду этого Судейкин, основываясь на распоряжении Новицкого, и утверждал на суде, что первоначально Забрамский обманывал жандармов и давал им ложные сведения.

281. — Конечно, программа Киевского кружка в общих чертах такова же, как „программа нынешних социалистов-революционеров" (писано Поповым в 1908 году. — *Ив. Т.*). Но что раз бывает драмой, то повторенное превращается в дурной ф а р с. Народнические иллюзии в 70-х годах — это одно, а повторение их в XX веке — совсем другое. Прогрессивное в одно время, народничество стало реакционным — в другое. Такова диалектика! „Ум становится безумием, а добродетель — преступлением" (Гете). Конечно, вряд ли наш землеволец допустил бы, что события имели такой оборот. Но он не допустил бы этого только по непониманию законов диалектического развития.

297. — Обратим внимание читателя на интересный штрих в речи Стрельникова, а именно — его указания на то, как капитализм вел к оскудению дворянских гнезд. Нельзя отрицать, что антикапиталистические настроения народа легко было понять и дворянской молодежи, знающей на своем личном опыте, как „чумазый" разорял ее „родные гнезда".

298. — Стрельников упорно приписывал утопистам желание ввести „экономическое равенство", „уравнение имуществ" и т. п. и называл это „социализмом". Это не так невежественно, как кажется с первого взгляда. Дело в том, что социалистами ч а с т о называли себя и те, кто фактически был сторонником индивидуалистического варианта утопизма. На эту тему можно прочитать у народовольца Морозова массу мест, вроде следующего: „Во многом либералы казались мне логичнее наших тогдашних социалистов; я и сам ставил, как они, ближайшей целью гражданскую свободу, — а не п е р е д е л и м у щ е с т в" („Повести моей жизни", II, 207). Стрельников говорит: „уравнение имуществ", Морозов вторит: „передел имуществ".

320. — Характеризуя революционеров 70-х годов, Попов по существу оперирует старыми сопоставлениями: лавризм — за ум, бакунизм — за чувство, а так как народовольчество — это бакунизм, ткачевизм и лавризм, синтезированные в одно целое, то оно — и за ум, и за чувство, и за волю!

362. — М. Р. Попов пишет, будто Михайловский „защищал принципы нашей д е я т е л ь н о с т и", т. е. д е я т е л ь н о с т и

землевольцев и народовольцев. Если бы М. Р. написал: „принципы нашей идеологии“, то в этом был бы кое-какой смысл, ибо Михайловский, будучи правым кустаристом, сходился и с левыми в деле критики и разоблачения капитализма. Но именно в деятельности, т. е. при решении вопроса, как свалить капитализм, Михайловский резко разошелся и с бакунистами и с бабувистами, проявив себя, как правого кустариста. Он писал в № 2 „Народной Воли“: „Люди революции рассчитывают на народное восстание. Это дело веры. Я не имею ее“.

Землевольцы и народовольцы, — в том числе и Попов, — рассчитывали на народное восстание. Михайловский — нет. Отсюда ясна неправильность утверждения Попова, будто „Михайловский защищал принципы их деятельности“. Как видит читатель, дело обстоит „совсем наоборот“.

Это до такой степени верно, что даже такой — с позволения сказать — историк, как Колосов, и тот в 1912 г. написал статью „Бакунин и Михайловский в народничестве“, в которой проводил мысль, что в сфере деятельности и Бакунин и Михайловский — антагонисты.

Почему же М. Р. Попов допустил такой ляпсус? Думается, потому, что после разгрома бабувистского течения народовольчества партию в целом стал представлять ее политрадикалистский уклон, идейным выразителем которого можно считать и Михайловского. Вследствие долгого сидения в Шлиссельбурге наш автор потерял прежде столь острое у него чувство различения бабувизма и политрадикализма.

377. — Причины увоза Стародворского из Шлиссельбурга остались надолго тайной для его товарищей по заключению. Только значительно позднее выяснилось, что этот увоз был следствием прошения о помиловании, поданного Стародворским, и заявления его о желании вступить в переговоры с представителями правительственной власти. В Петропавловской крепости Стародворского посещал, между прочим, знаменитый охранник Рачковский. По выходе на свободу Стародворский, поддерживавший связи с партией социалистов-революционеров, сделался агентом департамента полиции. Провокационная деятельность Стародворского была вполне установлена лишь после Февральской революции.

383. — Суждение об обаятельности личности Гершуни надо отнести к личному вкусу автора. Но в глазах объективного историка Гершуни, — правый социалист-революционер, охарактеризованный Плехановым как либерал плюс бомба, — имеет, кроме черт, общих всем деятелям этой группировки, массу специфических, мало привлекательных свойств, в свое время разоблаченных в подпольной печати: склонность к позе, к театральности, к хлесткой фразе, искажающей действительность, т. е. к тому, что „Искра“ в № 64 (за 1904 г.) окрестила именем „революционной беллетристики“.

Ив. Теодорович

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Ааронский, Николай Викторович (1860—1929), в 1878—1880 г. член пежинского революционного кружка. В 1881 г. был арестован и сослан на 5 лет в Киренск. Впоследствии статистик. 286—288.

Адамюк, разбойник. 259.

Аджемов, Моисей Сергеевич (род. в 1878 г.), адвокат, депутат Государственной Думы от Ростова-на-Дону, конституционалист-демократ. 32, 33.

Александр II (1818—1881), русский император. 7, 147, 148, 196, 201, 202, 210, 214, 217, 227, 309.

Александр III (1845—1894), русский император. 95, 96, 104, 333, 357, 358.

Алексеев, Петр Алексеевич (1849—1891), рабочий-революционер; арестован в 1875 г., и по процессу 50-ти, во время которого он произнес горячую революционную речь, приговорен к каторжным работам на 10 лет; каторгу отбывал на Каре. В 1884 г. вышел на поселение в Якутскую область. Был убит якутами с целью грабежа. 188.

Алексей, босяк. 154, 155, 161, 162.

Андреич — см. Емельянов, А. П.

Анитов — см. Жуков, В. И.

Антоний (1846—1912), петербургский митрополит. 116, 373, 374.

Антонов, Петр Леонтьевич (1859—1916), рабочий — народоволец. Арестован в 1885 г. и в 1887 г. приговорен к каторжным работам без срока. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге, где пробыл до 1905 г. 345, 346, 367—369, 377, 387.

Анучин, Дмитрий Гаврилович (1833—1900), генерал-губернатор Восточной Сибири. 335.

Аптекман, акушерка в Ростове-на-Дону. 83.

Аптекман, Осип Васильевич (1849—1926), революционер 70-х годов, член „Земли и Воли“ и „Черного Передела“. В 1880 г. арестован и выслан в Якутскую область. В 1886 г. возвратился в Европейскую Россию. В 1893 г. участвовал в партии „Народное Право“. Позднее — член РСДРП, меньшевик. 60, 61, 148, 215, 220, 223—225.

Арончик, Айзик Борисович (1859—1888), народоволец; принимал участие в подготовке покушения на Александра II в 1879 г. под Москвой. Арестован в 1881 г. и по процессу 20-ти приговорен к каторжным работам без срока. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге. 12, 322, 323, 332, 337.

Ашенбреннер, Михаил Юльевич (1842—1926), полковник, член военной организации „Народной Воли“. В 1883 г.

был арестован и по процессу 14-ти приговорен к каторжным работам без срока. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге, где пробыл до 1904 г. 362, 365, 368.

Байков, полковник, член Киевского военно-окружного суда. 231, 262, 270—272.

Бакунин, Михаил Александрович (1814—1876), теоретик анархизма. 56.

Балабуха, Сергей Павлович, революционер 70—80-х годов, в конце 70-х годов вел пропаганду среди крестьян; в 1880 г. Харьковским военно-окружным судом приговорен к аресту на 3 недели. В 80-х годах вел пропаганду среди рабочих; в 1885 г. организовал в Харькове „группу революционных народников". В 1886 г. был арестован и выслан на 5 лет в Восточную Сибирь. В 1892 г. возвратился в Европейскую Россию. 86.

Баламез, Андрей Михайлович (1860 — ум.), революционер 70-х годов, участник террористической группы на юге России; в 1878 г. арестован и по процессу Лизогуба, Чубарова и др. приговорен Одесским военно-окружным судом к 20 годам каторжных работ, которые отбывал на Каре. В 1890 г. восстановлен в правах. В 1894 г. эмигрировал в Болгарию, где и умер. 316.

Балмашев, Степан Валерианович (1882—1902), социалист-революционер; в 1902 г. убил министра внутренних дел Сипягина. Военно-окружным судом приговорен к повешению. Повешен в Шлиссельбургской крепости. 365, 368, 369.

Баранников, Александр Иванович (1858—1885), революционер 70-х годов, член „Земли и Воли" и Исполнительного Комитета „Народной Воли". В 1881 г. был арестован и Особым присутствием Сената приговорен к каторжным работам без срока. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге, где и умер. Революционный псевдоним — „Семен". 46, 62, 63, 75, 76, 117, 194, 196, 198, 216, 307, 318, 319, 325, 337.

Бачин, Игнатий Антонович, рабочий-революционер 70-х годов, один из основателей „Северного союза русских рабочих". Арестован в 1881 г. и сослан на поселение в Якутскую область. В 1883 г. убил свою жену Е. Н. Южакову и покончил с собой. 85, 86.

Б — ев, монтер железнодорожных мастерских в Ростове-на-Дону. 154.

Безроднов, Николай Сергеевич (род. в 1857 г.), врач в Шлиссельбургской крепости. 342.

Бельский, кандидат на судебную должность. 262, 303.

Березнюк, Гавриил Николаевич, — действительная фамилия Тищенко, Иван Иванович, — матрос, член революционного кружка в Николаеве. Арестован в 1878 г. под фамилией Березнюк и Харьковским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам без срока. Каторгу отбывал на Каре и в Акатуе. В 1898 г. вышел на поселение в Баргузинском округе. 86.

Бирбаум, студент Киевского университета, в комнате которого Поликарпов в 1880 г. покушался на жизнь шпиона Забрамского. 276.
Богданович, Юрий Николаевич (1850—1888), революционер 70-х годов, народоволец, участник покушения на Александра II в 1881 г. В 1882 г. был арестован и по процессу 17-ти приговорен к каторжным работам без срока. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге, где и умер. 144, 148, 194, 196, 208, 318.
Боголюбов — см. Емельянов, А. П.
Богомаз, Александра Андреевна, участница революционного движения 70-х годов; в 1879 г. арестована и сослана в Вологодскую губернию. Умерла в начале 80-х годов. 68.
Богомолец, Софья Николаевна, урожденная Присецкая (1856—1892), революционерка 70-х годов, член „Южно-русского рабочего союза“ в Киеве в 1880—1881 гг. Арестована в 1881 г. и приговорена военно-окружным судом к каторжным работам на 10 лет. Каторгу отбывала на Каре. Умерла через несколько лет по переводе во внетюремный разряд. 333, 334.
Богомолов, исправник. 130.
Богомолов, Владимир Александрович, участник революционного движения 70-х годов. Вел пропаганду среди крестьян и рабочих. В 1874 г. был арестован. В 1875 г. покончил с собой в Доме предварительного заключения в Петербурге. 130, 131.
Богуславский, Арсений Ананьевич (1854—1880), участник киевских революционных кружков и украинской громады конца 70-х годов. Был арестован в 1879 г. и приговорен к смертной казни. Ценою предательства купил себе жизнь; смертная казнь была заменена каторгою на 15 лет. Умер в тюрьме. 49, 50, 255—257, 263, 267, 269, 270, 279, 294, 302.
Бойченко — см. Филатов, Ф. М.
Борисевич, Константин Викентьевич, участник революционного движения 70-х годов. 88.
Бохановский, Иван Васильевич (1848—1917), революционер-народник, участник покушения на предателя Гориновича и Чигиринского дела. В 1877 г. был арестован; в 1878 г. бежал за границу, где примкнул к народовольцам; позднее социалист-революционер. 109, 260, 307.
Брандтнер, Людвиг Карлович, революционер 70-х годов, член террористической группы В. Осинского на юге России. Арестован в 1879 г. в Киеве, при чем оказал вооруженное сопротивление. В том же году приговорен Киевским военно-окружным судом к смертной казни. 14 мая 1879 г. повешен. 35, 66.
Буланов, Леонид Петрович (1856—1922), революционер-народник, член „Земли и Воли“. В 1878 г. был арестован и в 1880 г. Петербургским военно-окружным судом приговорен к ссылке на поселение в Тобольскую губ. В конце

90-х годов возвратился в Европейскую Россию. Позднее социалист-революционер. 59, 161, 213, 333.

Булгаков, кандидат на судебную должность. 262, 270.

Булыгин, Александр Григорьевич (1851—1919), министр внутренних дел в 1905 г., автор проекта созыва законосовещательной Государственной Думы. 377.

Бунге, Николай Христианович (1823—1895), экономист, профессор Киевского университета, в 80-х годах министр финансов. 229, 230.

Бутенко, Христиана, участница революционного движения 70-х годов. 68.

Буцинский, Дмитрий Тимофеевич (1851—1891), народоволец, член киевской объединенной организации народовольцев и чернопередельцев. Арестован в 1879 г. и Киевским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 20 лет. Каторгу отбывал на Каре и в Шлиссельбурге, где и умер. 226—228, 242, 248, 261, 279, 284, 285, 288, 301, 303, 306, 318, 336, 353—356.

Быковцев, Николай Павлович, революционер-народник 70-х годов, участник „Земли и Воли". 59, 63—67, 75, 81, 87, 90, 157.

Валь фон, Виктор Вильгельмович (1840—ум.), петербургский градоначальник в 1892—1895 гг., с 1901 г. виленский губернатор. 20, 370, 371.

Варшавский, Абрам Моисеевич, железнодорожный предприниматель 70-х годов, миллионер. 143, 239.

Ващинский, инспектор духовной семинарии в Екатеринославе. 294.

Веймар, Орест Эдуардович (1845—1885), известный врач и владелец больницы в Петербурге; оказывал ряд услуг революционерам. Арестован в 1879 г. и в 1880 г. приговорен Петербургским окружным судом к каторжным работам на 15 лет. Каторгу отбывал на Каре. 312.

Верблин, Захарий, жандармский унтер-офицер. 288, 292.

Веревкин, Александр Николаевич (1864—1922), с 1885 г. чиновник министерства юстиции, позднее сенатор. 388.

Вилье, владелец больницы в Петербурге. 104, 105.

Виташевский, Николай Алексеевич (1857—1918), революционер 70-х годов, член кружка Ив. Ковальского в Одессе. В 1878 г. арестован; при аресте оказал вооруженное сопротивление. В том же году Одесским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам. Каторгу отбывал в Новобелгородском централе и на Каре. В 1883 г. вышел на поселение в Якутскую область. В 1897 г. возвратился в Европейскую Россию. Позднее примкнул к партии социалистов-революционеров. 307, 311.

Владыкин, Николай, врач, участник революционного движения 70-х годов. 59, 158, 162.

Войнаральский, Порфирий Иванович (1844—1898), революционер-народник, участник студенческого движения 1861 г. в Москве. В 1862—1868 годах отбывал ссылку в различных городах Европейской России и поддерживал сношения

с кружком ишутинцев. В 1873—1874 годах деятельный участник хождения в народ. Арестован в 1874 г. и по процессу 193-х в 1878 г. приговорен к ссылке на поселение. Ссылку отбывал в Верхоянском округе и в Якутске. В 1897 г. возвратился в Европейскую Россию. 104, 117, 307—311, 313.

Волкенштейн, Людмила Александровна (1857—1906), революционерка 70—80-х годов. Участвовала в покушении на харьковского губернатора Кропоткина в 1879 г., после чего эмигрировала. В 1883 г. возвратилась в Россию, чтобы принять участие в народовольческой работе, но вскоре была арестована и военно-окружным судом приговорена к смертной казни, замененной каторжными работами на 15 лет. Каторгу отбывала в Шлиссельбурге, откуда в 1897 г. отправлена на Сахалин. В 1902 г. переехала во Владивосток, где принимала участие в революционном движении. Убита полицией во время демонстрации. 343—352, 361, 365.

Волошенко, Иннокентий Федорович (1848—1908), революционер 70-х годов, участник террористической группы на юге России. В 1879 г. арестован и Киевским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 10 лет, которые отбывал на Каре. В 1906 г. возвратился в Европейскую Россию и примкнул к партии социалистов-революционеров. 86, 91, 225, 226, 308, 318, 336.

Воронов, Петр — нелегальная фамилия, под которой жил в 1879 г. Преображенский, Александр Иванович. В 1881 г. был арестован и по делу „Южно-русского рабочего союза“ приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, которую отбывал на Каре. В 1891 г. вышел на поселение в Читу; позднее жил в Иркутске, где и умер. 284, 286—288, 295.

Воскресенский, Петр Петрович, участник революционного движения 70-х годов, вел пропаганду среди крестьян; привлекался по процессу 193-х, но был оправдан. Позднее врач. 57, 58.

Вунч, Эммануил Иванович, директор департамента полиции в 1905 г. 377—379.

Галкин-Враский, Михаил Николаевич, чиновник тюремного управления, позднее член Государственного Совета. 335.

Гангардт, полковник, комендант Шлиссельбургской крепости в 1891—1897 гг. 338, 339, 341.

Гаркуша, лаврист (биографические сведения о нем найти не удалось). 177.

Гартман, Лев Николаевич (1850—1913), революционер-народник, вел пропаганду среди крестьян; в 1879 г. примкнул к „Народной Воле“ и участвовал в подготовке покушения на Александра II под Москвой, после чего эмигрировал. Состоял заграничным представителем „Народной Воли“. 59, 62, 63, 69, 73, 83, 89, 90, 148, 154, 157, 194, 204.

Гартман, Николай Николаевич, брат Л. Н. Гартмана, начальник телеграфной конторы в Новочеркасске. 69, 73, 154.

Гейкинг, бар., Густав Эдуардович, адъютант Киевского губернского жандармского управления. Убит 27 мая 1878 г. Гр. Попко. 104.

Геллис, Меер Яковлевич (1852—1886), революционер 70-х годов, член революционного кружка в Одессе; вел пропаганду среди рабочих. В 1879 г. арестован и Одесским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам без срока. Каторгу отбывал на Каре и в Шлиссельбурге, где и умер. 318, 336, 356.

Геронимус, Евгения Соломоновна, участница революционного движения 70-х годов. 108, 198.

Герценштейн, Михаил Яковлевич (1859—1906), экономист, профессор Петровской академии, член 1-й Государственной Думы, конституционалист-демократ; убит черносотенцами. 22.

Гершуни, Григорий Андреевич (1870—1908), один из организаторов партии социалистов-революционеров и ее боевой организации. В 1903 г. был арестован и в 1904 г. приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами без срока. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге и в Акатуе, откуда в 1906 г. бежал за границу. 383—386.

Гинсбург, Софья Михайловна (1865—1891), революционерка 80-х годов; в 1888 г. сделала попытку восстановить партию „Народная Воля". В 1889 г. была арестована и Особым присутствием Сената приговорена к каторжным работам без срока. Каторгу отбывала в Шлиссельбурге, где покончила с собой. 12, 338.

Гоголь, Николай Васильевич (1809—1852), писатель. 45.

Гольденберг, Григорий Давыдович (1855—1880), революционер 70-х годов; в 1879 г. убил харьковского губернатора Кропоткина. В том же году примкнул к „Народной Воле", но вскоре был арестован. При допросе дал откровенные показания, рассчитывая склонить правительство на путь реформ. Увидав, вслед за этим, что он обманут охранниками, покончил с собой. 201, 206, 302.

Голодопов, Иван, крестьянин. 109—110.

Голубов, Лазарь Моисеевич, революционер 70-х годов. В 1875 г. был арестован и выслан в Шенкурск, откуда в 1878 г. бежал. Участвовал в харьковском революционном кружке. В 1880 г. был арестован и Харьковским военно-окружным судом приговорен к тюремному заключению на два месяца. По выходе из тюрьмы вновь выслан в Шенкурск, а в 1881 г. переведен в Якутскую область. 301.

Горемыкин, Иван Логгинович (1839—1917), министр внутренних дел в 1895—1899 гг., председатель совета министров в 1914—1916 гг. 361.

Гостинцев, Мартын Герасимович, участник революционного движения 70-х годов, член кружка, примыкавшего к „Земле и Воле". 74, 76, 89.

Грагам, владелец завода в Ростове-на-Дону. 80, 90, 154, 162.

Градовский, Александр Дмитриевич (1841—1889), юрист, профессор Петербургского университета. 210.

Грачевский, Михаил Федорович (1849—1887), революционер 70-х годов. За пропаганду среди рабочих был арестован в 1875 г. и по процессу 193-х приговорен к тюремному заключению на 3 месяца. В 1878 г. был выслан в Архангельскую губернию. В 1879 г. бежал из ссылки и примкнул к „Народной Воле". В 1882 г. был арестован и по процессу 17-ти приговорен к каторжным работам. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге, где покончил с собой. 332, 345—347, 350—352.

Грибоедов, Александр Сергеевич (1795—1829), писатель. 45, 363.

Григорий, рабочий — см. Иващенко, Г.

Грубер, Венцеслав Леопольдович (1814—1890), профессор Медико-хирургической академии. 57.

Грушецкая — повидимому Гружевская, Альдона Эмильевна, слушательница медицинских курсов в Петербурге и участница польского революционного кружка. В 1878 г. была арестована и сослана в административном порядке в Красноярск. 102, 178, 179.

Гудзь, ротмистр, смотритель Шлиссельбургской крепости. 365—367, 372, 376.

Гуковы, крестьяне. 127—132, 139, 140, 199.

Гурко, Иосиф Владимирович (1828—1901), генерал-фельдмаршал, в 1880—1882 гг. помощник главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа, в 1882—1884 гг. петербургский генерал-губернатор.

Дебагорий-Мокриевич, Владимир Карпович (1848—1926), революционер 70-х годов, участник „киевской коммуны" 1873 г. и кружка бунтарей во второй половине 70-х годов. В 1879 г. был арестован и Киевским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 14 лет. По пути на каторгу бежал и эмигрировал за границу, но от революционного движения отошел, превратившись в типичного буржуазного либерала. 226.

Девель, Михаил Владимирович (1846—1927), революционер 70-х годов, член „Земли и Воли" и ее тамбовского поселения. В 1879 г. был арестован и выслан в Томск. В 1883 г. возвратился в Европейскую Россию; работал в качестве агронома. 208, 215.

Дегаев, Сергей Петрович (1854—1920), народоволец; арестованный в 1882 г., он становится агентом охранки, которая устроила ему фиктивный побег. В 1883 г. Дегаев уехал за границу, где признался заграничному народовольческому центру в предательстве. Получив поручение организовать убийство Судейкина, чтобы искупить свою вину, Дегаев возвратился в Россию. После убийства Судейкина в декабре того же года, Дегаев эмигрировал в Америку. 206.

Дедушка — см. Хазов, П. Н.

Дейч, Лев Григорьевич (р. в 1855 г.), революционер, в 70-х годах участвовал в киевском кружке бунтарей и в чигиринском заговоре. В 1879 г. вошел в „Черный Передел“. В 1880 г. эмигрировал. В 1883 г. был одним из учредителей группы „Освобождение Труда“. В 1884 г. арестован в Германии, выдан русскому правительству и приговорен к каторжным работам на 13 лет. Каторгу отбывал на Каре. В 1897 г. вышел на поселение. В 1901 г. бежал за границу. Позднее социал-демократ меньшевик. 47, 48, 109, 143, 197, 217, 223, 224, 239, 240, 307.

Демчинская, Антонина Николаевна, жена М. Э. Новицкого, в 70-х годах вела пропаганду среди крестьян и участвовала в землевольческих поселениях. 83.

Джеффриз, Джордж, лорд (1640—1689), английский политический деятель, верховный судья при Иакове II. Человек беспринципный и бесстыдный до цинизма, он был послушным орудием в руках короля в борьбе последнего с его политическими врагами. 270.

Диковский, Моисей Андреевич (1857—1930), революционер 70-х годов, член киевского революционного кружка, организованного М. Р. Поповым. В 1879 г. был арестован и Киевским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 15 лет. Каторгу отбывал на Каре. За неудавшийся побег в 1882 г. срок каторги был увеличен на 10 лет. В 1899 г. вышел на поселение в Читу. 228, 261, 279, 284, 285, 301, 306, 316.

Диковский, Сергей Дорофеевич (1857 — ум. в 1900-х), революционер 70-х годов, член киевского кружка, организованного М. Р. Поповым. В 1880 г. арестован и Киевским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 20 лет. Каторгу отбывал на Каре. В 1892 г. вышел на поселение в Якутскую область. 49, 228, 239, 241—243, 245, 248, 249, 253, 261, 263, 271, 272, 279, 280, 284—286, 292, 302, 303, 306.

Диньков, крестьянин. 287.

Дмитренко, Евгения, свояченица М. Н. Стаховского. 291.

Дмоховский, Лев Адольфович (1851—1881), революционер 70-х годов, член кружка долгушинцев. В 1873 г. был арестован за пропаганду среди крестьян и Особым присутствием Сената приговорен к каторжным работам на 10 лет. Каторгу отбывал в Новобелгородском централе. В 1880 г. переведен на Кару. Умер по дороге туда в Иркутске. 312.

Добровольский, кандидат на судебную должность. 262.

Долгушин, Александр Васильевич (1848—1885), революционер 70-х годов, организатор кружка долгушинцев. В 1873 г. был арестован и Особым присутствием Сената приговорен к каторжным работам на 10 лет. Каторгу отбывал в Новобелгородском централе, на Каре и в Шлиссельбурге. 318, 325, 326.

Дондерс, Франц-Корнелиус (1818—1889), знаменитый голландский физиолог. 57.

Дондукова-Корсакова, Мария Михайловна (1828—1909), филантропка. 373, 375, 377, 384, 385.

Драгоманов, Михаил Петрович (1841—1895), украинский публицист. 318.

Дрей, Михаил Иванович (род. в 1860 г.), народоволец, вел пропаганду среди рабочих в Одессе. В 1881 г. был арестован и в 1883 г. по „Стрельниковскому процессу“ приговорен к каторжным работам на 15 лет. Каторгу отбывал на Каре; в 1888 г. вышел на поселение в Читу; в 1895 г. возвратился в Европейскую Россию. 22.

Дрентельн, Александр Романович (1820—1888), генерал-адъютант, в 1878—1880 гг. шеф жандармов. 89, 107, 141, 143, 146, 150.

Дробязгин, Иван Васильевич, революционер 70-х годов, член киевского кружка бунтарей. В 1877 г. был арестован и в 1879 г. Одесским военно-окружным судом приговорен к смертной казни. 7 декабря того же года повешен в Одессе. 239.

Дубровин, Владимир Дмитриевич (1855—1879), революционер 70-х годов. Будучи офицером, пытался создать военную революционную организацию. В 1878 г. был арестован и оказал вооруженное сопротивление. В 1879 г. Петербургским военно-окружным судом приговорен к смертной казни. 20 апреля 1879 г. повешен в Петропавловской крепости. 104, 107, 232.

Дубровин, Константин Григорьевич, учитель греческого языка в екатеринославской духовной семинарии. 45.

Дурново, Петр Николаевич (1845—1915), в 1884—1893 гг. директор департамента полиции, в 1905—1906 гг. министр внутренних дел в кабинете С. Ю. Витте. 23.

Дыбский, Даниил Кондратьевич, учитель духовного училища в Мариуполе. 44.

Емельянов, Алексей Степанович (1852—1892), революционер 70-х годов, участник хождения в народ, член „Земли и Воли“. В 1876 г. арестован под фамилией Боголюбова во время демонстрации на Казанской площади в Петербурге и приговорен к каторжным работам на 15 лет. В 1877 г. вследствие столкновения с петербургским градоначальником Треповым подвергнут телесному наказанию. Каторгу отбывал в Новобелгородском централе. В 1880 г., вследствие душевной болезни, переведен в Казанскую психиатрическую больницу; в 1887 г. отдан на поруки брату. Кличка „Андреич“. 58, 59, 72, 73, 76, 79, 91, 161, 207, 208.

Жабский, крестьянин. 87, 88.

Жебунев, Владимир Александрович (1848—1915), революционер 70-х годов, участник хождения в народ, в 1874 г. был арестован и привлекался по процессу 193-х, но был оправдан. Позднее примкнул к „Народной Воле“ и был членом ее Исполнительного Комитета, но вскоре был арестован и в 1882 г. сослан в Восточную Сибирь на 5 лет. 196.

Желиховский, Владимир Анатольевич, прокурор, выступавший обвинителем по процессу 193-х. 106.

Желябов, Андрей Иванович (1851—1881), выдающийся революционер 70-х годов, член одесского отделения кружка чайковцев. В 1874 и 1877 гг. подвергался аресту. Судился по процессу 193-х, но был оправдан. В 1879 г. становится во главе „Народной Воли" и организует ряд покушений на Александра II. 27 февраля 1881 г. был арестован и Особым присутствием Сената вместе с другими первомартовцами приговорен к смертной казни. Казнен 3 апреля 1881 г. 46, 47, 108, 142, 145, 194, 216, 218, 219, 221, 222, 353.

Житецкие, семья украинофилов. 226.

Житецкий, Иродион Алексеевич (род. в 1851 г.), член киевского украинофильского кружка. В 1879 г. был арестован и выслан в Вятскую губернию. Позднее этнограф. 233.

Жуков, Владимир Иванович (1859—1884), революционер 70-х годов, член киевского кружка, организованного М. Р. Поповым; в 1880 г. был арестован и приговорен к каторжным работам на 7 лет. Каторгу отбывал на Каре, где и умер. 228, 243, 248, 261, 278—280, 282—285, 288, 294, 295, 306.

Журавлев, рабочий в Ростове-на-Дону, член местного революционного кружка; в 80-х годах был выслан в Иркутскую губернию. 82—86.

Жучковский, рабочий в Ростове-на-Дону, член местного революционного кружка. 86, 154.

Забрамский, Леонтий, крестьянин Кременецкого уезда, участник киевского революционного кружка. После ареста дал откровенное показание. Выпущенный на свободу, стал агентом Судейкина. 36, 37, 234, 239—248, 250—253, 255, 257, 266—286, 288, 294, 295, 300—302.

Завадская, Евгения Флориановна, революционерка 70-х и 80-х годов, участница хождения в народ; привлекалась по процессу 193-х, но была оправдана; после этого выслана административно в Сольвычегодск; бежала из ссылки и в 1880 г. примкнула к „Народной Воле"; в 1883 г. эмигрировала вместе с мужем А. А. Франжоли за границу и в том же году после смерти Франжоли покончила с собой. 119—123.

Заварыкин, Федор Николаевич (1835—1905), профессор гистологии Медико-хирургической академии. 45, 57.

Засулич, Вера Ивановна (1851—1919), видная деятельница революционного движения 70-х годов. В 1878 г. ее покушение на Трепова положило начало широко развившейся террористической борьбе против самодержавия. В 1879 г. вошла в „Черный Передел". Вскоре эмигрировала. В 1883 г. вместе с Плехановым, Аксельродом и др. организовала группу „Освобождение Труда". Позднее меньшевичка. 91—94, 103, 104, 151, 162.

Зворыкин, ростовский градоначальник, 32, 33.

Зиновьев, Иван, рабочий фабрики Торнтона. 177.

Зипр, крестьянин. 43.

Златопольский, Лев Соломонович (1850—1907), революционер 70-х годов, участник хождения в народ; позднее народоволец, участник покушения на Александра II под Одессой. В 1881 г. был арестован и в 1882 г. по процессу 20-ти приговорен к 20 годам каторжных работ. Каторгу отбывал на Каре. 239.

Златопольский, Савелий Соломонович (1858—1885), революционер 70-х годов, член Исполнительного Комитета „Народной Воли"; в 1882 г. был арестован и по процессу 17-ти приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге, где и умер. 318, 321.

Зунделевич, Аарон Исаакович (1854—1923), выдающийся революционер 70-х годов, член „Земли и Воли" и Исполнительного Комитета „Народной Воли", провел громадную работу по налаживанию транспорта через границу и по постановке тайных типографий в России. В 1879 г. был арестован и по процессу 16-ти в 1880 г. приговорен к каторжным работам без срока. Отбывал каторгу на Каре. В 1906 г., вернувшись с поселения, уехал за границу. Умер в Лондоне. 47, 109, 145, 202, 221.

Зуров, Александр Александрович, петербургский градоначальник. 97—100, 174—176, 181, 184—186.

Иаков II, английский король (1685—1688), последний из дома Стюартов, низвергнутый революцией. 270.

Иванов, Василий Григорьевич (1859—1917), революционер 70-х годов, член киевского революционного кружка, позднее народоволец. В 1883 г. был арестован и по процессу 14-ти приговорен к бессрочной каторге. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге, откуда был освобожден в 1904 г. Позднее социалист-революционер. 362.

Иванов, Игнатий Кириллович (1859—1886), революционер 70-х годов, член киевского революционного кружка, организованного М. Р. Поповым. В 1880 г. был арестован и Киевским военно-окружным судом приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Каторгу отбывал на Каре и в Шлиссельбурге, где и умер. Революционное прозвище: „Лойола". 18, 19, 35, 37, 38, 48, 228—232, 236, 251, 253, 257, 261, 262, 264, 279—282, 284—286, 289-292, 302—306, 318, 319, 336, 337, 356.

Иванов, Павел Осипович (1854—1894), участник „Южно-русского рабочего союза" 1880—1881 гг. В 1881 г. был арестован и Киевским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 20 лет. Каторгу отбывал на Каре и в Акатуе. В 1891 г. вышел в вольную команду. 257, 258, 283, 333.

Иванов, Сергей Андреевич (1859—1927), революционер 70-х годов; в 1879 г. административно выслан в Сибирь, откуда бежал и в 1881 г. примкнул к „Народной Воле", в том же году вновь арестован и выслан в Сибирь. В 1882 г. бежал вторично, работал над восстановлением разрушенной орга-

низации „Народной Воли"; в 1886 г. был арестован и приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, которую отбывал в Шлиссельбурге. Освобожденный в 1905 г., примкнул к партии социалистов-революционеров. Умер в эмиграции. 345, 351, 365, 372, 375, 376.

Иванченко, Григорий, рабочий, участник революционного движения 70-х годов в Одессе и в Киеве. В 1879 г. арестован, при чем оказал вооруженное сопротивление и был ранен. Открыть свою фамилию отказался и в виду этого был предан суду под наименованием „неизвестный, раненный в голову". Киевским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 14 л. 10 м. Каторгу отбывал на Каре. По дороге туда в феврале 1880 г. бежал из Иркутской тюрьмы, но вскоре был задержан. В 1889 г. открыл свою фамилию и подал прошение о помиловании, после чего был выпущен на поселение в Забайкальскую область. 86.

Иванчин-Писарев, Александр Иванович (1849—1916), революционер-народник, вел пропаганду среди крестьян, сотрудничал в революционных изданиях; в 1879 г. примкнул к „Народной Воле". В 1881 г. арестован и сослан в Восточную Сибирь. В 1889 г. вернулся в Европейскую Россию. Работал в редакции журнала „Русское Богатство". 144, 208, 213.

Игнатовы братья, Василий и Илья Николаевичи, участники революционного движения 70-х годов. При расколе „Земли и Воли" В. Н. Игнатов вошел в „Черный Передел"; позднее один из организаторов группы „Освобождение Труда". 150.

Избицкий — один из двоюродных братьев Избицких, Владислав Осипович или Генрих Людвигович; оба они были членами террористического кружка В. А. Осинского, оба были арестованы в Киеве 28 марта 1878 г. и при аресте оказали вооруженное сопротивление, и оба в 1879 г. военно-окружным судом были приговорены к каторжным работам: первый на 15 лет, а второй на 10 лет. В. О. Избицкий бежал по дороге на каторгу из Иркутска и пропал без вести, а Г. Л. Избицкий, которому каторга была заменена ссылкой на поселение, был сослан в Енисейскую губернию. 242, 274, 275, 277.

Иловайский, Дмитрий Иванович (1832—1920), историк, черносотенный публицист. 44.

Ильяшенко-Куценко, Севастьян Ефимович (1849—1890), кочегар на пароходе, машинист. В 1876 г. привлекался за провоз на пароходе из Лондона революционных изданий и был приговорен к тюремному заключению на 1 год. Позднее член киевского кружка, организованного М. Р. Поповым. В 1880 г. был арестован и Киевским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 15 лет. Каторгу отбывал на Каре, где и умер. 50, 81, 90, 157, 234, 248, 252, 253, 261, 267—270, 279, 285, 286, 294, 295, 306.

Ирод — см. Соколов.

Исаев, Григорий Прокофьевич (1857—1886), народоволец, участник покушений на Александра II. В 1881 г. был арестован и в 1882 г. по процессу 20-ти приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами без срока. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге, где и умер. 216, 321, 332, 337.
Каблиц, Иосиф Иванович (1848—1893), участник революционного движения 70-х годов; первоначально бакунист, позднее представитель крайнего правого крыла народничества, которое он обосновывал в своих работах, печатавшихся под псевдонимом „Юзов". Революционная кличка: „Око". 56, 173.
Каракозов, Дмитрий Владимирович (1840—1866), революционер 60-х годов, член кружка ишутинцев, 4 апреля 1866 г. стрелял в Александра II, но промахнулся. По приговору Верховного уголовного суда казнен 3 сентября того же года. 7, 202, 204.
Караулов, Василий Андреевич (1854—1910), народоволец. В 1884 г. был арестован и по процессу 12-ти приговорен к 4 годам каторжных работ, которые отбывал в Шлиссельбурге. В 1888 г. отправлен в Сибирь на поселение. Впоследствии конституционалист-демократ, член 1-й Государственной Думы. 323, 332.
Карпенко, жандармский унтер-офицер. 292.
Карпович—повидимому, Карпович, Петр Осипович, рабочий, арестован в Петербурге в 1879 г. в связи с открытием тайной типографии (дело Ненсберга и Зиновьева) и подчинен надзору полиции. 187.
Карпович, Петр Владимирович (ум. в 1917 г.), социалист-революционер, в 1901 г. убил министра народного просвещения Боголепова. Приговорен к каторжным работам и отправлен в Шлиссельбург. В 1906 г. переведен в Акатуй, а затем в Алгачи, откуда в 1907 г. бежал за границу. 357, 362, 363, 386.
Катков, Михаил Никифорович (1818—1887), редактор „Московских Ведомостей" и „Русского Вестника", вдохновитель реакции 60—80-х годов. 262, 265, 311.
Качка, Прасковья, участница революционных кружков 70-х годов; в 1879 г. убила из ревности студента Байрашевского; судом была оправдана. 249.
Кашинцев, Иван Николаевич, революционер 70-х и 80-х годов, член „Южно-русского рабочего союза" в Киеве в 1880—1881 гг. В 1881 г. был арестован и приговорен к каторжным работам на 10 лет. В 1888 г. бежал из Сибири; участвовал в кружке эмигрантов в Париже, организовывавших изготовление взрывчатых веществ и снарядов. Выданный провокатором Геккельманом-Ландезеном, в 1890 г. был арестован и вместе с другими членами кружка приговорен к трем годам тюремного заключения; по отбытии его выслан из Франции. 236, 333.
Квятковский, Александр Александрович (1852—1880), революционер 70-х годов, участник хождения в народ и „Земли и Воли"; член Исполнительного Комитета „Народной Воли".

В 1879 г. был арестован и по процессу 16-ти приговорен к смертной казни; 4 ноября 1880 г. казнен. 108, 109, 115, 117–125, 127, 128, 130–140, 145, 149, 194, 198, 199, 201, 202, 209, 216, 222, 308, 312.

Кибальчич, Николай Иванович (1853–1881), революционер 70-х годов; в 1875 г. арестован за революционную пропаганду и в 1878 г. приговорен к заключению в тюрьме на 1 месяц. В 1879 г. вошел в „Народную Волю" и заведывал ее динамитной мастерской; руководил изготовлением бомб для покушения 1 марта 1881 г. После 1 марта был арестован и по процессу первомартовцев приговорен к смертной казни; казнен 3 апреля 1881 г. 55, 93, 94, 143, 239.

Кирдановский, подполковник. 262.

Классик — прозвище, данное заключенными в Шлиссельбурге жандармскому ротмистру Степанову, бывшему помощником смотрителя Шлиссельбургской тюрьмы. 351.

Клеменц, Дмитрий Александрович (1848–1914), революционер-народник, член кружка чайковцев и „Земли и Воли". В 1879 г. был арестован и сослан в Восточную Сибирь. Позднее известный этнограф. 147, 151.

Клеточников, Николай Васильевич (1847–1883), революционер 70-х годов; поступил на службу в III отделение и сообщал землевольцам и народовольцам чрезвычайно важные сведения о деятельности этого учреждения. В 1881 г. был арестован и по процессу 20-ти приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами без срока. Умер в Петропавловской крепости. 79, 141, 337.

Клименко, Михаил Филиппович (1856–1884), революционер 70-х годов, член киевского революционного кружка и „Народной Воли". В 1882 г. был арестован и по процессу 17-ти приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами без срока. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге, где покончил с собой. 242, 261, 274, 275, 278, 281, 282, 284, 285, 306.

Ключников, Петр Петрович, матрос Черноморского флота; вел пропаганду среди матросов. В 1878 г. был арестован, но бежал; в 1879 г. вторично арестован, дал откровенные показания и в том же году вторично бежал. 270.

Кобылянский, Людвиг Александрович (ум. в 1886 г.), революционер 70-х годов; в 1879 г. принимал участие в убийстве харьковского губернатора Кропоткина; в том же году арестован под фамилией Ив. Ив. Григоренко и в 1880 г. Петербургским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 20 лет. Каторгу отбывал на Каре. За попытку побега в 1882 г. переведен в Петропавловскую крепость, а в 1884 г. в Шлиссельбург. 278, 284, 301, 318, 325, 326, 356.

Ковалик, Сергей Филиппович (1846–1926), революционер-народник, видный деятель эпохи хождения в народ. В 1874 г. был арестован и по процессу 193-х в 1878 г. был при-

говорен к каторжным работам на 10 лет. Каторгу отбывал в Новоборисоглебском централе и на Каре. В 1883 г. вышел на поселение в Якутск. В 1898 г. возвратился в Европейскую Россию. 309—311, 318, 336.

Ковальская, Елизавета Николаевна, революционерка-народница, участница харьковского революционного кружка начала 70-х годов, позже вела пропаганду среди рабочих в Колпине и в Харькове. В 1879 г. вошла в „Черный Передел". В 1880 г. вместе с Н. Щедриным организовала „Южно-русский рабочий союз". В том же году была арестована и в 1881 г. приговорена к каторжным работам без срока. По дороге на Кару бежала из Иркутска, но была задержана. В 1884 г. вторично бежала, но вновь была задержана и доставлена на Кару. В 1888 г. переведена в Верхнеудинскую тюрьму, а затем в Горный Зерентуй, где пробыла до 1903 г., позднее максималистка. В настоящее время — член редколлегии журнала „Каторга и Ссылка". 236, 333, 334.

Ковальский, Иван Мартынович (1850—1878), революционер 70-х годов, организатор революционного кружка в Одессе. В 1878 г. был арестован, при чем оказал вооруженное сопротивление; военно-окружным судом приговорен к смертной казни. Казнен 2 августа 1878 г. 104.

Козловский, Владислав Станиславович, революционер 70-х и 80-х годов, в 1879 г. принимал участие в студенческих волнениях в Киеве, за что был исключен из университета; состоял членом кружка, организованного в Киеве М. Р. Поповым. В 1880 г. был арестован и выслан в Восточную Сибирь. В 1882 г. был арестован за содействие побегу Е. Н. Ковальской и водворен на поселение в Верхоленск. По всеподданнейшему прошению в 1889 г. получил разрешение на возвращение в Европейскую Россию. Позднее профессор философии Краковского университета. 287.

Коленкина, Мария Александровна (1850—1926), революционерка 70-х годов, участница хождения в народ. В 1878 г. была арестована под фамилией М. Н. Федоровой; при аресте оказала вооруженное сопротивление; Особым присутствием Сената была приговорена к каторжным работам на 10 лет. Каторгу отбывала на Каре; в 1886 г. вышла на поселение в Иркутскую губ. 200.

Коллерт, полковник. 262.

Колодкевич, Николай Николаевич (1850—1884), революционер 70-х годов, член киевского отделения кружка чайковцев; в 1879 г. вступил в „Народную Волю" и был членом ее Исполнительного Комитета. В 1881 г. был арестован и по процессу 20-ти приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами без срока. Умер в Петропавловской крепости. 48, 143, 145, 196, 216, 239, 337.

Колышкин, начальник секретного отделения канцелярии петербургского обер-полицеймейстера. 56, 79.

Комиссаров, Осип Васильевич, петербургский ремесленник,

якобы толкнувший руку Каракозова, когда он 4 апреля 1866 г. стрелял в Александра II; за „спасение“ царя был сделан дворянином. 7, 202.

Конашевич, Василий Петрович (1859–1915), народоволец, в 1883 г. участвовал в убийстве Судейкина. В 1887 г. по процессу 21-го приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами без срока. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге, где заболел психически и в 1896 г. был переведен в Казанскую жандармскую больницу, в которой пробыл до самой смерти. 342, 345.

Конопля, Екатерина Наумовна, курсистка, участница хождения в народ. 68.

Константин Николаевич (1827–1892), великий князь, брат Александра II. 185.

Копнин, тюремный смотритель. 307, 311.

Корженевский, Ипполит Осипович (1827–1879), хирург, профессор Медико-хирургической академии. 92.

Королев — см. Иванов, П. О.

Короленко, Владимир Галактионович (1853–1921), беллетрист. 25.

Костецкий, Болеслав Иванович, участник киевских революционных кружков. В 1879 г. был арестован и военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 4 года. Каторгу отбывал на Каре. В 1883 г. вышел на поселение в Якутскую область. В 1890 г., как австрийский подданный, выслан за границу. 261, 278, 286–288, 306.

Костомаров, Николай Иванович (1817–1885), историк. 45.

Косяков, казачий урядник. 313, 314.

Котляревский, Михаил Михайлович, товарищ прокурора Киевской судебной палаты. 104.

Кравчинский, Сергей Михайлович (1851–1895), революционер-народник, член кружка чайковцев и „Земли и Воли“. 4 августа 1878 г. убил шефа жандармов Мезенцова, после чего эмигрировал. За границей сотрудничал в русской и иностранной прессе. 147.

Кривошеин, Александр Васильевич (1858–1923), в 1908–1915 гг. главноуправляющий землеустройством и земледелием, член Государственного Совета; позднее глава правительства в Крыму при Врангеле. 72.

Кропоткин, Петр Алексеевич (1842–1921), теоретик анархизма. 95.

Кудревич, екатеринославский семинарист. 45.

Лавров, Петр Лаврович (1823–1900), теоретик народничества. 56, 62.

Лаврова, Мария Васильевна, революционерка 70-х годов, участница кружка, организованного в Орле П. Г. Зайчневским. В 1877 г. арестована и выслана в Вятскую, а затем в Тобольскую губ. 59.

Лаговский, Александр Федорович, революционер 70-х годов. За пропаганду среди рабочих арестован в Костроме и выслан в Архангельскую губ. В 1881 г. за отказ принести

присягу Александру III выслан в Восточную Сибирь. 345, 347.

Ладыженский, Михаил Абрамович (ум. в 1922 г.), врач в Ростове-на-Дону. 18—34, 88.

Ланганс, Мартын Рудольфович (1853—1884), революционер-народник, член одесского отделения кружка чайковцев, позднее народоволец. Арестован в 1881 г. и по процессу 20-ти приговорен к бессрочной каторге. Умер в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. 337.

Лассаль, Фердинанд (1825—1864). 70, 207, 308, 309.

Лебедева, Татьяна Ивановна (1854—1886), участница революционного движения 70-х годов и хождения в народ. В 1878 г. судилась по процессу 193-х, при чем ей было вменено в наказание предварительное тюремное заключение. В 1879 г. вошла в „Народную Волю", участвовала в покушении на Александра II под Одессой. В 1881 г. была арестована и в 1882 г. приговорена к смертной казни, замененной бессрочными каторжными работами. Каторгу отбывала на Каре, где и умерла. 8.

Левенсон, Виктория Викторовна, участница киевского революционного кружка, организованного М. Р. Поповым. В 1880 г. была арестована и Киевским военно-окружным судом приговорена к каторжным работам на 6 лет. Каторгу отбывала на Каре. В 1884 г. вышла на поселение. 261, 278, 284, 306.

Левитский, Иван Андреевич, участник революционного движения 70-х годов. Позднее врач. 67.

Левченко, Никита Васильевич (1858—1921), революционер 70-х годов, член киевского и одесского революционных кружков. В 1879 г. арестован и в 1880 г. Киевским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 15 лет. Каторгу отбывал на Каре. В 1882 г. бежал, но был задержан. В 1890 г. переведен в Акатуй. В 1895 г. вышел на поселение в Якутскую область. В 1905 г. возвратился в Европейскую Россию и примкнул к социалистам-революционерам. 261, 279, 284, 285, 301, 302, 306, 316.

Лешерн-фон-Герцфельдт, Софья Александровна (1842—1898), революционерка 70-х годов, участница хождения в народ. В 1874 году была арестована и в 1878 г. по процессу 193-х приговорена к ссылке в Тобольскую губернию. В 1878 же году скрылась из Петербурга и примкнула к кружку В. А. Осинского в Киеве. В 1879 г. арестована и приговорена Киевским военно-окружным судом к смертной казни, замененной каторжными работами без срока. Каторгу отбывала на Каре. В 1894 г. вышла на поселение в Забайкальскую область. 225.

Лизогуб, Дмитрий Андреевич (1850—1879), революционер-народник, отдавший свои большие средства на революционное дело. В 1878 г. был арестован и Одесским военно-окружным судом приговорен к смертной казни. Казнен 10 августа 1879 г. 150.

Лозинский, Мелентий Платонович, участник революционного движения 70-х годов; в 1879 г. арестован за распространение прокламаций среди крестьян; Киевским военно-окружным судом приговорен к смертной казни; повешен 6 марта 1880 г. в Киеве. 263.

Лозянов, Павел Тимофеевич (1857—1903), участник киевского революционного кружка, организованного М. Р. Поповым. В 1879 г. был арестован; в 1880 г. Киевским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 10 лет. Каторгу отбывал на Каре. В 1891 г. вышел на поселение в Якутскую область, где и умер. 228, 243, 261, 279, 284, 285, 301, 302, 306.

Лойола — см. Иванов, И. К.

Лойола, Игнатий (1491—1556), основатель ордена иезуитов. 229.

Лопатин, Герман Александрович (1854—1918), видный революционер 60—80-х годов. В 1868 г. был арестован по делу организованного им „рублевого общества“ и сослан в Ставрополь. В 1870 г. бежал оттуда и в том же году организовал бегство за границу П. Л. Лаврова. В 1872 г. отправился в Сибирь для освобождения Н. Г. Чернышевского, но был арестован. Вскоре бежал за границу. В 1879 г. вновь был арестован в России и сослан в Ташкент, откуда бежал. В 80-х годах примкнул к „Народной Воле“, восстановил разрушенную арестами ее организацию, наладил тайную типографию, организовал убийство Судейкина. В 1884 г. был арестован и в 1887 г. по процессу 21-го приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге, откуда освобожден в 1905 г. 323, 345, 346, 351, 352, 360, 371, 373, 374, 384.

Лопатин, Николай Николаевич, революционер 70-х годов, участник „Земли и Воли“, в 1878 г. был арестован и сослан сперва в Шенкурск, а позднее в Восточную Сибирь. В 1881 г. бежал за границу. В 1888 г. получил разрешение на возвращение в Россию. 96—98, 100, 173—175, 177, 180—182.

Лорис-Меликов, Михаил Тариэлович (1825—1888), генерал, в 1880—1881 гг. начальник Верховной распорядительной комиссии, созданной для борьбы с революционным движением. 48, 206, 262, 264, 265, 311.

Лотрингер, Соломон Наумович, студент Киевского университета, австрийский подданный, член революционного кружка, организованного в Киеве М. Р. Поповым; в 1880 г. был арестован и Киевским военно-окружным судом приговорен к тюремному заключению на 4 месяца. 261, 306.

Лукашевич, Александр Осипович, революционер 70-х годов, член кружка чайковцев, участник хождения в народ; в 1875 г. арестован и по процессу 50-ти приговорен к ссылке на поселение в Сибирь. В 1880 г. за содействие побегу Волошенко и др. приговорен Иркутским уездным судом к 7 годам каторжных работ. Каторгу отбывал на Каре. В 1885 г. вышел на поселение в Минусинск. В 90-х годах вернулся в Европейскую Россию. 86.

Лукашевич, Иосиф Дементьевич (1863—1929), народоволец, участник покушения на Александра III в 1887 г. В том же году арестован и по делу А. И. Ульянова и др. приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами без срока. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге, откуда был освобожден в 1905 г. 352.

Майданский, Лейба (Лев) Осипович (1854—1879), революционер 70-х годов, участник покушения на предателя Гориновича. Арестован в 1876 г. и Одесским военно-окружным судом приговорен в 1879 г. к смертной казни. 7 декабря 1879 г. повешен в Одессе. 239.

Макаров, Александр Александрович (1857—1919), в 1906—1909 гг. товарищ министра внутренних дел; позднее министр внутренних дел и юстиции. 32.

Максимов, жандармский унтер-офицер. 300.

Малавский, Владимир Евгеньевич (1853—1886), революционер 70-х годов; в 1877 г. напечатал и распространил подложную телеграмму „Правительственного Вестника" о созыве народных представителей. Арестован в 1877 г. и приговорен к каторжным работам на 20 лет. Каторгу отбывал на Каре и в Шлиссельбурге, где и умер. 318.

Малинка, Виктор Алексеевич (1853—1879), революционер 70-х годов, член киевского кружка бунтарей; принимал участие в покушении на предателя Гориновича. В 1878 г. был арестован и Одесским военно-окружным судом приговорен к смертной казни. 7 декабря 1879 г. повешен в Одессе. 239.

Малиновская, Александра Николаевна (1849—1891), участница революционного движения 70-х годов, примыкала к „Земле и Воле". В 1878 г. арестована и во время следствия сошла с ума; содержалась в Казанской психиатрической лечебнице; в 1886 г. отдана на попечение сестры. 104.

Мамонтов, владелец гостиницы в Москве. 141.

Манучаров, Иван Львович (1861—1909), член южной народовольческой группы. В 1884 г. арестован, оказал вооруженное сопротивление; в 1885 г. Одесским военно-окружным судом приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами на 10 лет. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге. В 1895 г. отправлен на Сахалин. Впоследствии жил в Благовещенске, где работал в газете „Амурский Край". 346, 347.

Маркс, Карл (1818—1883). 46, 60, 70, 189, 192, 193, 308, 309.

Мартынов, Калинник (Николай) Федулович (род. в 1855 г.), рабочий, член киевского народовольческого кружка. В 1884 г. был арестован, при чем оказал вооруженное сопротивление; Киевским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 12 лет. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге. В 1896 г. отправлен в Якутский край, где покончил с собой, — по одним сведениям в 1900, а по другим — в 1903 г. 362.

Мархоцкий, польский повстанец 1863 г. 313.

Маслов, Константин Андреевич, участник революционного движения 70-х и 80-х годов; в конце 70-х годов был близок к кружкам киевских украинофилов, принадлежал к кружку, организованному в Киеве М. Р. Поповым; в начале 80-х годов — участник народовольческой организации на юге России. В 1882 г. был арестован в Одессе, дал откровенные показания. Административно сослан в Минусинск. 48, 240.

Масловцев, студент. 86.

Матвеич — см. Медведев, А. И.

Медведев, Александр Иванович (род. в 1853 г.), участник революционного движения 70-х годов, за пропаганду в народе был арестован в 1875 г. и выслан в Шенкурск, откуда в том же году бежал. В 1879 г. вновь арестован и выслан на родину, в станицу Ежеровскую, Донской области. Впоследствии генерал-майор и профессор Военной академии. Революционное прозвище — „Матвеич". 59, 75, 76, 209.

Медведев (Фомин), Алексей Федорович (1852—1926), революционер 70-х годов, участник попытки освобождения Войнаральского в 1878 г. Тогда же был арестован и Харьковским военно-окружным судом приговорен к смертной казни, замененной 20 годами каторжных работ. После осуждения дал откровенные показания. Содержался в Тобольской и Омской тюрьмах и на Каре, откуда вышел на поселение в 1891 г. 118.

Мезенцов, Николай Владимирович (1827—1878), генерал-адъютант, шеф жандармов, убит 4 августа 1878 г. С. Кравчинским. 104, 107, 308.

Мельников, Михаил Михайлович (род. в 1878 г.), социалист-революционер, член боевой организации. В 1903 г. был арестован и в 1907 г. приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами без срока. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге и в Акатуе. 369, 384—386.

Милль, Джон Стюарт (1806—1873), английский философ и экономист. 70.

Минаков, Егор Иванович (1854—1884), революционер 70-х годов; в 1878—1879 гг. вел пропаганду среди рабочих в Одессе и участвовал в покушении на предателя Гоштофта. В 1879 г. арестован и Одесским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 20 лет. Каторгу отбывал на Каре и в Шлиссельбурге. 7 сентября 1884 г. расстрелян по приговору военного суда за оскорбление действием тюремного врача. 316, 318, 323—327, 329.

Мирский, Леонид Филиппович (ум. в 1919 г.), революционер-народник; в 1879 г. покушался на шефа жандармов Дрентельна; в том же году арестован и приговорен к смертной казни, которая была заменена ему каторжными работами без срока. Находясь в Петропавловской крепости, выдал правительству подготавливаемый С. Г. Нечаевым побег. Каторгу отбывал на Каре. В 1895 г. освобожден на поселение. Принимал деятельное участие в революции 1905 г. в Верхнеудинске и карательной экспедицией Рен-

ненкампфа приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами, которые отбывал в Акатуе. 89, 143, 146, 150.

Митрошка — см. Новицкий, М. Э.

Михайлов, Адриан Федорович (1853—1929), революционер-народник, один из организаторов „Земли и Воли", принимал участие в попытке освобождения Войнаральского и в покушении на шефа жандармов Мезенцова. В 1878 г. арестован и в 1880 г. Петербургским военно-окружным судом приговорен к смертной казни. Выдал участников покушения на Мезенцова и был помилован, с заменой смертной казни каторжными работами на 20 лет, которые отбывал на Каре до 1895 г. Принимал участие в революции 1905 г. 140, 147, 200.

Михайлов, Александр Дмитриевич (1856—1884), выдающийся революционер 70-х годов, член „Земли и Воли" и Исполнительного Комитета „Народной Воли". В 1880 г. был арестован и по процессу 20-ти приговорен к смертной казни, замененной бессрочными каторжными работами. Умер в Петропавловской крепости. 47, 61, 106, 108, 118, 132, 142, 145, 146, 149, 150, 194, 195, 199, 202, 216, 217, 219, 221—223, 337.

Михайлов, Ф. — см. Филатов, Ф. М.

Михайловский, Николай Константинович (1842—1904), теоретик народничества. 362.

Михаель, подполковник. 262.

Мозговой, Петр Иванович (1851 — ум.), участник революционного движения 70-х годов. В 1876 г. арестован за пропаганду среди крестьян и Харьковской судебной палатой приговорен к каторжным работам на 4 года; каторгу отбывал на Каре; в 1883 г. вышел на поселение в Якутскую область. 58, 207.

Мордовцев, Даниил Лукич (1850—1905), историк и беллетрист. 211.

Морозов, Николай Александрович (род. в 1854 г.), видный революционер 70-х годов, член кружка чайковцев, „Земли и Воли" и Исполнительного Комитета „Народной Воли". В 1881 г. был арестован и приговорен к каторжным работам на 20 лет. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге. Освобожден в 1905 г., после чего отдался научной деятельности. 46, 47, 143 152, 216, 217, 220 — 222, 321, 323, 332, 337, 376, 386, 387.

Мост, Иоганн Иосиф (1846—1906), германский с.-д., в 1880 г. исключенный из партии за анархистский уклон; позднее анархист. 46, 60.

Мришук, околоточный надзиратель. 292.

Муравьев, Михаил Николаевич (1796—1866), один из ярких представителей реакции эпохи 50-х и 60-х годов; в 1863 г. жестоко подавил польское восстание в Северо-Западном крае. В 1866 г. председатель следственной комиссии, рассматривавшей дело о покушении Каракозова. 204.

Мурашкинцев, Александр Андреевич (1857—1907), в 70-х годах член петербургского кружка лавристов, позднее статистик и экономист. 60.
Мэн, Генри Семнер (1822—1888), английский юрист и историк, исследователь общинного строя в Индии. 287.
Мышкин, Григорий Николаевич, брат И. Н. Мышкина, участник революционного движения 70-х годов. В 1875 г. был арестован за распространение революционных книг и Особым присутствием Сената приговорен к тюремному заключению на 3 месяца. 331.
Мышкин, Ипполит Никитич (1848—1885), революционер-народник 70-х годов; принимал деятельное участие в хождении в народ в 1874 г. В 1875 г. сделал попытку освободить Н. Г. Чернышевского, но был арестован и по процессу 193-х приговорен к каторжным работам на 10 лет. Каторгу отбывал в Новобелгородском централе, на Каре и с 1884 г. в Шлиссельбурге. В 1885 г. приговорен к смертной казни и казнен за оскорбление смотрителя тюрьмы. 8, 10—12, 106, 109, 186, 198, 307—332, 335.
Мякотин, Венедикт Александрович (род. в 1867 г.), историк и публицист народнического направления, один из основателей партии народных социалистов; после Октябрьской революции в эмиграции, активный противник советской власти. 385.
Назаревич, киевский студент. 282.
Нарецкий, помещик. 41, 42.
Натансон, Марк Андреевич (1850—1919), революционер-народник, организатор кружка чайковцев и „Земли и Воли“; в 1877 г. был арестован и сослан в Восточную Сибирь. В 1889 г. возвратился в Европейскую Россию. В 1892 г. организовал партию „Народного Права“. В 1894 г. вновь был арестован и сослан в Восточную Сибирь на 5 лет. Впоследствии видный деятель партии социалистов-революционеров и член ее ЦК. После Октябрьской революции стоял во главе левых эсеров. 151, 171.
Натансон, Ольга Александровна (1850—1881), урожденная Шлейснер, видная участница революционного движения 70-х годов, член кружка чайковцев и „Земли и Воли“. В 1878 г. была арестована и приговорена к ссылке на поселение в Восточную Сибирь, но по болезни была освобождена на поруки родственников. 122, 140, 163, 171, 177, 200.
Некрасов, Николай Алексеевич (1821—1877), поэт. 211, 351.
Неметти, Эдуард Григорьевич (1827—ум.), доцент фармации Киевского университета. 288.
Неустроев, Константин Гаврилович, учитель иркутской гимназии; в 1882 г. был арестован за участие в революционных кружках; дал пощечину генерал-губернатору Анучину при посещении им тюрьмы; по приговору военного суда был расстрелян 9 ноября 1883 г. 335.
Николай I (1796—1855), император. 78.

Николай II (1868–1918), император. 358.
Николай Николаевич (1831–1891), великий князь, брат Александра II. 129, 130, 198.
Никольский, И. И., учитель истории в екатеринославской духовной семинарии. 44, 294.
Никольский, Иосиф Герасимович, участник революционного движения 70-х годов, врач. 307.
Никонов, Аким Гаврилович, рабочий в Ростове-на-Дону, предатель. 2 февраля 1878 г. убит Ив. Ивичевичем и Р. Стеблин-Каменским. 91, 156, 162, 163.
Нина — см. Демчинская, А. Н.
Новицкий, Василий Дементьевич (1837–1907), в 1878–1903 гг. начальник Киевского жандармского управления. 248, 256, 257, 274, 275, 286.
Новицкий, Митрофан Эдуардович (1854–1920), революционер 70-х годов, участник хождения в народ; в 1882 г. был арестован и Саратовским военно-окружным судом приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, которую отбывал на Каре; подал прошение о помиловании и в 1884 г. вышел на поселение в Читу. Революционная кличка: „Митрошка". 83.
Новорусский, Михаил Васильевич (1861–1925), за содействие, оказанное А. И. Ульянову во время подготовки покушения на Александра III в 1887 г., был арестован и приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами без срока. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге, откуда освобожден в 1905 г. 352, 365, 366, 373, 375.
Обнорский, Виктор Павлович (1852–1920), рабочий, видный деятель рабочего движения 70-х годов, один из организаторов „Северного союза русских рабочих". В 1879 г. был арестован и Петербургским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 10 лет, которые отбывал на Каре. В 1884 г. вышел на поселение в Читинский округ. 188.
Оболешев, Алексей Дмитриевич (1854–1881), революционер-народник 70-х годов, один из организаторов „Земли и Воли". В 1878 г. был арестован и приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами на 20 лет. Умер от туберкулеза в Петропавловской крепости. 92, 124, 140, 163.
Обухов, полковник, комендант Шлиссельбургской крепости в 1897–1902 гг. 366.
Око — см. Каблиц, И. И.
Оловенникова, Мария Николаевна (1853–1898), по мужу Ошанина, революционерка 70–80-х годов, член якобинского кружка, организованного в Орле П. Г. Зайчневским; в 1878 г. участвовала в воронежском землевольческом поселении. В 1879 г. вошла в Исполнительный Комитет „Народной Воли", представляя в нем якобинское крыло. В 1882 г. эмигрировала. 45, 59, 87, 88, 102, 108, 109, 115, 117–119, 123, 132, 145, 179, 198, 216, 219, 220, 224.

Оловенникова, Наталия Николаевна (1856—1924), революционерка 70-х годов, член „Земли и Воли“ и Исполнительного Комитета „Народной Воли“; была посредницей в сношениях с Клеточниковым. В начале 80-х годов, вследствие душевной болезни, отошла от участия в революционном движении. 45, 102, 108, 179, 198.

Оратор — см. Плеханов, Г. В.

Оржевский, Петр Васильевич, генерал-лейтенант, в 1882—1887 гг. товарищ министра внутренних дел и командир корпуса жандармов. 329.

Оржих, Борис Дмитриевич (род. в 1864 г.), народоволец, организатор в 1886 г. южно-русской народовольческой группы. В 1888 г. приговорен к каторжным работам без срока. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге. В 1898 г., вследствие прошения о помиловании, отправлен в Сибирь. Позднее эмигрировал и примкнул к партии социалистов-революционеров. 15, 16.

Орлов, Павел Александрович (1856—1890), революционер 70-х годов, участник хождения в народ. В 1874 г. был арестован; по процессу 193-х был оправдан, но в административном порядке выслан в Архангельск. Бежал из ссылки. Вел революционную работу в Киеве, где и был арестован в 1879 г. Киевским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 8 лет. Каторгу отбывал на Каре. В 1887 г. вышел на поселение в Якутскую область; убит якутами с целью ограбления. 86, 318, 336, 356.

Орлова, графиня. 138.

Осинский, Валерьян Андреевич (1853—1879), революционер-народник 70-х годов, член „Земли и Воли“. В 1878 г. организовал на юге России ряд террористических актов. В 1879 г. арестован и Киевским военно-окружным судом приговорен к смертной казни. 35, 59, 72, 73, 80, 87, 89, 109, 142, 154, 155, 158, 225, 226, 307.

Осинский, Павел Андреевич, брат В. А. Осинского, председатель ростовской уездной земской управы. 155.

Ошанина — см. Оловенникова, М. Н.

Пан — кличка в революционных кругах провокатора Ярослава Герасимовича Пиотровского. 257.

Панкратов, Василий Семенович (1863—1925), рабочий, член рабочей организации „Народной Воли“. В 1884 г. был арестован, при чем оказал вооруженное сопротивление; Киевским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 20 лет. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге, откуда освобожден в 1905 г. Позднее социалист-революционер. 349, 362.

Педашенко, иркутский губернатор. 335.

Пеленкины, студенты. 87.

Перовская, Софья Львовна (1853—1881), видная революционерка 70-х годов, участница кружка чайковцев, „Земли и Воли“, член Исполнительного Комитета „Народной Воли“; в 1881 г. организовала убийство Александра II, была аре-

стована и приговорена по делу „первомартовцев“ к смертной казни. Казнена 3 апреля 1881 г. 47, 118, 196, 197, 307.

Песков, генерал-майор, инспектор Медико-хирургической академии. 93.

Петерсон, Петр Николаевич, рабочий-металлист, участник рабочего движения 70-х годов, член „Северного союза русских рабочих“. В 1879 г. был арестован и Петербургским военно-окружным судом приговорен к трехмесячному аресту. 187.

Петров, генерал-майор, начальник штаба корпуса жандармов. 348, 349.

Петров, Николай Николаевич (род. в 1851 г.), революционер 70-х годов, член „Черного Передела“. В 1886 г. арестован в Харькове и Киевским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 4 года. Каторгу отбывал на Каре. В 1884 г. вышел на поселение в Забайкальскую область. 47, 225, 248, 261, 279, 285, 295, 306.

Пирогов, Николай Иванович (1810—1881), известный хирург. 306.

Писарев, исправник. 317.

Писарев, Дмитрий Иванович (1840—1868), критик и публицист. 297.

Плеве, Вячеслав Константинович (1846—1904), министр внутренних дел с 1902 г.; убит эсером Е. С. Сазоновым. 373, 375, 377.

Плеханов, Георгий Валентинович (1856—1918). Революционная кличка: „Оратор“. 96, 97, 143, 147, 167, 169—172, 177, 179—182. 186, 194, 204, 206, 216, 223, 235. 236.

Подлевский, Антон Александрович, участник революционного движения 70-х годов. Арестован в 1877 г. в Петербурге за пропаганду среди рабочих. Находясь в тюрьме, заболел и в 1878 г. умер. Похороны его сопровождались антиправительственной демонстрацией. 104, 105.

Подревский, Николай Николаевич (1855—1916), революционер 70-х годов, член кружка, организованного в Киеве М. Р. Поповым. В 1880 г. был арестован и военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 15 лет, замененным ссылкой на поселение в Сибирь. Был водворен в Туринске, затем переведен в Тобольск. В 1894 г. возвратился в Европейскую Россию. 21, 35—38, 228, 231, 261, 279, 285—288, 294, 302, 306.

Позен, Вениамин Павлович (род. в 1860 г.), участник киевского революционного кружка, организованного М. Р. Поповым. В 1880 г. был арестован и приговорен к каторжным работам на 7 лет. Каторгу отбывал на Каре. В 1883 г. подал прошение о помиловании и в 1884 г. был возвращен в Европейскую Россию. 258, 261, 278, 284, 306.

Покрошинский, полковник, комендант Шлиссельбургской крепости в 1884—1889 гг. 332.

Поливанов, Петр Сергеевич (1859—1903), революционер 70-х годов, член саратовского революционного кружка и саратовской группы „Народной Воли“. В 1882 г. был аре-

стован при неудавшейся попытке освободить из Саратовской тюрьмы М. Новицкого; при аресте оказал вооруженное сопротивление. Саратовским военно-окружным судом приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами без срока. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге; в 1902 г. отправлен на поселение в Сибирь, откуда бежал за границу. Покончил самоубийством. 337, 362.

Поликарпов, Константин Васильевич, революционер 70-х годов, член киевского кружка, организованного М. Р. Поповым. В 1880 г. после неудачного покушения на шпиона Забрамского покончил с собою. 228, 251, 266—268, 276, 281—285.

Полозов, Леонтий Семенович — нелегальная фамилия шпиона Забрамского (см.).

Помяловский, Николай Герасимович (1835—1863), беллетрист. 43.

Попко, Григорий Анфимович (1852—1885), революционер-народник, член лавристского кружка в Одессе („башенцы"); в 1877 г. примкнул к кружку киевских террористов (во главе с В. Осинским); в 1878 г. убил жандармского полковника Гейкинга; в 1878 г. был арестован и по делу Лизотуба, Чубарова и др. Одесским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам без срока. По дороге на каторгу бежал, но был задержан и за побег приговорен к приковыванию к тачке. Каторжные работы отбывал на Каре. 86, 91.

Попов, Алексей Родионович, брат автора, участник революционного движения 70-х годов. 89.

Попов, Илья Родионович, брат автора, участник революционного движения 70-х годов; за участие в Казанской демонстрации 1876 г. приговорен к ссылке на житье в Тобольскую губ. 32, 63, 67, 70, 79, 80.

Попов, Родион Васильевич, священник, отец автора. 41.

Попова, А. Д. — см. Товбич, А. Д.

Попова, Вера Алексеевна, мать автора. 20, 21, 29.

Попова, Надежда Родионовна, по мужу Ладыженская, сестра автора. 22.

Попова, Софья Родионовна, сестра автора. 24, 31.

Посников, Александр Сергеевич (1845—1922), либеральный экономист, в 70-х годах профессор Петровской земледельческой академии; позднее член редакции газеты „Русские Ведомости" и депутат 3-й Государственной Думы. 21.

Преображенский, Александр Иванович — см. Воронов, Петр.

Преображенский, Георгий Николаевич (1854 — ум.), революционер 70-х годов, участник „Земли и Воли" и „Черного Передела". В 1880 г. был арестован и в 1881 г. выслан в Томскую губ., где вскоре умер от чахотки. Революционная кличка — „Юрист". 59, 172, 173, 180, 215, 219, 333.

Пресняков, Андрей Корнеевич (1854—1880), рабочий, видный землеволец и народоволец; в 1880 г. был арестован, причем оказал вооруженное сопротивление, и по процессу 16-ти

приговорен к смертной казни и повешен. 95, 104, 188, 195, 215.
Присецкий, Иван Николаевич (1858—1911), народоволец. В 1883 г. арестован в Киеве и выслан в Восточную Сибирь. В 1889 г. возвратился в Европейскую Россию. Поселившись в своем имении в Зеньковском уезде, Полтавской губернии, был земским гласным. Позднее конституционалист-демократ и член 1-й Государственной Думы. 45, 48, 228, 231, 236, 238, 240, 247, 249, 251.
Провоторов, ротмистр, смотритель Шлиссельбургской крепости. 366, 370.
Продеж, Даниил, жандармский унтер-офицер. 284, 288.
Прокопович, Михаил, священник. 162.
Прудон, Пьер-Жозеф (1809—1865), теоретик анархизма. 207.
Пушкин, Александр Сергеевич (1799—1837). 212.
Рагозин, Евгений Иванович, в 1872—1874 гг. принимал участие в издании газеты „Неделя", экономист. 179.
Рачинский, солдат понтонного батальона. 273.
Рейнштейн, Николай Васильевич, рабочий мастерских Московско-Брестской жел. дор., агент III отделения; убит в Москве 26 февраля 1879 г. М. Р. Поповым и Шмеманом. 140—143, 200.
Ремезов, тюремный врач в Шлиссельбурге. 338—341.
Реферт, Фанни Семеновна (ум. в 1884 г.), участница киевского революционного кружка, организованного М. Р. Поповым. В 1879 г. была арестована и Киевским военно-окружным судом приговорена к каторжным работам на 4 года. По дороге на каторгу заболела в Красноярской тюрьме, вследствие чего каторга была заменена ей ссылкой на поселение в Минусинск, где она и умерла. 261, 301, 306.
Рогачев, Дмитрий Михайлович (1851—1884), революционер-народник, участник хождения в народ. В 1876 г. был арестован и по процессу 193-х в 1878 г. приговорен к 10 годам каторжных работ. Каторгу отбывал на Каре. 309—311.
Рогачев, Николай Михайлович (1856—1884), поручик артиллерии, видный член военной организации „Народной Воли". В 1883 г. был арестован и в 1884 г. Петербургским военно-окружным судом по процессу 14-ти приговорен к смертной казни. Казнен 10 октября 1884 г. в Шлиссельбурге. 62.
Рогозов — см. Рогачев, Н. М.
Розовский, Иосиф Исаакович (1861—1880), студент Киевского университета. В 1879 г. был арестован; при обыске у него были найдены издания „Народной Воли". Киевским военно-окружным судом был приговорен к смертной казни. 6 марта 1880 г. казнен. 49, 253, 263.
Ромась (Ромасев), Михаил Антонович (ум. в 1920 г.), революционер-народник, член киевского революционного кружка, организованного М. Р. Поповым. В 1879 г. был арестован и сослан в Якутскую область; в середине 80-х годов возвратился в Европейскую Россию. В 1893—1894 гг. уча-

ствовал в партии „Народное Право". В 1894 г. был арестован и выслан в Вилюйск. В 1902 г. возвратился в Европейскую Россию. 235, 238, 279, 287, 288.

Рудаков, студент, 56.

Рыбальченко, солдат. 364, 365.

Сажин, Михаил Петрович (род. в 1845 г.), революционер-народник, в 1868 г. выслан в Вологду за участие в волнениях студентов Технологического института, студентом которого он состоял. В 1869 г. бежал за границу, где в 1871 г. принимал участие в Парижской Коммуне. Затем примкнул к Бакунину, организовал типографию для печатания бакунистской литературы. В 1875 г. принимал участие в герцоговинском восстании. В 1876 г. отправился в Россию для революционной работы. В том же году был арестован и по процессу 193-х в 1878 г. приговорен к каторжным работам на 5 лет. Каторгу отбывал в Новоборисоглебском централе. В 1881 г. отправлен в Сибирь на поселение. В 1900 г. возвратился в Европейскую Россию. 354.

Сарандипаки, председатель ростовской земской управы. 72.

Сватиков, Сергей Григорьевич, историк, в настоящее время эмигрант. 8.

Святополк-Мирский, Петр Дмитриевич (1857—1914), министр внутренних дел в 1904—1905 гг. 377.

Селецкий, подполковник. 262.

Семен—см. Баранников, А. И.

Сентянин, Александр Васильевич (ум. в 1879 г.), революционер 70-х годов, вел пропаганду среди рабочих в Ростове-на-Дону, в 1878 г. принимал участие в убийстве шпиона Никонова, принадлежал к террористическому кружку, организованному на юге России В. А. Осинским. В 1878 г. был арестован, при этом оказал вооруженное сопротивление. Умер в Петропавловской крепости. 80, 90, 154, 163.

Сергеева, Екатерина Дмитриевна, по мужу Тихомирова, участница революционного движения 70-х годов, член кружка, организованного в Орле П. Г. Зайчневским; позднее член „Земли и Воли" и Исполнительного Комитета „Народной Воли". В 1883 г. эмигрировала вместе с мужем Л. А. Тихомировым и в 1889 г. вместе с ним же возвратилась в Россию. 87, 216.

Серебряков, Эспер Александрович (1854—1921), морской офицер, деятельный член военной организации „Народной Воли". В 1883 г. эмигрировал. Позднее социалист-революционер. 194.

Сидоров, жандармский унтер-офицер. 386, 387.

Сипягин, Дмитрий Сергеевич (1853—1902), министр внутренних дел с 1900 г.; убит С. В. Балмашевым. 368, 369.

Скандраков, Александр Спиридонович (1849—1905), в 70-х годах адъютант Киевского губернского жандармского управления; позднее начальник Московского охранного отделения и чиновник особых поручений при министре внутренних дел. 48, 49, 248, 263, 266.

Славинский — повидимому, Генрих Славинский, ученик 1-й киевской гимназии, в 1879 г. привлеченный к дознанию ввиду сношений его с революционными кругами и подчиненный специальному надзору гимназического начальства. 286, 287.

Слуцкий, генерал-майор. 50, 230, 231, 262, 304.

Смирнов, исправник. 318.

Соколов („Ирод"), жандармский офицер, смотритель Шлиссельбургской крепости. 12, 13, 322—332, 336—338, 343—352.

Соколов, уголовный. 318.

Соловьев, полковник, тюремный инспектор. 334, 335.

Соловьев, Александр Константинович (1846—1879), революционер-народник, участник хождения в народ и поселений в Нижегородской и Самарской губ.; в 1879 г. покушался на Александра II, был арестован и приговорен к смертной казни. 22 мая того же года казнен. 7, 47, 143—147, 163, 194, 202—204, 208, 214, 215, 222.

Сороко, Иосиф Каэтанович, революционер 60-х годов; участвовал в организации в 1860 г. первой в России тайной типографии. В 1861 г. был арестован; по приговору Сената оставлен на подозрении. В 1863 г. принимал участие в польском восстании, был арестован и сослан в каторжные работы на 10 лет. 297.

Стаин, жандарм. 285.

Стародворский, Николай Петрович (1863—1918), народоволец, в 1883 г. участвовал в убийстве Судейкина. В 1887 г. по процессу 21-го приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, которую отбывал в Шлиссельбурге. Освобожден в 1905 г., примкнул к партии социалистов-революционеров. Изобличен в сношениях с департаментом полиции. 345, 346, 362, 368, 376—383.

Стасенко — см. Бущинский, Д. Т.

Стаховский, Михаил Николаевич, отставной штабс-капитан, оказывал содействие революционному кружку, организованному в 1879 г. в Киеве М. Р. Поповым. В 1880 г. убит отцом из-за политических разногласий. 231—234, 239—241, 248, 252—255, 268, 269, 280, 285, 291, 292, 354.

Стефанович, Яков Васильевич (1853—1915), революционер 70-х годов, участник киевских революционных кружков и чигиринского заговора, в связи с которым он был арестован в 1877 г.; в 1879 г. вместе с Бохановским и Дейчем бежал, при содействии М. Ф. Фроленко, из Киевской тюрьмы. После бегства вошел в „Землю и Волю", а после ее раскола — в „Черный Передел". В 1881 г. примкнул к „Народной Воле". В 1882 г. был арестован; находясь под арестом, написал для правительства записку о состоянии революционной эмиграции. В 1883 г. был приговорен по процессу 17-ти к каторжным работам на 8 лет. Каторгу отбывал на Каре. В 1890 г. вышел на поселение в Якутскую область. 47, 48, 109, 143, 148, 197, 198, 209, 217, 223—225, 238—240, 260, 307, 353.

Стрельников, Федор Ефимович, военный прокурор, организатор ряда политических процессов на юге России. В 1882 г. убит в Одессе Желваковым и Халтуриным. 49, 50, 230, 255, 256, 259, 260, 262, 263, 267, 270, 272, 279, 281, 295—304.

Студзинский, Эдмунд Иванович (1853—1932), революционер 70-х годов, участник киевских и одесских революционных кружков. В 1878 г. был арестован и Одесским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 4 года. Каторгу отбывал в Новобелгородском централе и на Каре. В 1883 г. вышел на поселение в Якутскую область. Позднее возвратился в Европейскую Россию, примыкал к партии социалистов-революционеров. 318, 336.

Судейкин, Георгий Порфирьевич, в 1878—1882 гг. адъютант Киевского губернского жандармского управления, где он выдвинулся как опытный сыщик и следователь. В 1882 г. был назначен инспектором секретной полиции. Пользуясь услугами предателя С. Дегаева, развил широкую систему сыска и предательства. В 1883 г. убит народовольцами Конашевичем и Стародворским. 36, 37, 49, 205, 234, 238, 239, 241—245, 247, 248, 250—252, 255—258, 264, 266—276, 279, 280, 283, 284, 286, 295, 300—302.

Суровцев, Дмитрий Яковлевич (1852—1925), революционер 70-х годов, член „Земли и Воли“ и „Народной Воли“. В 1884 г. по процессу 14-ти приговорен к каторжным работам на 15 лет. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге. В 1896 г. отправлен на поселение в Якутскую область. 362.

Тарасьев, Калистрат, священник, учитель духовного училища. 34, 294.

Тесленко-Приходько, Константин Васильевич, солдат 36-го пехотного полка, участник революционного кружка, организованного в Киеве М. Р. Поповым; в 1879 г. был арестован и в административном порядке выслан в Восточную Сибирь и водворен в Верхоленске. В 1884 г. возвратился в Европейскую Россию. 279, 284, 285.

Тетерка, Макар Васильевич (1853—1883), рабочий, народоволец, участник покушений на Александра II. В 1883 г. по процессу 20-ти приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Умер в Петропавловской крепости. 319, 337.

Тимофеев, он же Смирнов, Иван Тимофеевич (1852—1895), рабочий фабрики Торнтона в Петербурге, был распропагандирован чайковцами. В 1875 г. был арестован и сослан в Повенец, откуда бежал в 1877 г. В 1878 г. вновь арестован и сослан в Енисейскую губернию. В 1882 г. вновь бежал, но был задержан в Москве и возвращен в Енисейскую губернию, где и умер. 186.

Титыч — см. Тищенко, Г. М.

Тиханович, жандармский генерал. 23, 25.

Тихомиров, Лев Александрович (1852—1922), революционер 70-х годов, член кружка чайковцев, „Земли и Воли“ и

Исполнительного Комитета „Народной Воли“ и редактор ее органа. В 1882 г. эмигрировал. Позднее ренегат. 47, 87, 108, 145, 149, 150, 198, 200, 216, 217.

Тищенко, Георгий Макарович (1850—1922), революционер 70-х годов, участник хождения в народ, член „Земли и Воли“ и „Черного Передела“. В 1883 г. был арестован и выслан в Акмолинскую область. В 1886 г. возвратился в Европейскую Россию. От революционного движения отошел. Работал в Баку в совете съезда нефтепромышленников. Революционное прозвище — „Титыч“. 59, 73, 80—82, 85, 90, 148, 157, 215—217.

Ткачев, Петр Никитич (1844—1885), известный писатель и революционер-бланкист. 50, 59, 62.

Товбич, Александра Дмитриевна, по мужу Попова, жена И. Р. Попова, участница революционного движения 70-х годов. 68, 71, 79.

Товбич, Софья Дмитриевна, участница революционного движения 70-х годов. 68.

Толстой, Дмитрий Андреевич (1823—1889), в 1866—1880 гг. министр народного просвещения, с 1882 г. министр внутренних дел. Представитель крайней реакции. 18, 306, 322, 324.

Торнтон, владелец фабрики в Петербурге. 96, 97, 99, 100, 167, 172, 173, 175, 181, 183, 186—188.

Тотлебен, Эдуард Иванович (1818—1884), генерал, участник обороны Севастополя в 1854—1855 гг. и русско-турецкой войны 1877—1878 гг.; в 1879—1880 гг. одесский генерал-губернатор. 48, 143, 239.

Трапезонцев, овцевод. 161.

Трепов, Дмитрий Федорович (1855—1906), генерал-майор, в 1896—1905 гг. московский обер-полицеймейстер; в 1905 г. после 9 января назначен петербургским генерал-губернатором, а в мае того же года товарищем министра внутренних дел, заведующим полицией; с октября 1905 г. дворцовый комендант. 377, 382, 383.

Трепов, Федор Федорович (1803—1889), генерал-адъютант, в 70-х годах петербургский градоначальник. 58, 91—93, 104, 161, 162, 213.

Тригони, Михаил Николаевич (1850—1917), революционер 70-х годов, член одесских революционных кружков; в 1879 г. вошел в Исполнительный Комитет „Народной Воли“. В 1881 г. был арестован и по процессу 20-ти приговорен к каторжным работам на 20 лет. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге, откуда в 1902 г. был переведен на Сахалин. В 1905 г. возвратился в Европейскую Россию. 22, 321, 332, 337.

Троицкий, Николай — см. Хрущов, Н. Е.

Троянов, подполковник. 262.

Тулисов, Василий Иванович, участник революционного движения 70-х годов и хождения в народ, член „Земли и Воли“. В 1879 г. был арестован и Харьковским военно-

окружным судом приговорен к ссылке на поселение в Сибирь; сослан в Ялуторовск. 109, 119, 123.

Тулисова, Мария Ивановна, участница революционного движения 70-х годов; в 1879 г. была арестована и Харьковским военно-окружным судом приговорена к тюремному заключению на полтора года. 109, 123.

Тун, Альфонс (1854—1886), немецкий ученый, экономист, автор книги „История революционного движения в России". 194, 204.

Тургенев, Иван Сергеевич (1818—1883), беллетрист. 35, 265.

Тышкевич, разбойник. 259.

Успенский, Андрей, отставной штабс-капитан, в 1880 г. подвергся обыску и дознанию. 234, 248, 249, 251.

Федоров, полковник, смотритель Шлиссельбургской крепости („Фекла"). 339, 351, 361.

Федорова, М. — см. Коленкина, М. А.

Фекла — см. Федоров.

Фесенко, Иван Федорович (ум. в 1882 г.), революционер 70-х годов, в 1874—1875 гг. вел пропаганду среди крестьян, в 1876—1877 гг. пропагандировал среди рабочих в Петербурге и читал им лекции по политической экономии. Не примыкая к господствующим революционным направлениям того времени (бакунисты и лавристы), Фесенко, считавший себя последователем К. Маркса, держался особняком. В 1875 и 1880 гг. подвергался арестам. 61, 302.

Фигнер, *Вера Николаевна* (род. в 1852 г.), видная деятельница революционного движения 70-х и 80-х годов, член Исполнительного Комитета „Народной Воли". 48, 143, 144, 148, 196, 197, 215, 216, 239, 343—345, 360, 365—368, 372, 373, 375.

Фигнер, Евгения Николаевна (1859—1931), по мужу Сажина; революционерка 70-х годов, вела пропаганду в Саратовской и Самарской губерниях; в 1879 г. примкнула к „Народной Воле". В том же году была арестована и по процессу 16-ти приговорена к каторжным работам на 15 лет, замененным ссылкою на поселение в Восточную Сибирь. В 1900 г. возвратилась в Европейскую Россию. 215.

Фигнер, Лидия Николаевна (1853—1920), революционерка 70-х годов. В 1872—1874 гг., проживая в Швейцарии, принадлежала к кружку „фричей". В начале 1874 г. отправилась в Россию для революционной пропаганды и поступила в качестве работницы на одну из московских фабрик; затем работала на фабриках в Иваново-Вознесенске. В 1875 г. была арестована и в 1877 г. по процессу 50-ти приговорена к ссылке на житье в Иркутскую губ. В 1882 г. привлекалась по делу Красного Креста „Народной Воли". В 1891 г. возвратилась в Европейскую Россию, работала в конторе журнала „Русское Богатство". 390.

Филатов, Филипп Михайлович, он же Михайлов и Бойченко, рабочий, член киевского кружка, организованного М. Р. Поповым. В 1879 г. арестован и в 1880 г. Киевским военно-

окружным судом приговорен к каторжным работам на 15 лет. Каторгу отбывал на Каре. В 1891 г. вышел на поселение в Якутскую область. Позднее возвратился в Европейскую Россию, где и умер. 261, 272, 284, 306.

Филиппов (Погорелов), Константин Николаевич, участник харьковского революционного кружка в конце 70-х годов; в 1879 г. был арестован и Харьковским военно-окружным судом приговорен к ссылке на поселение в Сибирь. Умер в 1883 г. в Сургуте, Тобольской губ. 284, 285, 301.

Фишер, Василий Федорович, революционер 70-х годов, член кружка „киевская коммуна", участник хождения в народ. В 1875 г. был арестован и в 1878 г. по процессу 193-х приговорен к ссылке в Тобольскую губернию. 95.

Флеровский — псевдоним Берви, Василия Васильевича (1829—1918), публицист. 212, 214.

Фомин — см. Медведев, А. Ф.

Фомин, Алексей Александрович (род. в 1859 г.), подпоручик 28-го пехотного полка; в 1879 г. был арестован за пропаганду среди солдат; в 1880 г. бежал за границу. В 1882 г. вновь арестован в Петербурге и Петербургским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 20 лет. В 1891 г. вышел на поселение в Забайкальскую область. 308.

Фомичев, Григорий Иванович, участник революционного движения 70-х годов, принадлежал к одесским революционным кружкам и вел пропаганду среди рабочих и солдат. В 1877 г. был арестован и в 1878 г. Одесским военно-окружным судом оправдан по недоказанности обвинения. В том же году вновь был арестован и по делу об организации демонстрации во время суда над И. М. Ковальским, в которой он в действительности участия не принимал, приговорен к каторжным работам без срока. Каторгу отбывал на Каре, в Акатуе и в Зерентуе. В 1897 г. вышел на поселение в Забайкальскую область. Позднее возвратился в Европейскую Россию. 86.

Фроленко, Михаил Федорович (род. в 1848 г.), видный революционер 70-х годов, член кружка чайковцев, „Земли и Воли" и Исполнительного Комитета „Народной Воли", участник покушений на Александра II. В 1881 г. был арестован и по процессу 20-ти приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами без срока. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге. Освобожден в 1905 г. 7—17, 31, 91, 103, 109, 124, 144, 194, 196, 198, 204, 216, 217, 219, 251, 308, 321, 332, 337, 365, 371, 386, 387.

Фронштейн, владелец завода в Ростове-на-Дону. 80.

Фурье, Шарль (1772—1837), французский утопический социалист. 298.

Хазов, Николай Николаевич (ум. в 1881 г.), революционер 70-х годов, участник петербургских революционных кружков начала 70-х годов; в 1874 г. был арестован, а в 1876 г. освобожден с запрещением отлучки из Петербурга.

Вместе с М. А. Натансоном принимал деятельное участие в пропаганде среди рабочих. В 1877 г. был арестован и в административном порядке выслан в Восточную Сибирь. С 1880 г. жил в Верхоянске, где и умер. Революционная кличка — „Дедушка". 56.

Халтурин, Степан Николаевич (1857—1882), выдающийся деятель рабочего движения 70-х годов, один из организаторов „Северного союза русских рабочих", после разгрома которого вошел в „Народную Волю". В 1879 г. в целях покушения на Александра II произвел взрыв Зимнего дворца. В 1882 г. принимал участие в убийстве военного прокурора Стрельникова, был арестован, приговорен к смертной казни и 23 марта 1882 г. повешен в Одессе. 106, 188.

Харизоменов, Сергей Андреевич (1854—1917), революционер 70-х годов, участник хождения в народ, член „Земли и Воли", участвовал в землевольческих поселениях в Саратовской и Тамбовской губерниях. В 1879 г. примкнул к „Черному Переделу", но вскоре отошел от революционного движения. Позднее известный статистик и автор ряда работ на экономические темы. 61, 215.

Харламов — см. Хазов, Н. Н.

Хотинский, Александр Абрамович (ум. в 1883 г.), революционер 70-х годов, участник хождения в народ, член „Земли и Воли"; в 1877 г. был привлечен по делу саратовского землевольческого поселения и подлежал высылке в отдаленные губернии, но перешел на нелегальное положение и не был разыскан. После раскола „Земли и Воли" примкнул к „Черному Переделу", но вскоре эмигрировал; умер за границей. 63—66, 81, 90, 95, 215.

Хотинский, Григорий Абрамович, брат А. А. Хотинского, участник землевольческого поселения в Бердянском уезде в 1877 г. 63.

Хрущов, Николай Егорович, участник киевского революционного кружка в конце 70-х годов. В 1879 г. был арестован и Киевским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 12 лет. Каторгу отбывал на Каре. В 1882 г. бежал вместе с И. Н. Мышкиным, но был задержан и доставлен обратно. В 1889 г. подал прошение о помиловании и был выпущен на поселение в Читу. Умер. 261, 282, 284—286, 301, 306, 314—317, 335.

Цветков, екатеринославский семинарист. 45.

Цветков, Аркадий Степанович, учитель словесности в екатеринославской духовной семинарии. 45.

Чернышевский, Николай Гаврилович (1828—1889). 70, 121, 151, 297.

Чертков, Михаил Иванович (1829—1905), генерал-адъютант, в 1877—1881 гг. киевский генерал-губернатор. 48, 49, 143, 230, 239, 252, 264, 278, 302.

Числова, Екатерина Гавриловна, балетная артистка; в 1875 г. была выслана в г. Венден за связь с вел. кн. Николаем Николаевичем. 130, 198.

Шебалин, Михаил Петрович (род. в 1857 г.), народоволец, работник летучей народовольческой типографии. В 1884 г. был арестован и Киевским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 12 лет. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге. В 1896 г. переведен в Вилюйск. Освобожден в 1905 г. 344, 362.

Шевченко, Тарас Григорьевич (1814—1861), украинский поэт. 78.

Шелгунов, Николай Васильевич (1824—1891), публицист. 297.

Шехтер, Софья Наумовна (1856—1920), участница киевского революционного кружка, организованного М. Р. Поповым. В 1880 г. арестована и Киевским военно-окружным судом приговорена к каторжным работам на 6 лет. Каторгу отбывала на Каре. В 1884 г. вышла на поселение в Якутскую область; затем жила в Иркутске и принадлежала к местной организации социалистов-революционеров. В конце 90-х годов возвратилась в Европейскую Россию. В 1903 г. была выслана из Одессы за революционную работу в Вологду. 261, 306.

Ширяев, Степан Григорьевич (1857—1881), революционер 70-х годов, член „Земли и Воли“ и Исполнительного Комитета „Народной Воли“. В 1879 г. был арестован и по делу 16-ти приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами без срока. Умер в Петропавловской крепости. 108, 197, 216.

Шпиллер, подполковник. 262.

Шульц, немецкий колонист. 86.

Щедрин, Н. — псевдоним Салтыкова, Михаила Евграфовича (1826—1889), сатирик. 72, 179, 297, 306.

Щедрин, Николай Павлович (1858—1919), революционер 70-х годов, член „Черного Передела“, в 1880 г. вместе с Е. Н. Ковальской основал „Южно-русский рабочий союз“. В том же году был арестован и в 1881 г. приговорен к смертной казни, замененной каторжными работами без срока. Каторгу отбывал на Каре и в Шлиссельбурге, где сошел с ума. В 1896 г. переведен в Казанскую психиатрическую больницу, где и умер. 142, 215, 236, 312, 333—342, 356.

Энгельгардт, Александр Николаевич (1832—1893), профессор химии Артиллерийской академии и Земледельческого института в Петербурге. В 1870 г. в связи с студенческими волнениями, происходившими в этом институте, был выслан из Петербурга. Поселившись в своем имении Батищево, Смоленской губернии, занялся сельским хозяйством. В 70-х годах печатал в „Отечественных Записках“ „Письма из деревни“. 67.

Юзов — см. Каблиц, И. И.

Юрист — см. Преображенский, Г. Н.

Юрковский, Федор Николаевич (1851—1896), революционер 70-х годов; в 1879 г. организовал экспроприацию из херсонского казначейства при помощи подкопа. В 1880 г. арестован и Киевским военно-окружным судом приговорен

к каторжным работам на 20 лет. Каторгу отбывал на Каре. За участие в неудавшемся побеге срок каторги увеличен на 10 лет. В 1884 г. переведен в Шлиссельбург, где и умер. 255, 261, 268, 303, 316, 318, 346, 347.

Яковлев, полковник, комендант Шлиссельбургской крепости в 1902—1906 гг. 327, 366.

Янович, Людвиг Фомич (1859—1902), революционер 70—80-х гг., член партии „Пролетариат". В 1834 г. был арестован, причем оказал вооруженное сопротивление. В 1885 г. Варшавским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 16 лет. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге. В 1896 г. переведен в Средне-Колымск, где покончил с собой. 362.

Яцевич, Николай Васильевич (1861—1912), революционер 70-х годов, член харьковского кружка, организованного Д. Буцинским. В 1878 г. был арестован и Харьковским военно-окружным судом приговорен к каторжным работам на 15 лет. Каторгу отбывал на Каре. Позднее жил на поселении в Чите. В 1905 г. возвратился в Европейскую Россию. 86.

Ященко, Леонид Нестерович, участник революционного движения 60-х годов. В 1861 г. был арестован в Москве по делу о печатании и распространении революционной литературы. В 1862 г. Сенатом приговорен к заключению на полгода в смирительном доме. По отбытии наказания выслан в Бугульму. Позднее присяжный поверенный. 297.

СОДЕРЖАНИЕ

Ив. Теодорович. От бакунизма к бабувизму V
От редакции 3
М. Фроленко. Биография М. Р. Попова 5
Мих. Ладыженский. Памяти шлиссельбуржца М. Р. Попова 18
Н. Н. Подревский. Из воспоминаний о М. Р. Попове . . 35
М. Р. Попов. Автобиография 39
М. Р. Попов. Записки землевольца 53
Революционное движение в Ростове-на-Дону в 70-х годах 153
„Земля и Воля“ накануне Воронежского съезда 191
Из моего прошлого 220
Военный суд в Киеве в 1880 году 261
К биографии Ипполита Никитича Мышкина 307
Николай Павлович Щедрин 333
Л. А. Волкенштейн 343
К биографии Буцинского 353
Мечты о свободе 357
Люба 391
Ив. Теодорович. Примечания 405
Указатель имен 431